

NEW HERITAGE PUBLISHERS

Т. С. Карпова

БАВАРИЯ И БОГЕМИЯ



Editor
Lyudmila P. Petrova

Copyright © Tatiana S. Karpova, 2021

All rights reserved. Electronic copying, print copying and distribution of this book for non-commercial, academic or individual use can be made by any user without permission or charge. Any part of this book being cited or used howsoever in other publications must acknowledge this publication.

No part of this book may be reproduced in any form whatsoever (including storage in any media) for commercial use without the prior permission of the copyright holder. Requests for permission to reproduce any part of this book for commercial use must be addressed to the Author. The Author retains his rights to use this book as a whole or any part of it in any other publications and in any way he sees fit. This Copyright Agreement shall remain valid even if the Author transfers copyright of the book to another party.

This book was typeset using the L^AT_EX typesetting system.

Cover image: Musicians at the Karlstor Gate in Munich.
Photo of the author.

ISBN 978-0-9981894-6-8

New Heritage Publishers, New York, Brooklyn, USA

NEW HERITAGE PUBLISHERS

Т. С. КАРПОВА



БАВАРИЯ И БОГЕМИЯ



Brooklyn, New York, USA

— 2021 —

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЮНХЕН	8
Сны	8
Лёгкая закуска к путешествию	13
Птичий полёт над прошлым	25
Глокеншиль	32
Польза великолепия	41
Голая правда о барокко	54
Церкви Виттельсбахов	62
Дворец Генриэтты-Аделаиды	72
Ах, майне либе Амалия!	81
Мои Нимфенбурги	87
Людвиг и Лео	95
Трык-нога или музейный день	110
Второй вечер первого дня	117
Кандински-хаус	121
Найдите Габриэлу	126
Штука	129
Автобусная феерия	140
БОГЕМИЯ	149
Цвета Праги	149
Крал Карел	157
Кнедлики и Карлштейн	166
Подвиги челюскинцев	175
Кутна гора	183
Битва железных кастрюль	198
Колдовство Рудольфа	206
Сад Валленштейна	214
Тридцать лет одиночества	222

Потная спираль	227
Большие числа и горлышко бутылки	232
Немецкая волна	242
Личная бибиена	254
Чешский Крумлов	259
Семейное счастье	271
“Всяк сущий в ней язык”	275
Вверх по древу времени	285
Обыкновенная история	291
Осознанная необходимость	299
БАВАРИЯ	306
Роскошь возвращения	306
Завтрак туриста	311
Баварский певчий дрозд	318
Посёлки и просёлки	332
Деревянные человечки	337
Рименшнайдер — раз, Рименшнайдер — два	347
Мейстертранк	362
Фахверк в тумане	369
Золотая булла	376
Встречи с фонтанами	389
Два собора, два гвоздя	394
Красное пиво	403
Лучшие дома Нюрнберга	408
Крокодилы Регенсбурга	420
Аугуста Винделикорум	431
Умбра, nihil, прах и дым	446
РАССУЖДЕНИЯ	455
Тема: Правильные люди	455
Тема: Заложники обезьян	461
Тема: “Не запомним!” Что мы помним?	471
НЕПОСТОЯНСТВО	475
МАРГИНАЛИИ	478

Посвящение

*Памяти
Святослава Дмитриевича
Карпова (1916-2005)*

Многие думают, что время — линия, и в нём есть начала и концы. Многие считают, что человек — пуля, пущенная по прямой из точки рождения в точку смерти. “Вот, — говорят они, — могилы позабытых нами людей! Вот наши поступки, которые нам не исправить! Вот то, что было вчера, а вот то, что сегодня”. А я утверждаю, что время — пульсирующий шар со мною в центре. Прошое, настоящее, будущее сосуществуют одновременно, всё уже исполнилось, всё только ещё предстоит.

Прошлое — канва моей жизни. Прошлое — уютная, тёплая постель. Прошлое — океан с голубой водой, где растут кораллы и созревают жемчужины. Прошлое — зверь, он крадётся за мной, переступая мягкими лапами с плотной подошвой, его намерения неизвестны, на него лучше не оглядываться.

Голоса умерших звучат во мне моим голосом. Жизнь — смесь вины перед прошлым, страха перед будущим, робкой радости настоящего.

ТК

Май 2009–Декабрь 2017

Эту книгу читайте на даче, под стук дождя по крыше.
Т. К.

А тебе, добрая душа, пусть эта книга станет товарищем,
если по судьбы ли воле или по своей вине нет у тебя
другого друга.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

МЮНХЕН

Сны

В самолётах я не сплю, а если сплю, то без снов. Жалко – сны я люблю, и обычно вижу их в изобилии, потому что высыпаюсь до отвала. Спать досыта заведено давно, с тех пор, когда чудом выползла из-под двухлетней депрессии, а депрессия – это я вам скажу... нет, и говорить не буду. Я не хочу вспоминать, я хочу полностью забыть к ней дорогу.

Мне никогда не снится, что у меня украли сумочку, что меня побили, что я, одна-одинёшенька, лезу в чёрный провал по разломанной лестнице. Мои миры добры; в них нет чернухи, и если кто-то умер, его жалеют, а если остановились часы, значит нужно сменить батарейку. Сны смотреть я никогда не устану – они интереснее жизни. Мне снится, что шпионы запрятали микрофильм в грецкие орехи, и их, (шпионов и орехов), разыскивают разведчики; мне снится, что принесли банку томатной пасты и сказали, что это диссидент, которому нужно пересечь советскую границу... Сценарии пишет любитель абсурда и гротеска. Очевидно, это я, ибо не верится, что у кого-то другого есть время засовывать мне в голову детективы с ветвистым сюжетом.

Герои снов мне большей частью незнакомы и живут своей жизнью, а я – только наблюдатель. Но иногда мне назначают свидания те, кто ушёл. Свидания коротки; мы озабочены неназванными невзгодами, и торопимся, и быстро расстаёмся, но эти встречи наполняют мою явь счастьем, которое длится долго, по крайней мере с полчаса.

Я люблю мои сны, но в самолёте я не сплю. Или я сплю, но в этих снах ничего не случается. Сон в самолёте страшен иллюзией не-сна, кажущимся его отсутствием. От него остаётся ощущение неумытости, лопнувшего носка и кофе, пролитого на ширинку. Недосып повергает в пограничное состояние, влекущее к странным поступкам. Я помню себя стоящей в оцепелом изумлении в инвалидной уборной мюнхенского аэропорта. Я нашла там длинный шланг и задумалась: “Зачем он?” Не только спросонья, но и на полуденном яву мне трудно не дёрнуть за ручку и не нажать на педаль, если они есть, так же, как сэру Хилери было невозможно не влезть на Эверест. Из шланга вырвалась струя воды под напором и обдала

унитаз и стену. И вот я стою над огромной лужей и размышляю – выйти сразу, или подождать, пока она высохнет?

Почему некоторые помнят, что они облились водой из унитаза? Потому что это неожиданно и свежо? Нет, потому что это наглядные уроки непознаваемости мира. Кто осмелится притязать, что понял все шестерёнки бытия и смысл того, что с ним произошло? Двадцать лет назад за граница была зоной непредвиденных последствий: два мира, которые наконец-то пересеклись, оказались чужды до полного непонимания. Разные парадигмы... “Что посыплется из банкомата?” – спрашивала я; мне отвечали: “Деньги”. Знала, что деньги; но какие: универсальные евро или никчёмные дойчмарки?

Обстоятельства, при которых я тогда попадала в иноземные аэропорты, были все сплошь печальные; летела не ради удовольствия; щемило на душе, и одурманивало горе. Печальные и стеснённые. Мы тогда были непривычные к западной валюте. Все всё на рубли пересчитывали и охали от итога. Денег было мало, хошь в рублях, хошь в дойчмарках; трудно было выложить три евро за булочку, ещё труднее поверить, что я могу себе это позволить. А теперь вот по плечу и пять евро за бутерброд: разбогатела.

При подлёте к Европе в иллюминаторе везде и всегда утро розовое, потому что над облаками. Конкретно – две тысячи восьмой; чёрт возьми, да ведь тоже уже прошлое, – доброе, старое, безбидное. Мы сели в Мюнхене. Мне обидно смотреть, как весело и лихо выпрыгивают на транспортёр чемоданы, будто у них не было бессонной ночи; да наверно и не было, чемоданы не храпят и не задыхаются. Наконец и мой появляется. Я узнаю его по наклейкам, но их ряды поредели, многие липучие человечки и бабочки попрыгали, как блошки, на чужие чемоданы. Остались на нём только штучки три-четыре, и те плохо держатся. Пограничник ставит штамп и говорит мне радостное “Хай”, – думает, я настоящая американка, а не *зверь с двумя* паспортами.

По-осеннему зябко, начало октября. Я готова к холоду, достаю перчатки и шарф из кашемира, купленные в последний момент перед отъездом; припасено и осеннее пальто, которое в Америке носить жарко. Я выхожу из аэропорта и вижу, что и на земле *утро красит нежным цветом*. Но мне не впрок: приходится спуститься в помещение с электросветом.

Я всё ещё не проснулась и не в состоянии воспринимать действительность слитно; она распадается на отдельные картинки: перрон, табло, компостеры. Нужно купить билет на метро, чтобы доехать до

гостиницы. В растерянности замираю перед жёлтым двуликим Янусом. Тарифов до фига, и всё на немецком. С надеждой заглядываю Янусу в другое, заднее лицо – уж тут-то должно быть по-английски? Ан нет. В отчаянии сую ему взятку; берёт; из него вываливается длинное, полосатое, и сдача, вероятно, правильная. Полосы нужно отсчитывать, исходя из зоны тарифа. Я гадаю, как изогнуть и прокомпостировать билет на нужной полосе, чтобы не потратить лишнего. Всё просто, только надо быстро прочесть немецкий план метро, и понять, куда отправится подошедший поезд. *Просто нужно быть красивым, умным, добрым, справедливым, только и всего.* Оказывается, все поезда сойдутся на вокзале Хауптбанхоф, хотя и ползут в разные стороны.

Двинулись, поплыли кукуруза и люцерна, лёгкие навесы над перронами, дома с горбатыми крышами, собака вроде сенбернара; проплыл подоконник гаража, весь в пивных кружках... За окном будто пригороды Ленинграда; чище, наверняка благоустроеннее, и всё же... Прошлое всплывает в убаюканной вагоном памяти. И у нас были такие крошечные сарайчики на пяточках садоводства. Черёмуха у насыпи говорила о весне, сурепка – о рождении лета, пижма – о его неизбежном уходе. Привычная ольха и глина. Шагреневая кожа путешествия. Туда: ожидание вечерних сумерек, калужницы в канаве, леса, купания, дождя, треска дров в круглой печке, покрытой гофрированным железом. Обратное: закат, заботы и задачи, и никаких ожиданий. *Люблю блаженные мечтания*, когда случайные образы вдруг возникают предо мной, и задержавшись ненадолго, плывут назад, в небытие.

Меж взрослых немцев сидят умилительно вежливые немецкие мальчики, в школу едут. Поднимаясь, обильно извиняются. “Господи, – думаешь, – такой маленький, мог бы и ногу отдавить, я бы тебе простила!” В вагон входит гном, – гном-переросток, высотой метр девяносто, – в коротких замшевых штанах и шляпе с пёрышком. Никто не удивляется замшевым штанам и красным ногам. Специфика Германии. Пройдись по Петербургу в одежде офени, и решат, что ты – забава для туристов. Национальная одежда, надетая некстати, выглядит неестественно. Когда Аксаков и его товарищи-славянофилы появлялись в народном русском платье, простой народ принимал их за персиян. Но гном самодостаточен, он не для туристов, он для себя, все понимают, что он едет пить пиво. В Мюнхене – Октоберфест, пивной праздник: в национальных костюмах, в специально отведённом месте, за длинными столами целую неделю пьют пиво и гуляют.

За порогом Хауптбанхофа я тут же запуталась в поводке не крупной собачки. “Меншенскинд!” – зарычала собачкина старушка, прохожие заулыбались, я обрадовалась. Это волшебное слово переносит меня в сказку детства. Мой отец никогда не ругался в отечественном смысле этого слова; я не слышала от него даже печатного “дерьмо”, зато звучали то и дело немецкие “Доннерветтер, Меншенскинд”: заклинания на случай, если что-то пропало, сделал глупость, или опаздываешь. Теперь “Шайзе” для меня припахивает уютом, “Ферфлюхт” светится семейным счастьем. Спасибо за “Меншенскинд”, милая бабушка! Будто матушка-Германия заключила меня в могучие объятия. И когда подростки сорвались с места и ринулись к вокзалу со сладкозвучным “Швайнерай!”, сердцу стало так тепло, как будто всё будет хорошо не только у них, но и у меня... Папина доброта заставляет верить в хорошие концы. Я не знаю, почему он не озлобился – плохое в его жизни зашкаливало.

У меня было счастливое детство. Мы жили в двухкомнатной квартире – папа, мама и я в одной комнате, а в другой бабушка и Марина, моя Марина, – сестра, но я всем называла её Мариной, для меня это были синонимы. У меня была вьетнамская бамбуковая корзина с игрушками, которая удобно помещалась под шкафом. Игрушки у меня были в основном надувные или фарфоровые – за десять лет своего детства я переколотила очень много изделий ЛФЗ. Куклы отсутствовали, если не считать бюста Максима Горького. Их не покупали наверно потому, что я их не просила; попадись мне кукла, я бы не знала, что с ней делать – желания кормить кого-то кашей у меня не имелось. Из каждой командировки в Москву папа привозил мне плюшевое животное. “Вот тебе обезьянка!” – радостно говорил папа. “Папа, это медведь”, – уточняла я для порядка. Папа огорчился, но в следующий раз повторял ту же ошибку – он был не в состоянии различить советских обезьян и медведей. *Всё к лучшему в этом лучшем из миров* – я предпочитала медведей.

После войны папа был в Германии только один раз, по-моему в Берлине, по-моему в 64 году; уточнить не у кого: папа умер, мама умерла, умерла советская власть, которая послала папу за границу – чудеса, ибо папа был беспартийный, – но чудеса справедливые, он был очень хорошим инженером. Из Германии папа привёз не медвежонка и не обезьянку. С ним вместе приехали фарфоровая чашка с голубыми глазами, румяными щеками и доброй улыбкой, и Раухер Мекки – гипсовый ёжик с наклеенным пушистым бобриком, в синих брюках и коричневой рубашке. Мекки курил крошечную сигарету, выпуская дым колечками. Поскольку Максим Горький не

курил – ему некуда было вставить папиросу, – он проиграл Раухеру несколько баллов по шкале Рихтера. От ёжика балдели и взрослые, и дети. Сигареты у Раухера не переводились: их привозили папины сослуживцы, – а сам папа больше в Германию не ездил. Его стали посылать в Чехословакию.

Германия и Чехия для меня сделались миром колбасок, названия которых так вкусно перечислял папа (“Бок-вурст”, “Вайс-вурст”, “Шпикачки”), игрушек и сказок. Сказки мне читал папа. Читал он размеренно и благодушно, его голос успокаивал, и даже мама, вполне взрослая, любила, чтобы папа читал ей на ночь: она тут же засыпала. Папа был не очень выразительный чтец; славы Сурена Кочаряна он никогда бы не добился. Но я не знаю чтецов добрее его. Папино чтение облагораживало даже заведомо благородную русскую классику.

Мы не хватались за всё подряд, мы ограничили круг чтения несколькими шедеврами. Папа читал мне книжку чешского художника Йозефа Лады “О хитрой куме-лисе”, с его же собственными изумительными иллюстрациями, и сказки Гауфа. Мы обсуждали прочитанную литературу. Наши оценки совпадали. Папа был невысокого мнения о Маленьком Муке, и я тоже. С годами я изменилась, и решила, что судила слишком резко, выбор и возможности Мука были ограничены так же, как и у всех нас. Папа, впрочем, при том, что опыт его был гораздо шире моего, так и не понял, что надо бы примеряться к обстоятельствам и говорить не то, что думаешь; он и сейчас бы подтвердил, что Мук прохиндей. Сжившись с содержанием, я удивилась, однажды услышав: “И она стала подниматься в небо ... всё выше и выше, потому что так жить больше нельзя!” (Я ждала другого). “Папа, папа, почему так жить больше нельзя?” Папа, как и я, не выносил недосыпа. К счастью для папы я быстро выучилась читать и избавила его от этой повинности.

Я не могу сказать, что я всё время думаю об отце и матери, или что они сняты мне каждый день. Но обстоятельства часто о них напоминают. В эту поездку, я знаю, я всё время буду раздумывать об отце и его судьбе. Я еду не в память отца, но Германия и Чехия для меня связаны с папой, со странствиями его жизни. Мы могли бы съездить вдвоём, но жизнь коротка, и ничего в ней не удалось. Я всегда знала, что буду жалеть о неосуществлённом, но теперь не только знаю, но чувствую; чувство – это настоящее, нутряное знание. Куда бы не пошла, не поехала, думаю – вот это бы ему понравилось, вот это стоило бы ему показать. Папе были

интересны и новые города, и новая еда. Папе нравилось, когда я покупала ему красивую одежду. Удивительно, откуда у девяностолетнего человека столько любопытства к жизни? Наше знакомство длилось пятьдесят лет – не длилось, пролетело, как один день. Я не запомнила нашей первой встречи, и не запомнила последней – я не знала, что она последняя. ...Вообще, воспоминания – штука не для слаонервных.

Каждому нужны две любви – требовательная и беззаветная. Без первой никем не станешь, без второй не сможешь себя уважать. У некоторых не было ни того ни другого, а я имела обе: мамину – смесь первой и второй, и папину – чистую, как диамант, квинтэссенцию любви без заветов. Мама хотела, чтобы я прожила жизнь безошибочно и безоблачно, мамина энергия задала мне университетскую траекторию, но папа простил бы мне и карьеру кладовщицы. Папа любил меня такой, как я есть, ему нравилось всё, что я делала, и он считал меня красавицей. Мама верила в то, что я стою многого, и ни капли отпущенного мне таланта не должно пролиться на землю. Сейчас они мне снятся, и я запоздало пытаюсь сказать им, как я их люблю, и как я им благодарна. Но не успеваю, как и в жизни.

Лёгкая закуска к путешествию

Когда-то я обладала чувством направления, и, как бы ни крутили меня узкие улочки, я всегда чувствовала, откуда пришла, и как туда вернуться. А сейчас мой компас будто размагнетизировали. Куда девалась эта способность, да и все прочие? *Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?* А если не туда, то хотя бы в гостиницу. Она ведь рядом с мюнхенским вокзалом, но трёхмерная реальность не ложится на карту, как упрямый кусок головоломки.

Слухи о том, что в Германии все говорят по-английски, несколько преувеличены; в основном в Германии говорят по-немецки, пересыпая свою речь знакомыми нам словами: “цурюк, яволь, айн, цвай, драй, битте-дритте”. Поэтому спрашивать дорогу трудно – пугаются, огорчаются, жестикулируют, и от смущения показывают в неопределённом направлении, с загибом в 90 градусов, чтобы я поскорее скрылась за углом и не травила им душу. Я слушалась, кружила, как сапсан, вокруг вокзала, и, не зная немецкого, собиралась заплакать ну хоть по-французски, потому что за границей нужно всё делать по-заграничному. И тут карта вдруг совершила вираж, двинулась, встала на место; плоская полоска плана превратилась

в глубокую щель с высокими домами. Возникли люди, заговорили на турецком, забежали мимо “доннер-кебабов”, над порогом которых свисали гроздьё этого диковинного и наверняка антисанитарного кушанья. Все были смуглы, озабочены и *имели в жизни цель*.

Дома были узки, чуть пошире средневековых, и каждый второй — отель. За звёздочками отели не гнались, да и я тоже. Я гналась, наоборот, за дешевизной. На частые удовольствия не напасёшься — сами знаете, *проигрываешь в силе, выигрываешь в расстоянии*. Пример: в детстве (в университете) я бывала в театре каждую неделю и потому сидела на галёрке, а папа ходил раз в год и потому покупал лучшие билеты. Тем более, что дешевизна — понятие относительное. Ведь вот, пожалуйста — я сняла чуть ли не самый дешёвый номер в Мюнхене, и то заплатила кучу денег: всё из-за Октоберфеста. В России о нём знает даже сосунок (“*Займи место на Октоберфесте! Убедись лично — в Мюнхене отлично!*”). Но в американском захолустье я про него не слыхала; Октоберфест наехал на меня, как поезд; Вальтрауд мне закричала, но не отскочить, билеты куплены. *И вот вам результат, десять негрятят*, сто евро в день за kota в мешке, и наверняка блохастого. Сколько блох, неясно: комната была ещё не готова. Я ушла осматривать Мюнхен, оставив чемодан за стойкой дежурного.

Первое купание в океане, первое восхождение на сопку, первая прогулка по городу: всё первое не такое, как второе. Первый день никогда не повторяется. Первый день — рекогносцировка, проба, привыкание, поиски основы: вот хребет, вот рёбра, а мелкие жилочки оставим на завтра. А где тут кофейня, где можно урвать пирожное?

Дома вокруг вокзала крупные, осанистые, в стиле “неопределённый”. Наткнулась на Старый ботанический сад. Разве можно миновать ботанический сад? Нет. Я заглянула в него в надежде на великоколесные клумбы. Клумб не было, газоны казались продолжением дорожек — с чем бы сравнить этот шедевр паркового искусства, с каким-таким затоптанным петербургским сквером? Видно было, что сад на пенсии, и пенсия маленькая. По саду гулял пудель с розовой целлулоидной игрушкой — ну прямо, как маленький. Нашёл или купил?

Сонливость приобрела новое обличье, трансформировалась в настоленную чуткость. Привычное стало необычным, пу-удель приобрёл черты Мефистофеля. Самое простое показалось удивительным, даже то, что я перемещаюсь в пространстве, не имея колёс, по желанию, а могу и остановиться. Душа моя воспарила над ас-

фальтом, сонная, бесстрастная, следила за тем, как тело маленькой букашкой ползёт по карте Мюнхена, от девяти часов утра к трём дня, с окраины в центр, выбирая улицы попрямее... Хм, вышло вроде анекдота “Копать от забора до полудня”; из академического издания вычеркну.

Букашка пересекла годичные кольца Мюнхена: вокзальное, за ним ампирное, за ним бульварное, и уткнулась в стянутую стеной сердцевину. Наконец-то началось то, ради чего приехала! Альтштадт, Старый город. В толстой арке ворот Карлстор меня встретили три металлических музыканта с длинными дудками, — маленькие, отлиты преискусно, и по одежде им лет пятьсот. Увидев меня, музыканты оторопели, застыли вместо того, чтобы насвистать мне средневековую мелодию. А вот я нисколько не растерялась. Я удивилась бы, если бы игроков на дуде не было. Немецкие книжки, Раухер Мекки и круглощёкая чашка обещали мне страну игрушек; и я ждала встречи с Щелкунчиком и Репочётом-Рюбецалем; пускай каменными, но всё-таки.

Улица за воротами была широкая, мощёная булыжниками, и всю её отдали людям. Тут было непохоже на встрёпанный вокзал, публика фланировала, хоть и без моноклей, но одетая по моде, в том числе октоберфестовой. Впрочем, в народной одежде были только мужчины, и только те, у кого физиономии красные. Дома были вот именно такие, как ждалось — с вытянутой вверх двускатной крышей, под которой упрятано по три этажа. На подоконниках лежали толстые пушистые валики, скатанные из розовых или красных гераней. Вначале улица называлась Нойхаузер, а потом Кауфингерштрассе. Вдоль неё, и справа, и слева распахнули объятия (пасти?) дорогие магазины, а на каждом углу пристроились лотки завлекательных сувениров для людей с более мелким карманом.

Что же, холщовые сумки, футболки и передники с интересными надписями — дело полезное, но настоящая германская экзотика поселилась в магазинчике Макса Крюга. Всё там такое деревянненькое и цветастое. Стены украшены щелкунчиками, уставлены музыкальными табакерками и увешаны часами с кукушкой. Гири этих чудесных хронометров сделаны в виде шишек, и при беглом взгляде кажется, что из стены торчит пенёк или древесный наплыв. А при внимательном взгляде разглядишь маленькое альпийское шале с плетением балок, с резными балкончиками и ставнями, с маленькими хозяевами и хозяйками, застывшими в ожидании *кыча зегзицы*: Бом! Ку-ку! Бом! Ку-ку! Музыкальные табакерки ещё простодушнее: они заводятся ключом, и на крышке под тренькающую

музычку пляшут деревянные куколки. *Ах, мой милый Августин*, выбирай сценки на любой вкус: и майский шест, и ёлку, и пришествие волхвов! Что касается щелкунчиков, то вначале оторопь берёт от того, сколько на них несовместимых цветов и материалов, но потом привыкаешь, принимаешь и смеёшься шутке. Так и хочется унести с собой какого-нибудь мышиноного короля с сереньким ворсистым личиком, в бело-синем деревянном мундире и плюшевой мантии. Не суйтесь с этим добром в имперские интерьеры, но в комнате под лестницей, со сквозными дорожками на старых комодах и сундуках, эти куколки будут к месту.

Особую статью составляют пивные кружки; это немецкие матрёшки. Как и с матрёшками, чем дальше кружки от страны изготовления, тем они ценнее. В самой Германии подозрительно присматриваешься к этим пёстрым цилиндрам размером с кормовую дыню, а если случайно купишь, коришь себя за вульгарность. А встретишь такую кружку в Петербурге и залюбуешься, со всех боков осмотришь, подивишься выпуклым гербам, пейзажам и замкам, восхитишься узорчатыми картушами на боках, попробуешь налить в неё пива и случайно прищемишь себе нос крышкой.

В витринах Кауфингерштрассе куклы большие, в рост человека, нарядно одетые. Некоторые собрались на Октоберфест, и можно видеть, как выглядели бы женщины Мюнхена, если бы они согласились одеться в народную одежду. Манекены везде, не только на витринах. В чередё домов, плотно зажатая и справа, и слева, стоит церковь Михаэльскирхе. Она затянута полотнищем, на котором нарисован её же фасад. На полотнище, на благородном расстоянии друг от друга, уважая личное пространство, как пассажиры американского лифта, нарисованы манекены в костюмах всяких эпох: Виттельсбахи — баварские короли и курфюрсты.

Нет, господа, я не приемлю возражений, которые сейчас на меня посыпались. Чем кукла-манекен отличается от куклы-статуи? Только предназначением. Древние греки раскрашивали свои скульптуры, и мы видим их белыми только потому, что краску смыло безжалостное время; дай ему волю, оно и сам мрамор смоем, превратит в обмылок былого. А вот с манекенов краску не смоешь, и сами они сделаны из чего-то вечного, пенистого на изломе, так что археологи будущего сочтут их творениями современного нам Праксителя и разовьют теории о том, что в наше заингибирванное время статуям натягивали модные штанишки из стыдливости.

Манекены ходят стайками — молодой человек и две девушки, три молодых человека и девушка, — намекая на скрытый драма-

тизм сытой жизни (богатые тоже плачут). Манекены рассказывают нам сказку, с виду простую. Начинается с одежды, но можно и увлечься, придумать историю печальной любви. В детстве все мы одушевляли игрушки. Я не изжила эту привычку, и другие наверно тоже, иначе бы не лезли обниматься, правда не к манекенам, — их особенно не обнимешь, они за стеклом, — но к памятникам и фигурам, карабкаясь ради этого даже на очень высокие постаменты. Самые притягательные куклы и игрушки это те, которых можно потрогать за, потереться об, сфотографироваться с. Журналисты любят задавать пожилым людям вопрос: “О чем вы жалеете, оглядываясь на прошедшую жизнь?” Отвечу без обиняков: “Я жалею, что не снялась с верблюдом Пржевальского”; самого Пржевальского обхватить невозможно (он на высоком столбе) и не нужно (слишком похож на Сталина), но верблюд у подножия... Помните этого верблюда? Он блестит от обильной ласки прохожих.

И на Кауфингерштрассе такие есть, например, бронзовый кабан — точь-в-точь такой, как во Флоренции. Живую свинью не поцелуешь, к диким кабанам не приближайся, перекусят пополам. Но бронзовый свин просто просится в объятия. Я хотела бы встать напротив мюнхенского кабанчика и запечатлеть, как прижимаются к нему туристы в ожидании фотографической птички; может быть даже снять короткий фильм замедленной съемкой, но боюсь, что мне набьют морду. А кто тут любит рыбу? Не пропустите огромного бронзового сома с тонкими бронзовыми усами. Оглядываюсь, ища, кому бы ещё порадоваться, и замечаю совершенно натурального, но охряно-жёлтого слона! Удивительно: слон стоит на современном прицепе. Приглядевшись, вижу, что это реклама интернета. Слон небось пенопластовый: он манекен, в противоположность виттельсбаху кабанчика.

Я добралась до Мариенплац — главной площади Мюнхена, и увидела колонну розового гранита, на которой стоит золотая Богородица. Статую эту перенесли на площадь из собора в 17 веке, в благодарность за то, что шведские оккупанты не разграбили город. Причём тут шведы, мы потом разберёмся. Я считаю, никаких шведов тут не было — слишком Швеция далеко. Наверно описка в путеводителе.

Я подошла к Богородице. У подножия колонны бронзовые ангелы расправляются с нехорошими явлениями: войной, голодом, мором и фальшивой верой. Кто из животных чему соответствует, не берусь объяснить. Знаю только, что лев — это аллегория насилия, стало

быть войны, а змея — это Мартин Лютер Кинг, известный религиозный деятель Реформации. (А я бы представила Лютера петухом: он был задиристый, и бил ногами не только католицизм, но и своих товарищей-меньшевиков). Так что лютеранство и войну разобрали; остались мор и глад, и дракону и петуху придётся кинуть на морского. С символами такая штука: сначала они всем понятны, а потом — раз, и никому не понятны. Да и другие приметы жизни... истлевает канва подтекста, ассоциациидохнут, цитаты опадают, как листья с засохшего первоисточника, а шутки... вы это про что?

Голые крылатые мальчики в шлемах, которые дубасят зверьков с бездумьем молодости, теперь уже не встречают одобрения; мы *зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бьём по голове* и смотрим передачи “В мире животных”. Нет плохих животных (разве что человек). Львы после книги Джой Адамсон кажутся родственниками, и хочется надеть на фонтанного льва шнурок и прогуляться с ним по Мюнхену. Змей многие не любят, но они санитары природы и интересно устроены анатомически. Люблю петухов, хотя, может быть и напрасно — их красота сатанинская, от Мефистофеля, и не всегда с ними хорошо; помню, как года в три-четыре, волоча домой бидон с молоком, в крышку которого молочница насыпала мне морошки, я кралась мимо драчливого соседского петуха, с меня ростом. А дракон — это прямо как капустно-редечный гибрид, бесполезный для народного хозяйства, и о нём — только хорошее в память о невинно убиенном Карпеченко. Его жаль. *Жалость унижает*, как заметил Максим Горький. Унижает она жалеющего, который смотрит на репрессии, и ничего поделать не может. Поэтому отвернёмся от этих фигур; отойдём в сторонку и сделаем вид, что защищать некого.

Тем более, что есть и другие погляделки. В углу площади я вижу знаменитый рыбный фонтан, восьмиугольный бассейн; практичнейшая вещь: постамент фонтана — это единственное место, где можно будет посидеть, когда кафе закроются и втянут в себя складные стулья.

Вдоль всей площади разлеглась готическая Новая ратуша, украшенная большой башней в центре, и по углам круглыми башенками поменьше. Окна ратуши по-немецки мило уставлены красными геранями, в нишах скульптуры; скользишь взглядом по фасаду и вдруг видишь на двухэтажном балконе фигурки поменьше, и в позах поживее. Манекены? Нет, фигурки часов “Глокеншпиль”. Что-то в Глокеншпиль есть от часов с кукушкой... Древностью от часов веет, древностью — век наверно пятнадцатый, а то и седьмой.

Я обхожу здание и вижу на нём множество преудивительных существ: не люди, и не звери... Многие из них напоминают печального Билла и других друзей Белого Кролика из “Алисы в стране чудес”. По завершению портала карабкается целая процессия: улитка, ящер с мордой ягнёнка, трое вроде как собак или волков, лев, который подпоясался змеёй, и дракон. Дракон с непривычки запыхался, поотстал, обвис на карнизе, и пёсий демон, обернувшись к нему, говорит: “Ганс! Вот ты где! А мы думали, ты не придёшь после вчерашнего!” Химеры рассматривать так же интересно, как кабанчика или интернетова слона. Но кто они? Подлинные виттельсбахи или пластмассовые манекены? Ведь Новая ратуша была построена в конце 19 века, когда припомнили позабытую готику, и постарались хорошенько охимерить фасад. Одну минуточку, а как же часы седьмого века? Ну, они, честно говоря, тоже сделаны были в девятнадцатом.

Тогда вам законный вопрос: почему для новёхонького здания была выбрана готика, а не супер-сецессион или там конструктивизм? Да, готика гармонирует с окружающими постройками Мариенплац, но это ещё не резон, на диссонансы современникам плевать; например, в Петербурге подходящим задником для старинной Сенной площади сочли стеклянный параллелограмм. Сказать бы: “мода такая”, — и заткнуться, но не могу избавиться от скверной привычки всё объяснять социально-экономическими условиями. Мне кажется, или вправду в 19 веке тянулись к готике в судорожной ностальгии по прошлому, в тоскливой уверенности, что будущее уродливо, в нервной реакции на *железную поступь батальонов* капитализма? Времена менялись, сосало под ложечкой от нагрянувшей обезлички массового производства, от предчувствия грядущей несвободы — жизни, вынудившей сначала рабочего, а потом и нашего брата интеллигента трудиться по десять-двенадцать часов, тупым трудом, который не имеет отношения ни к его жизненным потребностям, ни к его склонностям. Так, чуя будущее, возвращаются теперь к “Иронии судьбы” и “Служебному роману”. Так заново выстраивают Константиновский дворец.

Попытки воссоздать гаргойлей сродни интересу к динозаврам и также подвержены перехлёстам. В припадке неоготики славно оттянулись на мюнхенской ратуше. Такого множества всяких *“грустных бэби”* с большими лемурийскими глазами трудно сыскать даже на подлинных фасадах. Непонятно только, готика это или что-нибудь другое. Можно ли в неготическое время построить готическое здание? Физически — запросто, были бы деньги и камни. Но в какой

исторический момент стиль превращается в автопародию? Можно ли назвать готическим Национальный собор в Вашингтоне, построенный в двадцатом веке точно по готическому рецепту? В какой и можно, если стиль — это только балки и архитравы. Но если определение архитектурного стиля включает ещё и идеи, то собор Сен-Дени, который олицетворяет Божий промысел — готика, а мюнхенская ратуша — это перевод с готического, имитация стиля, который показался строителям забавным и подходящим старой площади.

Да, Новая ратуша... Такое миленькое здание, и вдруг эрзац, и даже непохоже на своё собственное немецкое Средневековье, которое тут же торчит живым укором в виде Старой ратуши с высокой четырёхскатной крышей. Старая ратуша, построенная во время оно Йоргом фон Хальспахом, для разминки перед строительством Фрауенкирхе, выглядит как иллюстрация к немецким сказкам. Не удивляешься, что в ней музей игрушек. Но Старая Ратуша моложе новой: её разбомбили и потом собрали заново по кирпичику. Парадокс в том, что сейчас химеры Новой ратуши доподлиннее многих иных в Мюнхене, потому что она-то в отличие от большинства зданий уцелела после бомбёжки.

Завернувши за угол Старой Ратуши, вижу скромно и низко стоящий памятник Джульетте. С этой Джульеттой мы тоже уже где-то встречались, не в Вероне ли? Местная Джульетта похожа на веронскую, как мюнхенский кабан на флорентинского. Интересно: зачем тут заимствования из чужих городов, в наше время, при таком избытии скульпторов, (ибо они несомненно рождаются в определённом числе “на душу населения”, которого теперь везде много)? Неужели нельзя слепить отечественную Гретхен?

Выйдя с площади, я иду к Петеркирхе (Старому Петеру), восхищаюсь плитами, вделанными в её стены. Эти надгробия были перенесены к собору со старого, ныне не существующего кладбища. Прах, память и печаль исчезли, остался гранит, и мюнхенская рука не поднялась делать из него поребрики, как случилось в Петербурге с памятниками Синопского кладбища у Средней Рогатки. Поразила большая плита глухого коричневого цвета, на которой рельеф с коленопреклонёнными: слева кавалеры, справа дамы, как ноты на строчке, как профили на камее. Тонкая работа резчика передаёт все кружева и складки костюмов времён Гольбейна и напоминает гравюру на дереве. Не боясь получить прозвище “Кладбищенская Таня”, не скрою, что в этот миг мне полюбились немецкие надгро-

бия, полные покойного достоинства, и впоследствии я не упускала случая их рассмотреть. Даже вырванные с мясом из могильного контекста, они интересны и выразительны. Особую категорию в их числе составляют обильно присутствующие в храмах памятные доски, за которыми порой никто не похоронен.

Вваливаюсь в кирху Св. Петра в предвкушении особого удовольствия — немецкого барокко. Внутри... Представьте длинный неф. Какой длины? Ну например как неф Казанского собора в Петербурге, но только белый. “Белый?” — разочарован читатель (“зачем я дочитал до этого места!”), — “Зачем же он белый, это что, больница?” Ну, белый-то он белый, но на нём игра теней от пилястр и арок, отороченных выпуклыми лепными линиями. “Ну и что?” “Ну и вот”, — как отвечали на научных семинарах в Мозжинке. Над боковыми арками второй ярус, тоже с пилястрами и заложёнными окнами, а над ним фигурный белый потолок. “Но белый?” Да, белый, как праздничные одежды епископа, и на нём цветная вышивка: росписи в заложённых окнах второго яруса, плафоны и золотые накладки на потолке, карнизах и капителях, амвон смертоубийственной красоты и сложности, окантованный золотой резьбой, с балдахином, увенчанным золотой статуей.

“Это уже лучше, а что ещё?” Ещё деревянные консоли на пилястрах нефа, а на них крашенные деревянные статуи: святые в золотых одеждах, — вырезанные в 18 веке Джозефом Прётцнером и Андреасом Файстенбергером. Есть в них что-то странное, причудливое. Один ножичком поигрывает, у другого меч из груди торчит. У Христа на шее висит сердце. Вижу кубок, а на кубке змея, причём верхом.

Неф приводит к золотому алтарю. Его сень напоминает надгробие Св. Петра в Риме. Она увенчана восьмиконечным крестом, (но не староверческим!), и голубком в ореоле золотых лучей. Под сенью сидит Святой Пётр в тиаре, которую с него снимают в день смерти старого папы, и надевают при избрании нового. У подножия трона стоят отцы церкви: Блаженный Августин, Св. Амброзий, Св. Афанасий и Св. Иоанн Златоуст. Св. Пётр был вырезан великим немецким резчиком 15 века Эразмусом Грассером или его учениками, задолго до строительства алтаря, а отцы церкви — Эгидом Квирином Ассамом, прославленным мюнхенским мастером рококо 18 века. Перед сенью поставлен золотой ковчег с Распятием на Голгофе. Гора Голгофа дана в поперечном сечении, и там, внутри, второе распятие. Опять “Ну и что?” Ну и вот. Барокко! Немецкое барокко Альте Петера умиляет меня не меньше “шайзе” и “доннерветтера”

— подтверждением моих ожиданий, удовлетворением эстетических потребностей.

В боковых часовнях Старого Петера есть алтари и памятные плиты, относящиеся к более ранним стилям. Рядом с центральным алтарём висят панели прежнего готического алтаря, выполненные Джексонем Поллаком, извините, Яном Полаком. Меня заинтересовал полихромный алтарь из песчаника (алтарь Шренков), 15 века. В той же часовне висит замечательный готический алтарь Пётшнеров. (Шренки и Пётшнеры — дарители, а художники неизвестны). В часовне у главного входа находится памятная настенная плита Ульриху Арезингеру, про которую доподлинно известно, что её вырубил из красного мрамора Эразмус Грассер, самолично.

За Альте Петера простирается Виктуалиенмаркет: имячко, которое могут придумать только немцы. У нас всё было проще и благозвучнее: Молокосоюз, Росснабсбыт... Я собственно туда и иду, отвлекаясь по дороге на церкви и статуи, — очень мне хочется посмотреть на крестьянский базар; субсидированный, иначе бы все эти фермеры с доброкачественным, но дорогим товаром не выжили, и мюнхенцы ели бы помидоры из Гватемалы.

Базарная площадь уставлена палатками, павильонами и лотками. Посреди неё торчит майский шест, кудрявый от флажков рекламы пива. Есть пара фонтанчиков; с изумлением вижу, как мужик подставляет под струю бутылку. Потом соображаю — наверно, питьевая, как в Цюрихе. За фонтанчиками присматривают бронзовые, с локоток, певцы местного кабаре и старушка — Вечная торговка.

Первым делом бросаюсь рассматривать овощи и фрукты. Лотки поделены корзинками на разноцветные квадраты. Тут масса соблазнов для домохозяек: дамские пальчики огурчиков и редисочек; всевозможные капусты: кольраби, брюссельская, напоминающая щуроп романская брокколи; морковь: то длинная, то каротелистая; перцы всех цветов и форм, включая помидорную; сами помидоры, от больших и мясистых, до маленьких, как смородина; россыпи лисичек и боровиков; ягоды в корзиночках: малина, ежевика; сезон брусники и слив из Франконии, и даже откуда-то земляника по цене красной икры, но наверно уже невкусная; инжирины, разрезанные пополам для показа нежного тёмно-красного нутра; крупный виноград с мускатным вкусом; мандарины; экзотические фрукты из далекой Индонезии. (Как их едят? Неужели так прямо и откусывать?) Покупки подают в коричневых фунтиках с рисуночком.

Рядом предлагают цветы (в горшках и срезанные), продают сувениры: мешочки с лавандой, куколок в крестьянских платьях, зве-

рюшек из стружек и шишек. Особенно мне нравятся куклы, мальчики и девочки — они сшиты из фланели и набиты ватой; их много торчит из корзинки, хватит на целую деревню, и хотя их лица одинаковы, но не стандартны; такая кукла будет надёжным другом. Я покупаю её внучке.

В лавке продают круглые хлебы с толстой коркой, “извините, вчерашний”, значит за полцены, но он такой ещё мягкий, что у нас в Петербурге считался бы завтрашним. Внизу под хлебами насыпаны булочки и кексы, которые можно прямо в булочной и съесть, запивая кофе. А тут, в соседней палатке, горкой, маленькие сыры из козьего молока, обваленные в молотом черном перце, и дивная сырковая масса, в которую подмешаны вкусоности.

Колбасник, высунувшись из будки, подманивает меня куском колбасы, надетой на вилку. Всюду предлагают жареные колбаски, всяческие вурсты, рубленые бифштексы. Это всё можно тут же съесть с картошкой или кислой капустой. И запить пивом. В ушах звенят аппетитные слова Моргунова в “Приключениях Шурика”: *“Закажи мне две порции сосисок с капустой!”* Рядом супный павильон: радость моя, немецкие супы, полные фрикаделек: Maultaschensuppe, в котором плавают пельмени с мясом и шпинатом, Fladensuppe с рулетиками из блинчиков с зеленью, Fleischknodelsuppe с мясными шариками, Semmelknodelsuppe с хлебными клёцками, Nudelsuppe с вермишелью! К супу полагается хороший толстый ломоть крестьянского хлеба.

Пробуждается интерес, зарождается мечта, возникает план захвата: сначала заказать сардельки с кислой капустой, потом осторожно подобраться к котлетам, надкусить сыры в перчёной шкурке, наглотаться сырковой массы со включениями, перепробовать все овощи, которые неопасно есть сырыми, отпить немецких супов на бульоне, настоящем Fleischkraftbruehe. Помните, как Пугачёв учил Гринёва: *“Лучше один раз напиться живой крови, чем всю жизнь питаться супами из пакета”*. Хочется занять восемь желудков.

Устраиваю проверку качества сырковых масс: я пробую с перцем, с огурцами и с беконом. Вот вы наверно не догадались настругать в творог колбасы, а немцы догадались, и вышло неплохо. Ломаю руками небольшой козий сыр, размером с ладошку. Никто наверно, кроме меня, не усидит такой сыр за один присест. А я вот съедаю целиком, сидя у фонтанчика с бронзовой старушкой — Вечной Торговкой. Теперь закажем в окошечке гамбургер и запечённую докторскую колбасу с квашеной капустой. Особенно удачен прожа-

ренный до звона гамбургер; если и есть в нём какой-то жир, то он искусно замаскирован. И у кого язык повернулся назвать кусок пластилина из Мак-Дональдса гамбургером?

Солоно мне приходилось по части пицци в Италии и Испании. Германия — это единственная страна, где я ем с удовольствием и плачу слезами узнавания. Наслаждаясь мясопродуктами, я осознаю простую истину: мы дома всегда питались по-немецки! Разлетается вдребезги миф о родстве русской и парижской кухни. Наша кухня — тевтонская! И никакой в ней нет латинской крови. Вот разве наши серые, большие, рабоче-крестьянские макароны, слипшиеся на тарелке в братском объятии, роднят нас с итальянцами... я макарон никогда особенно не любила.

Самое важное в жизни — это еда. Еда, мама, папа... Всё остальное вторично. О еде я думаю много, особенно в путешествии, где жизнь заставляет вести суровый скрининг и мониторинг содержимого тарелки. Диеты разных народов специфичны: эскимосы едят личинок насекомых (говорят, они кисленькие), в Латинской Америке глотают фосфорических жуков (головой вперёд), китайцы лакомятся скорпионами, индонезийцы не пощадят и медузы, а мусульмане и евреи, наоборот, ужасно разборчивы и не едят не только жуков, но даже креветок и свинину. (Кстати, у христиан тоже есть запрещённая еда: конина. Мы давно позабыли об этом, поскольку нам её предлагают только во время революции).

Ну, они допустим и так, и эдак, но мне, человеку случайному, за что каракатица в чернилах? Наедине с непривычной едой мне трудно. Это у меня чисто возрастное нежелание привыкать к необычным яствам. Говорят, что после 36 лет уже не принять новую еду и музыку. Моё поколение имело возможность это проверить. В 90-е годы все биологи разбежались за рубеж, как незадачливые крысята, и напоролась там на местную пищу. Мы приняли вызов “суши”, но отвергали бутерброды, из которых выбивалась подозрительная зелёная шерсть. Распробовав китайско-тайскую еду, мы удивились, порадовались и отказались: она показалась нам такой же оригинальной, как борщ знакомому вьетнамцу, — он напрасно пытался улучшить это блюдо содой. Всё испытал, мы вернулись к истокам — салату оливье и котлетам, и тратим неординарное время на поиски приличной гречки.

Впрочем, и привычную еду я принимаю с трудом. У меня проблемы с излишним весом, с тех пор, как в детстве мне усилили аппетит с помощью гомеопатических горошков. Поэтому я ем не всегда, и не люблю русского гостеприимства, когда насильно впи-

хивают винегрет. Зачем? Если человек не ест, он не хочет, или ему не нравится. Припёртые к стенке, хозяева угрюмо оправдываются: “Но мы же столько наготовили, ну куда же всё это девать?”

Но тут, в этом детски невинном царстве пищи, душа моя размягчается. Чем же ещё смягчить её, если не уютной немецкой едой? Здесь можно отрешиться от чувства вины за то, что много ешь, и уже наел брюхо, за то, что две трети человечества голодают и объедают флору и фауну под самый корешок; отрешиться и безгрешно попросить третью сардельку.

Птичий полёт над прошлым

Германия — страна, где даже ведьма живёт в пряничном домике. Кажется, я обожгла себе нёбо кислой капустой, в следующий раз возьму щелочной картофельный салат. Но это мелочи. Моё будущее ясно и прозрачно. Помните Пушкина: “Летний сад — мой огород”? А мой огород будет вот тут, на Виктуалиенмаркет. Хочется толкнуть кого-нибудь под бок локтём и сказать: “Правда, хорошо?” Я тайком сую угощение привязанной к стойке собаке. Повернув ко мне интеллигентное, длинное лицо, собака воспитанно охватывает зубами кусок сардельки. Правильно ли я сделала? Может быть она на диете, может быть у неё диабет или аллергия? Но выглядит она отлично — упитанная, с блестящей шкурой. И люди вокруг меня здоровые и весёлые. В Америке толстые люди кажутся рыхлыми, а в Германии плотными и крепкими. Немцы на Виктуалиенмаркет рослые, спокойные, и практичные, без эдакой немецкой мечтательности.

— А не сходить ли нам на Октоберфест? — произносит в никуда подсевший ко мне немец. Но я иду в кофейную прямо у Петеркирхе. В витрине лежат всевозможные пироги, именно пироги, не пирожные, и среди них сочная ватрушка. Не видала я ватрушек ни во Франции, ни в Италии, ни в Испании; это ещё один подарок из детства. Загорелая немка, подавая тарелочку с полюбившимся мне куском, поощрительно объясняет: “Кезекиухен”.

Я сажусь на неудобный высокий стул у бегущего вдоль стены прилавка. Разнежившись, я отправляю в рот ложку за ложкой настоящего печёного творога, и мне кажется, что Германия доброй Бузиной матушкой-дриадой выросла из чайника и нависла над моим плечом. Мне нравится явная, неприкрытая немецкость происходящего; ведь я, признаюсь честно, люблю и немцев, и Германию. В Германии всё добротнее, красивое, вкусное. Лучшее исподнее —

немецкое. Многие его доставали даже во время оно (а мне было некогда, и я ходила в советском).

Но даже больше немецких трусов и сосисок люблю я немецких писателей XIX века. В их новеллах раскрывается доброта, уютность этой страны, где всё без задней мысли, всё начистоту и искренне, и люди все хорошие. Вот повесть Йозефа фон Эйхендорфа “Из жизни бездельника”; открываю в страхе, — наверно сейчас будут похождения — гадость всякая, пьянки, бабы, разврат, покаяние, — и читаю:

“Сидел я на крылечке, протирал глаза со сна и грелся на солнышке”...

“Хватит, — говорит ему папаша-мельник, — Надоело мне тебя кормить, бездельник! Ни на что ты не годен. Весна наступила. Так что ступай на все четыре стороны и сам на себя зарабатывай!”

“Зашёл я в дом, снял со стены скрипку, на которой я так хорошо играю; дал мне отец несколько медяков на дорогу; и пошёл я по длинной улице вон из деревни. Радовался я про себя, видя, что друзья мои и знакомые бредут на работу, пахать и копать, как вчера и позавчера, в то время как я свободно иду навстречу чудесам большого мира. И как вышел я за околицу, взял я мою любимую скрипку, заиграл и запел, шагая по дороге”. И дальше идут слова его песни, — стихи, которые потом стали классикой и были положены на музыку Мендельсоном и Рихардом Штраусом.

Безымянный герой ни к чему не пригоден, он только на скрипке играет да стихи сочиняет. И везде его привечают. Попадает он и в замок, где живёт молодая девушка, которую он считает графиней. Герой становится привратником замка и получает во владение сторожку с огородом, красивый халат и трубку. Первым делом он выпальвает прозаическую репу и картошку (а с ними вместе и легенду о копеечных немецких душах!) и засекает грядки цветами. Букеты цветов он кладёт под окна любимой. Уверившись в безнадежности любви к очаровательной графине, герой в отчаянии убегает в прекрасную Италию, и хотя пути к ней он не знает, волею случая ему удаётся побывать в Риме, а потом вернуться в замок и узнать, что его ждут и любят. Больше такой доброты и искренности я ни у кого не встречала. Ну, может быть в “Чёрной курице” Антона Погорельского, но не слепок ли она с немецкой новеллы?

Я сожалею, что проявила слабость характера, забросив в своё время немецкий. Мне хочется разговаривать с немцами, и не только ради пряников. Немецкий язык звучит красиво. Это язык Гейне и Гёте. Я хотела бы свободно читать на немецком своего любимого

Гофмана. Сейчас уже поздно, но в двадцать-то лет я бы его смогла выучить. Я даже пыталась. Но он не лез мне в глотку.

Две большие войны опрокинулись на Россию в 20 веке; на полстраны раскатилась немецкая оккупация. Отец вынес фронт и немецкий плен. Мать вынесла рытвё окопов, эвакуацию в Башкирии, туберкулез маленькой дочери — моей сестры, — бомбёжки в Мурманске. Семья отца оставалась в блокадном Ленинграде. Вернувшись домой, отец узнал, что почти все умерли.

Сначала войны в моей жизни не было. Просто не было, о ней как-то не говорили. В нашей семье была повышенная концентрация секретов, которые нельзя рассказывать детям, в том числе немецкий плен, который официально был позорным пожизненным пятном (за каждой папиной анкетой волочился длинный список лагерей, где он побывал как военнопленный). Но постепенно проболтались, и я уже лет в семь примеряла на себя: смогу ли выжить в лагере; тогда думала, что смогу; теперь — не уверена. Я и в детстве понимала, что позорен не плен, а людоедское отношение к страдальцам. Но я многого другого в семь лет не знала, были отдельные, не связанные факты, — плен, война, — без причин и без последствий. Это странно, и говорит скорее об устройстве детского сознания, чем об отсутствии упоминаний. Я не знала об Отечественной войне, пока не накатило двадцатилетие победы, и учительница, Галина Ильичина, не рассказала, как началось, как кончилось, как было, и мы слушали все сорок пять минут, тихо и сосредоточенно, как никогда. На торжественном заседании мы увидели ветеранов войны. Они сидели на сцене актового зала и плакали. Все ветераны были тогда молоды, не старше сорока. К пятому классу я уже знала, кто похоронен на Пискарёвке, сами запомнились стихи Ольги Берггольц на Пискарёвском монументе, и когда Нина Геннадьевна, учительница пения, не смогла их договорить от стоявших в горле слёз, я могла бы за неё закончить, но не посмела, и не посмела выспросить, когда и как вымерла её семья.

Самым страшным было увидеть фотографии жертв научных фашистских опытов, первого января 1967 года, перелистывая новый номер “Науки и жизни”. Я запомнила эту дату, и фотографии намертво впечатались в память. Увиденное эмоционально сильнее прочитанного. Ужасно думать, что то, что всё время делают с кошками, кроликами и лягушками, можно делать и с людьми, но действительно ли это самое отвратительное, что было в войну, я не знаю.

О войне нам не давали забыть статьями, фильмами и песнями, но тогда это воспринималось естественно, семейная и соседская память о войне были сильнее любой пропаганды, и сама пропаганда не казалась лживой и липовой, она была продолжением нашей жизни. Я лично знала женщин, угнанных в Германию, и мужчин, горевших в танке. Кто не знает из первых рук, тот никогда по-настоящему не узнает. А кто впитал в детстве, от близких, у того не вытравить. И мы, ленинградцы, помним 27 января 44 года, дату снятия блокады, событие, которое произошло семьдесят лет назад, за двенадцать лет до моего рождения, помним так, как уже не помнят родившиеся в Пост-Петербурге.

Я помню многое. Помню, как с отцом поехали отдыхать на трофейную территорию, в город, который папа называл Калининбергом, город Иммануила Канта. Кант сказал, что найдёшь только то, что ищешь, и оказался прав. Мы не искали вех войны, но находили даже среди курортных парков и пляжей. “Видишь, Танечка, эту закопчённую черепицу на крышах? Её подобрали с земли после обстрелов”. Папа помнил, как в Германии, в английской оккупационной зоне, вот так же восстановили крышу, и тут рванула случайная бомба, и вся черепица снова ссыпалась вниз. У памятника погибшим мы встретили фронтовика, который рассказал нам, как их рота много дней пролежала в болоте, под немецким обстрелом. “Мы пили наши саки”, — сказал он и заплакал. Тогда мне было восемнадцать, а Великой Отечественной — тридцать три.

У бойцов, прослуживших 6 месяцев в Ираке, нервный шок, “посттравматический синдром”, у них галлюцинации, они не могут нормально существовать; их лечат, или по крайней мере пытаются. А что случилось с нашей страной, где почти всё мужское население прошло через фронт, а женщины умирали с голоду в тылу, и, когда тыл становился фронтом, бежали под бомбёжками к более тыльному тылу? “Интересно, Танечка, устроена память, — говорил мне отец, — пахнет жареным мясом, и я вспоминаю, как мы вошли на отбитую у немцев станцию Лозовая”. Отцу перестала сниться война в 70 лет, значит, в 1986 году. Для тех, кто забыл эту дату, потому что давно это было, и не с нами, — официально война кончилась в сорок пятом.

В моей жизни много *невстреч* (это слово я украла у Анны Ахматовой); не встреч с десятками чудесных людей, которых я могла бы ещё застать на земле, если бы не война. Дедушка умер от голода. Так и не понимаю, как бабушка свезла его на саночках на кладбище — она была такая маленькая, а он такой высокий. Я знаю, что

за буханку хлеба его похоронили в отдельной могиле, и бабушка, вернувшись из эвакуации, даже примерно отыскала это место. От голода умерли моя прабабушка с сыном Михаилом (он очень любил моего отца и учил его охотиться); сёстры дедушки (тётя Глаша тихо скончалась вместе с мужем, дядей Жоржем, а тётя Женя и тётя Таля выпрыгнули из окна, чтобы больше не мучиться голодом). Дядя Шура, мамин брат, без вести пропал под Москвой. Это только те, кто погиб, но жизнь большинства моих родственников была искалечена войной на долгие годы.

И последнее: самая большая катастрофа России была косвенно вызвана немцами. Не будь первой мировой, телега бы не опрокинулась, революция бы не случилась, не было бы ни Ленина, ни Сталина. Немцы с помощью двух мировых войн уничтожили Россию и создали *новую историческую общность — советский народ*. Когда всё это вспоминаешь, хочется предъявить счёт, но кому?

У Германии два облика, добрая матушка и иступлённая фурия, и им у нас никак не слиться воедино. Так и немецкий — мне он очень нравится. Но я не могу его выучить.

К Петеркирхе пристроена колокольня Старого Петера (Альте Петерс). Ступенек наверх в ней — что дней в году, но я, наевшись кезеkjухена, смело вхожу в неудобную и узкую дверь. (Теперь, семь лет спустя, я удивляюсь своему героизму, но тогда я всё ещё пребывала в иллюзиях о своих физических возможностях). Ползу по ступеням и для бодрости читаю оптимистические надписи на их торцах. Выдавлено шариковой ручкой трогательное: “Коля, ты и здесь был!” Я заметила, что в России надписи острые, с уксусом, а на Западе смягчаются; наверно обстановка подавляет. На станции Площадь Александра Невского на ступеньке эскалатора мы видим надпись “х..” и скетч маринованного гриба в разрезе, а здесь всё робкое и цензурное. *Дым неотечества* был благотворен и предкам нашим. “Мы здесь были и устали до смерти!” — “Здравствуй, брат земляк!”, — писали они на стенках, по словам Карамзина (“Письма русского путешественника”). Где теперь те надписи? Осыпались? Была ведь пауза между надписями, длиною лет в семьдесят.

Ещё одна надпись, официальными буквами: “Раухен ферботен”. Какой дурак закурит в этой башне? Мелькают надписи одна за другой, лестничные пролёты всё не кончаются. В Париже я бы давно уже добралась до самого кончика Эйфелевой башни. На полпути я чувствую, что мне хочется остановиться, присесть на деревянную ступеньку, удобно устроиться, достать портсигар, размять пальца-

ми папиросу, чиркнуть спичкой и под этим благовидным предложением минут 10–15 посидеть, унимая стучащее сердце. Пройдя ещё несколько маршей, я уже готова к инфаркту, ещё две ступеньки, и сердце разорвётся. Но их нету. Лестница кончилась.

Я выхожу на смотровую площадку. Я вижу Мариенплац с птичьего полёта, пожалуй что орлиного, ласточки сюда вряд ли залетают, потому что до земли метров 80. Недостаточно высоко, чтобы увидеть план города, но достаточно, чтобы увидеть купола знаменитых и убедиться, что черепицу в Германии всё ещё любят, хотя человечеству давно бы уже пора перейти к солнечным батареям. Вокруг фонтанов ходят, и видно, что люди, но с этого расстояния трудно судить о модах. Зато все скульптуры, окна, шпили и рёбра Новой Ратуши, которую снизу видно только частями, теперь сложились в цельное здание. Рядом с ним целиком и полностью видна милая Старая Ратуша и прочная Хайлиггайсткирхе. Павильоны Виктуалиенмаркет, оказывается, круглые, с коническими крышами.

На горизонте виднеются некие сооружения, разрушающие сказку, но о них лучше забыть и думать о Мюнхене в его границах 19 века. Впрочем, с Альте Петерс рассматривали город не только в 19 веке; ведь колокольня существует с тринадцатого века, а надстрое на была в семнадцатом. Семнадцатый век — это в России Алексей Михайлович, рынды, а во Франции Людовик XIII, мушкетёры — век тот же, но как будто лет на сто поновее, чем у нас. Вот было бы интересно, если бы мне устроили “компьютерную анимацию” и показали, как менялась панорама Мюнхена с тринадцатого по двадцать первый век! Поднимались бы и рушились здания, бежали беженцы, маршировали солдаты; катилось колесо истории, а я стояла бы на месте в полной безопасности. От давнего прошлого я могу эмоционально отстраниться, рассмотреть всё с птичьего полёта: и чуму, и разорение Баварии — как будто это всё выдумка для моей забавы. Почему из приятного настоящего я всё время мысленно переносюсь в неприятное недавнее? Лучше бы в давнее приемлемое: подумать про 14 век, и закусить сосиской.

Вместо компьютерной анимации мне устроили звуковую, на спуске со смотровой площадки. Заговорили Эльферин, Цвольферин, и выводок их младших братьев, сработанных уже в 20 веке. Их голоса хлынули с вершины Альте Петерс вниз по ступеням, волна за волной заструились по стенам, залили лестничную клетку, накрывая меня с головой. Колокола зазвонили по мне, и об меня. После подъема на Альте Петерс у меня дрожали ноги и уши.

Я пошла лечиться на концерт в Петеркирхе. Села с краю на длинную скамью. Перед самым началом ко мне подошла пожилая немка. Она была полная, и ей было бы трудно перелезть через меня. Я подвинулась, и это её растрогало. Она поблагодарила меня, спросила, откуда я. Я сказала. “Руссише?” — переспросила немка. Резануло слух: всплыло “руссише швайн” из мини-словарика моего поколения, где хранятся полезные выражения вроде “хенде хох” и “Гитлер капут”. Забавно, я чувствительна к такому пустяку.

Немка поднатужилась, (английский дался ей с трудом), и грустно сказала: “У нас у всех одинаковые уши и рты, но мы не можем понять друг друга”. Да, очередной прокол от незнания немецкого; мне хотелось бы с ней поговорить. Рядом со мной хороший невраждебный человек. Чудная, добрая женщина. Добро распределяется неоднородно, главная его порция досталась пожилым женщинам, униженным возрастом и заботами. Молодым женщинам не до добра к ближнему, а мужчинам тем более, у них другие дела.

Забавно вспомнить удивление от первого встреченного мной живого немца: студент из ГДР, длинный, худой, белокурый, добрый, нет, разве такой человек может быть немцем, служить в СС, вымаривать Петербург блокадой? Странная наивность — на уровне эмоций, потому что умом-то понимаешь, что люди разные, сын за отца не отвечает, все пойдут туда, куда их послали, гусю навяжут свинью в товарищи, и т.п. Наивность прошла, но не совсем. Сижу в Германии на концерте, радуюсь, но размышляю — предатель я или не предатель? Не родины, естественно, а памяти папы...

Хотя объявление о концерте (симфонический оркестр баварских полицейских праздновал 850-летие Мюнхена) могло заинтересовать только Мармеладовых, которым *некуда пойти*, сам концерт оказался сносным: оркестр состоял не только из пожарных труб, и в кирхе была отличная акустика, — но мне не в лом. Измученная долгим днём, я задремала под грохот *Variationen uber ein Thema von Glinka*. Раньше я не признавала таких слабостей, и осуждала храпевшего и падавшего мне на плечо соседа в кинозале, но с тех пор состарилась, поседела, и сегодня Оле Лукойе брызнул в глаза сладким молоком уже мне самой.

После концерта я проснулась, воротилась в гостиницу и познакомилась с моим загадочным дешёвым номером, выбранным по интернету. Он был на первом этаже, и к нему пришлось пройти по длинному коридору мимо подсобок. Суприз. *Мы такого не видали*

никогда. Некоторые люди, но не все, пришли бы в неистовый восторг, выглянув из моего окна: за ним был штабель бутылок, видимо винный погреб. Стенки комнаты склеили из промасленной бумаги — слышно каждое слово. Хорошо, что слов в коридоре было произнесено немного, и все сразу, а потом воцарилось золото молчания. Удобства мне отмерили примерно на ползвездочки; в номере был только душ, а уборная в коридоре. Почему “наоборот” (туалет в номере и ванна в коридоре) не устроил архитектора, если от перемены мест слагаемых сумма не меняется, трудно объяснить, я и не буду. Ну и ладно, ведь лучше, чем когда-то в Великом Устюге; там в номере на шесть человек даже и душа не нашлось.

Я полна решимости пережить эту комнату, но от её неуютности со сёт под ложечкой. Как хрупок мой покой, и как легко мне заплакать. Душу залил иррациональный страх — как будто жизнь вышла из-под контроля, будто я — не я, а моя молоденькая мама в эвакуации; тоска, неизвестность, голые стены, лампочка, вкрученная в патрон под потолком. Но лампочка уже не из чужого, из моего прошлого, в Пулково, двадцать лет назад. Зимняя ночь перед отлётом в Америку, которую мы просидели под лампочкой без абажура, провожавший меня отец, сказавший словами Джека Лондона: *“что бы ни случилось, держи на Запад”*, — бессмысленное, неправильное предчувствие, что мы расстаёмся навсегда. Тогда я не с отцом расставалась, с Россией.

Глокеншпиль

Новый день, *“...порядки новые, на нас глядят глаза суровые, и смерть голодная нас стережёт”*, — рассеянно пел папа за ремонтом какой-нибудь обиходной вещи, крутя в пальцах гайку. Мораль этой мудрой песни — каждый день — чистый лист. Уточняя, папа пел песни, из которых он знал по строчке, не с целью вывести мораль; это сосредоточенный гул работающего двигателя. Мне достались по наследству папины присловья; я ещё своих подколола, слушая радио и вообще — вращаясь в обществе (*“никто не приглашает на танец смешную одноногую девчонку”*), — и часто, совсем как он, задумавшись и не замечая, выпаливаю какую-нибудь фразу. Кто-то, во мне сидящий, вырубает внимание и включает эту красивую музыку; как говорил папа: “лечу на автопилоте”. Хорошо, что автопилот большей частью доставляет в заданную точку, но иногда я по ошибке забредаю в незаданную, например в мужской сортир, и меня отрезвляет вид писсуаров.

В прошлый раз у меня как-то смазалась половина Мариенплац — я смотрела только на ратуши и не заметила, что вторая скула площади современная. Говорят, что врачи, которые выискивают на рентгене следы рака, пропускают туберкулёзные каверны. Моя ошибка прощительнее, и я не буду себя корить за отсечение излишнего: именно этой особенностью и отличается обычный человек от аутиста.

Сегодня я навела ментальный телескоп на противоположную сторону Мариенплац и разглядела здания добропорядочного современного вкуса, похожие на деловых, серьёзных не по годам мальчиков в дорогих костюмах. Вдоль одного дома в стену были встроены банкоматы, к которым прилипли туристы, прикрывая всем телом дисплей. В другом был книжный магазин, а в третьем кондитерская.

Кондитерская оказалась многослойна, как наполеон, (или *“нечисчерпаема, как электрон”*, если вы предпочитаете треуголке кепку). Пройдя вглубь, мимо прилавков с тортами и пирожными, где была большая суетня, я нашла бар. В баре можно выпить кофе со сливовым пирогом, осторожно забравшись на высокий стул или валик, прибитый к стене, и поставив ноги на кольцо вокруг ножки стола, чтобы они не болтались, как у ватного Петрушки. Из бара можно подняться на второй этаж и войти в большой зал, уставленный настоящими столиками, где торт приносят официантки, а такие куски всегда слаще. Я заняла место получше, у окна, чтобы насладиться спектаклем, которого ожидают все, кто в пришёл на площадь в урочное время. Внизу, в партере Мариенплац, не протолкнувшись, а я в ложе, устроилась с удобством, заказала торт с вишнями.

В одиннадцать часов вступают колокольцы с клавиатурой — Глокеншпиль, карильон, куранты, (“оно, он, или они”, в зависимости от языка). Под трели и перезвоны курантов всё на них приходит в движение, в строгой очерёдности. У этих часов, как у моей кофейни, два яруса. В нижнем танцуют бочары. Во втором ярусе пышно, с рыцарским турниром, празднуют свадьбу Ренаты Лотарингской и Вильгельма Пятого. Разумеется, это искусственные фигурки, а не живые артисты местного цирка. Марионетки курантов грубы и почти не способны к движениям: их прокатывают на колесе под звон колокольцев, и что уж в этом интересного после фильма “Аватар 3D”? Площадь должна быть пуста. Но не тут-то было. Народ собирается, любуется и дракой рыцарей, и пляской бочаров.

Почему всем так нравится это мини-кукольное представление? То ли потому, что от часов такого обычно не ждут, то ли потому,

что киноэкран — это абстракция, пространственная и временная, — а вот куколка-то оживает и пляшет прямо сейчас, и прямо перед тобой. Ведь хочется проникнуть в мир чудес и в них поучаствовать; за тем и жуём мухоморы, курим гашиш, предаёмся видеоиграм. Публика проявляет живой интерес к любым публичным действиям, заполняет улицу, чтобы посмотреть на процессию, парад или просто проезд знаменитости: наивное любопытство, заложенное в природе человека, проистекающее из благородного интереса к устройству окружающего мира, лежащее в основе всех пережлестов технологии, всех злых цветов и ядовитых плодов физики и химии.

Откуда что берётся? Все праздники когда-нибудь рождаются — Седьмое ноября началось двадцать пятого октября, седьмое января было когда-то двадцать пятым декабря, и так далее... Октоберфест, который кажется таким же вечным, как Новый год, появился только в 1810 году, когда все были очарованы народными гуляниями в честь свадьбы баварского крон-принца Леопольда, будущего короля Леопольда Первого. А свадьба Ренаты и Вильгельма состоялась в 1568 году, но оставила глубокий след; до сих пор от неё не могут придти в себя, как и от чумы. Танцы живых некукольных бочаров, которые начались в 1517 году, в честь избавления от этой неприятной болезни, до сих пор не кончились. Уже и бочары кончились, хотя когда-то их профессия казалась вечной, но какие-то ряженые в костюмах бочаров всё ещё танцуют на улицах Мюнхена каждые семь лет. Я попала в межсезонье, следующий танец намечен на 2012 год.

Можно понимающе ухмыльнуться. Танцы мюнхенских бочаров сейчас, в эпоху стирания границ и слияния валют, можно объявить циничной пляской для привлечения туристов. Но по-моему мюнхенцам нравится танцевать и ходить в ледерхозен. И они радуются любому поводу порадоваться. У нас в Петербурге с бочками не танцуют. Почему? По кочану. В Мюнхене все праздники в память какой-то большой пьянки, в честь радостного события. Допустим, бочары пустились в пляс при избавлении от чумы, чем мы хуже? У нас в Петербурге избавлялись от холеры. Во времена Николая Палкина (не кабатчика, отнюдь!) на Сенной площади народ вместо танцев кидал холерных больных с третьего этажа больницы на мостовую, потому что прошёл слух, что их собираются уморить доктора. Как должен бы выглядеть фестиваль в честь этого радостного избавления? Ну хорошо, тогда как насчёт свадьбы или коронации? Пожалуйста — организуем международный день Ходынки, и пусть под бой Кремлёвских курантов из окошечка Спасской башни с по-

ломанных мостков выпадают забавные куколки, и кровяная клочковатая капает.

А как насчёт Октоберфеста? На нашем Октоберфесте мы перепьём любого немца. Папа никогда не брал меня на демонстрацию, как я не просила, но он мне обрисовал вкратце, как проходит этот праздник. Каждая организация имела своё место сбора и место в колонне. Сотрудников папиного Ленгипрогаза собирали на Старо-Невском, по-моему в самом его начале, на Плац Александер Невски. К площади подтягивались и общественные маркитантки — папино название для сотрудниц Ленгипрогаза, закупивших по просьбе трудящихся водку. На таком горячем можно было вихрем долететь до Дворцовой площади. Да, это был праздник души, именины сердца. Начавшаяся официально демонстрация превращалась во всенародное гуляние; не всем удавалось возвратиться на метро, а некоторым и в автобус было не забраться, и чем старше я становилась, тем менее приятно мне было бывать на улице во время нашего Октоберфеста. Эта прекрасная традиция соблюдается и сейчас, но что-то в ней есть такое *не совсем аутентичное*... Она выглядит ликованием без повода.

Русские и американцы всё время стремятся начать с чистого листа, а мюнхенцы почему-то хранят историю, хотя им потенциально тоже есть, что вымарывать. Самое время притвориться, что я всё ещё сижу за вишнёвым пирогом, и (кстати для развития сюжета) размышляю о баварской истории. Так, если сходно, то что же я знаю о Баварии? Да то же, что и все. Когда-то на месте Мюнхена бродили динозавры; какие именно сорта, не скажу, но точно были. Потом появились всё ещё недооценённые моими современниками неандертальцы. (Между прочим, как показал геномный анализ, предки европейцев. Нахватили у них втихаря генов кроманьонцы, и ничего удивительного — многие из нас, если заинтересуются, нечаянно найдут у себя гены соседа дяди Бобы.)

Дальше в голове всё расплывается, мозг мой путается на поворотах истории, какие-то странные картинки мелькают: мерещится, что динозавры и неандертальцы распивают пиво в Хохбраухаусе — самом старом пивном баре Мюнхена. Или это неправильно? Пиво точно было. Всё стоящее в мюнхенской истории началось с пива, то есть даже не с пива, а с соли, когда в 13 веке некто Генри Лев (позднее герцог Баварии) разрушил соседский мост через Изар и построил свой. Мост — это стоящее вложение капитала. Мост — это пошлины, в данном случае с торгового пути из соляного города Зальцбурга в Аугсбург. На вырученные деньги Лёва построил острог,

обнёс его забором, и получился Мюнхен.

После смерти Лёвы город возглавили торговцы солью — Виттельсбахи (сами-то Виттельсбахи проводят родословную не от соли, а от Карла Великого), и правили в Баварии семьсот лет без перерыва, сначала как герцоги, а потом как короли Баварского королевства. Виттельсбахи, как курфюрсты (электоры, выборщики), выбирали императоров Священной Римской империи, а двое из них сами стали императорами.

Жизнь Баварии была бурной и насыщенной. Бавария пыжилась и тратилась на войны и политические игры, но как-то не очень удачно всё получалось, потому что Бавария была ни то, ни сё: слишком слабая для того, чтобы выступать самостоятельно, но в то же время слишком большая и богатая для того, чтобы её оставили в покое. На Баварию зарились, пытались перетянуть к себе и Франция, и Австрия с Испанией. В 19 веке её наконец заглотила Пруссия, объедавшая — простите, описка: я хотела сказать “объединявшая” Германию.

Первая мировая война была катастрофой для всех её участников. Что получилось с Россией и Германией, мы знаем. В Баварии в 1918 году устроили штурм собственного Зимнего и выгнали Виттельсбахов. Те благоразумно уехали, и не в Свердловск. Из народного порыва вышла краткосрочная “Красная Бавария”, от которой потом икнулось русским людям, и не только пенным напитком соответствующей марки. Красным коммунистам быстро напододали, но экономическое положение послевоенной Баварии даже после реставрации капитализма не улучшилось. Что было с нею дальше, после 1918 года, помню плохо, потому что это меня не интересует, даже, может быть, намеренно. По-моему, какие-то неандертальцы или динозавры устроили пивной путч, им дали по сусалам, но они не угомонились, и в Германии наступил то ли ледниковый, то ли юрский период. В конце его Мюнхен почти сравняли с землёй бомбёжками союзников.

Плюнем слюной на эти мерзейшие страницы истории и вернёмся в наше прекрасное — потому что удалённое — прошлое. Хотелось бы видеть, как выглядел Мюнхен в конце 13 века — наверно, как игрушечный замок из Диснейленда? Может быть... Но нам сейчас доступны только реконструкции, а это типичное “не то”. От тринадцатого века в Мюнхене остались только рассказы: “начали в тринадцатом, но сейчас мы на этом фундаменте видим результаты перестройки семнадцатого (века)”. Да. Мне кажется, что нет смысла

родиться в 13 веке, если ты ничего о нём не помнишь; лучше уж родиться в 1703 году и с блеском отметить трёхсотлетие. Так же, как лучше не быть совсем уж старым: старость постепенно перестаёт быть почтенной и переходит в разрушение.

Пожалуй, только с 15 века в Мюнхене сохранилось хоть что-то неперестроенное, или почти не перестроенное, во что можно вложить персты, убедиться, ощупать. Я бережно храню жестяную крышку от конфетной коробки — вроде как чеканка, хотя и не ручной работы, — с цветной панорамой Мюнхена, посреди которой торчат башенки Фрауенкирхе (Церковь Богородицы). Крышка от конфетной коробки мне нужна потому, что рассмотреть и сфотографировать фасад Фрауенкирхе толком можно только с вертолёта. У городской фрау две головы на длинных шеях, увенчанные зелёными чепчиками. На каждой шейке часы: то-то заботы часовщикам заставить их ходить в ногу. Чепчики-луковички и вся форма башен напоминают о легендарном иерусалимском храме, как его воображали во времена строительства кирхи. (И у Альте Петера есть похожие башенки с чепчиками, только они не доросли до его шатровой крыши). Башни будто сложены из огромных блоков, как игрушечная деревянная башня моего детства, элементы которой нанизывали на палку для развития детского ума. Каждый блок обвязан поверху красивой каменной тесёмочкой.

Фрауенкирхе — символ Мюнхена. Она появилась на свет позже Ур-Альте Петера, в 15 веке, соперничала, ревновала, дулась и не упускала случая утереть ему нос. Теперь это кафедральный (епископский) собор. Мюнхенским епископом был когда-то нынешний папа Бенедикт Сто сорок четвёртый. Кстати, он вам нравится? Такой с виду добрый и простой старичок. Жаль, что он уходит на пенсию — кого-то ещё пришлют?

Полная благостного умиления от вишнёвого пирога, как твеновская тётя Полли, я выхожу на небольшую площадь перед Фрауенкирхе, и со слезами радости рассматриваю трёхмерный макет микрорайона — уж так я люблю макеты зданий и городов; даже сейчас, когда голова моя поседела и все зубы выпали (последнее — гипербола для эмфазиса), я сразу начинаю населять такие макетики гномиками в атласных средневековых костюмчиках и представлять себе их бурную жизнь, полную колдовства и опасностей: сражения с кошками и воронами, кораблекрушения в луже, многодневное восхождение на сосну. Люблю также кукольные домики в разрезе, с крошечными стульчиками и тарелочками. Люблю представить и себя маленькой, сидящей в траве и с восторгом визи-

рающей на огромные, ходящие ходуном над головой шары кашек и диски васильков. Средневековые надгробные плиты, вделанные в стены немецких соборов (и Фрауенкирхе — не исключение), для меня тоже иногда оживают, рыцарь в шлеме со страусиными перьями, занявшими полплиты, лежавший на спине с закрытыми глазами, учтиво приподымается, приглашает посетить его гранитный мир, и, когда я отказываюсь, по его лицу пробегает тень, как у петербуржца, которому приезжий признался, что не хочет в Мариинский театр.

На площади кучками скапливаются туристы в ожидании наёмных рассказчиков, и мне хочется их сфотографировать — как некоторые любят фотографировать лемуру и райских птиц, так я люблю фотографировать людей, — но аппарат у меня теперь не плёночный, и пока он сфокусирует, меня уже все замечают и с негодованием отворачиваются. Не стоит задерживаться на площади. На моих глазах она зарастает уродливыми лесами, фасад собора заволакивает зелёной тряпкой... или это не сегодня, а потом когда-то, через несколько дней? Неважно, ведь это путешествие всё равно умозрительно.

Я подошла к portalу. Вблизи Фрауенкирхе произвела на меня самое приятное впечатление, потому что из экономии сложена из кирпичей, а не из камня, а я с детства люблю кирпичную кладку. Из кирпичей получилось быстро — всю махину отгрохали за 20 лет. Построил Фрауенкирхе Йорг фон Хальспах (хотя электор Альбрехт IV наверно считает, что это он её построил). Он умер сразу после завершения строительства, — наверно оттягивал свою смерть силой воли, стремясь увидеть церковь законченной. (Это моё объяснение, а может сам Хальспах сказал бы мне: “Что за глупости? На всё воля Божья!”) Умерший Йорг фон Хальспах был похоронен во Фрауенкирхе. Можно посмотреть на его надгробие и на портрет, коллективный — его вместе с кровельщиком Хайнрихом фон Штраубингом, — выполненный знаменитым Яном Полаком.

Про Фрауенкирхе рассказывают, что чёрт сговорился спонсировать строительство, если церковь будет построена без окон. В церкви есть место, откуда не видать ни одного окна, кроме недавно прорубленного. Именно туда и привел сатану Йорг фон Хальспах. Дьявол, как порядочный человек, проглотил эту казуистику. С досады он топнул ногой и оставил на прощанье вмятину в полу. Нет, как хотите, не верю. Не верю! Враньё — не может быть, чтобы чёрт не сумел правильно составить контракт. Не правда ли занятно, что ни

в одной сказке ни один Балда не сумел обмануть чёрта по-умному, а всё какие-то детские прибаутки и уловки? Зачем стараться, если понятно, что по-настоящему чёрта никогда не проведёшь?

Интерьер церкви побелён, только нервюры на потолке охряно-жёлтого цвета, и центральный неф, обрамлённый восьмигранными колоннами, кажется огромным объёмом светлого пространства. Йорг фон Хальспах наклонил все несущие конструкции на готическом потолке под углом в 45 градусов, так, чтобы при виде уходящей вдаль анфилады заплетённых в розетки нервюр казалось, будто смотришь снизу на туго надутые ветром парашюты. И кроме этой пустоты, воздуха и охристых парашютов больше ты сначала ничего не видишь, и чувствуешь себя освобождённой от гнёта деталей, и в то же время обманутой: как будто пришла в собор 20 века.

Постепенно начинаешь приглядываться и замечать обломки прошлого. В боковых часовнях много старых алтарей, 17 века. Витражи в основном новые, занятные по краскам и исполнению, но кое-где можно найти старые панели и пару-тройку небитых окон 15 века. Сохранились поясные изображения святых со старого клироса, то ли самого Грассера, то ли его школы; при нём как раз и строилась Фрауенкирхе. Скульптуры эти не крашенные, а тонированные: удивительно тщательная работа. Есть две скульптуры Ханса Лейнбергера. Нам всё это особенно интересно. У нас ведь в Петербурге церковных скульптур почти нет; я помню, как мне нравились головки святых на бронзовых воротах Исаакиевского собора, самого католического из православных. Честно скажу, я и их очеловечивала и представляла, как они ночью прыгают на пол и резвятся в соборе. (Максим Горький! Где ты, мой гипсовый Максим?)

Во Фрауенкирхе похоронен Людвиг IV Баварский, ставший императором Священной Римской империи. Людвиг мне лично мил тем, что он защитил философа Вильяма Оккама, когда тому грозила папская инквизиция, и дал ему спокойно доработать до пенсии в Мюнхене. Приятно, когда твоя команда выигрывает (был же когда-то и Zenit чемпионом), прикольно, когда твой электор становится императором Священной Римской империи, и за то ему, Людвигу, красивый памятник. На памятнике много всего, как на немецкой книжной иллюстрации. Его собирали постепенно, из кусочков. Первой, в 1468 году, через сто лет после смерти Людвига Баварского, Хансом Хальднером была сделана мраморная статуя, лежащая на катафалке. Лицо её так реально, что задумаешься, не портретное ли тут сходство, хотя откуда ему взяться через сто лет? Статую видно

плохо, искоса, сквозь окошечки в огромном надгробии, сделанном Хансом Крумпером в начале 17 века в виде павильона, окружённого балюстрадой. По углам балюстрады установлены коленопреклонённые рыцари со штандартами, которых тоже откуда-то принесли — они были сделаны на 20 лет раньше домика, Губертом Герхардом. На крыше павильона посередине лежит подушка с императорской короной, а по углам сидят фигуры в лавровых венках, с мечом и скипетром. Под ними сидят парочки ангелочков. Перед павильоном стоит статуя Людвига Баварского в костюме 17 века, когда штанишки были с пуфами.

В Германии в 16–17 веке были приняты такие надгробия; они вероятно считались необходимым атрибутом мещанского благополучия. Вильгельм V тоже хотел памятник из бронзы, заказывал детали разным мастерам (как писал Ник. Тряпкин: “*а теперь, пристроившись к мартенам, приколаем денежки к горбу*”), но не успел их смонтировать, и фигуры, которые он подкапывал к могилке, разметало по разным углам Мюнхена: ангел поит верующих святой водой в Михаелскирхе, а львы охраняют Резиденцию электоров.

Фрауенкирхе была в своё время переделана в стиле барокко. А в конце 19 века её вернули в готику (“*ложки взад!*”), посчитав барокко дрянью. Готику возлюбили как вершину вкуса, а барокко ... даже слово-то какое плохое, и надо спрямить этот неправильный загиб искусства. Мощный такой волонтаризм; волевое решение: готика — хорошо, барокко — плохо. И потому его как бы не было. В современном мире мы уже такого не делаем, держим дистанцию, реставрируем, а не воссоздаём. Теперь мы не выбросим вон из храма алтарь 18 века, но вот саму историю по-прежнему любят изрубить в котлеты... Меня это злит чрезвычайно, как будто мне врут про мою собственную жизнь. Наверно потому, что и я создала себе воздушный замок из событий прошлого.

Хочется взять кого-нибудь за пуговицу и не отпускать, пока не выслушает и не согласится. Вот, слушайте: прошлое или присваивают, или отрицают. То *любят свиной хрящик, то арбуз*, и причём всех кидает из крайности в крайность. То кажется, что царизм здорово, то — что нездорово. То православие плохо, то православие хорошо. Есть разные способы расправиться с уродливым прошлым — забыть, заменить, реконструировать только из наименее приятных кусков. И то, и другое скверно, потому что вырастает поколение с пудренными мозгами. И не впервые: средневековая церковь стремилась растоптать и забыть античность, а нынешняя русская власть и церковь стремится забыть сталинизм и придумать на месте ста-

рой историю новую, подходящую к *текущему лозунгу момента*. И вот уже пухнут, множатся легенды, и целое поколение принимает их за непреложную истину, ссылается на ряженого крестьянином, который говорит: “*Теперь не надо бояться человека с ружьём*” — вот мол как мило было во время революции... Легенды кинематографа — самые безобидные. Хуже — легенды учебников истории, сказания о Нибелунгах, которые удивили бы самих Нибелунгов, мифологическая фигура Марла Какса. И история, как Фрауенкирхе, оборачивается то барокко, то готикой, то стройкой социализма.

Польза великолепия

Я любила Эрмитаж больше всех других художественных музеев, потому что там было по-настоящему дворцово. Вместе с баварским архитектором Лео фон Кленце я считаю, что в музей приходят разные люди, в том числе и такие, как я, и все должны получать удовольствие. Идея бетонных музеев с белыми стенами, о которую бьёшься мордой и душой, весьма свежа. До двадцатого века все в Европе поголовно считали, что общественные здания должны быть пышно украшены. Вспомните, как скудно жили наши русские крестьяне, и сколько при этом золота украшало их церкви. Вспомните, в каких отвратительных пятиэтажках, в какой скученности ютились трудящиеся Древнего Рима, но при этом какие замечательные строились для них бани (термы). Надо же хоть где-то оттянуться?

Мне в Зимнем дворце нравилось всё, кроме того, что он быстро кончался. В Эрмитаже мне не хватало парадных залов. Пройдя по второму этажу Зимнего из конца в конец, полюбовавшись часами с павлином и галереей 12 года, рассмотрев камеи в золотой комнате, я испытывала грустное чувство: “И это всё? Окончен праздник?” В Мюнхене есть возможность упокоить томление духа, посетив Резиденцию — королевский дворец, который по площади гораздо больше Зимнего. (Дворцы во многих городах Германии называются Резиденциями, но простим эту скудость воображения: и Эрмитажей тоже много). Боясь, что я в ней утону без подготовки, как можно утонуть в Эрмитаже, я заранее прочитала отличную книгу Сэмюэла Джона Клингенсмита “Польза великолепия: церемониал, общественная жизнь и архитектура при дворе Баварии”. Вот что в ней рассказано.

Для начала — даты. Резиденцию начали в 1385 году и закончили через четыре сотни лет, а потом ещё восстанавливали после миро-

вой войны. Главные постройки и перестройки произошли во время расцвета Баварии, то есть с века шестнадцатого по восемнадцатый. Строили Резиденцию Виттельсбахи: герцоги, курфюрсты, потом короли Баварии. Поговорим об этих людях, воздадим им должное, иначе камни Резиденции повиснут в воздухе, не прикреплённые к истории.

Потомки торговца солью Карла Великого Виттельсбахи начали скромно, прикопляли денежки и влияние, и в полную силу вошли только в 16 веке. Начиная с Альбрехта V (1528–1579) у баварских герцогов были уже серьёзные возможности и желания: *рвались груды в императоры* и ползли в электора, расчётливо заключали браки, упоённо ввязывались в интриги, сплеча решали религиозные споры, — в общем, жили гораздо интереснее меня.

Гвоздь программы этого семейства — Максимилиан I, внук Альбрехта V, сын Вильгельма V, — как видите, для появления всеильного Максимилиана нужно было пять Альбрехтов и пять Вильгельмов, *не скоро дело делается*. А Вильгельм-то V, он что? “Глокеншпи-иль!” Да, вы правильно вспомнили, но ничем другим, кроме сцены на курантах, его не помянуть. Он был лентяй, он не хотел ни работать, ни учиться. Вильгельм отрёкся в пользу сына, как только тот закончил Ингольштадтский университет: пусть теперь сыночек поработает в лавке, по распределению. На пенсии Вильгельм прожил довольно долго и всё время занимал у сына деньги. Да, так вот, — в Киеве дядька, в Мюнхене у сына университетское образование, а в пригороде у отца дыра в кармане. Максимилиан пытался перевоспитать своего отца; безуспешно. Но примечательно, поскольку попытки младшего поколения исправить старшее в те времена были редки. А в наше — часты, потому что все мы живём долго, и наша старость сильно перекрывается с их зрелостью.

Максюша... — я думаю, он нам разрешит называть его по-дружески просто Максом? Голос с неба: “Нет, не разрешит!” — Ну ладно, Максимилиан... правитель, про которого рассказывать противно, потому что всё, что он делал, он *делал по-большому*, но из гимна слова не выкинешь. Максимилиан (1573–1651) — был амбициозен и хорошо поиграл в политические шахматы. Германия смутного мутного семнадцатого века стала доской, на которой схватились протестантский север и католический юг. С победы Максимилиана над чехами при Белой Горе началась Тридцатилетняя война, в которой сначала ему везло, но потом счастье изменило, протестантские князья оттеснили Максимилиана с захваченных земель; шведы ок-

купировали Мюнхен, после чего Баварию пограбили французы. Баварию жалко, Максимилиана — нет; он был изрядная скотина, как я вам расскажу впоследствии. Правление его было долгим, и потом он ещё успел всех победить и выцганить у императора Фердинанда звание курфюрста (электора).

После смерти Максимилиана, а умер он вскоре после Вестфальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну, воцарился его сын Фердинанд-Мария (1636–1679). Да, вот уже и вторая половина 17 века; как годы-то летят! Он женился на внучке французского короля Генриха Четвертого, о котором мы много слышаны от Дюма-отца. Генриетта-Аделаида сама была из Савойи и завела при дворе французские порядки, хотя и не сразу, потому что ей мешала баба-тормоз, её свекровь, Мария-Анна Австрийская. Мария-Анна была не склонна к веселью и пыталась приставить невестку к делу, поручив ей следить за удоем коров на герцогской ферме. Возможно, после смерти Марии-Анны с молоком наступили перебои, но зато Генриетта-Аделаида озарила жизнь Фердинанда, выросшего при суровой матери, при скучном немецком дворе. И не только Фердинанда озарила, но и всё, к чему прикасались её лёгкие пальчики. Фердинанд-Мария во всём ей потакал, и после смерти её очень закручинился. Сам он, хоть и был хорошим и любящим человеком, кажется, не мог похвастаться ни артистизмом, ни государственной сметкой.

Если Фердинанд-Мария был бесцветной личностью, то сын его, Максимилиан II Эммануэль (1662–1726) — цветной, но уж очень неорганизованной. Он часто опаздывал на работу, после особенно удачной и изнурительной охоты просыпался вообще к вечеру, а придворные, которым положено было дожидаться его выхода, изнывали от неопределённости, и в конце концов тоже стали появляться, когда захочется. Пришлось Максимилиану Эммануэлю издать рескрипт, в котором он признавался, что и сам виноват в том, что трудовая дисциплина распаталась, и постарается впредь не опаздывать.

Лучшим временем для Максимилиана Эммануэля была победа над турками под Веной, а дальше всё ему как-то не везло. Ничего особенного — практически у всех конец жизни оказывается много неприятнее её начала! Максимилиан Эммануэль мечтал унаследовать испанскую корону и для этого вон из кожи лез: ездил в зарубежную командировку в Брюссель поуправлять испанскими Нидерландами и женился на дочери австрийского императора Марии Антонии (Испания к ней была очень даже при чём по железной ди-

настической логике). Но вся эта подготовительная работа оказалась напрасной; испанский царь из него не вышел; когда Мария-Антония умерла (сказались отсутствие антибиотиков и общая антисанитария дворянской жизни), Карл II Испанский его начесал, составив завещание в пользу Бурбонов. Кругом враньё...

Тут уж пришлось брать, что дают: Максимилиан Эммануэль женился на Терезе-Кунигунде Польской. Ввязался в войну с Австрией за испанское наследство, не ради себя — ради Франции, из спортивного интереса. И опять Фортуна скурвилась: австрийский император разозлился и изгнал баварского электора из Баварии. Максу пришлось отсиживаться во Франции, пока война не окончилась. Потом начались неприятности со здоровьем и финансами: все деньги он просадил на попсовые загородные дворцы и великолепную коллекцию фламандских художников, хранящуюся теперь в старой Пинакотеке Мюнхена.

Я всё-таки сбилась на фамильярное “Макс”, но именно так в путеводителях сокращают длинное имя Максимилиан, чтобы не мучить читателей: смерть лишает властителей грозного ореола, и никто уже не боится оскорбления величества. Сын Макса, Карл-Альбрехт (1697–1745) тоже был живчик, и тоже женился на дочери австрийского императора, — на сей раз, чтобы стать императором Священной Римской империи. Этот расчёт оказался вернее, Карл-Альбрехт стал императором в 1741 году. Но ничего хорошего всё равно не получилось: Австрия обиделась и в отместку оккупировала Мюнхен. Умер Карл-Альбрехт довольно рано, как вы можете рассчитать по датам его жизни — как-то они быстро тогда, брык — и нету. Сын его, Максимилиан III Иосиф (1727–1777) вёл себя тихо, пытаясь залатать финансовые дыры в бюджете. К этому времени вес славного имени Виттельсбахов изрядно приуменьшился.

Бавария была самым беззаботным из немецких дворов и самым скучным из французских. Хотя баварцы ценили веселье, но балы устраивали нечасто. С дамами вели себя резво, но ложились спать вовремя. Жили широко, строили не по средствам, но не позволяли придворным переть провизию из погреба; не так, как в гламурном Версале, где многое съедали совсем не те люди; большой вышел скандал, когда до Марии-Антуанетты не донесли отличную копчёную рыбу, присланную ей в подарок.

Двор обслуживало полторы тысячи прислужников, и не меньше трёхсот так и жили во дворце. Для кормёжки этой оравы работало 16 кухонь. “Немцев надо хорошо кормить и поить”, — на-

ставлял Людовика XIV маркиз де Вийяр под впечатлением встреч с Максимилианом Эммануэлем. Кушали в Резиденции прекрасно, во всех комнатах, человек по семьсот в день: херрен унд дамен, и обрист гофмейстер, и обристкаммерер, и обриштталмейстер, и обрист ягермейстер, и слуги, и доктора, и аптекари, и музыканты, и охрана, и камердинеры, и камерпортеры, и пажи, и придворные карлики, и носильщики портшезов, и смотрители скатертей, и накрыватели столов. Кормили всю службу, но рачительно запирали двери во время обеда, чтобы с улицы не примазывались. Количество блюд из экономии регламентировали: слугам полагалось только семь горячих блюд, фрукты, сыр и пиво; курфюрсту и его семье — двадцать четыре горячих блюда в две перемены, а третья — холодная.

В парадных случаях курфюрсты обедали прилюдно, в присутствии городских зевак. Сигнал к парадному обеду подавало 12 труб и два барабана. Электор и электрисса обедали за столом, а лучшие люди Баварии подавали им ножи, вилки, кушанья и по требованию давали отхлебнуть из бокалов с вином. Поглазеть на парадный обед курфюрста не пускали персон, внешность которых отбивает аппетит.

Для увеселений устраивали, хотя и нечасто, маскарады, балы, катания на санях по городу. На альпийском озере Штарнбергзее, с замком Штарнберг, устраивали водные прогулки на флотилии барок и гондол, которую возглавляла копия знаменитого судна венецианских дождей Буцинторо.

К огорчению путешественников, баварские электоры не любили выставлять свою личную жизнь напоказ. В отличие от французских королей, к которым в спальню имел право заглянуть распоследний бродяга, в Резиденции электорам было где уединиться и без помех натянуть носки и подштанники. Перед частными покоями находился длинный ряд приёмных, где ожидали придворные; чем выше ранг, тем ближе подпускали посетителей к кабинету и спальне электора. Чем больше приёмных, тем тоньше можно дифференцировать взаимоотношения, поэтому каждый новый электор наращивал длину анфилады.

Впрочем, в те времена всем мало-мальски приличным людям площади требовалось много. Если не гнаться за анфиладами и жить скромно, то минимальный набор помещений, необходимых для удобной жизни, включал комнату с зеркалами и коллекциями медалей, диковин и древностей, комнату для хранения документов (счетов за газ и электричество?), библиотеку, часовню, галерею и бильярд-

ную, хотя в этом списке для многих не хватило бы музыкального салона, гардеробной, кабинета и личной столовой.

Подчинённым большинство начальников кажутся неприятными, эгоистичными и взбалмошными, но со стороны, сквозь глубь веков в непутёвых потомках Максимилиана I просматривается что-то милое и симпатичное: папы и мамы, братья и сёстры любили друг друга, заботились о слугах, извинялись за опоздания, хорошо играли на музыкальных инструментах. Много было по-домашнему. К огорчению карьеристов поздние Виттельсбахи устраивали неформальные ужины, где за стол можно было садиться не по ранжиру. Во время карнавала затевали шуточные свадьбы, роли на которых распределялись по жребию — придворный играл роль курфюрста, а курфюрст подавал ему кушанье.

В груди моей закипает возмущение. Заложив страницу пальцем, я восклицаю: “Ей-Богу, зря их прогнали красные баварцы. Полноценными тиранами они никогда не были, много тратили собственных средств на благоустройства Мюнхена, и всё, что они построили, приносит теперь солидный доход от туризма. Стоило ли заменять их неандертальцами?”

Баварским герцогам и электорам хотелось блеска и лоска, поэтому вся их жизнь была связана с постройкой и перестройкой Резиденции. В мюнхенские церкви Виттельсбахи вкладывали деньги наравне с бюргерами, а Резиденцию строили и украшали единолично. Резиденция строилась, как осиное гнездо: налепляли из слюны и камушков всё новые апартаменты то для августейшей вдовы, то для стареющего кайзера, то для электора-коллекционера, то для капризной супруги, то для деспотической бабушки.

Началось с водяного замка, Вассербурга, право на который отвоевали у горожан. Это был хороший немецкий замок средних размеров: смотровая башня, высокие крыши, под которыми прячется несколько этажей, ров с водой, отдельный выход, чтобы не проезжать каждый раз через город, переругиваясь с фанатами, фалловерами и фулюганами. Больше всех к превращению Вассербурга в Резиденцию приложили руку курфюрст Максимилиан I и король Людвиг I. В семнадцатом веке Максимилиан I объединил все отдельно стоящие пристройки в один громадный комплекс с несколькими внутренними дворами и разбил регулярный сад. А уж потом, в девятнадцатом веке, Лео фон Кленце под присмотром Людвига I пристроил солидное крыло к и без того монструозной Резиденции.

Хотя общий план от Максимилиана до Людвига не особенно менялся, Резиденция прошла через множество циклов “перестройка-пожар-перестройка”: придворные дамы часто засыпали, не потушив свечу. Но самыми пожароопасными считались не дамы, а театры (хуже кухонь!), и Максимилиан придумал строить для театров отдельные здания, — такой подход был тогда в Европе новинкой.

Большая в конце-концов получилась Резиденция: десять внутренних дворов, 130 комнат, открытых для обозрения, — комнат приличного размера, как в старых петербургских квартирах, которые потом превращали в коммуналки. Я пришла и узнала, что её за один раз даже и не дают посмотреть; нужно приходить два раза. Но зато к каждому визиту прилагается билет в сокровищницу Альбрехта Пятого.

В сокровищнице можно провести целый день или вообще в неё не ходить, во избежание фрустрации — так там всего много. Там полутьма, там витрины, в них изделия из слоновой кости, короны, золотые и серебряные шкатулки, распятия, сцены из Евангелия, выложенные драгоценными камнями и украшенные разноцветными эмалями. Сначала оторопь берёт — что это тут такое малюсенькое, извитое и сверкающее — голова же заболит! Чтобы оценить эти миниатюрные шедевры, нужно переключиться с нынешнего века на прошлые, вспомнить, что это замечательные игрушки, прикинуть к ним жадным и внимательным взглядом. Сколько в них вложено труда и искусства! Как они красивы, если в них вглядеться! Мешает только их изобилие. Представьте, что у вас есть одна вещь — любая, ну, хотя бы вот этот складень императора Арнульфа Коринфского. И более того — она ваша, ее можно потрогать, и можно тщательно осмотреть все завитки и проследить позы всех фигурок из слоновой кости. После этого хочется купить другую вещь, а потом другую... Что Альбрехт и делал.

Какой-то Альбрехт Пятый, никому не известный, до него четверо, и после наверно столько же — и вот: коллекции редкостей, античных бюстов, заказы вещей волшебной красоты. В Баварском музее я вождедела блюда, заказанные герцогом в Тироле; их прозрачное непьющее стекло растворилось в полумраке, оставив в воздухе золотую паутинку и снежную кисею гравировки. Мебель? Ну кто бы стал делать такую красивую мебель, если бы её не оплачивал Альбрехт? Много удивительных штук осталось после Альбрехта. Он, как и я, любил модели городов и заказывал их для своей коллекции Якобу Сандтнеру. Макеты эти — Ингольштадт, Ландсхут, Мюнхен и Небесный Град Иерусалим, выставленные в Баварском музее, —

познавательные произведения искусства. И еще Альбрехт Пятый основал библиотеку.

Нет, он человек необыкновенный. Обычный человек, разжившись деньжонками, он что сделает? Баб наймёт, в Куршавель поедет. Обычный человек, добравшись до кормила, он что сделает? Свои порядки заведёт, памятник себе поставит, чтобы весь из золота и вращался во все стороны. Чтобы понять, что Альбрехт — человек блестящий, сравним его с Максимилианом I: первый необычен, второй типичен. Обычен человек, который за всех решает и отнимает; редок человек, который создаёт, правитель, у которого интересы не только животные, имеющий вкус и не сумасшедший. Но позвольте, у Макса университетское образование! Да кому оно помешало быть пошлым человеком? Ну, дворец, конечно, перестроил, но всё остальное как у всех... накопления, захват территорий и новых чинов. И моралист, как все посредственности; запретил крестьянам танцевать на свадьбах — мол, это греховно; удобное было время — можно было не только обирать людей, но и лишать остатков радости. Какая уж там библиотека!

Выйдя из сокровищницы, я прошла в самую Резиденцию. Много и долго можно рассказывать о её залах, но зачем? Всё равно, пока не приедете, не представите с чужих слов. Расскажу только о том, что больше всего запомнилось. Я уверена, абсолютно все, побывав в Резиденции, обратят внимание на три зала — грот, антиквариий и галерею предков.

Гроты, выложенные раковинами, были модны в эпоху рококо, но у нас, в России, где рококо почти не прижился, мне они не попадались, и даже теперь, когда я повидала уже несколько итальянских гротов, они меня удивляют самой своей идеей, тем, что кому-то когда-то это казалось красиво. Конечно, раковины улиток и диатомей красивы, — красивее парижской Сен-Шапели. Как артистично налипают друг на друга мидии, какие изысканные вазы из сросшихся устриц выбрасывают волны к нашим ногам, какие чудеса скрыты на дне моря, там, где зарождаются жемчужины-барокко! Помню Крым 66 года, Коктебель... О его истории я ничего тогда не знала, профиль Волошина, просматривавшийся в горном хребте, меня не занимал, зато я научилась плавать и нашла сердолик. Тогда я впервые встретила с морским моллюском. Сестра достала мне из глубины Чёрного моря живую рапану; в рапане меня восхитило всё: и толстая нога, и розовые перламутровые отвороты её бежевого сюртука. Жива ли ещё та рапана, или

уже умерла, и море разбило её маленький дворец о цветную гальку Сердоликовой бухты?

Узоры и гирлянды, выложенные в гротах подкрашенными раковинами, призваны повторить природу. Но повторить природу, сделать так же красиво, как она это умеет, непросто. Красота раковины, переданная через тысячекратный усилитель, меркнет. Мюнхенский грот привлекает не красотой, а изобретательностью и пестротой пуантилизма разноцветных раковинных мазочков. Раковинами в бледнорозово-мятно-серой гамме выложены филёнки дверей, пластины стен, карнизы и вазы на карнизах. Издалека грот выглядит, как увесистый кусок индийского храма с застрявшим в нём мраморным метеоритом. Индийские божества, по пояс высунувшись из стены, склоняются над чашами, выпиленными из мясо-красного мрамора.

Между прочим, самый лучший грот, по мнению Джеймса Рейнольдса, художника, написавшего очерки о барокко, находится в замке Остерхофен: *“Раковины всех морей и океанов со всего kreщёного мира, всех оттенков белого, чёрного и розового, выложены там в форме карты мира”. А он жив, этот грот, или разбомблен? “Не знаю, я не был там после войны” — честно ответил Рейнольдс. И правильно, что не был, зачем огорчаться? “По несчастью, или к счастью, истина проста: никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне...”* Грот Резиденции был разрушен во время войны, но восстановлен в точности, по сохранившимся фотографиям. На восстановление грота каждый житель Мюнхена принёс речную раковину — море далеко, но река Изар близко.

Ещё один замечательный зал, Антикварий, напоминает... ох, сейчас я опять такое бухну! ... ну, в общем, последние петербургские станции метро, те, что накрыты полукольцом свода. Не осуждайте — я ни на что не претендую, да и вообще с меня в последнее время сваливаются брюки. Мне новые станции нравились, пока я не пришла в Антикварий, и не поняла, какая они гадость и серость по сравнению с этим замечательным залом, украшенным цветным мрамором. Простор тот же, а впечатление совсем другое. Антикварий, длинный, как станция метро, — это самый большой в Германии зал эпохи Возрождения. Полукружья опор делят его свод на долики, в которых высоко над полом прорезаны окна. В толстых пилонах сделаны ниши для статуй. Вдоль стен тянутся два мраморных прилавка, один повыше, другой пониже, и на них расставлены бюсты. Свод и стены расписаны не хуже эрмитажных лоджий Рафа-

эля — плафончики в рамках с кудряшками и тонкий, но обильный, всё заполняющий гризайль-орнамент из лавровых гирлянд и жгутов, раковин, гроздьев, ваз с букетами, шестов, увитых листьями и стеблями, грифонов, граций, муз, невиданных птиц и античных профилей.

Если бы я не знала, что до этой конструкции додумались в 16 веке, я подумала бы, что этот зал построил архитектор Нового Эрмитажа, но Антикварий — не Кленце и не Метрострой; он был выстроен по заказу всё того же оригинала, Альбрехта Пятого, захотевшего достойной оправы для коллекции античных бюстов. Я ужасно захотела сфотографировать Антикварий, но замешкалась, и тут вбежали люди — туристы, а за ними очень мрачный надзиратель. Думаю, увидит мой фотоаппарат и заорёт: “Хенде хох!” Да, всё равно бы не вышло. Уж очень фотокамера у меня поганая, хуже телефонной.

Галерея предков была спроектирована Кювилье в стиле рококо. Это длинный-длинный, узкий-узкий зал с вызолоченной лепкой плоского ползучего рельефа: грифоны, вазы, из горл и горлышек которых вырастают роскошные букеты, оплетая венками золотящиеся в три ряда, один над другим, рамы. То есть я хотела сказать не рамы, а портреты Виттельсбахов, но как-то язык соскочил, потому что рамы — это первое, что бросается в глаза, а портреты-то так себе, не лучше ленинских, которые для присутственных мест рисовали все, кому не лень. К тому же не все там похожи на самих себя, потому что фотокарточки детей и внуков Карла Великого давно растаяли в тумане веков. Но галерея нарядна, и, я уверена, должным образом впечатляла иностранных послов.

Ну как не любить Кювилье? Кювилье нельзя не полюбить. В отличие от, скажем, Бальтазара Ноймана, у Кювилье рококо воздушное и не пошлое. Джеймс Рейнольдс рассказывал, что Кювилье сроднился с Баварией, но не прижился в Австрии. Кювилье был необыкновенно маленького роста, и бестактная императрица Мария-Терезия предложила ему вместо жеребца поехать на пуделе: ну вроде как Николай Первый стал бы называть Пушкина чёрной обезьяной, для смеха. Вот и не получила Мария-Терезия каменного “Евгения Онегина”. Зато Бавария не ударила в грязь лицом перед Кювилье: ему покровительствовали Макс-Эммануэль и Карл-Альбрехт, а потом и Максимилиан III Иосиф, при котором к Резиденции был пристроен роскошный театр, ныне носящий имя архитектора — золотые ложи с занавесями красного бархата и прочие красоты. В этом театре прошла премьера оперы Моцарта “Идоменео”. Весь театр сгорел во время бомбёжки, и от великолепных деко-

раций, бывших неперменной частью театров той эпохи, увы, ничего не осталось, но роскошные рококошные крашенные кружева стюка, которыми был оплетён зрительный зал, успели спрятать, и с конца пятидесятых выставляют в специально для этого построенном помещении, вход в который по отдельному билету. Где ознакомиться с подобными театрами, если в Мюнхен ехать некогда? Пойдите в Мариинский, Александринский или Михайловский театры, но хорошо бы потом всё-таки повидать и театр Кювилье, потому что наше золото тяжеловато.

Для Людвига Первого часть покоев была оформлена в стиле неоклассицизма архитектором Лео фон Кленце. Резиденция гордится залами с картинами из жизни Нибелунгов. Нибелунгов писал Шнорр фон Каролсфельд (это фамилия, а звали его Юлиус). Разумеется, я видела подобные вещи; ничем меня не удивишь. Где? В Аничковом дворце пионеров, росписи на стенах Комнаты Сказок — “Сердце Данко” Горького. Для тех, кто не помнит наизусть эту прекрасную легенду, напоминаю: Данко вырвал из груди собственное сердце, чтобы осветить дорогу людям, но потом, когда народ побежал то ли в коммунизм, то ли на электричку, Данко сгоряча уронил и сердце раздавили. Мораль повести о советском Нибелунге мне до сих пор неясна. “Для людей не жалко и собственного сердца?” Или может быть: “На кой дьявол метать сердца перед свиньями?” Или... — о крамольная мысль! — ...Горький предчувствовал, что его накормят отравленными конфетами на пути в коммунизм, когда он перестанет освещать путь советской молодёжи?

В Резиденции сбылась мечта идиота: я получила погонные метры царской жизни, и вдруг обрадовалась, что эта роскошь конечна. Резиденция — Эрмитаж на стероидах, из которого продали перво-сортные картины, и оставили только второсортные. Зимний дворец не может наскучить, ибо это дом картин. А Резиденция — дом Виттельсбахов. И как любой дом, наполненный мебелью, в конце концов начинает надоедать.

Наконец я выхожу из этого лабиринта, оглушённая увиденным. Теперь я могу обойти и оглядеть Резиденцию снаружи. Н-да. Представьте себе большое здание желтовато-серого песчаника: см. облицовку Казанского собора, — к месту, благородно, но скучно; под сегодняшним серым небом я хотела бы испытать архитектуры из цветной чаши.

Зайдя за угол, попадёшь на Одеонплац. На ней стоит охряная Театинекирхе — всё веселее тёмного песчаника Резиденции. В торце

Одеонплац находится лоджия Фельдхерренхалле, построенная современником Лео Кленце Фридрихом фон Гартнером. Лоджия посвящена павшим во франко-прусской войне. Здорово она мне что-то напоминает. Ну конечно! Лоджию деи Ланци во Флоренции, только там очень скученно, всё какие-то драки и похищения на высоких пьедесталах, а тут не стали захламлять пространство античностью, поставили только две статуи, Иоганна Тилли, фельдмаршала времён 30-летней войны, и Карла Филиппа фон Вреде, военачальника наполеоновских войн, окаменевших в раздумьях, словно Кутузов и Барклай-де-Толли.

Напротив Театинекирхе, у Резиденции, находятся ворота в Хофгартен, регулярный сад Резиденции, окружённый галереей с настенными росписями, навеянными Элладой. В галерее мне сыграли на баяне и на гитаре. Хорошо они все играли, не так, как я. В благодарность за эту музыку я сейчас оболью галерею помётом критики. От советских потуг создать в греческом вкусе у меня всегда возникало чувство дешёвки, подкреплённое штукатуркой вместо мрамора и грязно-жёлтым цветом этих сооружений. Сейчас мне *больно и смешно*. Больно от безобразия галерей вокруг Хофгартена, не облагороженных даже эллинистическими фресками, и смешно от того, что я опять попала на удочку наивного убеждения “советское — значит худшее”. Не худшее, а имперское, то есть средней руки. Забор Хофгартена можно смело переносить в Ленинград пятидесятих годов. Я предпочитаю решётку Летнего сада, или на худой конец любую чугунную решётку банальному глухому забору, скрытому под личиной эдакой *пропилеи*.

Хофгартен практически лишён деревьев, если не считать аллеи прямо перед фон-кленцевским фасадом Резиденции; это партерный сад, где по газонам процарапаны прямые линии дорожек, сходящиеся к центру, к элегантному, хотя и толстоватому павильону, в котором мне сыграли на скрипке. К скрипке у меня отношение двойственное, потому что некоторые исполнители любят на ней эдак задушевненько загундосить, считая эти звуки за высший пилотаж возвышенности. Мы с папой любили, чтобы скрипка пела, а не скрипка. Оба мы — настоящие ценители музыки, мы судим объективно, поскольку ни на чём сами не играем. Мне приговор был произнесён очень рано, меня музыке даже и не пытались обучать за полным отсутствием слуха, а вот папа чуть не попал под этот каток, потому что баба Катя попыталась учить его скрипке. Папе очень понравилась скрипка — натягивать на ней струны, канифолить смычок. После тщательного техосмотра всё-таки приходилось переходить к

экзерсисам, но вскоре папу спас его дед, поинтересовавшись: “Катенька, ты что — хочешь, чтобы он по дворам ходил?” Уроки тут же были отставлены: в те невесёлые времена перспектива угодить в дворовые музыканты была реальной, сам дед, бывший полковник и командир батареи, торговал спичками в ларьке на Андреевском рынке, чтобы прокормиться, и баба Катя не захотела, чтобы у её сына была возможность опуститься ещё ниже.

Сегодня было много красивого. От красоты остаётся светлое чувство, как после купания. День закончился в ресторане. Официант обрадовался, хотя вроде во мне и не нуждался (посетителей поднакопилось много), усадил удобно: мне хорошо было наблюдать за обедающими. Ресторан — это бесплатный зоопарк с комфортабельными клетками, из которых мы лобуемся друг другом. Немецкая публика (я условно всех считаю немцами), — она такая, как бы это сказать... Поскольку людей я описываю так же умело, как полковник Пикеринг Элизу Дулиттл (“Волосы?” *“Неопределенного цвета”*. “Глаза?” *“Неопределенного цвета!”*), вместо самодельных портретов буду сверяться с эталонными образцами артистов кино.

Друзья мои, как догадаться о возрасте женщины? По кистям рук и по артистам, которых она помнит. Не успела я повесить пальто на старинный деревянный крючок и усесться, как за столиком слева приземлились одетые с иголки Александр Галибин и Олег Янковский. Вид у них был страшно деловой, и они сразу уткнулись в меню. И я тоже. Хочу мяса, хочу картошки, и их заказываю. Обжираться не стыдно, мы в Германии, и Галибину с Янковским уже принесли дымящееся блюдо с крупным фрагментом свиньи, одно на двоих. Я задумалась над тем, какая же это часть тела и мысленно стала прилаживать ее к целому животному, но не получалось: над этим блюдом поработал какой-нибудь Микеланджело, и хорошо убрал всё лишнее и узнаваемое. Не колено ли это?

Справа от меня некто, похожий на Эльдара Рязанова времён “Иронии судьбы”, в пике веса и режиссёрской карьеры, улыбался, смотрел в одну точку и что-то ласково бормотал. Перед Эльдаром стоял стакан литра на полтора, наполненный жёлтой жидкостью. Он обладал чудесными свойствами. Пока глядишь на него, он всё полон, но стоит только отвернуться, как стакан пуст, и Рязанов требует анкора. Я думаю, что сидеть одному в пивной, надираться и разговаривать с воображаемым собеседником ужасно. Но я не знаю наверняка. Может быть этот путь выбран намеренно. Ведь если кто-то никогда не женился — это неспроста. Если у кого-то нет друзей

— это не случайно. Мы хозяева своей судьбы, хотя, по дуализму диалектики, при этом мы можем только то, что мы можем. Невозможно не судить, ибо жизнь нуждается в осмыслении. Но суд субъективен. Как прочертить границу между счастьем и несчастьем, между великолепием полезным и бесполезным, между “достаточно” и “слишком много”? Резиденция показалась мне чрезмерной, а её сад — пустеньким, но ведь кто-то его сажал с любовью. И всё корявое, геометричное, безобразное, неприличное соответствует чьим-то вкусам.

Мне принесли огромное блюдо картошки с мясом и пиво. Янковский и Галибин по очереди откусывали от свиной ноги, как настоящие Нибелунги. Жидкость в стакане Эльдара убывала. Впечатления дня опрометью удирали из переполненной памяти, грозя раздавить меня, как Данко. Я допила пиво. Янковский с Галибиным меж тем усидели колена и собрались уходить. Перед Рязановым поставили новый стакан, и он радостно улынулся.

Голая правда о барокко

К чему скрывать, зачем держать камень за пазухой? Вынем его. Я приехала в Германию не только из любви к немецким романтикам, но и ради немецкого барокко. Барокко стиль малоуважаемый, моветонный, и даже само слово “барокко” ругательное (как, впрочем, и “готика”). У него два истока, прозаический и поэтический: “барокко” — нелепый, бессмысленный аргумент в споре; “барокко” — жемчужина неправильной формы. (Подайте мне эти жемчужины! Из таких жемчужин, оправленных в серебро, получаются отличные подвески). Но я не разделяю пренебрежения к барокко, я его люблю и не собираюсь оправдываться.

Стиль барокко как-то вдруг вырос из Возрождения, хотя его никто не сажал. Появление барочных излишеств объясняют тем, что религиозная реформация породила контрреформацию и укрепила светскую власть; и тогда всем, хотя и по разным причинам, захотелось роскоши: контрреформаторы сделали ставку на зрелищность католической пропаганды, а укрепившаяся светская власть решила пожить для себя. Объяснять мебель социальными условиями вроде бы глупо, и мы любим за это осмеивать марксизм-ленинизм. Но чёрт его знает? Может быть что-то в этой мысли и есть. Как вам такое — если есть выбор, находится всё больше людей, которые хотят сделать выбор; человек перестаёт быть винтиком, становится индивидуальностью? Были людишки, стал Народ. В отсутствие вы-

бора людишек бьют по пяткам, при наличии выбора народу льстят; вышестоящие организации называют его мудрецом, почитая за дурака. Когда появляется некто с красивым именем “народ”, появляется барокко, стиль, приближенный к народу, потому что блестит и переливается огнями, — дуракам приятно.

Барокко процвёл во многих странах. Он распространился, как подорожник, везде, где ступила нога европейца. Даже китайский император заказал кстати подвернувшемуся иезуиту Джузеппе Кастильони европейские павильоны для дворцового комплекса в Пекине. Корни этого подорожника одни и те же, а листочки разные. Всякому, кто попутешествовал или хотя бы полистал “альбомы по искусству”, ясно, что в каждой стране барокко своё: гуманистическое в Италии, рациональное во Франции, экзальтированное в Испании, сумасшедшее в Мексике, нарядное в России... Павильоны китайского императора были украшены барочными каскадами, но вдоль них расселись вместо аполлонов и *быстрых разумом Невтонов* драконы и китайские болванчики вроде тех, которые у нас продавали в 50-е годы, в прекрасное время дружбы с Китаем. В восточных португальских колониях, создавая предметы роскоши по европейским образцам, местные мастера придавали Мадонне индийский изгиб бёдер или китайскую раскосость и ставили мебель на ножки в виде ши-тсы (буддийских чудовищ, парочку которых можно найти и в Петербурге, у домика Петра Великого).

Куда бы не приехал, увидишь необычное и своеобразное; тем более, что в барокко распахнут простор для воображения: уж так этот стиль сложен, так полон деталей, подробностей; избыточен, как рог изобилия. И в маленьком кувшинчике, и в большой церкви нет ни одной прямой линии, ни одной гладкой поверхности; всё раздроблено на фасетки, переходит из грани в грань, искрится отражённым светом, оплетено листьями акантов, опутано паутиной арабесков. Барокко не упустит напомнить, что золото должно блестеть. Это стиль для тех, кто любит поглазеть. Благородной простотой от барокко и не пахнет; по сложности барокко подобен самой природе, в которой всяко место занято, и из переплетения стволов, корней и листьев непременно торчит ещё и мелкий папоротник.

Как всякий стиль, барокко определяет собой эпоху. Это не просто здания, мебель, посуда — это мировоззрение. Помните газетную рубрику “*образ жизни — советский*”? А тут образ жизни — барокко. Во времена барокко *весь мир был театр, а люди в нём актёры*

(это сейчас все мы клоуны). Жизнь состояла из спектаклей. Прежде всего возник великий спектакль мессы: ежедневный праздник для всех, от малых до великих; ритуал, разработанный так же тщательно, как процедура партийного съезда, поражающий ореолом золотых лучей на драгоценной дароносице, душистым ладаном, богатой утварью, громкой музыкой и сладостными песнопениями, парчовыми драпировками и одеждами священников, непременно из парчи того же рисунка.

И светская власть себе кое-что урвала. Если Возрождение знало только низкий уличный балаган или высокую церковную мистерию, в эпоху барокко появился светский театр. Барокко смешало в хрустальной вазе разума музыку, поэзию, архитектуру, живопись, инженерию, и получилась опера (“действие”), почитаемая вершиной искусства. В опере и музыка, и слово, и оформление были равнозначны; зрители приходили не только ради страданий дяди Вани, но и ради роскошных декораций и умопомрачительных костюмов, ради чарующих мелодий, исполненных на музыкальных инструментах в форме фантастических животных. В пьесах ждали элегантных мизансцен, а в прологах — апофеозов местного владетельного князя, представленных артистами в хитонах, тогах и пеплосах, расположившихся картинными кучками среди урн, колонн, и прочих разных атрибутов античной жизни. Театры для создания многослойных иллюзий строили особенные, с глубокой сценой, и иногда открывали её в сад, где по ходу действия устраивали фейерверки и конные процессии. Быстро появились типовые театры с типовыми декорациями и наглядные пособия, распространявшие удачные опыты постановок. Из книжек брали не только фасоны костюмов; жесты актёров для выражения скорби и радости тоже черпали из специальных руководств, так что европейское балетное искусство чуть не стало аналогом японского театра Но.

Спектаклями в своём роде были и дворцовые церемонии, проходившие в декорациях, в которые были превращены залы дворцов, где настенные зеркала и полированные, как зеркало, паркетные раздвигали пространство до бесконечности, где плафоны, живопись которых перетекала в лепку, приглашали в параллельные миры, обманывая глаз, стирая разницу между рисованным и реальным. Театральным реквизитом служили парадная одежда; мебель на ножках, которые вроде уже не ножки, а листья аканта с копытцами; выставленные в витринах кристаллы минералов, коллекции фарфоровых фигурок, оправленные в серебро редкости: рога единорогов, яйца грифонов.

Пьесами с распределёнными ролями были утреннее одевание и парадный обед, на которых монарха демонстрировали публике, приём послов, вечерняя ассамблея с картами и музыкальным дивертисментом. Церемонии непринуждённо перерастали в перепляс дворцового балета, в котором участвовали все придворные во главе с королём или герцогом, и никто никому на ноги не наступал. Балеты длились иногда всю ночь. В те времена балеты любили больше спектаклей. Что спектакль! Сидишь, как дурак, и не всегда на удобном месте, спина затекла. А в балете ты сам участник действия, и проявляешь себя с самой лучшей стороны.

Дворец и дворцовый театр был зрелищем для избранных. Но и самый нищий имел право на толику блеска. Для городских жителей устраивались живые картины, парады и карусели, под которыми подразумевались не нынешние круглые платформы с лошадками, а процессии разодетых всадников и дам в повозках. Для этих шествий строили временные, но великолепные триумфальные арки, фонтаны, помосты; пускали фейерверки, и не просто так, а в фантастических декорациях, для чего могли даже целую церковь замаскировать под гору с водопадами.

Поводами для праздников бывали коронация, свадьба, и даже прибытие в город короля или посланника. В 1687 году в Рим приехал виконт Каслмен, посланник английского короля Иакова II. Приехал, но как бы и нет, потому что после его появления в течение девяти месяцев готовили всё необходимое для торжественного въезда. За это время сработали девять карет с аллегорическими фигурами и ещё много чего, в том числе метровые статуи из сахара; сахар — замечательный материал для отливки прозрачных фигур. Зачем сахарная скульптура? К банкетному столу — то ли дешевле стекла, то ли предполагалось облизывать. Нанимали художников зарисовывать, писателей описывать эти изыски, и публиковали памфлеты с иллюстрациями, для тех, кто не успел и опоздал, да и просто на добрую память и похвальбу.

Думаете, только у них? Да нет, и у нас! О шествия, о *moes*, о, великолепные властительницы восемнадцатого века, побывавшие за границей, узнавшие, почём фунт изюма! Что для невесты свадьба, то для императрицы коронация. Процессию Елизаветы Петровны, состоящую из конных и пеших, с санями, на которых устроены были целые павильоны, пришлось укладывать в четырнадцать зигзагов на страницу коронационного альбома в полфолио. Проехав через несколько триумфальных арок, не уступавших римским ни в чём, кроме качества стройматериалов, Елизавета Петровна сошла с

золочёной кареты и под балдахинном проследовала к Успенскому собору. Мантию за ней несли двенадцать человек. Впереди шагали три герольда в вышитых кафтанах с длинными жезлами, увенчанными “*двоеглавыми орлами*”, а сзади — десятки придворных и *тридцать четыре весёлых чижа*. Пировали по случаю коронации в Грановитой палате. Слова у альбомного автора пропали при виде великолепия пиров, и на помощь пришли гравюры, запечатлевшие среди прочего “*Рундук с жареным быком и прочими приуготовлениями (животными помельче)*”, — “*без покрывки*”, чтобы для потомства не утратилось ни одной подробности, и “*Фонтан, из которого пускалось белое вино*” (фонтан с красным тоже был/бил). Винные фонтаны представляли собой пирамиды со статуями Вакха и какой-то девушки, вероятно Цереры, с маскаронами, плевавшими вином, и амурами, лившими его из кувшинов в огромную чашу, размер которой указан в три сажени.

Непреренно устраивались фейерверки. Мне-то похвастаться нечем; мне удалось испытать только один российский салют по случаю многолетия Октября, на *фейеры* которого не затратили много *верка*. Он был жидковат и неизобретателен, и ко мне на Стрелку Васильевского острова градом сыпались отработанные гильзы. А вот на коронацию Анны Иоанновны, *Богом данной радости всероссийской*, как гласила посвящённая ей надпись, построили палисад с пирамидами, вензелями и цитами. Балюстрада палисада была оторочена плоскими с огнями. Из-за балюстрады из огнёмётов били вверх мощные столбы огня, между ними горели ростральные огни на мини-ростральных колоннах, полыхали огненные зигзаги, и вспыхивали целые созвездия. Для фейерверка Екатерины Алексеевны сделали галерею на манер Камероновой, с античными статуями и ангелочками во вдохновенных позах. С каждым днём, с каждым часом стиль барокко становился всё лучше и лучше, и наконец взвился до небес пушистым плюмажем рококо.

Пошлый стиль рококо-барокко оказался живучим. Он не уступил классицизму ни пяди в дохрущёвской борьбе с архитектурными излишествами. Вот казалось бы классицизм восторжествовал, ухватил барокко зубами за ухо, стряхнул с фасада лишние колонны, ан нет! Рококо невозможно было искоренить, он оплетал строения классицизма, как глициния, заползал во внутренние апартаменты, прорастал в интерьерах благоуханными кистями нежнейших цветов. Из каких только стран, откуда только не торчали завитками изящные уши барокко! Искусствоведы-прокрусты для простоты от-

рубают барокко ноги в 18 веке, но на самом деле барокко никогда и не кончился. Не кивает ли он нам со зданий модерна? И не в рококо ли мы увязаем, когда печём свадебные торты с кремовыми завитушками, покупаем белые козетки с золотыми шнурами и шьём платья из синтетической парчи? Пускай стиль барокко вырос из религии, но обращён он к земному в человеке, в нём нет экзальтации и аскетизма, зато есть уважение к благородному инстинкту любопытства, и именно потому барокко неуничтожим.

Вы может быть не любите барокко, не любите его театральности и красочности, и белый мрамор вам милее золочёного дерева. Ну что же, не любите, но не отнимайте у меня мою молодость. Нам, петербуржцам, барокко близок потому, что мы его дети. Мы выросли среди барокко. Вы мне сразу: “Как же так? Ведь в Петербурге есть ещё классицизм, модерн, и...” Прежде всего отбросим “и”, потому что я говорю о тенденциях, а не об отдельных зданиях — буддийская пагода погоды не делает. Пускай классицизм, модерн, барокко. Но классицизм это *продолжение* барокко *иными средствами*, а модерн это вольный сын барокко, эдакий Шеншин-Фет. Простодушное сознание не различит модерн, рококо и барокко: один стиль плавно перетекает в другой, здесь больше завитушек, там меньше. Мелодию в этой сюите ведёт барокко, обильно раскатившись по Петербургу жемчугами порванного ожерелья. (Помните старую шутку, с годами утратившую двойное дно: “Почему в Ленинграде каждый архитектор расстрелян?”)

Не мы изобрели барокко, но когда мы за него взялись, сделали великолепные вещи и добросовестно их вызолотили. Растрелли использовал колонны и лепнину на всю катушку: тут и атланты разных возрастов, и гирлянды, и заключённые в картуши головки ангелов, и совсем странный декоративный элемент — позолоченное яйцо (диетическое?). Ах, какие ограды сплёл Растрелли вокруг парадных дворов! Ах, какие решётки чёрного витого железа с золотыми волютами ограждают дворцовые балкончики! А вспомните дворцовые интерьеры: зеркала Зеркального зала, белая лепка Белого зала, китаизмы Китайского павильона, янтарь Янтарной комнаты, золото Золотой анфилады... Голубые гостиные, Пурпурные приёмные и Синие столовые нельзя рассматривать впопыхах, они созданы для медленного, вдумчивого любования; это пир для глаз. Когда я увидела Версаль, я пожалела французов: “нищета!”

Может быть вас подташнивает, как рационального француза, от позолоты — я вам сочувствую, сострадаю вашим недостаткам и неготовности принять праздник в чистом виде. Что же, тогда от-

дохните в Павловском дворце, который многие хвалят за целомудренную скромность отделки, и подумайте, что он? Классицизм или рококо, завезённое Марией Феодоровной из Венеции?

Пускай барокко — плод зрелого просвещённого ума, но плод этот возвращён для детского безудержного веселья. Наши дворцы — настоящая, пойманная за павлиний хвост радость жизни. Для советских деятелей царские дворцы были аргументами в борьбе социализма с капитализмом; для нас, для таких, как я, источником красоты, возносящим над обыденностью, над серыми однообразными кварталами новых районов. Жизнь взрослых представлялась мне угрюмой, нищей и скучной. В ней царил обаяловка и принудительный труд. Мы, как и тысячи других петербуржцев, жили совсем не там, где надо бы. Мы были выселены на окраины — такова была цена за ванную комнату и отдельную квартиру. Подбрюшье Петербурга приводило меня в состояние бессильной ярости. Я кожей чувствовала взвешенные в воздухе раздражение, усталость, враждебность. В большом и злобном городе приходилось быть начеку, внимательно осматриваться в парадной, убегать от призраков с расстегнутыми пижинками. Петербург барокко спорил с Петербургом босяков Горького, униженных и оскорбленных Достоевского и беспрестанно уступал в споре, но иногда...

Однажды я проснулась и увидела золотое дерево. Оно было увито лозами; у его подножия танцевала девушка с бубном. Папа привёз мне на радость бабушкины канделябры. Не думаю, что они были такими уж старыми, наверно конца 19 века; но может быть и ошибаюсь. Канделябры обладали свойством превращать любую комнату во дворец. Барокко заполняло старыми вещами старые петербургские квартиры, там, где потолки уходят ввысь, в комнатах кафельные печи, на лестницах изразцы и витражи. Такая квартира всегда лабиринт, и в ней полно странных жителей родом из сказки, фей и троллей, причудливых, небритых, странно одетых, с папильотками в волосах. Стены этих жилых домов для меня прекрасны тем, что неотделимы от их хозяев. Выражение “неотделимы”, — как будто хозяева вросли в стену, и их можно только выломать из неё, — очень даже к чему. Людей этих именно выламывали из Петербурга, высылая в какую-нибудь Сибирь или Среднюю Азию. Выламывали, чтобы выбросить на любимую советской прессой *свалку истории*. И какие славные штуки можно было потом найти на этой свалке, если покопаться.

Выломали не всех и не всё. Барокко боролось с имперским, государственным за право и правду личного и частного. Вещи, оставши-

еся от века добротной ручной работы, светились лучиком радости в тёмных и бедных комнатах. Радостью были бронзовые чернильницы и пресс-папье, старинные книги с тиснёной золотом рельефной обложкой, печатки с ручками из сердолика, фаянсовые собаки, фарфоровые чашки, погибавшие одна за другой (гибель начиналась всегда с ручки, тоненькой и извитой). Весёлый выпуклый бочок, золотые розы с зелёными листьями, букетики васильков, или просто золотая каёмка с узором по краю ребристой, раскрывающейся кверху колокольцем чашки... немецкое мещанство.

Но мещанство мещанству рознь. Есть мещанство человеческих отношений, низкое и злобное. Есть мещанство доброе, бытовое: вкусные пироги и ватрушки, ситец изящного мелкого рисунка, блузки с воротничком, манжетами и крошечными перламутровыми пуговками; мещанство чаепитий не из захватанного граненого стакана, а из фарфоровых чашек, не на газете-правде, а на скатерти (к чаю можно цветную, но к обеду непременно белую). Это мещанство света, любви. Оно противостоит нашей общей грязи жизни, неустроенности, к которой мы привыкли, и которую сами себе охотно устраиваем, расписывая стенки непристойностями, бросая окурки себе под ноги. Да вот хотя бы наши туалеты, им бы хоть чуточку немецкого мещанства: люди не должны так жить, такое возможно только в хошерном бараке во время вышедшей из-под контроля эпидемии.

Приятно прикоснуться к волютам барокко, к холодной бронзе, погладить гладкий живот бронзовой танцовщицы на подсвечнике: мелкие складки её одежды как мелкая рябь под пальцами. Надо любить малиновый бархат, фигурки из бисквитного фарфора, фотографии в резных рамках, кресла с изогнутыми подлокотниками; надо, а то от прошлого ничего не останется.

Новое барокко можно построить, и строят, но старое повторить нельзя. Дворцы наши уникальны. Сейчас как ни старайся, как ни подражай, хотя вроде бы копии и верны, всё не то, рассыпается на элементы без присмотра подлинного гения барокко, не вплетается в канву нашего времени, ибо не будет больше балов и ассамблей с мемуэтами и обедами в 64 перемены; сервиз незачем, и полированный паркет ни к чему. (Ну подумайте, что и кто теперь в нём отразится?) А голова Афинеи Паллады на комодe и вовсе не к месту, того и гляди, опрокинешь и разобьешь; ну, впрочем, не жалко — новодел. Остались ностальгические охи об ушедшей эпохе.

Барокко не было бы без несправедного богатства. Ради барокко богатство должно было сгуститься в одной точке; рассредоточенное богатство не породит золотых дворцов. Мелодии барокко сыграны

смычками страданий на скрипках времён, их ноты вычерчены кровью. Я помню, что и наше, и не наше барокко построено на костях. Но на костях строилось и многое другое, не такое красивое, — железная дорога, которую всосала в себя вечная мерзлота, канал, которым не сумели воспользоваться. Всё, что было, было не ради барокко, и было бы и без барокко. Жизни тратили всегда, если не на золотой дворец, так на великие стройки пятилетки и построение всеобщего счастья. Даже в наш век, век демократии, как-то всё равно всё уходит в прорву, и живётся бедно и нечисто. Простим за кости, — простим от имени тех, кто уже умер и голоса не имеет. Хочется думать, что времена сейчас новые, и усвоены уроки истории, гибелью моих родственников, а с ними и ещё ста миллионов, выкуплено право на уважение к жизни. Больше уже не станут строить прекрасные соборы Св. Петра на хребтах нищеты и горя.

Барокко давалось дорого, но оно уже есть, сейчас, тут с нами, свершившийся факт, и не надо ломать построенное на костях, потому что иначе кости зря, всё зря. Жаль ведь, что уморили старую русскую интеллигенцию, хотя вся та культура выросла из крепостничества; выросла, и пусть бы, зачем скашивать? Пусть остаётся старое. Но не знаю, одобрить ли смету, если кто-то захочет всё повторить. Я не знаю, справедлива ли цена, заплаченная за дворцовую роскошь, стоит ли красота страдания; на этот вопрос каждый ответит по-разному. Красота Петербурга оплачена кровью, и победа Ленинграда оплачена кровью. Я принимаю это как неизбежность, у меня, у русской, есть иммунитет к смертям, но надо ли гордиться этими смертями? Мы очень, очень много прощаем во имя великой эпохи, великой культуры, великой России — действительно ли эти ценности выше жизни и смерти, выше мещанского счастья отдельного человека? Действительно ли должно быть “или-или”? Я... Я хочу это знать, но не знаю...

Церкви Виттельсбахов

Новый день, порядки новые... Мне приснилось, что вместо головы у меня обруч — красивый, медный. На завтрак я ем немецкое хлебобулочное изделие. Сдобные кезекухен в противовес пирожным дышат домашностью. Пирожные пикантны и праздничны, ватрушки безыскусны и будничны. Дома мало кто делает пирожные, а булочки пекли почти все в моё время. Мы вертели булочки-рогалики из теста, смазанного сливочным маслом и присыпанного сахарным песком. Масло и сахар таяли в пекле печки, пропиты-

вая тесто и придавая ему в серёдке влажную полупрозрачность. Я любила разворачивать рогалики ещё горячими, сначала выедать сладкую мягкую сердцевину, потом заедать её плотной корочкой с привкусом подгоревшего сахара. Пекли также и шанежки — диски теста с углублением, которое наполняли клубничным вареньем. В жару духовки донце шанежек вздувалось, приподымая клубничины, как на витрине. Никакого изыска, просто горячее тесто, от которого шёл добрый, пьяный запах дрожжей.

Я умею замешивать тесто по-старинному, так, как бабушку выучили на рубеже двадцатого века, и как делали его все мы до тех пор, пока я не узнала быстрый сметанный рецепт. На деревянную доску насыпают муку горкой, сверху кусок сливочного масла, и рубят его всё мельче и мельче, превращая в крошку, которой мука не даёт слипаться. Подогревают молоко, добавляют щепотку соли, растворяют в нём сахар, разводят дрожжи и выливают тёплую смесь в лунку, выкопанную в масляно-мучной горке. Тщательно вымешивают, превращая в шар, который отстаёт от пальцев, присыпают мукой, прикрывают тонким кухонным полотенцем, а сверху полотенцем потолще — из банных, — и оставляют надолго, на час, на два, подняться.

Тесто это настолько вкусно, что его можно есть сырым, что, впрочем, позволено только детям. Взрослые ждут, долго, — пока тесто будет раскатано деревянной скалкой, выложено на смазанный маслом противень, чёрный от многолетнего нагара, покрыто толстым слоем начинки; пока будут срезаны свисающие с бортов противня фестоны, а края завернуты, защипаны, смазаны яйцом; пока противень будет задвинут в духовку, и пирог испечён. Смазка яйцом служила народным термометром — по цвету корки можно было следить за готовностью пирога.

Мы любили раскатывать тесто тонко, чтобы корки было мало, а начинки много. Пироги с толстой коркой, которые попадались нам в гостях, звались “поповскими”. Пироги делали открытые: яблочный, с яблоками, нарезанными на тончайшие ломтики и посыпанными сахарным песком, ватрушка с творогом, растёртым со сметаной, ванилью, сахаром и яйцами (творог мы делали сами, — покупной был сух, крошился и имел странный вкус), — и закрытые: начинённые лесной черникой со случайным листиком, или прожаренной на масле капустой (прожаренной в самый раз, и не более, ещё не потерявшей зелёного оттенка), или молотым варёным мясом с яйцом, в которое для сочности добавляли бульону. Открытые пироги украшали и укрепляли плетёнкой из тонких круглых колбасок теста или плос-

ких полосок с насечками, напоминавших листья мимозы. Закрытые пироги накрывали вторым листом теста и делали в нём дырочки вилкой — для красоты и для выхода пара. В пирогах с черникой запекали чайную чашку для сбережения черничного сока.

Пироги и булочки мы ели не каждый день и даже не каждое воскресенье, а только по праздникам, и не из-за труда (кто же считает труды матери и бабушки), а потому что во времена моего детства муки было мало, и её выдавали не всегда, — раз в месяц, а может быть и реже, по килограмму, а может быть и меньше, “в одни руки”. Руки могли быть и пятилетними, и поэтому я, в тёплой кроличьей шубке и красных валенках, выстаивала очередь вместе с бабушкой и мамой, и мы получали пакеты муки и палочку влажных живых дрожжей.

Лет в тринадцать мне довелось испечь свой первый пирог. К вечеру ждали гостей, а у мамы начался приступ головных болей, мучивших её тогда очень часто и доводивших до дурноты. Я предложила свои услуги, и пироги получились. С тех пор пироги всегда пекла я, и в годы моего студенчества это было единственное угощение, которое я выставляла для однокурсников, не утруждаясь виногретами. Запивали мы пироги “Алазанской долиной”, про которую говорили, что это “Хванчкара”, которую так любил отец наш родной, Иосиф Сталин.

В эти же годы я отважилась освоить рецепт куличей. Изготовление куличей — серьёзное действие, которое занимает целый день. Внимательные читатели заметили, что в вышеописанном рецепте теста были опущены яйца — они нужны, и их можно добавить сразу же, но лучше после второго замеса. Для куличей, от которых требуется пышность, *это архиважно*. Первый замес для куличей делают только на молоке с сахаром, солью и дрожжами, и дают тесту подняться пару часиков. После этого добавляют растопленное масло, яйца, изюм, цукаты, грецкие орехи (если нам их подарили, или “выбросили” в магазине), пряности (что уж удалось купить; у нас был мускатный орех, от которого мы отстругивали понемножку каждый год; для желтизны подмешивали шафран, но поскольку его было мало, замачивали каждый раз от силы шесть тычинок, и я сомневаюсь, что его вклад был заметен). Тесто снова месят, оно потрескивает от накопившихся в нём пузырьков углекислого газа. После этого тесто делят на несколько шаров и раскладывают по смазанному маслом формам. Как я не старалась, мне не удавалось сделать меньше шести или восьми куличей, и я занимала под них все домашние алюминиевые кастрюли. Кастрюли я накрывала по-

лотенцами и ждала, иногда часа четыре, пока тесто, вначале занимавшее только треть кастрюли, заполнит её целиком и приподнимет полотенце.

Я пекла куличи для родителей, пока они были живы, а больше не пеку. За всю мою жизнь у меня было четыре человека, ради которых я могла бы пойти на такой подвиг, и трое из них уже умерли. Только двое из них (мои родители) интересовались куличами. Вы наверно думаете, что мои родители были глубоко верующими, но это не так. Дело было в воспоминаниях: не о церковных службах, — хотя и о них тоже, но только в той мере, в какой они были частью ещё не разрушенного довоенного быта, — но о праздничном разговлении. У каждого есть еда, которая напоминает о детстве, а детство видится нам счастливым, каким бы оно не было.

Мои родители не были религиозными людьми. Папа объяснил, что он верит в высшую силу, и крест, как символ веры, его вполне устраивает. Мама, кажется, никогда не задумывалась о Боге, но впрочем не знаю — я как-то не удосужилась обсудить с ней эту тему. Во всяком случае, в возрасте, когда большинство женщин начинает ходить в церковь, демонстративно повязавшись платком, мама этого не делала. Перед отъездом в Америку я купила папе и маме кресты, освящённые в церкви, и оба были довольны.

Мама хотела, чтобы я крестилась — я некрещёная. Когда я родилась, папина мама, баба Катя, предложила меня крестить, но мамина мама, которую я называла просто бабушка, потому что она жила с нами, решительно пресекла эти поползновения. Может быть, это и к лучшему, потому что тогда всех, кто крестил своих детей, брали на заметку (на них стучали попки), а у папы и так анкета была крупно подмочена. Обе, и баба Катя, и бабушка родились в начале девяностых годов девятнадцатого века, когда религиозность была фактом, не подлежащим обсуждению, но бабушка моя, человек особенный — и заслуживающий особенного разговора, но не сейчас, — была из тех, заточенных на большевистскую пропаганду, эффективность которой зависела от материала; ведь эбонит легко наэлектризовать, а эбеновое дерево — трудно.

Я даже не помню, когда я впервые попала в действующую церковь. Мне кажется, что это была католическая церковь, в Паланге. Мне было девять лет, и меня поразило распятие — я не могла понять, кто же может с таким садистским удовольствием, детально изобразить долгие предсмертные мучения истощённого человека. Я до сих пор не понимаю фиксации католической церкви на пытках и страданиях.

В Петербурге я бывала в храмах, перестроенных под *пульс эпохи*. В лютеранской церкви Петра и Павла на Невском я плавала — там был устроен бассейн, и собственно от церкви ничего не осталось. Первая православная церковь в моей жизни — это скорее всего Исаакиевский собор, служивший тогда музеем. В нём нам показывали маятник Фуко — великое изобретение человечества, которое снова и снова доказывает вращение Земли, сбивая подставленный ему спичечный коробок. Исаакиевский собор, огромный, полный мозаичных икон, полированного гранита, малахита, лазурита, с великолепным мюнхенским витражом — это моя первая любовь, моя церковь Комбрэ, из всех церквей — Самая, незабываемая. Я приходила в неё много раз, мне хорошо в ней.

Навещая Петербург, я захожу не только в Исаакий, но и церкви, в которых отпевали и поминали моих родных и друзей. Во время войны в соборе Николы Морского баба Катя молилась во здравие без вести пропавшего сына, моего отца. По Марье Сергеевне Ивановой, подруге бабушки, и потом по маме служили панихиду в соборе Св. Владимира. В Казанском соборе отпевали моего папу в августе 2005 года. Был солнечный день, и было горько, что его не видит папа. В Троицкий собор Александро-Невской лавры мы всегда заходили, побывав на семейной могиле. В декабре 1999 года, похоронив маму, я пришла в него на службу, где фальшиво пели несколько священнослужителей высокого ранга. При мне в собор вошёл взвод солдат в пятнистом, отстоял службу, повернулся и вышел; за ними и я. Летела снежная крупка. Снегу тогда было невпроворот, сугроб на сугробе.

Моё мнение о Боге вряд ли вам интересно. Скажу лучше о моём отношении к церкви. Я очень не люблю “РПЦ”, ведомую КГБшниками, не люблю патриарха с Ролексом, вырубившего Самшитовую рощу ради своей дачки, не люблю судебные процессы над инакомыслящими, инспирированные РПЦ. Я вообще не люблю организованной религии. Почему? Спросите у еврея, почему он не любит антисемитов. Я не могу любить учение, которое утверждает второсортность женщины. Не отрицайте, не стоит; как не стоит отрицать официального антисемитизма советской власти, хотя некоторые считают, что не было установки сверху, а была инициатива на местах: просто на пост начальника первого отдела почему-то всё время попадали люди, не любившие евреев. Понимаю, что для верующих нет ничего оскорбительнее моего взгляда — ведь для них главное, чтобы человек не в Бога, а в церковь уверовал и подтвердил моральное право патриархов на Ролексы в нищей,

замученной, лишённой нравственного ориентира стране.

Накушавшись немецких ватрушек, можно приступить к осмотру барочных церквей Мюнхена. Немецкое барокко из всех самое обстоятельное и добродушное, самое близкое к народным сказкам. Это булочка, а не пирожное. Я даже сравнила бы его с прекрасной белой сарделькой, но боюсь, что меня не поймут читатели, не найдя в колбасных изделиях ничего возвышенного. Барокко немецких церквей можно отличить сразу, в нём сочетаются крепкость и нежность, оно опирается на мощные пилоны, между которыми сделаны тонкие, лёгкие, сентиментальные перегородки с громадными окнами. Перегородки эти расцвечены, как светлый ситчик.

В Италии, а так же в Испании и Португалии барокко возникло рано, чуть ли не во времена Микеланджело, долго тлело и развивалось, а в Германии — поздно, только после Тридцатилетней войны; вспыхнуло сразу, занялось со всех концов, когда стиль этот уже полностью вызрел. Поэтому в барокко Италии и Испании можно встретить всё, что угодно: детство, отрочество, юность, а в Германском барокко — только цельность взрослого человека.

Во время Контрреформации баварские электоры помчались впереди паровоза по части морали и духовности, стараясь распространить *советский образ жизни* на прилегающие страны. Контрреформация как-то мигом придумала два новых ордена, специально для промывания мозгов: театинцев, уготовленных для выпекания деятелей церкви из пластичного теста титулованой знати, и иезуитов, долженствовавших правильно подготовить разночинцев. Баварские электоры свили уютные гнёзда для этих *инженеров человеческих душ*. Если Мюнхен стал центром немецкой Контрреформации, то, стало быть, и центром барокко.

В эпоху и в стиле барокко, от головы до кончика хвоста, на Одеонплац была выстроена церковь Св. Каетана, Театинекирхе, обетная, на рождение наследника у электора Фердинанда-Марии и электриссы Генриетты-Аделаиды, первая церковь, на которую потратились после Тридцатилетней войны. Главной церковью театинцев была римская Сант Андреа делла Валле, которую и взяли за образец для нового здания (см. оперу Тоска, — в Баварской Опере, для соответствия с тематикой этой книги). Повернувшись к нему лицом, я отступила назад, чтобы хорошенько разглядеть, и запнулась о груду велосипедов. На неё тут же набежали туристы, разобрали её на составные части и на них уехали. Много тут велосипедов. А у фонарного столба прикручен чёрный, элегантный, как средневековый

рыцарь, мотоцикл, накрытый скобой кабины — никогда я такого раньше не видела.

Фасад Театинекирхе, обрамлённый двумя высокими башнями, похож на флорентинскую Санта Мария Новелла, ну, или Сант Андреа делла Валле, покрашенную в жёлтый цвет; не прозрачно-светлого оттенка петербургского Адмиралтейства, но густо-горчичного, как школы на Васильевском острове. Цвет этот при сером небе кажется грязным, а на солнце расцветает. Внутри же всё белое: и потолок тугим парусом, и толстые пилоны, и статуи, и обильная лепка, розетками покрывающая арки и потолок, сползающая гирляндами по белым стенам. Белое на белом благодаря игре теней приобретает объём, становится выпуклым и заметным. Ярко, как фонарики, горят на этой белизне цветные пятна алтарных картин. Белизна завораживает и успокаивает. Садись на деревянную скамью, смотришь на извивы лепки, вспоминаешь мамину зубную пасту и папин крем для бритья, которые так интересно было выдавливать из тюбика на пол в ванной (и почему я теперь перестала это делать?), вспоминаешь зубной порошок, чистые полотенца и простыни — приметы детства, защищённости, уюта.

Чисто-белой, как Театинекирхе, является церковь Св. Михаила, Михаелскирхе. Даже настенные терракотовые скульптуры в ней однотонные, серые, и золотятся только алтари, орган, да стекает со стены изящной золотой кляксой амвон. Главный алтарь в Михаелскирхе не такой буйный, как в Петерскирхе. Видно, что он уже принадлежит стилю барокко, но сделан рано, в 16 веке, Вильгельмом Дитрихом. Это трёхъярусная башня, с золотой резьбой, лепкой, на ней колонны с золочёными капителями и голубыми желобками-каннелюрами. Между ними картина Кристофа Шварца: Св. Михаил попирает дракона. Дракон выглядит упитанным балбесом средних лет. Крыльев у него нет.

Михаелскирхе старше церкви театинцев. Михаелскирхе, с которой *задумчиво и строго* смотрят Виттельсбахи (в момент моего приезда с холста, маскирующего ремонт фасада — помните прогулку по Кауфингерштрассе?), была выстроена ещё *до войны* (Тридцатилетней) и *на старые деньги*, как сказал бы наверно современник электора Фердинанда-Марии. Построил её электор Вильгельм для колледжа иезуитов.

В Михаелскирхе, как во всех старых церквях, подкоплено много из разных времён, от бронзового литья 16 века (ангел с чашей святой воды у входа, работы Губерта Герхарда, и великолепное бронзовое распятие Джамболоньи) до мрамора 19 века — (ме-

мориал Евгения Богарне, сделанный датчанином Торвальдсенем, другом Андерсена и короля Людвига Первого). В подвале Михаелскирхе находятся гробницы большинства баварских электоров и королей. У Михаелскирхе нет колокольни — она рухнула сразу после строительства. Наверно, как писали в летописи про аналогичную оплошку в Успенском соборе в Кремле, известь *“жидко растворяху”*, и получилась она *“чеклеевита”*.

Не только Михаелскирхе, многие церкви Мюнхена были подновлены во вкусе барокко. Такова, например, Петеркирхе; её белую лепку, отороченную позолотой, я уже описывала. То, что эти церкви переделаны в стиле высокого барокко, и хорошо, и плохо. Плохо потому, что были раскурочены прекрасные готические ансамбли, и теперь работы Эразмуса Грассера и Яна Полака приходится выискивать по приделам, часовням и музеям. Хорошо потому, что в Мюнхене барокко самого высокого качества.

Мюнхенское барокко быстро переросло в рококо. Различить их не всегда просто. Барокко должно быть похоже на плотный кекс с изюмом, а рококо — на воздушное безе. Барокко должно быть тяжело и искренне, как сказки братьев Grimm, а рококо — легковесно и легкомысленно, как сказки Шарля Перро. Но позднее барокко так непринуждённо перетекает в раннее рококо, что одни и те же здания разные авторы причисляют то к рококо, то к барокко. Да ещё и французы всех запутали: своё барокко они предпочитают называть классицизмом, а к барокко с галльским презрением относят только *“стиль, распространившийся в Германии”*. Похоже, что классицизм это упорядоченное барокко, без налета сказки и фантастики, а рококо, наоборот, неупорядоченное барокко, с налётом. Словом, эту халу нелегко расплести на отдельные колбаски.

И в Мюнхене, и вообще в Баварии много прекрасных образцов рококо (“Супер!” — как сказал бы мой друг Флориан), созданных немногими архитекторами, в течение одного поколения: Кювилье, Иоганн Михель Фишер, Энрико Цукалли... Но не только они — куда уж баумейстеру без маляра и штукатурка! В рококо это три угла не всегда равностороннего треугольника. Ведь здание рококо сразу выходит готовое — не только стены, но плафоны, статуи, карнизы, алтари; тут ни прибавить, ни убавить. И всё это великолепие связано и провязано лепкой. Лепка — царица рококо, она осмелела, растеклась по сводам, аркам и капителям, выступила гирляндами, притворилась бархатными занавесями, выступила горельефами и доросла до круглой скульптуры. Лепка может играть и шутить потому, что стюк, в отличие от мрамора,

лёгок, и его много можно наvertеть на опоры.

Самым лучшим баварским малером был Козьма Дамиан Ассам, а наилучшим штукарём по стюку — Эгид Квирин Ассам. В Мюнхене с именем этих братьев связаны не только скульптуры алтаря Петеркирхе, фрески Св. Троицы (Драйфалтигкайтс кирхе), но и целиком интерьеры церквей Св. Анны (Даменштифт), Св. Духа (Хайлиггайтс кирхе), и Св. Иоанна Непомука (Ассам кирхе).

Св. Троица и Св. Анна — маленькие хорошенькие корбочки. Обычно их разглядывают в полутьме сквозь решётку, отделяющую прямо у порога чистых от нечистых, но Св. Анну я внимательно рассмотрела из середины нефа во время мессы на музыку Шуберта. Людей было много, не присесть, и я стояла, осветлённая музыкой, любуясь ярко освещённым праздником рококо и наблюдая, как у алтаря скользили белые, длинные, до полу... священники. Стены Св. Анны были построены Иоганном Баптистом Гунетцраймером и украшены Ассамом. Особую прелесть церкви придают огромный плафон в манере гризайль и крупные, во всю стену алтарные картины, на которых краски приглушены, как на выцветших гобеленах. Свободное пространство сводов и арок покрыто лепкой серого стюка в золотых картушах. Золотой амвон — как кубок аугсбургского ювелира, разломанный на две половинки. Церковь эта была разбомблена, но среди обломков нашли множество добротных сработанных Ассамом фигур и вернули их на место.

Церковь Св. Духа стоит рядом с моим любимым источником питания, Виктуалиенмаркет, стоит на крошечной площади, как чашка мейсенского фарфора на блюдечке. Внутри эта чашка расписана позолотой. Была. Но когда *позолота стёрлась* и проступила андерсеновская *свиная кожа*, лепку за недостатком средств покрасили светленькими красками грязного оттенка — то ли сажи в них подмешали, то ли пыли потом набилось. Глядя на это, глаза мои наполнились слезами, и слёзы смыли с белых стен грязноватую акварель, проступила золотая паутинка тончайших арабесок: посверкивает на солнце, перекликаясь с массивным золотом алтаря, увенчанного вызолоченной скульптурной группой. Я села на скамью и засмеялась — не может быть, чтобы всё это было наяву. Но было. Было когда-то. К сожалению, стюк недолговечен, трескается, требует подновления, и во многих церквях при реставрации расстались с позолотой узоров, заменив её бледными красками — розоватой, голубоватой, желтоватой, зеленоватой, придав воздушному намёку тяжёлое объяснение, испортив песню, обратив изысканность в пошлость, бабистость, разухабистость.

Большинство барочных церквей в Мюнхене белые с позолотой, но из одного яйца вдруг вылутился пёстрый павлин с изумрудными глазками — церковь Св. Иоанна Непомука, которую обычно называют Ассамкирхе, потому что она была выстроена братьями Ассам на свои деньги и для себя. Редко такое бывает: обычно сапожник без сапог, а другой мастер — без чего-нибудь ещё. Вот помню в Сент-Луисе специалиста по изготовлению виндзорских стульев: жаловался, что у него дома стульев не хватает — выхватывают прямо из-под рук (особой красоты в них нет, но всё лучше современных).

Ассамкирхе я разыскала в дальнем углу Альтштадта. Она стиснута соседними домами, и увидишь её не сразу. Фасад у неё то ли выпуклый, то ли вогнутый — смотря куда глянешь, — по сторонам портала сделаны два утёса из туфа, над порталом огромное окно в причудливом наличнике, а над ним ещё одно, круглое. Церковка маленькая, узкая, но настоящая, и Ассамам даже удалось для неё достать ценные мощи.

Интерьер Ассамкирхе напоминает шкатулку вашей бабушки-графини, заполненную замечательными штукенциями. Должное впечатление они произведут, только если вынуть их и рассматривать по одной, а не в куче. Стены облицованы мрамором, наверняка искусственным, на пилястрах ветчинно-красным с розоватыми прожилками, на арках — жухло-зелёным с охряными брызгами. Простенки расписаны, — неярко, благородно, — в тон мрамору и плафону, заполняющему весь свод мучениями Непомука. Церковь опоясана балюстрадой, на перила которой наброшены обманные бордовые драпировки из стюка. Под балюстрадой в воздухе висят золотые гирлянды из цветов и лент, завязанных бантами. Высоко над балюстрадой проходит разукрашенный карниз. Все колонны и колонки чуть-чуть тронуты золотом — горошина, росток, листок, цветок. Росписи, карниз, балюстрада, завершая колонн и арок оплетены лепкой. Накладные узоры вызолочены, но ангелы и херувимы, и черепа с крылышками оставлены алебастрово-белыми.

Под потолком в алтарной апсиде собрались все серебряные. Серебряный Саваоф в золотой папской тиаре свесил вниз золотой крест с серебряным Иисусом в золотом терновом венце, а над Саваофом в ореоле золотых лучей парит серебряный голубь. Серебряные ангелы с золотыми крыльями уселись на карнизе или поддерживают крест — все разные. Вокруг расставлены витые колонны серого с песчаным мрамора; стоят свободно, ничего не подпирая, с их капителей свисают плети золотых роз тончайшей работы, их венцы —

стартовые площадки для взлетающих фигур, размахивающих лентами и кадильницами.

В церкви два алтаря: верхний — на балюстраде, — и нижний. В нижней секции над дверьми по бокам алтарной апсиды вделаны в стены два овальных портрета самих Ассамов. Выше них находятся небольшие окошки, над окошками парят пары белых ангелов в золотых коронах, в причудливых позах. В нишах по краям алтаря расставлены полихромные статуи: Мария с путти (младенец с крестом-посохом), и Иосиф с Иисусом-подростком. На алтаре на золотом постаменте с серебряными барельефами стоит оправленная в золочёную бронзу стеклянная рака. На крышке раки торчит серебряный треугольник на фоне сходящихся к центру, к капсуле с мощами, золотых лучей; к лучам прикреплены серебряные путти и толстые спирали, изображающие облака.

Колонны, карнизы, гирлянды, фигуры: нет, не шкатулка — запущенный фруктовый сад... “Я балдею”, — говорил Козьма Дамиан Ассам, созерцая творение рук своих. “А я торчу”, — вторил ему Эгид Квириин Ассам. К сожалению, окна в церкви только на самой верхотуре, естественного света в ней мало, и разглядеть цвета трудно. Поэтому я вернулась в Ассамкирхе вечером и хорошенько всё осмотрела перед началом органного концерта. А дальше... Думаете, я опять заснула? Ничего подобного. Меня, как крошку-Чайковского, замучила музыка. Такого эффекта я больше нигде не испытывала — орган прошёлся молотком по всем моим нервным окончаниям! То ли я оказалась в акустической яме, куда сливались все аккорды после употребления, то ли церковь мала для своего органа. До конца я дотерпела, но бросилась вон, как только затих последний звук и грянули рукоплескания. Пришлось устроителям для меня отпирать дверь, запертую на время концерта.

Дворец Генриетты-Аделаиды

Новый день просочился сквозь бутылки. Я проснулась без будильника. Когда я моложе, и лучше кажется была, то есть лет пяти, я просыпалась в оживлённом ожидании — а что же интересное сегодня случится? — но тогда вокруг меня были люди, фильтровавшие мою действительность. Если вы меня спросите, какая-такая неотфильтрованная действительность меня сейчас мучает, я отвечу: “Для верблюда и ворота — игольное ушко”. А если по-простому: “Вы встаёте на следующей?”, — так-таки да, встаю и иду в туалет. Идти далековато. В моём экономном номере у ванной раздвоение

личности, (ванна тут, а унитаз там), и утренняя попытка привести себя в порядок связана с открыванием и закрыванием нескольких замков.

В этот день я покинула гостиницу без завтрака. Не терпелось. Моя немолодая, утомлённая душа рвалась в Нимфенбург, город радости, где поют и плещутся нимфы. Новая, молодая, свежая Россия взяла бы напрокат машину. Я же и мои братья по советской родине, культуре и духу ходят в Нимфенбург пешком: и денег жалко, и страшно ехать на иностранном трамвае. Путь недолгий, не более часа, и меня он не пугает. Мы когда-то пешком ходили куда дальше: от Московского парка Победы в Пулковскую обсерваторию — мы вчетвером: папа, мама, Марина, я.

Я погрузилась в атмосферу приключений; она неизбежно окутывает места, где всё некрасиво, убого, валяются окурки, а на помойке написано что-нибудь горькое и непристойное, в данном случае “Турки — раус!”. Внутри копошилось ощущение неведомой опасности; вдобавок было зябко.

По дороге мне нужно было позавтракать, но район был неприщивой; с трудом нашла я какую-то кухмистерскую. Перед нею на лавке у деревянного стола сидел мужчина в расцвете сил, с лицом как первомайский кумач, и пил пиво, несмотря на морозец. А я зашла внутрь и с трепетом заказала яичницу: бармен не понимает по-английски, догадается ли, что в яичницу нужно положить яйца? Сижу, переживаю. Полутемно, тихо — никого нет. Приносят яичницу, и из яиц. В это время и кумачовый посетитель, допив пиво, заползает в кухмистерскую отогреться и позабавиться своим персональным компьютером. Быстро доев яичницу, я зашла в сортир и повязалась там перед зеркалом косынкой; уж очень на улице холодно. Увидев косынку, кумач с компьютером испуганно дёрнулся. Наверно ему вспомнилось: “Турки, раус!”

На улице всё казалось мне странно, не так, как вчера в центре Мюнхена: и холодно, и неудобно, и современно. Страшно не попасть в Нимфенбург и даром потратить драгоценный день — ведь маршрут я проложила сама, а отклонение на один градус со временем может перерасти в километры. Но кстати подвернувшийся немец-велосипедист в ответ на английский вопрос объясняет по-немецки, что мол уже недалеко, через мост налево. Перехожу мост над каналом и слева вижу город нимф, подковой охвативший чашу пруда, в которую вливается канал. Чем ближе к пруду, тем крупнее и яснее становится отражение массивной каменной лестницы и высокой

красной крыши, затихают шум и гам шоссе, настоящее уступает место прошлому.

Три поколения баварских электоров создавали, обстраивали, обустроивали, обживали, обожали барочный парковый ансамбль Нимфенбурга. Их потомки, охотясь и празднуя, проводили в нём по полжизни. Здесь родился будущий Людвиг Второй, Баварский орёл. Нимфенбургская территория, размером больше тогдашнего Мюнхена, была подарена электриссе Генриетте-Аделаиде её супругом электором Фердинандом, на рождение электрёмка Максимилиана-Эммануэля. Это был дар любви Фердинанда к Генриетте, с полным доверием ко вкусу и строительным способностям супруги.

Девичья фамилия электриссе была Савойская; Генриетта привезла с собой — нет, не капусту, это вы глупо пошутили, не люблю я таких очевидных шуток — нет, привезла она с собой из Пьемонта итальянские моды и итальянца Агостино Барелли, того самого, что строил Театинекирхе. Вилла была построена Барелли в 1664 году, и перестроена в 1701–1714 году. К этому времени Генриетта-Аделаида уже умерла; в сорок лет, но, будем надеяться, до этого вкусила радости и праздника на все восемьдесят. И Фердинанд взял да и умер. Так что перестраивал Максимилиан-Эммануэль, превращая скромный особняк в нескромную резиденцию.

Пять великолепных летних дворцов, построенных в то же время в России, не истощили русские финансы, а вот за три резиденции Максимилиана-Эммануэля и пышные праздники его двора Бавария расплачивалась целое столетие. Долг расточительного принца превысил 10 годовых доходов его страны. Но что нам за дело до расходов, если из облака золотой пыли материализовался несравненный Нимфенбург? Последний глянец на этот прекрасный летний дворец нанёс электор Карл Альбрехт, впоследствии Император Священной Римской Империи, с помощью любимого архитектора — великого Франсуа де Кювилье.

Славный период затрат и вложений, длившийся 80 лет, закончился в 1745 году, в год смерти Карла Альбрехта, а потом воцарились иные вкусы и интересы, электоры превратились в баварских королей, а сад Нимфенбурга из регулярного в пейзажный.

Нимфенбургский дворец состоит из центрального пятиэтажного корпуса и двух малоэтажных боковых, соединённых галереями. Что-то вроде спрямлённого посредине Павловского дворца... Или нет, скорее Петергофский? Н-да, возможно, поскольку времена петровские: центральный корпус 1664 года (построен за пять лет до

рождения Петра Первого), а флигели 1701–1714 годов, то есть тогда же, когда строился Петергоф (лучшие годы саардамского плотника). И вкусы те же, что и в России, барочные, с примесью рококо. Но Петергофский дворец много лучше, достойнее Нимфенбурга — долговязого, с заспанными глазками окошечек. В России холоднее, а окна больше; этажей столько же, но глаз не раздражают: верхние два замаскированы горбатыми зелёными крышами, — и правильно, всё-таки дворцы, а не хрущобы.

Вблизи первый, или по-иностранным цокольный, этаж Нимфенбурга в глаза не бросается, от него отвлекает наружная лестница на второй этаж, закрывающая полстены. Но цокольного этажа не миновать, там огромный магазин, где продают билеты, путеводители, открытки, фарфоровые коробочки, и среди них пару белых фарфоровых лебедей, перечницу и солонку, которые я знаю, кому подарить.

Лебеди в Нимфенбурге домашние, с местной “птицефабрики”. В Нимфенбурге издавна была и сейчас ещё есть фарфоровая мануфактура, так же, как в Петербурге существует завод имени Ломоносова, бывший Императорский, ныне Новорусский. С тех пор, как алхимик Августа Саксонского Йохан Фридрих Бёттгер стряхнул случайно пудру с парика в какой-то рассол и открыл секрет каолина (звенящей глины, по определению китайцев), фарфоровые заводы поплёрли, как грибы, в палисадах немецких князей-курфюрстов. В том была и потребность, и необходимость, — поскольку посуду били широко, с размахом, экономнее было заводить собственное производство для восполнения, ну вроде как вот у нас дома папа всегда сам чинил ботинки, и у меня до сих пор ещё стоят на некоторых башмаках его набойки. Обратите внимание: раньше были приличные порядки, — разбил-заменял, — а в наше время тов. Романов, первый секретарь ленинградского обкома, устроив свадьбу дочери в Эрмитаже с эрмитажной посудой, побитые тарелки восстановить не смог.

Потом, перед отъездом из Нимфенбурга, я зашла в магазинчик фабрики в одном из флигелей дворца, но мне не понравилось то, что там выставлено; я ожидала немецкого фарфора моего детства, а нынешний соответствует иным каким-то вкусам. Надо было бы сходить вместо магазина в дворцовый музей фарфора. По словам Джеймса Рейнольдса *“это лучшая коллекция Мейсенского фарфора в мире. Я написал большую картину этой коллекции, сверкающей красками, как калейдоскоп”*. (На всякий случай напоминаю, что мейсенский фарфор делали под Дрезденом, а не в Нимфенбурге.) Не

зашла в музей фарфора потому, что после смерти мамы, которая была большой любительницей чашечек, мне как-то стыдно интересоваться фарфором, и лебедей для себя не покупаю.

А когда мама была жива, и я ещё не угрызалась совестью за то, что осталась жива после её смерти, я любила заходить в магазин остатков ломоносовского фарфора на Староневском. Там совсем недорого можно было купить осиротевшую сахарницу или отбившуюся от сервизной стаи чашку. Там выставляли фарфоровые фигурки, продолжившие вековую традицию Императорского фарфорового завода. Эти существа осели во многих петербургских домах. У дяди Вани над телевизором стояли белые бисквитные герои “Ревизора”. У бабушки на треугольной угловой полке, каких теперь не делают, жила фарфоровая борзая с тонкими длинными лапами. Особенно много чудесных фарфоровых зверюшек я получила на своё десятилетие. (Более пышного праздника в моей жизни не случилось. Он неповторим: пришли все родственники, а сейчас уже большинства и в живых-то нет.) У воробьёв и собачек тут же отбились крылья и лапы. Тогда у меня всё билось, а теперь почему-то ничего не бьётся; наверно фарфор стал прочнее.

Купив билет и лебедей, я поднялась на второй этаж, где и началось рококо. Входишь в двухсветный каменный зал, белый с золотом, а на белом мазки цвета там и тут. С потолка свисают на длинных шнурах бронзовые люстры, все в каплях хрустальных подвесок. Белые стены зала вертикально поделены пилонами с желобками-каннелюрами, белыми с золотой каёмочкой, и капители у них тоже золотые. Над капителями белый с золотом карниз, потом розовые и голубые медальоны в золочёных рамах, а над ними высокий вогнутый потолок с гигантским плафоном праздничных тонов. На плафоне сидит Флора у фонтана под деревом, над ней радуга и облака, на которых катаются амуры и боги. В простенках и над дверями в огромных извитых лепных рамах сделаны росписи, под ними выпуклые завитки в форме раковин. Все рамы и завитки белые, но отненены золотой каёмочкой, как бортик чашки, что увеличивает их объёмность.

Плафон и фрески расписывал Иоганн Баптист Циммерманн под наблюдением самого Франсуа Кювилье. Циммерманн стал писать фрески только после пятидесяти. Пятьдесят лет в восемнадцатом, и даже в девятнадцатом веке — это серьёзно. Графиню Ростову в этом возрасте катали в кресле, она уже ничего не сообщала, *“функция ее была выполнена”*. А функция Циммермана не была выполнена.

Вдумайтесь, он не помер в 50 лет, не превратился в маразматического старца, как приличествует возрасту, а стал писать фрески. И ведь фрески писать надо умеючи! Ты пишешь под потолком то, что будут рассматривать с нижней точки, с пола; ты безошибочно искажаешь фигуры так, чтобы снизу они всегда казались пропорциональными, и никогда смешными; ты создаёшь иллюзию света и воздуха, задыхаясь в испарениях вонючих красок.

Да что перечислять каннелюры и картуши, цветные росписи и стены из чистого сахара! Я описываю то, что не поддаётся описанию, более того, не остаётся и в памяти. В памяти всё как-то незаметно уминается и стирается в порошок. Всё проходит, всё забывается, особенно подробности рококо и барокко. Остаётся только чувство радости, праздника и света, и полированные поверхности очень ему способствуют. Художники рококо были *рождены, чтоб сказку сделать былью*.

Для меня печатный пряник барокко — это возвращение в детство. Возвращённая стилем восемнадцатого века, я всюду ищу барокко и при виде его расплываюсь в счастливой улыбке. Золотые залы царизма кажутся мне волшебными, и я никогда их не предаю, но понимаю, что в сравнении с немецким русское барокко тяжелее, а русское рококо проще. Нет настоящего цвета в дважды рождённом зеркальном зале Царского Села, который вызолотила сперва Елизавета, а потом наши великолепные реставраторы, есть только формы и их отзвуки в зеркалах. А рококо у нас — раз, два и обчёлся. Впрочем, и “два” нету, только “раз” — Китайский павильон в Ораниенбауме. Там рококо настоящее, но цвета другие, более насыщенные. Рококо приспосабливается к местным условиям, климату и темпераменту; в Италии пьют вино с апельсинами, в России водку с огурцами.

Вдоль зала расположены апартаменты электора и электрисы — по три большие комнаты. Все они вызолочены, украшены резьбой и лепкой. В одной из комнат висят гобелены с хорошо сохранившимися красками. Есть китайский кабинет с крупными лакированными панно, на которых изображены сцены из китайских романов. На великолепных плафонах фигуры парят в невесомости, как на космической станции. Да и ты себя почувствуешь как в космосе, если долго будешь их разглядывать; то ли зеркальце с собой надо носить, то ли на пол лакированный ложиться навзничь. Полы, кстати, в этом дворце не интересные, не наборные — обыкновенная ёлочка. Зато мебель хорошая — красивого дерева, оби-

тая шёлком, окантованная золочёной бронзой. Столы вдоль стен имеют по шесть или восемь золочёных резных ножек — наверно, в этом дворце все были такие радостные и пьяные, что меньше иметь опасно — не устоишь.

Во дворце есть галерея с портретами красавиц, писанных по заказу короля Людвига Первого Баварского. Не следует думать, что всё это любовницы Людвига, всё же он не восточный сатрап, а добropорядочный король немецкого государства. Король просто заказал портреты женщин, которые казались ему эстетически привлекательными. Он вообще был хороший парень, правитель новой формации: деньгами не сорил, Мюнхен благоустроивал, музеи основал, стихи писал. Но к женщинам был сильно неравнодушен. Не он один таков, и донжуанский список часто определяется только возможностями, которые у Людвига, Гагарина и Билла Клинтона неизмеримо шире, чем у простого смертного. Увы, Людвиг пострадал от своей простительной слабости — его выгнали с работы за связь с некоей Лолой Монтес. Говорят, они познакомились, когда Лола зашла на заседание Государственного Совета и обнажила грудь. Людвиг тут же попросил всех, кроме Лолы, покинуть помещение. Интересно, как это было организовано? Некоторые детали мне непонятны. Предположим, я вхожу в кабинет к Путину и распаиваю кофту, а под ней НИЧЕГО НЕТ! Запросто. Но Лола, в век корсетов и корсажей, верхних и нижних юбок, — сколько времени она путалась в пуговках и крючочках? Или она расстегнулась, стоя за дверью, и вбежала в залу, прикрываясь бельем? Но тогда это уж скорее сцена профосмотра в Ленгосуниверситете...

Жалко мне короля. Жизнь к нему была зла. Он строил дома, музеи, железную дорогу, основал для народа две картинные галереи (Старую и Новую Пинакотеку) а его выкинули с работы за банальную интрижку с танцовщицей, которая умела раздеваться со скоростью цирковой артистки. Лола Монтес, или Бетти Джеймс, как её называли до развода с мужем, послужила при Людвиге Распутиным. По мнению иных, роль Распутина была положительная, так как он, по связи то ли с народом, то ли с немецким посольством, оттягивал войну. Вот и Лола неоднозначна. Как протестантка, Лола выступала против католической церкви. Под её влиянием Людвиг прогнал консерваторов из кабинета министров. Народ, который и в Баварии был высоко морален и набожен, неоднократно пытался побить Лолу камнями, но её спасали студенты университета, которые организовали для этого народную дружину. Наступил 48 год, когда по всей Европе посвергали королей — за то, что плохо начальство-

вали. А в Баварии всё бы обошлось (короля очень любили), если бы не Лола. Умный, добрый и симпатичный король вынужден был отправить Лолу в изгнание, а потом пришлось ему отречься и от престола. Лола Монтес оказалась в Америке и как-то там плохо кончила. Она видимо не умела копить деньги и думать о будущем.

Я вышла из дворца с противоположной стороны и увидела, что у каждой своя погода. С той, с парадной, пасмурно, а с этой, с парковой, *серость и сирость* подались, растаяли под напором рококо, и солнце побрызгало золотом на жёлтые листья. Как будто открылась новая глава, как будто день начался набело.

Вижу перед дворцом круглый пруд с грудой диких камней, но струя фонтана в этот день из камней не бьёт, не мешает видеть второй пруд, длиннющий канал, и как бы такой себе каскад. Вокруг прудов стоят статуи; спокойные, выдержанные, никто никого не умыкает, не дерётся, как в Летнем саду. Разбиты газоны правильных очертаний, с подстриженной травкой, окаймленные лентой коричневой разрыхленной земли на месте уже отцветших и выкопанных цветочков. Почти как в Царском Селе, но царскосельские партеры поизобретательнее будут. Где же тут, в нимфенбургском партере, переплетения листьев аканта и спиралей трёх цветов? Денег, что ли нету? Я гарантирую, что в период расцвета Нимфенбурга завитки на газоне были что надо, и меняли форму в каждом сезоне. А у меня какие были бы партеры, если бы побольше денег и территории!

Когда-то весь парк был регулярный: и как у огранённого алмаза каждая его фасетка отражала перспективу под своим углом. Вязь аллей в виде множества “Ж” стриженных лип позволяла на каждом перекрёстке видеть всё те же павильоны с новых сторон. В таком калейдоскопе ракурсы скачут, вертятся с игривостью шаловливой пекинки, непрерывно меняются, и сомнение закрадывается — вдруг это не один павильон, а множество, или павильон положим тот же, но перебегает из аллеи в аллею на курьих ножках, играя с нами в затейливую игру?

Ох, как мне хотелось бы повидать этот парк, и с познавательной целью, и ради удовольствия, потому что я люблю вензели, расчерченные на газонах твердою рукою последователей Эвклида. Почему-то мне всегда хочется всё увидеть в первоизданном виде, руины и переделки меня не удовлетворяют. В этом есть некий недостаток культуры, американизм, что ли, некоторый, или по крайней мере анти-японизм: хотя я и предпочту выщербленную чашку 19 века

чашке новой, но лучше бы она не была щербатой. А тут дело даже не в щербатости регулярной планировки, а в полном исчезновении. Всё уничтожено. Сгинуло. Отошла теперь мода на регулярные парки; только кое-где сохранились они, как курьёзы или просто по небрежности садовников; но ведь когда-то же и за что-то их все любили? Вот император Павел их любил. Думаю, такие сады должны быть милы сердцу детскому с его любовью к игре, или незащищённому, со стремлением к безопасности, которую обещает укрощённая природа.

Регулярный парк это чудо геометрии, но гулять по пейзажному парку куда приятнее. Солнце, знакомый, сырой запах осени, канал вроде петергофского. В его синей воде водят лапами только белые лебеди, а раньше плавали нарядные вёсельные лодки с балдахинами, и устраивались водные сражения. В 1728 году здесь привечали трирского курфюрста — обедом на длинной барже, плывшей от дворца к каскаду. Столов было два: на тридцать персон и на восемьдесят. Кухню временно укрыли в кустах. После обеда баржу переделали в танцплощадку. Таких круизов теперь навалом в любом городе с судоходной рекой, но их пассажирки уже не в кринолинах, и скорее всего не испытывают чувства “эксклюзивности”. А если бы увидеть живую картину прошлого, лебедем скользящую по воде: шитые золотом платья и костюмы, изысканный фарфор, серебряные супницы, — услышать музыку барокко в исполнении оркестра из сорока скрипок и распробовать все двадцать четыре перемены кушаний, так набралось бы, о чём поговорить с сослуживцами.

От водных забав, которые были когда-то гордостью Нимфенбурга, остались только каскад и два фонтана. Насосы для этих увеселений были устроены настолько искусно, что ими восхищался Наполеон и сманивал инженера Франца фон Баадера в Версаль. (Каждый знает, в каком жалком состоянии находятся фонтаны Версаля, знал это и Наполеон, но поправить их не успел: где там, со всеми этими кампаниями! Хорошо хоть успел ввести наполеоновский кодекс.) Фонтаны и Версаля, и Нимфенбурга нуждаются в насосах, поддержание которых требует труда и денег. Поэтому фонтанами в этих дворцах особо не полюбуешься. Какое счастье, что фонтаны Петродворца не требуют электроэнергии и питаются напором воды Талицкого водовода! А вы ходили когда-нибудь вдоль Талицкого водовода? Пройдитесь по аллее вдоль цепочки прямоугольных бассейнов, подающих воду из резервуара, над которым стоит небольшой красивый дворец Бельведер. Тут-то вы и проникнетесь преимуществами российской инженерии!

Ах, майне либе Амалия!

Нимфенбургский дворец был подарком Генриетте-Аделаиде на рождение сына, а в парке его стоит ещё много других подарков-павильонов. Самый красивый и весёлый из них, Амалиенбург, был выстроен электором Карлом-Альбрехтом для жены, Марии-Амалии. То есть проектировал-то Франсуа де Кювилье, но не в этом дело, не придирайтесь к слову. Лучше скажите, любили ли вы когда-нибудь свою Амалию, и удалось ли вам построить для нее Амалиенбург или хотя бы достать луну с неба?

Милая, любимая, избалованная Амалия, как живётся ей в лаковой коробочке? Спит ли она до десяти и пьёт ли в постели шоколад со свежими булочками? Или, как и все королевы и электриссы того времени, встаёт в шесть утра и до полудня трудится над костюмом и прической, торопливо отпивая остывающий кофе из золочёной чашечки?... Прелестная Амалия, любительница псовой охоты! Уж как веселились при Генриетте Савойской, а со вселением во дворец электриссы Марии Амалии стало ещё веселее, хотя и пачкотнее: охотничьи собаки нежились на диванах, обитых дамаском и шёлком, и даже на кровати, где редкостное шитьё золотом по зелёному бархату. А в Амалиенбурге, охотничьем павильоне, была целая собачья комната в стиле рококо, хотя что б они понимали!

В Амалиенбург я долго не могла войти. Дёргала за все ручки, но ни одна не поворачивалась. Вдруг вижу внутри у стола кучку зрителей, радостно жму на ручку, дверь не подаётся, я напрягаюсь, весу во мне много, и наконец она раскрывается! Тут мне грозит перстом: “Зайдите с другого конца!” Но там же закрыто? “Открыто”. Ну, теперь держитесь! Раз уж я получила моральное право отламывать дверные ручки, я навалилась на входную дверь, как медведь, и попала внутрь. После этого я жестами направляла в нужную дверь других бедолаг, замечая за оконными стёклами их грустные лица. Я иногда бываю добра и предупредительна.

Гвоздь программы в Амалиенбурге — это голубоватый Зал зеркал с посеребрённой лепкой, затекающей на потолок, фантастический зал, из которого никак не уйти. Может быть, это мороз нарисовал узоры на потолке и стенах? Забыв про запреты, я фотографирую серебряное кружево, понимая, что иначе потом себе не поверю. На потолке сплетаются в гирлянды травы и листья, корзины с фруктами, вспархивают фазаны и утки, — те самые птички, в которых прилежно целилась Амалия. А может быть она любила не охоту, а шум и суматоху, и зелёные охотничьи костюмы, и звуки

трубы, и скачки по лесу, и закуски в серебряном зале, и шоколад из розовых чашек с серебряной каймой? Но нет, это лишь отговорки; любила прелестная Амалия стрелять фазанов с террасы дворца. Пиф-паф!

Комната отдыха затянута жёлтым штофом, по которому пущена серебряная лепка тончайшего рисунка. В нише за занавесью жёлтого штофа диванчик для отдыха. При куче придворных необходимы эти альковы, занавеси, или уж на крайний случай (помните наши огромные комнаты в коммуналках?) китайская складная ширма.

В кухне Амалиенбурга стыдно жарить дымное и вонючее из-за изумительных керамических панелей. Нет, здесь можно только варить кофе или шоколад. От домика Амалии веет томной атмосферой муслина, соломенных шляпок с гирляндами роз и гелиотропа, и бесконечных чашек шоколада. Видели ли вы что-нибудь подобное? Я — да. Я видела творения Ринальди. Когда-то давно, почти в детстве, в Китайском дворце и павильоне “Катальная горка” в Ораниенбауме. О, как мне стыдно за последних владельцев Китайского дворца, которые его надстроили. Руки бы им оборвать. В первоизданном своём виде китайский дворец был одноэтажен, как Амалиенбург.

Я помню нежные, воздушные краски росписей на стенах и потолке, в золотых картушах, матово поблескивавших в неярком северном свете. Стены Гардеробной, Розовой гостиной и зала Муз напоминали мне прабабушкин кузнецовский сервиз, на котором по сиренево-розовому фону разбросаны были бледно-голубые цветочки и бледно-зелёные листики. (Сервиз был конца девятнадцатого века, но тона были отзвуками восемнадцатого.)

А можно ли забыть панно Стеклярусного кабинета с изображениями райских птиц из разноцветного шёлка и стекляруса: панно, которые придумала сама императрица Екатерина! Или сцены охоты в Штофной опочивальне, вышитые стеклярусом по сололке — ни в какой другой стране таких уж не осталось, да и было-то немного, слишком сложная техника. Перед войной (первой, не второй) были модны более примитивные вышивки стеклярусом и бисером по шерсти: кошелёчки, у мамы была даже целая сумочка разноцветного бисера цветов рококо, с которой я деликатно обкусала все бусинки — мне нравилось, как они похрустывают. Теперь мне безумно жаль этой уникальной вещи, но мама тогда нисколько на меня не рассердилась. Она не сердилась даже когда я разбила мячом хрустальную вазу на буфете. Она не сердилась и на кошку, которая любила выедать дырки в хороших шерстяных вещах. Мама проявляла к нам

великодушные — необыкновенное, незаслуженное, но воспринимавшееся как должное.

Главные приметы рококо — арабески, картуши — составляют гордость залов Китайского дворца в Ораниенбауме. Картуши асимметричны и в нижнем углу закручены в хитроумный узор: опрокинутая ваза, или корзина, из которой сыплотся цветы и фрукты, торчат бамбуковые стебли и пальмовые листья, выползают ящерики, выпархивают райские птицы, и всё так переплетено, что долго-долго раздумываешь, пытаясь понять, как и что, и упомянуть потом невозможно. Если картуши барокко осязаемы, объёмны, вырезаны из дерева и вызолочены, то в рококо это нежнейшая лепка, чуть-чуть выступающая над поверхностью. Лепка эта может быть изысканно-белой, полностью зависимой от игры света и тени, либо серебряной, или золотой. Картуши настолько красивы, что часто выются сами по себе, ничего не обрамляя. А для создания арабесок нужна твёрдая рука и волшебная палочка. Берёшь перо, можно и не цапли, а петушьё, но обязательно из хвоста, подбрасываешь, и перо чудом прилипает к потолку, превращается в золотое, а вокруг него обвиваются петли из золотых лавровых ветвей. Понимаете, какое впечатление Китайский дворец производил на ребёнка? Если бы мне подарили Амалиенбург, я бы заплакала, а Китайский дворец — в голос зарыдала от счастья.

Как радостно подумать, выйдя из Амалиенбурга, что чудеса ещё не кончились, что впереди новые павильоны и долгая прогулка по парку. Жёлтый свет, прохлада, ветерок, влажные дорожки... В каналах среди ряби отражений плавают лебеди и мелкие опавшие листья. Изгибаются мостики, топорща плавники извитых решёток. На островке сидит утка-мандаринка, скруглившись, как китайская роспись на шёлке.

Вокруг Оранжереи, построенной Максимилианом Иосифом, разбиты Кабинетные сады, освещённые осенним солнцем и ещё полные цветов. Вместо пальм в Оранжерее теперь кафе. Аллеи вокруг пусты, все путешественники слетелись на зов сладкого. Внутри мест нет. Снаружи официантки не обслуживают, и поэтому никто не сидит. Я прошу разрешить мне самой вынести кусок торта на улицу; наверно это так же неприлично, как ковырять в ухе на публике, но мне разрешают. Немцы вежливы — в Петегофском буфете мне бы плюнули в глаза.

Шоколад я не беру, слишком он сладок в таких кафе, а я люблю шоколад горький, без сахара, как когда-то пили его ацтеки. Так что

придётся испить хорошего немецкого кофе. Вот он, сегодняшний торт — воздушный шоколадный наполеон. Наполеон, оказывается, может быть и шоколадным. А помните, сколько было вариантов наполеона в России, и даже в последние годы придумывались новые: “брежнев”, который готовится как наполеон, только без масла, сахара и муки, или “путин” — наиболее близко стоящий к оригинальному рецепту, но без яиц. Или яиц переложили сверх меры, до полу — уже и не упомяну.

И вот я пытаюсь выйти в дверь, держа в одной руку чашку, а в другой тарелочку с тортом. Это непросто, особенно если на руке висит сумка и фотоаппарат, и ты мучительно думаешь о том, что вот сейчас их украдут. Но к счастью ещё не все любители сладкого просочились в оранжерею, из садика мне навстречу идёт пополнение, и в невыразимой доброте открывает и придерживает для меня дверь. Тепло, легко дышится. Сняла пальто. Разложила рядом с чашкой и тарелочкой путеводители. В это время пришли два человека, полезли по стеклянной стенке. Сначала я подумала, что это пришли немецкие хулиганы, и полезли на оранжерею; что может быть естественнее такого предположения? Оказалось, рабочие.

Китайский павильон Пагоденбург, заманчиво стоящий в зелени на берегу озера, был выстроен элетором Максимилианом Эммануэлем в подарок себе, но отрококошен много позже, Максимилианом Иосифом III, в стиле китайщины-шинуазери. Снаружи Пагоденбург напоминает Малый Трианон. Толком сфотографировать его мне не удалось: слишком долго перед ним торчали три фигуры, совсем не похожие ни на китайцев, ни на баварцев 18 века. Внутри сидел смотритель, за столом в самом центре павильона, как Император Поднебесной. Мне захотелось поскорее скрыться с его глаз, чтобы не чувствовать себя как в приёмном покое или паспортном отделе милиции. Поэтому я мало провела времени на отделанном синими плитками первом этаже и быстро поднялась по лестнице на второй.

Лестничная клетка была выложена белыми и синими изразцами в шахматном порядке. На фоне шахматного рисунка выделялись большие панно, где экзотические китайцы жили в домиках стиля барокко. Да и на синих плиточках, если присмотреться, заметишь маленькие синие сцены китайской жизни. Неужели эти человечки с козлиными бородками и абажурами вместо шляп действительно китайцы? Но кому интересен реализм, ватники времен Мао Цзе Дуна? Лучше погрузиться в сказку рококо и прочувствовать, что “в

Китае все жители китайцы, и сам император тоже китаец”.

Толком на втором этаже не походишь, везде какие-то препоны, и немудрено — так и хочется потрогать настенные панно с пионами, выполненные в китайском стиле лаком по рисовой бумаге, или допрыгнуть до плафона на потолке, на котором изображён китайский император в окружении райских птиц.

Ну, и о чём я грежу, что проплывает перед моим мысленным взором? Оказывается, я кое-что повидала, и из памяти выплывают аналогии: китайский зал в Петергофском Большом дворце, с детства любимые синие и жёлтые шелка китайского кабинета Екатерининского дворца в Царском Селе, — с тех времён, когда их можно было ещё спокойно рассматривать, не ожидая поправок экскурсовода. Но всё это уступало Малому и Большому Китайскому кабинету в Ораниенбауме, с инкрустациями из разноцветной древесины и моржовой кости, с росписью по шёлку, с плафонами китайского узора. Нет, эта лаковая коробочка в Нимфенбурге хороша, но банальна, и синие китайцы на изразцах уступают цветным ораниенбаумским. Не чудно ли, не дивно ли, что у нас, чёрт знает где, почти уже и не в Европе, вдруг сохранилось настоящее рококо, не захватанное руками?

Интересно, как придворные поворачивались среди фарфоровых собачек, сколько китайских болванчиков в неделю они кокали? Ведь пиры, ассамблеи, суаре... да и вообще паркет скользкий. Вот, например, идёт пьяный Потёмкин, а навстречу ему китайская ваза. “Здравствуй, Потёмкин!” “Здравствуй, ваза!” И потом осколки ногой под стол, чтобы Екатерина не заругала.

Осень посверкивала лёгким золотом рококо и фиолетилась крокусками. На конце длинного канала, рассекающего парк на две части, оказался неплохой каскад. Как приятно сесть на скамейку, вытянуть усталые ноги и смотреть на просторы прудов с перспективами павильонов. Тот, кто любит Царское село и особенно Павловск, не может не полюбить Нимфенбург. Моноптерос, — он же Храм Аполлона, — напомнил мне Храм Дружбы в Павловске. Удивительно, но любовь к Моноптеросам всё ещё жива. Аналогичный птеродактилюс, но только из крашеной фанеры, примостился даже на паркинге перед нашим районным супермаркетом; я им всё не налюбуюсь, и слёзы на глаза наворачиваются от светлых воспоминаний.

В пруду — лебедь. Мне страшно за лебедя. Во времена моего детства у нас в Московском Парке Победы гнездилась пара лебедей в специально построенном для них домике, но их потом съели

пьяницы. Почему, бессовестно сожрав столько куриц, я жалею лебедей, боюсь за них и озираюсь, нет ли вокруг немецких бомжей? Я подошла к самой воде. Лебедь напрягся, насторожился, а потом быстро поплыл ко мне — думает, дам ему бутерброд. Нет ни колбасы, ни хлеба. Возникло чувство неловкости, как будто ты подошёл к уличному артисту, и теперь хочешь не хочешь, клади монету в кепку, но монеты-то и нет. Или ещё хуже — напился пива с товарищами по работе, а потом оказалось, что кошелек пустой, и придётся скрываться в сортире, пока другие расплачиваются.

На двери павильона Баденбург сиротела табличка: “Ушла на пять минут”. Я прождала минут пятнадцать, потом обошла здание сзади и увидела двух крупных каменных львов у лестницы. Тем всё и кончилось, а могла бы увидеть настоящие турецкие бани в немецком стиле. Моечное помещение там украшено синими плитками. Над ним галерея, которую подпирают покрытые лепкой толстые дугообразные консоли с мраморными лицами. У нас принято в бане выпить и закусить, и у электора Максимилиана Эммануэля была такая же привычка, поэтому к бане примыкал огромный банкетный зал. С галереи можно было смотреть на тех, кто моется. Мне, хлебнувшей русских казённых бань, такое зрелище кажется скучным, но есть люди с более живым интересом к миру, и у женского отделения бани на Фонарном всегда толпятся мужчины, пытаюсь хоть одним глазком заглянуть в окно, лезут на карниз, падают оттуда — нет, чтобы для мужиков галерею построить — всё наше славянское варварство! Азиатчина, как правильно подметил В. И. Ленин — царит, мол, *полудикость и самая настоящая дикость*. Впрочем, вот что написал Карамзин в “Письмах русского путешественника” о парижском доме с бассейном (1790): “Вверху хоры для музыкантов, чтобы красавица, слушая гармоническую игру их, могла в такт полоскаться”.

В павильон Баденбург мне попасть не удалось, а вот в Магдалененклаузе, построенный в 1725 году, я зашла. (В этом же году, помните, Петр простудился и умер, и начался самый пышный и блестящий период российской истории). Это красивое кирпичное здание, напоминающее церковку или маленький одноэтажный замок с башенкой, как будто подверглось артобстрелу или раскулачиванию, но это впечатление ложно, и возникает из-за наклонности правителей 18 века маскировать хорошие новые здания под руины, тщеславно веря, что окружающая действительность застыла в их настоящем, и без дополнительных усилий никогда не состарит-

ся. Внутри была почти полная тьма, ибо вечерело, и экономили на лампочках. С трудом просматривался очередной застольный смотритель, которого темнота не смущала. Глаза его светились, как у кошки. В Магдалененклаузе самое интересное — это часовня с алтарём полированного инкрустированного дерева, оформленная, как грот. В сумерках разглядеть её толком было невозможно. На фотографиях видно, что стены её выложены узорами из речных раковин, подкрашенных в разные цвета, а потолок увит раковинной гирляндой. За часовней находятся небольшие апартаменты для электора. У электора была приёмная, кабинет, столовая с альковом для кровати, и молельня. У меня была бы спальня с альковом для письменного стола, ванная, кухня, и, так и быть, приёмная. А как бы вы устроились в четырёх комнатах?

Что непременно надо посмотреть в Нимфенбурге (но я не осмотрела) — это музей карет. В этой коллекции целых две жемчужины. Во-первых, императорская карета 1742 года, сделанная для коронации императора Карла-Альбрехта. И где только нашли подходящую тыкву для превращения её в эту удивительную карету?! Её колеса, её дверные и оконные рамы покрыты сотней асимметричных золотых завитков, отбрасывающих свет направо и налево лучше диамантов; стенки и дверцы украшены картинами. Карета увенчана султанами. На её выгнутой крыше, расписанной серо-голубыми цветами, сидит целая куча трудящихся с крыльями, держа на весу золотые трубы и огромную золотую корону. А что у кареты сзади — о-о! А что у неё спереди — ого-го! Как наверно потянулся ручонками к этому великолепию новоиспечённый император Священной Римской империи Карл Альбрехт! Во-вторых... вызолоченные сани, которые заказал себе Людвиг II Баварский, ностальгически вздыхая в девятнадцатом веке о восемнадцатом, — ах, как чудно было в них кататься по скрипучему снегу, забывая все гадости жизни! Впереди саней среди золотых ветвей сидела нимфа, совершенно голая, несмотря на мороз, и держала два круглых фонаря.

Мои Нимфенбурги

Удивительный сегодня день. День-подарок. Кажется, что время остановилось. Никуда бежать не хочется, да вроде и не нужно. Я долго сижу на скамейке, осыпанной осенними листьями. Падают с дерева, разбиваются о мостовую и выскакивают из колючих лат полированные свежее-коричневые каштаны. Надо мною синее-синее небо. Передо мною канал в гранитной окантовке; на одном его кон-

це дворец, на другом изошрённый многофигурный каскад. Жизнь прекрасна и неспешна. Мне хорошо в остановившемся мгновении, но при этом память неустанно подкидывает мне образы прошлого. Сейчас, слава Богу, ничего неприятного в голову не лезет, наоборот — картины красоты и покоя, связанные с парками. Мне ведь посчастливилось — я жила в городе, где парки спроектировали архитекторы, да ещё какие! И какие возможности у них были, при императорском-то покровительстве!

Сам Петербург — красавец, но он появился в моей жизни поздно: во времена моего детства я не вылезала из окраин. А вот парки были всегда, парки и их дворцы: загородные резиденции императоров и императриц. С каждым связана история, не в смысле анекдота (хотя и они тоже есть), но история моей жизни и жизни дорогих мне людей.

Сначала у меня появился Петергоф. Тогда мы жили в Московском районе, мы, четверо — мама, папа, Марина и я. Странно, но в моей душе нас до сих пор только четверо, и наша связь нерасторжима. Мы тогда часто ездили зимой в Петродворец: шагали минут сорок до ближайшей станции, Броневой, с лыжами, перевязанными шнурком, потом ехали на поезде, торопливо становились на лыжи у самого вокзала, где начинался парк, бежали по глубокой проторённой лыжне, и я всегда с нетерпением ждала, когда же мы сядем на заваленную снегом со всех сторон и потому приземистую садовую скамейку, закусывать крутыми яйцами, чёрным хлебом и крепчайшим чаем — его всегда заваривал папа, не задумываясь о том, что детям полагается консистенция “белые ночи”. В петергофский дворец мы заходили редко; там мало что было открыто в начале 60-х годов: его реставрация была самой долгой и трудной.

Потом, когда мы переехали в Купчино, в моей жизни возникла *“Остановка город Пушкин, Детское Село!”* Отсюда, с Пушкинского Царскосельского вокзала начинался наш лыжный путь в дворцовый парк с его покрашенным в праздничные цвета павильонами. Однажды, бесснежной зимой, в парке Царского Села случилось чудо — вода замёрзла. Сестра каталась по пушкинским прудам на коньках, бесстрашно подползая под мостики, и фотографировала павильоны, отражённые не в наморщенной воде, а в гладком ледяном зеркале.

Но главное в Царском Селе — дворец. На фасаде дворца вызолоченные фигуры, как большие куклы: для ребёнка живые, сказочные. Ужасное разочарование постигло потом, уже в 40-летнем

возрасте, когда увидела разрушающегося атланта под петербургским балконом на улице Каляева — они же оказывается без ног, и полые внутри, на железном каркасе. А я думала, они монолитные, целенькие, и всё остальное, — ниже пояса, — спрятано в кирпиче стены.

Внутри Царскосельского дворца бывали несчётное число раз. Нарочно скользишь по наборному паркету в больших не по размеру фетровых тапочках и млеешь от красоты мебели и штофных обоев — чем барочнее, тем лучше. О, роскошь китайского кабинета, в который теперь уже не пускают рядовых посетителей! А зеркальный зал ещё не был восстановлен до конца. Ходили безо всяких экскурсий, но иногда примкнёшь ненадолго к какой-нибудь группе и послушаешь. Замечательные экскурсии, к которым экскурсоводы готовились годами. И всегда упоминали о реставраторах. И мы с гордостью, год за годом замечали: вот ещё метр отвоёван у забвения, вот ещё. И даже обещают реставрировать Янтарную комнату.

Всё здесь было новое, хотя в детстве о подлинности не задумываешься. Дворец был разгромлен. Кто-то говорит, что нашими же войсками, но если это и так, то громили только стены. Немцы уже успели аккуратно всё вывезти, ободрать догола, как у них это принято. Упаковали и янтарную комнату, подаренную прусским королем Фридрихом... Спустя много лет произошёл наш последний поход с папой в этот дворец: остались в памяти опьянение перелётом через океан, вечер, последний час перед закрытием, безлюдье, и Янтарная комната, наконец-то, через 50 лет после войны восстановленная. (Как мне неприятно было услышать от Хильды: “А-а, это та комната, которую русские украли в Германии во время войны!” Вот так одно и то же вспоминается разными людьми.)

На лыжах из Пушкина доходили до самого Павловска. Тогда уже только мы вдвоём с папой. Как хорошо папа катался на лыжах; сам выучился правильному норвежскому шагу. Однажды папа чуть не погиб на моих глазах, потому что отказывался снимать лыжи при переходе через рельсы. Он вообще был очень упрямый. Поезд тронулся, не обращая внимания на человека, застрявшего на переходе, я кричала: “Папа! Папа!”, — и теперь думаю, нехстати, я могла его совсем запутать. Мне иногда снится, что он умирает на моих глазах, и мне его не спасти.

Павловский парк был для меня самый любимый. Про него и читала, и слышала всякие истории. Дядя Ваня рассказывал, что в

Павловском парке его возил в детстве на палочке то ли князь Николай Николаевич, то ли сам Николай Второй. “Как, правда, сам царь, вот так, просто в парке? Подошёл к мальчишке, покатал его на палочке?” “Да, так и подошёл”. Отправляясь в Павловск, государь император садился не в бронированный поп-мобиль, как римский папа, и не в чёрный мерседес с затемнёнными стеклами, с мотор-кадами справа, слева, сверху и снизу, как сами понимаете кто, а в вагон царскосельского поезда, как нормальные люди. И охранники не очень вокруг были заметны.

В те же годы бабушка Александра Алексеевна с дедушкой Александром Николаевичем ездили в Павловский Воксал на концерты, — тот самый, где затеяла скандал Настасья Филипповна, и помню, прочитав, я удивлялась — а как же? Где же там, на вокзале, устроить концертный зал и скандал? И только потом узнала, что был железнодорожный вокзал, а был и отдельно стоящий вокс-заал.

В Павловске мы обходили все витые аллеи и все прямые просеки, мы любовалась статуями Федота Шубина под сенью ветвей: это ведь русские придумали ставить в парках не мраморные, но чугунные скульптуры. Читала про то, как обустроивался парк при Марии Феодоровне, как выписанный ею из Венеции архитектор Гонзаго ходил по лесу с ведром и кисточкой и помечал, какие деревья вырубить, какие оставить, какие пересадить, создавая живые картины, вспыхивавшие осенью всеми оттенками жёлтого и красного. Планировка парка сохранилась со времён Марии Феодоровны, но деревья новые. Деревьев Гонзаговой гаммы уже нет, и не восстановить этой гаммы. Всё было вырублено немцами, оставили только четыре дерева, на которых вешали партизан — мне их показывали старожилы, наверно в начале 70-х. Вернувшись в 21 веке, я не смогла их найти. Может быть их тоже срубили? Со времён моего детства прошло сорок лет, со времён войны 65. Парк — живой, он должен обновляться.

Мне хотелось бы вспомнить, что за порода, липы, что ли, это были? На чём вешали немцы? Кругом только ели и берёзы. На берёзах вешать неудобно — у них нет толстых сучьев. Да и у елей нет надёжных поперечных ветвей. Русские деревья не годятся для виселиц. Почему не расстрелять по-простому, зачем спектакль устраивать? Это ведь не просто — повесить человека. Надо ведь уметь это делать. Читала, что всё не так просто, петля может поддеть за челюсть вместо горла. Откуда в немецкой армии взялись люди, которые умели вешать? Или они не умели, но вешали, из обыденной привычки к решению житейских проблем: поросёнка зарезать,

партизана повесить, надо, так надо... Искали ли добровольцев, или офицер назначал палачом, а уж потом у того прорезывался талант вешателя?

70 тысяч деревьев были вырублены немцами. На тех статуях, что не успели закопать, следы пуль. Мраморные львы собраны из кусочков, у Аполлона пулевое ранение. Марина помнит, что и памятник Павлу был прострелен. Потом статую этого поклонника Пруссии подлатали. Раньше экскурсоводы много нам рассказывали о немцах, о спасении Павловских сокровищ храброй директрисой музея, о реставрации. Теперь у нас новые времена, и мозги новых посетителей этим прошлым не засоряют.

Многое с той поры поменялось — у дворца улучшилось, вдали от дворца ухудшилось, и новое появилось. Деревья разрослись, на лугах цветут одуванчики, сурепка и сиреневые дикие флоксы. По Тройной липовой аллее ездит тройка, медленно, чтобы за нею поспел чёрный пёс. На мостике, где раньше были перила из стволов белых берёз, теперь вместо них провалы. А на мосту у Пиль-Башни, где раньше ограды не было, теперь стоит (страшная, бог знает из чего — *смуглого отрока* от неё бы стошнило). Нужна она теперь, наверно; с мостов наверно падают, — пьяных, что ли, стало больше?

Сама Башня-Руина теперь уже выглядит настоящей руиной; весь нижний этаж и стена вокруг наружной винтовой лестницы исписаны и исцарапаны, окна забиты ржавым железом, а когда-то мы радовались, что вот наконец-то её отреставрировали. Помню, на экскурсии какая-то женщина, войдя внутрь, воскликнула: “Здесь царица встречалась со своими любовниками!” Какая царица? Если Мария Фёдоровна, (других вроде тут не было), так что за любовники? Но и вправду среди зелёного и розового муслина думалось о любовниках. А теперь думается о бомжах.

Неплохие сейчас времена, но надписи-граффити зачем-то везде, где можно дотянуться, толстым слоём... Сколько я видела их даже на свежеставрированных зданиях. Надписи эти несомненно навеяны красотой павильонов, дворцов и парков, и в свою очередь будят мысль и воображение у адресатов. Поднявшись на земляной вал, отделяющий сад Марли от ветров с моря, замечаю на скамейке надпись “п...к” и глядя на серую поверхность Финского залива, невольно погружаюсь в думу о том, чем “п..к” отличается от “м..ка”. Или вот в Царском Селе новый Пушкин выводит народным гекзамером на стене Китайского павильона: “Вот бы яблочко куснуть, по... ться и уснуть...” Да, действительно, в Царском Селе ясно и светло.

Дальше по жизни находится парк Сергиевка, где разместился наш Биологический институт. И этот парк, и даже железнодорожная платформа вызывали у меня сосущий страх. В этом парке каждый год кого-то насиловали, иногда беременную женщину, иногда с грудным ребенком, и было принято ходить к железнодорожной станции вдвоём, хотя иногда и это не спасало. Я помню, как в кустах раздался пронзительный женский крик, и потом на платформу поднялся мужчина и громко и зло сказал мне: “Ну что ты на меня смотришь?”

Парк когда-то принадлежал герцогу Лейхтенбергскому и Марии Николаевне, дочери Николая Первого, той самой, про дворец которой и памятник её отцу на Исаакиевской площади сочинена прибаутка: “Радуйся, Маша, к тебе задом едет папаша”. Много было в парке и вокруг него прудов с позабытыми названиями, вместо которых процвели новые, биологические: “Кристалелька” по имени мшанки Кристалеллы, “Спирохетница” — намёк на скученность купальщиков.

Наша лаборатория была в конюшне, а другие во дворце. Директор биологического института проводил раскопки в парке, нашёл интересные предметы, в том числе статую нимфы, и хранил их в актовом зале дворца, вместе с большой гипсовой головой Ленина. Товарищ Ленин смотрел на мир без улыбки, с прищуром: наверно переживал, что у него нет ни рук, ни ног, и прекрасная нимфа для него бесполезна. В парке торчала из земли своя большая голова, гранитная; как будто ольмеки вытесали.

С работы я иногда ходила на Талицкий водовод или в Петродворец. В Петродворце у Марли была удобная яма под воротами. Я подползала в эту яму — не 40 копеек было жалко, а времени на обход. Потом, когда мама заболела, я ездила в Петродворцовый парк вдвоём с отцом, в выходные. Я знала, что он был непрочь выпить пива в ларьке, хотя и недолюбливал советское пиво, неумело сваренное Степаном Разиным, и пил его только за неимением лучшего. Сама я тогда пива терпеть не могла. “Ну что, папа, выпьем пива?” Папа рад доставить мне удовольствие. Хорошо, что мама сейчас нас не видит. Моя мать вовсе не была ханжой, она была остроумна и артистична. Просто она была противницей распивания пива и кваса прямо у бочки, со сдуванием пены на тротуар.

Мама была белым клоуном, папа — рыжим. Папа шутил всегда, а мама редко. Папа и мама были две отличные жидкости, которые никогда не смешивались. Семейная жизнь представляется мне касторкой с сиропом: необыкновенно полезно, местами вку-

но, в целом — трагично. Странно, но касторка и сироп прекрасно перемешались в моей душе, и когда я что-нибудь рассказываю, получается похоже и на маму, и на папу.

С родителями связан для меня самый близкий парк, почти у нашего дома: Московский Парк Победы, где покоится прах безымянных мучеников блокады. Это наша вторая, непризнанная Пискарёвка. Здесь даже и могильных рвов не было. Глина, на которой посажен парк, смешана с пеплом умерших от голода людей, сожжённых в печах кирпичного завода. Старые кирпичные заводы — прекрасное место для парков. После них остаются карьеры, которые превращаются в замечательные пруды.

Вся моя детская жизнь вращалась вокруг этого парка. Сколько километров пройдено и в нём, и вокруг него; зимой, когда хрустел под ногами сухой снег, и окна были окрашены разноцветным светом модных тогда шёлковых абажуров; весной, когда в карниз колотилась капель и проклёвывались почки, *зелёным шумом* взрываясь на красных прутьях вербы; осенью, когда чавкала под ногами глинистая мокреть, и пятнистые листья планировали с деревьев на грунтовую дорожку...

Прогулки наши непременно сопровождались рассказами. Мама рассказывала мне про обезьянок Мурочку и Пиколочку. Истории её мне напоминают мадам де Сегюр; почитайте, это хорошие, добрые и интересные книги, их до сих пор перепечатывают для французских детей в “Библиотек Роз”. В папиных рассказах бандитская старушка летала на метле с пропеллером, из душа текли чернила, из ружья стреляли горохом и солью и непременно попадали в задницу. Я не могла дождаться очередного выпуска этого сериала. Последним шедевром, после которого папа выдохся, была история “Талкина в Пекине”, в которой старушка отравила китайцев нарочно испорченной уткой. Китайцы долго гонялись за Галкиной, но понос помешал им воздать бабушке по заслугам. К сожалению, эти занятные истории прерывались, когда папа доставал из кармана бумажник, показывал мне приколотый к нему значок и говорил, что это рация, по которой мама вызывает нас домой. Много лет спустя бумажник украли вместе со значком освободившей папу из немецкого лагеря Второй британской армии.

Люди, которые давно ушли, возвращаются ко мне в сновидениях. Ничего нового с ними уже не случится, образы их сложились и уже не изменятся. Память — это колода карт: как в колоде всего только 52 карты, так и в нашей памяти ограниченное число кар-

тинок. Хотелось бы вспоминать день за днём, минуту за минутой драгоценное моё детство, но не получается. Всё время крутится одно и то же. Почему запали в душу именно эти мгновения, что было в них подспудного, как глубоко ушёл их корень в водоносные слои моей жизни, и в какие слои? Кто его знает...

Я помню осень в парке Победы, большие, мокрые кленовые листья, рыжие в чёрную крапинку, красные с жёлтыми прожилками, жёлтые с зелёными пятнами, оранжевые с мазками зелёного; ломкие листья, проглаженные по парафиновой стружке чугуном уютгом, разогретым на газовой плите, забытые в словарях до следующего года, а то и дольше. Помню зиму, снегирей, мокрый снег, детские лыжи с полужёсткими креплениями, шубку из серого кролика, ворону, укравшую у папы крышку от фотоаппарата, рыхлый снег на еловых ветках, который так приятно оббивать лыжной палкой, лоя лицом поток колючих льдинок. Помню весну, незаживающие следы санок на льду парковых прудов, талый, жёлтый снег, от которого весенне несёт псиной, прутики с рубчатými зелёными листочками и луковицу, пустившую корни в стеклянной банке на подоконнике ещё индевеющего по ночам окна.

Я помню широкую аллею вдоль Московского проспекта — она теперь вырублена. С неё мы с папой наблюдали как-то военный парад и видели большие удлинённые предметы, которые везли на транспортёрах для подтверждения военной мощи Советского Союза. Я помню Пропилеи — два портика вдоль главного входа, где гнездились множество голубей. Один из них меня разбомбил; мама ругала папу за то, что он повёл меня в эти Пропилеи, а папа оправдывался тем, что какал не он, а голубь. Я помню парковый кинотеатр “Глобус”, в котором мы с сестрой смотрели злободневные фильмы вроде “Кукуруза — царица полей”, и Марина говорила мне: “Да не хохочи ты так, Танька, это неприлично!”

Я помню чугунные статуи парка, которые выглядели на фоне зелени ничуть не хуже павловских скульптур Федота Шубина. Кто теперь знает Раймонду Дьен, которая в пятидесятые годы во Франции остановила поезд с боеприпасами и может быть отсрочила смерть нескольких индокитайцев? А я её помню, и помню, как меня удивляло то, что рельс был на этом памятнике только один, будто железная дорога была монорельсовой. Остальных я тоже хорошо запомнила; все они были герои. Папа подводил меня к Зое Космодемьянской и говорил: “Вот Александр Матросов!” И я смеялась и отвечала: “Нет, ты всё перепутал!”

В моём детстве непогоды не было.

Людвиг и Лео

Приснилось мне, государи мои, что я в городе Привет покупаю билет до станции Спасибо... Новый день. Гуляю по Мюнхену, то потею, то сосиски ем. Немцы, приставленные к пище, добры и любезны: все, кроме торговки ягодами, затаивших понятную ненависть к туристам: они тут гуляют, понимаешь ли, а я работаю, ягоды продаю! На улицах много стоек с ягодами, разложенными по маленьким коробочкам-корзиночкам. Взявши деньги, продавщица малины, похожая на Маделен Олбрайт, ухватила первую попавшуюся и высыпала малину в фунтик. Я, воспитанная русскими и американскими рынками, указала на другую, которая больше понравилась, и киноплёнка пошла в обратном направлении, малина вернулась из фунтика в корзиночку; продавщица выпрямилась и приняла изначальную позу. *“Закрываются двери, И перстом погрозили”*. В Германии не выбирают.

Пусть мы униженные, пусть мы оскорблённые, ну и фиг с ним. Продолжим прогулку. Здесь славно. Мюнхен полон жизни и богатства, старая Фрауенкирхе отражается в стекле автомобиля новейшей марки, много туристов в коротких штанишках, но много и горожан... Я захожу в магазин Даллмайер, анфиладу комнат, заполненную деликатесами и пирожными. Особенно восхищает отдел заливных: два кусочка мяса украшены ежевикой; рядом рыба, рядом паштеты, рядом райские яблочки с черешком — всё, что угодно, залито янтарём желе. Это мюнхенский Елисейский. Вспоминаю семидесятые, трюфели по три рубля за кило, как купила семь сортов по двести граммов, и по спине — холодок купеческого размаха (семь бед — один ответ). Сейчас Елисейский какой-то уже не такой, простор его изжили столики кафе для людей с золотыми дублонами, и неспроста под потолком покупателям кланяются два болвана-истукана. *Это глубоко символично*, — как говорили кто ни попадя во времена моего детства.

Я люблю ходить по каменным джунглям, хотя ориентируюсь в них не лучше, чем в лесу. Там, к изумлению сестры, я не могла найти даже общеизвестные ориентиры: первую грязь и коровий брод. У Марины-то талант по этой части (один из многих): “Ты что, не помнишь, как мы проходили мимо этой ёлки?”, — “Не помню”. *Иду по Абрикосовой, потом по Виноградной*, — стоп! Эти улицы не так называются! Пора начать обращать внимание на дома; в этом смысл променада. Я — на площади Максимилиана-Иосифа, на перекрёстке Максимилиан-штрассе и Людвиг-штрассе,

имени королей, построивших имперский Мюнхен.

Физическая граница между барокко и имперским стилем пролегает по Максимилиан-штрассе. Концептуальная граница пролегла между 18 и 19 веком. В это время окончился век славных курфюрстов Виттельсбахов, абсолютных монархов. Нет-нет, не думайте, сами-то Виттельсбахи не окончились и даже стали королями, но уже не совсем те Виттельсбахи, не прямые наследники. Семьсот лет правления это много; в такие сроки не вымерли только японские императоры, которые не делали различия между законными и незаконными детьми. В сущности незаконный сын такая же нелепость, как *осетрина второй свежести*: сын есть сын; если разбираться, то можно и вымереть. Или придётся искать родственников. Их всегда можно найти, мы все одна большая семья, и вопрос только в том, где подвести черту. Нынешнее, младое поколение обрубает родство на уровне дяди и племянника, но если речь идёт о солидном наследстве, то можно докопаться до более дальних родственных связей. В Вашингтоне, гуляя в садике рядом с домом, я часто присаживаюсь отдохнуть на мемориальную скамейку Эсфири Карпофф — возможно, это моя родственница, и правь она Баварией, я бы сейчас заседала в мюнхенской Резиденции.

У Виттельсбахов мяч перепасовывали от одного троюродного брата к другому. Не все кузены, впрочем, оказались стоящие. Например, Карл-Теодор, заступивший на место бездетного Максимилиана-Иосифа № 3, пытался выменять Баварию на Бургундию. Не дали; никому это не было выгодно, и соседи вправили Карлу-Теодору мозги с помощью небольшой войны. Может быть и жаль — была бы Бавария сейчас частью Австрии, или даже самостоятельным государством; и у Гитлера может быть судьба бы иначе повернулась. У Карла-Теодора детей тоже не оказалось, хотя он старался, и даже женился дважды. *Вот и умер он, и похоронили его...* Тут появился новый кузен, Максимилиан-Иосиф IV. Он тоже потом умер; вообще все, кто родился в 18 веке, перемерли, никого сейчас не осталось — просто мор какой-то прошёл.

Вам уже надоели эти скорбные списки, и непонятно, к чему я клоню. Я собственно про архитектуру, а длинно получается из-за нечёткости мышления. Сейчас я налью себе кофе и продолжу.

Да, так вот, Максимилиан-Иосиф IV... альтернативно известный как Максимилиан-Иосиф I из-за витка истории, на котором он принял из рук Наполеона корону баварских королей, в прямом смысле — Наполеон действительно потратился на соответствующее ювелирное изделие. Почему корсиканский революционер наплодил

королей и династий, — не спрашивайте, не знаю. Может быть тут был тонкий политический расчёт по поддержанию феодальной раздробленности Германии, а может ему было приятно стать выше королей путём раздачи этих званий. В очередной раз убеждаешься, что революционеры вовсе не имеют в виду замену строя, они просто хотят поменять местом низы с верхами; на новый-то строй у них воображения не хватает, в лучшем случае мечты про то, что *всюду хрусталь и алюминий*.

При превращении герцогства в королевство счёт сбился, электор Иосиф Четвёртый стал королем Иосифом Первым. Ну ладно, у нас тоже был свой Иосиф Первый, пережили (не все, правда). Получив редкую возможность начать жизнь сначала, королём, Максимилиан-Иосиф стал перестраивать Мюнхен с электорского на королевский лад, а сын его Людвиг I продолжил. Ради этой реконструкции Людвиг немного потоптался на Мюнхене и кое-что помял. Исчезли крепостные стены (но ворота остались). Средневековые дома были снесены — уж очень их жильцы загадили. (То же произошло в Ленинграде и происходит в Петербурге-2, или т. наз. “Питере”: до большинства “питерцев” в отличие от петербуржцев просто не доходит историческая ценность зданий). Зато после перестройки в Мюнхене стало чисто. Лео фон Кленце, любимый архитектор Максимилиана и Людвиг, спроектировал новые улицы, многие здания, их наружный и внутренний декор и даже мебель, создавая для этого полные мельчайших деталей чертежи, каждый из которых просится в рамку и на стенку, как шедевр графики.

В заказанном королями Мюнхене мне полюбились церкви неовизантийского стиля с их крупными телами и ослепительными нарядами. Длился этот стиль помене, чем византийский — лет семьдесят, — но достаточно для сооружения многих импозантных храмов. У истоков его стояла церковь Всех Святых, выстроенная при Резиденции во времена Людвиг. Я оказалась в ней во время фортепьянного концерта и, глядя на розоватую конструкцию с неясными тенями былых росписей, грезил, что я в Равенне, в одном из храмов заката Западной Римской Империи; того и хотелось архитектору. Представить себе, что там было внутри до пожара, можно по рисункам или по уцелевшему интерьеру церкви Св. Анны.

Св. Анна стоит несколько в стороне от туристских путей-дорог. Смотря ей в лицо, видишь компактный фасад с высокой башней, но профиль у неё гигантский. Внутри — обильная и тщательная отделка мозаикой и росписями. Краски росписей насыщенные, контуры чёткие; налицо двумерность и стилизация, и притом звериный,

огнеупорный реализм. Мозаика византийская, т. е. много золотой смальты. Св. Анна схожа со Спасом на Крови, который построен был если и позже, так ненамного. Но Спас гармоничнее, он отделан более хорошими художниками и в его росписях есть чудинка, необходимая, чтобы возвыситься над средним уровнем. Интерьер Св. Анны красивше или тяжельше — не очень понятно. Но интересно и достойно. В Петербурге несомненно есть ещё много подобного, но я его видела только снаружи, пока оно ещё не выпросталось из-под профессии дровяного склада.

Элементы грядущего византийского веяния есть в Исаакиевском соборе. Навевала их не только эпоха. Мой любимый собор строил Монферран, но его проект значительно усовершенствовал Кленце. Непривычный для православных церквей витраж алтаря *Исаака-великана* был заказан при посредничестве Кленце в Мюнхене, в витражной мастерской Айнмиллера, где были придуманы новые рецепты стеклописи взамен утраченных старых. Когда я увидела на набережной Изара просторную площадь с объёмистым храмом, голова у меня закружилась — Исаакий? Но где тогда Медный всадник, где Институт защиты растений? Что это вокруг, и что это случилось с храмом? Св. Лука неуловимо напоминает Василия Блаженного. Именно неуловимо. Ловишь, ловишь — чем? Чем? Разлапистый. Как будто несколько церквей под одной крышей. Как будто я попала наяву в привычный сон о городе, незнакомом, но родном, объединившем не столько знакомые ландшафты, сколь мои идеи о них.

Исаакий, Св. Лука, подворье монастыря на Карповке, Св. Анна похожи и непохожи, как дети одной семьи... Думаю, искусствоведы найдут и укажут нам в этих неовизантийских церквях приёмы модерна: если строить во времена стиля, стиль прорвётся. Но как? Что строят стилиаги во времена такого-то стиля? Разное. Ходишь и думаешь — разрешу ли себе полюбить эту церковь, или это всё же дурной вкус? Принижает ли приставка “нео”? Есть два подхода к оценке: “нравится/не нравится” и “для своего времени” (помните советское клише с неясным смыслом: *“образованный человек своего времени”*?). Если забыть про историю искусств и спросить: “А хорошо ли?” — плохая имитация покажется просто плохой архитектурой, а хорошая — хорошей. На своих условиях церковь Св. Анны хороша, а церковь Св. Луки, тоже построенная в девяностые годы, плоха. Она великолепно выглядит снаружи, но внутри мельтешение подробностей: что-то там не то с пропорциями; пытались сделать Сан Витале, но не вышло.

Максимиллиан и Людвиг любили широкие проспекты, такие широкие, что кажется, что не по улице идёшь, а по нейтральной полосе, вдоль которой стоят и смотрят друг на друга две армии домов-великанов. К этим великолепным улицам относятся Максимиллиан-, Людвиг-, Кёнигштрассе, скромно названные в честь их строителей. Имеет смысл по ним прошвырнуться, сделать кружок. Ничего плохого в том, чтобы прогуляться по чистенькому, нет.

На Максимиллианштрассе краем выходит большая голая площадь Максимиллиана-Иосифа с памятником Максимиллиану, размером с Екатерину Великую Микешина. С этой площади вход в Резиденцию и в Национальную оперу. Фасад оперы из известных нам зданий больше всего похож на Биржу на Стрелке Васильевского острова (при мне Военно-Морской музей, а что там сейчас, не знаю). Опера была выстроена Максимиллианом по проекту архитектора Карла Фишера и заново воссоздана после пожара Лео фон Кленце. За образец был взят театр Одеон в Париже, поразивший воображение Максимиллиана (Максимиллиану?). В этом театре роскошная лестница, почище Иорданской, по крайней мере по размеру. Для тех, многих, кого воротит от оперы, сообщаю, что посмотреть театр можно с экскурсией, в два часа дня.

Что касается меня, то я оперу люблю. *“Как сладостен, я полагаю, миг, когда ты забиваешь гол в ворота противника”*, — рассуждал Хоттабыч. Как сладостен, я полагаю, миг, когда ты попадаешь в ложу Мюнхенской оперы. То есть не ты, а я. Впрочем, я запросто бываю в этом замечательном театре. В моей коллекции видеозаписей есть много спектаклей Баварской Оперы, и я знаю, что зал Национальной оперы большой, многоярусный, с кисельно-розовыми креслами; на стенах фризы с белыми греческими колесницами, на потолке красная с белым роспись, а в ложах голубая ткань с белым рисунком. Бодрит: я уже привыкла к красному с зелёным (средневековое сочетание), но к голубому с розовым ещё не вполне готова.

В наше время, как и во времена моей молодости, множество людей оперу не любит и на неё не ходит, предпочитая ей мюзикл. Парадоксально, но при этом для любителей оперы начался золотой век. Нас кормят до отвала, мы разнежались, вокалом нас не удивишь, нам подавай красивых артисток и занятные представления. По этой части Баварская опера лидирует с блеском. Постановки эти уже давно не имеют никакого отношения ко времени и месту действия. Современные спектакли делятся на анахронизмы и перпендикуляры. Анахронизмы вырастают из желания перенести оперу чёт знает

куда из присущей ей эпохи, желательно, вперёд, но можно и назад. Их достоинство — напоминать нам, насколько сюжеты привязаны к своему собственному времени. В перпендикулярных постановках действие происходит на планете Дум-дум Альфа Центавра. Или на какой-нибудь другой планете, но только не на нашей. Онегин сидит на унитазе, и на него сверху сыплется серый порошок. Татьяна катает по полу огромные шары... Казалось бы, Ильф и Петров раз и навсегда осмеяли подобные постановки, но они не переводятся. Я не люблю драк на куче мусора, но всё остальное для меня приемлемо. Многие из того, что я видела, мне понравилось, особенно “Роберт Деверё” Доницетти с Эдитой Груберовой: в бизнес-костюмах, в интерьерах последних десятилетий.

Неподалёку находится роскошный старый “Отель Четырёх времён года”. Посмотреть Отель Четырёх времён нужно, поскольку он указан в путеводителе как достопримечательность. Здание... ничем оно не примечательно, ну, длинное такое, из тех, кто не делает погоды, но её поддерживает, тем, что не выделяется из присущей городу архитектуры. То же и на Невском — дома сплошь красивые, но я, в отличие от моего более наблюдательного друга, не могу вспоминать их фасад за фасадом. Они для меня одинаковые, отличаются только магазинами... Или людьми. К примеру, мне помнятся дома у метро Василеостровская. В одном жила папина бонна, в другом — тётка. В третьем — Лёня Бутов. Но все три дома мне кажутся похожими: неопределённого цвета, голенастые, с узкими высокими окнами под треугольными шапочками наличников. Дома друзей одомашнены, и подробностей не припомнишь, как не припомнишь халата случайно забредшей в гостиную бабушки соученика.

У подъезда Четырёх времён Некто высокий, в сером цилиндре и серой ливрее распорядился машинами, и они слушались, тыкались носом в бровку, заползали в подъезд за колоннами, где горели толстые свечи, защищённые прозрачными ящиками. Зайти в этот отель мне было непросто. Ничего для меня нет страшнее, чем приступить порог отеля. Я жду, что ко мне тут же бросятся милиционеры и выведут под белые руки, как проститутку. Меня почему-то в молодости часто принимали за проститутку — наверно потому, что я хорошо выглядела. Милиционеры выбрасывали меня даже из фойе филармонии. В городе Пушино-на-Оке, когда наша лаборатория собралась в номере у заведующего кафедрой послушать репетицию его доклада о рецессивных супрессорах, как раз, когда мы добрались до самого жалостного и трогательного момента (неод-

нозначность матричных процессов), раздался телефонный звонок, и у Сергея Георгиевича потребовали, чтобы он выставил за дверь “женщину с улицы”. Он даже сначала не понял, о ком идёт речь, а когда понял, ответил в изумлении: “Да это не женщина!” Но ничего поделать было нельзя — все остались, а я ушла. Страх унижения и моей перед ним беспомощной капитуляции въелись мне в поры, как уголь кочегару. Я специально тренировала себя за границей на вхождение в отель. Я это делаю, как неприятную, но необходимую вещь — чистка зубов, посещение глазного, мытьё унитаза.

Но в этом мире, где всё продаётся и покупается, меня даже ждали, пусть без особой сердечности — весь приёмный зал отеля был заставлен столиками, и можно было бы откусать кофею с кексами, но не снизошла. Войдя внутрь, или “вовнутрь”, как все теперь научились у табличек венгерских “Икарусов” (“*Открываются вовнутрь*”), понимаешь, что фасад интереснее. Внутри это отель. Что ещё сказать? Знаете эти косноязычные описания, которыми отделяются друзья, побывавшие в экзотических местах? “Отель”, — говорят они, — “Отель, понимаете? Море, пляж, коктейли. Ну, коктейли, понимаете?” Люди трудящиеся, которые обеспечивают нас пищей, лекарствами и сотовыми телефонами, имеют право быть косноязычными. Да и все остальные тоже имеют. В 19 веке ожидали описаний от писателей; теперь и от них не ждут. Сименон объяснил, что, слава Богу, все уже везде были; просто называй: “Набережная Сены” “Версаль”, “Доки Марселя”, “Одесская лестница”, “Бровеносец в Потёмках”, “Дас ист отель”, и достаточно — воображение должно услужливо подсунуть картинку.

Отель как форма жизни безлик по определению — он ведь должен всем нравиться. В самом дешёвом немецком отеле — зеркала, картины на стенах. В столовых ожидают обстановки нейтральной, не портящей аппетита: белых скатертей и прозрачного стекла, светлых однотонных стен, хрустальных люстр; в гостиной — уюта: кожаные кресла и диваны, люстра из цветного стекла и тяжёлые шторы. Цена за номер и соответствующий сервис — вот что важно. В отеле “Четырёх времён года” номера по 400 долларов в день, и больше. В них можно заглянуть с интернета — с невидимого корабля, на котором можно сплывать в любые воды. Тут ванны на ножках, и росписи во всю стену, современные: попытка выделаться под Модерн и при этом не развести клопов. Если хвалить, так только плафон во весь потолок вестибюля, из цветных кусочков стекла, непрозрачных, как пластины слюды или очень тонкого алебастра, подсвеченных изнутри; наверно модерн.

Выйдя из отеля, я прошла налево и увидела нависшую над Максимилианштрассе огромную глыбу. Оптический обман — махина на другом берегу Изара. Как у всех плюгавых речек, (не чета Неве), у Изара сколиоз — один берег выше другого, и постройка ещё импозантнее оттого, что находится на высоком берегу. Это Максимилианеум, ныне Ландтаг; сооружение, задуманное Максимилианом Вторым в виде готического дворца, и законченное много лет спустя в стиле Возрождения. Возрожденческие венецианские палаццо подавляют, потому что их размеры можно сопоставить с человеческим телом и понять, что они много больше. А вот Максимилианеум сопоставить нельзя, как Луну и яйцо, то есть можно, но фигня выйдет. Максимилианеум вне размеров. Куда только не заносит архитекторов и их заказчиков мечта о Большом и Красивом, как наше будущее! Бац, и заказан пятнадцатиметровый Сталин, бух — и спроектирован шестидесятиметровый Ленин, в черепе у которого завёлся зал заседаний.

Максимилианштрассе... если кто любит ходить с сумкой по магазинам, эта улица для него. На ней находятся самые дорогие универмаги — не продуктовые, нет, — легкомысленной и недолговечной роскоши: одежды; наших перьев, которыми мы поражаем воображение партнёров и соперников.

Я захожу: я собственно не совсем нищая, и если мне захочется... Ну в конце концов? Зря я всю жизнь работала, рук не покладала, упиралась рогом, мантулила, корячилась и горбатилась? В таких магазинах особо светло, особо чисто, особо просторно. Здесь поработал дизайнер; я имею в виду ДИЗАЙНЕР с заглавным “Д”, который получает за труды кругленькую сумму, и заслуженно. И продавщицы здесь ухоженные и оттренированные на внимание к человеку. Здесь всё здорово, кроме вещей. На оконной витрине — вроде всё на меня, но внутри меня поджидают зеркала. Для Александра Грина *будильники — палачи счастья*. Он видимо не дождал до того времени, когда роль палачей передают зеркалам. Рина Зелёная это понимала: “Зачем мне зеркало, я и без того знаю, что я высокая блондинка”? Могу я себе позволить выглядеть, как красно-чёрный леопард? Или вот тут розовые цветы расползаются по серому фону штанины. Или вот это чёрненькое, с вырезом до пупа?

И вдруг я вижу миленькие брючки. У вещей есть четвёртое измерение, говорящее напрямую с шестым чувством. Ходишь, разглядываешь, думаешь — подойдёт? Или нет? Пробуешь, возвращаешь,

сомневаешься. Устаёшь. Уже отчаявшись, готовясь взять, что попало, лениво снимаешь последние плечики с вешалки. И молния озарения ударяет в темя и уходит в землю по позвоночному столбу — сомнений нет. Как в театре — хорошая балерина? Плохая? И вдруг выбегает... и ты потом заглядываешь в программку и читаешь — Максимова. А можно было бы и не читать. Максимова видна. Покрой у неё другой.

Тридцать восьмой, а побольше нету. Я задерживаю занавеску, я растёгиваю молнию на моей находке и заносу над ней ногу (чтобы примерить!). Брюки не налезают. Вокруг кабинки вьётся услужливая продавщица, предлагая мне принести... “А какой у вас обычно размер?” “Сорок четвёртый”. “???” (*Городничий посередине в виде столба, с распростёртыми руками и закинутой назад головой*). Ну всё, пора меня отсюда вывести, как проститутку.

Если красивые брюки на вас лопаются, или нет денег на покупки, вместо Максимилиан-штрассе можно пройти по Людвиг-штрассе к Мюнхенскому университету Людвиг (IX) и Максимилиана (IV/I). Я об этом университете никогда раньше не слышала, может быть оттого, что основан он был недавно, в 1472 году (Людвигом IX). Зато я слышала фамилии некоторых его сотрудников — философ Шеллинг, физик Ом, химик-Либих. Добавим к этому Рентгена и Гельмгольца. Вот и ещё несколько светлых умов мне удалось пришпандорить к конкретному времени и месту! Да, все эти учёные, о которых нам рассказывали в школе, где-то рождались, жили, работали, иногда гибли в мясорубке исторических событий. Несёт ли закон Ома на себе отпечаток Мюнхена? “Разумеется, нет”, — ответит каждый школьник и, может быть, будет неправ.

На Людвиг-штрассе стоят дома, цельно-проектированные Лео фон Кленце, построенные Людвигом (I) на собственные деньги. Когда его уволили, он их достроил и получал хороший доход от их аренды. Вы понимаете, как это благородно и чудесно? Конечно, вы понимаете, — вы, живущие в наше время, когда не только Людвиги, но и самые распоследние думцы строят себе дома в Португалии на незаработанные несобственные деньги.

Найдя неподалёку обе Пинакотеки, “Н” и “С”, довольная проведённой рекогносцировкой, поворачиваю на Максимилианен-платц. Площадью её не сразу признаешь: вытянутая, вся засаженная деревьями, Максимилианен-платц кажется эдаким бульварным оазисом в каменной пустыне. Пардон, кажется это прилагательное употребляется в ином значении. Ну, не важно, вывернусь тем, что

без бульварных писателей на ней не обошлось: из буйных кустов Максимилианен-платц испуганно выглядывают Гёте и прочие чугунные ребята. Я помню что-то подобное в Петрозаводске. Там, если зайти в кусты, они вдруг раздадутся, и застукаешь на скамеечке Маркса и Энгельса, тайком пожимающих друг другу руки.

Пересекаю Бриеннерштрассе. Что такое? Мне кажется, я на Невском, в той его секции, где дома пониже. Там стиль неоклассический, — говорят, и я охотно верю, но вот уж не ждала, и не пойму до сих пор, глядя на особняк Энгельгардта, что такого уж неоклассического в этих домах, на которых даже и колонн нет, только иногда рустовка и вокруг оконных проёмов прямоугольные картуши. Нео-классицизм Бриеннерштрассе, впрочем, получился с германским вихром — высокими красными крышами, которые скрывают парочку дополнительных этажей.

Ну как, я на Невском, или где? Ясно дело — “или где”, потому что скучно. Причин тому, что Бриеннерштрассе не Невский, много. Может быть Бриеннерштрассе прямая... А Невский, ха-ха, кривой? Что может быть прямее Невской Перспективы, а всё-таки там что-то есть кривое; вот что — взгляды! Глаз там зацепляется за каждый дом. За Бриеннерштрассе глазом не зацепиться. Не кажется, что ты в городе 19 века, а кажется, что ты в бесполой Москве тридцатых годов. В городе Людвига и Лео дома капитальные, качественные, клёвые, но слишком всё похоже на себя самого. Проблема в том, что огромный нео-Мюнхен был выстроен слишком быстро и немногими архитекторами, поэтому он завяз в едином стиле, который глаз не радуется.

Цвет крыш почти не заметен, они высоко, а цвет стен ... да тоже в общем не заметен — что-то такое сероватое, тускловатое. Людвиг хотел создать чистый, современный город, и создал, но городу этому существенно не хватает красок, хотя жить можно, потому что в Германии солнечно. Наш Петербург не выдержал бы сплошняком творений Фишера и Кленце — все бы побежали стреляться или топиться в Фонтанке. Петербургское небо цвета размытой китайской туши выносимо только в сочетании с яркими стенами зданий. Увы, эти краски ливают с Петербурга в сталинских районах, не говоря уж о хрущёвских, где *довлеет дневи* за *дневи* серости имперской идеи.

И народу на Бриеннерштрассе мало для цивилизованной улицы. На Невском мы все, дружно, идём туда и сюда, и в Альтштадте тоже. А тут от силы пяток встречных. Надо, разумеется, сделать

поправку на “гаагский эффект”, открытый автором и его приятельницей. На дрожжевой конференции в Гааге, в 1990 году мы ходили по улицам и озирались: какой странный город, ни одной живой души. А потом мы заметили, что вся проезжая часть забита металлическими коробками на колёсах и задумались, а может быть гаагские живые души — в машинах?

Бриеннер-штрассе краешком задевает Максимилианен-плац, кругло обтекает Каролинен-плац и упирается в Кёнигсплац. На подходе к ней можно видеть здание Высшей школы музыки, то самое, в котором Чемберлен подарил когда-то Судеты нацистам.

На Кёнигсплац пришёлся пик мюнхенского творчества Лео фон Кленце. Слева стоят Антикензаммлунген с коллекцией античных ваз и небольших скульптур, справа Глиптотека со статуями оттуда же, из античности, а прямо перед нами Пропилеи; как опасны птицы Пропилей для усталого путника, я уже рассказывала, а сейчас про Оттона Баварского, в честь которого возведены мюнхенские Пропилеи. Времена были странные, международная обстановка напряжённая, и после того, как греки освободились от турецкого ига не без помощи Баварии, Оттон, или по-домашнему Отто, сын Людвиг, попал в греческие короли. Кленце был призван в Афины и предложил план перестройки города в неогреческом вкусе. И ведь улучшил-таки Афины, так же, как улучшил Мюнхен! Жить в Афинах стало удобнее. Но греки не обрадовались, обнаружив у себя на троне Отто, и со временем турнули этого младотурка: на роду у баварских королей и их отпрысков было написано получать плюхи от благодетельствованных ими людей. Такова судьба всех, кто заботится об окружающих.

Говорят, в Греции всё голо, лишь кое-где торчат маслины и античные храмы. Может быть эта информация неправильная, но именно ею руководствовался архитектор, когда создавал музейный комплекс в Мюнхене. Здания стоят далеко друг от друга, на лужайке. Деревьев между ними нет. Здесь есть где разгуляться вольному ветру. Я не замёрзла, но и ощущения, что я в Греции, у меня не создается. Показалось, что здесь как-то недопосажено и недостроено, не остаётся чувства архитектурной сытости. Да и сами постройки...

Вы видите перед собой (мысленным взором) человека, который не любит греческой архитектуры, особенно если она выполнена из грязно-серого песчаника. Поэтому мне неудобно созерцать масштабные сооружения нео-Мюнхена, или правительственного центра Вашингтона. Почему мне не нравятся палаты в стиле германского посольства на Исаакиевской площади, несмотря на то, что они меня

оказывали в детстве, на Московском проспекте, я знаю — я их боюсь. Мне за ними видится бакинский экспроприатор, усатый *таракан с издевства*. Но “сё муа”, а многих радуют ряды желобчатых колонн.

Огромный куб на рустованном цоколе, унылый, бледный вид — такой предстаёт предо мною знаменитая Глиптотека фон Кленце. Вокруг Глиптотеки пусто, и ради компенсации всё в ней огромное, как в надувном Микки-Маусе, парящем над американским магазином. Глиптотека кажется голой, хотя она и украшена стоящими в нишах статуями неизвестно кого; кажется слепой — отсутствие окон на её фасаде заметно; наводит скуку поставленным на массивный цоколь портиком, на котором, сколько ни ищи, не найдёшь атлантов. Я обхожу Глиптотеку кругом, — может там получше будет, — и что же я вижу? Ни за что не догадаетесь: за углом играют в шахматы. Фигуры гигантские, до пояса игрокам (чтобы не спёрли?). Такой спорт сидячим не назовёшь; он лучше плавания: укрепляет и ноги, и руки, и мозги. И может быть повышается чувство ответственности за пешек, когда находишься прямо на поле боя.

Как поклонница барокко, как любитель кучерявой лепки, заползающей на прямоугольную правильность, я с грустью устала на античный портик Глиптотеки. Но... путешественник должен быть открыт новым впечатлениям; уважение, уважение и ещё раз уважение к местным обычаям! Я помню, готовя к ответственной турпоездке в Болгарию, нас просто умоляли не говорить в заграничных музеях: “Это не Эрмитаж”. Мы потом, конечно, говорили, в лицо туземцам, даже не закрывшись рукавом. Но что с нами поделаешь.

Я шагнула внутрь.... Прошло время, я вышла. Ну, что вам сказать? Не ждите дифирамбов. Это не Эрмитаж. Собрание скульптур в Глиптотеке хорошее (боязно вымолвить, но может быть лучше Эрмитажа), и фавн Барберини лихо развалился на скале, ничего не скрывая, но стены бледненькие. Особенно по воспоминаниям о Новом Эрмитаже.

В Новом Эрмитаже — живые краски облицовки полированным искусственным мрамором и росписей, подобных помпейским фрескам. В Новом Эрмитаже — лепка и узоры цветными брызгами на сводах, наборные полы из мрамора и дорожки древесных пород. В замечательной книге Майи Гервиц “*Лео фон Кленце и Новый Эрмитаж*” воспроизведено множество акварелей К. Ухтомского, Э. Гау и Л. Премацци, запечатлевших Новый Эрмитаж в первозданном виде. Конечно, теперь уж и развеска картин не та, и некоторые настен-

ные росписи уничтожены в конце девятнадцатого века вандалами под предводительством Атиллы, но всё-таки... Осталось многое.

Залы греческой и римской скульптуры в этом музее самые тихие и спокойные, и не удивительно, что именно там герой Райкина пытался распивать, сами понимаете что. В них так нарядно, что меня тоже тянет выпить, душа просит достойного закругления праздника. Ещё одно чувство, которое охватывает меня в Новом Эрмитаже — изумление от того, что всё это не было разгромлено и сожжено, или переделано в более красивое, как многие дворцы и церкви Петербурга. Подожди Новый Эрмитаж, и кто сейчас будет заново выпиливать квадратики 1 см x 1 см для мозаичного пола в римском вкусе, тем более в обстановке победившего капитализма?

Строитель Нового Эрмитажа — Лео фон Кленце. Имя Кленце нам известно со школьной скамьи. Только вот я считала, что Кленце — наш немец, осевший и обрусевший, как австрийский аристократ Каценэлленбоген, или итальянский кондотьер Бианки, и многие другие, и теперь в Бонче или Финэке, или в Текстильном университете имени Косыгина учатся студенты с той же фамилией. И в Мюнхене я первым делом подумала, что это другой какой-то Кленце — двоюродный брат или сын отца племянника. Оказывается, тот самый, и не Кленце в Россию за пряником, а пряник в Баварию за Кленце поехал. Как рассказывает Майя Гервиц, Николай Первый очутился в Мюнхене в 1838 году и, познакомившись с Кленце и построенными им музеями, понял, что ему нужен Эрмитаж вроде мюнхенской Глиптотеки.

Государь Николай Павлович, а не Пётр Первый, *“на троне вечный был работник”* (последний чересчур много пил, пытал и точил на токарном станке всякую бесполезную дрянь). Люди неоднозначны, как правило не удаётся припечатать им на лоб клеймо “сволочь” или “милейшая личность”, и с Николаем такое не выйдет. Николай Первый был человек долга и кристальной рабочей честности, спал не более пяти часов, мотался по всей России с милым другом Бенкендорфом, выпадал из коляски, ломая ключицу на неверных её дорогах, пытаясь поправить, улучшить, искоренить... А не лежит к нему душа. Николай Первый тридцать лет зубами удерживал телегу истории, со страшными последствиями для России. Пётр Первый, тот был припадочный и изводил Россию по природной подозрительности, а Николай Первый давил на своих подданных из ложно понятого священного долга. Количество наложниц Николая, и то, как бездушно и утилитарно он с ними обходился, вызывает тошноту. С другой стороны это ему, а не Екатерине, не Александру Первому, не

купцу Синебрюхову, принадлежит идея создания публичного музея на основе частной царской коллекции.

Но с третьей, — никакие Молотовы не нанесли Эрмитажу такого ущерба, как наш просвещённый деспот с глазами навывкате. По свидетельству барона Врангеля, не того, чёрного полярного исследователя, а другого, коллекционера и очеркиста (статья *“Искусство и государь Николай Павлович”*), царь сам лично перешерстил всю коллекцию и устроил аукцион неподходящих картин. Среди них были полотна Гвидо Рени, Луки Лейденского, Бассано, Рибейры, Луки Джордано, Рубенса, Тинторетто, Шардена. Если картины, распроданные большевиками, положили начало Вашингтонской картинной галерее, и ими может любоваться весь мир, картины николаевского аукциона пропали, потому что продавали их за бесценок в первые попавшиеся руки.

Самым трогательным было то, что августейший искусствовед распорядился доукрасить некоторые картинки, пририсовав к ним красивые кустики. Не слабо. Как говорил тов. Сталин: *“Не нам же переделывать свои вкусы, не нам же приспособливать свои мысли и чувства к Зоценкам и Ахматовым”*. Вы помните гудонова Вольтера в Эрмитаже? Я его помню. *“Истребить эту обезьяну”* — распорядился Николай Павлович. Спас его граф Шувалов, тайком затворив фернейского затворника в подвалах Таврического дворца. Как говорил тов. Хрущёв: *“Я думал, они все — педерассы...”* Так вот, Николай пригласил фон Кленце в Россию.

Мне всё время хочется переписать набело не только текст, но и прошлое, кусочек его, если нельзя всё целиком. По крайней мере повторить и при этом поправить — путешествие, рисунок, лепку. Мне можно, но архитекторам это обычно не удаётся. Только у Лео фон Кленце, через двадцать лет после строительства Глиптотеки, выпал второй шанс — строительство Нового Эрмитажа. Все старые идеи можно было перепродумать и превзойти. Денег было почти несчётно, ну разве что мрамор вместо подлинного искусственный, клеевые краски вместо энкаустики — но это мелочи, эффект тот же. Новый Эрмитаж (Новая Глиптотека) это барокко постаревшее, поумневшее, как всегда ценой потери свежести, но *цветы последние милей роскошных первенцев полей...*

Я вспоминаю Новый Эрмитаж, и душа моя оживает. То ли дело в моей привычке, то ли вправду Новый Эрмитаж — самое лучшее, что придумал Кленце. В этом ему помог Петербург. Мюнхен был стар, неопрятен и давно потерял право решать свою судьбу. Там архитектор руководил городом, и получилось неразумно, как

в семействе, где дитя — властелин. Здесь молодой, сильный город повёл за собой архитектора. Портик с атлантами Нового Эрмитажа затаился на Миллионной как подарок под ёлкой. В те годы, когда в выходные я бродила по старому городу, мне случалось оказаться на Миллионной рано утром. В странном контрасте с Невским улица была пуста, можно было рассмотреть Новый Эрмитаж с разных точек, потом подойти вплотную и взглядеться в наморщенные от усилий животы атлантов и мягкие блики света на их серой полировке.

Портик Нового Эрмитажа был камнем преткновения между дядей Ваней и дядей Колей. Дяде Ване не нравилось, что дядя Коля повадился называть многочисленных мужиков, подпирающих петербургские балконы, кариатидами.

— Коля, — язвительно спрашивал дядя Ваня, — а что такое кариатида?

— Кариатида — это статуя, прислонённая к стене.

— А что такое атлант?

— Статуя, не прислонённая к стене.

— Коля, — вкрадчиво вопрошал дядя Ваня, уверенный в победе, — А кто тогда стоит на Новом Эрмитаже?

— Кариатиды, — отвечал дядя Коля. С логикой у дяди Коли всё было в порядке. Живородящих акул он считал млекопитающими.

Дядя Коля был совершенный добряк и изобретатель первого советского телевизора, за который он получил Сталинскую премию. Он знал множество интересных вещей, но был схоластом по части классификаций. Дядя Ваня был насмешлив, остроумен, любил живопись и мечтал быть историком, но работал инженером в трампарке, чтобы не засвечиваться перед советской властью. Оба они были рослые, красивые мужчины, и однажды в детстве я их перепутала. Во время войны им было к сорока. Дядя Коля закупал припасы для России в Америке по ленд-лизу. Дядя Ваня работал в Мечниковской больнице в блокадном Ленинграде — он вывозил трупы и помогал их раскладывать во рвах ровными рядами, чтобы больше вошло.

Так что не того я ждала от Лео фон Кленце в Глиптотеке. Я ждала Нового Эрмитажа, мрамора, и росписей, и лепки, и что же это он так, после обещаний сделать красиво? А если не он, так кто и куда подевал все эти замечательные отделки, изображённые на старых акварелях, свои для каждого зала, подобранные по тематике — египетские, греческие, римские? Я знаю ответ на этот вопрос, да и вы, наверно уже вспомнили.

Глиптотека, Старая Пинакотека, флигели Резиденции сгорели в 1943. Они конечно восстановлены, но вот в Глиптотеке, изначально мраморной, теперь општукатуренный кирпич, и о росписях и речи нет — они ведь были так же богаты и разнообразны, как росписи Нового Эрмитажа, а стало быть неповторимы. Церковь Всех Святых, выстроенная в подражание византийским храмам, чуть-чуть внутри похожая на Исаакиевский собор, была убита во время второй мировой войны. От неё остались только акварели интерьерера. Национальный оперный театр фон Кленце был разбомблен и восстановлен, то есть построен заново в 1963 г. Единственное здание фон Кленце, оставшееся в нетронутом виде — это Новый Эрмитаж, у чёрта на куличках, где-то в далёкой России, в городе, который немцы планировали сравнять с землёй.

Трык-нога или музейный день

Слепим идеальный день и назовем его музейным. День гипотетический, день сборный, поэтому солнце в нём закатывается дважды, но отсутствует утро. Утру не повезло. Утро — интермедия, которую можно исключить: разболелись ноги; я провожу полдня в постели. Нога трык, я бряк — вот и вся история. Моя жизнь раскололась в неожиданном месте — в подошвах. *“Вот теперь лежу в больнице, у меня болит нога”* (комические куплеты моего детства). Когда-то я хаживала от Никольского собора к Литейному мосту, пересекая Петербург наискосок. Когда-то до Пулкова доходила через Среднюю Рогатку, да что до Пулкова, вот ещё вчера... А сегодня я не могу встать, впервые в жизни чувствуя, что тело не подчиняется. Болит всё — и нога, и спина, и *лицо, и одежда, и душа, и мысли.*

“Надо отлежаться”, — говорит оптимизм. Он у меня немногословен.

“Это крушение иллюзий о бессмертии, и о том, что «вот уж на пенсии-то я попутешествую...»”, — говорит пессимизм. — “И это только начало; жизнь будет наполнена болью. Лопнут умозрительные идеи о том, что, мол, душевная боль гораздо страшнее физической. Нет, не страшнее. Страшнее постоянной физической боли (изодня в день, из месяца в месяц, из года в год), страшнее ощущения, что тело разваливается, нет”.

Когда-то люди в сорок считались стариками, а умирали в пятьдесят. Павел Петрович Кирсанов в сорок лет полюбил последней стариковской любовью. Матрёна Тимофеевна к моменту написа-

ния поэмы была *осанистая женщина лет тридцати шести*, всё в прошлом. Старушке-матери Раскольниковова, когда она умерла от удобной автору горячки, было года сорок три, и она ещё сохраняла некоторую свежесть, а вот графиня Ростова, которую вывозили на кресле-каталке, на свежесть в свои (и мои) 57 лет уже рассчитывать не могла. Моя прабабушка, Феодосия Павловна Прокудина, умерла старухой шестидесяти семи лет в 1937 году. В 1514 году, в шестьдесят четыре года, родив восемнадцать детей, и похоронив из них пятнадцать, умерла мать Альбрехта Дюрера. Перед смертью матери Дюрер написал её портрет углём, который находится теперь в Берлинской галерее: глаза навывкате, щёки впали, лоб — стиральная доска, а шея — бурелом жил и впадин. Тела прежних людей к шестидесяти были израсходованы до предела.

Люди и теперь живут до сорока, а потом шасси заедает, обшивка лупится, приводные ремни лопаются, и дело становится за современной медициной — сколько ещё она нас продержит на скрепочках и проволочках? Вечерняя, садо-мазохистская, фаза взаимоотношений с собственным телом подпитывается временными просветлениями, и думаешь: «Пожить бы ещё!», — даже когда уже совсем ясно, что постарому не будет. Поскольку мы в пятьдесят не умерли, мы научились себя обманывать, притворяться, что в душе нам семнадцать, хотя так думать может только человек, неспособный к самоанализу: в пятьдесят нам пятьдесят, а в семьдесят нам семьдесят, и этого не изменишь. Наши ряды множатся, существует теперь уже целая субкультура людей старше пятидесяти; вот они: пожилые, чистенькие, опрятные, улыбающиеся. Присматриваюсь и думаю — а что болит у этого, какую часть тела он терпеливо разминает каждое утро, от какой хвори бежит по дорожке в шортиках?

Триада, трёхчленка времени: ослепнуть, оглохнуть, обезножить, — лучше не будет, а значит всё надо отбросить, наплевать, забыть, приукрасить. Найти себе всепоглощающее увлечение. Врач-психиатр, которая меня когда-то лечила, говорила, что психам полезно искусство. Впридачу к искусству она мне тогда выписывала таблетки амитриптилина, за что я ей очень благодарна: психотерапия на меня не действовала, в силу привитой вежливости мне было неудобно говорить про себя. Поэтому я подробно расспрашивала профессоршу о её жизни. Она мне рассказывала о себе, думаю, не из нарциссизма, а из понимания моей натуры; натура-то моя как раз и виновата во всех злоключениях. С тех пор минуло двадцать пять лет, и столько всего произошло, и столько изменилось в моих взглядах. Я стала злее, и трезвее, и нормальнее. Веры в справедливость жизни по-

убавилось, оптимизма поприбавилось. Хотя я не уверена, что одно вытекло из другого.

Отпустим ногу, возьмёмся за искусство, хорошенько днём отлежавшись под зовущие за окно весёлые звуки большого города: *звон трамваев и людской водоворот. Неужели ты не слышишь, как весёлый барабаничик в руки палочки кленовые берёт? Не глухая, слышу-слышу, мне самой не по себе...* Радио моего детства. Пинакотеки, слава Богу, работают по вечерам, до восьми — Старая во вторник, а Новая в среду. Отправляясь в музеи, впервые в жизни думаю: “Проехать или пройти, воспользоваться эскалатором, или нет?” Странно ехать на метро, если можно дойти, но вот еду.

Старая Пинакотека построена Лео фон Кленце в виде флорентинского палаццо: в его вестибюле потеряешься. Я начинаю вечер, как мне хочется, со сладкого — напрямик направляюсь в сувенирную лавку. У меня есть оправдание — она вот-вот закроется, а мне нужно купить два каталога подруге. Магазин заполнен альбомами. В них должны быть все сокровища Пинакотек, но наверняка не скажу, потому что альбомы запечатаны прозрачной плёнкой. Покупаю подруге толстые, себе — тоненькие. Толстые мне не нужны, я не собираю репродукции картин — потому что дура. Что я буду рассматривать у камина, когда последняя нога сделает трюк? Комиксы. Тинтина — мне он нравится.

Во времена моего детства я не только радио слушала, но и газеты рассматривала. В каждой и каждый день красовалась кузина комиксов: карикатура (*“Хоть слон с ослом живут недружно, во что бы то ни стало нужно разжечь им новую войну!” “Руки прочь от Вьетнама”* и тому подобное). А вот комиксов советские художники не рисовали. Но я всё-таки вкусила этой сладкой отравы. Папа, наезжая в Москву в командировки, покупал мне в единственном на всю страну магазине французские комиксы про гнома Пиполена с волшебной дудочкой и друзьями Нуш и Жо (эти имена меня, сами понимаете, поразили). А мама подписывалась на французскую газету “Юманите (Диманш)”, где всю последнюю страницу занимал графический сериал “Приключения Фьерабра”; увы, неполный собрался комплект, потому что некоторые тиражи “Юманите” были конфискованы за несправедливые нападки на СССР.

Комиксы — это вещь. Комиксы — это информация; одна картинка комикса эквивалентна трём страницам “Войны и мира”, или двум китайским иероглифам. Комиксы — это зрелище. Уточняя значение: “Зрелище” — это *там и тогда, где и когда* есть чего разглядеть.

Если у Ренуара дамочка носом тычется в собачку, тут разглядывать особенно нечего. А вот например в “Рыбной лавке” Снайдерса много пицци — для размышлений: что там за виды рыб, и можно ли к рыбам причислить лангуста, и кто это полуприкрыт корзинкой?

В Пинакотеке великолепная коллекция: Тинторетто, Тициан, Рубенс, и Пуссен, и Карден, и великие итальянцы, и малые голландцы. Я их видела, и вы тоже увидите, если приедете в Мюнхен или придёте на соответствующую выставку. Но сильнее всего меня тронули немецкие художники 15 века. Я сразу с них и начала, случайно: вошла в первый зал и увидела крупные, вытянутые в высоту панели алтаря Михеля Пахера. Я отступила назад, присела на скамью, и мне не захотелось уходить. Дело было не в усталости и не в духовном моём преображении. Алтарь оказался зрелищем, комиксом в самом чистом и прекрасном значении этого слова.

Сюжет — ибо что ещё можно рассказать про картину? — портреты четырех отцов церкви (“Латинские доктора”): Св. Иеронима, Блаженного Августина, папы Григория Великого и Св. Амвросия, — не портреты в смысле ПОРТРЕТЫ, (мама *родная* их бы не узнала), но так проще объяснить. Пахер писал уверенно, не стыдясь чистых цветов: золото жёлтое, одежды красные и синие, фон тёмный (семидесятипроцентного шоколада). Кресла задрапированы золотой парчой. По сторонам мраморные колонны с небольшими статуями, сверху резные балдахины, украшенные золочёными завитками листьев — красивый намёк на архитектуру. Худощавой горлицей слетает к каждому святому божественное вдохновение. У ног Св. Иеронима — лев, которому он из лапы вынул колючку; у Блаженного Августина мальчик, который пытался вычерпать море ложкой и тем показал тщету попыток постижения Троицы. У ног Св. Амвросия колыбель с младенцем, устами которого на церковном соборе сглаголила истина: “Амвросия — епископом!” У ног Григория Великого разверзлась бездна с языками пламени, и оттуда высунулся мужичок с окладистой бородой, в короне и плавках с завязочками на бёдрах, — небольшого размера мужик, много меньше самого Григория: это отмоленный у ада император Траян. Капсула времени, курикулум вива, краткая биография — чем не комикс? Меня осеняет: Пахер — постмодернист, задолго до постмодернизма: эклектика, смещение времени, заимствования и цитаты, произвольное укрупнение и уменьшение деталей. Пахер пишет на холсте так, как писал на бумаге Стерн. И у меня самой записываются крупные епископы, маленькие императоры, и очень большие фигуры отца и

матери. Вот оно как! Течения искусства — волны; набежала, отбежала, каждый раз как новая, каждый — как прежняя.

Художники здесь все почти ровесники, и почти все из одного баварского микрорайона. Дюрер провёл свою жизнь в Нюрнберге, Альтдорфер в Регенсбурге, Ганс Гольбейн Старший в Аугсбурге. Сколько же все прожили? Ганс Гольбейн Старший (1465–1524) — 59 лет, Альбрехт Дюрер (1471–1528) — 56 лет, Михель Пахер (1435–1498) — 64 года, Альбрехт Альтдорфер (1480–1538) — 58 лет, Маттиас Грюнвальд (1475–1528) — 53 года. Справедливые сроки, и почему я ожидаю для себя больших милостей? Только Лукас Кранах (1472–1553) прожил 81 год; сам наверно удивлялся своему долголетию.

Альбрехт Дюрер представлен в Пинакотеке несколькими картинами, среди которых есть знаменитый автопортрет, тот самый, в подражание Спасителю, с золотыми волосами до плеч, с подписью: *“Я, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, сделал своё изображение в соответствующих тонах, на 28 году жизни”*: ровно половина его земного пути. Диптих с четырьмя апостолами, завещанный любимому Нюрнбергу, тоже перекочевал в Старую Пинакотеку.

Люди на портретах Дюрера красивы и значительны. Если разобрат по чёрточке — страшные морды, а в целом привлекательны, несмотря на старость, морщинистость, одутловатость, бородавчатость. Почему? Потому что Дюрер был художником эпохи Возрождения, когда человек был мерой всех вещей, и нельзя же вещи мерить уродами. Или проще: потому, что с некрасивым портретом его бы попёрли, заказчик не поблагодарил бы его за правду-матку. Но с другой стороны, в чём matka-правда? Мне не кажется, что мои друзья некрасивы. Я в шоке, когда вижу их фотографии. Я говорю — “Неправда!” Ложная правда, из общих мнений, из тех, которые всё время непрошено сыплются и справа, и слева, и сверху, и снизу, и из теле-новостей, и из соседнего купе. Правда замороженной минуты — лошадь мельтешит копытами в воздухе, гурман разинул пасть и не успел откусить, гость сел, но не совсем... Ни фото, ни портрет не являются слепком действительности, потому что она подвижна, потому что целое больше своих частей. Лицо наше — резной ретабль, по которому бегут тени облаков, и каждый миг, запечатлённый фоткой, заморозил только частицу человека. Задача художника — уловить всю суть.

Многие считают, что люди выродились: “Возьмите фотографии прошлого — ах, какие лица, — вот какие были люди тогда, теперь таких не сыщешь”. Да те же самые: те, кто мылись, только попав под дождь, выплёскивали нечистоты на улицы, радостно бе-

жали смотреть на сожжение Яна Гуса. Люди всегда те же; просто дольше позировали стеклянной пластинке, а глупую улыбку не приклеишь, она с лица сбежит, отговорившись делами. И позировали художнику, который сумел их разглядеть. Я стою перед дюреровым портретом сборщика налогов Лоренца Стерка в Прадо — какой умный, интеллигентный человек! И тут с него сваливается шапка, сами собой состригаются локоны, и я вижу перед собой Святослава Рихтера, точь-в-точь, и вспоминаю, что его крупная булыжная морда казалась мне раньше дисгармоническим аккордом. Короткие стрижки и деловые костюмы не льстят. Назад — к собольим воротникам, бархатным беретам, густым и длинным волосам, на портретах Дюрера хорошо промытым; так ли было в жизни? Не было. Мыться и негде, и зазорно; Микеланджело годами не снимал сапог, так в них и спал, а от славного короля Анри Четвёртого, говорят, воняло тухлым мясом, как и пристало настоящему, мужественному мужчине. Но даже если волосы не мыты, душа пушистая. Люди созданы по образу и подобию если не Божьему (скромность украшает), то хотя бы... ну, в общем люди не плохи, хотя иногда это заметно только художнику.

Альбрехт Альтдорфер — Рауль Дюффи 15 века. На алтарной картине “Рождество Богородицы” кровать роженицы стоит прямо в готическом храме, полном простора и света. Вокруг пилонов вьётся хоровод многоцветных бабочек, а приглядишься — это маленькие мальчики с крыльями в синих, жёлтых и красных рубашонках. Биение цветных крылышек, лёгкость, воздушность. Бывает ли красивее и веселее? Не знаю, наверно где-то бывает, но я не встречала. И чему он радуется в своём ужасном пятнадцатом веке?

Вот Грюнвальд не радуется, он не дурак. Мрачный, тёмный Маттиас Грюневальд; хочется зажать нос — от его любовно выписанных трупов должно пованивать. Я заметила — как увижу что-нибудь неприятное, сразу упрыгиваю мыслью куда-нибудь в сторону. Вот сейчас припомнила папиного друга детства, потому что он написал монографию о Маттиасе Грюневальде (я её в руках не держала; времена были советские — самому автору не досталось ни одного экземпляра). Приехав ко мне в Америку, папа рассказал про последнюю с ним встречу. Тот заговорил о том, как бы здорово уехать в Италию — там они делают такие чудные урночки для праха. Конечно, начиная с некоторого возраста каждая вторая мысль — похоронная, как обещал нам Просперо из шекспировской “Бури”. Но мы с папой всё же недоумевали: к чему такие мечты?

Папин друг был в чём-то похож на Грюневальда, как хозяин на свою собаку. А папа? Папа конечно не Дюффи, но пожалуй он Дюрер: в его понимании жизни была уравновешенность. Да, он говорил мне: “Никогда не пей с горя; пей с радости. Радости мало, и ты не сопьёшься”, — а после смерти его из буфета неожиданно выпала выписка, сделанная его рукой: “Если бы люди знали, что их ждёт, они бы и жить не стали”. Но помню я его весёлым шутником. Жизнь загасила в нём радость только в последнее десятилетие, и даже тогда до мечты о хорошей урночке не доходило. Ничего весёлого в тлении нет, тление гораздо неизбежнее прихода коммунизма, но есть люди, которые предпочитают попусту не растрачивать редкие радости жизни, вот как мой отец (таких то больше, то меньше, в зависимости от времён).

Людей почти никого — вечер, будний день. В буфете подают чай и абрикосовый пирог песочного теста. Турок щедро зачерпывает мне заварки из жестяной банки; чай “Леди Грей”: настоящий чай, цвета янтаря, старинного, модного в начале 20 века; объёмистая чашка; классифицировать её размеры трудно: она рискованно колеблется на границе между чайной и бульонной. Я раскладываю пакеты с путеводителями, достаю записную книжку. Прошу ещё чаю и воды. Дают газированную; вечно забываю в Германии просить “тихую”, *штимле*, как *наст*, воду, без пузырей. Как хорошо, что ещё столько времени впереди. Вот теперь, напившись чаю, можно подняться на второй этаж, к иностранцам, к Брейгелю, и Босху, и Боттичелли, и к картинам 16–17 века, к привычным художникам. В них есть всё, что ни пожелаешь, нет только наивной правдивости старонемецких мастеров.

Картины старых немцев сразу узнаешь и отличишь. Реализмов, как мы знаем, много — натуральный, социалистический, магический... Немецкий — честный: здесь руки с набухшими венами остаются красивыми благодаря доброте и уважению к человеку. Знаю об этом с детства. Немецкую книгу “Сказки Гауфа” из магазина “Демократической литературы стран социалистического лагеря”, я прочитать не могла, но любила разглядывать картинки. Художник не пожалел труда и времени; долго, высунув язык, с любовью выводил благожелательные бородавчатые лица в ореоле клочковатых волос, вычерчивал полосочки на гольфах и стежки на заплатках. Для меня эти рисунки были на порядок лучше тогдашних советских, минималистски абстрактных, обидных для ребёнка: ведь детство ещё не насытилось повседневными подробностями. Немецкие картинки

выдержали сравнение даже с изданием Гауфа в иллюстрациях Трауготтов, которое я вождедела, как библиофил (голубая бумага, рисунки безукоризненно сочетаемых цветов, изящные, воздушные, — шедевр полиграфического искусства), и тем более с американскими книжками сказок, где художников только двое, Миша и Маша, — Миша чертит пунктирно, в полуплакатном стиле комиксов, а Маша так подробно, что мороз по коже (веет мертвечиной, как от фарфоровой куклы-Копшпелии). Я, взрослая, люблю рисунки Трауготтов; но мне, маленькой, подавай рисунки немецкой книжки. Сказки Гауфа с немецкими картинками звучат голосом моего отца. Они утверждают радость простых вещей.

Второй вечер первого дня

В Новой Пинакотеке буфет был закрыт, предупреждаю сразу, а то вы только и будете думать о закусках, пока я рассказываю про живопись. В Новой Пинакотеке много немцев 19 века, и правильно — где же им ещё висеть, как не в Германии? Кто их ещё приголубит? Ну разве что те, которые и Айвазовским с Куинджи не побрезгуют — снобы всякие, — а народной массе подавай простое и знакомое: Рембрандта с Пикассо. В каждой стране есть отличные художники, которые не известны за её пределами. Вот я например — я не знаю никаких немецких художников 19 века. Если напрячься, вспомню только выставку Ловиса Коринта в Художественной галерее г. Сент-Луиса, и картины Каспара Давида Фридриха на суперобложке книги “Немецкая историческая новелла 19 века”, купленной, когда мне было 25 лет, и казалось, что впереди вся жизнь, и я непременно выучу немецкий.

Картин этих было две: “Одинокое дерево” и “Заснеженный дуб”. Я часто забредаю одна в безлюдные места и вижу там вот такие же старые, покореженные и наполовину высохшие деревья, и хотя сами они довольны собой и жизнью, их вид не веселит душу. Говорят, картин Фридриха много собралось в России, но я их как-то просмотрела, и Новая Пинакотека — единственное место, где я их увидела в раме на стенке. Его пейзажи, почти всегда безлюдные, пронизаны неустранимым метафизическим одиночеством. Я так воспринимаю мир только после таблетки кодеина, когда эмоции оседают куда-то на дно души, и наступает полная погружённость в настоящее и приятие его во всех мельчайших, заведомо бессмысленных деталях.

Времена Каспара Давида Фридриха называют романтизмом. Романтизм — эпоха картин с благородными трагическими темами:

“Женщина, с опасностью взбирающаяся на скалу, спасти сына из когтей орла”, или “Старый ветеран, защищающий сына от волка”; “Утро после шторма” (пенные клочья, мачта затонувшей шхуны, и некто рыдает на скале). Но он всё-таки не такой уж однообразный. Романтизм был разного посола. Некоторые огурцы решили приехать в Рим, припасть к истокам, писать, как Рафаэль, вернуться к неисторченному Возрождению, а также к немецкости и народным костюмам, как на картине Иоганна-Фридриха Овербека “Италия и Германия” (в наш циничный век её бы прозвали “Две лесбиянки”, но в то время мало кто слышал об их существовании). Таких художников прозвали назарянами (назарейцами), потому что они, как Иисус Назарянин, были плохо одеты и плохо причёсаны. В Риме в них не особенно верили, но один госзаказ назарейцы всё-таки получили: расписали фресками виллу прусского посла. Повзрослев, назаряне перебрались в Мюнхен, и их полюбил король Людвиг. Странное впечатление вызывают картины назарян, чего-то в них не хватает, так же, как и в книгах Германа Гессе, который пытался писать, как немецкие романтики 19 века, но не вышло. (Пережал? Недожал?) Повторы прошлого всегда выглядят неуютно и вымученно; вы сейчас вспомните прерафаэлитов, а я вспомню, как меня передёрнуло когда-то в петербургской Лавке художников от зловещего “Натюр-морта со сливами”, точь-в-точь голландского.

Другие романтики, вроде Иосифа Антона Коха или Иоганна Христиана Клаузена Даля, в отличие от назарян, не отказывались от новых приёмов живописи и были склонны писать пейзажи и жанровые сцены. Мне нравится картина Франца Людвиг Кателя “Кронпринц Людвиг в Испанской бodeге в Риме”: Людвиг Первый, скульптор Торвальдсен, архитектор Лео фон Кленце и другие выпивохи возбуждённо машут руками кабатчику, который несёт им только две бутылки. Разве на всех хватит?

В Новой Пинакотеке романтизма — погонные метры, потому что он липучий: приятен своей фотографической точностью; трудно с ним расстаться, — ещё, ещё пейзажик, теперь вот те позолоченные солнцем облака; но ведь мы их уже снимали? Ну и что, они красивые; — всё как в жизни, но только лучше, и щёки у романтических *едоков картофеля* не такие впалые. Но нас отучили от гладкого письма, объяснили, что это всё наивно, что незачем повторять на холсте достижения Кодака и весь смак — в творческих исканиях. Нам показали — сначала украдкой и только на третьем этаже (Эрмитажа) — пуантиллистских дам с лиловыми тенями и кубистических девочек на синем шаре, и мы их полюбили, нашли вкус

в этих живописных суши и решили, что “лобстер” вкуснее омара.

Поэтому я стыдливо прячу глаза в залах романтизма и расслабляюсь и успокаиваюсь при виде форм, взлохмаченных кистью импрессионизма. Импрессионисты в Германии были, а вы не знали? Они были везде, но вот что интересно — тут сразу видишь, что не французы, не хватает им воздушности и радости, нету розовых женщин с ленточками, синего неба, шляп-канотье. Говорить об этом вслух неприятно и нечестно, потому что мерещится пренебрежительный оттенок, которого вовсе в этом факте и нету. Просто это немецкая прямота, упорное стремление к правде, и это не всегда лестно для заказчика. Вот, например, что Ловис Коринт сделал с графом Кайзерлингом? Я бы на месте графа Кайзерлинга взяла этот портрет за раму и надела на шею художнику. Но это мои личные идиосинкразии, а портрет мощный, и кстати на Невском у специалистов по “дружескими шаржам” всегда полно клиентов.

Ради развлечения читателей стоит рассказать, что коллекцию Старой Пинакотeki Виттельсбахи собирали с 15 века. Многие картины попали в неё по той же причине, что и у нас — из-за насильственного закрытия монастырей. Туристам удобно, когда всё завезли в одну точку, — знаешь, где искать, как мясопродукты в семидесятые (в Москве они: “Что такое — длинная, зелёная, колбасой пахнет?” “Подмосковная электричка!”). Но с другой стороны, постперестроечная жизнь показала, что не только так, но и эдак может быть хорошо, и останься картины на местах, мы поимели бы фан, выехав на автобан и посетив все эти монастыри, каждый из которых работал бы по собственному непредсказуемому расписанию. Коллекция Новой Пинакотeki началась с покупки Людвигом Первым собрания Лео фон Кленце.

Людвиг существенно пополнил фонды обеих Пинакотек, к тому же построил для картин специальные здания. Золотой мужик! Чем больше я про него читаю, тем больше он мне нравится. Напоминаю, заработал всё своим трудом: спекулировал недвижимостью. Людвиг поставил меценатство на широкую ногу, да и на широкую руку. Художники были ему от души благодарны. В Новой Пинакотекe есть картина Вильгельма фон Каульбаха, олицетворяющая их любовь: *“Король Людвиг I, окружённый артистами и учёными, спускается с трона, чтобы осмотреть...”* и т. д., — там длинно. Людвиг на этой картине лицом похож на Карла Брюллова, одеждой на Лоренцо Медичи. Вокруг него толчея людей в костюмах начала 19 века. Неопытный художник, вроде меня, выстроил бы

жрецов искусства в ряд, чтобы каждого можно было хорошенько разглядеть, но Каульбах искусно смешал всех в кучу вместе с их шедеврами. У кого что — эти протягивают фарфоровые вазы и урны, тот подтаскивает пухлую папку с эскизами (хорошую папку 19 века, фолио), другой расставил на земле диптих, третий прижимает к груди небольшого, но тяжёлого Ареса, четвёртый подпирает опасно накренившуюся нимфу: если она навернётся, лира у неё точно отломается, тонка. Для задника сдвинуты фасады трёх построенных Людвигом музеев. Думаю, тут точно передан энтузиазм, который охватывает художников при виде мецената. Народ для них бесполезен; народ может порадоваться картинам, но ведь ничего не купит, денег-то нету! Вот я — я ничего так и не купила ни в Старой, ни в Новой Пинакотеке, хотя, впрочем, там ничего и не продавали, теперь, знаете, все цепляются за свои собрания, думают — подорожает.

В чём дело, дорогой товарищ? Да, действительно, писатели прошлого справлялись с описанием картин гораздо лучше, чем я. Вот Карамзин: *“О чудо несравненного искусства! Я вижу не холодныя краски, и не бездушное полотно, но живую, Ангельскую красоту, в горести, в слезах, которая из небесных голубых глаз ея лютяся на грудь мою... Чем более смотрю на неё, тем глубже вникаю чувством в ея красоты. Всё прелестно в Магдалине: лицо, стан, руки, растрёпанные волосы, служащие покровом для милой груди; всего же прелестнее глаза, от слёз покрасневшие... Я видел много славных произведений живописи: хвалил, удивлялся искусству; но эту картину желал бы иметь; был бы щастливее с нею; одним словом, люблю её!”* Карамзин справляется, а я — нет. И более того; была бы я щастливее, заполучив урыльник Дюшампа? Так вот, тоже нет.

Любопытно пройти сначала по Старой Пинакотеке, потом по Новой — в хронологической последовательности, и пронаблюдать, как по мере улучшения качества жизни меняется живопись: манера письма, композиция и темы. Благородных отцов церкви вытесняют овощи и мифические герои; вместо тепло одетых магов и пастухов появляются голопузые сатиры; потом и реальные люди постепенно теряют одежды, в коем предприятии дамы опережают кавалеров. Занудные религиозные картины гольбейнов трансформируются в очаровательно-непристойные картины фрагонаров; затем аморальную беззаботность сменяет романтическая серьёзность во всём, от подбора прототипов до перебора в подробностях, но вот уже искусство осовременивается, краски рассыпаются на множество оттен-

ков, линии дробятся на мазки, и на Гойе, Ван Гоге, Гогене, Моне и Климте Пинакотеки кончаются.

Какие были после них Пикассо, можно проведать в Современной Пинакотеке и в музее Брандахлыста (или Брандхорста?). За недостатком времени я в них не попала, но догадываюсь, что там можно увидеть. Там пропала уже не только одежда, там даже содержание выперли за дверь. После исчезновения заказчика, *учёта и контроля*, названия картин стали заменяться бессмыслицей, контуры фигур — расплываться. Фук — и нету, и остался только чёрный квадрат.

Кандински-хаус

Походы в Пинакотеки произвели во мне покой и сытость, как и предсказывала моя целительница. Она никогда бы не посоветовала музей современного искусства — этим искусством от психоза лечиться нельзя, можно сделать только хуже, — но я всё же один навестила: я не смогла проигнорировать коллекцию Кандинского и его группы “Блауе Райтер” (Голубой всадник) в Ленбах-хаусе. На вопрос, почему Райтер, да ещё Блауе, Кандинский отвечал: “А-а, публика любит голубое”, — но это не вся правда. Сам Кандинский уважал голубой цвет (*цвет небесный, цвет гармоничный, цвет глубокой мысли*), а Райтер — это скорее всего переодетый Георгий Победоносец.

Ленбах-хаус, это, как вы догадались, хаус Ленбаха, — современника Новой Пинакотеки, в которой мы и найдём его картины. Портреты, писанные Ленбахом, напомнили мне Репина — много мазков, титаническая экспрессия, *какой матерый человечине...* Франц фон Ленбах родился за год до смерти Пушкина, умер за год до революции 1905 года. Сам Франц фон Ленбах вряд ли пытался привязать свою жизнь к известным нам событиям, поскольку жил не в Купчино, а в Баварии. Был он человек занятой и популярный, модный портретист, отлично зарабатывал (каждому хочется иметь портрет кисти Серова-Брюллова или Ленбаха, а ещё лучше два или три), и соответственно смог себе построить виллу, прямо за Глипто-Проппелеями фон Кленце, на лужку за тогдашней чертой города.

Вот она. Построена в виде небольшого итальянского палаццо, буквой то ли “Г”, то ли “П”, и перед её входом разбит красивый сквер, в котором из-за наступления осени почти уже не осталось цветов. Посреди сквера стоит итальянский фонтан с чашей и пухлыми мальчиками. Он не фонтанирует, — не то, чтобы никогда, но

при мне. Вилла хорошая, добротная. Я за Ленбаха рада, и несколько ему не завидую. А если завидую, то белой завистью. Дом его был полная чаша, в которую жизнь била ключом; из этой чаши пило множество гостей. Потом он умер, и вдова подарила виллу городу для устройства художественного музея. Ленбах-хаус превратился в храм дегенеративного искусства (немецкого авангарда). Следует отметить, что все были на волосок от нерождения великолепного музея, ибо сам Франц фон Ленбах дегенеративное искусство не копил, а если бы и копил, так его бы уничтожили нацисты или разбомбили антифашисты. Собрание Голубого Всадника в Ленбах-хаусе составилось случайно. Музею жутко повезло после войны, когда в него попали две крупные коллекции с картинами группы “Блауэ Райтер”: подруги Кандинского художницы Габриелы Мюнтер, а потом и промышленника Бернхарда Кёлера, немецкого Щукина.

Многие музеи начинаются с того, что кто-то где-то там, за границей, по случаю закупил мешок картин какого-нибудь подающего надежды художника; так вот Щукин запасся: запасся Матиссом и Пикассо. Но в Ленбах-хаусе выставлены не инородцы, а посконноместные художники. Мюнхен — родина дегенеративного искусства. Неподготовленного зрителя вроде меня такая новость удивит, а кое-кого на pewno и обидит: чего это немецкие империалисты тиснят на *национальную гордость великороссов — писателя* Кандинского! Так вот, чтоб вы знали, у истоков дегенеративного искусства стояла целая орда русских. В группу “Блауэ Райтер” между прочими входили Александр фон Явленский и Марианна фон Верёвкин (так они себя рекомендовали в Германии), а единомышленниками были Бурлюки, Петров-Водкин, Ларионов и Гончарова.

Приятно, что среди дегенератов — крупнейших художников немецкого экспрессионизма — были наши люди. Это их картины фашисты протащили по всей стране как иллюстрацию творчества недонсков (“Смотрите, какие кривые рожи, ха-ха-ха!”), и увидели их миллионы. Нацисты сделали экспрессионизму произвольную рекламу: такое часто происходит с дураками. Устраивать такую выставку всё равно, что продавать советским людям “Зияющие высоты” Зиновьева в нерушимой уверенности, что никому его мысли не пригодятся. Ещё мне вспоминается, что при аресте Брежнев-Брежневской глупый городской зачитал крестьянам прокламацию, отобранную у *“бабушки русской революции”*.

Я попала на современную выставку дегенератов, в Кёльне, в Музее Современного Искусства, и почитала там книгу под редак-

цией Стефани Баррон “Дегенеративное искусство”, привязанную к столу стальным тросом, чтобы дегенераты-посетители её не украли (в американских музеях всё-таки больше доверия к публике, и каталоги просто лежат на скамьях). В книге воссоздана в фотографиях вся знаменитая фашистская выставка, и приведены воспоминания современников. Дело шло к закрытию музея, но я успела прочитать “Три дня в Мюнхене”, написанные Петером Гёнтером, который в июле 1937 года, семнадцатилетним мальчишкой посетил мюнхенский Дом немецкого искусства, в просторечии Братвюрстельгалери, из-за обилия крупных и стройных, как сосиски, колонн на этом замечательном образчике нацистской архитектуры. В Колбасной галерее он нашёл немало колбасного искусства. Там была “Баварская Венера” — хорошая Венера: спереди две дыни, сзади два арбуза. Там была выставлена “Дружба” — два голых культуриста, которые крепко держатся за руки; мускулов у них больше, чем у клодтовских быков, которых в советское время сослали к ленинградскому мясокомбинату. И там же, в уголочке, развернулась выставка дегенератов. Разумеется, всё было подано под правильным кетчупом: “Их идеал — идиот и шлюха!” “Посмотрите, сколько денег плачено за эту дребедень!” — и, плюя и возмущаясь, ходила публика, которая предпочитала пышные формы и тяжёлую поступь Баварской Венеры. Но и другая публика ходила — тихо-тихо, и простаивала у каждой картины. И Петер Гёнтер пришёл на эту выставку ещё раз, хотя и сам не понял, почему.

Некоторые экспрессионисты после этого вернисажа (или даже до) сбежали. А тем, кому не удалось, пришлось несладко — им даже красок не давали. Читаешь и думаешь: “Ребята, как мы похожи”. У кого только мы не отнимали краски, кого только не загоняли на чердак, или куда похуже, кого только не пропагандировали. После пошлых смешков над друзьями-нудистами вспомним *древние самые трогательные сказания о дружбе* — Ахилл и Патрокл, Орест и Пилад, Маркс и Энгельс, — *бескорыстная дружба мужская*, которая *не смеет назваться...* У немцев мать-Венера, у нас Рабочий и Колхозница, которых я отлично разглядела и спереди и сзади, много раз, поскольку это был ответ Мосфильма МГМовскому льву. Взятые по отдельности, вырванные из контекста, они очень даже и ничего; из Рабочего и Колхозницы вышли бы отличные Фердинанд и Изабелла, католические короли, для столицы Мадрида. А в контексте они ого-го, и хочется отобрать у них тупые и острые предметы, на всякий случай.

Был ли Кандинский дегенератом? На взгляд, не испачканный искусствоведением, — да. От меня (публики) зависит успех любой картины, я — *Царь и Бог* в плане художественной критики (может быть я также *червь и раб*, но от нас это скрывали). *Художник говорит: “Я — художник!”*, *зритель отвечает: “А по-моему ты — говно!”*. Словом, слушайте сюда! И так, за что мы, советские люди, не любим Кандинского? За то, что на холсте слишком много начирикано, и за то, что краски неприятны. И есть некоторое внутреннее согласие с нацистами — за что деньги платят? Мы тоже так нарисуем! Что рисует Кандинский? Какие у Кандинского сюжеты? Вот такие например: по картине ходит чайник в чёрном сапоге, под парусами. Дайте мне чайник, сейчас я его обрисую на холсте и закрашу сажей.

В Вашингтоне, в музее Филиппса, я попала на удивительную выставку — удивительную мне по замыслу. Выставляли только одно полотно Кандинского, “Картину с белой рамкой”, и его эскизы к ней. Я обалдела; если бы у меня была вставная челюсть, она бы непременно выпала на пол: оказывается, для “Картин с белой рамкой” Кандинский делал карандашные скетчи, этюды маслом, полгода мучился, пока придумал белую каёмку. Мне другое представлялось; виделось, как Кандинский в порыве вдохновения выдавил краску из всех тюбиков и кистью раз-раз, туда-сюда; здесь голубенькое просится, там бордовое, тут белым подмажем и чёрным подмалюем! Пятнадцать минут, и готов шедевр, а художник валяется на полу в изнеможении. Я ошиблась. Всё продумано; тут искусство интеллектуальное, почти коллоидная химия... Прежде чем пуститься во все тяжкие, художник долго, мучительно кумекает. И не чайник там ходит, *не ветер гуляет над бором*, а тройка (конная, не тройка ГПУ).

Что только художникам не мерещится, какие только не выдают они пенки, и не по злобе, а по ущербности сознания. Мы-то, естественно, думаем: “маньяк, малюет уродов”, — а художник считает, что красавиц. Вот, скажем, один художник, Хуан Грис, рисует нагромождение кубов, овалов и бесформенных масс. Другой, Жак Лишниц, говорит: “Остановись, это прекрасно!” А Хуан Грис, обозленный, отвечает: “Ты что, издеваешься, ты не видишь, что один ус еще не дописан?” Это, ха-ха, оказывается портрет, и с точки зрения художника, похожий.

Кандинский стартовал поздно, в 30 лет, в 1896 году. Как увидел стога Моне на выставке — заново родился, вторую жизнь начал: уехал из Москвы в Мюнхен, перечеркнув прошлое. Провёл двадцать

лет в Мюнхене, перепробовал всё, от книжной графики до картин маслом, от пуантилизма до абстрактного экспрессионизма, понял, что он рождён писать картины с белой каёмкой, и эти картины нравятся, словом, нашёл себя и Габриэлу Мюнтер. И тут грянула война. Военная Германия проявила чёрную неблагодарность к русскому авангарду; голубым всадникам, *апологетам* дегенеративного искусства, дали пенделя, и все они вылетели по месту прописки, *на историческую родину*. Пришлось им много лет кандиниться в России, причем в самые поганые годы. Потом некоторым удалось сбежать, и оттого уцелеть. У Кандинского в *обновлённой России* прошло семь лет жизни — жизни? Нет, пожалуй, ожидания жизни, которое закончилось отъездом в Германию, вовремя, пока ещё можно было. С 1921 года Кандинский жил в Берлине, где кипело искусство и пенилась его третья жизнь. В этой жизни Кандинский опять получил признание, писал картины и книги, преподавал в Баухаусе, но... наступил 1933 год. Кандинский начал жить в четвёртый раз, в Париже, где его застала вторая в его жизни война. Конца её он не дождался, не узнал, кто победил — казаки, или разбойники, красные или белые — умер в Париже в 1944 году.

Вот, оказывается, какая судьба! А я-то думала... Для меня как только кончается какой-нибудь период в искусстве, так все художники падают замертво. Проваливаются на свалку истории. То, что они потом могут существовать десятилетиями и даже что-то рисовать, в моем умишке не уместается; дико мне было услышать, что Бакст умер в Балтиморе, успев до этого поставить несколько любительских спектаклей, что Бурлюк дотянул аж до 1967 года в той же Америке. И это оправдано. Человек — одно, художник — другое. Купеческий сын Василий Кандинский дожил до семидесяти восьми лет, — но художник Кандинский, которого знают все, умер в 1914 году, еле-еле родившись.

Судьба Кандинского была в общем плохая. Она искромсала ему жизнь. Как только Кандинский чего-то добивался, он должен был всё бросать и начинать снова. Закипает чувство злости и досады. Впрочем, те же чувства я испытываю, когда думаю о судьбе отца, деда, прадеда, да и всех, принадлежавших к этим трём поколениям. Нормально им жить не дали. Кто? Говорить “Русские” или “Человечество”, или “Немцы” бессмысленно: при коллективной ответственности никто не виноват. И личную не на кого навесить; несколько людишек, которые заваривали кашу, ничего не смогли бы без поддержки народа. Остаётся судьба... но есть ли судьба, и если есть, то какие силы за ней кроются, и почему им не нравятся белые каём-

ки безвредного авангардиста, или оркестр народных инструментов, созданный моим дедом, и кому нужно, чтобы Кандинский перестал писать, а дед мой умер в двадцать шесть лет от воспаления лёгких на бетонном полу безмянного полустанка, и вдова его рожала ребёнка в тифозной больнице, и ей в бреду мерещилось, что муж её жив, и идёт к ней, и просит: “Помни число “двадцать шесть”? Это совершенно неизвестно.

Найдите Габриэлу

Сейчас мы понесём опухшие ноги на природу, в Английский парк на берегу Изара. Нам там обещали нудистов. Что такое нудистский пляж, я приблизительно представляю. Я бывала на женских пляжах. Когда же это было? А-а, в восемьдесят первом, в Паланге. Это было шикарное место, туда многие приезжали приодеться, вроде как на Максимилиан-штрассе. Там, в дюнах, среди жёсткой песчаной травы приютились спекулянтки, у которых было всё, что угодно: и туфли, и кофточки, и вельветовые джинсы. Милиционеры на этот рынок не совались, потому что спекулянтки были голые. Продавщицы сигарет ходили без трусов, но в лифчиках, за которые они засовывали пачки мальборо.

Но сейчас, в октябре, при плюс пятнадцати шансы встретить в Английском парке голого немца в лифчике с заткнутой за него батареей папиросных пачек малы. Увидев его, я бы обрадовалась, как грибник, нашедший первый летний колосовик или последний грустный груздь, — обрадовалась не тому, что могу купить сигареты подешевле, а тому, что могу посадить птичку в клетку против очередной достопримечательности Мюнхена. Не везёт мне с этими нудистами. Даже на курорте в Болгарии, в стране временно победившего социализма, я опоздала к раздаче; говорят мне: “а тут были голые западные немцы, вот только что ушли”... Я упускаю всё самое интересное в жизни.

Парк начинается сразу за регулярным сквером Резиденции. Его считают самым большим парком Европы, но, по-моему, через прорубленное Петром окно видно, что триумвират Царскосельского, Павловского и Баболовского парков ему не уступает. Вы думаете, что парк называется Английским, потому что он пейзажный, и вы правы, но правда и то, что архитектор, разбивший его в 18 веке, говорил на английском, ибо был американцем.

Людей в Английском парке было множество, как в воскресенье в Павловске, просто потоком по широким аллеям. Вдоль ал-

леи и настоящий поток тѣк, ручей какой-то, — влачился, как и я, к Изару; споткнулся, устроил водопад, потом неожиданный поворот с излучиной. Над излучиной, прямо напротив водопада, была скамейка, а на скамейке сидели старичок и старушка. Наберѣмся терпения — сядем в сторонке, не упуская из виду заветную скамейку. Кто его знает, сколько придется ждать, можно и вовсе не дожидаться, если старички будут загишнотизированы водопадом, как цыплѣнок белой линией, и очнутся только к вечеру, перед закрытием парка, ощутив плечом дружеское пожатие полицейского. С другой стороны надежда есть — мочевого пузырь не тѣтка, пирожка не подсунет...

Я не уверена в том, что современная живопись — искусство молодых. По-моему, наоборот. Я хорошо отношусь к современной живописи потому, что я плохо вижу. Не верьте тем, кто говорит, что старость не гадость. В том числе слепнесь, и очки не всегда помогают, потому что глаза разъезжаются в разные стороны. Когда меняется зрение, меняются вкусы. Раньше я любила всю живопись, а теперь особенно полюбила современные, большие, яркие, небрежно прорисованные картины. Интересно, сколько таких картин написано слепцами? Точно знаю, что нимфеи позднего Моне. Когда экскурсовод восклицает: “Ну можно ли догадаться, что Святого Себастьяна написал девятилетний?”, — хочется воскликнуть “Можно!”, но я молчу, чтобы не разрушать иллюзий посетителей, дорого заплативших за билет. А вам объясню: у старого Тициана бедна цветовая гамма, оттого что в глазу рассыпались колбочки, а экспрессия небрежности письма ... ну, вы видели посуду, помытую пожилой полуслепой женщиной?

Помню, дрожжевая конференция случилась в Принстоне, и я зашла в музей Принстонского университета. Сначала мне попались картины девятнадцатого века, с голыми женщинами. На расстоянии я их плохо видела, а рассматривать тела, приставив к ним нос, мне было неудобно. Потом к моей радости я забрела в зал искусства рубежа 19–20 веков. Как я обрадовалась: и не мельчат, и не дрянь какая-нибудь, — видно, что художник настоящий. Рассмотрев картины издали, я подошла и прочитала подпись — “Габриэла Мюнтер”. Выставлены пейзажи, портрет матери Кандинского и автопортрет. Габриэла Мюнтер — как мышка из детской книжки, на круглом личике всё маленькое: глазки, носик, губки. Это личико обещает робкие акварельки василѣчков и совершенно не соответствует её размашистой, уверенной манере письма.

Я увидела в ящичке на стенке буклет “Коллекция Генри и Розы Перлман” с репродукциями картин, и взяла его на память, потому что всё забывается. Я развернула этот буклет и нашла маленькие, как почтовые марки, но чёткие фотографии картин Курбе, Домье, Мане, Дега, Тулуз-Лотрека, Сислея, Гогена, Сезанна, Модильяни и Сутина. Я не нашла там репродукций Габриэлы Мюнтер. Я растерялась и решила, что по старости я не вижу того, что у меня перед носом. Я перевернула бумажку, посмотрела с другой стороны и нашла новые репродукции Сутина, Модильяни, Сезанна, Гогена, Сислея, Тулуз-Лотрека, Дега, Мане, Домье и Курбе. А Мюнтер не было. Я вновь обошла весь зал и удостоверилась, что картины Мюнтер мне не приснились. Они висели в центре зала. Я также убедилась, что среди картин Курбе, Домье, Мане, Дега, Тулуз-Лотрека, Сислея, Гогена, Сезанна, Модильяни и Сутина в буклете не было пропущено ни одной. Это были не самые важные работы Сутина, Модильяни, Сезанна, Гогена, Сислея, Тулуз-Лотрека, Дега, Мане, Домье и Курбе. Это были картины, которые копятя в мастерских при жизни художника, которые уходят не в первую очередь, а во вторую; поэтому нельзя было объяснить отсутствие репродукций Габриэлы Мюнтер тем, что её картины затерялись на фоне подлинных шедевров. Картина Сезанна “Водоём в парке замка Нуар”, или “Голова старухи” Домье были хороши, но не лучше пейзажей и портретов Мюнтер, и даже не крупнее по количеству квадратных сантиметров. Габриэла необъяснимо исчезла. *Вот она была, и нету.* Эвона какая удивительная история произошла со мною в Принстоне.

Сбылось. Скамейка моя. Водопад мой. Можно даже ботинки снять. Ботинки отличные, и стельки в них фартовые. В туфельках я уже давно не хожу. В России моя обувь вызывает иронические замечания — “Это у вас ортопедическая?”; тонкий намёк на то, что надо бы понаряднее. Покорная общественному мнению, я надену отличные австрийские лодочки, пройду по Невскому, и молодой, новёхонький русский, окинув меня взглядом, подумает: “Вот старуха в красивых туфлях; *вот идёт вдова Гектора*, и т.п.”. Наутро мне будет не разогнуться — растрясла позвонки. Поэт даже лучше сказал: *Зачем ты в небе был, отважный, в свой первый и последний раз? Чтоб львице светской и продажной поднять к тебе фиалки глаз?*

Посмотрим на карту. Какой, однако, громадный парк — действительно, как в Царском Селе! Мне не видать *одетых камнем* набережных Изара, по крайней мере сегодня, — не дойду. Интересно,

что в русском авангарде было много женщин — как будто наконец разрешили, сказали: “Можно. Можете подписывать свои картины не именами мужей, а своими, можете писать то, что считаете нужным, а не только детишек в корытце”. Эти женщины как-то сейчас забыты. Правильно ли их всех забыли? Может оттого, что не попадают в каталоги, даже если случится пробраться на выставку?

Многие из этих женщин быстро сошли с дистанции. Вот, например, Марианна фон Верёвкин, — так её называли в Германии, потому что дочь генерала, дворянина, а не дворника. Она со временем, в отличие от Габриэлы Мюнтер, перестала писать, — по объяснению искусствоведов, чтобы не мешать карьере своего мужа, голубого всадника Явленского. Я согласна — если фон Верёвкин отказалась писать картины и посвятила всю жизнь поддержке фон Явленского, значит, не очень хотелось. Если бы Габриэла Мюнтер сказала Кандинскому: “Знаешь, Вася, слишком хорошо у тебя получаются твои сине-зеленые разводы, не нравится мне это, унижает меня как-то”, — куда бы он её послал? Скажи Ван Гог: “Ваня, брось ты это, и живи нормальной семейной жизнью” — он только вздохнёт, отрежет себе ухо, и дальше... Талант превращает человека в пулю, неуклонно следующую заданной траектории, пробивая на пути картонные перегородки отношений и ограничений. Видать, Марианне живопись была не шибко нужна. Но почему тогда на портрете глаза её горят жёлтым огнём, как у уэллсовой пантеры с острова Моро?

Штука

Новый день... Мне приснился водяной вал, остановившийся у берега.

Папа говорил мне: “Ты — как я!” Я соглашалась. Нам обоим чёрное казалось чёрным, белое — белым, и даже серое было похожих оттенков. Наши мнения были сходны. Сходство убаюкивает. Но вот однажды папа спросил: “Танечка, говорят, что кто-то мыслит словами, а как это?” А как иначе? У меня каждая мысль облечена словом, а если прорвётся озарение, так я его тут же проговариваю. Папа мыслил образами, вот почему он был инженер от Бога — изобретать всё новые технические решения ему было как воздухом дышать; он никогда не читал собственные старые чертежи, он всегда создавал заново. И никаких патентов: “Мне платят, чтобы я изобретал”. Мы прожили вместе много лет, но я не подозревала, как по-разному мы прорабатываем информацию. Нам это не мешало, но наверно и не помогало. Я не исключаю, что мы совершенно друг друга не знали.

Да и кого я знаю, что можно знать за пределами своей души в мире, где все такие разные?

“Ты — как я”, — говорил папа, — “Мне тоже всё время не давали заниматься тем, чем я хотел, но я находил интересное в том, что приходилось делать”. Я сама себе не давала, но папе выставляла рогатки жизнь. В самом общем смысле — жизнь, а в чисто конкретном — советская власть. Папа хотел стать морским офицером, но Софья Власьевна показала ему шиш. Папа хотел поступить в электротехнический институт, а Софья Власьевна отправила его в Холодильный. Папа хотел заниматься кондиционированием воздуха, а Софья Власьевна сказала, что в СССР кондиционировать нечего, и распорядилась вместо аспирантуры в Ленинграде закатать отца в Катайск на насосо-компрессорный завод.

И как это люди оставляют хоть какой-то след в жизни, если им всё время не дают? Люди плывут против течения, и течение их смыкает. Тягостная утрата сил. Общество расточительно к талантам. Общество выбирает, брезгливо, неохотно. Кружится чаша с шариками: чёрными, белыми, красными, синими — всех цветов радуги, и Судьба, запуская руку по локоть, берёт наугад, перекидывает шарик с ладони на ладонь, размышляет — оставить или выбросить? *Время собирать*, или *время разбрасывать* шарики? В популяции есть кто угодно, на выбор, всегда. Время вызывает людей с определёнными способностями и наклонностями. А если у кого много разных способностей и наклонностей, то из них тоже выбирает Время, и из отличного рисовальщика получается то Дюрер, то Пикассо.

Кандинский превратился в КАНДИНСКОГО, поскольку Время позволило. В конце девятнадцатого века шарики соответствующего цвета прикатились в Мюнхен. Среди шариков, осевших надолго, были Кандинский и Петров-Водкин, и многие другие. Ненадолго, — на международные выставки, — подкатывались Пикассо, Анри Руссо, Робер Делоне, Морис Вламинк, Бурлюки, Ларионов, Гончарова, Малевич. Загадка — за чем заезжали в замюханый Мюнхен? Наши сердца принадлежат Парижу. Но в Мюнхене *пощёчины обществу вкусу* раздавались звончее всего; это мюнхенцы заточили авангард до немыслимой утончённости. Здесь начался и перекинулся на другие города Сецессион, из которого пророс Югендштил, получивший название от журнала “Югенд” — мюнхенского “Мира искусства”. В Мюнхене шли экспериментальные постановки театра теней и театра марионеток. В Мюнхене печатался самый едкий политический журнал “Симплициус”, и работало самое острозубое кабаре “Одиннадцать палачей”.

В Мюнхене, а точнее в его артистическом районе Швабинг пульсировало сердце авангарда, разгоняя кровь по жилам Германии. Почитаем Томаса Манна. 1902 год, “Gladius dei”, о Швабинге, с любовью. Конспект мой... *“Мюнхен рассеялся утренним светом. Небеса, переливчатые, как шёлк, растянуты над нарядными площадями и белокаменными храмами. Широкие, светлые, полные зелени, пропорциональные перспективы купаются в солнце июньского дня. Тайная радость в каждой улице, неторопливые прогулки. Туристы всего мира катаются на дрожках и взбираются по широким ступеням музеев. Из распахнутых окон льются мелодии, звуки фортепьяно, скрипок и виолончелей. Дворцовая карета останавливается у Академии художеств. Кругом бродят молодые художники из тех, кто расплачивается за квартиру набросками и этюдами. Одежды небрежно — галстуки развязаны, трости отсутствуют. В каждом пятом доме — художественная мастерская. Иногда, меж средних буржуазных домов — эстетский фасад, творение молодого архитектора, полное стиля и остроумия.*

Вечно новое удовольствие — задержаться у окон мебельщиков и лавок с предметами роскоши. Сколько в этих вещах комфорта, сколько юмора в их пластичных формах. В книжных магазинах выставлены книги о прикладном искусстве, и их покупают и читают тысячи. Вечера с обсуждением этих вопросов проходят при набитом зале. Искусство цветёт и правит, искусство простирает над городом свой жезл, увитый розами, и улыбается. Царит безгрешный культ линии, декора, формы, чувственности, красоты”. Кто только не купался в солнце июньского дня под звуком фортепьяно, скрипок и виолончелей и улыбку Искусства — и физик Паули, и художник Кандинский, и философ Ильич. Одно время в Швабинге ошивался и продавал пейзажики туристам Адольф Гитлер, и осталось кафе, которое он одобрял, наверно второсортное, как и всё, связанное с идеями и талантами этой личности.

Леопольд-штрассе, которая пересекает Швабинг на две половинки, полна людей и машин, но стоит ступить на любую перпендикулярную ей улицу, и там — никого. Только детишки играют в мячик на детской площадке у церкви. Вялая, сонная, но солнечная жизнь течёт в этих кварталах. Пройдёмся по реестру Швабинга — чувственная красота, дрожки, кареты, лавки, студенты, галстуки, юморной комфорт? Всё куда-то делось, и даже папки с набросками. И жители Швабинга приспособили район к нуждам пост-модерна.

Дома кажутся приземистее петербургских, а всё потому, что окна по-немецки тяготеют к квадрату. Большинство безлики. То тут,

то там, как фикса — дом роскошного югендштиля, или два, или три в ряд. Модерн этот не петербургский, более вычурный — прикладной, что ли. В украшении фасадов есть то ли детское, то ли дикарское стремление намешать всего — и лепки, и мозаики, — нашить и пуговицы, и бусины, и петушки пёрышки, и жука-бронзовку сушёную. Нижний этаж усажен ёлочками в яблочках, верхний улеплен толстыми завитками белой пасты, а посредине узоры блестящей смальты. Хочется подойти к архитектору и спросить его: “А что побудило вас?”... потому что такое архитектурное решение само не напрашивается. Зашевелится самодовольство, — мол, в Петербурге вкуса больше, — но вспомнишь едино-безобразное Купчино, и поймёшь стремление к любой, хоть сумасшедшей, да индивидуальности.

Если вкратце, если резюмировать, суммаризировать и автореферировать архитектурный ансамбль Швабинга: ну допустим, вы стреляли из дробовика по мозаике, а потом залепили дыры жвачкой — построили современные дома в прораны бомбёжки. Остались кое-какие фасады. Их надо собирать, как клюквины, разбросанные по пригорку — походишь, походишь и наберёшь корзиночку. Есть брусника, есть толокнянка. Вот номер дома Кандинского, на балконе которого он фотографировался. Дом под этим номером явно моложе войны. Соседний дом, на который Кандинский смотрел когда-то с балкона, уцелел. Вспоминаю, как на Васильевском острове, случайно, в той части города, где я не бывала ни до, ни после, мы оказались вместе с мамой, и она сказала: “Здесь был дом твоего деда, где мы жили до войны, а вот дерево, которое он посадил”, — и я не смогла перенести любовь к родному пепелищу на современный дом, и на тополь, которому явно было не больше тридцати.

Теперь меня интересует Штука. Слово “штука” имеет несколько значений: “штука” как единица, отдельность — в своё время даже шёлк мерили штуками; “штука” как действие, выходящее за рамки обычного. В данном случае ни то, ни другое, а вилла Штука. Франц Штук, художник. Франц Штук прожил счастливую жизнь, и даже побывал знаменитостью. Ёлы! Как судьба играет человеком! В конце 19 века молодой Штук — безумно модный, передовой, — получал премии на международных выставках. Пролистнём книгу судьбы вперёд на сорок лет, и он всё ещё жив, и профессор художественной академии. Лев рыкающий превратился в пуделя и подражать ему никто не хочет. Сначала умён, красив, иконокластен, а потом может быть и остался умён, но время его икон прошло, и никому они не

нужны вместе с их творцом. Только те, кто прожил недолго, могут похвастаться стилистически выверенной жизнью: вот Мусоргский родился, написал шедевры, спился; Вийон родился, написал шедевры, и... что там с ним произошло? Исчез он как-то. А если пожить подольше, получится пёстрая штука. Марья Петровна вспоминает, как жили до войны, а Катерина Ивановна — как весело было в доме у папеньки. Лев Толстой начал с “Севастопольских рассказов”, потом перекинулся на романы, а потом пошло совсем уж пошлое.

Первый успех Францу Штуку принёс “Вахтёр парадиза” (Хранитель рая) — ангел, занимающий почти всё полотно, исполненный в новой, радужно-брызганой манере. На выставке в Чикаго премию получила картина “Грех”. Разумеется, грех — это женщина: голая баба, выглядывающая из-за двери. Но я упрощаю: нарисована не сцена в бане, а абстрактный символ. У Грехов Штука волны греховно-рыжего цвета, вьющиеся, пышные, длинные, как корни подводного растения. У Грехов маленькие груди и белая кожа (“*О закрой свои бледные ноги!*”). Из-за них дерутся и колотят друг друга камнями страшные загорелые троглодиты. Сюжетами Штука были амазонки, кентавры, сизифы, прометеи, вахтёры. Стилем — Югенд, или то, что я понимаю под этим названием. Продуктами — книжная графика, афиши, картины, панно, меблированные интерьеры. То, что Штук писал маслом, или литографировал в цвете, теперь немодно, но гравюры его и теперь кажутся замечательными. Штука любил... не буду говорить, кто, потому что любовь этого человека, часто посмертная, испоганила память о многих композиторах, художниках и кинорежиссёрах. Нет, не это, другое скажем: Штук начал движение Сецессиона, открывшее дорогу современному искусству, и построил виллу Штука — памятник немецкому Модерну.

На виллу Штука я отправилась пешком, по набережной Изара. Изар — Фонтанка с отмелями, в сторону Английского парка ни во что не одетая, а по ту сторону моста одетая тёсаным песчаником, но не до конца — песчаник до пояса, а над ним — крутой обрыв с деревьями и кустиками, так что смотреть на воду то ли неудобно, то ли романтично. Вода очень чистая — кефирно-бутылочного стекла. Устроен водяной каскад и за ним длинная дамба вдоль по течению, вдоль берега, с которой можно смотреть на противоположный берег, но здания там ничем не примечательные, и большей частью послевоенные. Мне всё это не показалось привлекательным, мне трудно представить, за что любят московскую архитектуру, особенно Черёмушки; я не любила и Купчина, хотя может оттого, что было, с чем их сравнивать.

Пройдя мимо моста перед Ландтагом, где стоит некто в шлеме, видимо, мать-Германия, я продолжила по Английскому парку ко второму мосту — принц-регента со странным именем Люитпольд, правившего, как царевна Софья, из-за трона, при живом, но ненормальном племяннике. Тусклело, осенний день собирался на покой. Шла мокрым садом с осенними листьями, раскиданными ветром по земле. И была довольна. Я люблю осень так же, как люблю зиму, весну, лето — мне трудно выбрать или отвергнуть. Нет у меня весенней или осенней депрессии, тёмные зимние ночи меня не пугают, и летний *жар да зной* меня не заедают. В Петербурге мне казалось красиво всегда. И может быть мюнхенский старожил тоже имеет в душе коллекцию радостных воспоминаний, которые превращают некрасивые послевоенные набережные в волшебную сказку.

Среди чёрных влажных стволов я увидела виллу. Как и все заброшенные здания, она была покрыта грязной вязью граффити: разрушение просит разрушений. И мне, при всегдашней любви к домам и домикам, примечталось — экспроприировать виллу, почистить её, вселиться вчетвером — мама, папа, Марина и я, — расположиться вольготно, принимать гостей в столовой с хрустальными люстрами. В этих мечтах промелькнула минута, а может быть целая жизнь. В чём собственно разница между сном и явью? Грань между реальностью и воображением тонка, и никто мне не мешает жить так, как я хочу — в воображении. Я могу увесить стены любыми картинами: заказать портреты домашних у Рембрандта, натюрморты и пейзажи у Ван Гога и Вламинка, и иллюстрации любимых книг — у Дюрера. Почему бы и нет? Я могу устроить себе счастливую жизнь среди любимых людей. Или уплыть в одиночное плавание.

Дойдя до колоссальной, несоразмерной городу, как Ландтаг, колонны с Ангелом мира, установленной в честь победы во франко-прусской войне, я повернула к вилле Штука.

Приступая к биографии художника, нужно решить вопрос: что в его жизни главное, может быть не для художника, — тот-то умер и ему всё равно, — а для читателя. Не знаю, какую бы штуку выкинули со Францем Штуком беллетризаторы, — Мережковский или Ирвинг Стоун, — но мне главной кажется женитьба Штука на американской вдове. Без неё бы он не вытянул строительство обширной виллы в штате то ли античности, то ли Югенд.

Многие состоятельные художники строили себе хорошие дома — Рубенс отгрохал целую усадьбу, — но, мне кажется, идея дома, как произведения искусства, появилась только в конце девятнадцатого

века, и таких домов, которые сразу можно объявлять художественными музеями, немного. И они — югендштильные. Югендштиль (Арт Нуво, Модерн), как ни крути — “Песня Песней”, гимн быту, поднявший быт на котурны, превративший поручни в побеги, придавший вазе форму женщины, а женщине — вазы, пустивший придуманные прозрачные цветы (“*Цветы зла*”?) по оконным стёклам.

Штук жил сразу в музее, только без билетной кассы. Этот музей — на любителя, как и искусство оперы. Зайдя в него, ты видишь удивительные залы, парафраз Помпей, с которым Штук выступил преемником Кленце, так же тщательно всё продумав: панно в тёмных тонах, с Афиной, Артемидой и Орфеем, архетипическими растениями и мифическими животными; полы в античный ромбик и клеточку; потолки, то средневеково-кессонные, то расписанные по-ренессансному под синие небеса с золотой пеной Млечного пути и золотыми кольцами планетных орбит; мебель из этрусской жизни, со львами и курсами, премированная на Всемирной выставке в Париже. Ниши и своды проходов облицованы византийской смальтой, а стены — полированными пластинами камня. Франц Штук заполнил свой дом копиями античных и архаических статуй и барельефов. В наше время копии не жалуют, и уважаемому Ивану Цветаеву не предоставили бы возможности построить московский Музей изящных искусств, по крайней мере в задуманной им форме. А во времена Цветаева и Штука копии никто не ругал. И древние римляне, следуя примеру Штука (шутка-малютка!) копили копии греческих шедевров, так что Югендштиль и в этом уподобился классикам.

М-р-р? Н-да-а. Самое нелепое у Штука поджидает на втором этаже, в артистической студии. Я сначала подумала — печка! Но оказалось, что это алтарь, который лишенный чувства юмора художник соорудил Греху — то ли вообще греху, то ли любимой картине. Мне вспомнились покои Ленбаха в Ленбах-хаусе. Они себе наверно нравятся, но мне хочется предложить им дезодоранту. В них витает, или лучше сказать висит крепкий запах древесной гнили, старого комода, простоявшего зиму в нетопленной избе, запах мисцелия, прорастающего в отсыревшем дереве. Комнаты оформлены в супер-флорентийском стиле, т.е. есть крашенный кессонный потолок, очень тёмная обшивка и обивка стен, мебель того, микеланджелова времени, — и все-таки чувствуется современное, не ренессансное. Лоренцо Великолепный, зайдя в такие залы, тут же распорядился бы их выкрасить поярче и повесить новые невыцветшие бельгийские гобелены.

Очень пить хочется после таких тёмных интерьеров, но в вестибюле хоть и виднеется автомат по продаже напитков, доступ к нему имеет только официант. Его нету. Я спрашиваю: “А как мне тут попить?” “А вот сядьте на стол, и официант появится”, — говорит кассирша. Я рада — наконец-то нашёлся человек, который путается в предложениях хуже моего.

Нет, не хочу заселять ту брошенную виллу. Там, небось, очередной Ленбах и Штук смастерили мрачные покои с алтарями для греха, и рука не поднимется соскоблить со стен шедевры модерна, и душа не позволит с ними сжиться. Я, похоже, не люблю Югендштиль — *линии, декор, формы, чувственность, красоту*. Или я люблю не весь Югендштиль, а только, скажем, его *линии, декор, формы*, но не *чувственность*. Составим список имени Дениса Кораблёва: *что я люблю, и чего не люблю* в Модерне? Люблю узоры, изгибы и извивы, люблю любовь к быту и стремление приложить усердие даже к лестничной решётке. Не люблю символизма и спиритизма.

Символизм... он мне чужд, потому что я игнорирую злые цветы жизни — так мне приятнее жить. Я любила Блока из тоненького сборника Школьной Библиотеки, которого мне прочитала вслух моя сестра. Я не полюбила Блока из толстого сборника издательства “Правда”, который я прочла сама. За каждым вторым стихотворением у Блока *сжёжился карлик*, дразнясь *красным языком*, — противное, с душком, несвежее, эпохи отсутствия холодильников; занудство утончённых пороков в виде намёков. Эпоха была насыщена символизмом, жила им, дышала им, находя его целесообразным, как пар русской парилки. Символом века всплыла “Саломея”, написанная англичанином на французском языке, поставленная Мюнхеном на немецком. Светлым это искусство не назовёшь, даже в прямом смысле. Почему всё-таки в 19 веке после золотого барокко и ситцевого рококо так полюбили тяжёлые бархатные занавеси, полумрак, *фиолетовые руки*, так заставили комнаты вещами и пальмами (“*лопасти латаний на эмалевой стене*”)? Жили пошло, тяжело и в преддверии. А в преддверии чего, они ещё не знали.

Спиритизм... он *из моды вышел ныне*. А на рубеже 20 века все увлекались спиритизмом. Бабушка Александра Алексеевна бывала на сеансах. Однажды духи медлили. И вдруг по её спине мягко провела невидимая рука. К сожалению, наплась материалистическая подоплёка этого явления — свалилась газета, которой было завешено окно. Было это скорее всего в году 12—13. В это время папиной двоюродной сестре тёте Зое было десять лет, так что сеанс, который

она мне описывала, должен был произойти позже, думаю, в 20-е годы. В этот раз по кругу с алфавитом ездила тарелка, но как-то нервно, и когда призрака спросили, что ему мешает, он продиктовал: “Радиво”. Призрака дисквалифицировали.

Тётя Зоя была замужем за дядей Ваней. Как я узнала слишком поздно, мать дяди Вани была теософка, и может быть была знакома с Черубиной де Габриак. Об этом старались не упоминать, поскольку теософов ссылали в Среднюю Азию, на подножный корм. Я пересеклась с ней во времени, но не в пространстве. Я упустила многих интересных людей из-за того, что они попрятались от эпохи.

Призракам помешали “радиво” и первая мировая, но не только это, помешали здоровые (до безобразия) силы общества. Бывают времена и эпохи — я живу в такой, — когда общество раскалывается на авангард и обыкновенных людей, до самозабвения любящих благопристойность, и пока голый авангард танцует на столе канкан, в обществе просыпается грозное движение за сохранение морали и семьи, и его страшная приливная волна смывает авангардистов вместе с их столом.

Смелый авангард всё время бултыхался в косном обществе Мюнхена — то вынырнет, то уйдёт на дно. Новелла Томаса Манна “*Gladius dei*”, так счастливо начавшись, погрязает в липком мещанстве. В ней рассказан случай, действительно случившийся: когда какой-то похабник выставил в своей художественной лавке гравюру Венеры Милосской, порядочные люди не знали, куда глаза девать от стыда, и предложили принять закон, приравнивающий обнажённую натуру к порнографии. Такой же деликатностью чувств отличались и первые христиане, отбивавшие члены античным статуям, и американский Генеральный прокурор, который совсем недавно сшил приличный костюмчик статуе Правосудия, голая титька которой мешала его беспристрастности.

Всеми есть причины, социально-экономические, духовные, политические — накопаете любых, в зависимости от взглядов на жизнь и судьбу. Помните ультра-консервативную Баварию времён реформации, от которой хорошего не жди? Но после секуляризации, наполеоновских войн и особенно после революции 1848 года, совершив крутой поворот на пятачке, Бавария стала лёгкой и либеральной. Секуляризацию Виттельсбахи провели в конце 18 века, конечно в корыстных целях (чего ещё ждать от *правящих классов?*), подсекли под коленки церковь, она упала, и результат вышел такой же, как и во всех подобных случаях — общество помягчело к индивидууму и

пошло по пути улучшения быта и здравоохранения. Простое наблюдение за историей показывает, что чем религиознее общество, тем хуже и грязнее живут люди, не считая нужным вычистить свои хлевы, хоть что-то изменить и улучшить. Всякому заметно, что только эпоха просвещения позволила перевести глаза с небес на землю и хоть что-то сделать для несчастных, оказавшихся в силу рождения в самом низу социальной пирамиды. Быть может, неизбежен выбор между духовностью и личной гигиеной; и то и другое вместе иметь нельзя, как нельзя быть одновременно и старым, и молодым. Нельзя, чтобы и умный, и штаны без дырок. Нельзя, чтобы мысли чистые и шея мытая.

После первой удачи — либерализации, — опять повезло невероятно: в рулетке *случайностей рождения* Бавария выиграла второго Лоренцо Медичи — Людвига. Самое лучшее время Баварии, золотой век, был при Людвиге Первом. Как бы мы сейчас не относились к имперским пропилям, для современников это был город солнца, света, воздуха и веселья. Да и потом, после Людвига, долго ещё по инерции продолжались послабления. Длинная, длинная история Мюнхена, от корней которой почти ничего не осталось, вдруг расцвела голубым цветком авангарда, но семечек не получилось, и даже доцвести не дали.

Гнусь началась после присоединения Баварии к объединённой Германии. Из мракобесной Пруссии посыпались руководящие указания, и консерваторы получили поддержку сверху. Баварцы с энтузиазмом поправили, стали голосовать за католическую партию, цензуру прессы и всё такое прочее. Дальше, знаете... Последствия предсказуемы. Поднеси магнит к булавкам, и они все на него прыгают. Как только консерваторы получили большинство мест в выборных органах, они блокировали реформы, а заодно и любые отклонения в искусстве от мещанской морали. Посыпались законы, которые сладкой музыкой отозвались бы в городе Санкт-Петербурге, колыбели нынешней нравственности. Очень воспряла и оживилась церковь — она давно скучала по власти и деньжатам. Церковь в Баварии была нежная, чувствительная, обидчивая, готовая во имя духовности закопать живьём всяких мерзких пусси, и говорила от имени народа так же смело и безапелляционно, как РПЦ. Драматургов политического кабаре “Одиннадцать палачей”, журналистов сатирического журнала “Симплициссимус”, регулярно призывали к ответу и даже сажали. Драматургу Оскару Паницца дали год за оскорбления чувств, конечно не верующих, но церкви, в его пьесе. Семь месяцев припаяли журналисту Ведекиндю за сатиру на Пути-

на ... э-э, кайзера. Номера “Симплициссимуса” часто тоже лишали свободы, и не давали продавать: Петербург, да и только — помните, как изъяли выпуск журнала, высмеявший всеми любимую Матвиенко с её *сосулями*?

Чаша Судьбы снова пришла в движение, и оказались нужны совсем иные шарiki. Неуместно остроумные театры и кабаре постепенно развалились. Перед первой мировой войной в Баварии стало, как в России начала двадцать первого века. Куда уехала Бавария по этой дорожке, мы знаем. Гитлера выбрали не людоеды, и не за людоедскую программу, а за солидные непреложные истины. Гитлер сказал, что страну надо поднять из экономической разрухи, что у каждого должна быть курица в супе, что аборт вреден, а многодетные семьи полезны, и что всему вредят смутьяны с анархическими взглядами. Политические лекарства у него были специфические, но ими никто не поинтересовался. Потом конечно удивились — как это мы дошли до жизни такой? Цена отрезвления оказалась очень высока.

Что-то у меня набирается картотека типичных траекторий... Что теперь такое выкаблучивается в Америке с её “безумным чаепитием”? Смотрю в изумлении, а чего изумляться? Последствия предсказуемы: на наэлектризованный янтарь налипают клочки бумаги; сказавши “а”, становятся “б”. Правеют в большинстве те, кому в новой Америке придётся хуже всего, те, кто потеряет очень много от отмены социальных благ. На протяжении всей человеческой истории правило меньшинство, а большинство подчинялись и жили поганно. По-другому Европа и Америка живут только 70 лет, и приобрели это право ценой чудовищных войн и уродливых социальных экспериментов. Откуда же это безмятежное чувство безопасности, готовность отдать свою свободу, отказаться от социальных благ, откуда ненависть к профсоюзам и вера в давно скомпрометированные экономические идеи? Грустно, когда люди, благополучием и бытовой безопасностью обязанные современному гражданскому обществу, начинают подрывать его основы. Они напоминают мне животных, которые подрывают телеграфные столбы в поисках желудей. Они забывают, что на столбах жёлуди не растут. По столбам с их электропроводкой поступает свет в свинарники, где приятно бурчит механическая кормушка.

Люди забывают о причинах процветания, думают, что и дальше так будет, что бы они не делали, начинают приписывать успехи исключительно себе, подрывать корни у реформ, которые их благодетельствовали, в общем, ведут себя как младенец на руках у ма-

тери, который вьётся ужом, не думая о том, что можно и упасть с лестницы вместе с мамой. Люди не понимают, что их душат; а если понимают, думают: “перетерпим и приспособимся”. Политики покупают избирателей, жонглируя общими лозунгами, под которыми можно протащить любую идею. Даже в Венеции я видела свешенный с палаццо плакат: “Да, мы можем!” А что именно мы можем, никто не потрудился расспросить — напиться, ходить в галошах, собирать марки? Или развязывать всё новые войны? Мне кажется — мы ничего не можем. Мы — шарики на ладони Времени и Фортуны. Все мы, хорошие, плохие, Набоковы, Хармсы, Сталины, Пиночеты, Обамы и Осамы, плывём против течения, но нас всё равно сносит. Общество расточает таланты, судьбы, свободы. Богатство наших душ ни на фиг не нужно. Пора привыкнуть. Нет смысла трусить, когда накатывает цунами.

Автобусная феерия

Ночь — странное время. Ночью в голове не очень-то ясно, и в глазах не очень-то зримо. Ночь искажает смыслы, превращает людей в персонажи плоского фарса, и у простейших действий вырастают опасные тени, а тени — загадка. Тень чего? Зайца? Динозавра? Дракона? Одно несомненно — тени собрались для гадостей.

У стен Петеркирхе я вижу странный спектакль. Юноша в средневековой одежде тащит за собой на веревке девушку и громко орёт по-немецки. Вокруг публика, в основном школьного возраста, фотографирует это хулиганство. Непонятно, из-за незнания языка, что делать — вмешаться, подраться? Это представление, ну конечно — кто же в наше время всерьёз потащит за собой на верёвке женщину в рубище, да ещё при стечении народа? Все смотрят, и ни один не вступается, стало быть происходящее оправдано, и можно не ломать себе голову, переложить ответственность на толпу и ступать себе мимо.

Путешественник всегда балбес. Оказавшись в чуждом и непонятном мире, не зная языка, он не понимает, когда нужно вмешаться, вмешивается невпопад и вызывает смех, или не вмешивается, и страдает беззащитный человек. Помню письмо американки в советскую газету: “Почему вы, русские, такие бесчувственные? Выхожу из троллейбуса — лежит человек, молодой, в беспамятстве, и все его обходят. Я его поднимаю, он падает, ему явно плохо, он даже говорит с трудом, а все вокруг смеются и кричат: “Берите, берите, девушка, — в хозяйстве пригодится!””

Пора в кроватку, но вместо этого приходится тащиться на автобусный вокзал. Там придётся дожидаться ночного автобуса, потому что где ещё можно пересидеть поздние вечерние часы, я не знаю. Сегодня утром в гостинице я кротко попросила поберечь мой чемоданчик. Можно было его оставить на вокзале в камере хранения, но меня обуяли сомнения — а найдётся ли для моего пухлого чемодана подходящая и пустая ячейка? А если не найдётся, то ведь назад в гостиницу пути не будет, и тогда прощай весь день, сиди и карауль сундучата! Такое времяпровождение не входило в мои планы. Чемоданчик мой взяли, но наверно не догадались, что я приду за ним так поздно. Пришла бы ещё позднее, и наверно не отдали бы.

На автобусном вокзале в Мюнхене кассы закрыты. Информации нет. Я спускаюсь на плаформу. Ни людей, ни автобусов. В воздухе угрюмая угроза, из-за безлюдья. Далеко-далеко, в стеклянной будке, не зажигая света, сидит дежурный. В темноте он лучше видит? Или в темноте его сложнее подстрелить? Холодина. Я возвращаюсь в подвесной переход от метро к вокзалу, сажусь на скамейку. Пусто, только девушка и два турецких парня. Я достаю сборник рассказов Агаты Кристи. Чтение отвлекает. Я это открыла для себя в семь лет, когда я попала в больницу, а нравы там напоминали лагерные.

Сначала рядом начинаются громкие разговоры, потом эскалация напряжения, потом военные действия — зал ожидания превращается в сектор Газа. Вечная сцена оскорбления женщины мужчиной — опасная, обоюдоострая, сцена, которая часто разыгрывается с согласия жертвы, согласия на оскорбление в обмен на любовь, секс, финансовую стабильность, или чувство принадлежности к определённой общественной нише. У этой сцены зритель только я, здесь нет интерпретаторов, и никто не успокоит, что всё хорошо. Непонятно, звать ли полицию; решить трудно — языка не понимаю. Правильный выбор часто известен, но бесконечно тяжёл. Знаю, что нужно сделать в таком случае — громко спросить на английском: “Are you OK?” Именно так сделала бы мисс Марпл в американской экранизации. Самый правдоподобный исход после этого — меня побьют все трое. Боюсь. Хотя ведь лучше, если меня побьют, чем оказаться свидетелем избиения или убийства другой женщины. Когда-то я заставляла себя нырять с головой в холодную воду правильных поступков; теперь я знаю, чем за них платят. Я не знаю, на что решиться. Но тут девушка говорит: “Всё, надоело!”, и уходит. Кавалер кричит ей вслед что-то обидное.

У меня остаётся чувство стыда за бездействие. Было бы честнее, если бы я себя простила за дела, которые я всё равно совершаю без

разрешения совести, и за которые мне вместо этого стыдно. Собственно даже не стыдно; они просто меня убивают. У нерешительности сто оправданий, и вполне достойных. Любой вопрос у рефлексирующего человека обрастает ракушками сомнений. Впоследствии ракушки опадают. Переосмысляя, проживая заново, мы признаёмся в скрытых мотивах собственных поступков. За маленьким бытовым страхом проступает страх большой, страх метафизический, страх жизни, страх существования. Всё упирается в желание удобства, потребность всеобщей любви, нежелание, чтобы на меня кричали, макали носом в лужу, подбили глаз, сломали руку и прочие мелочи, без которых не прожить порядочному человеку. Кто-то другой не хочет, чтобы из-за меня сломали руку ему. Поэтому все мы разрозненны и незащитны.

Путешествие — только усугубление обычной ситуации, потому что каждый в этом мире странник. Жизнь, нащупав слабое место, всё время предъявляет одно и то же, демонстрирует тебе, как ты жалок со своими принципами и каждодневным умением ими поступиться. Дорога в ад вымощена вовсе не благими пожеланиями, отнюдь; она вымощена трусостью. Пора, наконец, подредактировать список смертных грехов, столь милый ханжам, выкинуть из него всякие мелочи вроде прелюбодеяния и обжорства, вставить настоящие подлости — трусость, предательство.

Я пытаюсь одурманить себя уже не раз перечитанными рассказами о мисс Марпл. Прелестную крошку отравили дигиталисом. Кто подмешал в салат листья дигиталиса? Только мисс Марпл сможет решить эту загадку. Мисс Марпл, в шляпке, в блузке с кружевами и добротном твидовом костюме, оказавшись на платформе Мюнхенского автовокзала, ничего не боится, подкреплённая чувством долга и справедливости; вокруг неё мощное охранительное биополе, в особенности в районе левой чакры. Мисс Марпл в любой ситуации находит правильный выход, оставляет на своём пути восстановленную справедливость. Мисс Марпл бесстрашно бросается в гущу убийц, распутывает их козни, отвергая отравленное молоко. Мисс Марпл лишена воображения, и не может представить себе последствий. Я могу. Мне страшно. Сейчас, на тёмном вокзале, и вообще. Это возрастное. Исчезло чувство неуязвимости, но ещё не пришло чувство безразличия к будущему. Я всё ещё в ницшеанском периоде своей жизни, хотя и на излёте.

О, кто-нибудь приди, нарушь... И приходит, вернее, подкатывает толстенькая добродушная фигура, которая рада мне так же, как и я ей. Она радостно жметя ко мне, спрашивает, сколько мне стоили

билет и гостиница. Это пожилая англичанка с круглой физиономией деревенской бабы. В Мюнхене она проездом из Венеции, заехала на один вечер, взглянуть на Октоберфест. У неё лёгкий рюкзачок, в котором напрасно искать шерстяную шапку и свитер, и англичанка коченеет от холода — только что в Венеции было плюс 25 по Цельсию, а тут мороз и ветер, но настроение — лучше всех! Ей хочется поговорить, хотя обычно европейцы друг к другу не лезут. Почему? Природная болтливость? Желание услышать мой голос и убедиться, что я настроена мирно?

Англичанка — простое физическое явление, не требующее осмысления, такое же, как роса на траве, как гудок паровоза, но моё сознание, расщеплённое ночью, её не вмещает. Нет, что-то не так; при всей простоте и болтливости это странный зверёк: одна, с рюкзаком, по Европе на перекладных, с благословения мужа, который купил ей транзитный билет? Это фантазм с плохо спитой жизненной историей, из области ночного абсурда. Вообразите русского мужа, который купил бы жене билеты на ночные европейские автобусы, даже если ему очень хочется остаться без надзора? Не можете? Вот и я не могу. Да, они тут на Западе другие. Или ночью они другие? Темнота всё искажает, и кто его знает — доктор Джекил или мистер Хайд ждёт автобуса в Прагу?

Нет, конечно, не в ночи дело, и не в Западе. Страхи мои оттого, что забыла, как путешествуют на дешёвых средствах транспорта. В своё время я ездила по Америке на автобусе “Грейхаунд”, и сейчас я снова в этом мире. Чем больше денег, тем спокойнее и однообразнее действительность. Все чудики каким-то образом скапливаются на дне. Чем меньше денег, тем оригинальнее и интереснее люди. Так во всём. Мне никогда не удавалось сделать однородное заливное. Мясо всегда успевало осесть на дно формы, вместе с морковкой. На дне интереснее, наверху прозрачнее и спокойнее, и мы хотим прозрачности, мы себе покупаем спокойное, заказывая место поудобнее, отель подороже. Комфорт комфортом, но главное — чувство безопасности, наличие буферной зоны между нами и слишком яркими и трагическими судьбами. Дешёвые билеты приходят в комплекте с тёмным вокзалом, злобными разборками, ночёвкой на полу.

Подъезжает автобус на Прагу, но не нашей фирмы. В расписании указан только один. Будет ли наш, или это всё? Мы трепещем, мы волнуемся, мы подробно расспрашиваем дежурного, водителя и друг друга. Пассажиры предлагают нам залезть в их автобус, потому что другого не будет, водитель рекомендует нам катиться колбаской по Малой Спасской. Они уедут, мы останемся, нас съедят.

И тут вдруг появляется автобус со спасительной надписью “Евро-Лайнс”, но почему-то долго-долго едет задом, а мы бежим за ним, не понимая, куда *скачет этот гордый конь*, и где отбросит он копыта. Водители-чехи по-аглицки не разумеют, но в состоянии прочитать наши билеты. Нас запускают внутрь. Мы уезжаем, и может быть даже в Прагу.

Народу мало, каждому по два сиденья, можно лечь, свернувшись рогаликом, как когда-то в Грейхаунде, но уснуть не удаётся. Всю ночь в напряжении держит вибрация. Видимо рессоры у этого автобуса отсутствуют. К вибростенду прилагается зажигательная чешская музыка из кабины водителя. На границе мы выходим, дышим свежим воздухом. Паспортов у нас не проверяют: Чехия не является магнитом для любителей сладкой жизни. Отсутствие сна я воспринимаю с тоской — вроде и не страдаю физически, но морально мне это тяжело. Кажется, что весь следующий день будет потерян, а я ведь специально еду ночным автобусом, а не дневным поездом, чтобы побольше посмотреть! Появляется ярость к чехам, которые сдают рессоры во вторчермет, и наверно не любят русских, а ведь мы их освободили! Тут же вспоминается американец в автобусе г. Сент-Луиса, который вскричал в обиде: “Вот вы не хотите со мной разговаривать, а мы России предоставили займы!”

Но всякая попытка рано или поздно кончается. Автобус подъехал к пражскому вокзалу Флоренс. Англичанка вспомнила об англосаксонской сдержанности, беседу не возобновляла, по-английски растворилась в пражском тумане. Я даже не успела крикнуть ей “до свидания”. Вот в этом разнице между русскими и нерусскими попутчиками. Русские попутчики способны посмотреть в глаза и почеловечески проститься после вагонных откровений о том, сколько было аборт; они угощают колбасой и общаются свободно, понимая, что за этим ничего не стоит. А иностранцы наутро стыдятся болтливости, как пьяного дебоша, и норовят ускользнуть с места морального падения потихоньку.

Чешские деньги я тут же извлекла из машины — высыпались тысячи. В подземном переходе, где работала только одна лавка, я разменяла крупную купюру ценой покупки бутылки воды. Вернулась на вокзал и пошла в уборную. Сообщаю об этом не потому, что посещение уборной для меня редкость, а потому, что в уборной было интересно. Там была застеклённая будка, где сидела пожилая чешка с физиономией Татьяны Пельцер, а над её будкой виднелась надпись — “за туалет 10 крон, а за мытье рук — 5”. Я пыталась

заплатить 15, потому что хотелось и того, и того, но Татьяна Николаевна любезно взяла с меня только 10.

Поскольку в квартиру я могла попасть только в восемь, решила отсидеться на вокзале. Чешский вокзал Флоренс более живой и весёлый, чем мюнхенский, даже в полшестого. Там снуют, сидят и стоят молодые и весёлые люди. Внутренности вокзала напоминают нашенские, и описывать поэтому нечего. Люди какие-то с рюкзаками, стены обшарпанные, и заклеены-переклеены плакатами. Было темно. Я дочитала про отравление дигиталисом, и вспомнила, что уже читала когда-то этот рассказ. Часто бывает, что у меня определённые жизненные события и пейзажи связаны с книжкой, которую я читала или слушала в записи; вспомнишь одно, и всплывает другое. Теперь вокзал Флоренс связан для меня с дигиталисом. Со временем придуманная жизнь сольётся для меня с пережитой — то-то выйдет весёлый компот!

Выждав нужное время, я спустилась в метро, проклиная отсутствие эскалаторов. Сумка не делала никаких попыток мне помочь, наоборот, она на мне висла и пыталась подсесть под коленки. Автомат по продаже билетов мне понравился больше немецкого; я пригляделась, и увидела, что тут всё по-русски, только латинскими буквами, как наши первые и-мейлы из зарубежных командировок. Впрочем, русские слова на автомате были странно вывернуты — то смысл смещён (“йизденка”), то уместность (“непреступная”).

Я получила из автомата бумажный прямоугольник и сдачу: большую медную монету размером с советский юбилейный рубль. Я перешла Рубикон, после которого могут проверить йизденку, и села в поезд. На каждой станции объявляли: “Выступ и наступ” — лучше бы строили без выступов. Прочитала объявление — “Каждый день новая атаска!”, стало не по себе — оказывается, жизнь в Чехии полна трагических неожиданностей. Моя станция, “И. П. Павлова”, в названии которой чехи уважительно не пропустили ни одного инициала, была вдвойне родной — напомнила о биолого-почвенном факультете ЛГУ и старом анекдоте про то, что коммунизм придумали большевики, а не учёные — учёные бы сначала проверили на собаках.

Квартира находилась в районе “Новое место”. Новое место — район вальняжных квартир, просторных улиц со зданиями стиля модерн, красивыми, объёмистыми, высокими, капитальными, этажей по семь, построенными, когда в города “понаехали” из деревень, согласившись променять домики с огородиками на многоквартирные улы. Модерн был попыткой капитализма оправдаться перед

пчёлками-неофитами, или хотя бы выстроить приличное надгробие частной самодостаточной жизни. К этому времени ещё не научились мухлёвке с панелями, и не жалели средств на архитектурные излишества и лепнину; Хрущёва на них не находилось.

Всё как будто ты в Петербурге, на Петроградской стороне, в районе старых новостроек конца десятых годов двадцатого века, всё, как в петербургском “старом фонде”. Название “фонд” рождает образ мешка Деда Мороза, с подарками для избранных. Но квартиры фонда, при всей их просторности, были лишь тенями былого: барское жильё с кляксой нынешних жильцов на репутации. Их перекроили из дореволюционных, благородных, с двумя входами; половинки целого выживали, отращивали, как разрубленные червяки, новые органы, (кухни или сортиры), вбирали в себя гораздо больше жильцов, чем следует; и теперь в какую-то входили с парадного крыльца, а в какую-то лезли по чёрному ходу мимо кухонной плиты, мимо столов, чудовищно заваленных грязной посудой, объедками, забытым сырым фаршем на подносе... Родились коммуналки, страшные или смешные; длинный запруженный хламом коридор приводил в кухню, где местные Парки решали судьбы ором до хрипоты, а Геката обжаривала до угольной вони чудовищно толстый блин.

Многоэтажные дома укрыли множество жизней, только казавшихся простыми и правильными: достоевщина, непростая и неправильная, никуда не исчезла. Две-три кнопки у двери красного дерева, покрашенной зелёной краской, и дощечка с гнездышками для рукописных бумажек с фамилиями (“Горевым пять звонков, Юдольским — шесть”) предупреждали посетителя о правде жизни, шептали: “Не обманывайся парадной лестницей с погнутыми перилами, витражами окон, по которым мазнули коричневым; там, за дверью затаились *надрывы* из романов Достоевского”. Там живут старушонки из бывших, которых даже зарубить топором не за что — так они бедны. Там *пьют, дерутся и плачут*, пересчитывая пятак, полученные от сбора бутылок, там леший из соседней комнаты по субботам, пьяный, пытается сбросить жену в пролёт роскошной мраморной лестницы, а у его трёхлетней дочки бытовой сифилис.

В восьмидесятых мы с отцом поднялись к дедовой квартире и увидели, что дверь всё та же, и замки те же. А второй раз, в двухсотых, жизнь улучшилась, в подъезд было уже не войти, и мы стояли снаружи, фотографировали окна, и к нам пристал бритый, круглоголовый — что мы здесь делаем? И вправду, что мы, из бывших, делаем у квартиры, которую у нас отняли в тридцать пятом го-

ду, семьдесят лет назад? Отрезанные ветви пустили новые корни, и старых не помнят.

Семьдесят лет как бы и не были. Герои Достоевского неспешно выступают из земли крупницами соли, с просветлёнными лицами усуживают набережные, уже не тая бутылок с пивом и нескладной жизни. И достоевско-гоголевский город-призрак срастается в памяти с американской Филадельфией, на улицах которой, заполненных бомжами, торчат красивые здания, — красивые без всяких скидок, с колоннами и статуями. Окна их забиты фанерой. Прошлое уходит, оставляя за собой архитектуру.

Выйдя из метро, я убедилась, что Прага построена на холмах, в отличие от Петербурга; И. П. Павлова шла вверх. Тротуары были замощены оружием пролетариата, и я катила сумку с трудом. Время я всё-таки не рассчитала, и хотела отсидеться до назначенного часа в кафе или кондитерской, но их не было. Росло подспудное чувство, что здесь жить неудобно, хотя чем неудобно, объяснить трудно. Нельзя же отсутствие кафе считать серьёзным неудобством! Названия продовольственных магазинов внушали опасения: “Потравинны и лахудки”. Потравинны я ещё могла бы попробовать, но лахудки — увольте. По дороге попала самая знаменитая местная пивная, из витрины которой на меня с диким любопытством, которое я раньше встречала только у домашней скотины, смотрели два сотрудника. Я на них тоже посмотрела с диким любопытством, сразу не поняв, что они живые, думая: “Вот как натурально исполнены манекены, и как смешно одеты”. Минут за десять я дошла до большого расхристанного парка, который был скорее даже не парк, а поле, длинное, странное, заросшее кустами и травами, на фоне наманикюренного модерна кажущееся диким... (Впоследствии выяснилось, что это — любимая пражанами Карлова площадь). Я повернула назад.

У подъезда моего дома висели вывеска пивной “Великопоповский козел” и ба-альшие рекламы Канона и Никона. А-а, да-да, — это дети Леды (при моей широкой образованности я могу ответить на любой вопрос). Ледины яйца все были с двумя желтками. Из первого вылупились Кастор и Поллукс, из второго Клитемнестра и Елена Троянская, а из третьего наверно Канон и Никон, но проверьте на всякий случай в Википедии. Фасад был замечательный, солидный, как отец семейства. Подъезд напоминал о Петербурге, дворах-колодцах, которые у меня ассоциируются со счастливой уединённой жизнью в комнатах неправильной формы. Ещё интереснее был лифт, который притягивали к нужному этажу магни-

том, болтавшимся на связке ключей. Лестница с лифтом, оживающим от прикосновения магнита на ключе, приобретает обманчивую, чрезмерную надёжность, как наша былая вера в преимущества капитализма. Свет не горел, на площадках были выключатели, но в темноте я по ошибке нажимала на чужие дверные звонки. Пока старички и старушки неслись к дверям, чтобы намылить мне шею, я успела скрыться в нужной квартире.

Устроена она была интересно. Это был пенал, разделённый на три секции. Начиналось с ванной, просторной и с окном. Потом была кухня, окно которой с матовым стеклом открывалось в ванную, и при желании можно было устраивать в ванной театр теней. Так бы хотелось раздвоиться и посмотреть, что там видно из кухни, когда ты голая ходишь в ванной? За кухней была длинная, удобная обставленная комната. Стены толстые, потолок петербургский, можно антресоли завести, окно уходит ввысь метра на три. От чего же это отрезали мою квартирку? Непременно отрезали — таких тощих, длинных и разделённых на отсеки, как вагон поезда, не строят. Тем более при импозантном подъезде, капитальной лестнице — атрибутах барской жизни. И у нас отрезали, перестраивали, покупаясь по неразумию на несущие стены; громоздили антресоли для набавки спальных мест, замахиваясь на третье измерение — правильно, кому нужен высокий потолок в узком чулке, отгороженном от пропорциональной комнаты?

Я чуть не грохнулась, когда запрыгнула на подоконник с кровати — иначе-то не закрыть узкую высокую створку. Очень мне понравились перины и подушки, давшие отдых моему усталому телу. Мне показалось, что я в Петербурге, в сталинском доме времён моего детства, когда квартира была не просто защитой от ветра, а чем-то большим, приютом убогого скитальца, за порогом которого оставались все неприятности внешнего мира. Наконец, после длинной, странной ночи на юру, я нашла убежище, осталась одна: и мне безопасно, и окружающим не вредна — некому налгать, некого предать.

БОГЕМИЯ

Цвета Праги

Прагу прозвали золотой, но для меня она — чёрно-белая, с папиных фотографий. Если им верить, Прага — *город контрастов*: бескомпромиссные перепады от света к тени, от дождя к солнцу. В шестидесятые годы в нашей жизни было много чёрно-белого, и не только метафорически. Чёрно-белым было кино. Чёрно-белым было телевидение в телевизоре с большой линзой, которое мы ходили смотреть к соседям. По будням мы носили в школе чёрные передники, а по праздникам белые. От этой эпохи остались чёрно-белые фотографии, сделанные ФЭДом (папа), Zenитом (Марина), и иногда Сменой (я) и Чайкой (мама). Каким аппаратом снимал дядя Ваня, я не помню.

Дядя Ваня и Марина любили не только фотографировать, но и печатать, и отличали “Унибром” от “Фотоброма”, “Фотобром” от “Бромпортрета”, Гоголя от Гегеля и т.п. Причиндалы этой технологии перекочевали теперь в музеи, а тогда все печатали снимки дома и сами. Все собирали и разбирали временные фотолаборатории, то убирали, то стаскивали с антресолей фотоувеличители, ванночки, бачки для фотоплёнки, пакеты с химикалиями. Места для фотолабораторий изобретали самые разные. Дядя Ваня раскрывал створки старинного буфета и накрывал их одеялом, потому что он жил в коммуналке, и в общей ванной передвижная фотолаборатория была нон грата. В нашей отдельной, хотя и маленькой, квартире, перекидывали деревянные мостки, сколоченные папой, через ванну, и любителей мыть руки переадресовали на кухню. Меня пускали посмотреть, как под стук пинцета о бортик ванночки в мылкой водичке постепенно проступали подробности позитива. Мы в общем-то знали, что там проступит, но всё равно радовались. Важен антураж и подача материала, ритуал: растирание пальцем переводных картинок (тогда модных, а теперь пропавших из продажи), пока не увидишь — сюрприз! — то, что сам же и купил; поедание каши: скорее-скорее, чтобы увидеть, какая там сценка на дне, хотя тарелка-то была всегда одна и та же, с Белоснежкой (уловка Марины, как каша, никогда не приедавшаяся).

Марина любила фотоэффекты, вставляла моё лицо в глаз собственному портрету, недодерживала, делала размывы, наплывы,

двойные экспозиции, кадрировала, дополняла (“Не хочешь ли облачков, у меня есть хорошие?” — предлагал ей дядя Ваня). Папа не занимался махинациями — это было не в его натуре, — и проявлял всё как есть, даже если получалось, что куст выростал прямо из лысины. Марина печатала свои фотографии, а папа — свои, мои и мамини: мы с мамой не любили химию.

Фотографии дяди Вани технически совершенны и композиционно выверены, Маринины — художественны, с романтическим настроением, папины — аматёрские, но чётко напечатаны, мамини — импрессионистские и слегка перекошены, как в модных современных журналах, мои... — ну, мне трудно оценить себя со стороны. Тётя Зоя не фотографировала, она писала пейзажи маслом — её научили в Смольном институте.

Марина снимала грибы, дожди, солнце в тумане, росу и столбы света. Дядя Ваня снимал деревни, грибы и картины в Эрмитаже. Папа и я снимали городские пейзажи. “Снимайте людей”, — говорила мама, но мы не понимали, зачем — лучше сфотографировать то, чего никогда больше не увидишь. Я только сейчас поняла её правоту; не только потому, что портрет — вершина фотографического искусства, но и по тому, как жадно я теперь рассматриваю даже крошечные пробные снимки, на которых царская водка времени ещё не растворила молодости мамы, папы, Марины, дяди Вани, Кати, тётки Зои, тётки Китти, дяди Пети, дяди Коли, бабушки, бабы Кати...

Пейзажи и грибы тридцатилетней давности тоже молоды и свежи, но гораздо меньше говорят моему забывчивому сердцу. Многие снимки — целые пачки, перетянутые резинкой, упрятанные в чёрные конверты — это отпечатки чужой памяти. Мне не добраться до их эмоционального контекста, да что там — мне часто неизвестно, что на них изображено. Ведь никто не подписывал фотографий — зачем подписывать то, чего и так не забудешь? *Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблён?* Паруса крыш, мачты шпилей, — понимаю, что передо мной Прага, но почему именно эти улицы, и почему столько повторов одного и того же, будто фраза, твердимая сквозь года: “Помни, помни, помни”... Никогда не узнать подтекста, даже если расспросить; другой человек — тайна великая, иногда никому на фиг не нужная, иногда драгоценная, заветная, но всегда неразгаданная.

Я знаю, что отец не был ошеломлён или подавлен; он уже видел этот мир, пускай из-за колючей проволоки; наблюдал его, когда их гнали по этапу через города и городки прежде свободной,

теперь оккупированной Европы, мимо сгоравшей в пламени войны добротной буржуазной жизни. Поэтому его не удивляла колбаса в местных магазинах, не мучила обида, глодавшая десятки советских граждан, случайно выпущенных за границу: “Кто же выиграл войну?” Для него это было возвращение, а не первооткрытие. И ещё, я думаю, освобождение, пусть временное, от затхлости искусственной советской жизни, и от тяжести семейного быта, который липнет к добросовестному семьянину тысячей необязательных обязательств.

Но тут уж начались мои домыслы, и к чему они? Папа не литературный персонаж. Тайна останется тайной. Я не узнаю, что он думал в Праге о Праге. Спроси я его самого, он бы не ответил. Папа был человек действия, а не слова. Характер чистый и цельный, он мог показать, но не объяснить, как жить. Его жизнь была чёрно-белой; белое он помнил, а чёрное забывал.

Главная площадь Праги, Вацлавская, начинается от могучего Национального музея, вздымающегося над соседними домами, как отроги Татр. Музей был построен в то блаженное время, когда в Чехии уже проснулось национальное чувство, но страна ещё была придавлена австрийской пятой, и ни за что не отвечала, т. е. могла развиваться, как ребёнок и дуться на старших, из-под пяты и с чувством. Основали музей чешские патриоты граф Штернберг и граф Клебельсберг. В музее хранится всё чешское — от костюмов до ископаемых окаменелостей. Здание — шедевр неоренессанса.

Спиной к музею, лицом к площади стоит конный памятник Св. Вацлаву (королю Венцеславу). У Вацлава можно назначить встречу даже человеку, никогда не бывавшему в Праге; он не заблудится. Это фигура известная и высоко поставленная, вроде Медного всадника. Св. Вацлав похож на русского богатыря. На нём плащ и шлем с накомарником; точнее это не накомарник, а проволочная сетка, чтобы голова не отрубалась, когда по шее бьют мечом. Внизу у постамента стоят менее известные, но тоже интересные личности: Св. Людмила, Св. Анежка, Св. Войтех и Св. Прокоп. Автором памятника был Йозеф Мысльбек, о котором вы ещё услышите. Моделью коня ему послужил семилетний жеребец Ардо. Кто стал моделью короля Вацлава, не знаю, наверно это собирательный образ. Вацлав великоват для площади, он рождён для каких-нибудь Воровьёвых гор; надо бы ему хоть постамент урезать. Но это моё личное впечатление, а кто-то наверно мечтает спустить Медного всадника пониже и подёргать его за хвост. Да, если бы сбывались архитектурные пожелания каждого туриста, то-то был бы винегрет!

Многие святые — реальные люди, и Св. Вацлав или Венцеслав — не исключение; это чешский король девятого века. Чехи приняли христианство от Кирилла и Мефодия, за сто лет до Руси. Самая первая чешская христианка, Людмила, вдова первого исторически достоверного правителя Богемии Борживоя, кончила плохо. Она воспитывала своего внука Венцеслава в христианской вере, а её невестке Драгомيره это не понравилось. Споры о воспитании привели к тому, что Людмила была убита. Венцеслав, или Св. Вацлав тоже плохо кончил: его убил брат Болеслав, — яблочко (Болеслав) недалеко откатилось от яблоньки (Драгомира). Вот ведь какие бывают разные дети в семье: Св. Вацлав, продолжая аналогю, оказался не яблочком, а грушей, по ошибке привитой к стволу языческой яблони.

Чехия, разумеется, древнее девятого века. Задолго до Венцеслава на территории Богемии и Моравии жили вездесущие кельты, которых потом отовсюду попёрли *младые и незнакомые племена*; в данном случае их выпнули славянские народности под предводительством гражданина по имени Чех. *Он был или не был?* (Многие задаются неразрешимым вопросом об историчности Гильгамеша, Авраама, и прочих праотцев). Я считаю, что был, а то бы зачем о нём рассказывать, но это слабый аргумент; ведь некоторые семьи, ничтоже сумняшеся, ведут свой род от Юпитера. А уж Юпитера-то точно не было, — ну, я так считаю.

У Чеха был сын Крок, и три внучки, одну из которых звали Либушей. Либушу по достоверности и силе воздействия на умы можно сравнить с королём Артуром, только что за круглым столом у неё сидели не рыцари, а рыцарши. Вариантов легенды о Либуше множество, и чем больше доблестей в ней выказывают прекрасные дамы, тем хуже поступают с ними победившие их джентльмены. Дело доходит до расчленений. В наиболее беззубом варианте Либушу под предлогом, что она дура, заставили выйти замуж за тракториста Пржемысла (Собственно, его называют оратаем, но чем он орал? Я думаю — трактором).

Потомки Либуши, Пржемыслиды, правили Богемией лет четырёхста. Самым крутым из них был Пржемысл Отакар II, который чуть было не создал европейскую империю с центром в Праге, но проиграл Габсбургам и Чехию, и собственную жизнь. С ним закатилось солнце Пржемыслидов, и дальше уже пошли странности и неурядицы. Мне нравится средневековая Чехия Пржемыслидов, она была централизованным государством, когда Франция, Италия, Германия всё ещё пребывали в феодальном раздразе. Как жаль, что

за прекрасным началом последовало столько тяжёлых испытаний. Грустно думать о несостоявшихся славянских государствах — Чехии, Польше... Даже Македония, чёрт возьми, — как она опростилась со времён Александра!

Вацлавская площадь — это скорее бульвар, широкий, как Елисейские поля. Вдоль площади выстроились отели и магазины матёрого югендштиля: отель Меран, отель Европа... Они превращены в отели из жилых домов. И тут же трамвай, а вокруг него идёт *стройка пятилетки*, всё перекопано, торчат временные заборы и сараи. Толпа валит густым потоком. С фургончиков продают сосиски и сардельки. Продавщицы перекликаются на смеси чешского и русского: мои соотечественники во всех странах мира с готовностью переходят на пиджин-рашен. Мы конечно *страна огромная*, и нас поболее, чем чехов или поляков, но попав во враждебное заграничное окружение, оказавшись в меньшинстве, мы хоть и сохраняем здоровое презрение к туземцам с их гамбургерами, но в то же время не стремимся поддерживать чистоту *великого и могучего*; в него тут же заползают и осваиваются “поймать фан”, “отенжоить”, “джанка”, “джуйка”. Впрочем, чем “зарезервировать” лучше “забукать”? Будем считать, что у русских особая умственная гибкость и культурная восприимчивость. С лотков продают быстро, весело, норовя обжулить, взять с тебя не только плату, но и сдачу. Боязно потравины, и трдло выглядит безопаснее — “Лучшее в мире, чикагское!” Правда. Трудно сыскать такое прекрасное трдло в чикагских трдельниках.

Если выйти с беспокойной Вацлавской площади и пройти вперёд, спиной к Вацлаву, попадёшь на Пржикоп — ещё одну роскошную улицу. Здесь можно покушать пирожных, купить дорогие французские кремы в магазине “Марионо”, полюбоваться витринами, на которых меня больше всего влекут изящные построения из стекла и ювелирных изделий. В этот волшебный момент времени, застывший в памяти изящной стеклянной каплей, витринные чудеса мне вполне доступны, ведь я брожу по Праге ещё до катастрофического перехода в евросоюз, который разорит множество стеклянных заводиков. Ох уж эти мне объединения, и с самыми хорошими намерениями! Даже если вам по пути, не спешите объединять денежки в одном кошельке, потому что *у всякого свой вкус*, кто-нибудь непременно купит себе *свиной хрящик*, и на *арбуз* уже не останется.

Красоту пражских уличных выставок я предвосхищала: у нас дома кое-что появилось после папиных поездок. Мы удивляли го-

стей чешскими “наполеонками” — стопочками для коньяка, круглой формы, чтобы удобнее было согреть их рукой; обычно ведь пили из аптечных мензурок. Папа привёз мне (мне? может быть маме, но досталось мне...) гранатовый кулон. Держа его на ладони, я вспоминаю папу, но чаще, замороженная вспышками тёмных огней, бездумно всматриваюсь в изящный овал, сложенный из крошечных полированных камушков.

Хрусталь — тяжёлый, гранёный, — начали изготавливать в Богемии с конца 15 века. Прекрасные пражские витрины наполнены многоцветными резными вазами, рюмками, бокалами и литыми фигурками. Это модуляции модерна, Югендштиль, познавший современность... Если венецианские скульптурки полны реализма, чешские жизнь не имитируют. С тягучестью и плавностью карамели прозрачные струи неземных оттенков скручиваются: в кошку? В танцовщицу? В цветок? Это стеклянный тест Роршаха, в котором каждый видит то, что ему приятно. О нецветном чешском хрустале с глубокими резными гранями и говорить не стоит; все его помнят. Он был предметом вождения поколений советских домохозяек. *Зизи, души моей кристалл...* Те, кто стекло читает ниже минералов, думают неправо, это мы знаем со школьной скамьи; природные и рукотворные кристаллы равноценны. Всё, что способно искриться, отбрасывая яркие лучи, притягивает таящей в нём жизнью света; потому издавна любят люди и стекло, и драгоценные камни.

Гранаты вызывают у меня особую жадность. Они подсвечены внутренним огнем, как зёрнышко граната косточкой. Если что и способно оттянуть меня за уши от витрины с богемским стеклом, так это натуральные горные гранаты, оправленные в серебро и золото: и на тонкий вкус, и на толстый. В серебре голос граната звучит глуховато и двойственно, одновременно старинной ценностью и современной бижутерией. В прошлом гранаты без стеснения оправляли в золото. Со времён незапамятной древности Европа украшала гранатами, богемскими и португальскими, рукояти мечей, короны, ожерелья, ларцы. Гранаты, как написал в 16 веке Камиллус Леонардус (“Спекулум лапидум” или “Зерцало минералов”) разгоняют тоску, веселят душу, лечат бессонницу, предохраняют от чумы и привлекают богатство, славу, честь и мудрость. В России, где про богемские гранаты и слыхом не слыхивали, мама нашла где-то и подарила мне на счастье гранатовое ожерелье. Мама, ты меня так любила! За что? Может быть и вправду из-за твоих гранатов жизнь была... нет, не счастливой, а подошла мне, как руке — перчатка?

Надеть драгоценности и отправиться в оперу! Тут недалеко Ставовске Диваadlo. В этом театре пошёл когда-то (мировая премьера!) “Дон Джованни”, и с тех пор всё так идёт и идёт. У театра на постаменте сидит таинственная бронзовая тень, пустой плащ по форме человеческой фигуры. Это Командор: памятник первому исполнению оперы Моцарта. Оперы и книжки стоят памятников, не в пример историческим деятелям, потому что у последних за плечами немало кровавых преступлений. К сожалению, деятели реальны, а оперы и книги призрачны, как этот плащ, в котором нет Командора.

В конце Пржикопы я вижу здание-модерн, Народный дом, который светится огромными окнами и круглыми, как глобусы, фонарями. Множество людей выходит из него через великолепные двери, наверно с концерта. Какие чудные завитушки украшают и парадный подъезд, и стены, и оконные рамы: радуйся, светик, не стыдись! В стиле модерн воплощены все наши мечты о роскошной жизни, и ещё кое о чём; в нём свежий и влажный воздух болота приправлен терпким ароматом болиголова.

За Пржикопом кончается Новое Место и начинается Старое. Войдём в него через Пороховую башню возле Народного дома. Если в Новом месте улицы струились широкими спрямлёнными реками, улочки, стекающие с Пржикопы в Старое место, извиваются, как ручейки. Когда-то мой папа истоптал каблуки об их мостовые. Можно представить, что он рядом. Эта безвредная игра ничего не изменит, но заглушит мою грусть. Смеркается, и фасады толком не рассмотреть. Здесь тоже полно сувенирных магазинов, но более дешёвых, продавцы в них частенько русские, да и покупатели тоже. А вот магазин, где нет покупателей, а продавец в глубине отбивает поклоны, поручив охрану товара Аллаху. В магазине напротив отборно одетая дама, распознав свою, манит пальчиком, обещая чудовищные скидки. К стеклу, гранатам прибавляются шали, эстампы Праги, календари и марионетки (лутки). Некоторые лутки противны, с кривыми рожами, но вот удивительно добрая ведьма. Вот жизнерадостный алкаш с голым пузом, нестандартный Пиноккио, спортивно одетые грибы. В витринке застыли три деревянные фигурки, готовые подражаться всего за один евро. Папа, мама и дети засовывают монетку в щель, но ничего не происходит. Я восстанавливаю справедливость, хлопнув кулаком по раме.

Сквозь открытые двери слышится музыка, и видно, как на полу умело пляшут маленькие человечки, наспех составленные из деревянных цилиндриков. Покупатели, и сам продавец, от руки которого

к танцору тянутся тоненькие ниточки, смотрят на него с интересом, как на отдельное ожившее существо. В японском театре марионеток кукловоды одеты в чёрное, движутся на чёрном фоне, чтобы отвлечь внимание, но зачем? Как только кукла оживает, нам наплевать на верёвочки. Мы верим куклам, а не кукловодам. У чешских марионеток долгая история. В Праге есть несколько кукольных театров. Сегодня, и завтра, и всегда, если верить афише, пойдёт марионеточный “Дон Жуан”, специально для туристов, которые от безделья и обилия впечатлений с готовностью впадают в детство.

Октябрьски темнеет, и когда я добираюсь до Староместской площади, разглядеть можно только контуры зданий. Над нами нависает собор Марии у Тына, чернеет его крыша, похожая на старинные немецкие замки с конфетных коробок. Кажется, что ты в ультра-Германии, из книжки братьев Гримм. Думаешь, что даже Мюнхен Праге в подмётки не годится, он недостаточно немецкий, не дотянул до уровня картинок к Гриммам и Гауфу. Все собрались вокруг часов у ратуши — ничего уже не видно, только циферблат золотится. Под золотыми часами стоит, весь в чёрном, легион Красса — гоплиты в шлемах с забралами, с квадратными щитами и дубинками. Великолепны! В чешский ОМОН подбирают по размеру.

Я иду дальше. Совсем стемнело. Старое Место кончилось. С готического пьедестала на меня смотрит ещё один король, поменьше Вацлава. Он хорошо просматривается на фоне огромной бутылки пива Пильзнер. За королём я вижу башню, в проёме которой виднеется какая-то дорога, обрамлённая статуями. Или может быть это мост. “Хватит гулять”, — укоряет меня то ли король, то ли Пильзнер, — “Пора выпить пива!” Но я всё-таки огибаю башню и выхожу на простор, к широкой тёмной реке. В небе, вдалеке, высвечивается красно-жёлтым золотом замок. Я смотрю на длинный мост, вытканый огнём по ночи, на золотые разводы в чёрной воде. Нет, не одолеть мне сегодня Влтавы, слишком уж я устала. Пора вернуться в моё гнездышко.

И я иду обратно, к трамвайчику, по кривым улицам Старого Места. Чёрная Прага папиных фотографий наливается охрой огней. Чехи спят, но в Старом Месте пенится поток туристов, прыгает с булыжника на булыжник, бьётся о стены ущелий, освещённых жёлтыми лампами и витринами, и у каждой капли воды свои желания; кому-то хочется праздника, хочется остановить мгновение, отдалить прощание с ещё одним днём, а кто-то говорит девушке: “Давай поспим хоть сегодня, а то мы умрём”.

Крал Карел

Новый день... Я спешу на Староместскую площадь. Спешу в относительном смысле, не отрываясь от стула. Мои мысли и воля расфокусированы. Внутренние часы уже согласились с местным временем, я выспалась, но внутри ворочается чувство рани, знакомое с детства, напоминающее о зимней темноте Петербурга, радиопесне “У-у, у-у, утро школьное, здравствуй!”, морозном хрусте тротуара, зелёных партах с застарелым запахом знаний, споре электричества с жёлто-розовым рассветом. Как тогда мне не хотелось в школу, так теперь не хочется на улицу, но мы — рабы обстоятельств. Надо.

Я иду по скользким булыжникам старой пёстрой Праги. Магазины ещё не открыты, и на улицах нет толкотни.

От Средних веков в Старом Месте остались две башни, Пороховая на Пржихопе, рядом с Народным домом, и Надвратная у Карлова моста. Впрочем, средневековое средневековье с них осыпалось под бременем времени, и было воспроизведено в девятнадцатом веке, серьёзно и с полной ответственностью. Крыши на них обычны для Чехии, но непривычны русскому человеку — слишком высокие тульи у этих шляп. Массивные башни из тёмного каменного бруса кажутся монолитами. К тяжёлому камню приникли, как травинки, накладные узоры: колонки, карнизы. Башни усеяны статуями, толстыми, тяжёлыми, как короли Филонова; посверкивают золотые булавки их мечей и посохов.

Остальное, кроме башен, — торт. Наверно, торт “Прага”. В Петербурге я всё время слышала: “«Прага», «Прага». А вы едали торт «Прага»?” Нет, не попадался. И вот попался, неаккуратно разрезанный улицами на куски, и я смотрю снизу на кремовые завитушки и разноцветные бисквиты. Трудно понять, сколько лет этим прелестным пирожным — старые лепят на себя новые украшения, а новые заимствуют старые идеи. Выпекали их кто во что горазд, и в разные времена, прослаивали то масляным кремом, то заварным, а то и вообще вишнёвым вареньем, присыпали сахарной пудрой, на стенах наводили помадкой лепнину, полную то югендштильной загадочности, то готической суровости, то барочной прихотливости, то кубистической прямизны. Фасад может быть совсем прост, но отмечен броским элементом, к которому сходятся лучи внимания: лепные животные и птицы, росписи, почти смытые временем, черноликая мадонна в свинцовой клетке, низкий, (совсем “ба”) рельеф, расползающийся лишайником по фасаду.

Кто сделал этот торт? Многие, но бисквиты выпек король Карл (1316–1378), который вчера так добродушно кивнул мне с готического постамента. Настоящее его имя было Вацлав. Ничего удивительного: у королей имена часто имеют мало отношения к тому, как их зовут. Карл был не просто богемский король, но и император Священной Римской империи. Ставши императором, Карл остался холоден к Италии, несмотря на призывы Петрарки и Кола де Риенцо. Столицу империи он перенёс в Прагу, которая для него была, как Петербург для петербуржца — единственная и неповторимая, город любимой мамы. Прага при Карле стала городом с огромным населением. Конечно по тогдашним меркам; сейчас бы они все уместились в одном районе Москвы, но это не в укор прошлому, наоборот, стыдно, что мы с тех пор так безобразно и бесконтрольно размножились. В Праге добрый король, “крал”, Карел организовал университет, возвёл кафедральный собор, перестроил два королевских замка, основал бенедиктинский монастырь *с изучением ряда предметов на церковнославянском*; да что монастырь — он основал новый город, Новое место, прилепив его к Старому. Крал Карел сделал для Богемии так много, что просто диву даёшься. Не смог он только навязать пражским баронам письменный юридический кодекс, хотя пытался — те предпочли законодательствовать орально и допрашивать свидетелей калёным железом.

Интересуетесь анкетными данными Карла? Естественно. Каждому подай анкету. Мне самой приходилось много их заполнять и отвечать на разнообразные вопросы, например, состояла ли я в Белой армии. По просьбе первого и третьего отдела я прикладывала к этой бодяге список немецких лагерей, в которых отсидел мой отец, подвергаясь буржуазной агитации. В пятом пункте я писала “русская”, а в шестом (том самом, по которому папа не прошёл в Электротехнический институт) — “из служащих”... Карл тоже был из служащих, родители у него были короли.

Мать он очень любил. Краловна Элишка (Елизавета), была не просто женой короля, а настоящей средневековой королевой, внучкой могущественного Отакара II, последней в роде Пржемыслидов. А папу своего, Жана Люксембургского, Карел не любил. Папа у него был странный, личность на троне случайная, выбранная в короли с отчаяния, после долгого периода гнусной неразберихи. Я считаю, что это была бредовая идея. Жан “с Лучембурка” даже и не понимал, что ему досталось королевство, и можно *таки себе перестать шить*. В Чехии он бывал мало, болтался в Италии, перехватывая на бутылку то в Лукке, то в Пизе, предлагая “крышу” североитальян-

ским городам, а если те не соглашались, воевал с ними. Впрочем, в эпоху Жанов с Лучембурка бытовала такая интересная концепция: живём ради славы и грабежа, а подлые людишки созданы, чтобы пополнять нашу кассу.

Элишке навесили нищего люксембургского Жана, как корове седло, как щуке брюки, как Либуше Пржемысла, и этот брак её совсем не вдохновлял. А она при Жане как гвоздь в диване, вокруг неё скапливались патриоты, которым не хотелось превращать Чехию в кошелёк для ненасытного кондотьера. Обстановка накалилась; Жан захватил замок, где жила Элишка с наследником, посадил трёхлетнего сына в застенки, а королеву сослал. В конце-концов ей удалось убежать в Баварию, там она и умерла от чахотки. Фактик этот меня царапнул: ведь туберкулёз — болезнь нищих и голодных. Мой прадедушка, сбежавший в Петроград, лишившись, как Элишка, имения, умер от чахотки потому, что есть было нечего. И Элишке, что ли, есть было нечего? Многие считают, что прошлое — чужая страна, и там всё по-другому, но как ни обернусь, видно, что делают по-нашему.

А что Вацлав, маленький мальчишка, которому папа сгоряча припаял срок? Вацлав и Элишка так больше и не увиделись; и он даже и не знал о судьбе матери, пока не вернулся в Прагу. Вскоре Вацлав был отправлен во Францию, воспитывался при французском дворе Карла IV и Филиппа VI, (наставником его был Пьер де Розье, будущий папа Климент VI), потерял чешское имя, приобрёл французское. Жан забрал к себе сына из Франции, вроде как перевоспитанного, и пытался приохотить к рэкету, но сын вышел не в отца. Пограбил, пограбил, а потом взял, да и уехал в Чехию, никого не спросясь.

Думаете, Карлу было просто? Так вот, не думайте. Прочтите, как трогательно описывает Карл свой приезд в Чехию: *“Узнали мы, что несколько лет назад наша мать умерла. Потому, приехав в Богемию, мы не нашли ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, и никого нам знакомого. Мы также совсем забыли чешский, но позже мы его снова выучили, так что и говорили и понимали его, как всякий чех. Милостью Господней мы могли говорить, читать и писать не только на чешском, но и на французском, итальянском, немецком и латыни, так, что владели в равной мере всеми этими языками”*. Милостью господней Мы оказались способны править и властвовать собою и людьми. Иначе в какой бы мелкий порошок стёрли Нас чешские бароны!

Карл оказался замечательным дипломатом, все чешские баро-

ны встали на его сторону. А было ему только семнадцать лет. Вот так, дорогой читатель, а ты — *что успел ты сделать за свои семнадцать лет?* И не отговаривайся, что ты тогда пешком под стол ходил. Духовное созревание может и должно опережать физическое. Вот у композитора Брамса борода выросла очень поздно, когда он уже насочинял большинство своих произведений. Но чу! Я неожиданно вляпалась в анекдот о сержанте, который наставляет молодого солдата. Задний ход.

Узнав об успехах сына в Чехии, Жан весь побелел и перекоксился, вознегодовал, собака, на сене, но потом взял деньгами, как ему привычно. Нет, *Аркадий, не говори красиво!* Лучше некрасиво, но достоверно: Карл выкупил у отца корону Богемии. Деньги папаше впрок не пошли. Вскоре Жан погиб в таком месте, где не ожидаешь встретить чешского короля — в битве под Креси. Ещё “страньше” то, что Жан в это время уже ослеп. Я знаю, что на поле битвы его завезли боевые товарищи. Но с кем рубился слепой рыцарь? Он что, тыкал мечом наудачу? В чём тут идея? Чумовой он какой-то — что ни сделает, всё глупость. Но может быть и не стоит с кондачка осуждать людей, у которых выбора в жизни в сто раз было меньше нашего. На короля с рождения возложено множество ожиданий. Новобранца не спрашивали, просто призывали. Жан вляпался в свою судьбу, не имея способностей; лоб расшиб, когда заставили Богу молиться. А Карлу повезло — обречённый на царство, он родился умным, сумел обратить неизбежность на пользу себе и другим.

Теперь, когда я столько времени потратила на Карла, я просто обязана дать ему моральную оценку. В особой аморалке Карл не замечен. Конечно, в молодости он был не промах и носил короткий кафтан, смущавший современников, как в моё время мини-юбки (“Видно, откуда ноги растут!”). Но однажды Карлу привиделось, что ангел отрывает грешному рыцарю член (хотела бы я знать, откуда эдакое лезет в голову?). Карл утрашился, удлинил кафтан и повёл здоровый образ жизни. Да, и ещё любил ножичком вырезать! Но при чём всё это? Разве на таких весах взвешивают правителей? А на каких тогда, и где для них покупают гири? Критерии добра и зла меняются местами иногда даже при жизни одного поколения. Александр Македонский и Гитлер занимались одним и тем же, но *Александр Македонский герой*, а Гитлер мерзавец. Почему? Изменилась точка зрения. Во времена Александра Македонского ценились войны и захваты — славно, если этим накоптылял и тем; пограбили, сложили пира-

миды из черепов, славно оттянулись и внедрили эллинизм. В наше время ценится “наоборот”, обществоведов занимают вопросы: как там с инфляцией, как с рабочими местами, как с трудовыми лагерями?

Современники считали, что век короля Карла был золотой: мир между народностями, массовое строительство, *плодились порося, водились караси, и в общем было чего выпить-закусить*. Но ведь всегда смотрят сквозь призму того, что потом (в случае Карла “потом” шибко нехорошо, гуситские войны и полное разорение). Почему у нас любят Сталина? Есть такая гипотеза — русский народ любит палку. Нет, скорее всего, тут обида на девяностые, тоска по золотому веку и неверие в официальную (печатную — буквами на бумаге) историю.

Факты таковы: Крал Карел предпочитал войне дипломатию, и людей, в отличие от Петра Первого, не морил, наоборот, придумывал работы для их прокорма, прямо как президент Рузвельт. Во время Великой Средневековой Депрессии Карл поручил бедноте построить огромную и толстую стену вокруг Нового Места. Когда стену замкнули, Карл сначала заказал рабочим, оставшимся без работы, новую стену вокруг холма Петржин, где теперь находится большой парк, а потом, для того, чтобы их занять, разбил виноградники: пускай окучивают и заодно питаются.

С одной стороны Карл симпатяга. С другой стороны Карл был типичным оппортунистом в марксистски-пежоративном смысле этого слова. На совести Карла есть нехорошие штучки, про которые мне даже не хочется рассказывать. Впрочем, ничего особенного, в духе времени. Есть оправдания. Жизнь средневекового властителя очень трудна — восстания, интриги. Ну ладно, шею, свёрнутую бандитской стрелой, отнесём к профзаболеваниям; первую свою победу Карл одержал над мантуанцами в семнадцать лет, благородно приписав её Святой Екатерине. Но ведь его и травили! В наше время мало кого травят, ну разве только иногда, и не всех, в университетской столовой, а Карла — сплошь и рядом, и нарочно, и по ошибке. В бытность его в Италии Карлу подсыпал яду миланский герцог, и спасло его только то, что он ничего не съел перед причастием. Представьте, номер — возвращается с мессы и видит гору трупов в столовой! Потом жена подала ему приворотное зелье, надеясь, что вместо тумаков будут поцелуи, и у него началось неврологическое заболевание. Тут хватит на трёх Литвиненко. В общем, что я могу сказать по поводу Карла? Понимаете, наша жизнь полна всяких таких, и мы, это самое...

Прага, современная Карлу, если и была торгом, так таким, как в американской кондитерской: издали вроде монолит, а присмотришься и видишь, что составлен из кусков, аккуратно обёрнутых в прозрачную обёртку. Кусками, обёрнутыми в крепостные стены, были Градчаны, Малая Страна, Старое Место, Новое Место. Ничего странного. Был же у нас когда-то Урицк, который теперь влился в широкое русло Петербурга; и к Шушарам уже подбираются. Городки стояли плечом к плечу, но не желали объединяться. И когда Карл разрушил некоторые стены (“Зачем они? Что за глупость?”), их пришлось восстанавливать; население было не готово к идее пролетарского интернационализма. В каждом гетто был свой национальный состав: в Старом месте много немцев, а в Новом месте всё больше чехи. Да и вся Богемия была слоёная, слева направо и сверху до низу. Чешские немцы были купцами и ремесленниками, а чешские чехи или городской мелкотой, или землевладельцами.

Историки назойливо подчёркивают, что в эти времена о национальности можно говорить только условно. Что они понимают под этим понятием, можно понять только условно. Разумеется, никто тогда не мыслил в терминах Великой Германии или Чехии. Феодалы по своей феодальной привычке искали личной преданности, художники и другие ремесленники кочевали по всей Европе в поисках покровителя, солдаты нанимались к кому попало, и в короли могли пригласить издалёка, если своя династия повывелась. Но чехами и немцами жители себя называли, и относились друг к другу скверно. Непременно присутствовала нелюбовь к иному языку, и доказательство принадлежности велось “от противного”. Объединение “от противного” ведёт к противному. Немцы презирали чехов, а те — немцев; когда живёшь плохо, кажется, что у тебя кто-то что-то отнял, и иногда кажется не беспричинно.

Есть много стран, в которых существуют незримые национальные преграды, и на основе самовоспроизводящихся исторических ситуаций можно предсказать — это взрывчатка. Приготавливается взрывчатка по-разному: тут пришли викинги и всё опоштили, там нахлынула волна беженцев. . . А в Чехии немцы заселялись по приглашению. Немецких ремесленников и купцов издавна заманивали в Чехию чешские короли, которым хотелось провести ускоренную индустриализацию. Понятное дело! Быстрее завезти, чем развести. Так же поступала и советская власть. Нет-нет, я сейчас не про то, как мы любезно обеспечили немецким колонистам переезд с Волги в Казахстан, я про русских кадровых рабочих, которых завозили в Среднюю Азию в комплекте с заводами, потому что местным жи-

телям не до фрезеровки. Да и не только в Азию ввозили, но и в Прибалтику. Кое-чего при этом недопереучли, и в воздухе топором висели плохие предчувствия. Я помню слова русской женщины из Таджикистана: “Мы взяли участок и посадили абрикосы, хотя понятно, что рано или поздно таджики нас выгонят”, — сказанные примерно за полгода до событий в Душанбе.

Я вышла на Староместскую площадь, прямо к ратуше, протиснувшись в узенькую улочку Мелантрихова, почти щель. Ратуша оказалась примитивна, как баня в рабочем квартале у проспекта Стачек, но от белёной стены с нудными квадратными окнами отвлекли потрясающая красная дверь с свинцовыми накладками и витиеватый наличник с гербами. Это только один из её фасадов: ратуша, как древесный гриб, состоит из множества наплывов — к ней присовокупляли век за веком всё новые дома.

Староместская площадь имеет форму то ли Италии, то ли сапога с большим просторным голенищем, в которое попадаешь, обогнув ратушу. Солнце светит уже вовсю, и люди на площади радостные и светлые, и Мария у Тына теперь не чёрная, а светло-коричневая. Её треугольный тёмный фронтон пристёгнут к фасаду золотой пуговкой (барельеф Мадонны в золотых лучах), а из-за него вытарчивает весёлая семейка: башни и башенки, опята с восьмигранными шляпками, а над опятами, как планеты, плывут золотые шарики.

Обойдя площадь по периметру, ну, допустим, против часовой стрелки, найдёшь все *цвета пражского времени*. С южной стороны (что север и юг тем, кто не был в Праге?... но надо как-то обозначить четыре стороны площади), — так вот, с южной стороны, там, где в неё вливается Мелантрихова, дома старинные. Спроси меня, сказала бы: “петровского барокко” (вот такие же точно лопатки-полуколонны выступают из фасадов дворца Петра Третьего и здания Двенадцати коллегий), — но нет, говорят, готика. А если ещё раз, через плечо, прищурившись? Господа, товарищи, (как там теперь называть россиян?) — да это же пельмешки: внутри готика, а снаружи обёрнуты барочным фасадом!

Дома здесь в четыре этажа с чердаком, по моим расчётам шириной не более восьми метров: узки, хотя до узости полноценного готства им ещё далеко. Фасады простенькие, но украшены запоминующейся мелочёвкой. На одном здании барельеф — баран. При баране один рог и *адын дэвушка*, видимо это чешский вариант единорога, полезный — можно шерсти настричь, а девушка спрядёт.

В доме “У каменного барана” был когда-то литературный салон, в который наведывался Кафка.

На востоке площади, там, где из-за домов торчит Мария у Тына, за ней по той же стороне стоит дворец Кински, построенный архитектором Килианом Игнацем Дитценхофером: рококо с надоконными картушами красной лепки. Нет, я не знаю, происходит ли Настасья Кински из этой семьи, и сейчас не об этом. Но если всё же щеголять знакомствами, так во дворце Кински была когда-то лавка отца Кафки.

За дворцом Кински мы упираемся в северную сторону площади и видим здание стиля модерн, которое я сдуру приняла за барокко. Чем не барокко? Красивое, жёлтое. Только вот роспись на фронте какая-то аграрно-героическая. За ним на углу стоит барочный собор Святого Николая, бывший православный, ныне католический. Зачем он из бывших? Затем, что православные прихожане с прибытием Советской армии отбыли в места “не столь отдалённые”? Кто его знает. Собор тоже построен Дитценхофером. Его можно осмотреть во время ежевечерних концертов.

На востоке площади напротив марианских опять вырос одинокий маслёнок: ратушная часовая башня. Из башни выпирает замечательный эркер, по виду абсолютно готический, с вытянутыми в колонну статуями святых. Он покрыт золочёными гербами, как дворца холодильника магнитами. (Кто-то ходит по этой площади и думает: “А вот там мой герб приклёпан! Приятно...”) Внизу на башне мемориальная доска. Рядом здание, выкрашенное в барочно-розовый цвет, с окном в сложном переплёте с узорами, с рамой хорошего дерева, и там тоже мемориальная доска, прямо в окне: вделана в оконную решётку. В брусчатке белыми камушками выложены двадцать семь крестов в память о казни чешских баронов и членов магистрата после поражения Богемии при Белой Горе в 1621 году.

Титаническая часовая башня — главное украшение ратуши, а главное украшение башни — часы со множеством циферблатов, а под ними календарь со множеством картинок и надписей. На мостовой выложен пластинами тёмного мрамора круг в размер башенных циферблатов — как будто их отражение в луже.

На верхних часах синий земной шар окружён оранжевым ореолом солнечного диска, а вокруг бледно-голубое небо, поделённое золотыми линиями на секторы. Жан-Жак Руссо жаловался, что никак не мог научить любимую девушку узнавать время по башенным часам. Если часы, по которым он её обучал, были подобны пражским, ничего странного. Приглядевшись попристальнее... всё равно

ни фи́га не поймёшь, поэтому приведу объяснение из путеводителя. Один циферблат показывает старо-богемское время, где сутки делятся на 24 часа, с восхода до заката (ночью времени нет). Разумеется, зимой и летом у единиц времени разная длина. На втором римскими цифрами указано привычное время (но тоже с хитрецей, два раза повторено с одного до двенадцати), а на третьем зачем-то ещё вавилонское время с делением дня на 12 часов неравной длины. (Кому в Средневековой Праге нужно было вавилонское время, кроме пражских блудниц, не знаю, думаю — никому, и сделали потому, что деньги были). Когда остриё стрелки ползёт по циферблатам, солнце, прикреплённое к тельцу стрелки, перемещается по собственной орбите мимо зодиакальных созвездий ещё одного, четвёртого циферблата. Очень интересно. Жаль, что в другом путеводителе другое объяснение, а в третьем третье. Я, как девушка Руссо, всё рано ничего не понимаю. Плюнуть, забыть и залюбоваться!

Часы и календарь вставлены в чёрные рамы со множеством узоров и фигурок. Внизу, под календарным кругом, на раме спят, не снявши шапок, два каких-то средневековых мастеровых, и не удивительно — рабочий день тогда был долог и утомителен. Вокруг рам стоят ещё более искусно сделанные и раскрашенные фигурки, в том числе петух, скелет и турок. Кто петух, не спрашивайте, я ещё в Мюнхене запнулась над этим вопросом. Турок был символом сластолюбия (Вот и Достоевский говорил, что они, гады, любят сладкое). Там и ещё какие-то стоят ребята, и такие натуральные и яркие, что хочется стащить их со стены и поиграть ими в куклы. Выше циферблатов находятся фигурки апостолов. На чудо-часах каждый час разыгрывается кукольное представление. Скелет оживает, дёргает за верёвку и переворачивает песочные часы, приходят в движение апостолы, после них поёт петух, и бьют куранты. Мюнхенский Глокеншпиль по сравнению со Староместскими часами — мальчишка!

Часы сделаны в 1490 году, после чего мастера ослепили, утопили и уморили с голоду: так гласит красивая легенда. Правильно утопили, нечего умничать. Для этих часов Ян Шиндель придумал зубчатую передачу, позволяющую часам отбивать от одного до двадцати четырёх ударов в зависимости от времени суток. Передача основана на арифметической прогрессии, названной в честь изобретателя: 1234 32 (=5) 123 (=6) 43 (=7) 2123 (=8) 432(=9) 1234 (=10) 32123 (=11) 43212 (=12)...). Сделать уникальные часы, способные показывать правильное время столетиями, придумать новую арифметическую прогрессию, выточить детали вручную... Вокруг меня

ходит множество рабочих и крестьян, — учёных, в конце концов, — но такого человека я не встречала. Пристрастие к сложным и не очень нужным циферблатом не растрачено в веках: на дорогих мужских часах указано время всех главных городов мира, месяц, число, и даже год, — для тех, кто забыл, *какое, милые, у нас тысячелетье на дворе*. Но между этими и теми — пропасть. Дело не в сложности — наручные, сделанные автоматом, тоже сложны. Дело в том, что пражские — с нуля. Пик изобретательности, понятный только при сравнении с его собственным временем, с *плечами* тех, а не современных *гигантов*. Мало кто об этом задумывается, рассматривая малопонятные голубые с золотом круги.

Площади вечно старые и вечно новые: дома на них одни и те же, но люди сменяются. И Кафки, и друзей его на Староместской уже не встретишь — давно умерли, и вчера на ней гопплиты дрались с фашистами, как я узнала из новостей. А откуда взялись фашисты? Откуда фашисты в Чехии, стране, растоптанной немцами, и потом в свою очередь прогнавшей собственных немцев вон, в Германию? Оттуда же, откуда они в России. Разорвана связь поколений. Дедушку никто не слушает, а папе и маме всё обрыдло. Дети знают, что такое фашизм, исключительно из фильмов, — в кино всё нереально (ну, как бы, вполне такие себе терминаторы и зомби). К моему другу как-то пришёл фашист: по объявлению. Ну, если подробнее, мой приятель дал объявление, мол, продаётся компьютер, и фашист заинтересовался. Фашист оказался тихим и вежливым пареньком. Один фашист — это одна буква, особого смысла в ней нет, а вот когда их много, буквы складываются в предложение “Бей... спасай...”, — подставьте, что вам больше по душе. Ну вот например как вам “контрреволюционные элементы” и “советская власть”? Разрешаю в любой последовательности.

Кнедлики и Карлштейн

На Староместской я ждала экскурсии в замок Карла Карлштейн. Экскурсии — не самое лучшее решение, это ведь обезвоженный комбикорм. Я предпочитаю сама себе готовить маршруты, обжаривая их в сахарной смеси с солью и перцем. А тут вот сдрейфила; всё мне кажется, что Чехия вроде России — среда неподконтрольная, в которой барахтаться в одиночку опасно. И сегодня я ем пражский комбикорм.

Комбикорм сухой и неудобный. Пребывание моё на площади затянулась. Я всё время подходила к экскурсионной будке — неужели

меня забыли? Работники турбюро меня утешали-утешали, а потом всё-таки признались, что автобус стоит в совсем другом месте и за мной заезжать не собирается. Поэтому меня повёл к автобусу молодой человек с длинными ногами. А у меня ноги короткие, и я стала отставать. Ему на это наплевать, его задача — дойти до автобуса. Пришлось завывать, и он не то чтобы сбавил темп, но стал иногда оборачиваться. Мы шли минут десять, пока не увидели наш автобус. Я бы его сама не заметила, он был плюгавый, такие в Петербурге зовут газелями, из тех, где коленями упираешься в подбородок, подбородком в сидение, сидением в водителя и т. п. Но зато нас было мало: молоденькая девушка-экскурсовод, водитель и два туриста.

Водителя звали Далибор, как известного средневекового рыцаря, в честь которого названа башня в местном Кремле. Рыцарь Далибор замечательно играл на скрипке, и за это благодарные слушатели носили ему еду. (По другим источникам, Далибор не играл на скрипке, а скрипел зубами, когда ему ломали кости). Шофёр Далибор с интересом разговаривал о пиве, к сожалению, на чешском, так что теперь у меня даже о пиве превратное представление. Из-за языкового барьера мне не удалось расспросить, умеет ли наш Далибор играть на скрипке или скрипеть зубами.

Компаньонами моими были разговорчивый итальянец, похожий на Жана Габена, и его греческая жена. Жена молчала (плохо знает английский? Привыкла, что за внешнюю политику отвечает муж?). Итальянцу хотелось говорить о кнедликах: правда ли, что они как итальянские ньюки? Мои попытки перевести разговор на что-нибудь другое он рассматривал враждебно.

Я не обиделась. То, что меня исключили из разговора, меня устроило. Что в экскурсиях приятно нормальному человеку и неприятно ненормальному — это встречи со случайными попутчиками и ощущение, что ты обязана общаться. Обязана? Не обязана, но засядешь буквой, и решат, что ты враг человечества, и тогда не поздороваются. Хотя, конечно, накажут не на экскурсии — это я перегибаю палку. Это я, обжегшись на молоке, дую на воду. В детстве мои ровесники отторгали меня целиком и полностью, и я стала очень осторожна. За что меня отвергали, я не знаю — за что дразнят рыжих? — но я не адекватна ожиданиям общества и с трудом вписываюсь в повороты общения. Мне не хочется быть неприятной — это нехорошо для всех, не только для меня. Когда я в компании, я работаю над тем, чтобы к ней подключиться и устаю от усилий. Поэтому я в собеседники не напрашиваюсь.

Я выполнила свой долг перед экскурсантами, доказала парой фраз, что социальна не опасна, и теперь взятки гладки, можно было расслабиться и смотреть в окно. Тем более, что мы проехали по Смихову, предместью Праги, посещение которого обычно не предусматривается, поскольку на нём ни крал Карел, ни другие исторические личности отпечатка не оставили. Зато на Смихове лежит клеймо рабочего района. Да, нашим бы рабочим такие добротные дома: в каждом я хоть сейчас готова поселиться вместе с фикусом и любимым фортепиано “Красный Октябрь”. Архитектурно Смихов бесцветен, как Московский район города Санкт-Петербурга, где я выросла. Впрочем, в Московском районе я *находила вкус*, мне нравились гигантские статуи колхозниц и лоджии величиной с классную комнату. И у нас там были отдельные квартиры и сортиры.

Вскоре начались горы. Автобус остановился у подножия скалы, на которой построен замок и сам городишко. Начался приятный подъём по улочке с сувенирными лавками. Мимо нас ехали повозки, запряжённые першеронами, уши которых были забраны в колпачки. Мы шли молча. Видимо рассказывать о Чехии нечего — скучная страна. Или экскурсоводы считают свою страну скучной — иначе не объяснить их молчание. Впрочем, рассказывать о Карле человеку, которого интересует пиво и кнедлики, это садизм.

Карлштейн — это как будто двухголовая гора, составленная из Великой и Марианской (Мариинской) башен, необыкновенной толщины и высоты. Внизу к ним что-то такое пристроено незаметненькое и невысокое, окружённое стенами. Замок производит впечатление невероятной мощи. При долгом к нему подходе, как при длинном кадре с наплывом, он всё растёт и растёт в размерах и под конец почти опрокидывает зрителя. Трудно представить, что такая махина могла после смерти Карла придти в запустение и разрушиться, но это произошло. Ради туристов замок собрали заново, камень за камнем.

Экскурсии мы ожидали в накопителе: на квадратном мощёном дворе. Если выйти с замкового двора и пройти к сторожевой башне, вокруг которой парапеты низкие, и видно далеко, можно смотреть на горы с птичьего полёта: никаких вонючих труб — только холмы и долины, покрытые курчавой крашеной шёрсткой осенних деревьев... Горная природа хорошо сочетается с каменным замком. Рядом где-то “Малая Америка” — каньон с заполненными водой карстовыми промоинами. Заехать бы ещё и туда, для созвучия впечатлений. Вот было бы чудно! Но я не сомневалась, что даже на

сам Карлштейн нам не хватает времени — так уж всегда задуманы экскурсии. Они всегда на два часа короче, чем нужно.

Я купила карту Карлштейна в замковом киоске. Карты в чешских городках продаются просто замечательные — с трёхмерными планами, рисунками зданий и объяснениями. Например, вот: Карлштейн мел служить владаржи яко сидло, ослабовать его Мажестат, а заровен в нём мелы быть уховаваны ржишске коруновачни кленоты. Ага, я недоучла, что в Чехии не всё на английском. По зрелом размышлении... это наверно означает, что Карлштейн служил владстелину резиденцией, прославлявшей Его Величество, и заодно в нём имели быть ухованы имперские коронационные короны. А может быть тут пишут про пиво. Как бы то ни было, я нарушила для вас правила, написанные крупными буквами на стене замка: “Переводить запрещается”. Чем вызван этот жестокий запрет, и почему он на русском? Это их ндравы, или наши? Норовим надрать чехов, не заплатив за русского экскурсовода?

Ждали мы не так уж и долго. Нас присоединили к большой группе и по наружной лестнице завели в замок. Сначала мы оказались во дворце. Снаружи это здание кажется частью стены замка и совершенно не заметно на фоне Великой и Марианской башен. Построил его Петер Парлер, но по указке Карла. Внутри мы увидели пустые залы. В первой нам показали портреты четырёх жен (манжелоков) Карла — он был женат последовательно: король был долгожитель, дожил до шестидесяти с хвостиком, за это время и пять манжелоков скукожатся. В Средние века, когда помереть можно было даже из-за большого зуба, брак обычно длился лет пять-семь, и многие проблемы, которые ведут к разводу, просто не успевали вызреть. Последняя манжелка Карла, Елизавета Померанская, была дюжей девушкой. Карл любил похвастаться перед гостями тем, как его шестнадцатилетняя супруга гнёт подковы и разрывает толстые пачки писем.

Потом повели нас из зала в зал, по рабочим помещениям для охранников сокровищ: везде шкафы и сундуки, или вообще пусто, — только призраки, но те боятся показаться при туристах. Залы барокко — они и безо всяких сундуков тебя обступают и начинают говорить и сверкать золотом, и шуршать бархатом, и стучать искусственным мрамором, и руками размахивать. А вот всякое такое Средневековье молчит и только атмосферу создаёт, извините за выражение. Учужал её — хорошо. А не учужал — *так-таки плохо*.

Всякие штуки вспоминаются в пустых комнатах, где не на что отвлечься. Замки, например — с ударением на первый слог. Из всех

замков, которые мне попадались, самое большое впечатление произвёл виденный в детстве Тракайский. Он тоже был выстроен заново, прекрасного красного кирпича, на острове посреди озера. Почему-то туда можно было проходить свободно, и мы там появлялись перед закатом и бродили по небольшим комнатам, совершенно пустым, но воображению тогда ничего и не нужно было — ни лютен, ни сундуков, — я вся была погружена в фантазии о крестоносцах. Попадись мне тогда Карлштейн, что бы я с ним сделала, как бы я его населила! Да, путешествовать нужно на молодую (свежую, как выразился бы Л. Н. Толстой) душу, и тогда всё покажется занимательным. Был ли этот замок чудом для папы, придумывал ли он волшебные истории, проходя по деревянным галереям и кирпичным залам, не знаю, но мог. Он тогда ещё был молод и весел. А я была мала, и меньше всего меня занимало то, что думают другие люди.

Карлштейн огромен. Я не понимаю, как можно было наворотить столько камней, и так быстро. Более того, не понимаю, как тут потом жили люди. Помогает аналогия с первобытной пещерой — ведь жили же там, жгли костры и жались друг к другу, и наводили на стены узоры охрой. Но далеко ли мы дошкандыбаем на наших аналогиях? Есть люди, которым кажется, что они прониклись прошлым и могут реконструировать жизнь кроманьонцев, Альфреда Великого и Владимира Святого. И мы им внимаем. Живя в Тракае, я два раза посмотрела польский фильм “Крестоносцы”, кончавшийся битвой при Грюнвальде. Много лет спустя я видела классику чешского кино, фильм “Маркета Лазарова” об эпохе Пржемыслидов, о жизни нищей и полной неосознанной жестокости; фильм незабываемо, чёрно-бело красивый, может быть навеянный русским вторжением 68 года; трудно отогнать такие ассоциации; некоторые ситуации отличаются назойливой воспроизводимостью. Крестоносцы и Маркета Лазарова наверно обалдели бы и отреклись от киношных интерпретаций. Исторические книги и фильмы наполнены фантастическими анахронизмами и перпендикулярной реальностью, вроде мифической Москвы в романах о Джеймсе Бонде. Всё такое нужно простить за удовольствие, которое причиняют реконструкции. Кто-то должен расцветить эту книжку-раскраску — дядя-Дюма, или ты сам. Сам ты не всегда можешь.

Но Карлштейном я никак не могла проникнуться, потому что не раскрасили: рассказывали малоинтересные вещи. А чего я собственно ждала? Пустой дом — это пустой дом. Возьмем любой дом,

хоть сталинский (более близкий нам по духу), выселим жильцов, как это делали при Сталине, и пойдем с экскурсией, и скажут нам, что здесь жили люди до 1937 года, ну и что нам с того? Вот если бы они сейчас вылезли из подсобки и нам что-нибудь изобразили, тогда другое дело. Я как-то читала в петербургской газете аналогичное предложение: дескать, хорошо бы нам научиться использовать наше литературное наследство на полную железку, подготовить ряженных актёров, ознакомительные маршруты, например по романам Достоевского. Поднимаетесь вы по лестнице, а наверху вас уже ждёт Раскольников с топором...

А к нам вышел некто с теорбой и сбацал средневековую музычку. Теорбист был в средневековой одежде, и мне подумалось, что современный чешский костюм изменился не в лучшую сторону. Теорбы я боюсь, у неё такой длинный гриф, не остережётся и получишь в глаз. Я вообще не люблю старинных инструментов (по части музыки я много чего не люблю. Я человек давно оперившихся вкусов). На аргумент: “но это же звучит так, как задумал композитор”, — накося контраргумент: “задумал, потому что рояля не было, а были только клавишины. Ну, а кто теперь-то пишет для хрипатога клавишина?” Возьмём Бетховена — тот творил в эпоху, когда были только примитивные рояли, но музыка, которую он писал, рассчитана на рояль эпохи развитого роялизма! Он хотел рояля, хотя рояля-то ещё не было. Вот и теорба — это устаревший инструмент. Но может быть когда-то... Представим зимний вечер далёкого средневековья. Кругом сундуки, можно на них и поспать, и поесть, и похранить ценное. Холодно, все жмутся к камину. Темень; горят, потрескивая, факелы, оплывают свечи. И позванивают струны теорбы; пригоршни звуков робко и нежно отражаются от высокого потолка. Несовершенное отопление, несовершенное освещение, так простим и несовершенство инструмента, и он займёт полноценное место в общей мозаике тогдашних впечатлений.

Ты этого хотел, Жорж Данден... Экскурсия по Карлштейну оказалась сущей профанацией; от нас отделались по дешёвке и не показали по-настоящему красивое и интересное: часовню Св. Креста в Великой башне (Карлову “Золотую кладовую”, местную “Янтарную комнату”), вокруг и для которой собственно и строился Карлштейн. Туда записывают заранее, и конечно не экскурсантов, подбранных на Староместской площади. Вместо Золотой кладовой нас завели в комнату этажом ниже и показали сокровищницу на картинке. Получилось, как в “клубе кинопутешественников” — вро-

де всё видел, но не спутешествовал. Судя по картинкам, у часовни шатровый свод, как в Грановитой палате. Стены её украшены отличной коллекцией образов святых, написанных мастером Теодорихом, — где уж Карл нашёл такого специалиста с византийским именем, не знаю. На репродукциях эти образа кажутся почти портретами и производят сильное впечатление. Но самое удивительное в часовне Св. Креста и ни на что не похожее, кроме часовни Св. Вацлава в соборе Св. Вита, — это искусная мозаика стен из полудрагоценных камней, оправленных в золото, в подражание библейскому Новому Иерусалиму, сияющему золотом, и лучащемуся хрусталём и самоцветами.

Но это там, наверху, а здесь для нас только корона Витольда, и то копия. Кажется, что корону грубо вырезали для оперного спектакля из картонки и налепили на неё огромные бутафорские камни. Тем не менее копия точна. Корону спроектировал сам Карл и приискал камушки покрупнее. На ней двадцать жемчужин и девяносто шесть драгоценных камней, в том числе самый большой неогранённый рубин на свете, а сапфиры размером с куриное яйцо входят в десятку самых крупных. Главное сокровище короны — не сапфиры, а спрятанный в ней терний от венца Иисуса. Карл коллекционировал реликвии, и в его собрании было много отличных вещей, в том числе посох Аарона и скатерть с Тайной Вечери. Карл подарил эту корону Св. Вацлаву, и по определённым праздникам полагалось возлагать её на вызолоченный череп святого короля. Не знаю, делают ли это сейчас.

Хмотность коруны, как написано на заднике карты, — 2358 г. (По крайней мере подлинник столько весит). Что в сравнении с нею *шапка Мономаха*? Не *тяжела* — это ведь просто золотая тубетейка, обшитая мехом. Чем богаче корона, тем хмотнее. Попробуйте надеть на голову Карлову хмотятину — сразу захочется снять. А вот сам Карл *стонал*, но *держал* её на голове, и наверно много часов. Ведь он изобрёл не только корону, но и весь долгий обряд коронации. Утром короля полагалось разбудить (и, надеюсь, накормить), одеть и отправить в путь из Вышеграда в Градчаны. В соборе Св. Вита в Градчанах происходила коронация с миропомазанием, возложением короны, клятвами в верности народа королю и королю народу. Король должен был всё это выдержать. Может быть у Карла и не заболела голова от двух кило золота. В принципе в то время рыцари были дюжие ребята, они ходили увешанные металлическими пластинами сверху донизу. Рост у них был маленький, но дело не в росте, в американском универсаме мексиканские мужички

с ноготок таскают невероятные ящики; главное мускулы, а низкий центр тяжести только помогает.

Копия наверно тоже бы понравилась Карлу. В старые времена было нестяжательское и трезвое отношение к оформлению — главное, чтобы блестело, а стекло там или что ещё, не важно (к неудовольствию воров с неполным средним образованием: наковырял камушков с переплета, а они оказались “фальшивыми”). Стёкла раньше делали хорошие. Я сама видала в Новгороде старинные *ин фолио*, с обложками, в которые были вделаны отполированные камни и цветные стекляшки, и рассмотрела их даже тщательнее, чем хотелось. Дело в том, что нас заперли наедине с витринами, в которых лежали русские священные книги. На осмотр полагался час, и поскольку помещение охраняемое, раньше времени нас выпустить было нельзя. Хорошо, что там были стулья, все уселись, и я поспала; спать хотелось, поскольку экскурсия начиналась рано, из Петербурга выехали в семь утра, по морозцу.

На короне экскурсия кончилась, и нас выгнали. И мы не побывали даже в костёле Св. Марии и часовне Св. Екатерины в Маринанской башне, где можно видеть интересные фрески, в том числе встречу Карла IV с Карлом де Валуа и Пьером Лусиньянским (вот какие у него были знакомства!), “апокалиптические драки” с семью головами и другие замечательные по наивности росписи 14 века.

На обратном пути мы встретили сокольничьего, то есть фильничьего, потому что при нём был не сокол, а крупный филин. К филинам я равнодушна, они напоминают мне кошек. Филин вёл себя адекватно, от света не щурился, судьбу не клял и позволял себя фотографировать. Так хотелось угостить, да нечем, мышами не запаслась.

Нам дали время заглянуть в сувенирные лавки. Я наткнулась на лавку русских гравёров: два товарища из Петербурга. В других ларьках продавали сувениры, в том числе огромные жестяные мечи, которые могли бы произвести фурор в аэропорту. Было много стекла. Больше всего мне понравилась небольшая витрина со стеклянными зверюшками: каждая поместится на копейке. Я купила несколько фигурок, себе и в подарок. У меня осела крошечная полупрозрачная лягушечка с отставленной ногой. Если она куда-нибудь ускачет, я её ни за что не найду, такая она маленькая.

Устроители экскурсии понимали, что такую плохо приготовленную экскурсию нужно чем-нибудь заесть или запить, и нам запла-

нировали ресторан чешской кухни. Внутри он был устроен приятно. Это был двусветный зал с камином и рогами, с красивой витой лестницей, которая вела, увы, не в мансарду с бедными, но способными художниками, а всего-навсего в сортир. Нас накормили по экскурсионным талонам, и блюда напомнили мне хорошую заводскую столовую, где суп разводят из банок, но разводят честно, по калькуляции.

На моих глазах состоялась долгожданная встреча Габена с кнедликами. Ньюка был один. Большой. Он разлёгся на тарелке, положив ногу на ногу, и с презрением смотрел на итальянца. Итальянец смутился. Мы часто получаем больше того, что пожелали. Вот помните анекдот про человека, который просил... если не помните, ничем не могу помочь, потому что история неприличная.

Вместо анекдота вот вам историческая реконструкция приготовления настоящего кнедлика, не из экскурсионной жестянки. Представим, что повар (и назовём его Миреком для аутентичности) с утра пораньше расставил перед собой тазик с накрошенным чёрствым белым хлебом, пакет молока, миску со взбитыми яйцами, растопленное масло в кастрюльке, пакет муки и коробку с солью. Он залил хлеб посолённой смесью молока и яиц, полил сверху маслом и оставил на пару часиков настояться. Иногда Мирек подходил к миске и мешал в ней большой деревянной ложкой. Когда внутренний голос приказал Миреку валять кнедлики, Мирек заправил смесь мукой, хорошо перемешал тесто на присыпанной мукой доске и слепил из него шары размером с апельсин. (Иногда в кнедлики добавляют дрожжи для пухлости, но вряд ли Мирек захотел затевать эту возню.) Апельсины 25 минут варились в кипящей воде. Готовый кнедлик перед подачей на стол нужно разодрать двумя вилками, зачем, не знаю. На одиннадцать чашек белого хлеба полагается полторы чашки молока, 3–4 яйца, полчашки масла (ничего себе!), треть чашки муки и чайная ложка соли. От такого блюда пузо будет как у Швейка на иллюстрациях Йозефа Лады.

Если бы наш итальянский друг пожелал откусать *брамборове кнедлики зе студеньх брамбор*, события развернулись бы иначе. Днём раньше Мирек сварил бы ведро нечищенной картошки, и этим утром её почистил, периодически стряхивая с рук и ножа прилипчивую кожуру; тщательно отряхнул бы брюки от всё той же кожуры, высыпал картошку на разделочную доску и изрубил бы её в мелкую крошку. Из крошки было бы приготовлено тесто в следующей пропорции: на два фунта картофеля два яйца, три с четвертью чашки муки и соль в разумном количестве. Моя бабушка поджарила бы из

этого теста вкусные картофельные котлеты на подсолнечном масле, но Мирек, будучи чехом (а у них всё по-турецки), раскатал бы тесто в длинные жгуты толщиной в 6 сантиметров и варил их 20 минут в кипящей воде, а потом нарезал бы их на крупные куски размером с молодой кабачок.

На обратном пути Жан Габен интересовался, едят ли сами чехи свиные колени, или скармливают их туристам.

Подвиги челюскинцев

Семейные словечки, фольклор местного значения, прилипчиво передаются по наследству. “...Паром втянет” — досталось папе, а потом и мне от дяди Миши (“Не стой у паровоза...”). От дяди Вани мне досталось “Пуркуа?” Дядю Ваню я хорошо помню, но память моя не кинолента, а пачка фотографий-эпизодов. На одном снимке дядя Ваня спрашивает: “Роугқоі?”, иронически наклонив голову. Дядя Ваня учил французский в кадетском корпусе, в Москве. Когда дяде Ване исполнилось четырнадцать лет, началась революция, занятия французским прекратились. За следующие 70 лет произошло много чего; дядиванин французский как-то поистерся и распался на лоскутки вроде “Пуркуа (Почему)?” — употребляется риторически, пост-фактум, когда ничего уже не поправить.

Новый день... Я гуляю по Староместской площади в ожидании автобуса на Кутну Гору и рассматриваю памятник Яну Гусу. Его сделал Ладислав Шалун, но шалить он не собирался, а наворотил всерьёз: груда огромных серых камней, толпа огромных чёрных гуситов. Предупреждаю — я ничего не имею против многофигурных памятников. Их делали и в России примерно в это же время, в начале 20 века, — например, “Тысячелетие России” в Новгороде, или Екатерина Великая с сослуживцами у Александринского театра, — и на подходящем месте они выглядят хорошо. Проблема не в том, что на памятнике много народу. Проблема в пропорции, — памятник Гусу не соразмерен площади.

Вот так же в Петербурге дурацкий кол перед Московским вокзалом своей избыточной высотой прибил к земле все старинные привокзальные здания, а надо бы туда что-нибудь не крупное, Александра III вернуть, или уж отлить новенького Александра, — Невского, или Матросова — символы наших многочисленных побед над разными немцами. Но патриотические порывы неуживчивы, им непременно хочется что-то заменить и выбросить. Ради Яна Гуса убрали Богородицу, лет триста простоявшую на колонне.

“А где Мария, которую наши предки поставили во избавление от шведов?” — забеспокоились ретрограды. “А мы её выкинули, как наследие проклятого немецкого прошлого!” — ответствовали патриоты.

Памятник Гусу расшевелил во мне семейные предания. Когда в тридцать пятом году дедушка, бабушка, папа и его сестра с большой бельевой корзиной вещей первой необходимости вышли на площадь перед оренбургским вокзалом, они увидели груды забелённых извёсткой камней, на которой стояли самолёт на лыжах и какие-то фигуры. Это был “лагерь челюскинцев”, устроенный на месте взорванного собора.

Отец оказался в Оренбурге не по собственному желанию. Убийство Кирова послужило Сталину и ленинградскому НКВД поводом для очистки Петербурга от чуждых элементов. Тысячи (Шестьдесят? Триста тысяч?) элементов по спискам НКВД были в 48 часов высланы из Ленинграда. Город Ленина не заметил этой потери, город Ленина сомкнул ряды, квартиры с брошенной мебелью и фотографиями были без лишних вопросов заселены энкаведешниками и людьми приемлемого происхождения.

Во время пребывания лишенцев в Оренбурге добрые пастыри, заботясь о том, чтобы отдельные овечки не сбежали из уготованного им ада, проводили еженедельные проверки документов; мне кажется, что прямо на площади у потерпевших крах челюскинцев, но может быть я романтизирую эту прозаическую процедуру, может быть вместо прилюдной переклички ссыльные отстаивали длинную очередь в энкаведешную контору. Оренбург сделался гигантским пересыльным пунктом. Из него чуждые элементы поехали в лагерь, не челюскинцев, а ГУЛАГа, и погибли, а дети их стали беспризорниками или попали в детские дома. “Рошқоі?”

Очевидно в таких действиях есть большой, скрытый от нас, смысл, потому что они повторились повсеместно. В сорок втором году парижская полиция с подачи оккупационных войск выслала по спискам в пересыльные лагеря, а потом в Аушвиц тринадцать тысяч евреев — взрослых, стариков, маленьких детей. Почти все они погибли. Спаслись немногие. Париж не заметил этой потери. Париж сомкнул ряды. Их квартиры были без лишних вопросов заняты новыми жильцами; задавать вопросы в таких ситуациях опасно.

Французские журналисты уязвлены тем, что останови они сейчас на улице первого попавшегося парижанина, окажется, что он ничего не слышал о высылке. Русские журналисты не уязвлены; ни они, ни я не проводили подобных экспериментов в Петербурге, но

думаю, что результат был бы тем же. В лучшем случае кто-то начитанный вспомнит, — эрудированно, абстрактно, — что да мол, на войне с собственным народом были и такие жертвы. Конкретных людей за ними не видят, и их фамилии не вырезают на обелисках. В России угнездилась благодатная объективность в вопросах революционного и послереволюционного террора — дескать хороши были и те, и эти.

Во мне нет злобы, и я не жду, что на моём пороге появятся с обильными извинениями внуки энкаведешника, занявшего квартиру дедушки. Если кто и извиняется за такие дела, так не те, кто пакостил. Перед евреями в Париже извинились совсем не те, кто отдавал и выполнял приказы. Но когда я прочитала о том, что во Франции установили мемориальные доски погибшим и отмечают годовщины печального события, во мне пробудилось чувство стыда за то, что во мне нет горечи или хотя бы потребности прокричать о погибших ленинградцах. На мне лежит частица коллективной вины за то, что от этих людей не осталось даже памяти.

Вообще же, даже если помнят, то не всю правду. Французы пишут: “жертвы нацизма”, — а русские ... русские не написали, потому что негде, досок нет, но если бы были, то вывели бы “жертвы сталинизма”, — нацизма, сталинизма, в общем чьи-то жертвы, не наши. Правда, здорово, что кругом столько исторических аналогий, в любой стране, в любую эпоху, куда ни сунься, только успевай подбирать? Не всякому это приятно услышать, поэтому зачеркнём предыдущую пару-тройку абзацев, и начнём сначала. Ну что, про Яна Гуса?

Ян Гус был наверно великий человек. От его учения произошла для Чехии сначала великая польза, а потом великое горе. Надо бы рассказать эту историю, но я не знаю как, потому что мне самой она совершенно не понятна. Люди умирали за идею, за которую я бы не дала и ломаного гроша, не дала не из жадности, а потому что ушиблена русской историей, и никаких хороших идей больше не вижу. *Я тот самый глупый пингвин с жирным телом* — до меня не доходит, мне жалко своего и чужого жирного тела, и хочется *робко спрятать* его в *утёсах* от любителей внедрения правильных идей. Конечно, можно постараться и вскрыть пружины, обнажить конский волос дивана истории, можно найти марксистскую подоплёку, классовые интересы в гамбите Реформации и Контрреформации, но штука в том, что участники считали себя правыми именно в высшем, абсолютном, от Бога идущем смысле.

Человек не религиозный не может понять нечеловеческой жестокости, связанной с вопросами религии. Всё зависит от того, что в жизни важно, что не важно. Моё понимание жизни чисто животное — чтобы все были здоровы, накормлены и играли на любимых музыкальных инструментах. Я не могу понять, почему в сознании большинства религия намертво спаяна с обрядностью, настолько, что человеку можно перерезать горло, если он не хочет мыться и молиться пять раз в день, или можно сжечь человека из-за несогласия с формой причастия. Если мне трудно понять проблемы 14–17 века, какой после этого из меня рассказчик? В исторических событиях нужно брать стороны, нужно *ломать стулья* за Александра Македонского или за Дария, и тогда история обретает смысл, правоту, и читателю приятно. А когда пишут, что пришли эти этих бить, появляется сомнение — а зачем нам такое, и не лучше ли почитать Стивена Кинга?

Все неприятности и брожения в Чехии начались задолго до Гуса, ещё при короле Карле. Появились люди, которых называли утраквистами, от “суб утракве специе” (обоими способами). Дело в том, что... Но тут мне неловко продолжать, вы подумаете, что я шучу. Нет, правда, грабили и громили церкви, людей выбрасывали из окна по поводу вот какого вопроса: следует ли прихожанам причащаться хлебом и вином (суб утракве), или только хлебом, а вино пусть пьют священнослужители.

Конечно я упрощаю, из предложения запивать хлеб вином шли далеко идущие выводы — все равноправны, и священников не нужно. Священников не нужно — церкви не нужно. Любая церковь борется за монополию на разговор с Богом, потому что это оправдание её существованию. При Яне Гусе старались, чтобы народ не понимал Библии и богослужения. Перевод Библии на любой из понятных пастве языков карался смертью. Во время богослужения тоже происходило непонятное: отбормотав по-латыни, поп поворачивался попой к прихожанам, и что-то втихаря поедал. Но дело не только в недоступности вина и слова Божьего народу; оснований для реформы было много. Посади любую церковь за стол, она и ноги на стол. Священники и монахи вели себя возмутительно. Монахи дрались со священниками за право собирать пожертвования, и доходило до смертоубийства. А среди священников встречались прямо бандиты. Например некто Мартин, священник собора Св. Вита, сколотил банду грабителей, неоднократно попадался, но архиепископ почему-то не счёл нужным его наказать, а когда жители посадили

Мартин в мешок и утопили во Влтаве, им сильно попало. Мартин напоминает мне небезызвестного Якова Лернера, руководителя народной дружины Дзержинского района г. Ленинграда, который был народным обвинителем на процессе Бродского, а потом и сам сел за уголовные дела. Вообще многие исторические фигуры друг друга напоминают; даже скучно.

И не только фигуры — процессы: исторические, химические, судебные, общественные, кулинарные... Если супу дать отстояться, наверх всплывает жир и образует толстую корку: такова природа жира. В устоявшемся обществе образуется толстая корка работников идеологического фронта, не пропускающая ни глотка чистого воздуха. Корка состоит из циников и фанатиков, порядочных людей она исторгает, как жир по сути своей не впускает в себя ни капли бульона, — вот разве король какой-нибудь хороший в неё затешется *в силу случайности рождения*, но тогда он не жилец. Эта фронтальная корка помыкает народом и грабит его, толкуя о духовном, о рае, о светлом будущем и утверждая, что всякое ей противостояние преступно и аморально. Кончается тем, что рабочие, крестьяне и анархисты начинают стучать по корке граблями и чем ни попадя, и глупая недалёковидная корка гибнет. Никто никогда не догадывается, что нужно осторожно и по-умному умерить аппетиты. Никто, естественно, ничему никогда не учится у прошлого. И католическая церковь в 15 веке как-то не догадывалась, что пора бы навести порядок в собственных рядах, перестать жрать в три горла, блудить и продавать индульгенции.

Во времена Яна Гуса в Англии жил-был Джон Уиклифф, теоретик реформы церкви. Он предлагал внимательно прочесть Евангелие и исключить из церковных обрядов те, которые не упоминаются в священном писании. Хлеб и вино не становятся плотью и кровью христовой во время службы, все таинства, которых нет в Библии, должны быть отменены, не должно быть церковной иерархии, нет разницы между епископом и простым священником, и жить нужно по моральному кодексу строителя коммунизма — моральная чистота и простота, не обжорствуй, не прелюбодействуй. Самой важной для Уиклиффа была мысль о том, что подчиняться церкви стоит, только если она учит правде.

Учение Уиклиффа стало распространяться в Праге. Теперь, при глобализации экономики и средств массовой информации не вызывает удивление, что Путин — последователь Берлускони и подражает ему во всём, включая инъекции ботокса и вокальные потуги.

Но тогда — при чём Праге Лондон? Вот при чём: дочь императора Карла Анна вышла замуж за английского короля, и пражские студенты стали выезжать за границу, в Лондонский университет. Там они и заражались уиклифом.

Ян Гус, ректор Пражского университета, проповедовал новые взгляды в Вифлеемской часовне. (Вифлеемская часовня принадлежала сторонникам реформы церкви, построившим её вполне легально, во время религиозных послаблений. Сейчас её восстановили, вернее, построили заново, потому что от неё осталось только несколько кусков стены.) Католическая церковь сильно обиделась на Уиклиффа и Гуса, даже не за вино, а за то, что её абсолютный авторитет подвергли сомнению и мешали зарабатывать на индульгенциях. Хотя в то время церковь была в полном раздразе (низшие чины дрались за церковную кружку, а верхние не могли договориться о том, кто и где будет папой), инквизиция работала на редкость слаженно. И так всегда — машина подавления разваливается последней, потому что она — основа общества. Голодомор на голодоморе, мясо с костей уже отвалилось, но скелет в виде ГБ целенький, и нет недостатка в персонале. Персоналом несомненно движет посыл души, эдакая уверенность в том, что овцам нужен пастырь, — её идеологию замечательно описал Достоевский в “Легенде о Великом инквизиторе”. Но давайте дооценим и материальную сторону — с незаслуженным довольством и лёгкой работой трудно расстаться. И куда податься малому сему, если из него не вышел хороший токарь, а в котельной работать не хочется? Поэтому не удивляйтесь многочисленности злых кобольдов, которые были готовы предать Гуса и обманом заманили его на церковный собор в Констанце.

Люди стараются, судьбу себе выбирают, а иногда судьба возьмёт и сама кого-то выберет. Так с Яном Гусом. На медные деньги выучившийся, он ведь сначала и не задумывался ни о чём, и был рядовым университетским профессором, пока не нашёл где-то книгу Уиклиффа и не переписал себе в тетрабочку. Шаг за шагом дорога его становилась всё опаснее, а назад повернуть невозможно — пойдёшь против совести. И никогда он не отступился, не сохранил свою жизнь, предав товарищей. Он был человек искренний и, как все хорошие люди, наивный. Это была история а ля Ходорковский и Лебедев — сам приехал на церковный Констанцкий собор, добровольно, думая, что всех убедит неотразимыми доводами. Но его конечно даже и не выслушали. Обложили его дровами по самый подбородок и подожгли. А потом ещё сердце вырвали и дополнительно прожарили. Ацтеки бы его съели, но Констанцкий со-

бор воздержался. Да, вот такое могут сделать — рука подымается. Чужая жизнь ценится гораздо дешевле её оценок *абстрактными гуманистами*.

Результат был совсем не тот, какого хотелось римскому папе (вернее папам: папы множилось, их было уже три штуки). Чехия вспыхнула, точно бензином её облили. В Констанцский собор пришло в защиту Гуса письмо за 452 печатями, то бишь подписями, от чешских баронов, объяснявшее, что приговор оскорбил всю страну. Бароны сплотились в Гуситскую лигу и объявили, что тот, кто зовёт жителей Богемии еретиками, *“сын дьявола и отец клеветы”*.

Родителей у клеветы оказалось много. Папа отлучил Богемию от церкви, стало быть запретил причастие. Это сыграло на руку утраквистам — они заняли опустевшие церкви, и друг Гуса Якубек из Стржибра стал всех причащать вином. Официальные священники сбежали на окраины города, и верную им паству, следовавшую за ними из центра города, стали называть *“магометанами, которые ползут из Мекки в Медину”*. Если кому-то интересно, когда произошла эта гуситина, так в 1415 году, в правление Вацлава IV.

Вацлав, сын Карла IV, царствовал 59 лет. Большую часть этого времени он был пьян. В этом состоянии он совершал неразумные и жестокие поступки — например, запытал бухгалтера, послужившего прототипом Иоанна Непомука, но не за то, что написано в агиографии, а просто так — потому что невзлюбил его начальника — пражского епископа. В промежутках между запоями Вацлав плёл интриги и страшно запутался и во внутренней и во внешней политике, со всеми перессорился до того, что его прогнали с поста императора: короля не уволишь, но императору Священной римской империи можно дать пенделя.

Вацлав озлобился, ожесточился, но умнее не стал. В отличие от Карла управлять общественным мнением он не умел. То он заигрывал со сторонниками реформы, то запрещал их учение, и всегда в самый неудачный момент. После гибели Гуса и бунта баронов пуганый Вацлав, подыгрывая папе, попытался прижать гуситов. В Праге начались волнения. Членов городской управы Нового Места подвергли дефенестрации. (Проще говоря, их выкинули в окно, но поскольку приём прижился и повторился, пришлось придумать ему особое название). Время было дикое, людей не жалели; толпа с интересом смотрела, как сброшенные вниз плющатся в лепёшку. Мало ценится жизнь и сейчас в нецивилизованных странах: фюить в окно, и готово... Это в цивилизованных её заценили и оплакивают

даже хулиганов, которые, убегая от полиции, схватились за оголённые провода и умерли, поскольку не знали про электричество, — они плохо учились в школе.

Услышав про дефенестрацию, Вацлав разволновался, заревел, как лев, егохватила кондрашка, и Чехия осталась без короля. Короли и священники испугались. Папа римский (римский Римский, в отличие от авиньонского) и император Сигизмунд, брат и наследник Вацлава, объявили крестовый поход против гуситов. В Чехию хлынула армия наёмников и подошла к самой Праге. И тут произошло чудо — одноглазый Ян Жижка, предводитель гуситов, отстоял Прагу. За них вступилось провидение, не иначе, потому что его воины были крестьяне или горожане, в том числе женщины, и было их много меньше наступавших. А может и “иначе”, может, выиграл тот, кому терять было больше: люди идеи против наёмников, которым грабить мирное население было интереснее, чем погибать на штурме Вышеграда. *Русские на Прут, румыны на Серед* (дедушкино словечко; чтобы посмеяться, прочтите вслух). Жижка напёр. Наёмники дрогнули. Сигизмунд убрался из Богемии.

Ян Жижка мечтал и после смерти служить Родине, завещав свою шкуру на барабан, который звал бы в бой гуситов (что перед ним Данко с вырванным сердцем и даже Ленин с его мумией? Мелко плавают!). Рассказал мне об этом Монтень, который нимало дивился такому чудачеству. Но и без барабана-комиссара, и без Жижки, похороненного всё-таки по-человечески, с кожей, гуситы одержали ещё немало побед против Сигизмунда. Обратите внимание, когда будете читать дальше: двести лет спустя та же самая страна оказалась беспомощной перед баварской армией. Приходится валить всё на пассионариев, как выражался незабвенный Лев Гумилёв, — иначе не понять, почему вчера восстание, а сегодня воловья покорность. Дело в качестве жижки.

Дальнейшая история длинна и запутанна, как история русской революции, но если не вникать, кто там Пуришкевич и кто князь Львов, то всё просто — эти били тех и наоборот. Мотивы — годами копившаяся подспудная злость и обида. Когда жирный суп отстаивается, когда революционное движение затягивается, что происходит? Из утравкистов выделились табориты, радикальная часть гуситов, которые громили церкви, сжигали католиков в бочках, выкапывали покойников и обливали их пивом, чтобы им тоже было весело, т. е. вели себя как настоящие несгибаемые ленинцы. (Как сказал Достоевский, правда, не про таборитов: *“Русский человек, совершая большие гадости, не перестаёт думать о хорошем”*.) И

так четырнадцать лет подряд. Кончилось тем, что табориты утомили Прагу.

Обещают всегда, что *мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем*, но буржуи сбегают — у них есть деньги и транспорт, а остаются всякие *кустари-одиночки без мотора*. И *вылезает мурло мещанина*, который не видит прелести в том, что разоряют его жильё. Однажды навстречу таборитам вышли мясники с острыми мясницкими ножами и не дали разрушить церковь Св. Якуба. А потом совсем круто повернулось: группа доблестных олддерменов, рискуя жизнью, открутила башку главному смутьяну, Яну Желивски, инициатору дефенестрации. Открутили неаккуратно, кровь вытекла по жёлобу из ратуши на Староместскую площадь, и сторонники Яна Желивски поняли, что их движение обезглавили. Горе было неопишное, скорбящие сожгли университетскую библиотеку, а голову Яна Желивски пронесли по Праге на серебряном блюде. Но после этого у радикалов не стало прежнего *задора и огня*, и их вышибли из Праги.

Табориты, покинув Прагу, продолжали сбиваться в кучи и устраивать погромы в других городах и местечках Богемии. Но тут папа римский согласился на компромисс. После этого табориты оказались Богемии не нужны, умеренные утраквисты их разгромили (филистеры победили революционеров), и всё устаканилось. Сигизмунд стал королём, но вскоре помер, и после всяких промежуточных решений чехи избрали королём утраквиста Иржи Подебрада. Наступила передышка. Король Иржи, увы, бездетный, много лет отстаивал права гуситов. На церковных фасадах появились чаши утраквистов, как символ особицы чешской католической церкви. Короли, князья, император и папа, сморщившись, смирились с Реформой в Богемии и решили сами вычистить свои хлева, пока этого не сделали реформаторы. Так началась Контрреформация, *способовавшая много к украшенью* католической церкви.

Чехи усеяли Чехию *мёртвыми костями* ради счастья человечества, так, как его понимали в те времена, а заодно разорились. “Роугquoi?”

Кутна гора

Дядя Ваня с тётей Зоей, тётя Китти с дядей Петей, папа с мамой, Марина со мной и нашей окаянной бабушкой... все мы жили в городе, где архитектурно ничего не менялось с 1913 года (всеобщего эквивалента советских экономических успехов); ну разве что пару-

тройку соборов взорвали и окраинами обросли. Ленинград 60–70-х годов приятно увяз коготками в патоке времени, и в перестройку *всплыл, как чистенький нетронутый тритон*, над липкой грязью социализма. Подобное я слышала о Восточной Германии — дескать, там сохранилась настоящая старина, в отличие от ФРГ, где в угаре экономического подъёма не ведали, что громили.

Прага тоже надолго законфитюрилась благодаря пребыванию в социалистическом лагере, но после бархатной перестройки варенье забродило. Сменились моды и фасады, прошлое стремительно ускользает из столичного города, просачиваясь сквозь камни мостовой. Чтобы удержать его, чтобы видеть только то, что захочется, нужно прищурить глаз или выискать провинциальный городок *с прошлым*. И тут, к слову, моя экскурсия в Кутну Гору — вы уж поди о ней забыли? Город былых серебряных рудников. В крупных городах ходишь и видишь сразу всё, все ноты истории звучат одновременно и оглушают. А приедешь в Кутну Гору, и нота одна: город засахарен в эпохе барокко; с маленькими городками это можно, они помещаются в кастрюльку.

В гербе Кутной Горы — чаша утраквистов, которую поддерживают символы имперской и королевской власти: геральдический чёрный орёл с хвостом, как у собаки, и белый лев, у которого целых два хвоста. Все хорошо попались на её истории. Сначала кутногорцы были против гуситов, сбрасывали в шурфы и своих смутьянов, и импортных, от соседей (*знакомый почерк*, как выражался мой папа, — помните судьбу Елизаветы Фёдоровны, сестры последней императрицы?). За такое контрреволюционное поведение кутногорцам досталось на орехи от Яна Жижки. Они расстроились и решили, что уж теперь не ошибутся. Поддержали таборитов, но тогда им дали прикурить умеренные утраквисты. А потом, когда кутногорцы перековались в утраквистов и дорисовали на своём гербе чашу, именных жителей Кутной Горы вешали уже по приказу католического императора Фердинанда Второго. Нипочём не подстроиться, непонятно, что и делать, если сегодня Петлюра, а завтра Бандера.

К Тридцатилетней войне серебряные рудники истопились, и город потерял источники доходов. И перестал он отстраиваться заново, и уснул, и спит до сих пор, только ушками чуть-чуть подрагивает, под присмотром добряка Филипа Морриса. Собственно не сам Филип поддерживает Кутну Гору финансово — он наверняка давно уже умер или стал идиотом от курения, — а его процветающая фирма, которая открыла рядом с Кутной Горой завод по производству иностранных папирос. Филип Моррис и сестру мою в своё время

в Петербурге поддержал, в лихие девяностые. Она на его фабрике работала переводчицей. Но это так, к слову.

В этой экспедиции я пала жертвой лени и собственной любезности. Про любезность скажу в конце, а сейчас о лени. В Кутну Гору запросто можно съездить на автобусе, который отправляется от станции Флоренц; не бойтесь общественного транспорта, не нужно уподобляться американцам, которые за границей трусливо жмутся друг к другу и ни на шаг от привезённого с собой экскурсовода. Но я уподобилась, запутавшись на чешском веб-сайте, где привычные буквы слиплись в непонятные кучи. Например, что такое “рыхлик”? Не знаете? То-то же! И я не знаю и не решаюсь на него сесть. В общем, нужно учить иностранные языки, а то получится, как экскурсия в Кутну Гору.

Пражская экскурсоводша оказалась вроде Печорина, лишним человеком, по крайней мере в нашем автобусе. То ли она ничего не знала, то ли мешал языковой барьер. Экскурсоводша нам сразу объявила, что она полиглот — хотите на французском (бедные французы), хотите на итальянском (бедные итальянцы), хотите на русском... Мы, так уж и быть, не бедные — нехорошо себя жалеть, — но русский у неё был чуть лучше моего чешского. Я сначала опешила, а потом стала записывать, потому что такие необычные фразы даже и не запомнить. Ломаный язык принижает собеседника, и самый спинозный Спиноза покажется дураком, если сообщит об универмаге: *“Так возможно вспомнить, что он был только одинокий”*... Ну ладно, с универмагом ясно, он когда-то был единственный, вроде лермонтовского паруса, и все чехи приходили им любоваться, но зачем нам про универмаг, когда вокруг полно старинных зданий, про которые ни полслова?

По дороге экскурсовод молчала. Лишь однажды обратила наше внимание на горы свёклы, присыпанные землёй для хранения. Указать на них она решилась, верно, с досады, что нет других достопримечательностей, но я была рада увидеть, как они выглядят — у нас ведь под Ленинградом буртов не делали, всё бы помёрзло, но я о них слышала от отца. В Германии он однажды складывал в бурты, правда не свеклу — картошку, и фермер их тогда накормил досыта; редкая удача.

Нынешняя и последующие чешские экскурсоводы вызвали у меня смешанное чувство, как будто я нечаянно стукнула локтём по поездке. Я знала, что времени на осмотр будет мало, и многого мы не посмотрим. Но я рассчитывала, что о том, что мы увидим,

мне расскажут хорошо. Я в молодости неизменно была довольна экскурсоводами, потому что они были прекрасно подготовлены, и даже, может быть, любили своё дело. Единственным исключением оказались экскурсии по лермонтовским местам в Пятигорске: там нам показывали наклеенные на картон картинки и пересказывали “Героя нашего времени”. Мы думали — халтурщики! А это были перредовые люди своего времени. В Пятигорске экскурсоводы раньше всех стали соответствовать мировым стандартам. Потому что кто в свободном-то мире пойдёт в экскурсоводы? Только голь перекатная, или человек отчаявшийся.

Революции, перестройки, массовые миграции приводят к падению профессионализма, к весёлому: “Не умею, но хочу заработать”, или ещё забавнее: “Я это делаю ради денег, себе бы я лучше сделал”. С одной стороны экскурсовод — это живой человек, и может быть с непростой судьбой. Наша сегодняшняя — женщина моих лет, тех, когда на работу уже не берут. Может быть у неё до бархатной революции была нормальная работа, но этот стул из-под неё смыло потоком шоковой терапии. Ей надо зарабатывать на жизнь. Вот если бы мне сейчас пришлось вести экскурсии на немецком и чешском, да ещё когда эти “черствыи кавы” мгновенно вываливаются из головы? Впридачу на каждой экскурсии нужно перескакивать с английского на русский или ещё какой-нибудь *великий, могучий*, но далёкий от тебя язык. Как-то в нашу американскую лабораторию прислали специалистов из Самары. Тут я показала себя в лучшем виде: стала говорить по-русски американцам, и по-английски — русским. Я тоже старая курица. Я уже не несу золотых яиц, пенсию мне платить невыгодно, и альтернатива: прирезать меня или позволить мне портачить.

С другой стороны, те, кто платит, тоже ведь люди. Я снисходительно отношусь к тому, что человек не знает иностранных языков, не умеет шить, готовить или водить машину: до тех пор, пока этот человек не становится моим экскурсоводом, или портным, или водителем. Проявим великодушие, войдём в положение, и вот мастер вшил рукав в живот, испортил вещь, или того хуже — отрезал больному не ту ногу. Да, ему хочется кушать, но может быть просто подать ему милостыню — целее будешь?

Первая наша остановка была в местечке Седлец. Нас высадили у церкви Вознесения Св. Девы Марии, принадлежавший монастырю цистерцианцев. Церковь отделана блоками камня, наверно местного песчаника. Её раннеготический силуэт выглядит необыч-

но из-за отсутствия башен: они не положены монастырской церкви. Вместо башни вверх вздымается центральная часть фасада, соответствующая нефу. На ней огромное, почти во всю стену окно с круглым завершием, и над ним четырёхлепестковая рама готического окна-розы с заложеным проёмом. Над розой вознеслась, опираясь на тонкие арки, статуя Богородицы. По бокам с двух сторон к прямоугольному фасаду нефа примыкают почти треугольные, в треть его высоты, фасады притворов. Что находится внутри — готика, или барокко, или неоготика девятнадцатого века, не знаю, ибо нас туда не повели, и правильно: это всего-навсего самая ранняя каменная церковь Чехии, и на кой она сдалась туристам! Нас потащили к настоящим культурным ценностям — в оссуарий церкви Всех Святых.

Заходишь в эту церквушку, и возникает пастернаковский вопрос: *“Кто погружён в отделку?”* Какой *всесильный бог деталей* с такой любовью плёл в этой церкви гирлянды из черепов, кто низал изящные светильники из позвонков, кто выложил благородный узор из берцовых костей, кому принадлежит дизайн часовни из фибул и мандибул? Здесь когда-то было кладбище, которое припорошили святой землицей с Голгофы, и потому все хотели на нём быть похоронены. Возник переизбыток костей. В 1870 году... да, год рождения В. И. Ленина, я это хорошо помню, — местные власти попросили некоего Франтишка Ринта что-нибудь такое сотворить с сорока тысячами скелетов, и он пустил их в дело. Этот интересный и остроумный человек даже выложил костяшками свою подпись. Седлецу всё к лицу. Есть люди, которые боятся трупов и костей, а есть которые не боятся и даже могут с ними играть: например Франишек Ринт, или те безымянные мастера, которые мумифицировали В. И. Ленина, а также многочисленные посетители Седлеца и Мавзолея. Какое надо было испытывать презрение к человеку, не ставить его ни во что, чтобы расковырять кладбище и использовать кости своих предков как наглядное пособие по брэнности мира, как знак презрения к человеческой жизни? И наконец последний вопрос — кем надо быть, чтобы бегать по этой церкви с фотоаппаратом? Я как вошла, так и вышла. Мне было неприятно не только из-за поругания праха, но и физически.

Вы любите костяшки? Я — нет. Хотя мне часто приходилось иметь с ними дело, и они меня не пугают. Кости встречаются всюду: в детстве, когда меня интересовало лежащее на земле, я часто находила вываренные коровьи мослы — белые, чистые, нестрашные.

Кровавые кости будущего обеда, на прилавке, в магазине, я не впускала в сознание, и лишь однажды вгляделась, вдумалась и содрогнулась. Этого не следовало делать, так же, как не следует копаться в истории, лучше скользить по поверхности прошлого на уровне живописи и архитектуры. В крайнем случае нужно забираться туда, где кости уже побелели и стали абстрактными, не имеют отношения к людям, которых я знала. А кости моих родственников, которые разгрыз двадцатый век, всё ещё выглядят неприглядно.

По долгу службы мне пришлось поиграть в кости. (На биофаке было много занятий, которые мне не нравились — например, отрезать лягушкам головы ножницами.) Мослы хорошо вываривали и выдавали под залог студенческого билета. Я уж не знаю, чьи это были кости — Эйлера, Тредьяковского, тов. Кирова или Ежова, кого там *Бог снегом занёс*, кого *вьюга целовала*, прежде чем он попал в ящик на кафедре анатомии. Помню, что абстрагировалась и с тоской твердила: “сулькаус синус сагитталис”. Если я имею какое-то представление о средневековой схоластике, так это после университетского курса анатомии. Нам даже не сказали, что в дырки проходят сосуды, а за гребни цепляются мышцы со связками; об этом я узнала случайно, полистав анатомический атлас. От костей мы сразу перешли к мозгам, минуя мясо и субпродукты. Помню отвратные банки с мозгами, и преподаватель всё время смеётся, но не над центральной нервной системой, а над горькой судьбой, которая вытащила его из уютного закутка за зоологическим шкафом к безжалостным студентам. Теперь, познакомившись с биологическим образованием изнутри, я понимаю, почему на анатомии от человека остался только скелет, но умненький: кто-то когда-то сократил курс неумело и халтурно, срезал часы, выбросив целые разделы.

На оссуарий было отведено много времени, и я долго ожидала наших любознательных фотографов снаружи, на кладбище, где мраморный изъеденный дождями, превратился в шершавую пемзу. Было сыро, небо спустилось до земли огромным серым облаком. Хотелось в собор к цистерцианцам, но было боязно потеряться.

После этого нас привезли собственно в Кутну Гору. Местность здесь гористая, как и следует ожидать от рудничного посёлка, и городок стоит на возвышении, над рекой у крутого обрыва. На рельефной карте (на сей раз с английскими подписями), показаны два больших храма и несколько церквей поменьше: и куда столько в маленьком городочке? Хотя нам, туристам, приятно.

В лице церкви Святой Варвары вы встречаетесь лицом к лицу с памятником международного значения, который описан во многих справочниках по готике. Многие храмы в старых городах, зажатые домами, трудно разглядеть, но вокруг Св. Варвары, стоящей на откосе над рекой, много пространства, она вроде и в городе, и вне его, на границе между владениями человека и природы. Я понимаю, почему все любят храм Св. Варвары. Он гармоничен, пропорционален, напоминает окатанный валун, оплетённый с трёх сторон кореньями изящнейших аркбутанов. Кровля подобна палатке цирка шапито и ужасно идёт этому храму. Для его строительства был использован местный песчаник со включениями крупных раковин.

История строительства храма связана с соперничеством двух микрорайонов. Представьте, что соседний район построил дом культуры имени Воровского; тут вас разбирает, и вы в пику этим ребятам возводите дворец культуры имени Бандитского. И пошло, и поехало — они клинику Скворцова-Степанова, а мы — фабрику Ульянова-Ленина, они — завод имени Блюмкина, а мы — объединение имени Каннегиссера... И хорошеет, и зеленеет родной Петербург. Примерно то же произошло в Кутной Горе. Когда цистерцианцы построили храм Вознесения Богородицы в Седлеце, кутногорские богатеи скинулись на святую Варвару, покровительницу шахтёров.

На стройке работали лучшие пражские мастера, и денег, когда могли, не жалели, но строительство шло с паузами. Только начали, как подоспела гуситская неразбериха. Достаивали в передышку правления приглашённых польских Ягеллонов (Владислава и Людовика). Только закончили, и бац — Тридцатилетняя война: её участники упёрли все ценные вещи, витражи выбили, а богатых дарителей перевешали. После войны храм прибрали к рукам иезуиты, которые украсили его по-новомодному, в стиле барокко. В девятнадцатом веке чешские патриоты частично вернули интерьер к готическому облику и вставили в окна витражи изящного стиля модерн. Так что убранство собора — *солянка сборная, мясная*, как писали в меню столовых моего детства.

Нас заводят внутрь. Нам ничего не говорят. Вернее говорят: “Вот вам десять минут”. Я покупаю брошюрку с лотка и впопыхах её читаю. Ага... Стены собора строил Ян Парлер, сын Петера Парлера (“*Ян жил в Кутной Горе и в 1389 году в городе даже поженился*”). Глазами, вылезшими на лоб, ищу имя переводчика на обороте: Либор Крейчиржик, да не истлеет имя его в веках, — трудяга, “брат по разуму” нашей экскурсоводши. Вот, бабушка, ты говорила: “Таня ничего не умеет, но за всё берётся”. А Либор ещё хуже. А тут о

крыше: *“из этого вдохновения исходит тоже кровельное покрытие храма, имеющее форму пламени”*. Вдохновение крыши принадлежало Бенедикту Рейту и Матиасу Рейсеку, но на сводах они применили изобретение своего предшественника, великого Петера Парлера — летучие рёбра-нервиюры, гибкие каменные шнуры которых свиваются на потолке в лепестковые узоры. Кажется, что на цветки амариллиса прилипли к потолку, а длинные стебли свисают к полу ребристыми колоннами. Разумеется, своды Св. Варвары испорчены, или украшены, разноцветными клеймами гербов, как было модно и в обычае в 16 веке. Клейма напоминают афишки в метро, криво наляпанные поверх полированного мрамора, но на самом деле это мемориальные доски выдающихся лиц города, с непонятными нам геральдическими иероглифами.

Главный алтарь собора был восстановлен, то есть вырезан заново в 19 веке по описанию 16 века и по образцу сохранившейся створки со Св. Варварой. Поскольку старая створка была не раскрашена, красили и золотили по собственному разумению; вышло празднично. Алтарь вытянут в ширину. На нём в палате с шатровыми сводами происходит Тайная Вечеря, заключённая в золочёную раму с тонким сквозным узором. Над Тайной Вечерей установлена золотая решётка с завитками, в ней врата с коронообразными завершиями, и в этих вратах стоят фигуры Спасителя, Св. Людмилы и Св. Прокопия. Под Тайной вечерей, в нижнем ряду, стоят четыре доктора или отца церкви: Св. Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин, Св. Иероним и Св. Григорий Великий, зачем-то прозванный православными Двоеустом. Алтарь можно, как и все старинные алтари, закрыть створками. Сейчас они распахнуты, и на них мы видим барельефы святых, и среди них Св. Вацлава, в шлеме, со щитом и со знаменем.

Чем больше проведёшь времени в соборе, тем больше заметишь деталей: росписей, резьбы, алтарных ковчегов. Интерьер свидетельствует о виртуозном, просто иезуитском умении иезуитских резчиков по камню и дереву. На торцах скамей вырезан редкостный узор из могучих листьев аканта и какие-то не очень подходящие к случаю физиономии с рогами: в старых церквях такое иногда найдёшь на стульях ... особенно с изнанки сиденья.

На пилоне укреплен многоярусный амвон, поделка иезуитского барокко конца семнадцатого века, напоминающая поморские ларцы, инкрустированные моржовой костью: чёрный фон, белые колонки и медальоны, золотые накладки. На другом пилоне, на консоли, над головами прихожан возвышается вырезанный из дерева и раскра-

шенный горняк. Он стоит на куче руды уже много лет, с семнадцатого века, моля не о жизни, но о достойной смерти (с покаянием и погребением); у Св. Варвары просили милости о малости: умереть дома, не в обвале шахты.

Вся Кутна Гора была построена ради рудников. Когда рудники были в силе, здесь был типичный Клондайк. Местные богатеи были немцы. Те, кто ползал в шахтах, как червяк, может и были чехи, — хотя как в те времена определить чеха? Все наверно говорили на какой-нибудь смеси немецкого со славянским, — но вот те, кто перекупал добытое серебро, были из Германии. Представляете, как чехи их не любили, как называли “немецкие морды”? Новые кутногорцы легко богатели, легко разорялись. Их нравы резюмировал Либор-Двоеуст: *“Михал Смишек нам однако благодаря своему живописцу оставил свидетельство о философии таких предприимчивых лиц, которые на протяжении своей жизни вероятно не страдали от моральных сомнений и которые бесцеремонно погнались за прибылью и за славой одновременно однако заботясь о посмертном искуплении своей души”*. Однако, умри, Денис, лучше как бы не напишешь! Другими словами, семейные часовни они финансировали, с настенными росписями.

От посмертно искупленного Михала Смишека осталась только часовня, всё остальное забылось. Откуда он взялся, куда ушёл — покрыто мраком ночи. На стене его часовни изображена встреча царя Соломона и царицы Савской. Царица переходит ручей не по мостику, а рядом с ним, из почтения, в мудрости своей предугадав, что из его бревна будет сделан крест Спасителя. Потолок часовни расписан “поющими ангелами”; поют неслышно и подыгрывают себе на музыкальных инструментах. Для людей прошлого музыка сфер это правда, а не какая-нибудь там аналогия, парабола, гипербола-метафора, и свод часовни — бледная имитация подлинных чудес вселенной. В эпоху барокко никто не сомневался, что небеса состоят из хрустальных сфер, пронизаемых для комет. На каждой сфере сидят ангелы и непрерывно поют, — хорошо поют, как в Капелле. Звёзды и галактики, особенно на фотографиях, полученных телескопом Хаббла, прекраснее ангелов свода Св. Варвары, но музыки небесных сфер, отвергнутой астрономией, мне жаль. Хотя услышь мы пение Великого Космоса, боюсь, мы были бы раздавлены и разлетелись на молекулы: мы маленькие, нам под стать только гудение органа в соборе. Кстати, об органе — его корпус в церкви Св. Варвары был сделан в восемнадцатом веке в стиле барокко. На его консолях, вторя росписям часовни, уселись ангелы и херувимы с трубой,

с валторной, с виолончелью. Самый маленький музыкант играет на двух барабанчиках.

Но самое трогательное, это остатки росписей на стене у входа. Здесь светлыми красками изображены горняки и мастера-чеканщики. Им помогают ангельские музыканты в зелёных одеждах. Фрески выводила твёрдая рука художника с душою простой и прекрасной. И с красками немецкие художники не мудрствовали. И рисунок не усложняли излишней светотенью и перспективой.

Рядом идёт замечательная экскурсия на русском. Спрашиваю экскурсанта — откуда? (Не купить ли и мне в этой фирме?) — “Да это наш”. Что значит наш? “Да вот наш”. Наш, и всё. Захожу с другого конца: А “мы” откуда? “Из Киева”. Всё понятно. Да, в Киеве ещё помнят, что такое настоящий экскурсовод. Я чувствую, что надо уходить, дрожу, что убегут без меня — в такой толпе немудрено. И действительно — нет своих у входа! Всё незнакомые лица. И вдруг, как заколдованные, материализуются, сползаются дождевыми каплями из ключев тумана.

И мы пошли дальше. Мы шли, шёл дождь — уходил, возвращался, стоял на месте. Зонтики то распускались, то опадали. Крыши блестели, камни темнели от влаги. Осенние листья прилипали к подошвам. Мы прошли террасу под названием “мост”. Вдоль обрыва на её ограждении, как на Карловом мосту, расставлены статуи святых на сложных барочных постаментах, по моде 18 века. Из наших общих знакомых на балюстраду попали Св. Варвара, Св. Вацлав и Иоанн Непомук.

Терраса построена над бывшим рудником “Осёл”, по имени животного, которое таскало в нём тачки. Не только под террасой, — под всем городом выкопаны шахты, или, скорее, город был построен над сложной системой забоев, шурфов и переходов, чтобы недалеко было ходить на работу. Из-за них теперь Кутна Гора проседает, но зато можно слазать на интересную экскурсию. Может быть экскурсанты натываются там на коллатеральные потери революции: косточки гуситов, которых когда-то трамбовали в эти шахты.

Не задержавшись на террасе, мы двинулись по узкой кривой улочке, обогнали киевлян, которым скармливали очередную порцию интереснейших сведений, прошли мимо внезапно проявившейся среди домов старейшей церкви Кутной Горы — собора Св. Якуба. Вот бы туда заглянуть, но экскурсией не предусмотрено, и не дай Бог отстать, семеро одного не ждут, наша цель — Влашский двор.

Влашский двор был построен в 13 веке для владов, чтобы они чеканили серебряную монету. Для тех, кто заинтересовался, что это

за влахи такие, сообщаю — это итальянцы. Влашский двор был одновременно и резиденцией некоторых чешских королей. В этом сооружении есть большой внутренний двор, вымощенный неровными камнями. Нас в нём оставили в ожидании местного экскурсовода, и мы залюбовались готической башней с готическим эркером. Тем временем нам вынесли большие лощёные распечатки на русском. Они были размером с развёрнутый лист газеты “Правда” и сделаны были так специально, чтобы их неудобно было вынести с территории музея. Я тут же вернула мою листовку, потому что я не люблю читать во время экскурсии. Я и не подозревала, что тем самым воткнула нож в спину нашей экскурсоводше, но об этом в своё время.

Если бы я была экскурсоводом на Влашском дворе... Я рассказала бы о храбрых промышленниках Кутной Горы, которые устроили засаду чешским баронам и заставили их поделиться властью; Перегрин Пуш, Якоб Вёльфин и Николаус Таузендмарк: какие люди! Я рассказала бы о короле Вацлаве Четвёртом, запойном пьянице и сумасброде, который перенёс свою резиденцию из Праги в Кутну Гору и именно здесь издал свой Кутногорский эдикт, давший чехам в Пражском университете перевес в голосовании. Я рассказала бы о чешско-польском короле Владиславе Ягеллоне, который сменил бездетного короля Иржи Подебрада, — он тоже предпочитал останавливаться на Влашском дворе и даровал Кутной Горе много привилегий. Если бы я была экскурсоводом... Но с таким кипением в груди спечёшься на пятой экскурсии.

Наш экскурсовод спекаться не стал. У него и времени не было. Поскольку на экскурсии были и русские, и нацмены (англичане и немцы), а тратиться на специального экскурсовода организаторам не захотелось, очередной полиглот рассказывал про каждый экспонат сначала на приличном английском, а потом на языке, напоминающем русский. В общем, повторение, мать... Между рассказами были долгие паузы.

Сначала нас завели в залу, где водили вокруг столбиков, на которых сидели монеты. Именно отсюда расползались по всей Европе полновесные, свободно конвертируемые серебряные чешские гроши. Каждый король чеканил своё. Сейчас мне жаль, что у нас в стране это не было принято. Как было бы приятно собрать коллекцию металлических рублей с портретами Хрущёва, Брежнева, Андропова. Ведь я теперь не помню, как выглядел Черненко, а так бы вынул, потёр о юбку и любуйся. Самый первый советский юбилейный рубль выпустили к двадцатилетию победы над Германией. Он был крупный — крупнее обычного металлического рубля, — и круглый, а

королевский грош — кривой и корявый. Почему? Мы выяснили не сразу, а только когда нам показали, как их чеканят.

Этот весёлый цирк был запланирован для нас в следующей зале, но вышла накладка, клоуна не оказалось на месте. Мы долго ждали его. Тянулись безмолвные минуты. В воздухе повисла неловкость, как в лифте высотного здания, где случайные спутники проводят ощутимый отрезок жизни, не находя общих тем для разговора. И вот появляется немолодой человек (молодые работают компьютерщиками), надевает, как Татьяна, малиновый берет, натягивает бархатный кафтан и условно превращается в чеканщика 17 века. (Вспоминается знаменитый спектакль театра Вахтангова “Принцесса Турандот”, где вместо бороды подвязывали полотенце.) Мастер берёт заготовку, кладёт её на чекан и бьёт по ней вторым штампом. Заготовка расплзается между штампами, края у неё неровные, разной толщины, но на ней красивый отпечаток с двух сторон, и нам дарят эти монетки.

Потом нас провели по комнатам, показали большую залу горсовета с торцами в картинах жанра а ля “Суматоха в последний день Помпеи”, или “Фрина сбрасывает купальный костюм посреди городской площади”. На одном полотне при большом стечении стоящего народа сидящий король Вацлав дарует права университетским чехам (но не немцам!). На другом происходит борьба послов за чешский трон. Кого выберут? Я за мужика с вислыми усами, но выбирают не его, а младенца Владислава Ягеллона, которого он представляет. Подобные картины поучительны; можно долго и с пользой для себя рассматривать, как люди одевались, и что там у них на тарелках леживало.

В зале светло, но в толстое стекло ничего не видно. Наверно, смотреть в средневековые было не на что, за окном грязь, помои, свиньи. По краям окон бутылочные донца в круглых переплётках, а посередине вставлены витражи с гербами. На них вроде бы всё честь по чести — рыцарский шлем под щитом, а из-под него сбегает вниз каскад страусиных перьев, но вдруг на щите рыбка или грабли, наверно атрибуты местной интеллигенции, и вспоминается герой Салтыкова-Щедрина, у которого на гербе сосуд с ручкой и девиз “Не пролей!”

Гвоздём, на котором висела программа экскурсии, была королевская часовня, небольшое помещение со стрельчатым сводом, опирающимся на центральный пилон. Тут нервюры отвечали техническому назначению и от потолка не отлипали. Стены расписали недавно, в эпоху югендштиля (модерна). Да, точно модерн, ошибиться невоз-

можно — стилизация, и вместе с тем реализм, перспектива, густые, тёмные цвета, и слишком много плодов напряжённой мысли и буйной фантазии. Прищурившись, можно представить былые фрески, простого сюжета, писанные светлыми растительными и минеральными красками, без полутонов, без трюкачества перспективы, — вроде тех, что мы видели в Св. Варваре.

Но есть в часовне и старые вещи — несколько небольших алтарей, один из них из раскрашенного резного дерева. И ещё удивительное распятие — с тайником. Я иногда задумывалась над тем, зачем скульптура, в чём смысл этого искусства. И тут впервые я выяснила, что от неё есть непосредственная польза — в ней можно прятать документы. Можно что угодно для этого приспособить, потому что в крупных гипсовых бюстах всегда есть дырки, и деревянные скульптуры 15 века тоже делали полыми, чтобы они не растрескивались. Представляете, сколько нелегальной литературы можно было в них упрятать?

Когда мы вышли из музея, началась разборка в стиле *“Государь мой, кто кильку съел?”*: Господа, кто тиснул описание на русском? Я подозреваю, что в этом была виновата я. Наверно, когда я возвратила листовку, с нас её не списали. Но ничего уже не докажешь, и наша бедная экскурсоводша за неё заплатила. Наверно она подумала: “Беда с этими русскими — такая шантрапа!”

После этого все поперли в пиццерию, потому что в программе была закуска. А я решила пропустить экскурсионное пиршество и в это время посмотреть этот удивительный город, на который нам времени не оставили. И вот тут я пала жертвой бессмысленной любви. Ко мне подошла дама средних лет (среднее моих), из тех, кто редко выезжает за границу, и никогда без экскурсии, и стала проситься ко мне в компанию. Она смертельно боялась потеряться, и не умела читать карту. Ясно, чем такое оборачивается — ничего не помотришь. И сама не ориентируется, и в меня не поверит, и будет беспрерывно ныть “пошли к автобусу”. И я, естественно, буду её слушаться, ведь в компании надо учитывать интересы других людей, потому что они не учитывают твоих. Собственно, можно и нужно было отправить её поесть пиццы со всеми, (ведь не подстрелили, не с поля боя её выносить), но я не смогла, и мы пошли по Кутной Горе вдвоём.

Дождь перестал, снизойдя к нашей прогулке. Осенний воздух был отмыт дождями до прозрачности. Город был жёлт и полон света от своей барочной желтизны, несмотря на пасмурный день. Людей

было немного — туристский сезон был на излёте. Мы прошлись двумя улицами, смотрели на чудесные маленькие дома. Кто-то в них живёт, а кто-то торгует пончиками или сувенирами. На площади стояла колонна, длинная, украшенная лепкой, с богато орнаментированным постаментом, как любили в 17 веке. На перекрёстке мы увидели колодец, опоясанный резным забором в два человеческих роста, казавшийся короной, упавшей с неба. В городе было когда-то ещё больше барокко, но сгорело.

Я мечтала о спокойном кафе, где хорошо бы выпить кофе и *заесть ореховым пирогом*, подумать, помечтать, но такое возможно только, если ты приехал один. Моя спутница всё время занудно ныла и требовала доказательств, что мы идём в нужном направлении. При моей попытке заглянуть в церковь вездесущего Непомука, она чуть не разрыдалась. *Да, вода и камень, лёд и пламень, конь и трепетная лань*, сигара и сигарета, ёлка и палка... нет, всё не то; на самом деле мать и плаксивое капризное дитя. Пришли за полчаса до срока, я в досаде, она в простодушной радости: “Ничего, я вчера так устала и хочу посидеть”. *Весела, как котёнок у печки, и как роза румяна, и бела, как сметана* (сметанная цитата навеяна голодом; и пиццы не съела, и город не посмотрела). Почему меня всё время тянет помогать? Ведь я сама уже пожилая женщина. Я уже сама могу подходить к молодёжи и требовать — спасайте и заботьтесь! Пройдёт немного времени, и я стану такой же несмелой, медленной, но предчувствую, что младое поколение не поспешит мне на выручку.

Но давайте воспарим, поговорим о возвышенном, например о пиве. Сюжет подавала наша экскурсоводша, которая, глядя на серенькое небо, сказала неожиданно складно: “В это время года лучше посидеть с друзьями у камина, в пивном баре”. Чтобы пить пиво, надо любить или пиво, или компанию. Папа любил хорошее пиво. Чтобы его порадовать, я привезла из командировки в Голландии много бутылок чешского пива, в коробках из-под молока, для амортизации, и вечерами устраивала ему дегустацию. Тогда у нас дома было уже очень невесело. Но не знаю, развеселила ли — если поселилось большое горе, мелкими радостями его не скрасишь.

Поэтому я лучше вспомню отца в Праге, нестарого, может быть счастливого. Папа любил запивать пивом “капра на рожне” (карпа на вертеле). У папы остались самые лучшие впечатления о чешском пиве. Говоря о пиве, папа всегда упоминал, что оно полезно, варится на целебной воде, и излечило его сослуживца от язвы желудка,

а мама всегда ему возражала, что пиво — алкогольный напиток, и полезным быть не может. Пиво по мнению чехов должно быть крепкое “яко хрен”: вырви глаз, то есть. Наверно, хорошее пиво не всем впрок — Путин жаловался, что его разнесло с немецкого пива. Зато теперь он молодец, такой живчик, хотя немного опухший — наверно пьёт отечественное, от него не располнеешь, потому что наиболее питательные ингредиенты загодя съедают мыши на “Красной Баварии” и “Красном Степане Разине”.

Заведения из папиных рассказов до сих пор существуют: пивная “У краловны Элишки”, пивная “У Калихи”, в которой с любовью сохраняется память о Швейке. Папа привёз нам из “У Калихи” стаканчики и картонные подставки с портретом Швейка, работы Йозефа Лады. Когда мне было тринадцать лет, мне казалось, что ничего смешнее “Швейка” быть не может. С тех пор моя способность воспринимать высококачественный гашеков юмор сильно полиняла. Да и Чонкин мне не мил. Отупела я с возрастом. Любопытно сравнить, как глумливые книги Войновича и Гашека различаются взглядом на собственный народ. Вот русский — Чонкин, честный имбецил, — *доверчив, как Отелло* и пьёт самогонку из дерьма. Вот чех — Швейк. Ему палец в рот не клади, его на кривой козе не объедешь, *он не струсит, он выпьет пива и закусит* кнедликом. А вдруг писатели правы, и солдат, сваривший щи из топора, принадлежал к чешскому легиону? У Швейка были пессимистические взгляды на природу человечества. Один из его афоризмов угодил на стенку “У Калихи”: *“Каждый человек думает, что он что-то, а на самом деле он”* . . . ну, в общем, сырьё для чонкинского самогона.

Может, я и выпью пива у Калихи или у краловны Элишки, и тогда непременно закушу свиным коленом, ради экзотики. Блюдо это может вызвать потрясение. Мой приятель, двухметровый австриец с нежным именем Флориан, как-то заехал по пьянке в Чехию и попал в пивную. Не зная чешского, заказал наугад, принесли колono, “и тут я сразу протрезвел. . .” Я видела свои рентгенограммы и знаю, что мяса в колене мало. Значит, есть другие какие-то достоинства. Но вообще-то пивбаров я стесняюсь и норовлю из горла где-нибудь в подворотне. Поэтому вместо пивной можно сходить в театр.

В Праге есть куда пойти, даже если не знаешь чешского: на “синтетические” (многопрофильные?) представления “Лантерны магички”, на кукольные спектакли. Во множестве церквей есть вечерние органные концерты, хотя и несколько однообразные (*раздаётся Бах, потом Шуман* . . .), или вот можно послушать камерную музыку; я

купила билеты на “Две гитары”. Или опера?

По части оперы в Праге три театра, два крупных (Национальный театр и Государственная Опера) и один некрупный — Ставовско Дивадло. В некрупном дивадле всё время идёт “Дон Жуан”, со времён премьеры. Есть чудная новелла Эдварда Мёрике “Моцарт в Праге”, о поездке Моцарта из Вены в Прагу на репетицию “Дон Жуана”. История началась с кареты... Или с апельсина. По дороге в Прагу Моцарт случайно заходит в чужой сад, в рассеянности срывает с чужого дерева апельсин и режет его ножичком. Да, и Моцарт туда же! Да, и Моцарта, а не только нас с вами нельзя пускать в Павловский парк: всё изрежем и искоблим! Моцарта тут же задерживает вневедомственная охрана... нет, я не буду пересказывать эту прелестную историю, вы её сами прочтёте. Она полна светлой печали, как положено романтической новелле.

Кроме “Дон Жуана” в Ставовском дивадле идут и другие оперы Моцарта: “Фигарова свадьба”, “Унос зе сералю”, “Кузельна флетна” (последнюю оперу я активно не люблю). Идут и пьесы — “Ревизор” Гоголя, “Слуха двою пану” Гольдони.

Национальный театр (Народни дивадло) построен в 1883 году на народни деньги чешских чехов. Государственная Опера (Статни Опера), бывший Новый немецкий театр, построена в 1885 в пику Народни Дивадлу на народни деньги чешских немцев. Народни Дивадло открылся оперой Сметаны “Либуша”. Статни Опера открылась оперой Вагнера “Наш ответ Керзону!” (Нет, кажется не этой, а другой: “Нюрнбергские мейстерзингеры”). Два театра сосуществовали для разных групп публики, до 1920 года, когда чешские патриоты сгребли в одну кучу работавших в Немецком театре немцев и евреев и спустили их с театральной лестницы.

Вот меню Народни дивадла: “Унос зе сералю” (опять!), “Краль Лир”, “Конец мясопусту” Льва Толстого, и конечно всеми любимый “Лускачек” Чайковского. Вот меню Статни оперы: “Травиата”, “Кармен”, “Жизель”, “Севильский лазебник”, “Мала морска вила”, известный хит Чайковского “Лабути езеро”.

Не интересует? Ну ладно, тогда в “Краловну Элишку”. Там уже засел златоустый хризостом Либор Крейчиржик.

Битва железных кастрюль

На двух высоких пражских холмах, на двух разных влтавских берегах, друг напротив друга стоят две крепости — Вышеград и Градчаны. Сначала, в девятом веке, возникли Градчаны, а потом,

в десятом, Вышеград. Сейчас два королевских замка в одном городе кажутся излишеством, но в старину старались построиться на каждой кочке, потому что сверху удобнее кидаться камнями в проезжих. К четырнадцатому веку оба замка успели развалиться, и были восстановлены живительной заботой короля Карла, но вотще, втуне и т. д.: пришли гуситы и в попу разнесли карлово богатство.

Революционные массы могут невероятно быстро разломать всё то, что сами же и строили. Любое строительство происходит по призыву, или ради заработка, — и наверно поэтому Народ (в высоком смысле этого слова), неспособен пылать национальной гордостью по поводу городов и замков, что мы сейчас и видим на примере Петербурга: отдельные личности пицчат, что, мол, не надо разрушать с трудом нажитое, хотя бы из жлобских соображений, ради туризма, но большинству-то всё равно. В прошлом Петербург убеждали от стеклянных слезин и кукурузных початков только провинциальность и нищета бюджета. Зато взрывчатка была доступна по цене, и то и дело в разных концах города раздавалось весёлое “Бум!” и появлялось множество мраморной крошки.

Как бы то ни было, Градчаны возродились ещё раз, а Вышеград помер. Ну, что там в Вышеграде осталось? Виды с верхотуры, перестроенный храм Петра и Павла с обильными росписями и витражами эпохи неоготики, и кладбище Славин для самых славных. Здесь похоронены художник Муха, поэт Маха. Русскому человеку трудно представить, что Муха и Маха могут совершить что-нибудь серьёзное, но говорят, у персиян вызывает спазматический смех фамилия “Кирпичёв”, а что уж в ней такого? Альфонс Муха, — до того, как он вернулся в Чехию и переключился на патриотические картины, — выдумал в Париже Арт Нуво, а Карел Маха, как Лермонтов, умер молодым, но успел написать поэму, с которой началась чешская литература 19 века. Изначально Карел Маха был похоронен в Судетах, но после “Мюнхенского договора”, перед аннексией, его останки успели перезахоронить в Славине при большом стечении народа. За недостатком времени и любопытства я в Славин не ездила, не была в Вышеграде. Я поехала в Градчаны, на трамвае.

В современном городе хочется ездить на метро, а в старинном — на трамвае. Метро быстрее, трамвай интереснее. Я люблю трамваи. Мне нравятся их переливчатые повизги и перестуки, нравится сидеть высоко и видеть далеко. Я знавала их угловатыми и старомодными, с маленькими окнами и дугообразными дугами, поднимавшимися, а не складывавшимися гармошкой, как теперь. В

трамваях тогда были тамбуры и жёсткие лакированные сидения; я ездила с бабушкой, и она всегда сажала меня к окну. Привилегии детства! Никогда они не возвратятся, и никогда больше окружающий мир не повернется ко мне доброжелательно-заботливой стороной! Воспоминание из тех, что вытравлены в памяти первыми, и будут стёрты последними: поездка домой с Варшавского вокзала; петербургский полусосенный полувечер, полупустой трамвай, панорама построек Московского района, полнота жизни. Поездку можно датировать международными событиями, — в 1959 радио ругало скверного Батисту, и бабушка объясняла мне, что батист — это тонкая ткань. Мне было три года. Мир был полон неясных ответов. Каждая мелочь казалась чудесной.

Каждый ребяческий опыт становится пожизненным, с каждым детским выводом невозможно расстаться. Ещё ребёнком, наблюдая за кондукторами, Людмила Петрушевская вывела гендерное правило: самцы, отсчитывая сдачу, высыпают мелочь на ладонь, а самки непроизводительно роются в кошельке. Мне неудобно перед Людмилой Петрушевской за то, что я исключение — я выбираю монеты с ладони. Я во многом — в мечтах, в ожиданиях, в самоощущении, — выпадаю если не за три, то за две сигмы, отведённые женщине общественным мнением. Впрочем, рамки женственности жёстки, и многим из нас отказано в соответствии, несмотря на наличие утробы.

Кондукторы и мне были милы и занимательны. Их работа требовала недюжинных математических способностей, потому что каждому пассажиру нужно было оторвать правильную комбинацию билетов от висевшей на груди колодки разноцветных роликов. После поездки билеты ещё долго вываливались изо всех карманов, мягкие и скатанные в комочки.

Когда я подросла, феи из горсовета заколдовали кондукторов и превратили их в кассы со щелью для монет и билетным рулоном “юнисекс”, на все случаи. Некоторые трудящиеся предпочитали отрывать билеты, не опуская монет, но в целом люди вели себя честно, и даже не воровали деньги, передаваемые к кассе по цепочке — чудеса, да и только. Это было связано с рабским менталитетом советского человека. После перестройки народ расправил плечи, поднялся с колен, отрастил длинные заячьи уши и перестал платить. Связь передачи монет от пассажира к пассажиру распалась, и один джентльмен при мне даже оскорбился, когда дамочка попросила его об этом, и сказал: “А ну-ка выйдем и поговорим!”

Феи Мелюзины сначала растерялись, а потом расколдовали кассы и компостеры и снова превратили их в кондукторов, но уже без

красивых наборов катушек на груди. Кондукторы второго поколения и другие приметы капиталистического образа жизни, а именно консержки, вызывают у меня тоскливое сосание под ложечкой. Эти полезные члены нового общества ассоциируются у меня с Большим домом и другим заведениям, где был вход по пропускам. Раньше я смеялась над вопросом запыленных практикантов из Московского университета: “А где получить пропуска?”, — и, с привычным превосходством петербуржца, отвечала: “Успокойтесь, вы не в Москве!” Теперь моему снобизму подрубили корни; в Санкт-Петербургский университет вход тоже по удостоверениям, и видимо не зря. Задумаешься, какие это люди завелась в Петербурге, если вдруг потребовались кондукторы и консержки?

Как жаль, что в центре Петербурга трамваи были убиты и съедены автомобилями; над маленьким человеком снова восторжествовал большой, и застрял в пробке. Но в Праге трамваи процветают. Их линии многочисленны и остановки часты. На каждой остановке водитель назидательно произносит: “шишке — заставка” (хочется продолжить “голому — рубашка”), а пассажиры компостируют “непреступные йизденки”, купленные в автомате у метро. Трамваи Праги рассчитаны на промежуточных прохвостов — кондукторов в них нет, но есть контролёры.

Чехи испытывают нелюбовь к контролёрам, а контролёры к чехам. Я тоже плохо отношусь к контролёрам. Контролёры нужная профессия, но в них есть что-то такое... Может быть я очерняю эту славную профессию, может быть эти строчки смертельно обидят человека, который с детства мечтал стать контролёром и ещё в десятом классе навещивался в Большой дом узнать, где и как их готовят. Не он один такой. Да разве не живёт в каждом из нас желание кого-то ущучить и пригвоздить? Пусть в собачьей будке, на цепи, но живёт и ждёт своего часа? Редко удаётся *выдавить* контролёра *по капле* хорошим воспитанием.

Обычно мне хватало моей преступной йизденки на одну поездку, но иногда с трудом, а при поездке из Нового места в Градчаны и вовсе не хватило. Йизденка стала преступной у собора Св. Микулаша, но я из трамвая не вылезла, — не хотела спрыгивать как раз, когда трамвай полез на высокую гору, — и, трепеща от страха, проехала зайцем оставшиеся несколько остановок. Контролёр за мной так и не пришёл, никогда не пришёл, хотя я ждала его в каждой поездке, как Годо, и вспоминалось, *как мы работали на виноградниках в Воклюзах*, хотя странно, вроде я в Воклюзах никогда и не была...

Подходя к замковой территории Градчан, первым делом видишь П-образное здание в стиле барокко. Ножки “П” связаны решёткой с воротами. На исполинских пилонах ворот происходит битва гигантов в исполнении титана 18 века Игнаса Платцера. Сюжет странноватый, но выигрышный. Сравните: вот в парке Вышеграда есть скульптурная группа Йозефа Мысльбека “Пржемысл и Либуша”. Пржемысл сидит, устремивши взор вдаль, а Либуша, тронув его за плечо, указывает на светлое будущее. Такой скульптурной группе уготовано куковать в малопосещаемом садике, так они и будут сидеть и карьеры не сделают, а вот если бы, *рукавица и топор*, Либуша *му-жа об забор*, они непременно попали бы на пилон государственного здания.

Под пилонами с битвой гигантов смиренно стоят часовые. Они оживают только при смене караула. И как они исхитряются сохранять серьёзность в этом ритуале? Это балет, пантомима, собирающая множество зевак. Задумываешься, каким дураком был государь Павел Петрович, который заставлял солдат вот так же мучиться, превращал их в Щелкунчиков: вытянутые носки, бой с мышинным колём. Игру он такую, видишь ли, придумал.

Пройдя первый двор, я оказалась в другом, где покупают билеты. Здесь же заходят в картинную галерею с остатками некогда обширной коллекции императора Рудольфа и в канцелярию президента Чехии. Я прошла в следующую подворотню, и тут у меня прямо перед носом оказался готический портал собора Св. Вита, Св. Войтеха и Св. Вацлава. Удалось ли мне провести читателя на мякине, или он уже держит ухо востро после мюнхенской ратуши? Да, естественно, ничего старинного, перед нами новодел 19 века, а его роза, цветок со множеством стеклянных лепестков, доделана в 1925 году. Удивительно, как много соборов были построены или надстроены в стиле неоготики и в Европе, и в Америке! В Германии и Чехии множество достроек 19 века, и чем готичнее и экзотичнее, тем подозрительнее происхождение здания.

Собор Св. Вита начали строить в 14 веке ещё при Иоанне (Яне, Жане) Люксембургском, на месте небольшой базилики. Основную его часть строил при короле-императоре Карле IV Петер Парлер. Собор закончили быстро, или решили, что закончили. В его силуэте шестьсот лет верховенствовала великолепная вместительная колокольня с колоколом Сигизмундом, сообщая собору немецкую солидность, крепость и силу. Мне больше нравится прежний вариант, а чехам он не понравился. В 19 веке решили, что собор должен быть продолжен нефом. За спиной у колокольни выросли две чёрные те-

ни готических башен, — выросли, но так и не доросли до её высоты, и шпиль колокольни до сих пор царит над Градчанами и крышей собора.

Стремление приставить собору длинную вытянутую морду привело к тому, что он упёрся в соседнее здание. Будь я фотокамерой, я бы расплакалась от огорчения, кляня неудобный угол обзора, из которого видно только клочками, но я — видеокамера, и могу водить своими объективами вверх и вниз, вбирая всю изощрённую готическую скульптуру и искусные переплёты розы; только вот ракурс не тот, не впечатляющий.

Крыша собора покрыта узором из ромбов с крестиками внутри, и если спросят меня, где я ещё видела такой узор, отвечу — в Венеции, на стенах самых старых палаццо. Крыша видна издали, а если вблизи, то с большой площади, на которую попадаешь, обойдя собор справа. На площади Св. Георгий на толстошей лошади *тычет змея копием*, а из того бьют струи прозрачной воды, просачиваясь в решётки люков вокруг постамента. Скульптура эта является новейшей фантазией на тему барочной бронзы... Взглянем ещё раз, и в справочник. Ба! Ба, ба, ба-а — смущённое бляенье. Лыцарь оказался 13 века. То-то он такой перекорёженный, как “от Иеронима Боша”, в просторечьи Босха.

С площади в собор когда-то входили через тройной портал Золотые врата. Над Золотыми вратами венецианцами в 15 веке была выложена мозаика Страшного суда, выше неё сделано огромное окно во всю ширину портала, с изящным кружевом переплётов, с мелкой расстекловкой. Слева от портала на здании колокольни виден оконный проём, забранный решёткой из завитков золотой травы, а над окном великолепные часы, на сей раз совсем уж не похожие на Глокеншпиль, без глупостей и фигурок.

На паперти портала находится знаменитое сплетение летучих нервюр, изобретённых Питером Парлером. В отличие от традиционных рёбер-нервюр, необходимых для укрепления крестового свода, летучие рёбра вспархивают с колонн и расходятся кверху, как пёрышки лука, для забавы, для украшения, безо всякой практической цели. Но посмотреть их мне не удалось: крыльцо затянато сеткой по случаю ремонта — опять спохватились поздно, опять не успели подправить, подкрасить к моему приезду.

Со старыми зданиями Праге повезло — если что и погубило, так от времени, не от бомбёжек. Окна собора, которые снаружи полны тёмной воды, внутри, в неоготическом нефе, загораются многоцвет-

ными витражами в стиле Арт Нуво, некоторые из которых сделаны самим Альфонсом Мухой.

Собор посвящён Св. Виту, покровителю танцоров и неврологических пациентов, Св. Войтеху, пражскому епископу 10 века, (раскрытие псевдонима: Св. Адальберт), и королю Св. Вацлаву; последнему посвящена главная достопримечательность, святыня собора, часовня, расписанная фресками и облицованная пластинами полудрагоценных камней. Так же украшена и сокровищница Карлштейна, поскольку обе построены в соответствии со вкусом одного и того же человека, Карла IV. Я говорила вам, что строил он обильно и с размахом.

В самом соборе внимание привлекает помпезная рака Св. Яна Непомука, сделанная со всей чрезмерностью, на которую способно барокко. Неподдалёку находится скромная, по сравнению с непомуковой, гробница императора Фердинанда Габсбурга. Белый лев у могилы императора с горькой улыбкой сжимает в руке обломок меча. Первое, что приходит в голову, когда ты натыкаешься на могильную плиту исторического персонажа — ёлы, он действительно существовал! Фердинанд в чешской истории просуществовал активно. Чехи гордились тем, что они короля выбирают, но не всегда заботились о том, чтобы выбрать правильно — это порок всех демократий. После смерти своего, местного Иржи Подебрада поставили на польского младенца, который и выросши правил издалека, из Варшавы, и никому не мешал. Когда Ягеллоны кончились, чехам захотелось такого же — чтобы был дальний правитель, не стеснявший баронов, — и выбрали Фердинанда Г*. Отличительной чертой Габсбургов, сидевших тогда на тронах Испании и Священной Римской империи, были ненависть к утраквистам и Богемским Братьям, к вольностям городов и привилегиям чешского дворянства, и фанатичная преданность католицизму, пугавшая даже папу. Чехия пережила гибель Пржемысла Оттокара, правление Яна с Лучембурка и гуситские войны, но вот чего она не пережила, так это Габсбургов. Кончилось тем, что Габсбурги раздавили Чехию. Первые, самые важные шаги на этом пути совершил Фердинанд, который понял: политика — что японские облавные пашки; важно выставить нужные фишки на ключевые посты. Интересно и страшно смотреть, как это делает хитрый и злобный человек в наше время, в самой демократической (по определению) стране. Представьте последствия, когда подобный человек становится королём.

Неподдалёку от собора находится королевский дворец, построен-

ный в те времена, когда никто и не помышлял об отдельной комнате, спали все вповалку — так безопаснее и теплее, — но необходимы были огромные залы для праздников и приёмов. Парадный зал, он же и гимнастический, потому что в нём при плохой погоде проходили рыцарские турниры, находится на верхнем этаже, и на соревнования въезжали верхом, в боевом облачении, по широкой лестнице с мелкими ступеньками, удобными для конника. Длина зала 62 метра — это много, вроде положенного на бок восемнадцатизэтажного дома. Потолок зала украшен толстыми жгутами летучих нервюр, сплетающимися в цветочные лепестки, розетка в розетке, как махровый амариллис. *Знакомый почерк!* Построил зал для короля Владислава Ягеллона Бенедикт Рейт, который потом достраивал Св. Варвару в Кутной Горе.

Разумеется, средневековый стадион на курьих ножках впечатляет своей идеей. Несмотря на битвы железных кастрюль пол зала не прогибался благодаря чудовищно толстым стенам и перекрытиям. Правильно одетый рыцарь не только много весил, но и много стоил; при нём было несколько боевых коней разного назначения и несколько человек прислуги. Вот что странно: такой “железный дровосек” всегда был неэффективен. Причины появления этого бессмысленного феномена обсуждает Вильям Розен (“Третий всадник: перемена климата и великий голод 14 века”). Он считает, что рыцари существованием своим обязаны были именно своей дороговизне, которая обеспечивала “эксклюзивность” этого сословия и поддерживала кастовую иерархию феодализма. Объяснение феодализма у Розена тоже интересное, связанное с географией. Не с мистическими гумилёвскими пассионариями, а с четырёхсотлетним потеплением, которое привело к увеличению урожаев и непропорциональному росту населения, и как следствие, к освоению и захвату новых пахотных земель, потому что кушать-то ново-народившимся захотелось. В такой обстановке или происходит война всех против всех (см. Руанду и Россию), или возникает сложная иерархия с тотальным контролем за раздачей земли — феодализм там или социализм. Мне эти объяснения кажутся разумными. Хотя может быть это очередная народная этимология, *полуклиника* и *пастеризованное* молоко.

В Градчанах мой папа несомненно был, но я не помню его рассказов. По-моему он не очень интересовался историей. Я говорю “по-моему”, потому что не знаю наверняка. Знаете, как обычно с родителями? Мы никогда с ним не говорили о том, чем он интересуется. Вообще мы все в основном жили, а не интересовались.

Я думаю, он приходил так, как приходит множество людей — не очень понимая, что тут и зачем. Этому малообставленному замку не хватает драмы, действия. Странно выглядят залы без мебели и с людьми в неправильных костюмах. Пустая оболочка не зацепляет за сознание. Единственно, на что можно смотреть, не зная подоплёки, это природа. Её оценить может и неграмотный. А вот то, что построили люди много веков назад, может показаться очень скучным, особенно если его потом ободрали заезжие молодцы.

Колдовство Рудольфа

Ну, значит, вот: кружу по этим самым залам, изредка испещрённым гербами незнакомых мне трудящихся... всё такое одинаковое... гадаю — я тут по первому разу, или уже по второму, — и хочется оживить это занудство. Тем более, что я в правильном для этого месте: говорят, в Чехии дешёвы натурные съёмки и снимают что ни попадай. Вот и мы тоже можем. Вот, допустим, экранизация “де Бражелона” — виконта, которого младенцем подкинули Атосу с запиской “В следующий раз купи презервативы”? Вот вы всё зубоскалите, а Атосу было не до смеха. Он чуть не обалдел от пелёнок и питательных смесей. Нет, оставим Атоса, лучше выжмем досуха градчанскую натуру; будем бить в историческую точку.

Читайте сюда. Сценарий номер раз, историческая реконструкция: 1618 год, Пражское восстание, Дефенестрация № 2 (королевских чиновников из окна Пражского замка). Площадь очищена от туристов. “Мотор!” Топот копыт, камере в нос — секиры. “Кто?” “Иоганн Фабрициус, секретарь королевской администрации! Грамота от государя!” Ручная вихлявая камера, сопя и пыхтя, торопится вприпрыжку по каменным ступеням. Растворяются двери, и камера робко скользит взглядом по зале. Сквозь переплётцы окон тянутся пальцы света, оставляя пятна на въевшейся пыли мраморного пола. Камера, спотыкаясь, наездом бумагу — на дубовый стол. Пятеро шепчутся. Камера повторяет движение высокого над грамотой: “Государь протестантам отказывает!” Переключка крупных планов. Маленький: “А где остальные?” Высокий: “Учюяли. Разбежались!” Гулким шёпотом: “А может и нам?”

Шум за кадром, испуганным наплывом дверь, камера пятится от человека в латах и толпы за ним. Вскрик: “Вот они, крысы!” Высокий: “Не мы, — по повелению государя!” Маленький: “Вот грамота императора. . .” Сквозь “Бу-бу-бу. . .”: “Хватит, кончайте!” Звенит стекло. Камера, метнувшись в сторону, замирает, болезненно мор-

щится и дрожит... Волокут высокого, трое, проталкивают в проём распахнутого окна. Го-го-го, навалились, дёрнули, пнули... Порядок! Камера в ужасе сглатывает слюну. За ним и маленького, тот зацепился за подоконник: “Исповедника! Исповедника!” Человек в латах бьёт его ножами по суставам, раз, другой, пальцы разжимаются.. Громкий шлепок за окном. У камеры, часто, по-заячьи бьётся сердце, и повернувшись, крадучись, к стеночке, к стеночке, в дальний угол... Капли пота на лице Иоганна Фабрициуса, рука на его плече: “Стой!” “Да я — секретарь! Я, я — никто...” Громко, в уши и по ушам — страшное: “И его туда же!”

Сценарии сдаём с первого предъявления! Неясно, но экспрессивно. Продюсеров просят высылать деньги на а/я № 129856. Вот ещё один — берите, пригодится! “Мотор-р!” Окна под потолок, забитые досками, свет только через верхнюю панель. Камера бегло скользит по шкафам с редкостями: чучела, черепа, заспиртованные уроды. С любопытством рождается крупный план: на столике крошечная табакерка из резной слоновой кости. Тянется к ней рука с набухшими жилами. Камера отъезжает, высокий старик в тёмно-зелёном камзоле прячет табакерку в карман. Стоящий спиной, в чёрном, поворачивается: из-под берета — злые глаза, нижняя челюсть карнизом. Вору в ухо, посохом, сбивая с ног: “Забыл, кто здесь император?!” Старик, с пола: “Государь, государь, за что?” “Стража!” Стражники увлакивают старика из кадра, и женщина в бархатном платье валится в ноги чёрному, и тяжело бьётся в уши эхо: “Отец, отец, отец!”... Объектив заволакивает слеза.

“А эта бредятина откуда?” Это сцена из жизни Рудольфа, любовницы Рудольфа и отца любовницы Рудольфа (напомните, как называют отца любовницы, — “деверь”?). Рекомендую, Рудольф. Для тех, кто его ещё не знает — император и чешский король. Лицо Рудольфа общеизвестно — все видели его портрет, составленный Арчимболдо из подручных средств: брови — гороховые стручки, нос — груша, щёки — яблоки, губы — вишни (извините за пошлость), шкура ореха — щетиной на подбородке, усы — спаржа, грудь из тыквы, серьга из фиги, *Жорж Борман, нос оторван, вместо носа папироза*. Впрочем всяко бывает — вот у возлюбленной царя Соломона груди были как гроздья винограда, и ничего. Но по-моему, если уж рисовать его портрет, так в историческом контексте: годы жизни — эпоха великих географических открытий (р. 1552–ум. 1612); родственники — испанские Габсбурги с челюстью ковшом: мать, инфанта Мария, её брат Филипп Второй, при дворе которого воспитывался Рудольф.

Став императором, Рудольф перенёс столицу в Прагу. Почему, не особенно ясно, так как был он католиком и утраквистов не любил, особенно радикальную организацию «Богемские братья». Наверно не по душе ему были и цепкие когти венской католической верхушки. Под предводительством Рудольфа Прага расцвела, как при крале Кареле, снова превратилась в столичную штучку, наполнилась деловым людом из разных стран, приделалась, приукрасилась, обзавелась приличествующими метрополису бандитами и борделями.

Рудольф покровительствовал людям искусства и науки и собирал вокруг себя ювелиров, астрономов и алхимиков. Любопытство его не имело границ, так же как потеряла границы карта мира под напором новооткрытых земель и континентов. В соответствии с тогдашними интеллигентскими вкусами познавательность была важнейшим атрибутом предметов искусства. Самого познавательного из художников Рудольф унаследовал от отца, императора Максимилиана, которому тот рисовал смешные картинки маслом. Звали его Джузеппе Арчимболдо, и был он большой шутейник: писал портреты придворных, иногда с сюрреалистическим душком; писал перевёртыши — вроде обыкновенный натюрморт, только овощи слишком плотно уложены в миску и торчат как-то странно, а перевернуть, и оказался садовник с бородой из корнеплодов хрена, щеками из луковиц, губами из грибов и носом из чего-то такого, что страшно описывать. Или повар, рожа которого сложена из жареных цыплят и поросят. Были аллегории: Огонь, Вода, Земля — Воздух (стихии, а не ракеты); информативно — я, например, узнала, как выглядят средневековые зажигалки — огнива; одно согдилось для носа, а другое для уха Аллегории огня. Времена года — угадайте, как они называются! Не угадали? Ну, слушайте. Зима (старое дерево, сучок вместо носа, трутовик вместо губы), Весна (вся сплошь из цветков), Лето (усыпано фруктами, и хорошо, что они рисованные, а то бы посетители не удержались, и от Лета остались бы только черенки и косточки). Животный мир — зверюшки, все в куче, пушистые или блестящие!

Некоторые картины получились у Арчимболдо как воскресный базар, а некоторые — как барахолка. Они пестрят эмблемами Габсбургов — намёк на то, что Габсбурги многогранны и вечны, как природа. В наш быстрый век из-за обилия предметов разглядеть такие ребусы толком не удастся — одолевает страсть к перемене занятия. Отношение к этим картинам может быть разное. Сальвадор Дали испытывал восхищение, Анджело Рипеллино — опасливое отвращение. Максимилиан от души смеялся и дарил их знако-

мым королям. Я (с чистою душою и бедным воображением) воспринимаю их как ботанические, зоологические, этнографические иллюстрации.

Резчики по камню и ювелиры создавали специально для Рудольфа причудливые барочные чудеса. Благодаря Рудольфу родился богемский хрусталь, когда камнерез из Вестфалии Каспар Леман (“штайншнайдер”, портной по камню) вместо природного горного решил поупражняться на рукотворном хрустале. Рудольф приглашал художников и мастеров из Голландии, Италии, немецких княжеств. Проблема эмиграции в то время не стояла, следовали за покровителем. Двор в Вене и ты в Вене. Двор в Праге, и ты в Праге. Некоторые попадали в ловушку — им потом не разрешалось вернуться домой. Люди искусства были челядью Рудольфа, и занятия их были разнообразны. Арчимбольдо придумывал костюмы для фестивалей и ездил в Германию закупать редких животных. Он же потом и зарисовывал этих зверей. Зарисовывать нужно было всё, особенно недолговечное, и Арчимбольдо попало, когда он по пьянке упустил зарисовать особенную лилию.

Из естествоиспытателей Рудольф приютил Тихо Браге и Кеплера, но предпочитал алхимиков, колдунов и предсказателей, что протистительно: они все тогда считались учёными; все сочетали “лженауку” с “не лже”. Ведь и Кеплер на старости лет ради куска хлеба стал астрологом генерала Валленштейна. (Работой своей он гнушался и в отместку сочинил Валленштейну поганый гороскоп, от которого генералу не удалось отмыться даже посмертно). Всё та же каша в мозгах осталась и сейчас, только границы переместились. *Есть многое на свете, друг Горацио*, которого теперь нету — Аполлон, астрология... алхимия когда-то была модна, а сейчас немодна. Сейчас, если учёные пообещают наделать нам золота из пищевых отходов, мы им не поверим, но почему-то верим в возможность магической пилюли, которая излечит от рака, ожирения и интернет-зависимости.

Собственно, разобраться трудно; академик Несмеянов наметал икры из мазута. Алхимики оказались правы насчёт трансмутации элементов, просто они взялись за дело не с того конца, негодными средствами. Лысенко предугадал открытия современной эпигенетики, хотя вроде Ленина на субботнике схватился не за тот конец бревна. В интеллектуальной истории человечества сбываются самые что ни на есть бессмысленные идеи — атом, например. Мы его не видели, но нам говорят, что он есть, и грозятся дать по тычке атомной бомбой.

Да и предсказание будущего не такое уж иррациональное занятие. Даже я могу предсказать войны, мор и глад. А хороший психолог может предсказать и будущее отдельного человека. Ведь предсказывают сведущие люди, куда упадёт пушечное ядро, выпущенное из пушки под определённым углом с определённой скоростью. Судьба во многом определяется характером, характер — нервной системой, а уж её развитие определяется генами, на которые могут оказывать сильный эффект внешние условия. И вообще, друг мой Горацио, откуда вдруг взялись гуситы среди мирных чехов?

В любой модной области науки — сейчас молекулярной биологии, вчера астрологии — большинство озабочено поисками ответов на сложные вопросы, но есть и те, кто хочет под шумок славно выпить и закутить. К сожалению, в ряды учёных, которые изучали *земное эхо солнечных бурь* и разрабатывали технологию изготовления эликсира молодости, затесалось немало жуликов, прятавших золото в рукаве, чтобы в нужный момент подкинуть его в огонь, и поивших пациентов бесполезными мутными жидкостями.

Бурную карьеру при дворе сделал Эдвард Келли, которому в Англии до этого отрезали уши за подделку документов. Келли заморочил всех и приобрёл большое состояние. Как? А вот так же, как Распутин заморочил и царя, и царицу, и многих людей высшего круга. Заметьте, как интересно — во времена, когда физики верили в ангелов, народ доверял любому алхимику безусловно, а в наше время, когда на научной основе возможны запуски ракет в космос, обыватель относится к науке со злым недоверием. Странно это потому, что у обыкновенного человека и тогда не было, и теперь нет возможностей ничего объективно проверить. За счёт чего же свершился такой резкий концептуальный поворот общественного мнения?

Прищучили Келли не за махинации с философским камнем, а из-за дурацкой дуэли. Он жил сиюминутно, как будто и будущего нет, и причинно-следственных связей. Невозможно догадаться, что движет другим человеком, особенно в 16 веке, но рискну предположить, что для плута мир был местом, где легко не только родиться, но и умереть, а в промежутке надо хватать всё, что плывёт в руки, и тратить как можно больше; жить в своё удовольствие, пока фортуна не сбросит тебя с колеса мордой на асфальт, или чем там замостил Прагу Жан Люксембургский? На торцовую мостовую?

Кроме учёных, алхимиков и художников Рудик коллекционировал картины — Тициана, Караваджо... Картину Дюрера пере-

несли ему из Венеции через альпийские перевалы четыре носильщика, чтобы она не помялась в пути. Любил он также природные диковины — чем чуднее, тем лучше, — и экзотических животных. Сам он, вернувшись из Испании, привёз с собой слона — где уж он его поймал в Испании, не знаю. Может, это правнук боевого слона Ганнибала?

Агенты Рудольфа шныряли по всей Европе и скупали всё подряд. Коллекция Рудольфа стала полной чашей, в которую всё лили и лили, проливая на стол и в карманы придворных — те тянули всё, особенно мелкие вещицы. После смерти Рудольфа всяческие захватчики вывозили трофеи возами, но всё равно не смогли всё вывезти. Некоторые картины Рудольфа находятся в мюнхенской Пинакотеке. Как они туда попали? Сюжет ещё одного исторического кино-сценария.

Картины, алмазы, каменная мозаика, резной хрусталь замечательно отвлекали Рудольфа от реальной жизни, в которой копились непрочитанные донесения, недописанные указы и непринятые послы. С государственным управлением разбиралось очередное доверенное лицо. Периодически это лицо *выходило из доверия* и попадало в каменный мешок, а те казематы были похуже даже нынешних русских тюрем.

Умер Рудольф как-то странно, вслед за тигром его зверинца, по легенде не смог пережить смерть любимого животного. Если бы так, то вполне понятное горе; люди привязываются к бессловесным тварям, хотя не все сентиментальны; я знаю женщину, которая предвкушает: “Вот мои коты умрут, и в квартире наконец-то станет чисто”, а тем временем заботливо отпаивает их прописанным прозаком. Но тут было наверняка другое. Этот любитель астрологии, которому напророчили, что он будет жить, только пока живёт тигр, мог загнуться от истерики. Или ещё проще — предсмертные симптомы у Рудольфа наводят на мысль об отравлении. До этого Рудольф был лишён королевского титула своим братом Маттиасом. Так как Рудольф поссорился с чешскими Генеральными штатами и пытался стать диктатором, чехи Рудольфа от Маттиаса защищать не стали. Такой Рудольф всем мешает, и смерть его очень кстати. Тут не поможет и любимая собачка, маленькая, субтильная, которую запускали на стол вынюхивать отраву.

С именем Рудольфа связано множество баек. Например. Алхимики Рудольфа жили прямо в Градчанах, на Викарской улице, рядом с собором. Их никуда не выпускали, держали взаперти и требовали всё время варить зелье, — удивительно, как спокой-

но на протяжении всей человеческой истории вновь и вновь одни люди доводят других до состояния некормленной заезженной лошади. Однажды те запросились погулять в садике у крепостной стены, воздуху глотнуть. Конечно людишки никчёмные и жулики, но зачем было в ответ на эту просьбу их вывешивать над оврагом в железных клетках? Перевешали и завели других. Как кошек сменили.

Ужасная история. Но неправдивая. Её рассказывает Анджело Рипеллино (“Магическая Прага”), но вся его история Праги — это литературные цитаты, а современные источники утверждают, что Рудольф не казнил ни одного астролога. Вероятно между историческим Рудольфом и Рудольфом легенды есть зазор, но его величина мне не известна. Подлинных документов я не изучала, а кроме того прочтение всегда интерпретация. Но то, что в последнее десятилетие правления Рудольф от всех прятался и не занимался государственными делами, похоже, правда. Начинал он довольно активно и умело, так что может быть тут была психическая болезнь: бездействие — защитная реакция неврастеника, которого любое усилие опрокидывает.

Правдивы и многие истории о жестоких наказаниях придворных. Так, Рудольф расправился с преданным ему Иржи Попелем з Лобкович, дочь которого, Ева, хоть и была любимой любовницей императора, но ничем не смогла помочь отцу. Поведение Рудольфа никому не нравилось. Вот ты, допустим, уважаемый Лобкович, а тебя тащат на лобное место, или ты всеми уважаемый Коловрат, а тебя колдоврачивают в каменный мешок. Король Филипп, воспитатель Рудольфа, был неплохим менеджером, или по крайней мере понимал, что такое хороший менеджер, судя по советам, которые он давал брату, Хуану Австрийскому. Филипп знал, что если хотеть чего-либо добиться, нельзя людей озлоблять, и нужно прощать им ошибки. Но Рудольф, — может быть от того, что он был дурак, а может быть из-за дефекта личности, — науку дяди не впитал. Рудольф был тиран, и другие для него — ничто. Он обращался с людьми, как с пешками или пашками. Рудольфу всё время мерещилось, что его не уважают, стремятся отобрать у него власть. А может и действительно Иржи Попель метил в короли, и тогда Рудольф прав. Исходя из внутренней логики вышесказанного, прав и Сталин, уничтожив Тухачевского.

Рудольф — изрядное дерьмецо. Вопрос только в деталях — был ли он параноиком, социопатом, обычным слабаком, придавленным обстоятельствами, злобно кусающим вслепую? Слабому человеку

хорошо только в коконе его комнатки, слабый человек неспособен к сочувствию — ему бы свои проблемы пережить. Добавим воспитание, при котором эмпатия не поощряется, и подавлять раздражение нет необходимости. Самое страшное, когда бедный маленький сумасшедший попадает туда, где он может нанести огромный вред. Истерика выходит из берегов, если некому дать пощёчину. И уже непонятно, что невращения, а что злоба. Лучше литературоведа А. Беллинкова трудно сказать: *“Исторические обстоятельства в некоторых случаях развязывают самые отвратительные инстинкты, которые не только подвергают всяким превратностям жизнь окружающих людей, но и вызывают самоотравление”*.

Рудольф напоминает мне Павла Первого. Сейчас модно называть Павла русским Гамлетом, хвалить за отмену указов Екатерины, но у тех, кто романтизирует этого психа, кривое зеркало. Они не задумываются над тем, почему вся страна ликовала, когда русский Гамлет сыграл в ящик. Павел был подозрителен, как Сталин, и потому не мог иметь друзей и преданных людей. Павел не оставил никому ни капельки бытовой свободы. Все должны были вставать и ложиться спать вместе с ним, в театре хлопать, только если он разрешит. При его проезде все вокруг должны были падать на колени в грязь. Император Павел играл людьми в куклы, одевал их по своему выбору. У него были все задатки тиранов. Он бил по щекам офицеров (они после этого стрелялись), за пять минут превращал генералов в солдат, а солдат в генералов, бросал в крепость то одного, то другого. За четыре года он много наворотил. Дай ему тридцать...

Современники страдают, ненавидят, уничтожают тиранов, если могут. Впоследствии происходит странная метаморфоза. Постперестроечная публика благосклонно внимает пересмотру истории. Новые игрушки нашей интеллигенции — поиски глубины в душе Сталина. Гафту снится сон, Виктюк бросается его воспроизводить... Радзинский присюсюкивает о “сухой ручке”. Конечно Сталин был человек, с “сухой ручкой”, с одним “яичком” (у него был крипторхизм). Беда в том, что это он *нас* не считал за людей. Это он не понимал, что мы тоже люди. Потомки, которые не испытали на собственной шкуре, каково начинать работу в шесть утра вместе с Павлом, или кончать её в час ночи вместе с батюшкой Сталиным, каково, когда сегодня пан, а завтра пропал, имеют роскошь поискать человеческое в палаче. Всем ужасно хочется “понять”, но нужно ли понимать? У Рудольфа были причины психоза, но они не интересны его жертвам. Иосиф Виссарионыч конечно не был парамецией, но

был заурядным человеком, и не много выудишь из его сочувственного изучения.

Ханна Арендт писала о “банальности зла” и за это приняла немало пинков; все кричали: “Как это банальность?! Миллионы истреблены!”. Да, миллионы, но убивали их буднично, банальные люди. Злодейства чудовищные, но люди, которые за ними стояли, вооружённые злостью, лишённые воображения, такие мелкие и обыденные, — монстры не потому, что способны к гигантским перепадам от садизма к семейному уюту, а потому что перепада-то как раз нет, а есть абсолютная эмоциональная тупость. Это не злые гении, это посредственность, оказавшаяся в нужном месте в нужный час. Стремление их возвеличить — или достоевщина (*Свободный человек ищет, перед кем бы преклониться*), или ещё проще — психологическая компенсация того, что позволили править червяку.

А зачем нам червяки? Мне снится (во сне? наяву?), будто я бегу за поездом, который набирает ход, и кричу: “Погодите! Отмените! Не мешайте водку с пивом! Не наступайте на грабли! Не выбирайте пожизненно! Не давайте абсолютной власти!” И уже отстав, про себя, вслед последнему вагону: “Абсолютная власть развращает абсолютно...”

Сад Валленштейна

Осенью в Праге зреют груши: маленькие, длинные, тонкие...

Сиддхартха Гаутама искал не счастья, а нирваны. *На свете счастья нет, но есть покой и воля...* Покой и воля не равны счастью? Равны? Вопрос определений. В моей взрослой жизни было семнадцать лет счастья. Или в ней было два дня счастья? Считать ли счастье иллюзией, за которой устал гнаться морально истощённый, лишённый надежды неврастеник, и просит, как милости, покоя и воли? Допустим, мы другие, здоровенькие, и наше счастье — реальность, испытанная щедро и обильно. Но столетия счастья проходят меж пальцев, забываются, будто и не прожиты; а помнятся минуты покоя. Безмятежные минуты золотыми монетками сыплются из копилки памяти, и в их мелькании блазнится, как я еду на рынок за дешёвыми помидорчиками, южным утром, утром повсеместного солнца, ранним, когда жар ещё не допёр до горла, не одурил мозги, когда шоссе, висящее на столбах над полуразорёнными кварталами ещё пусто и свободно, как моя душа ... Снова и снова катится-кружится эта монетка-минутка, хотя я уже давно не живу в городе с разорёнными кварталами, подвесным шоссе и белоголовым орлом,

парящим в пивной пене плаката. Или вот — альпийский городок, розовые горы, и рыжий круассан на тарелочке рядом с чашкой французского кофе. Или дача, дождь, и папа снова и снова подкладывает всё то же полено в печку. Как поймать за хвост разноцветную птицу Покой? Жизнь свернулась желваком напряжения, который не рассасывается силою воли. Размягчает пауза, момент, когда будущее не важно, время исчезает, остаётся пространство.

Мне мокро и хорошо — я по петербургской привычке рада влажному воздуху; говорят, он полезен, особенно певцам. Я в саду “Заграда на валу” вдоль южной стены Пражского замка. Здесь в двадцатом веке выращивали овощи, и очередной Фердинанд всегда мог нарвать себе укропу к картошке, — нет-нет, пардон, к брюкве, потому что картофель тогда ещё наверно не дополз до Праги из Америки. Сад, за неимением места вытянутый в кишочку, кажется особенно длинным из-за того, что узкий. Через кирпичный парапет его перелёстывают пурпурные волны виноградных лоз, робко подтекая к кирпичной дорожке. Это гигантский балкон с видом на Прагу: две трети неба туманно-облачного замеса, одна треть охристой гальки черепиц.

Что бы там ни было, за чем бы не поднялся на вышину, простор умиротворяет, растворяет застрявший в горле комок страха перед жизнью, рождает иллюзию безопасности, и уже не опасаясь, что подкрадётся кто-то сзади и поддаст коленом. И над вечным простором ты — не ты, а кто-то другой, свободный и умелый. Простор — это полёт, освобождение, игра. Можно представиться Гулливером в игрушечном городе, помечтать, помочиться на лиллипутиков, снующих в трещинах между крышами; можно отрастить крылья, вспорхнуть, подлететь к тимпану — что там за фигурки? Скользнуть к антаблементу, погладить архитрав, потрогать фриз и фронтон, застыть над кровлей, отлететь в сторону, описать круг, рассмотреть недоступные снизу углы и скрытые ракурсы... познать истинную сущность объёмов, о которой догадываешься только по *игре теней на стене пещеры* нашего низенького мира.

Но земля не отпускает. Глаз не может справиться с далью, расстояния сокращаются, глубина исчезает, сознание, не привыкшее к простору, шутит шутки, ткёт из перспективы двумерное полотно, плотно укладывая друг к другу, как на старинном гобелене, осьмиконечные крыши, готические шпили, извитые фронтоны, балюстрады и балконы, тёмные статуи, золотые мазки крестов, крыльев и шариков.

Теперь мне понятно множество одинаковых отцовских фотографий — ловилось и не уловилось неуловимое. И мой отец, и я, и все приходят посмотреть на гобелен Праги; даже мнительный Рудольф выходил полюбоваться имперским городом, *Carpi regni*. Но он многого не увидел из шестнадцатого века — ни готических башен Вышеграда, ни большого, как арбуз, купола староместского Св. Микулаша, ни барочных дворцов, проклюнувшихся разом, как дождевики, после Тридцатилетней войны, ни отвратительных высотных зданий, нагло нависших над линией горизонта — там, где начинается настоящая, современная Прага. А мы, как ни вытягивай шею, не сможем заглянуть в 16 век. Не та теперь Прага, да даже и сад не тот. В 1920 году самостоятельная Чехословакия его полностью переделала (как именно, не знаю, наверно выкинули брюкву, если она ещё там была) и установила массивную гранитную чашу — пропорций красивых, но слишком простых для вкусов 16 века.

Помните императора Фердинанда I, который выдернул половик гражданских свобод из-под утраквистов? Хочется сказать: “Ты неправ, Фердинанд! Зачем ты пристаёшь к утраквистам? Что тебе их чаши?” Но редко кто плох для всех. Каждый видит только одну, ну две грани многогранной личности. Может, остальные-то грани и ничего? Бывает, убил сотни человек, а кому-то сделал хорошо, и тот поминает добрым словом: “то-то был батюшка царь — генеральный секретарь!”

Фердинанд был неправ, но зато очень любил свою жену, и выстроил ей летний загородный дворец, загородный в буквальном смысле — он стоит за северной оградой Пражского Кремля. Архитектором Летоградка краловны Анны, или Бельведера, был итальянец Паоло делла Стелла. Это первый в Баварии росток итальянского Возрождения: небольшой, двухэтажный, с выпуклой крышей из позеленевшей меди; на его белом фасаде тёмным росчерком проступает почерневшая от осенней сырости одноэтажная галерея полукруглых арок с тонкими колоннами. Мелкие накладки и барельефы стен сделаны неброско, но тщательно; в них проступает любовь к ремеслу, свойственная старине, странная современной спешке. Ничего подобного я раньше не видела; разве что павильоны Николаевской железной дороги с навесами на фигурных железных столбах; может быть их архитектура навеяна Летоградком.

От Бельведера и не пахнет пышностью, особенно в сравнении с дворцами барокко — так Летний дворец Петра проигрывает Эрмитажу. Но жителям Пражского Кремля, где изящным можно назвать

только собор, и то условно, чей дворец — незамысловатая коробка из валунов, — пражанам Летоградек казался ажурной безделушкой, хрупким яичком пеночки: какие барельефы, какие наличники! Ах, какие модные, тоненькие колонки — вот-вот подогнутся! Во время Тридцатилетней войны шведы это яичко выели, осталась только скорлупка, которую сейчас заполняют шоколадом временных выставок.

Перед Бельведером стоит Поющий фонтан, отлитый Томашем Ярошем, колокольным мастером (левый заказ?). Фонтан похож на двухъярусную вазу для фруктов. Когда ему разрешают попеть, фонтан поёт не басом и не тенором, но тихим перезвоном капель, падающих из одной чаши в другую. Я наклонилась, прижалась ухом к холодному телу фонтана, мечтая услышать музыку медных сфер. Фонтан недовольно отозвался: “зайди с другой сторны”. Я, поражённая, зашла. Там переговаривалась парочка.

Вокруг фонтана разбиты небольшие партеры. В их пожухлой щетине застряли облетевшие листья. Сейчас в них нету особого смысла и красоты. Но жаловаться неуместно — нечего знакомиться осенью, в сумерки года, тем более с садом, где вместо цветов семечки. Скоро газоны уснут надёжным сном под снежным одеяльцем, как я засыпаю под периной из трижды простёганного гусяного пуха. А когда наступит утро года... из земли покажутся толстые зелёные клювы, вылезут, раскроются, поползут из них длинные зелёные языки, и взорвутся на их кончиках фейерверки тюльпанных чашечек.

Триумфальное турне турецких тюльпанов началось не с Голландии, а именно отсюда, из Летоградского сада, несмотря, а может быть именно и *смотря на* непрерывные войны Фердинанда с Турцией. Толпы тюльпанов теперь есть даже в Петербурге (не обрывают, насытились), но я всё равно не могу к ним привыкнуть. Ни гирлянды колбас, ни пирамиды сыров, ни россыпи золотых слитков с тиснёной банковской печатью не вызывают у меня такого чувства сытости и изобилия, как поле садовых тюльпанов: головка к головке, незасорённые сурепкой и скердой.

Партер Бельведера переходит в пейзажный парк. Там, где сейчас пейзажность, раньше была регулярность полезных деревьев, как во фруктовых садах современных Летоградку итальянских вилл, где дорожки прямые и очерчивают каждое деревце квадратиком: удобнее тянуться к яблокам. Я не против заброшенного фруктового сада. Но их мало. Только раз в жизни, в палисаднике Зимнего дворца, мне довелось увидеть, на что способна старая яблоня. Она

была так высока и развесиста, что пока она не зацвела, мне была невдомёк её порода. Как жаль, что яблони срубают; хорошо, хоть здания остаются.

Остался Львиный двор, где был когда-то зверинец Рудольфа, и Мичовна, выстроенная Фердинандом для игры в мяч. Стену Мичовны делят на прямоугольники круглые тёмные колонны, и стены с плотной росписью кажутся свисающими в проёмах аркады занавесями брабантского кружева. Узоры и силуэты двухцветного, прорезного по штукатурке сграффито хоть и порождены шестнадцатым веком, но почему-то напоминают наброски Альфонса Мухи. Или наоборот? Кто тут первичен, кто вторичен? Что предвосхищение, что воспоминание? На фасаде Мичовны нарисованы аллегорические фигуры. Одной из них вложили в руку серп и молот, то ли создатели, предчувствуя грядущие стройки пятилетки, то ли потом, после — пражский Виолле-Ле-Дюк, прививая прошлому передовые идеи.

В заграде Заграды есть заветная дверь в Малостранский сад, сплавленный из прежних небольших садиков при вельможных особняках: Ледебурского, Коловратского, Фюрстенбергского и других огородов на крутом склоне. Это навеянный Италией каскад террас, узких, укрепленных толстыми стенами. Господствуют четыре цвета: красный, белый, чёрный, зелёный. Стены крашены в николаевски-кирпичный цвет. С террасы на террасу боком сбегают отороченные белым зигзагом лестницы с чёрными перилами. На перилах стоят горшки зелёной поздней герани. По неровным пооблупившимся стенкам ползут покрасневшие плющи и винограды. И на террасах, и на лестницах расставлены кадки померанцевых деревьев, — недолго им осталось веселиться, пора на зимние квартиры. Аккуратные газоны на террасах вставлены в рамочки из стриженного самшита. Деревца тоже аккуратно подровнены под шарик или под конус. В нашей “северной столице” таких садов не бывает. Ан нет, как же это я! В Петергофе у Марли навален вал для защиты партера от наводнений, и вот там увидишь нечто подобное: и терраса с балюстрадой, — одна, правда, — и лестница, и кирпичная стенка с нишами для вазонов и статуй.

Прелесть террасированных садов познаётся в движении, в смене ракурсов, в контрасте ближних и дальних планов. Вокруг сад, регулярность которого напоминает об огороде, благополучии, изобилии. Навстречу летит большой мир, на который так приятно взирать из безопасного рукотворного оазиса. Назад уходит, всё круче вздыма-

ясь, скала с нагромождением террас. Спуск наш плавен, и ласково кивают нам последние осенние цветы, нежно подрагивают красные листья. И вот мы подходим к проходу, за которым виднеется Вальдштейнская улица. Стоя между домами, бросим последний взгляд через плечо и удивимся новому пространственному преобразованию: красные стенки почти исчезли, от деревьев остались только хохолки, всё заслонили боковины лестничных маршей, белыми молниями прорчертившие склон, и это уже не сад, а полосатое полотно предтечи кубизма.

По другую сторону Вальдштейнской стоит дворец и сад фон Вальдштейна, или Валленштейна, как его обычно называют с лёгкого пера Шиллера. В плане дворец представляет собой несколько четырёхугольников, соединённых палочками переходов. К нему примыкает несколько террас и зеркальный пруд с фонтаном. Ради дворца Валленштейн снёс двадцать шесть домов. Говорю об этом, не чтобы всплакнуть о загубленных архитектурных ценностях, (дома наверняка были маленькие, дрянные и паршивые), но чтобы подчеркнуть, что места он занял много, почти как мюнхенская Резиденция. От Валленштейна в нём осталось несколько залов в итальянском вкусе. В самом большом зале на потолочной росписи изображён Валленштейн в виде Марса на колеснице (кто это писал: *“всегда стоял за правду” и в глазах что-то марсово?*). В залы можно проникнуть по выходным. В будни во дворце заседает сенат.

В сад, в отличие от дворца, приходиться можно свободно, и много раз, не наскучит. Это регулярный сад, из больших, хотя и уступает по размерам Летнему. Дворец выходит в него большой лоджией, sala terrena, с беломраморными стенами и потолочными росписями на тему Троянской войны. Из лоджии открывается перспектива аллеи бронзовых скульптур Адриана де Фриза — человеки и два бронзовых коня, которые, подняв копыто, осторожно балансируют на трёх точках. Это копии, а подлинники шведы увезли в свою Швецию.

Вокруг каменных мужиков — плоские партерчики с загогулинами из стриженного самшита. В саду Валленштейна скульптуры — единственная вертикаль. Лаокоона можно угадать по змее, Диониса по виноградной грозди, Амура по здоровенному луку — это очевидно уже позднее изображение, когда он превратился из пухлого младенца в крепенького юношу и поступил в институт. Аллегории аллегорических фигур не всегда ясны. Статуи подписаны, но читать некогда, поэтому я никогда не узнаю, кто этот совершенно

голый мужик, который, непринуждённо опершись на палку, приветствует нас жестом профессионального оратора, и зачем он привёл с собой собаку. Вспомнились мне бронзовые статуи в Павловске — ей-Богу, у Федота Шубина вышло лучше! Или от того шубинские мне милее, что привычнее, ближе к нашему времени (отлиты на двести лет позже)?

К глухой ограде сада пристроен огромный грот, гораздо больше грота в Резиденции, но скучнее. Тот сделан из раковин, а этот... Да, из чего же эти бурые висюльки? Неужели из ...? Нет, не может быть! Висюльки в нём призваны изображать сталактиты, а получились ласточкины гнезда, скрепленные слюнями. И кому нужна такая бутафорская ерунда на заборе? Её подозрительную прелесть скрашивают только доцветающие розовые гортензии и подёрнутые скрапизной листья ползучих лиан: мы пачкаем, а природа подтирает.

Природу бы оставить в покое, и она создала бы и гроты, и парки получше наших, но только там, где ей угодно. А людям ужасно хочется самим создать себе ландшафт, и там, где хочется; в семнадцатом веке они пока беспомощны, слабы, ещё не умеют взять все милости у природы и пнуть её ногой на прощание, и потому возводят искусственные гроты вместо природных и вместо деревьев высят статуи, выплёскивают зеркала залов на траву водоёмами; в барочных зеркалах плавают облака, золотые рыбки и лебеди, над ними склоняются фонтанные фигуры, тревожа поверхность водными струями, чтобы напомнить: вода — не стекло.

У Валленштейна посреди пруда устроена клумба-фонтан: по краям четверо юношей и девушек проливают водицу из подручных средств, в центре некто бьёт дракона дубиной по голове. Св. Георгием он быть не может — у того копьё. Другая подходящая пара — Геракл и Лернейская гидра, но почему у гидры пупок? Видать, плацентарное пресмыкающееся...

По песчаным дорожкам бродят павлины — белые и серые. Мария Башкирцева говорила, что *женщина-брюнетка такая же нелепость, как мужчина-блондин*. А что бы она сказала, увидев белого павлина? стыдно за селекционеров, которые не поняли прелести цветных павлиньих перьев. Павлинов я впервые увидела в Крыму. Услышав пронзительное, щемящее “Куо-о!”, я решила — рог Оберона, но вместо короля эльфов вышла невзрачная курица с серой метлой вместо хвоста; потрясла головёнкой, и вдруг раскрылся, встал за нею волшебный веер. Так лягушонок, поскромничав для виду, превращается в принца; так утёнок, пускай не гадкий, но пошлый, обращивается лебедем. *Зри в корень Золушке!*

Дарвин считал, что излишества убранства возникают из-за полового отбора, но я не понимаю, как отбирать? Какое тут может быть состязание, если каждый хвост прекрасен, каждый — произведение искусства? Если подходит, подносит веер, — неужели будешь крохоборски вычислять, у кого радужные яблоки побольше? Все, ну кроме разве дальтоники, мечтают завладеть павлиньим пером; у нас оно было. Вы не думайте, мы это перо не вырывали у павлина из хвоста — он его выбросил. Ему не нужно, а мы подобрали, и перо торчало из хрустального стакана и не тускнело от времени, — очередное овеществление памяти, из тех, что годами копяты в благоустроенном жилище, и пропадают в одночасье, когда оно погибает.

Как тихо в регулярном саду, как покойно! Даже павлины молчат. То ли ландшафт располагает, то ли дают тяжёлые флюиды прошлого. Валленштейн любил тишину, и все в его дворце переговаривались шёпотом. Очевидно мы имеем дело с человеком в футляре, но учитель Беликов страшен только себе, а всевластному герцогу Валленштейну было несложно погасить радость и отравить веселье огромному количеству людей. Как и многим людям, которые добились всего, пройдя по головам, Валленштейну была свойственна моральная ущербность и эмоциональная бедность. Сволочь он был, прохвост хуже Рудольфа, — так ему и сказал Кеплер, не напрямую, а посредством гороскопа, свалив на Сатурна и прочие планеты.

Может быть и Валленштейн, и Фердинанд сделали кому-то что-то хорошее, но не в этом их суть. В отношении политических фигур бесконечно трудные поиски хорошего — это непозволительная роскошь. На одной судейской чаше обвисла любимая краловна Анна, а другую тянут вниз многие — да собственно все на свете, кроме Анны. Генеральный прокурор зачитывает обвинение: “Гражданин Валленштейн, 1583 года рождения, во время Тридцатилетней войны, в бытность свою главнокомандующим армией австрийского императора предавал всех, кто на него надеялся; без нужды, по жажде выгоды и верховенства длил войну; погубил множество людей, и не в сражениях, а разоряя крестьян постоем солдат. Он был не лучше и не хуже других сильных мира того, но по неограниченности власти сотворил бессмысленного зла втрое больше многих”.

От скверного человека остался изысканный дворец и парк с прудом. Мы по сути гуляем на даче Геринга семнадцатого века, но никого это уже не беспокоит; ни прохожих, ни меня, ни девочку, которая с изумлением, свойственным началу жизни, следит за се-

лезнем. Вечный парадокс — неприятные люди создают приятные сады. Они спонсоры и продюсеры; мы их ценим меньше режиссёров и архитекторов, но без них не было бы фильма.

Тридцать лет одиночества

Куда девается gloria мунди? Если от неё что и остаётся, так вовсе не главное, не то, за что надо бы помнить. Валленштейн превратился в привесок парка. Кто помнит, что это генерал Тридцатилетней войны? Никто. И войну эту мы не помним, хотя проходили её в школе. Всё это было давно и не с нами. И не только Валленштейн пострадал от безалаберной музыки истории. Кто помнит маршала Жукова? Немногие, — после него и сада не осталось, ну разве какой-нибудь дрянненький палаццо, никому не известный, недоступный и обставленный чем попало (говорят, он много всего вывез из Германии). Скоро-скоро и над головой Жукова сомкнутся воды забвения, и забудется, как метался он между фронтами Отечественной, материл красных командиров, угрожая лагерем и расправой.

Историю войны Валленштейна можно излагать долго, потому что она длилась тридцать лет, но писать исторические сочинения, не имея подготовки, неприлично. Поэтому расскажу немного, *своими словами*, как просили в школе.

Тридцатилетняя война — война религиозная: таковы были её официальные мотивы. Несмотря на столетние стычки и соглашения Реформации и Контрреформации, к началу войны, к 1618 году, жар духовных исканий в Европе не остыл. Делили всё ту же чашу с вином. Иисус Христос опять оказался прав: *не хлебом единым жив человек*; более того, всегда готов поступиться хлебом, особенно чужим, ради вина и высокой идеи.

Циклон Тридцатилетней войны зародился в Германии. Германия, официально считаясь Священной Римской империей, на деле была неразберихой из тыщонки государств, иногда размером в старый замок, над которыми император имел чисто номинальную власть. На юге были истово католические Бавария и Австрия, на севере — крошево протестантских немецких княжеств. Княжества никак не могли выбрать между умеренным лютеранством и экстремистским кальвинизмом. Даже князья иногда, в ущерб себе, увлекались идеологией, становясь кальвинистами среди лютеран, или лютеранами среди кальвинистов, а уж народ, он всегда был искренний и боролся за убеждения безо всякой выгоды, *то*

Тотошенька Кокошеньку душил, то Кокошенька... Не дай Бог забрести на чужую территорию — штаны снимут. Например, у одного проповедника-кальвиниста отобрали всё, оставив только исподнее, которое у него почему-то было ярко-зелёное. Да что штаны! И головы снимали.

Начали войну два негодяя, идиот и революционно настроенный народ. Рекомендую, негодяи: Максимилиан Баварский (тот, что построил Резиденцию) и император Фердинанд II. Идиотом (в высоком смысле Достоевского, человеком, который держит слово и борется за правду, нечаянно наступая всем на ноги и заезжая в зубы), оказался Фридрих, пфальцский курфюрст, молодой, весёлый, наивный. А где революционно настроенный народ? Сейчас вам будет и народ. В качестве низов, которые *не хотели, а получилось, как всегда*, выступили чехи.

Большинство чехов были уtrakвистами. Во времена Иржи Подебрада уtrakвисты выторговали у императора множество послаблений, в том числе право строить протестантские церкви на принадлежавших ему землях, и это право соблюдалось, пока на трон Чехии не заступил император Фердинанд II. (Поскольку номера запоминать скучно, назовём его Фердинандом Последующим, в отличие от Фердинанда I Предыдущего). За что Последний любил католическую церковь, мне непонятно, потому что папа его чурался. Но он её любил, — любовь зла, — и потому стремился вернуть ей земли, которые когда-то у неё отобрали уtrakвисты. В 1618 году по его наущению у уtrakвистов оспорили очередную территорию. Те, обиженные, написали ксиву императору, а Фердинанд на неё наплевал — официально, в императорском ответе. Пражане обиделись и произвели дефолиацию... — нет, что я говорю! — дефенестрацию королевских администраторов. *Слуги царизма* спикировали на кучу навоза, спаслись и получили потом ордена. А Прага, обидевшись на Фердинанда, отказала ему в богемском троне и выбрала Фридриха Пфальцского, протестанта. Фридрих воодушевился, всё, чем занимался, побросал, несмотря на грозившее Пфальцу вторжение испанцев, и поехал царствовать в Чехию.

В Праге он продержался чуть больше зимы. За Фридриха, прозванного “Зимний король”, воевала ненадёжная, наёмная армия генерала Мансфельда — чехи сами воевать не хотели, и денег на содержание Мансфельда не давали. Знали бы они, чем кончится, зубами бы порвали баварскую армию, но чехи были слепы, как русское общество в канун революции, и не сумели предвидеть очевидного: не замахвайся, если бить не собираешься. Фердинанд напустил на

Фридриха Максимилиана Баварского: Бавария граничит с Богемией, и если нужно набить морду чехам, бежать недалеко — сразу за углом направо. Максимилиан вошёл на богемскую территорию, разбил генерала Мансфельда в битве у Белой Горы, и королю пришлось удрать из Праги, побросав многие нужные вещи. После этого *вольный сын* Пфальца не то чтобы исчез с политического горизонта, вовсе нет, но превратился в бомжа, потому что пока он шобутился в Праге, испанцы отобрали у него Пфальц и передали чин курфюрста Максимилиану.

Прагу отдали на разграбление Мюнхену — в возмещение военных расходов. 27 баронов, зачинщиков восстания, были казнены изощренными способами. Для Чехии итог был страшен: разорена, города разграблены, деревни сожжены, множество людей убито, множество скотины зарезано просто так, не ради прокормления, но ради забавы солдат. Земли отняли у прежних землевладельцев и продали по дешёвке кому попало. В частности некто Валленштейн купил около шестидесяти имений и приобрёл необыкновенное влияние на императора. Как? Ссужая деньги и собрав под своим началом хорошо оплаченную армию. Старой Чехии после *чёрного передела* не стало, а получилось *“немножко совсем другое”*, как говорила наша учительница литературы.

Произошло всё это в первое десятилетие войны, но сим не кончилось. Чехия была растоптана, но Германия ещё нет. Война продолжилась, хотя по заключению бранденбургского курфюрста Георга-Вильгельма, её причины были никому неизвестны. Даже папа (не мой, а римский) заявил, что эта война не отвечает интересам католической церкви, но это не смутило Фердинанда и Максимилиана. В жестоких гусиных головках закопёрщиков Тридцатилетней войны простодушно слились собственная выгода и вера в моральную правоту. У каждого были свои, отдельные интересы, которые сбились в чудовищный колтун. Фридрих — тот всё руками за косяк цепляется, считая себя доподлинным королём Чехии, организует военные покушения с негодными средствами, и никак с ним мира не заключить. А Фердинанд ... этот неукоснительно возвращает католической церкви земли, конфискованные у неё сто лет назад; всё равно, что сейчас в России отдавать землю бывшим помещикам, отбирая у тех, кто давно считает её своей. А что здесь делает Ришелье? Ему нужно насолить Габсбургам. А испанским Габсбургам совсем не интересно, чего хочет Фердинанд — они подбираются к Нидерландам. А шведский король Густав-Адольф *в этой буче, боевой, кпучей*, выступил за реформацию и *таки себе немного и шлл.*

Посреди этого всего болтался Валленштейн, как непривязанная пушка (деликатное английское выражение для дерьма в проруби). То он выдумал поход к побережью Северного моря, то разграбил княжества, считавшие себя союзниками императора. Всё ему было мало власти, денег, влияния. Злобная звезда Валленштейна в зените; Фердинанд ему и должен кругом, и боится его — что можно возразить командующему огромной армией? К тому же выгодно иметь противовес Максимилиану Баварскому, у которого тоже цели не всегда ясные — он то за интересы Фердинанда, то за немецкие свободы. Поэтому окоротить Валленштейна сложно. Валленштейн — это типичный пример ВПК, который, единожды созданный, способен только расти, и никогда — сокращаться.

Как военачальник, Валленштейн был пожалуй получше Тухачевского, но ненамного. Тухачевский был хорош против тамбовских крестьян, но ничто против обученной и непьяной польской армии. И Валленштейн выигрывал сражения только против дураков и превосходящими силами. Успех его связан был скорее с хорошей организацией снабжения, то есть грабежа территорий, где стояли его солдаты на постое. Валленштейну повезло в том, что война эта в основном состояла в постое. Между редкими спазмами сражений войска выжидали, напряжённо следя друг за другом, и выедали плешины в запасах местного населения.

Посмотришь на тогдашнюю карту (какая она закапанная и ломкая, и север почему-то на юге!), и кажется, что на ней идёт борьба синей протестантской и красной католической краски. Вот Валленштейн красной краской хлынул к Северному морю, разъедавая всё на своём пути. Вот Валленштейна *по просьбе трудящихся* немецких князей всё-таки отправили в отставку, и синяя краска наплывает на Германию из Швеции, сочась к самой Австрии, заливая Баварию, подступая к Мюнхену, и привыкший к победам Максимилиан удирает с собственной территории, а мюнхенцы дают шведам на лапу (а то будет как с Пражскими Градчанами, которые шведы обобрали дочиста). *“Давненько не брал я в руки шашек”*, — говорит Валленштейн, снова призванный Фердинандом на действительную военную службу, и красная капля, набухая, проливается на синюю; фиолетовый цвет этой смеси всё больше размывается красным, застывая грязными фестонами у берегов Северного моря.

Звезда Валленштейна отсыяла лет пятнадцать, прежде чем с шипением угаснуть. Погиб Мансфельд, погиб шведский король, и наконец и Валленштейну не поздоровилось. Может быть он захотел стать чешским королём, может просто вёл опасную игру и с

теми, и с этими, выгадывая, кто больше предложит. Словом, он зарвался, и Фердинанд понял, что его нужно убрать любой ценой. Сдал Валленштейна Фердинанд в слезах и молитвах, но страх его был напрасен: оказалось, что у Валленштейна ноги глиняные. Он уже всех обозлил своей бессмысленной жестокостью к солдатам и командирам. Армия, поняв, что Валленштейну объявлен мат в два хода, час его пробил, партия проиграна, обвалью перешла на сторону нового австрийского военачальника. Английские наёмники под командой Джона Гордона закололи Валленштейна в маленькой комнатке крепости Эгер. Валленштейн был убит легко и просто, как устраняют множество отработанных тиранов и диктаторов — кинжалом (“*И ты, Брут?*”), или ядом в закусочке с селёдкой (“*И ты, Берия?*”)... Играя в политические карты, Валленштейн, как Ленин и Сталин, думал, что он всех перехитрит, но итог был тот же. Валленштейн оказался старухой у разбитого корыта; не получилось у него на пенсии кормить уток в пруду. Много хочешь, мало получишь.

Смертью Валленштейна не закончилось. Новые военачальники легко вступили в протоптанную Валленштейном колею. Получалось что-то странное: и пора бы уж остановиться, но не выходит. Война уже сама всех вела за собой — продолжалась, потому что были средства на армию, а средства были потому, что продолжалась война, тянулась и тянулась, прорастая из одного поколения в другое. Разные войска с переменным успехом топтались на территории северных немецких княжеств. Гибли генералы, гибли армии, но чаще просто рассасывались от неплатежа и голода. Иностранные наёмники по свистку военной Фортуны перебежали из одной армии в другую. И религия не определяла исхода. Одних и тех же крестьян убивали и грабили то католики, то протестанты. А крестьяне убивали солдат, как умели. Каждый сам за себя. Свидетель войны, герой повести Гриммельсхаузена Симплициус предположил, что на свете существует два вида зверья, ведущие непримиримую войну между собой — солдаты и крестьяне.

Смысла в этой войне не было с самого начала, поэтому историкам прошлого века ситуация была малопонятна. Зато нам она ясна, как Божий день — мы на такое нагляделись и в Чечне, и в Ираке, и в Афганистане, и в Сирии. Такие войны начинают люди *с подлыми душонками и глупыми головёнками*, по выражению Вероники Веджвуд, написавшей отличную книгу о Тридцатилетней войне. Их легитимизируют двадцать лет безобразий, и уже никто не понимает — а как жить иначе? Когда один устаёт, другой продолжает,

находит новые поводы, предлоги, прикрывается борьбой за свободу, демократию, утверждает, что жертвы не напрасны и необходимы. Такие войны *единожды начав, трудно перестать*.

Поэтому самое удивительное в этой войне то, что она всё же кончилась. Может быть после *тридцати лет одиночества* наступила осень этих патриархов (Ясир Арафат наивно признавался, что в молодости подпольщина была занимательна, а вот теперь...) Но скорее кончилось топливо: в Германии кушать стало совсем нечего. В 1648 году заключили Вестфальский мир и славно отпраздновали его в Нюрнберге на остатные средства. Впрочем, кое-кто не был согласен с Вестфальским миром. Некоторым (особенно тем, кто отсиделись вдалеке от театра действий) всё было мало, они не понимали, что пепел не горит. Хорошо, что их не послушали.

Не все и впоследствии согласились с бессмысленностью этой войны. В 19 веке в деревеньке Брайтенфельд под Лейпцигом на месте битвы Густава-Адольфа с австрийским императором был установлен обелиск “Freedom of belief for all the world”; в общем, *за вашу и нашу свободу*. Предлагается представить прошлое как героическую борьбу за право человека верить, во что он хочет, как он хочет, — но не получается. Мы уже не готовы к тому, чтобы кости трещали в борьбе за идеи; в 20 веке идеи полиняли, кажется, что нет целей, которые бы оправдали миллионы жертв. Подлость произошедшего кристально ясна.

Старые военные конфликты обычно рассматривают в зависимости от последствий, в исторической перспективе (историку не к лицу эмоции), и можно бы поговорить о том, как война перекроила карту и привела к укреплению светской власти, но я не историк. Я дочь ветерана, прошедшего лагеря военнопленных. Для современников война — бессмысленный ужас, и для меня это единственная правильная интерпретация. Взгляд “исторический”, издаля, исполненный равнодушной объективности, в пересчёте на экономические и политические выгоды, умаляет человеческий масштаб события. Может быть какая-нибудь война имеет смысл наказания какого-нибудь людоеда, но при этом столько “*коллатеральных потерь*”, что наказывают уже не людоеда... Ох, *сомнююсь* я даже и в таком смысле...

Потная спираль

Я проснулась и подумала о прелестях покойной жизни. Пускай я хожу на нелюбимую работу, на которой я чувствую себя неадекватно, но ведь главное — она есть, есть жильё и хорошие тёплые

штаны из шерсти австралийских баранов. В моём возрасте Анастасия Цветаева наперегонки с зимой обкладывала избёнку саманными кирпичами: кто не успел, тот опоздал, замёрз. У многих пришедших до меня советская власть перерезала жизнь надвое, оставив посредине широкий, жирный отпечаток марусиной шины.

Я с детства много думала о войне и о лагерях, не потому, что намеренно внушили, а воздух был тогда такой. Читая “Чипполино”, я сострадала адвокату Горошку, которого приговорили к повешению за сочувствие к большевикам. Горошек не понимал: “Я такой чистенький, свежесбривший, за что меня убивают?” И мне было так его жалко. Сейчас я понимаю, что жалела в его лице и себя, и всех моих друзей. Горошек, которого Родари презирал и выставил подлецом, явно был списан с *беспартийного интеллигента*, которому так немного нужно — *свежесвымытая сорочка*, книжка, солёные огурцы, печенье. Как будет неприятно, если меня, как червячка, выковыряют из моей уютной норки и отправят в лагерь. “Чёрт побери, опять лагерь! А мы-то думали, что хоть в этой книжке про лагерь не будет...” — возмутится читатель. Правильно возмутится, я тоже не понимаю, зачем всё время лагерь. В 19 веке во время Гражданской войны в Америке на мысе Берегись (Point Lookout) янки устроили лагерь для конфедератов, такой ужасный, что военнопленные мечтали попасть из него в холерные бараки. В 1918–1920 году на острове Мудьюг англичане показали мудьюг вредным элементам (красноармейцам и большевикам). Впоследствии вредные элементы из уцелевших упрятывали “врагов” их “народа” в лагерь на Соловках. А мой папа...

В Тридцатилетнюю войну лагерей для военнопленных не было. То есть не думайте, что пленных расстреливали на месте, как расстреляли итальянцы русских раненых под Изюмом в 1942 году, или как в мае 1945 расстрелял восемнадцатилетних немецких новобранцев французский генерал Латтр де Тассиньи. Такой глупости в 17 веке не делали; пленные тут же вступали в армию победителя; фиговые листики патриотизма на смоковнице самосознания к этому времени ещё не выросли, и *жизнь за царя* никто не клал. Тридцатилетнюю войну вели по-другому, не так, как вторую мировую, в Тридцатилетней войне не было военнопленных, и военные действия происходили редко, и длилась она гораздо дольше. Но смысл её был тот же; многие события этой войны имеют зеркальное отражение в той (как бы не назывались “та” и “эта”). События бессмысленной, никчёмной, шизофренической жестокости. Рассказы о них попирают чувство внутренней справедливости. В 44 году в лагере

Бремерфорде каждый вечер немцы стреляли из автоматов по баракам, наудачу, прошивая пулями тёс, и каждое утро из этих барачков выносили трупы. Среди них мог оказаться и мой отец. На стадионе в Страхове, под Прагой, в 45 году чехи собрали пятнадцать тысяч немцев, местных. Охранники заставляли их бегать и стреляли, как зайцев, на бегу. Во время Тридцатилетней войны в Тюрингии пьяные солдаты стреляли прохожим по ногам из окна корчмы. Сначала те, потом эти. Да это уже и не война, где тут белые и красные, наши и фашисты, за что дерёмся?

Иоганн Якоб Кристофель Гриммельсхаузен, переживший Тридцатилетнюю войну, написал роман “Симплициус Симплициссимус” — написал для смеха и заработка, и современники покупали и смеялись. Входит Симплициссимус в город, а там только трупы. Все зарезаны, и все дела. Смешно. Это зарисовка с натуры, этюдик с городка, где родился и жил сам Гриммельсхаузен, в котором не осталось ни одного живого человека, когда его неожиданно, “им-промт”, посетили солдаты неизвестно чьей армии.

Наёмники, разоряя хутор Симплициуса, женщин насиловали и калечили, мужчин пытали, а потом сожгли вместе с усадьбой. “Солдаты разрушили очаг, провозглашая вечное лето, и, вытряхнув солтому из тюфяков, набивали их снедью, как будто на беконе спать лучше” — шутит Гриммельсхаузен. А меня оторопь берёт. “Симплициуса” трудно дочитать, и трудно вынести юмор автора. Это юмор современников Гриммельсхаузена, юмор висельника, человека, который должен претерпеть или умереть. Юмор — дело относительное. Вот например в романе Андрея Макина “Французское завещание” на площади дерутся безногие инвалиды Отечественной войны, и народ хохочет, потому что больше ничего сделать нельзя, некуда девать инвалидов — их слишком много, и остаётся только заслониться смехом. Только француженка, прожившая в России посторонней, не смеётся.

Ужас подобной войны состоит не в сражениях, а в отсутствии чувства безопасности, в ожидании повседневного насилия. Военные действия происходили периодически, грабёж всегда. Грабили не только заезжие мародёры или иностранные армии. Постой собственных солдат — не оккупация, но крестьяне сжигали дома и сбегали в лес, узнав, что к ним расквартированы солдаты, неважно, чьи. Тогда у армий было принято выедать себе дорогу. Да, и как же это я забыла? Чума! Непременно чума, потому что солдаты грабили инфекционные больницы, заражались сами и заражали всех по дороге.

Солдаты не только много ели, и пили, и грабили, но ещё много и бессмысленно поджигали. Грабёж понятен: грабили солдаты Тридцатилетней войны, гуситы, русские крестьяне; в каждом деревенском доме вокруг Петербурга, там, где были когда-то богатые имения, найдётся колченогая, засаленная барская мебель. И я это понимаю, но бессмысленность уничтожения, которая охватывала и гуситов, и солдат Тридцатилетней войны, и русских крестьян? Зачем было жечь усадьбы и поедать жирафов в Аскания Нова? Зачем было в Богемии бессмысленно убивать скот, которого не съесть? Зачем жечь посевы? Зачем нужно было закапывать попов живьём в землю, стрелять по ногам из окна, поливать автоматной очередью бараки военнопленных? Тут поворот какой-то в сознании.

Война омертвляет. Это истина, которую открывают для себя заново всё новые поколения. Для нашего поколения это выяснилось совсем недавно — после русской войны в Афганистане, американской войны в Ираке. В поэме “Слёзы Родины” Грифиус, современник Гриммельсхаузена, написал, что самое страшное последствие войны — смерть души. Высоцкий обещал, что “сапогами не вытоптать душу”, — но это смотря какие сапоги, и сколько топтать. Высоцкий пережил войну, но короткую, четырехлетнюю, и не видал того, что видел Грифиус. Тридцатилетняя война длилась так долго, что все стали сумасшедшие. В Тридцатилетней войне выросло поколение неприкаянных. Что получается, когда в лагере для беженцев нарождается два новых поколения; что получается, когда война начинается в 1979 и потом никогда не кончается? Новое поколение получает войну в наследство, и уже не понимает — как же без неё жить-то? Поколение, знавшее только войну, не ценит ничего. Солдат оказывается уже не профессией, а образом жизни.

Война производит усреднение. Сначала одни были неправы, а другие правы, но к концу войны вышло так на так. В Отечественную войну сначала немцы сжигали деревни, обращали русских в рабов, методично вымаривали голодом. Потом русские мстили, как умели. Сначала горели Лондон и Смоленск, а потом Франкфурт и Дрезден. Сначала немцы обобрали оккупированные территории до нитки, а потом начались посылки домой из Германии. Генералы вывозили сервизы и картины с дачи Геринга для хорошей жизни в России; солдат грабил иррационально, от злости, тут же всё спускал. Наш дачный хозяин, — человек удивительно порядочный и добрый, редко такого встретишь, — в Польше пропил целый чемодан отобранных у немцев золотых вещей, как рассказывал нам под неизменный рефрен жены: “Домой бы привёз!”

Сначала немцы насиловали русских женщин и забивали их трупами колодцы. Потом русские зверски насиловали немок. В воспоминаниях Иоахима Феста я читаю о том, как советские солдаты изнасиловали сорокалетнюю женщину, разбитую параличом, сбросили её потом в пролёт лестницы, и она умерла через два часа; чем не сцена из “Симплициуса”? Эти люди вернулись в Россию, и жили среди нас. Да, солдаты, особенно с современной точки зрения, когда всё объясняют социальными условиями, с птичьего полёта *абстрактного гуманизма*, тоже жертвы: одурелое озверение от монотонности, искорёженная психика, иррациональность разрушения. И всё же можно было бы жечь и насиловать менее усердно. Солдаты слетели с нарезки.

Есть жестокость, которая порождается войной, и жестокость, которая порождает войны. В 1934 году композитор Карл Амадеус Хартманн заперся в мюнхенской квартире и целый год писал оперу “Симплициус Симплициссимус”. Его опера — воплощение ужаса перед прошлой и грядущей жестокостью. Я её видела. Она производит тягчайшее впечатление. Пускай Гриммельсхаузен и другие свидетели Тридцатилетней войны умерли триста лет назад, но “Симплициус” так никуда и не ушёл из немецкого культурного канона, так он и длился, и не иссякал, и именно его вспомнил Хартманн, почувствовал, к чему всё идёт в предвоенной Германии.

Можно не думать про лагерь, можно не читать Гриммельсхаузена, не слушать оперу Хартманна, но повседневная жестокость, питающая войны, не пропала, притаилась, замётённая в угол. Садизм гнездится неглубоко, гниёт под кожей — царапни, и вылезет наружу. Главное — магическое слово “можно”. За этим словом стоит погром, разбитые стёкла, разбитые судьбы, солдат, который топчет грудь поверженной женщины. После русских и немецких лагерей, после Камбоджи, можно развернуть газету и почитать о современной Африке: насилие, выходящее за рамки сознания, люди, которые деловито отрезают друг другу руки и ноги, или стругают живых свиней на эскалопы. Я родилась после Великой Отечественной; при мне были Руанда, Югославия, Чечня. Раньше Иди Амин замораживал политических противников и делал из них котлеты, а теперь сирийский повстанец грызёт гениталии врага и улыбается в объектив.

Рассуждения о том, что наши несчастья происходят от того, что мы Бога забыли, кажутся особенно смешными в свете истории Тридцатилетней войны, все участники которой были глубоко верующими. Жестокость неизбежна, когда вооружённый вста-

ёт против безоружного. Всё, что произошло с моими родными, всё, что происходит сейчас ужасного и безумного, было, есть и будет. *Развитие общества идёт по спирали* (не только папины словечки я запомнила), спирали жестокости, *потной спирали*, как выражался рассказчик “Левши”. История воспроизводит себя — как ни складывай коляску, всё пулемёт получается. Люди не меняются, потому что не хотят меняться. На отсутствие информации сегодня не спишешь, черпай полными горстями с интернета, но не хотят, обыватель всё равно уткнётся рылом в ю-тюб. И поисковые алгоритмы всё совершенствуются и совершенствуются, и всё удачнее подсовывают только то, что веселит душу.

В странное время мы живём — как будто маятник достиг нижней точки и вот-вот качнётся обратно. Какое счастье жить в мире, где дети плохо учатся, жёны изменяют, а любимые родители временно умирают. Какое счастье жить в мире без войн, в мире, где все трагедии твои собственные, мелкие, касающиеся только тебя. Но счастье непрочно; не избавиться от “*потной спирали*” жестокости. Безвредные глупые пингвины погибают первыми. “За что вы меня убиваете?” — удивляется Михаил, брат Николая Второго, — “Я никому ничего плохого не сделал, я собирал марки и монеты”. И за что убили в Киеве тётю Мусю, которая так любила детей и племянников? “Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл”, — радуется колобок, но конец его печален. Рано или поздно и для моего поколения начнётся война, надо будет бежать, всё бросив, или остаться и смотреть, как всё горит. Рано или поздно и нам брести с котомкой в никуда. У каждого поколения своя война. Обычная судьба обычных людей, но мучает чувство недоумения — а зачем всё всегда вот так? Пуркуа, пуркуа?

Большие числа и горлышко бутылки

Мне снились Валленштейн и Фердинанд II; *подошли, понюхали и разбежались*. К чему бы это?

Во время Тридцатилетней войны погибло восемь миллионов человек, во время Первой мировой 27 миллионов, во время Второй мировой 33 миллиона. Поскольку потери нарастают, в свете дальнейшего Тридцатилетняя война не кажется такой уж ужасающей. Только пропорции позволяют прочувствовать последствия побоища. В последней войне официальные потери России (неточные, потому что архивы всё ещё недоступны), составили 12 процентов населения (в Европе — 6 процентов). Это значит, что из ста человек погибло

двенадцать. Если сто человек — это 25 семей (папа, мама, двое детей), то каждая вторая семья оказалась неполной. Восемь миллионов немцев, погибших в Тридцатилетнюю войну, означают потери 20 процентов населения. Погиб каждый пятый. Возьмите тех, кого мы потеряли в Отечественную, возьмите то, как мы это прочувствовали, и умножьте на два.

В среднестатистической массе растворяется ещё более страшная правда о сгущении потерь, о локальном, направленном истреблении. Во Второй мировой, для нас Отечественной, гитлеровцы прицельно уничтожали евреев и цыган в лагерях, и по разработанному “Генералплану Ост” вымаривали русских унтерменшей голодом, потому что их много, и газовых печей на них не хватило бы. В немецких лагерях погибло от голода, истощения работой и психических болезней несчётное количество из трёх миллионов советских военнопленных. Во Франции во время оккупации было убито 25 процентов евреев, а в Голландии — 73 процента. 73 процента означают, что у большинства евреев семьи просто исчезли; погибли все родные: плохие, хорошие, любимые, нелюбимые. В оккупированном Киеве были уничтожены практически все евреи. Погиб каждый второй. Ленинградцы, из невывезенных, умерли почти все, хотя общего процента не знаю, сужу по своей семье. Локальные потери в Богемии и Баварии во время Тридцатилетней войны составили 50 процентов населения.

Потери во всех этих войнах и походах расфокусируют сознание, они дарвиновские, на уровне массового вымирания леммингов. Возникает множество вопросов: “кто виноват?” “Что делать?” “Чем за это дать по морде?” и т. п. И ещё один — а почему люди выживают? Если убит почти каждый, то почему выжил именно мой отец? По отцу проехалось пресловутое колесо истории, а за ним и второе, и третье — у её локомотива их много. Кажется невероятным, что отец выжил. То есть он умер, но как все мы умрём, если посчастливится — в позднем возрасте, в неполных 89 лет. Он не погиб на тех поворотах истории, которые привели к смерти миллионов.

Я пытаюсь найти ответ в отцовских записках (С. Д. Карпов. “Современник 20 века”). Я читаю и вспоминаю: “Капитанская дочка”, Гринёв, — не только голоса, простые, безыскусные, схожи, но и судьба. В четырнадцать лет я видела в “Капитанской дочке” одно, а теперь другое. Теперь я стала тонкокожая. Я любое читаю по-иному, проникаясь ужасом войны и восстания. Теперь мне понятно, по какому острому лезвию ходил Гринёв, по какой тонкой грани между подлостью и порядочностью. Судьба убитого однозначна. Впрочем,

что это я? Судьба моего дяди, убитого под Москвой, до сих пор неоднозначна, до сих пор он числится пропавшим без вести, останки его до сих пор ещё не нашли, и вряд ли уже найдут. Но как бы то ни было, он был убит, *мёртвые сраму не имут*. А для попавшего в плен испытания только начинаются. На родине судьба его неизвестна, сам он проходит круги ада.

Самое удивительное в “Капитанской дочке” — внезапное превращение недоросля в зрелого человека; сюрприз для читателя и для Савельича. С Петрушей нас ждут неожиданности, и с моим отцом тоже. Как этот милый мальчик, любитель радиотехники, за год превратился в офицера, *на службу не напрашивался, от службы не отговаривался*, на фронте и в плену проявил недюжинную силу характера и остался порядочным человеком? Внезапную зрелость литературного героя можно списать на недосмотр неопытного автора. От странностей жизни отмахнуться труднее. Таким уродился. В отце моём с детства, изначала видны были упрямость и твёрдость характера.

В сорок втором, в декабре, отцу исполнилось двадцать пять. Он был новоиспечённым артиллеристом. Испытав к этому времени и ссылку, и запрет на высшее образование и военную службу (“по шестому пункту”), в начале войны отец ожидал, что ему уготована пехота. Но его отправили в артиллерийское училище. Я бы и сама могла рассказать, что было дальше — я много раз читала эти записки, но лучше послушать его: “...когда Виссарионыч заплакал и по радио обратился: «Братья и сёстры», — *видать припомнил этот зажигательный оборот, поскольку он из попов был, — он мне простил. Думаю: «Значит, война меня выручила, и я, вместо того, чтобы попасть в рядовые солдаты, попадаю в привилегированное училище, к которому какой-нибудь месяц назад меня бы на пушечный выстрел не подпустили»*”.

Выучившись на артиллериста, отец оказался в 42 году под Харьковом. “*Меня сделали заместителем командира батареи в третьем дивизионе 132-го артполка*”. Сначала было, как в Белогорской крепости — почти. Полуразгромленная Шестая армия собиралась с силами на постое. “*Командир батареи старший лейтенант Агеев, пожилой, за 50 лет, молчаливый, симпатичный, но болезненный человек, старался, когда это возможно, полежать...*”, а господа офицеры варили водку из бурака; о рецепте самогона спрашивайтесь в отцовских мемуарах.

Белогорскую крепость, как вы помните, защищать было некому и нечем. Зачем она вообще была, знает только Бог и те, кто да-

ёт указания из Петербурга или Москвы. Что касается отцовского воинского соединения, так *“В полку не оказалось не только топографической службы, но и топографических инструментов. Не было даже карт местности, на которой происходили военные действия”*. Что карты! Пушек был некомплект. И тем не менее вдруг, как в Белогорской крепости, — приказы из столицы, странный военный совет. *“Я был в сенях дома, где размещался командир полка. Не помню, почему я туда попал. У командира полка, вidać, была пьянка, там было три командира дивизионов. Когда они все оттуда вышли, я увидел, что они не весёлые, а какие-то подавленные. Я понял, что случилось что-то скверное, о чём простым смертным, вроде меня, не должно быть известно. Но вскоре стало известно — нас бросили в наступление с голыми руками.*

В нашем полку было шесть пушек, потом осталось только три. В полку должно быть три дивизиона; в дивизионе три батареи, а в каждой батарее три взвода по три пушки. Итого должна была быть 81 пушка. Вот сколько пушек должно быть, а мы полезли на немцев с тремя пушками. Стрелял из них (давал координаты наводчику) командир полка. Комполка стрелял волей-неволей, потому что пушек было всего три, и надо было их использовать наилучшим образом. Комполка это всё-таки ас, несколько стрельб его я видел — он разбил несколько немецких обозов. И пушек было мало, и народу — мы могли укомплектовать только один дивизион из трёх.

Собственно говоря, я только теперь нашёл ответ на вопрос, почему это сделали. Дело в том, что долгое время все наши военные действия, связанные с поражением, в литературе не освещались — только победные марши. В книге маршала Жукова, которую я недавно читал, дано пояснение, что наша операция была одной из ошибок Сталина. В чём она заключалась? Сталин боялся за себя. Всю военную технику и лучшие отборные части он сосредоточил под Москвой, но этого ему показалось мало. Он решил сделать отвлекающий маневр — устроить наступление на Харьков, использовав для этой цели 6-ю и 9-ю армии, уже сильно потрепанные, без надлежащего пополнения людским составом, и также без поддержки наступления танками и авиацией. Ну и конечно, уж нечего говорить о продовольственно-техническом снабжении, которого вообще практически не было. Наши храбрые генералы не могли сказать Сталину, что это наше наступление — покушение с негодными средствами и приведёт к большой гибели людского состава. В результате, как пишет маршал Жуков, 6-я армия вме-

сте с её командирами героически сражалась с противником и была полностью уничтожена.

Итак, мы внезапно начали наступление на Харьков при отсутствии у нас необходимого вооружения. Вся тяжесть легла на нашу пехоту. Немцы не ожидали этой авантюры, потому что они представляли наше положение и понимали, что мы ничего серьёзного предпринять не можем. Они были спокойны. Их артиллерийские батареи были демаскированы. Все их орудия были шарового цвета — просто, как морские орудия. Кроме того, возле каждой батареи было развёрнуто огромное, метров в 50–60 квадратных, красное полотнище, на котором был белый круг с чёрной свастикой. У немцев было тоже красное знамя, потому что они ведь, как и мы, были социалисты, только национал-социалисты, а мы — интернационал-социалисты. Полотнище было раскатано для того, чтобы случайно их самолёты не могли разбомбить свои батареи. А наших самолетов они абсолютно не боялись, потому что их практически не было.

Так как немцы не ожидали нашего наступления, они не реализовали свои возможности, и нам быстро удалось захватить крупную узловую станцию Лозовую. Немцы моментально покинули Лозовую, так что когда туда вошли наши солдаты, то у нас там был грандиозный пир. Чего только у немцев не было — и ром, и тушёнка, и хлеб, и консервы — я не берусь даже перечислить всё. Мы-то тогда голодали с остатками пищевых концентратов. У нас было — что отобьёте у немцев, то и жрёте, а мы, мол, вас кормить не собираемся, вроде как охотничьи лаек”.

Немцы отступали неспроста, — заманивали. Вокруг Изюм-Барвенковского выступа замкнулось кольцо. Две наши армии были окружены немцами. Командиры во главе с маршалом Тимошенко улетели из окружения — они были нужны Родине. Солдаты и младшие офицеры остались в Харьковском котле — они были не нужны Родине. Еда кончилась. Боеприпасы кончились. “Когда у нас не получилось с тремя пушками, у нас началась весёлая жизнь. Мы жевали сухой пшеничный концентрат, потому что драпали, и вообще какая кухня, если мы меняем положение. Поэтому дают по куску концентрата. Он квадратного сечения, толщиной сантиметра два — плотный, спрессованный. Хорошо, если у тебя есть зубы, — но я тогда был молодой, — кусаешь его сбоку, во рту у тебя кухня с подогревом — идёшь и жрёшь. Вот тебе и фронтовой паёк.

Мы бродили по старым картофельным полям, собирали оставшуюся картошку, делали лепёшки и их ели. Старая картошка в

поле превращается в желе, как огурцы, которые подверглись действию нитратов; то есть она внутри совсем мокрая, и без огня с ней ничего не сделаешь. Поэтому мы её сминали в кучу и жарили на листе железа или в каске”.

“Мы начали метаться, делая большие бессмысленные марши. Немцы начали нас обстреливать... Мы быстро поняли, что попали в окружение. Не знаю, как дело обстояло с командирами, они наверно про окружение знали — они ведь там все были партийные, но нам, беспартийным, наши командиры ничего не говорили. С нами обращались, как с чурбанами, но я сам обо всём догадался. Мне казалось, что мы бездумно колесили и делали странные остановки. Я сомневаюсь в том, что даже у командира полка была карта. Иногда мы останавливались, окапывались под носом у немцев”.

Где свои, где немцы — никто не знал. Отца отправляли в разведку. Он ползал на животе и определял — где немецкие телефонные провода, там немцы. *“У немцев тонкий провод, покрытый полихлорвиниловым покрытием, — очень лёгкие катушки. Наш провод был толще раза в три-четыре, и катушки были очень тяжёлые. Вот это один из критериев — здесь проходят немцы, или наши. Второй критерий — это язык. Немецкий я немного понимал... Я уже знал, что в районе Краматорска сосредоточены огромные силы немцев. Крестьяне нам об этом говорили открыто, а вот командиры наши, которые, я уверен, всё знали, не говорили нам ничего; может быть, они не хотели «сеять панику», но хотя бы, сволочи, сказали таким, как я — ведь они же посылали меня в разведку, посылали туда, куда человек, которому это было положено, идти не хотел — боялся за свою жизнь. Всё это было мне противно. Откровенно говоря, попал я там в такую гадкую историю — хуже нет”.* Вернулся из разведки и увидел, что все ушли, бросили его.

Отец прибился к другой группе отступающих, вернее, бредущих неизвестно куда. *“Мы были в полном неведении. На ходу шла организация отрядов для прорыва через немецкое окружение. Все, собственно, стали на положения рядовых, и командовали наиболее инициативные, но в основном это были офицеры”.* Вскоре вышли на немецкие танки, и те их расстреляли в упор. Отец уже несколько дней не ел, был ранен, и потерял сознание. Такая обыкновенная военная история.

Немцы подобрали уцелевших. Искали комиссаров и командиров. Комиссаров расстреливали, командиров отправляли в самые страш-

ные лагеря — для офицерства. Обычно солдатские лучше, но у русских всё наоборот. Самый страшный лагерь — офицерский. Немцы не считали русских солдат за людей; русские же офицеры были для них величиной с отрицательным знаком. Поскольку отец не хотел срывать погоны, он попал в офицерские лагеря. Началось с пересыльных лагерей, где был голод до истощения. Потом несколько лет в лагере в Пенемюнде, поблизости от завода по изготовлению немецких ракет “Фау-2”. После американских ковровых бомбёжек прицельно разбомблен был только завод, но не лагерь, где находился отец. Кончилось лагерем уничтожения в Бремерфорде, где отца ждала верная смерть, но не дождалась — помешали англичане. Отец мог бы тогда уехать на Запад, но предпочёл вернуться домой, к матери. Вот как он попал из английской зоны оккупации в советскую:

“В результате агитации, которая была произведена нашими перемещёнными лицами, и простыми английскими солдатами, получается так, что по мере того, как мы подвезжаем к нашей зоне оккупации, настроение у нас падает. Подвезжаем, машины останавливаются, и дальше нужно идти пешком до места соприкосновения английской и советской зоны оккупации. Из тех, кто приехал на наших студебеккерах, едва одна четверть набралась тех, кто всё-таки решил вернуться на родину. Остальные стали топтаться на месте и решили ехать обратно. А я твердо решил, колебаний у меня никаких не было, и я двинулся в направлении к нашей зоне. Судьба оставшихся мне неизвестна. Я приготовился полужить 10 лет, допросы, конвой, бараки, лагерь где-нибудь в Сибири или на Колыме”.

Ни в чём не повинный Гринёв оказался сослан на вечное поселение в Сибирь. Туда же потом, уже не при царской власти, ссылали неповинных, пострадавших людей, чудом выживших в немецком плену. Отец мой избежал русского лагеря потому, что вначале его чуть не бросили на японский фронт (спасла американская бомба), а потом, два года спустя, за пару месяцев до того, как в Ленинграде арестовали всех уцелевших военнопленных, его укатали в Китайск по распределению.

В папиной жизни счастья не было, но было много удачи. Чудом выжил, когда целые сутки шёл пешком в Харьков, раненый и обескровленный, и немцы расстреливали тех, кто пытался напиться из лужи. Уцелел в голодном и страшном Владимиро-Волынском Сталаге, где люди мёрли от несъедобной пищи и сходили с ума. Уцелел в офицерских лагерях, которые для русских военнопленных

были страшнее солдатских. Чудом спасся, когда раскрылось, что он слушает русское радио. Не был убит, когда немецкие охранники стреляли из автоматов по тонким стенкам барачков, просто так, для развлечения: скучно ведь, — и каждое утро кто-то с нар не вставал. И избежал сталинских лагерей — они бы его, доходягу, добились.

У отца было то спокойное отношение к жизни и смерти, которым обладают верующие и фаталисты. Три его истории произвели на меня самое сильное впечатление. Они его характеризуют, так же как “Тамань”, “Бэла” и “Фаталист” характеризуют Печорина, ничего впрямую о нём не рассказывая.

“Ремень”. *“Я держал в руке маленький чёрный ремешок. Подходит ко мне земляк, сержант Синявский, пьяный: «Товарищ лейтенант, вас всё равно убьют, — подарите мне этот ремешок, он мне очень нужен». Он наверно обижался на мои замечания за его самовольные отлучки в деревню по торговой части. Я, конечно, отдал ему этот ремешок.*

...Скоро произошёл такой случай. У нас привал, я забрался на высокий холм, греюсь, отдыхаю, светит солнце. Внизу холма находились мои солдаты, а рядом с ними артиллерийские лошади артполка 9-й армии. Летят «юнкерсы» Ю-88. Гляжу, Ю-88 начинает какать прямо на меня — мне так кажется. Действительно, одна из бомб скользит мимо меня и ударяет немного выше основания холма. Огромный пласт глинистого песка засыпает моих солдат, находившихся внизу. Другая бомба падает рядом и убивает артиллерийских лошадей. Меня оглушает и обдаёт лошадиными внутренностями. Я мгновенно среагировал и был внизу холма. Находившиеся рядом солдаты вместе со мной стали откапывать засыпанных людей. Работа шла медленно, так как лопатки были маленькие, пехотные, часть из них немецкие со складными ручками. Когда мы откопали людей, было уже поздно. На них не было никаких повреждений, но они были фиолетового цвета — задохнулись. Среди них был мой сержант Синявский”.

“Итальянцы”. *“Немцы построили нас в ряд и задают вопрос — кто политрук? Один выходит — ему дали по морде. Остальные политруки, видать, призадумались и стали в дальнейшем говорить, что они интенданты. Затем спрашивают — кто офицеры? Вышел первый, его немного обругали, за ним я. По-видимому потому, что я был ранен и в крови, у меня только молча содрали с петлиц эмблемы пушек. Потом объявили — кто ранен, тот пусть остаётся — за ним придет машина. Остальные пойдут пешком. Я пошёл пешком...*

...Перед моим отъездом из Владимира-Волынского я обратил внимание, что к нам пришёл новый этап — надо сходиться, посмотреть, кто там. Среди прибывших я обнаружил одного из тех, кто остался на месте после нашего пленения под Харьковом. Он тогда пожелал ехать в Харьков на машинах, которые немцы обещали прислать для раненых. И вот что произошло: он ждал, никакие машины не приходили. Наступили сумерки, и вдруг вместо машин пришли военные. Это была итальянская голубая дивизия, но сразу их не отличишь от немцев, потому что их мундиры были такого же цвета, как немецкие. И эти, не долго думая, стали добывать раненых. Вполне вероятно, что это не была инициатива самих итальянцев, а им поручили немцы. Добывать раненых — грязная работа, а немцы всегда любили поручать грязную работу каким-нибудь ауслендерам. Так что если бы я там остался ожидать, то меня могла постичь та же судьба, что и оставшихся раненых. Мой знакомый забрался в воз с сеном, зарылся в сене и лежал там. Когда наступила ночь, он сумел оттуда бежать — там, конечно, никакой проволоки не было, пустырь, специально это место не охранялось. Некоторое время он где-то молчался, но в конечном счёте немцы его нашли и прислали в наш военлагерь”.

“Рация”. Дело было в небольшом лагере под Пенемюнде — не том, где жили рабочие завода, а другом, вспомогательном, где отец пробыл почти до конца войны. “Нашу контору часто посылали и на работы вне нашего лагеря. В основном они происходили на о. Пенемюнде, где был подземный завод, и я познакомился, не с заводом, конечно, а с местом, где этот завод находился. Из этих работ наиболее подходящей для меня была сборка строительных барачков. У немцев уже были сделаны всякие планки и болты, эти вещи были не такие тяжёлые, и мне нравилось их монтировать. Но шпалы подбивать, это ёлки-палки! У меня не получалось. Там была железная дорога, и вот как-то меня заставили подбивать щёбёнку под рельсовое полотно. Эта работа требует рабочих с большой массой, чтобы щёбёнку забить под шпалы как следует. Для меня это было очень паршиво. Или иногда мне там приходилось возить бетон на тачках. Ну сколько человек может не жрать? Я весил 45 кг, а например другой военнопленный, который был выше меня, весил только 43 кг. Дистрофия будьте-наме. И конечно, когда тачку с бетоном волочешь, то на колесе она ещё едет, а когда переворачиваешь, то эта зараза тянет тебя за собой.

Постепенно мой начальник перестал меня гонять на эти ра-

боты. Я ему приглянулся, потому что я ему всё делал разные поделки, касающиеся радиотехники, для его сына. Мой начальник Келлерт был немец из Мемеля (Клайпеды), который хорошо знал русский, но у него был некоторый акцент и иногда смешные выражения; вместо «очень много» он говорил коротко «это замного». Он наверно должен был знать и литовский язык. Он говорил, что его отец служил в русской армии музыкантом... Однажды у меня произошёл с Келлертом скандал. В его кабинете стоял приёмник, и я в его отсутствие стал ловить русские станции, чтобы получить сведения о том, что делается на фронте, а потом рассказать своим. А он меня за этим застукал. И сразу сообщил, что он безусловно это дело так не оставит и передаст об этом в гестапо. Я тогда рассказал об этом Андрееву (ещё один русский военнопленный). Андреев пошёл к Келлерту и сказал: «Да, если Вы так сделаете, то Карпова расстреляют, а Вас спросят — а как мог попасть приёмник в руки военнопленного? И решат Вас послать на фронт». Келлерт прибежал ко мне бледный и с большой коробкой папирос и просил, чтобы я обо всём этом молчал. Папиросы я принёс в свой отсек барака и роздал своим трудящимся; все были очень довольны».

Три года в немецких лагерях. Как же он выжил? Он остался жив не потому, что отбирал у других пайку, и не потому, что решил спастись любой ценой. Можно было притвориться солдатом, но отец подумал, что это некрасиво. Во власовскую армию не пошёл, хотя она спасала от голода и давала шанс выжить людям, от которых отказалась собственная страна, — посчитал, что это нехорошо. Роль большевиков в крахе России он понимал, но воевать с немцами против русских не мог.

В те дни, когда я верю в добро, я думаю, что отца спасла питательная смесь честности и здравого смысла. Папа был добрый и порядочный, и во многих случаях его спасало хорошее отношение людей. Но в другие дни я не верю в то, что добро или зло играет какую-то роль в нашей судьбе. Несмотря на мужество, благородство, выносливость, скорее всего он уцелел за счёт больших чисел. Исторические факты: восемь миллионов в Тридцатилетней войне, тридцать три миллиона во второй мировой, — указывают на случайность. Говорят, что наша Вселенная только одна из миллиардов стабильна и способна поддерживать жизнь. Спрашивается, как случилось такое чудо? Но ведь мы можем спрашивать только потому, что это случилось. Чуда нет, отцу повезло, как Вселенной, из-за накопления малых вероятностей.

Люди надеются, что их оградят вера, знания, опыт, смекалка, взаимопомощь. Глупость всё это. Статистика давно показала, что всё это иллюзии. При массовом уничтожении люди выживают как мальки в косяке, за счёт того, что их много, и кто-то должен уцелеть. Да, есть биологическая теория о том, что уцелевают популяции со взаимопомощью, и в этом случае добро и человечность играют важную роль. Но когда идут массовые уничтожения, которыми славится человечество, погибают все без разбору. Нет селективного преимущества ни у доброго, ни у злого. Популяция проходит через “горлышко бутылки” — резкое ограничение численности, и уцелевшие одиночки, плохие, хорошие, снова восстанавливают мирную жизнь. Не важно, зачем и почему живёшь, добрый ты или злой, гордый или смиренный. Людям хочется думать, что Содом и Гоморра погибли за ГРЕХИ, но ужас в том, что в Аушвице погибли и подлещи, и праведники. Массовая гибель, без разбору, — вот чему учат легенда о Содоме и Гоморре, легенда о Иове, легенда о потопе и жизнь без легенды. Учат случайности избранных.

Я мысленно перебираю отцовскую жизнь, как чётки, задумываясь о каждой бусине. Во мне бьётся чувство — а вот этого не должно было быть, и вот этого. За что? Может, кто и заслужил, но не мой отец. Такой хороший человек не должен был столько испытать, и до войны, и во время, и после. Справедливости нет. Жизнь отца — случайность. Моя жизнь — случайность. История Петра Гринёва — о том, что только цепочка случайностей помогает хорошему и честному выжить. Человек — песчинка в песочнице природы...

Немецкая волна

Поговорим о самоубийстве, — чем ни тема для разговора? Государства могут самоубиться. Первым мне известным является самоубийство Израиля, в частности из-за того, что у римского гарнизона, стоящего на постое, на знамени был кабан. Вторым — самоубийство Чехии. Третьим — самоубийство России. И не говорите, что это не самоубийство. Не говорите — вот же Чехия на карте, вот же Россия на карте! Думаете, Россия не умерла? *Нет уж, умерла — так умерла*, в 17 году, и на её руинах мы видим совершенно иное государство, которое гордо провозглашает себя преемником старого. Ищет, пришивает себе корни, но всё ведь уже другое: другое отношение к жизни, другое отношение к вере. Интересно читать записки и мемуары о дореволюционной России — всё равно, что об Ассирии: Ассирии давно нет, хотя айсоры существуют. Ну вы ещё скажите,

что Ирак это Ассирия! Или: “Я — Ниневия!” “Дура ты, а не Ниневия!” Киев, *мать городов русских*, давно уже умер (или “умерла”, если мать?) и не имеет отношения к украинскому Киеву. Страны умирают, и хотя, разумеется, и земля, и жители остаются, и возникает другая, иногда под тем же именем, но не надо обманываться — бывшее безвозвратно, и новое — действительно новое, даже если его называют старым.

Самоубийства эти нечаянные, намеренных планов гибели не составляют, предсмертных записок не пишут, никто их не ждёт; наоборот, надеются на хорошее, думают: “Вот мы сейчас наведём порядок! Этого терпеть больше нельзя!” Хотя я не знаю, кто что думает, и думают ли вообще. Бытовые самоубийцы кончают с собой из депрессии, но кайзер, и австрийский император, и русский царь оказались самоубийцами исключительно по идиотизму. За чем Николай, когда страна ходила ходуном под его ногами, ввязался в мировую войну? Организаторы самоубийства сами удивляются последствиям. Организаторы конфликта часто подрываются вместе со страной, не умея вовремя остановиться: вспомним Гитлера, вспомним, как Николай Второй попытался на ходу прыгнуть с поезда, но попал под колёса. Предвидеть будущее никому не дано. Пророческие видения — это либо блудница на драконе, либо конь блед, но не бывает пророческих снов типа: “Не объявляй мобилизацию, Николаша!”

Крах бывает быстрый, но долго готовится. К самоубийству движутся мелкими шажками, во власти мелких эгоистических интересов. Бьются за разбивание яйца с тупого конца, попутно многие обогащаются, сочетая приятное с полезным. Трудно реконструировать, что творится в башке у конкретного политика, но в целом это понятно: собственные интересы представляются полностью совпадающими с общим благом; берётся за общее дело и себя не забывает. Но вот что удивительно — иногда человек не понимает не только общего блага, но и своего, и упорно отстаивает какой-то бред, который, осуществлённый, приводит к гибели. И когда таких много набирается, мы получаем смесь “ой-ёй-ёй”. Один лемминг остережётся прыгать с обрыва, он понимает, что может убится, а стая не остережётся. Из муравьёв можно сложить коллективный разум, а человечество *всех стран, соединяясь*, дуреет. Весь народ вдруг охватывает каким-то тифозным жаром, слепой ведёт слепого, и вот уже и бомбистов оправдывают, как писал Блок, *“учитывая, что творится вокруг. . .”* Сейчас уже непонятно, что такое творилось в России, за что можно было разнести в куски Сергея Александровича. Уточ-

ню, мне непонятно. Я человек прагматический и желудочный. Я не вижу дальше собственного носа, и поэтому мне недоступны высокие идеи преобразования общества. Поразительно, но желудочных людей мало, среди моих друзей практически ни одного. Все духовные. У духовных есть чёткие представления о том, что хорошо, и что плохо, и несмотря на все примеры *и египетской древности и древнееврейской* они твердят: “нет, а надо не так”. Духовные люди в любой момент готовы совершить самоубийство, не задумываясь, а стоит ли того идея, и насколько она обоснована.

Наилучший способ самоугробиться — война. Возьмите первую мировую, которая привела к гибели и развалу нескольких государств — России, Австро-Венгрии. Австрия просто покалечилась, потеряв руки и ноги, а Россия сломала шею. И Богемия погибла, когда чехи ввязались в войну, да ещё к ней и не приготовившись. Погибла прекрасная благоустроенная страна. Ведь Богемии, как впоследствии Голландии и американским колониям, гуситская реформа вероисповедания пошла на пользу, развязала руки третьему сословию, Богемия обуржуазилась и разбогатела — вся, а не только верхний процент населения, что было если и не прогрессом (у этого слова есть противный призывок оптимизма), так шагом в будущее, то будущее, в котором Франция оказалась только в 18 веке. В Богемии появились и общественное представительство, и некая даже социальная справедливость. Чехи возгордились, думая, что дальше будет только лучше, как ни пинайся. Причины — гордыня и оптимизм: *живём мы весело сегодня, а завтра, если раскачать лодку, будет веселей*. Уж сколько я этой наивной веры навидалась; даже у нас в России в 80-е годы. Страшна такая вера, она порождает бездумность и опрометчивость. Наш мир кажется незбылемым, а это утлая скорлупка. Исчезновение страны происходит мгновенно. Сирия... *вот она была, и нету*. В шашнадцатом была Россия, а в осьмнадцатом на её месте — даже не знаю, как и назвать.

Да, была вот такая страна Богемия, и вроде бы даже после битвы у Белой горы осталась, и в составе всё той же Священной Римской империи, но уже совсем не та. Из Богемии получилась страна с нищим народом, которой заправляло несколько олигархов. Средний класс погиб, или отправился в изгнание. До “Катастрофы” в Чехии было 90 процентов земли у мелкопоместных рыцарей, а после — только 10 процентов. Этим однодворцам было плохо от акуллатифундистов, а крестьянам и того хуже. См. повесть “Дубровский” — помните, как там распоясался Троекуров? Люди, которые интересуются историей, могут быстро из неё выудить простой та-

кой, сермяжный такой факт: большая разница в доходах населения ведёт к зверской эксплуатации и политическому бесправию большинства, — даже неудобно и говорить на эту тему, настолько это очевидно. Даже неудобно напоминать, что главный грех у такого вот бесконтрольного капитализма общий с социализмом — бессмысленность труда, безнадёга судьбы.

В покорённую Чехию хлынули немцы. Разобрали земли, оставшиеся после местных — славян ли, германцев, не важно; главное — старых местных родов. Интеллектуалы и чиновники заговорили на немецком. Чешский превратился в диалект тёмной массы. Сомнительную гусятину заменили на католичество, приехали с чемоданчиками новые святые — Св. Венцеслава старательно заменяли на Св. Непомука. Историки уверяют нас, что народ перенёс ампутацию утраквизма до удивления легко — его больше заботил порезанный скот. Хотелось хоть немного мясом обрасти после тридцатилетнего кошмара и разорения. Большинство старых церквей лежали в развалинах. Целые районы были разрушены. Пошло массовое строительство и перестройка. И тут на чехов обрушилось барокко. Барокко пришло с немцами и ассоциировалось с немцами. Барокко в Чехии было непривычным, как Св. Непомук. Но жить-то надо... Народ стал жить и приживаться к барокко.

Благополучие и барокко не зря начинаются с той же буквы. Послевоенные страны бросились в барокко, чтобы забыть ужасы войны, — времена, когда жгли дотла, грабили до нитки, вырезали не семьями, городами. Хотелось пожить по-человечески. Помните, какими мы все себя чувствовали цивилизованными в конце 20 века? Какие кругом были красивые машины, телевизоры, дворцы, правда не из хрусталя и алюминия, но из стекла и бетона? Позади были варварские войны, повсеместно, даже в советской стране воцарилось буржуазное благополучие. В таком же благодушии пребывали народы накануне первой мировой войны. Потом ... ну, мы знаем, что было потом, и в 1914 году, и в 2001. Мир совершил ещё одно сальто-мортале, сбросив с себя старые представления о том, что хорошо, и что плохо...

В истории городов есть узенькие полосы, когда строится очень много, и широкие полосы, когда ничего не строится. При Карле велось мощнейшее строительство. Исторически это была узкая полоска: что такое сорок пять лет? Тьфу. Но за это время построен огромный собор, мост с башнями, замок... и всё одним архитектором, потому что другие не успели родиться. А когда родились и

прибежали, им говорят: “Вы не нужны, период активного строительства уже кончился, и сейчас тут будут войны, и всё, что было построено, попортят и разломают”.

Потом была послевоенная узкая полоска, когда всё строили Дитценхоферы, современники мюнхенских Ассамов. Старший Дитценхофер, Кристоф, приехал из Баварии. Импортный Дитценхофер был и скульптор, и архитектор, брал за пример итальянца Борромини. У него был сын, Килиан Игнац, который, как вы помните, построил дворец Кински и собор Св. Николая на Староместской площади, и дочь, имени которой я не знаю, потому что она ничего не построила. Но зато она вышла замуж за архитектора Ансельмо Лураго. Так составилась этот архитектурный триумvirат, который сообща вытянул большой собор Св. Микулаша на Малостранской площади (Св. Николая для тех, кто его помнит по России).

Приходишь к Св. Микулашу, поднимаясь вверх от реки, и думаешь, что надо было на трамвае. Вы уже поняли, что Прага — город крутой, не в том смысле, что все там ездят на мерседесах и курят анашу, а буквально: это город не для сердечников. Достоинство перепадов высоты — великолепные виды, которых в Петербурге не добьёшься, даже если подымешься на “Исаака-великана”, ну разве если пристроиться у ног ангела на шпилье собора Петра и Павла. Некоторые избранные там бывали, но по печальному поводу: мой родственник Михаил Шестаков зачехлял золотую иглу в начале войны, чтобы по ней не били снарядами немцы.

Св. Микулаш увенчан куполом и колокольной одинаковой высоты; брат и сестра. Купол сидит на толстом барабане, а колокольная тощая. Их зелёные крыши виднеются отовсюду и торчат на каждой второй открытке Праги. Но когдаходишь к фасаду — и купол, и колокольная становятся незаметны, заслонённые двухъярусной стеной, украшенной барочным фронтоном, тремя порталами, статуями из тёмного камня. На что, на что это похоже, с чем сравнить? Ёлки, не помню. Может быть что-то от собора Петропавловской крепости в Петербурге. Фасад относительно прост. Зато внутри собора барокко пышное, много золота и крупных фигур. Собор знаменит фресками, медным Св. Николаем на главном алтаре, амвоном в стиле рококо и красивым органом, на котором играл Моцарт. Жаль, что нас не предупредили — мы бы тоже пришли его послушать.

Подкрепившись, как Винни-Пух, в кафе напротив Св. Микулаша, я поднимаюсь от собора к Пражскому замку и барочным дворцам. Дворец Шварценберга, выстроенный в стиле флорентийского палаццо, но с многоярусными фронтонами немецкого барокко на

торцах г-образного здания, рустован, то есть покрыт каменными плитами с пирамидальной поверхностью, на гранях которых переключаются свет с тенью. Зачеркнём конец последней фразы — омманули нас! Это просто раскраска штукатурки под рустовку, кролик под котика. Ну, где Шварценберги, там и Розенберги (Рожембеки), как мы неоднократно впоследствии убедимся. Это во дворце Шварценберга Розенберг устроил ужасный банкет, который стал причиной безвременной гибели астронома Тихо Браге. В школьном курсе физики не рассказывали, но каждый чех знает, что Тихо Браге погиб от того, что вовремя не пописал: неудобно было уйти с королевского банкета, а взять с собой портативный горшок, которые тогда делали во множестве, и для дам, и для кавалеров, он не догадался.

Во дворце Шварценберга находится монументальная мальба габсбургских художников. Стоит осмотреть дворец Шварценберга. Но слишком всего много, боюсь обкушаться. Когда я была маленькая, я ела в основном кашу. Больше всего я любила пшеничку. Однажды, когда мамы не было дома, папа сварил пшеничку и дал мне всю кастрюлю — он меня очень любил. После этого я много лет не ела пшенички; такой вот удивительный физиологический феномен.

Дворец Штернберга — тоже рядом с замком, ибо выгодно селиться поближе к королям. Это типичное здание в стиле барокко, без обмана и обманок, в котором находится Национальная картинная галерея. Я знаю, что там. Везде найдёшь одних и тех же художников. Картины их просачиваются, как вода, во все музеи. Я найду остатки коллекции Рудольфа: и Рембрандта, и Рубенса, и Тинторетто, и Гольбейна, и Эль Греко, и Брейгеля, и Лукаса Кранаха, и картину Дюрера, которую принесли Рудольфу на руках через Альпы. Создание частной коллекции — всё равно что попытка удержать воду в горсти. Растеклась коллекция Рудольфа, досталась завоевателям — Максимилиану Баварскому, потом шведам, потом австрийскому императору. А помните, как Николай Первый обошёлся с Лукасами-Кранахами ранней коллекции Эрмитажа? Неизвестно куда они утекли и во что впитались.

Стоит осмотреть дворец Штернберга. Но... Про пшеничку я уже рассказывала? Тогда про дядю Ваню. Вы помните, что дядя Ваня работал в трампарке, хорошо фотографировал и не путал атлантов с кариатидами. Помните вы также, что до революции дядя Ваня учился в кадетском корпусе. До кадетского корпуса дядя Ваня был маленький и очень любил пасху, с маленькой буквы, то есть творожную пасхальную еду, рецепты которой неисчислимы. Наутро после пасхальной службы было принято делать визиты, и при этом

всех угощали стоявшим с ночи на столе. И вот однажды дядя Ваня проснулся раньше всех, вышел в столовую и увидел пасхальный стол. Там были пасха ванильная, пасха ореховая, пасха шоколадная, пасха с цукатами, пасха с изюмом и так далее. И дядя Ваня их все попробовал, и с тех пор долго не ел пасхи. Такая вот простая история, но хочется её рассказать, потому что сам-то он её уже больше никому не расскажет.

Чуть-чуть пройдя по площади, я подивилась замечательному зелёному канделябру и вспомнила, что, судя по старому фото Староместской площади их раньше было много, они стояли по всей Праге, на всех площадях, а теперь вот я увидела только парочку: зелёные монументы прежнему уличному освещению. Потом забрела на улочку Новый свет в надежде увидеть любимого мультипликатора, Яна Шванкмайера, который на ней живёт. Я видела три его фильма. Особенно мне запомнились в “Алисе (в Стране Чудес)” застенчивый кусок сырого мяса и агрессивные полосатые носки. Кролик в “Алисе”, — из бывших, ныне чучело, — нажирается стружек, из лопнувшего пуза сыплются опилки. В фильме “Чучелко” старичок вождельно смотрит на девочку, и у него сама собой развязывается ширинка, и из неё вываливается... жадная рука. Неожиданно, смешно, неприятно. Это что, страной навеяло? Если страной, так опосредованно, после того, как она была просеяна через мелкое сито души. Каждой книгой, каждым фильмом человек говорит о себе, то есть продукте окружающей среды и генотипа. И такое он иногда себе и окружающим говорит, что сам дивится. Каждому стоит снять фильм или написать роман. Я так сделала и узнала о себе много интересного. Так же, как и Шванкмайер, я боюсь уродства жизни. Но я ставлю между нею и мной стенку. Я всё время превращаю дрянь и рвань во что-то смешное и доброе. Такое переосмысление можно назвать самообманом, а можно — повышенной выживаемостью. Шванкмайер незащищён.

Я не знаю, как выглядит Шванкмайер, и я рассчитывала, что он стоит у своего дома, со всеми раскланивается и говорит: “Я — Шванкмайер!” Знаменитые люди часто так поступают. В 60-е годы к моему знакомому в Доме Книги подошёл небритый детина в ватнике и сказал: “Писателя Дудинцева знаешь? Это я. Пойдём выпьем!” Но на улице Новый Свет никого не было.

“Новый свет”, имя которого напоминает о крымском винодельческом заводе, — это Злата улочка для бедных или жадных, которые не хотят покупать билеты в пражский Кремль. Злата улочка

Градчанского замка застроена крошечными, кукольными домиками. Построена она была для мастеров-ремесленников. Там когда-то был рабочий кабинет Кафки, недолго. У нас был сделанный отцом снимок Золотой улочки; в наше время народу там гораздо больше. Какой пустынный Новый Свет и какая Златая улочка нехорошая, толпучая! Злата улочка не для нормального человека, несмотря даже на осенний несезон; я в неё заглянула, но даже не вошла, потому что в этот день мне не хотелось пробивать дорогу зонтиком. Хорошо, что Кафка во-время умер: сейчас ему было бы просто не протолкнуться к своему домику.

На улице Новый Свет тоже такие же разноцветные домики. Их почистили и покрасили, когда приводили Прагу в порядок в девятнадцатом веке, а до этого тут были трущобы для бедноты. Но заметьте, это не какие-нибудь фавелы Сан-Пауло из оцинкованного железа, и не халупы из ангарных бочек, в которых ещё совсем недавно, при советской власти, жили рабочие в Сибири — нет, это каменные прочные дома, хоть и малой площади.

Новый Свет загнулся кривым коленом и вывел к дому Тихо Браге... Надо ли плакать о том, что после меня не останется мемориальной доски, как от Тихо Браге, я ещё не решила. Неподальку, на Чернинской улице есть галерея Гамбра, где продают изделия Шванкмайера, но я её не нашла. Зато я увидела ряды скульптур из песчаника, поставленные низко-низко, близко-близко вдоль низенькой балюстрады, — как будто чёрные горошины раскатились по мостовой. Это терраса Лореты. Само здание напоминает петровское барокко (извините за назойливый повтор) — стены украшены лопатками, окна прямоугольные, в простых картушах. Крыша шатровая, без изгибов, высотой в один этаж, то есть не давит на здание. Вдоль крыши виден небольшой фронто́н с барочными волютами, и две башенки, не выше крыши, тоже с волютами по бокам. Посредине крыши торчит башня с небольшим шпилем, часовая и колокольная; на ней висят тридцать колоколов, отлитые в Амстердаме. Здание выстроено Дитценхофером в конце 17 века.

Лорета — место паломничества, основанное Катаржиной Лобкович в 1626 году, то есть почти сразу после разгрома богемских утравкистов и казни чешских баронов на староместской площади: чешская знать, приверженная католицизму, утверждала свои права. На территории Лореты есть церковь Рождества, которая представляет собой уменьшенную копию малостранского собора Св. Миклаша. В Лорете находится важная святыня — копия домика Богородицы из Назарета. Эта скромная ближневосточная избёнка заключена в

футляр и покрыта сверху донизу белыми барельефами и лепкой. В домике Богородицы помещается изображение Чёрной мадонны. Весь этот комплекс с церквями, часовнями, фонтаном, павильонами и сокровищницей содержит немало интересных вещей, в том числе и барочную дароносицу: красивую, корявенькую, украшенную бриллиантами со свадебного платья графини Коловрат, которая завещала всё своё состояние Лорете.

Потом я зашла в такой садик, как бы произнести его название? Нам, русским, ближе славянские сочетания звуков, чем итальянцам или французам, да и я лично ловка в их произношении и запросто говорю “Стржельчик”, а не “Стрежельчик”, как многие, но перед Вртбовской заhradой пасую. Вртыбыска? Втрубовска? Вытырбска? Я безнадежна. Меня можно выкинуть на помойку. Вртбовска захрада — это садик с маленькими, стриженными деревцами, в котором на террасах с балюстрадами высажены весёлые мраморные нимфы, вазы чёрного камня с чёрными фруктами и цветами, в надежде, что они со временем размножатся. И кажется, будто я в сказочном, детском барокко времён царскосельского сада.

Просьпаются обывательские мечтания об имении с крыжовником или хотя бы садовом участке. Хочу ли я статуй в своём маленьком огороде? В Сент Луисе было принято покупать гипсовых гусей и одевать их в пёстрые костюмчики. Придётся в цветочный магазин, и там полно гусей, ангелов, купидонов, поросят и черепашек. И есть ощущение, что этого всего мне не надо. Как-то спокойнее обойтись вазоном для гераней. Что же я буду делать, если добродетель притащит мне ангела? То же, что и в случае, если мне принесут хомяка — пристрою в хорошие руки. Только вот ангела труднее всучить, чем хомяка, несмотря на то, что ангел мало ест и не пачкает. Но, допустим, не отвертеться: произошло чудо, и мне подарили большую усадьбу, и если я не расставляю в парке скульптуры, я тем самым плюну в рожу порядочным людям. Что выбрать? Если статуи не самые что ни на есть лучшие, они выглядят дешёвкой и даже могут испугать: я видывала страшеньких пастухов и пастушек синего гипса, с пробойнами от времени, сквозь которые проступает проволока. Можно купить отполированную мраморную богиню с неотбитыми руками и головой. Но у меня ведь сердце изболится за то, что дожди разъедят её, как статуи Втрврт-Выборгской Захрады. Нет, пусть будет бронза с тёмной патиной, пусть будет женщина в платье пушкинской поры, присевшая на камень с книгой.

Я ухожу из Малой Страны по Карлову мосту — я его осмотрела в другой день, после поездки в Карлштейн, но зачем мелочиться —

расскажем сейчас, к месту. На берегу Влтавы стоит волшебник в шляпе с высокой тульей (надвратная башня моста). У ног колдуна лежит дракон — Карлов мост, низкий, длинный, со множеством пролётов. Брюхом дракон опирается на огромные каменные башмаки волшебника. Башмаки сделаны солидно, с огромным запасом прочности, и потому за шестьсот лет мост так и не съехал в реку. Дракона сторожит рыцарь, стоящий на выступающем из воды каменном острове. Мост построил Петер Парлер, как и многое другое в карловой Праге. Здесь на мосту во время Тридцатилетней войны когда-то шёл страшный бой пражан со шведами. Сейчас башни вряд ли имеют оборонное значение. Кто сейчас будет оборонять мост и лить смолу на наступающих? И кто сейчас полезет по мосту? При необходимости можно пройти по мосту на танке, а потом подорвать ворота, и если пролёт рухнет вместе с башней, перекрыть его будет просто... но о чём это я? Я как-то съехала на “Наши в Праге”, а это совсем другая история.

Ходить по мосту в данный исторический момент (когда наши уже и ещё не в Праге) противно — он перегорожен вдоль ради рестаурации, и на оставшейся половинке все трутся друг о друга и может быть лазают по чужим карманам. Сам по себе мост хорош, но славу ему принесли статуи, которыми мост был утыкан в 17 веке. Хорошо, что не догадались построить на мосту дома, которые так безобразят речную перспективу средневековых городов.

Аллегорические фигуры скульптурных групп выполнены в правильном масштабе — очевидно, скульпторы были профессиональные. Не всегда так получается. Вот у нас, совсем рядом с папиной работой, у Технологического инсти-верситета из постамента вытарчивает Плеханов, а у постамента стоит и смотрит на вождя рабочий. Плеханов большой, как автобус, а рабочий маленький, как гномик. То ли материала скульптору не хватило, то ли места, то ли компетентности. А может быть это шоковая терапия: зритель стоит и стоит, пытаюсь понять, почему рабочий *маленький, но за три*, а Плеханов *большой, но за пять*. . . И начинает в голове складываться сказка. Будто бы сидит Плеханов в своей комнате, грызёт шариковую ручку... Задумался и не замечает, что в комнате стемнело. И тут он видит под кроватью огонёк. И выходит из-под кровати процессия маленьких рабочих со свечечками, и тихо-тихо идёт на коммунальную кухню. Плеханов за ними и видит: подходит процессия к плите со щами, и начинают рабочие забираться друг другу на плечи. И снимают они кастрюлю с плиты, передают вниз по живой пирамиде, и открывается в стене крошечная дверка, и уносят туда

щи, а когда Плеханов подходит к стене, дверка уже *пропала, будто вовсе не бывало*. И думает Плеханов: “Привиделось мне это, что ли? Но тогда где кастрюля? Наверно Дойч и Аксельрод унесли себе в комнату. Сами-то они ничего делать не умеют, вот и таскают чужие обеды”. Словом будит такая скульптура воображение.

И скульптуры на мосту тоже будят и заставляют размышлять. Вот только бы знать, кто есть кто. Было бы веселее, если бы тут были Никсон с Киссинджером, или Буш с Чейни, или Путин с Берлускони. А вместо этого Феликс де Валуа, святой Иоанн и блаженный Иван. Что у них общего, у французов и *азиата с раскосыми и жадными очами*? Оказывается, вместе собирали деньги на выкуп попавших в плен к мусульманам. Пленник тут же, на постаменте, и протягивает к избавителям скованные руки. Так, здесь вот Кирилл и Мефодий — про этих я слышала. Только вот не подойти — мешает загородка. А там Святой Адальберт, он же Войтех, пражский епископ 10 века. При жизни ему не повезло, всех его родственников Пржемыслиды на всякий случай вырезали, во избежание конкуренции. И сам он жил невесело. Зато потом за его мощи чехи боролись с поляками. Так всегда бывает; когда-то в Столыпина при попустительстве правительства разрядили шпалер, а сейчас он мил всем и каждому.

Вот бронзовая плита, посвящённая Иоанну Непомуку. Его сбросил во Влтаву жестокий чешский король: странное было время — можно было по приказу руководителя государства замочить кого угодно. На первом плане крупная фигура — наверно, Непомук, но почему-то в женском платье. Ан нет, это такие тут крупные прохожие, а на заднем плане маленький Карлов мостик, и на нём при стечении народа безвольно, как тряпичная кукла, вниз головой висит Непомук, отполированный множеством прикосновений на счастье. Какое же счастье, если человека утопили? Но все знали, и Непомук в том числе, что утопление понарошку, и Непомуку обеспечено вечное блаженство; святого не утопишь, а если утопишь, то хорошо ему сделаешь. Думаете, зубоскалю? Нет, адекватно передаю тогдашние взгляды: многие христиане считали, что благодетельствуют жертвам, отправляя их на небо. Кстати, почему раньше всех убивали утоплением? Плавать, что ли, никто не умел? Или бросали с большой высоты, и одежда мешала всплыть? А может он выплыл, но у берега его ждали с баграми, и тюк по кумполу? Даже если и вылез — кто его пригреет и укроет от гнева короля?

Барокко было всем, что отринули когда-то утраквисты и Богемские братья. В этом смысле оно было чешским современникам

чуждо. Но за триста лет чех освоил барочные костёлы. Когда долго живёшь среди странной моды — приберёшь к рукам. Так произошло и в Петербурге, хотя уж куда дальше, чем от Казанского собора до Спаса на Крови, не в метрах, конечно, а в стиле. В Праге множество барочных церквей. У большинства я рассмотрела только фасады, например, фасад староместского Св. Якуба, на котором на барельефах клубятся фигуры, скученные, как карпы во время кормления. Внутри не была. Вздыхаю о том, как трудно попасть в чешские церкви. Многие пражские церкви работают, подчиняясь своему внутреннему ритму, а не потребностям туристов. Мои походы по святым местам проходили в стиле песни “Я пришёл — тебе нэма”. придёшь неуточно — закрыто. Придёшь уточно — все поют и просят не беспокоить. Непросто было попасть в церковь Мария у Тына: застроена зданиями и нужно полдня искать неприметную подворотню, по которой можно пролезть к её порталу. Я и не попала и не увидела могилы Тихо Браге. Не вовремя попала в великолепную барочную церковь Святого Иржи (Жоржа), — удалось просунуть только нос в щель забора, отделяющего крещёных от некрещёных, и разглядывать алтари вдалеке и в полумраке.

Панна Мария Снежна — в неё я попала, в церковь, названную в честь другой церкви — Санта Мария Мираколи, план которой римский папа начертил прямо на снегу. Строительство Панны Марии Снежной начато при короле Карле, но церковь никогда не была построена целиком: она значительно меньше, чем предполагалось. Здесь проповедовал когда-то *неистовый*, как *Виссарион*, Ян Желивски, и отсюда он погнал толпу к ратуше Нового Места дефенстрировать членов магистрата. Возле неё разбиты Францисканские сады, места мало, но всё же можно изловчиться и разглядеть фасад. Внутри Панны Марии резная скульптура. Много алтарей: белый мрамор, чёрные витые колонны, статуи в золоченых и цветных одеждах. Замечаю Моисея с рогами — порождение неправильного перевода Библии.

Я смотрю на обильные украшения и думаю — вот барокко не сторевшее, такое, какое было. Надо все это запомнить. Это — настоящая Германия, которой в Германии я не увижу. Я собственно в Прагу-то и приехала, ожидая увидеть неразгромленное немецкое, увидеть, как оно выглядит без реставрации. “Вот настоящее, не уничтоженное”, — думаю я, расхаживая по Праге и вообще по Чехии. Прагу почти не разбомбили, хотя бомбили. Зачем? А зачем американцы уничтожили Монте Кассино? Зачем сожгли Кампо Санто в Пизе? Зачем разгромили мост в Белграде? До них это просто не

доходит. У себя они разбомбили много больше. И в Петербурге теперь отстраивается новое племя, устремлённое в будущее. С чем бы его сравнить? Наверно с водорослью ламинарией — листья длинные, а корней нет. Только присоски-ризоиды. Я плачу над разбитой люстрой, в нашей семье с 19 века, а мне объясняют — надо было предупредить, что она ценная.

Кто ищет прошлое, тот ищет того, чего нету — это аксиома, трюизм, тавтология и прочее. Но я ищу такое, у чего не осталось даже наследников. Воды истории над ними сомкнулись. Передо мной немецкая культура в отсутствии немцев. Чехия — странное блюдо, немецкая архитектурная оболочка, начинённая чехами. Немецкое барокко стало чешским. Чехия впитала его, сделала частью себя, пост фактум, как Россия влила в свои жилы таланты Аристотеля Фиораванти, Карло Растрелли, Этьена Фальконе.

Я усаживаюсь на скамью. Сверху льётся небесная музыка, клочками: ангельское пение сменяется возмущённой бранью на немецком. И снова ангельское пение. Идёт репетиция. Потом вниз спускается обычный хор, не ангельский: приехали из Бонна, исполнять мессу Дворжака. Спели один хорал, как люди поют, и ушли на хоры, и снова запели ангелами. Урок храмовой акустики. Один из лучших концертов моей жизни. Пение немцев в чешском соборе.

Личная библиена

Как больно от простой и горькой правды: человек работающий если и попадёт куда надо, так невовремя. Я никогда не окажусь в замковом театре Чешского Крумлова в тот момент (раз в году!), когда придут в движение колосники сцены и начнут скользить и меняться, возникать и таять сказочные покои и волшебные пейзажи. На сцене не будет артистов, нам не до них, — вся соль этого зрелища в показе подлинных декораций 18 века.

Началась мода на быстрые перемены роскошных сцен с венецианского Театро Новиссимо, где в середине 17 века работал гений театральных машин Джакомо Торелли. На глазах у зрителей в считанные минуты Северную Пальмиру превращали в Южную, ад в сад, чайную в блинную и т. п. Да что же я — вот вам Карамзин, который восхищается ещё крепче меня: “Едва могу верить глазам своим, видя быструю перемену декораций. ...В одно мгновение проливаются моря, там, где луга зеленели, где цветы расцветали, и где пастухи на свирелях играли; светлое небо покрывается густым мраком, чёрные тучи несутся на крыльях ревущей бури, и зритель тре-

пещет в душе своей. . .” Особенно зритель Театра Новиссимо трепетал от падения Беллерофонта с небес на землю. Происходившее на сцене было чудесно и необъяснимо. Публика терялась в догадках: как это боги спустились на облачке, а потом оно рассеялось без следа, и никаких веревок и крючьев не видно? Очарованные зрители ходили на спектакли по многу раз.

Всё это роскошество накрылось. Волшебные механизмы сцены сохранились только в двух-трёх театрах мира, и то по рассеянности их владельцев. *Иных уж нет, а те далече...* и нужен заграничный паспорт. Посмотреть бы замечательный, грандиозный театр Буон Ретиро в Мадриде, но он погиб вместе со дворцом, давным-давно. Занесём его в скорбные списки тех, что сгорели, разобраны за ненадобностью. Выжили единицы, по недосмотру: в Крумлове, в Байрейте, и в Архангельском под Москвой — спешите посмотреть, пока его не захапало вместе со всеми Архангельскими постройками министерство обороны и не превратило в коттедж.

Как хорошо, что остались литографии и офорты. В книге Элен Розанд “Опера в Венеции 17 века” воспроизведены гравюры декораций Торелли к спектаклям “Ревнивая Венера” и “Беллерофонт”: королевский сад с причудливыми деревьями, у которых стволы заплетены косицей, а вместо листьев опахала; двор, замыкающийся портиком с видом на реку; преисподняя с летучими мышами; фантастический зал с колоннами до горизонта. Декорации семнадцатого — восемнадцатого века были сделаны так, чтобы их можно было разглядывать полчаса и не соскучиться ни на минуту. Архитекторы мастерски пользовались перспективным сокращением. Наибольшие аплодисменты срывала “сцена под углом с перспективой на две стороны”: посредине великолепная мраморная колонна, подпирающая роскошный свод с белой лепниной и золотыми розетками, от неё две стороны: справа елисейские поля, слева райские кущи. Давно ли вы слышали аплодисменты декорациям? Вот то-то и оно! А я ещё помню, было время, время моего детства, когда зрители хлопали декорациям. Считайте, что я вспоена молоком Головина и Коровина (фигура речи: какое с Коровина молоко?). Сейчас эти декорации сгорели, и нам говорят: “Ну и что? Мы ещё лучше нарисуем!” Но меня бы и те устроили — там солнце и зелёный лес. Теперь с мировой сцены изгоняют и Франко Дзефирелли, и Отто Шенка, и заменяют расфуфыренную действительность на рублища, и не то, чтобы из экономии — за голову схватишься, когда узнаешь, сколько потратили на это рваньё.

Похождения Дон Жуана в трущобах Нью-Йорка сеют мусор в

душе и вызывают такое отвращение к греху вообще, и к Моцарту в частности, что даже пуританин позавидовал бы проповеди Питера Селлерса, а Моцарт, будь он жив, закричал бы зрителям: “Нет, я не то хотел сказать!” Ну что плохого мы сделали Питеру Селлерсу? Мы наивно ждали, что нам споют волшебные мелодии, а тут, понимаешь, какая-то рожа влезает на помойку и начинает петь что-то вроде: *“Твою мать, твою мать, твою мать арестовали!”* От такого мне физически плохо (как сказал лирический герой Ерофеева: *“Стошнить не стошнит, а сплевать могу”*). Я, так и быть, согласна на труппы в “Порги и Бесс” (нам объяснили, что в Америке угнетают чёрных), но “Дон Жуана” предпочитаю в постановке Джозефа Лози, в интерьерах Палладио.

Наглядевшись великолепных гравюр и гуашей 18 века, я удивляюсь убогости большинства “аутентичных” постановок опер барокко; костюмчики простенькие, декорации в виде коробок. Денег, видно, нет, — кстати, их нет и на аутентичное освещение: имитация неровного света масляных ламп тоже влетит в копеечку. Даже в богатых театрах декорации барочных опер к барокко не имеют отношения, но тут уже не из бедности, а из скудости воображения — некоторые стенки, по которым вверх и вниз ползают артисты на присосках, стоят сотни тысяч, но рассматривать на них нечего. Даже в варьете можно увидеть только 10 процентов того, что делали в восемнадцатом веке.

Прожив долгие годы, начинаешь видеть тенденции в развитии всего на свете — театральных декораций, платьев, кухонь, зонтиков... Кухни и театральные постановки движутся в противоположном направлении. Декорации стараются убежать вперёд к конструктивизму, а кухни тянутся назад, к барочному изобилию. В прошлом, в шестидесятые годы, на кухне были только раковина, плита, и стол, неизвестно где раздобытый (наш был сделан папой из ДСП). Теперь появились дополнительные декорации, в стиле барокко (холодильник, микроволновая печь, моечная машина) или даже рококо (кухонный комбайн и машина для эспрессо).

Все сценические приспособления сохранились в Крумловском замке с тех пор, как в 1762–66 году театр был перестроен по последнему слову техники князем Йозефом Адамом Шварценбергом. Князь выписал для капремонта специалистов из Вены, в том числе магов и волшебников театральной механики, или уж по крайней мере учеников чародея — Лео Мерхеля и Йоханна Ветшеля. Они учились у самих Галли-Бибиена. Семейство Галли-Бибиена разра-

ботало типовые проекты для оперных театров Европы. Каждый театр строили с учётом вкусов и желаний заказчика, но неизменным оставалось одно — набор декораций. Во-первых потому, что потребности не менялись: в каждой постановке найдётся место для дворца, гавани, галереи, тюрьмы, сада, леса, или леса с военным лагерем; а во-вторых эти декорации были слишком сложны и дороги для того, чтобы их всё время заменять. Это сейчас в театре для каждого спектакля новые декорации, плохонькие, и потом их выкидывают, потому что где же их держать, и зачем? А тогда снабжали новый театр приданым, как невесту, на всю жизнь; использовали одно и то же во многих спектаклях. В Крумлове сохранились не только декорации, но и театральные костюмы. Хоть и шили их из дешёвых тканей, хоть и обшивали стекляшками, но всё равно много денег уходило. Поэтому запасали впрок костюмы для типового воина, героя, жреца, и подгоняли под них роли.

Не всякому даже в состоятельную эпоху барокко удавалось разжаться полным комплектом сцен. В Крумлове запаслись только тринадцатью наборами. Хорошо, но мало, учитывая огромный запас пьес, сохранившихся в архиве замка. Тут были и оперы, и фарсы, и комедии. Некоторые были заказаны специально для Крумлова. Например, Джузеппе Скарлатти написал Шварценбергу оперу: «Где любовь, там и ревность». Джузеппе Скарлатти, которого ценили в Вене наравне с Глюком, (хотя кавалер Глюк всё же лучше), был музыкальным учителем в семье Шварценбергов и написал эту оперу в честь свадьбы сына князя. Провинция, конечно, хотя австрийский император, милейший Иосиф II, покровитель Моцарта, наезжал в гости к князю, и Скарлатти не главный, а из племянников; Моцарт, небось, не поехал в эту дыру, Моцарт просто стащил у Скарлатти мелодию и подарил её Керубино..., но прелесть и блеск этого театра именно в домашности.

Князь Шварценберг, его семья, друзья и домочадцы были необыкновенно музыкальны. Роли в опере были распределены в соответствии с чинами. Графа Орацио пел граф Зальбург, а маркизу Клариче — дочь Адама Шварценберга Мария-Терезия. Музыкальная челядь получила роли простолюдинов — субретку исполняла жена Скарлатти Антония Лефебр, а слугу — либреттист Марко Колтеллини. Колтеллини впоследствии поступил на службу к Екатерине Великой и писал либретто для опер, ставившихся при русском дворе. Интересно бы послушать, что это за оперы? Куда они делись, и почему так прочно забыты в то время, когда весь евро-

пейский мир с восторгом копаются в старых музыкальных сундуках и примеряет на себя сохранившиеся партитуры? Когда же их найдёт и поставит Чечилия Бартоли? Ан, уже нашла, уже спела, уже записала на диск.

Механизмы Мерхеля и Ветшеля до сих пор не разломаны и работают. В 2011 году в Крумловском дворце воспроизвели постановку оперы “Где любовь, там и ревность” с современными пражскими певцами, но старыми костюмами, декорациями и инструментами. Для того, чтобы всё было по правде, пригласили специалиста по “жестам барокко” (!), и дирижёр дирижировал рулоном нот, перевязанным тесёмкой. Восковые свечи отлили по особому заказу с двойными фитилями, чтобы горели три часа. На премьеру пригласили князя Шварценберга и посадили его на хорошее место, в княжескую ложу. И я тоже проникла в зал на крыльях видеокассеты.

Опера прелестна. Нет, это совсем не детская опера! Меня поразила техническая сложность партий. Скарлатти, как и все оперные композиторы того времени, подстраивался под голоса исполнителей, стало быть можно подивиться тому, какие таланты были у него под рукой. Марии-Терезии Шварценберг было всего семнадцать лет. “Голос великолепный, она посрамила бы многих певиц Венской сцены, но в силу её положения публично выступать ей нельзя”, — хвастался её отец, Адам Шварценберг, в письме к приятелю. Тех, кто назидательно твердит: “Настоящий талант всегда пробьётся!”, спрашиваю: “Ха! Партия настоящая, а певица, значит, ненастоящая?” Что такое “настоящий талант”? И что такое “пробиться”, и чего оно стоит? Мария-Терезия пробилась только сквозь самые трудные пассажи Скарлатти. Если бы Мария-Терезия была настоящим талантом, она бы прорвалась в комедиантки; она убежала бы из дома, преодолев погони, проклятия и побои. Какой же отверженной шлюшкой надо было бы ей стать, чтобы доказать вам, что её талант — подлинный?

Но кто меня послушает? Если вы сами ещё не заметили, так я вам подскажу: убеждения вовсе не происходят от глагола “убедить”: это врождённые состояния души. Люди смотрят в лицо фактам, а потом отворачиваются и опять за своё: “Настоящий талант пробьётся!”

Всё, не могу больше писать, глаза зачесались. Знаете, как чешут глаза раки, как тщательно протягивают тонкий стебель сквозь клешню? Вы верите, что я рак? Ах, вы не верите?! А почему? Вы видели когда-нибудь мою фотографию?

Чешский Крумлов

Мне приснилось, что я танцую на балу в бальной пачке, и лакеи разносят гостям зелёный лучок — пожевать. Наступило новое утро, сегодня предстоит экскурсия в Крумлов. Простите, в Чешский Крумлов! Опасно укорачивать названия. Ростов на Дону и Франкфурт на Майне переменятся в лице и географии при отрыве от Дона и Майна!

Я снова завтракаю, хоть вас наверно удивит такое постоянство привычек: столько лет, и всё завтракаю с утра. Кухня в наёмной квартире — это и благо, и наказание. В кухне мы экономим деньги, но транжирим время; вместо музеев ищем магазины и по инерции покупаем продукты, с которыми нужно возиться, чистить и резать. Даже завтрак можно превратить в пытку, если отнестись к нему добросовестно: бороться с комками в каше, жарить омлет *а ля бургонь*. Проявляю благоразумие, не поддавшись на приманку газовой плиты, ем сыр и колбасу прямо с бумажки. Мне опять неохота на экскурсию... Я предчувствую новое фиаско, да и необходимость, будучи в отпуске, куда-то бежать к определённом часу, напрягает все поджилки моего старого, брэнного тела.

На экскурсии нужно сидеть у окна, иначе зачем всё это? И я всегда стараюсь ворваться в автобус в первых рядах и занять лучшее место, но не всегда получается — находятся старушки оперативнее, а морщины на моём лице ещё не столь глубоки, чтобы молодёжь повскакала с насиженных мест. Я осталась бы с носом и в этой поездке, если бы не подседа к приятной полной американке. Она мне говорит: “Хотите к окну?” Я выковырила из дальнего закоулка души остатки совести и спросила: “А вы?” “Мне всё равно”. Не представляю, в какие пучины депрессии нужно погрузиться, сколько детей вырастить, чтобы стало всё равно в таком насущном вопросе... но я поймала её на слове. И даже на обратном пути не удалось сделать по-честному: американка снова уступила мне окно.

Я сидела высоко, смотря на мир сверху, поверх водителя. Так высоко я сживала только на мосту через Чезапик, когда перегрелся мотор моей машины, и меня на тягаче перевёз обливавшийся потом полицейский. Ехали мы в Крумлов долго, и у меня было время поразмышлять, отчего. Теперь понимаю: оттого, что дорога в Крумлов однополосная, и никто никого не мог обогнать. Такие дороги мне нравятся в смысле охраны окружающей среды — меньше планеты забетонировано, — но на них всё время попадается кто-нибудь, рождённый ползать, и устраивает пробку.

По сторонам были только равнины, поэтому я удивилась, когда на стоянке перед нами оказался холм внушительных размеров. Мы, запыхавшись, влезли на холм, оказались на крытом мосту над оврагом и увидели старый Крумлов. Перед нами предстала замечательная театральная декорация. Разумеется, пошло называть красивые виды декорациями, но широкие арки галереи над мостом по форме были точь-в-точь как арка Торелли. Поэтому скажем, что я увидела *“сцену под углом с перспективой на две стороны”*.

Вместе со мной с Плащего моста на Крумлов смотрели триста туристов, а также Св. Непомук, Св. Вацлав, Св. Антоний Падунский и Св. Феликс Канталический, которым отвели более удобные места на постаментах. Святые были выполнены со множеством барочных деталей, и выглядели прелестно, только слегка побурели. Я подивилась тому, как они хорошо сохранились с семнадцатого века, — ведь время к мрамору сурово, не зря в Летнем саду статуи заколачивают на зиму. Потом я прочитала, что на Плащего мосту стоят копии. Правильно, — если не побеспокоиться, пожалуй прискорбные плоды многолетних дождей: в американском городе Сент Луисе я не сразу догадалась, что стоящие на постаментах болванки с ушами — это бюсты великих композиторов. Впрочем, может быть они такими были и в жизни, поскольку в эпоху великих композиторов из подручных средств был доступен только сальварсан.

Сияло солнце. С моста виднелись башня замка, шпили двух соборов, и крыша за крышей, с двумя рядами оконеч, выложенные аккуратно пригнанными полуцилиндрами черепичин, крутые, капитальные, похожие на раздутые ветром плиссированные юбки. Крумлов — безусловно *“пленительный город посреди Европы”*, как его называет переводной путеводитель. Это средневековый город-игрушка. Влтава описывает вокруг него две почти замкнутые в кольцо петли, образуя два полуострова, практически острова. На одном стоит город, на другом замок.

С Плащего моста было видно очень много, — но не всё. Крумлов создан для того, чтобы смотреть на него сверху, иначе его игрушечную сущность не постичь до конца. К сожалению, у меня нет собственного вертолёт, а надо бы приобрести. Я знаю, что это отличная штука. На вертолёте я летала один раз в жизни, над гавайским островом, сидя между пилотом и толстым дядей. Сначала, когда земля вертикально пошла вниз, желудок ёкнул, но быстро забыл, что под ногами неустойчивый воздух. Я летела вровень с облаком, над скалами из чёрного базальта и зелёным морем, в котором

резвились, поджидая аквалангистов, весёлые мурены. Я была в восторге. К полёту привыкаешь, и приземляться странно — страннее, чем взлетать.

Чтобы попасть в город, мы прошли сквозь пронизанные проходами звенья замка, со двора на двор. Стены дворов были щедро расписаны, и дворы казались гигантскими гостинными без крыш. Росписи были полны приятной фальши — фальшивая рустовка, в которую врисованы фальшивые ниши с фальшиво-объёмными статуями; так было принято в эпоху Возрождения. Рустовка на фризах — цвета песчаника, которым обычно и рустуют (рущат?) всерьёз, а псевдоскульптуры, сероватые такие (гризайль), стоят в псевдонишах кирпично-рыжего цвета. Раньше всё было ярче, а может быть и нет: это реставрация десятилетней давности, и при подборе гаммы реставраторы чем-то руководствовались; то ли тем, как всё было при Рожемберках, то ли тем, как должно быть теперь, поистёршись в веках.

Я вышла на двор перед замком. Тёплая осень посыпала тротуары мелким тополиным золотишком; даже воздух был полон золотой ряби. Я вступила в город. Стены домов, раскрашенные в яркие барочные цвета и опутанные прожилками карнизов, казались листьями огромных клёнов. По узким улицам бежали ярко раскрашенные жучки и жужелицы... Ах нет, это с Плащевского моста казалось, что букашки-таракашки, а на самом деле это туристы в ярком. На некоторых буйство красок зашкаливало. Вот шаром плывёт по улице бирюзовая куртка. Останавливается, принимает позу для фотки на память (помните мюнхенское *“Коля, ты и тут был!”*?). Я тоже её фотографирую.

В маленьких цветных домиках то ресторан (с меню на русском), то гостиница, то сувенирная лавка. Я выхожу на мост через неширокую речонку — Влтава в Крумлове уже, чем в Праге, — и вижу старого знакомца — Яна Непомука. И тут его поставили: ах, Коля, Коля, и здесь ты был, ну что с тобой поделаешь! Иоанн Непомук повёл себя, как настоящий пионер, мальчиш-Кибальчиш, — не выдал вверенной ему дурацкой тайны и тем уберёг королеву и таинство исповеди; за то его и утопил жестокий король. Бедный Непомук! Утешает одно — Непомука никогда не было; он был придуман и употреблён на нужды Контрреформации, для борьбы со старым покровителем непокорной Чехии Св. Венцеславом. Поэтому конец у Непомука оказался бесславный: он перестал быть святым в 1963 году. Непомука не было, а короля-то хоть было? Тоже неясно. Впро-

чем, уточним — реальные Мальчиши всё же тут были; король Вацлав IV и Непомук — это чешские Евпатий Коловрат, Иван Сусанин, Павлик Морозов и Зоя Космодемьянская, — люди, которые страдали, жили, геройствовали и гадили, а потом при помощи пермутаций правды с неправдой были превращены в патриотические жушелы.

Пройдясь по набережной Влтавы мимо террас таверен, можно разглядеть Плащевый мост и замок с нижней точки. Как смотреть на этот замок жители Крумлова, когда он ещё не был музеем: как на бомбоубежище, как на райисполком или как на Лубянку? Или как на комбинацию из этих трёх пальцев? Можно только гадать. Снизу Плащевый мост — это домотканное подражание римскому акведуку, это добротная расширяющаяся книзу стена светлого и серьёзного камня, с двумя рядами высоких проёмов, на которую голубком спорхнула из более поздней эпохи беззаботная надстройка. Между зданиями замка даже не две, а три большие разницы. Слева виднеется двухэтажная коробочка надстройки Плащевых моста, выкрашенная в цвет подмосковной сирени и расчерченная белыми карнизами, справа — пёстроцветный Градек (дворец), а посередине — общежитие завода Электросила. Удивительно, что весь этот разнобой появился примерно в одно и то же время, современное императору Рудольфу, как раз перед переходом Крумлова в императорскую казну. Здания строились не для красоты, а для удобства.

Общежитие Электросилы не заслуживает описания. Градек, самое старое здание, кажется современным (современным моему детству) — на нём аккуратно нарисована рустовка, модная в эпоху итальянского и сталинского ренессанса. Верхний этаж украшен росписями Бартоломея Беранка-Елинка, по мотивам оказавшихся у него под рукой гравюр. Сбоку из Градека вытарчивается широкая круглая колобашка с черепичной крышей, на которую уселась башня, прехорошенькая толстушка, сложенная из колец уменьшающегося диаметра. Нижнее кольцо башни как будто сплетено из луба, как короб для грибов, над ним кольцо с розовыми росписями, в стенах которого прорезаны узкие сдвоенные окна, а между ними нарисованы обманные арки. Третье кольцо — прелестная галерея с тонкими колоннами под зелёной кровлей; над галереей кольцо поуже, а над ним вытянутая вверх крыша с турельками по краям и большой фоновой беседкой, типичной для башен барокко. На голове у башни — шпиль, как у марсианского космонавта. Я тоже в детстве собирала такую из груды раскрашенных деревянных блоков, старательно нанизывая их на палку, торчащую из основы, а потом снова

её рассыпала. Почему-то мне никогда не пришло в голову собрать её вверх ногами; видимо в нас заложена внутренняя логика, диктующая приемлемые пропорции. Вот ведь вспоминаю об этой игрушке всё время — соскучилась, наверно. А может стиль барочных башен о ней назойливо напоминает.

Общее впечатление от замка: романтично. Частное, если взглянуть в каждое здание, более критично: для средневековья избыток окон, а для барокко нехватка шарма! Крумловская крепость села между стилев. Нету в ней красивой мощи средневековых замков, нет и кружевного кокетства барочных. Куда красивее воздушный замок, возникающий, если, поддавшись иллюзии, трансформировать промежутки в формы, а формы в промежутки, вынуть здания и оставить только пустоты дворов, очерченные расписными стенами.

Главная площадь, до которой добредаешь быстро, кажется велика по соотношению высоты зданий и широты мостовой, но в абсолютном смысле она меньше площадей Петербурга, и в зданиях её всего три этажа с кепкой. Зато кепки (фронтоны) у них нарядные: высотой в этаж, а то и в два. Выкрашены дома в жёлтенький, кирпичный, фисташковый, светло-сиреневый с цветной оторочкой. На площади стоит Марианская колонна во избежание от чумы (или шведов?); у её подножия — фигуры святых и городской фонтан.

Если уйти в сторону от площади, подойдёшь с какой-нибудь стороны к собору Св. Вита. С набережной силуэт у него сугубо немецкий: собор вытянут в высоту, крыша высотой почти с само здание. Приделов или изогнутых контрфорсов у него нет. Строгие формы, красивые пропорции; множество высоких длинных окон с закруглёнными завершениями. Сзади к собору пристроена удлинённая апсида и восьмигранная башня с шатровым покрытием, по краям которого сделаны щипцовые фронтоны. Я прошла внутрь мимо двух чешек, сидевших у лотка с брошюрами. Внутри кроме меня никого не было, и я нахулиганила, то есть нафотографировала. Может, мне только кажется, что фотографировать там было нельзя; но во всяком случае у этого занятия был греховный привкус, хотя я не стыжусь фотографировать в неположенных местах; ведь только для памяти, а не с целью продажи, и фотографии-то у моего аппарата такие выходят паскудные.

Стены в соборе были белые. Нервюры на потолке были выкрашены в серый и бежевый цвета. Я рассмотрела большой барочный алтарь семнадцатого века и ещё два алтарика поменьше. Эти готи-

ческие, волшебные городки с нишами и шпилями, как с конфетной коробки, сделали в 19 веке люди, у которых фантазии и мечты о немецкой готике близки к моим — то-то мне они понравились! Я обратила внимание на резной амвон, на витражи, на полихромные статуи на консолях колонн, на полосу ранних росписей на стене и на орган, золочёная резьба которого придаёт ему контур копья. В стене были большие ниши часовен. Одна, часовня Воскресения, безусловно имела и явно имеет огромное культовое значение, потому что в ней виднелись чьи-то кости.

Выйдя из собора, я купила путеводитель. За деньги. Чешки были в шоке. Растроганная продавщица вручила мне брошюру, торжественно и поощрительно, как путёвку в жизнь беспризорнику Муштафе. Видимо у меня такая бандитская рожа, что от меня не ждут, что я хоть что-нибудь добуду честным путём. Я должна спереть, перелезть через забор, набрать за гостиничным завтраком бутербродов на весь день, проехать без билета — знай Наших, Единороссийских!

Дальше я пыталась взять штурмом монастырь в черте города. Монастырь принадлежит крестоносцам с красной звездой. Ах, не спрашивайте, кто это; а если спросите, отвечу, что думаю: это пауки-большевики, крещёные перестройкой; сомневайтесь, посмотрите в Википедии. Крестоносцы не пускают посетителей в церковь, полную алтарей барокко (от раннего до позднего), ну разве что на концерт, и он даже был объявлен на сегодняшний вечер, но после моего отъезда: *насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом*. Горько потому, что я приехала за барокко. А вот если бы я приехала за византийской архитектурой, горько не было бы; мне бы было плевать на этот монастырь, я бы в его сторону и не поглядела. Но какой там амвон, судя по картинке! Он покрыт выпуклой золочёной резьбой и увенчан балдахином, на котором теснятся ангелы и херувимы. Такого пухлого барокко у нас в Петербурге не найдёшь. К нам оно просочилось сквозь частое сито классицизма, без излишних комков. А то, что было комковатым при Елизавете Петровне, исчезло под натиском поздних веяний.

В самом сердце Крумлова пристроился пивоваренный завод, перелицованный в центр изобразительных искусств имени Эгона Шиле. В этот центр я не попала, потому что была увлечена поисками куска торта, и наверно зря, потому что я могла бы ознакомиться с очередной порцией того, что в наше время считается скульптурой: например растянутые на колках рыболовные сети, или тяжело

вздыхающий бурдюк, окантованный разноцветными лампочками.

В этом городе родилась мать Эгона Шиле. Каким образом его мать не померла от скуки, мне непонятно. Да, люди, шумные и не очень вежливые, здесь работают, обслуживая туристов, но жить? Мне кажется, что жить в нём могут только игрушечные человечки в народных костюмчиках. Ан нет — фантазировать опасно. Что знаем мы о прошлом в те времена, когда оно было настоящим? Ничего. Быть может, во времена фрау Шиле у жителей города было множество интереснейших занятий. Быть может, современникам сонный Крумлов казался кипучим метрополисом, где того и гляди голову оторвут, и не по злобе, а впопыхах. Эгон Шиле кантовался в Крумлове во время первой мировой. Можно ожидать, что Крумлов у Эгона Шиле ассоциировался со светлым пристанищем, выменем, полным молока, или с тёплой утробой, но нет; Эгон Шиле поименовал серию картин о Крумлове “Мёртвый город”. Город оказался, наоборот, живым, или достаточно живым, чтобы оцетиниться на привычку Эгона писать местных девушек голыми. Впрочем, и одетые натуры у Шиле выглядят странновато и улыбаются криво, как Гелла из “Мастера и Маргариты”.

Бедный, бедный Эгон Шиле... Странно, как Чехия — так невротик, то Кафка, то Эгон Шиле. Если бы Шиле проиллюстрировал романы Кафки, как вышло бы славно, как органично, как аутентично! (Куда органичнее иллюстраций Сальвадора Дали к мемуарам Бенвенуто Челлини). Их взгляды вступили бы в такой могучий резонанс, что не только Поцелуев, Карлов мост бы рухнул. Это был бы графический шедевр полиграфии. Разумеется, с Эгоном я *вместе не служила*, и мои представления основаны на автопортрете. С автопортрета Шиле смотрит худощавый молодой человек с крупным, но унылым членом. Ничто так не способствует нутряному пониманию личности, как автопортрет или автобиография. Заметьте, я не говорю, что автопортреты правдивы, но они показывают то, как человек сам себя видит, а что может быть интереснее? Потому-то ведь и читаете мою книжку.

Я решила пренебречь традиционной чешской кухней и соблности собственные традиции: выпить кофе с пирожным. Это оказалось не просто — куда ни сунусь, торгов нет, есть их унылый заменитель апфель-штрудель. Нон, мерси. Найн, данке. Наконец мне удалось найти адекватную кофейню. Перейдя через Влтаву по мосту имени Непомука, я увидела вход в кафе “Две вдовы”. Я вошла в коридор, в конце которого сияло пятно света. Две вдовы устроились непло-

хо. Их скромное жилище выходило на берег ручья террасой для счастливцев. На ней все места были заняты. Я вернулась в коридор. От него отходило продолговатое помещение, страшно заставленное пухлыми диванами и низкими столиками. В конце зала стояла с кислой рожей молодая вдова в черном. Вокруг неё под стеклянными колпаками лежали куски тортов, аккуратно переложенные бумагой.

Полагалось бы сесть на пухлое и ждать, когда она ко мне подойдет. Но я нарушила этикет, мне нужно было выяснить, сколько стоит кофе с тортом — хватит ли у меня наличных денег? Злобная вдова отвечала: “Вас много, а я одна”. Покупатель задрожал и рассыпался на молекулы. Шутю! Мои молекулы по полу не запрыгали; связи во мне ковалентные; я с садистским удовольствием принялась рассказывать девушке длинную историю о том, что у попа была собака. В результате девушка сдалась и произвела предварительную оценку покупки. Я пересчитала деньги в кошельке и согласилась подождать.

Место мне досталось даже не в зале на диване, а за столиком в коридоре, но торт с кофе я получила. Торт был замечательный, пропитан орехами сверху донизу и пропитан нежными соками. Дьявол меня попутал попросить второй кусок. “Вас много, а я одна” — отвечала девушка, бывшая в заговоре с ангелами-хранителями моей талии. Правильно ответила. Вот была бы я официанткой: “Девушка, принесите торт, девушка, унесите торт”, — как тут не озвереть? Будучи врачом, к которому всё время прутся пациенты, я говорила бы: “Ну что вы, гады, в очередь выстроились?”, — а будучи космонавтом: “Да отлежьте вы от меня, не хочу я в эту ракету!”

Подкрепившись тортом, я продолжила прогулку. *Ну пошёл же, ради Бога, небо, ельник, и песок...* кирпичи, потёки, двери, ставни, росписи, щиток. Домики здесь принадлежат эпохе готики, которую потом переиначили в ренессанс и барокко. От готики остались высокие фронтоны сложной формы и разноразмерные оконные и дверные проёмы. В эпоху Возрождения на стены налипли росписи, которые в немецких городах отличаются особенным уютом, детальностью и домашностью. Некоторые росписи двухцветные (техника сграффито), а некоторые многоцветные, и очень искусные: женщины и мужчины в старинных костюмах, Богородица с младенцем, одетые, как матрёшки, в одежды, расширяющиеся прямо от шеи, витязь на коне под красной попоной, трубочка в широких штанишках буфами, на груди у которого, как у

участника конференции, надпись “Грегор”. От некоторых балдеешь — только ноги по колено и рука, держащая посох: может, фигура стёрлась, а может перед нами древний христианский символ. На одном из домов художник, распоясавшись от обилия денежных ресурсов, изобразил фальшивые окна с фальшивой расстекловкой, сквозь которую смотрят фальшивые жильцы. Все эти росписи слегка побиты долгой четырехсотлетней жизнью, часть которой они провели под побелкой. Их массовая расчистка произведена была только в 90-х годах. Вот уж действительно, не знаешь, когда и приехать! Приедешь в девятнадцатом веке и столько всего упустить.

Город маленький, и пройти его насквозь ничего не стоит. Окончилось мостом в настоящее — перейти его страшно, и я не перехожу. Я вижу, что кроме старого Крумлова есть и новый, и там живут не по-сказочному и не по-средневековому. Но именно новый-то и кажется мне сейчас несуществующим, а старый, показавшийся мёртвым Эгону Шиле — реальность. Она уютна и тепла, и осязаема, как плюшевый медведь.

Я вернулась назад и потихоньку побрела к замку. Время уже поджимало. Пройдя по тихой улице, в тихом проулке я увидела притихший банкомат и тихо достала из него очередную порцию чешских банкнот. Удивительно, сколько выдают крон в обмен на паршивенький доллар. Большая сумма, а бумажек мало. В Чехии, как и в России, в ходу крупные купюры, видимо с кроной и с рублём происходит что-то сходное.

В садах, разбитых при Крумловском замке, был выстроен Летоградек, в стиле рококо — с двухэтажной лестницей, где верхний марш напоминает подкову, как было модно в то время. Рококо *кого* года? 1757-го, постройка Ондржея Альтомонти, того самого, кто выстроил здание Крумловского театра. Модным нововведением Летоградка был подъёмный стол; его поднимали в накрытом виде из кухни на верхний этаж в гостиную. Подобные устройства любила и Екатерина Великая. К восемнадцатому веку всех утомило обилие слуг и отсутствие частной жизни. Хотелось побыть в узком кругу: человек сорок, не более, — поэтому пользовались подъёмными столами и сами накладывали себе с них кушанья. Сестра императора Иосифа Мария-Антуанетта переодевалась прекрасной молочницей и разливала молоко из кстади оказавшегося в кустах кувшина. Как жаль, что этой доброй и весёлой женщине отрубили голову.

Мне хотелось посмотреть сады. “Можете сейчас сбегать!” — великодушно предложила мне экскурсовод, — “Только учтите...” Раньше было не так, раньше великий принцип “семеро одного не ждут” не соблюдался, и даже семьдесят семь ждали одного, опаздывая на экскурсии, потому что экскурсовод головой отвечал за группу. Я помню, как в плавании по Оби мы целый час прождали каких-то алкашей, которые не могли продрать глаза после пьянки. А теперь меня даже трезвую ждать не будут. Я побежала, высунув язык.

Сад Крумлова слизан с Шёнбрунна, но я ещё не была в Шёнбрунне, и мне всё было внове. Парк представлял собой несколько больших и широких лугов. На зелени были процарапаны узоры и загогулины из гелиотропов, гербер, бархатцев, сальвий. Сажать такие клумбы, а потом оципывать отжившие лепестки — морока, которую лучше всего поручить легиону садовников 18 века, согласных работать за гроши. Я добралась до знаменитого водного каскада, из которого слава Богу всё ещё текла вода, несмотря на позднее время года. Он состоит из трёх террас над бобовидным бассейном. Каскад украшен статуями и опоясан закруглёнными ступенями. Постоять бы перед ним, но время вышло. Всё было испорчено гнусным галопом — зелёные террасы, водный каскад. На обратном пути, когда счёт шёл на минуты, я решила спрямить и запуталась. Меня поправили поляки; которые розумиют по-английски, но отвечают по-польски, к обоюдному удовольствию. Прибежала вовремя и даже топталась на дворе минуты три со своей группой.

Нас провели в капеллу, усадили за парты (опять шуткую, такая я уж юморная! Это были длинные церковные скамьи) и стали учить истории Крумлова. Эта история длилась семьсот лет и очень проста. Современному телезрителю будут интересны только два момента: кратковременное заключение Вацлава IV (“в заключении Леонид Ильич Брежнев сказал...”) и кровавое расчленение дочери коменданта сыном императора Рудольфа, доном Хуаном, который оказался безумнее даже своего двоюродного дяди, инфанта дона Карлоса. Его, как принца, никто и не наказал (ну разве что сказали: “Ай-яй-яй, бяка, бяка!”), и он мирно скончался от воспаления мозгов.

Замок стоит с 13 века. Почти до самой катастрофы восемнадцатого года (тысяча шестьсот) он принадлежал Рожемберкам. Последний Рожемберк разделил наклонности императора к ворожбе и добыче золота из утильсырья. Трогательную историю того, как их с Рудольфом долго водил за нос некто Келли, можно прочитать в

главе “Колдовство Рудольфа”, а ещё лучше в книге Рипеллино “Магическая Прага”. Разорившись, Рожемберк продал замок Рудольфу, так что Крумлов разворовали в Тридцатилетней войне уже как императорское имение, после чего Фердинанд передал его Эггенбергам, а уж от них было недалеко до Шварценбергов. Последний хозяин Крумлова сбежал от нацистов, и обратно его, как немца и буржуа, не пустили, замок национализировали. Отреставрировали замок только в девяностые годы. Мне, собственно, чем позже, тем лучше. Если опоздаешь к раздаче — приедешь, когда опять нужна будет реставрация.

Капелла на самом деле церковь, и немаленькая. Из готической она была переделана в барокко (рококо?). Стены облицованы искусственным мрамором из Вены, по стенам белая лепка. На потолке, на облаке белой лепнины парит золотое Всевидящее око с исходящими от него лучами. На барочном алтаре хорошего мрамора Св. Иржи поражает дракона. У дракона клюв. Я совершенно запуталась с драконом — есть ли у них на самом деле крылья? Есть ли у них клюв? Сколько у них голов? Неужели они ходят в штанишках? Скитаюсь из церкви в церковь, стараясь составить правильный образ дракона, “апокалиптической драка”, но на каждой картине какая-то отсебятина. Под Св. Георгием меж двух ваз чьи там косточки в баночке? Св. Калликстуса (4 век).

Нас уводят из капеллы. Нас много. Экскурсантов сбивают в колоссальные гурты, и из-за спин если слышно, то не видно, а если видно, то не слышно. Толпа беспокоится, волнуется, ведёт себя как лежбище котиков: кто-нибудь всё время лезет в середину, лоснясь шкуркой и поигрывая мускулами. Что сделаешь? Приходится вспоминать, что тебе уже известно, и ассоциировать с тем, что удалось заметить.

Помещений много, но мало полезной площади — с нашей точки зрения. Процентом пятьдесят пространства занимают пустые, широкие, высокие, длинные переходы. Переходы должны были быть заполнены сундуками, скамейками, стульями, высокими шкафами, но их давно уже сдали в комиссионку. Более-менее обставлена только комната Вилема Рожемберка, с настенными росписями и низким потолком, расписанным под деревянные балки.

В пустом холле — цветистые клейма на потолке, с красочными картинками: яйца, отрезанные головы сарацинов, или наоборот, головы и отрезанные яйца, — я путаюсь в героической геральдике. Память в виде герба на потолке оставлял каждый владелец: Шварценберги, а до них Эггенберги, а до них четыреста лет под-

ряд Рожи... Рожа... Рожембеки! Ну в общем Розенберги. *Все они пережились* — Эггенберг на Шварценберге, Шварценберг на Эггенберге, Эггенберг на Розенберге.... Чёрные горы, розовые горы, яичные горы выглядывали из окон замка, зорким взором озирая зелёный изгиб реки, сканируя покорные домики и безбрежные луга на предмет восстаний и нападений. Оглядевшись, втягивали шеи и шли танцевать. Куда они все делись? Обычная история — каждый много дрался, ел и пил, а потом затих, и его предали земле. Осталось множество печатей на стенках.

В замке есть три чуда — театр, Маскарадный зал и Зеркальный зал. Раз уж не видать нам Крумловского представления, раз уж мы путешествуем только в заранее отведённое от работы время, остаётся постоять в Маскарадном зале, где стены заgrimированы под театральные ложи со зрителями. На росписях изображены дамы и кавалеры в обманной перспективе. Их живые позы напоминают картоны младшего Тьеполо, возрождённые в Глайндбурне, в декорациях Мориса Сендака к опере “Любовь к трём апельсинам”. Да, чем больше путешествуешь, тем больше ассоциаций. Полюбуйтесь нежными красками, тёплыми тонами, чётким рисунком фресок; представим, будто сейчас все попрыгают с рисованного балкона и исполнят для нас балет. Эти росписи, виденные многими, прославили Крумловский замок даже больше, чем его чудесные театральные механизмы, которых не видел почти никто. Тоже ведь редкость; сейчас немодно рисовать людей на стенах, на стенах официально вообще ничего не рисуют, их забеливают.

Зеркальный зал: чистое рококо, которое разрешают снимать, потому что так темно, что всё равно фотографии не получатся; зал, где серебряные люстры висят на почти невидимых шнурах, как гроздящие петербуржцу гроздя сосуллек; зал, где канделябры в виде синих ваз с бронзовыми букетами стоят по углам на золотых консолях классицизма; зал, где стол с павлинами, сложенными из апельсинов и ананасов, до полу закрыт белоснежной скатертью, и её фестоны заколоты букетами из розовых роз и зелёной зелени; зал, где голые мальчики подпирают блюда с фруктами; зал, где в букетах на столешницах и стенах живые жеманные гладиолусы жмутся к рисованным кружавчатым розам; зал розового с голубым — цвета, которые мне никогда не давали сочетать в одежде; зал зеркальных переключек: “М-м...” — мурлычет одно зеркало; “О-о,” — отвечает другое.

В Зеркальном зале князь Адам Шварценберг встречал в 1768 го-

ду молодожёнов: своего сына Яна-Непомука Шварценберга и Марию-Элеонору, графиню Эттинген-Валлерштейн, — встречал, упарившись за постановкой двух опер и французской комедии. Иллюминация и радостное шествие сквозь четырнадцать триумфальных арок под звуки труб и тимпанов были подгажены дождём, но удалось послушать оперу Глюка и хорошо закусить в интимной компании из пятидесяти человек. На следующий день, после мессы в соборе Св. Вита был обед на серебре для 70 персон в Маскарадном зале, а после обеда в заново отстроенном театре прошла опера-буфф Скарлатти о любви и ревности.

Покинув Зеркальный зал, мы встретили золотые кареты и шитые золотом костюмы. Золотая карета Эггенбергов, стоящая в дворцовом зале, изумительна. Стенки её сплетены из золотых узоров, а впереди сидят золотые фигуры. Карету специально заказали в Риме для парадного въезда посла Яна Олдриха Эггенберга, который приехал известить Урбана VIII о том, что Фердинанд III стал римским королём. 1638 год, война, крестьяне даже и не сеют — бесполезно, а кто-то заказывает одноразовые золотые кареты. Моя сестра в шестидесятых, в кафе, выслушала рассказ пьяного лётчика о том, как он, рискуя жизнью, под обстрелом прорвался в осаждённый Ленинград с ценным грузом. Сел еле-еле, бегут к самолёту, кричат: “Ну как, не разбился?” Оказывается, он привёз в блокадный город дорогой сервиз для Смольного — чтобы товарищу Жданову было приятнее клубнику кушать. В блокаду и дед мой умер, и тётя Глаша, и многие другие. Всего 750 тысяч. А лётчик выжил, и наверно спьяну каждый раз кому попало рассказывал эту историю, которая впиалась занозой и загнила в его душе.

Семейное счастье

Настоящая светская жизнь — встать в 11 утра, бранч с Черчиллем, раут с лордом Биконсфилдом, вернисаж в Эрмитаже с Ксенией Собчак, цирк в личной ложе семейства Абрамовичей. В отпуске я могу это себе позволить. Сегодня после Крумлова семейный обед. Здесь, в Праге у меня есть ангел-хранитель, снабдивший меня запасным сотовым телефоном. Как приятно, что за тридцать лет моя подруга не изменилась, осталась такой же лёгкой, быстрой и элегантной.

Я приезжаю в гости на трамвае, в новые старые кварталы — как у нас сталинские: огромная лестничная клетка, множество дверей на площадке, высокие потолки, причудливая квартира, план кото-

рой отвечает капризам здания, а не потребностям жильцов; квартира, родная беспорядком: к шали, забытой на кресле, уже ластится куртка, и портфельчик, и пакет. Я посмотрела вокруг и подумала — да, меня это устраивает. У меня есть определённые потребности и вкусы. Квартира подруги отвечает моим вкусам.

Нужно кому что... Я купила хомяка на Кондратьевском рынке. Как отвезти домой взволнованное животное? Продавец утрамбовал его в майонезную банку. Я пришла в ужас от этой жестокости, а хомяк спокойно заснул в стеклянной норке. Таковы и некоторые цветочки. Мне подарили узамбарские фиалки в тесных горшках, а я по щедрости души вместо крошечной комнатёнки в коммуналке предоставила им хорошую двухкомнатную квартиру с отдельным санузлом. И тут они у меня загнулись в страшных мучениях. Я напоминаю своих любимцев — мне нужно тесное жильё, и непременно с высоким потолком. Я воображаю, что люблю пустынные залы, но на самом деле люблю маленькие комнаты, с печатью индивидуальности, проставленной на каждой вещи. Я люблю утопанные обжитые пространства. В то же время мне хочется большой квартиры со множеством народа. Наверно я скучаю по семье.

Семья — центр кристаллизации жизни. Семья состоит из приспособленцев, приспособляющихся вещи, вкусы, привычки; в семье рабствуют негласные компромиссы, и царят общие установки: голый линолеум с зелёными разводами или натёртый мастикой пол; по-солдатски застланная кровать или диван с подушками, кактусы или фикусы, прикреплённые фотографии или дагерротипы в золотых рамках; толстые коты, лохматые собаки, молчаливые рыбки, книги на полу и на кресле, забытая на подоконнике чашка с остатками кофе, — тонкая грань между любовью и отторжением, вечной благодарностью и незабываемой обидой.

Семейная жизнь — готовность принять занудность, заурядность, глупость во имя родной связи. Кровь гуще воды. В старинной бытине женщина приезжает к татарам с выкупом. В плену у неё муж, сын и брат, но денег только на одного. Кого она выберет? Брата. “Сына я ещё рожу, мужа нового найду, а брата уже не будет”. По-настоящему любить и предать я могу только мать, отца, сестру. Всё остальное — качественно другое; да простят меня люди, которых я горячо любила.

Жизнь — это сад. Меняются времена года, отсыхают цветы, малина перехлёстывает через забор, деревья перерастают свою молодость, в укромном месте завелась лебеда, на дорожке треснули кирпичи, контур прошлого едва угадывается и обрастает подробностями.

ми, которых не было. И сливы кажутся крупнее, и розы пышнее. Может быть прошлого нет, а есть только мечта о нём. Правильно ли помню? Нет ли идеализации?

Наша семья была шумная и скандальная. Мы смотрели по телевизору “Фантазии Фарятьева”, и смеялись: диалог “Опять котлеты?” “Это другие котлеты!” был списан с нас. Иногда, под горячую руку мне кажется, что психологическая жизнь в моей семье была страшной. Всегда присутствовал кто-то, больной психически, таким особым сумасшествием, которое требует мытарства всех окружающих и сыроядения их печени. Но прекрасны были вечера на даче, у стола с клетчатой клеёнкой, и наши совместные прогулки, и даже наше молчаливое сосуществование, не требовавшее разговоров.

Семейная жизнь многогранна, и, как алмаз, полыхнет то красным, то зелёным, то жёлтым лучом, смотря, с какой стороны подойти. В самой благополучной семье можно накопать ужасных историй. Глупо спрашивать — что правда? Правда в усреднении хорошего и плохого. Собираясь в семейные кучи, мы в общем-то никому ничего не должны. Вместе нас держат биологические инстинкты, обычаи, страх одиночества, и если повезет, такой винегрет присыпан крупной солью любви, — не очень щедро, и есть годы, на которые просыпалась целая горсть, и годы без соли, годы усталости и озлобления.

Семья это сливной бачок для раздражения. Самое главное, чтобы ругань не зашкаливала, и призрачные претензии, завышенные ожидания не оборвали реальной связи. Многие не удерживаются на краю обрыва. Кого-то бесит каждое слово спутника жизни, а кто-то годами не звонил брату или матери. Семью с её клубком эгоистичных потребностей скрепляет клей, который обычно варят из матери, единственного существа, которому не положено обижаться, и у которого не может быть своих нужд и желаний, но иногда попадает дочь — ангел, или сын, которого, увы, вместо ангела величают слизняком. Когда я читаю, одни за другими, современные мемуары, — дочь о матери, — отягощённые погрёками и претензиями, я понимаю, что их подоплёка — злость незрелой личности на то, что родители состарились, и на то, что они — полноценные люди и имели свои собственные мнения, потребности, мечты, что они уставали от детей и не были готовы исчезнуть с горизонта, когда нужда в них отпадала.

Как я обрадовалась, впервые за тридцать пять лет оставшись одна, с правом делать всё, что хочу, не прогибаясь под грузом сто-

ронных комментариев; обрадовалась тому, что меня не ели поедом из-за горячего интереса к моей судьбе. Возможность контролировать своё пространство и время настолько заманчива, что, единожды завладев, от неё невозможно отказаться — как диктатор не может отказаться от войны, в упор не видя другого выхода. Мне хочется быть вечной тётёй, на обочине счастливого семейства, самостоятельной, но не совсем пропащей.

Одиночество — великий лекарь, спасающий от семейных невзгод и неурядиц: восстанавливает силы, врачует душу, — пока вдруг не хрустнет что-то, не треснет, не переломится необвратно, и ты не поймёшь, что реально, не временно, а постоянно остался один. И тогда — страшно.

Одиночество развращает, абсолютное одиночество развращает абсолютно. Возникает иллюзия невозможности компромисса, раздражает передвинутый редким гостем стул. Чем дольше я живу одна, тем меньше я способна к уступкам. Теперь уже все они мне кажутся односторонними; сделал что-то, а в обмен шиш, и никто даже не понял, что ты чем-то пожертвовал. Жить вместе — искусство, требующее таланта и тренировки.

Одиночество дарит спокойствие, а общение — радость жизни пополам со страданием. Для настоящей близости необходимы взаимные уязвления и застарелые обиды. Наверно бывает по-другому, но я не видала иного накоротке, а с дальнего расстояния отношения, полные уважения и вежливости, кажутся холодными и безразличными.

Квартира подруги меня устраивает. Вещи говорят о хозяине; не только взятые по отдельности, но и вся мозаика быта, из них составленная. Я барахольщица. И не только я. Я уж и не говорю о толпах людей, которые мечтают о хорошем тюле. Довольство и сытость — это святое. Это ма-аленькая награда за череду страданий, называемую жизнью. Но есть и другие оттенки барахольства, не связанные с жадностью. Многие люди, которые в состоянии записать свои мысли, как то Грин, Набоков, Пруст, были барахольщиками. Обратите внимание на то, как тщательно и с какой любовью они описывают красивые вещи — китайскую чашку, платье мадам Сванн... Это барахольство красоты, понимание, что она таится в любом рукотворном предмете, сделанном с любовью. Но есть ещё и барахольство памяти: вещицы как маленькие символы прошлого; пуговички памяти о людях, уюте, безопасности. Стустки памяти дарят успокоение, хотя и не всем. Помнится детство, прекрасный, прочный мир, падающий снег, тюлевые занавески со сценами китайской жизни.

Потом уже всё стало зыбко, полузащищённо, как всегда в общении взрослых людей.

Мы, любившие красивые вещи и с трудом приспособливавшиеся друг к другу, исчезли. Исчезли наши вещи, — центры кристаллизации памяти. Мне жаль всех моих разорённых гнёзд. Их гибель неизбежна. Память исчезает во время переселений, войн и революций. Барочная Прага построена на прахе прежней.

“Всяк сущий в ней язык”

Вчера мне снился Высоцкий в очках. К чему бы это?

Я сейчас в кондитерской у Пржикопа, и могу вам рассказать, как мы с мамой учили чешский. У меня образовался учебник, не знаю, откуда, может быть из “Демократической литературы”, или из “Старой книги”, И я говорю: “Давай учить чешский!” И она согласилась: “Давай!” Я удивилась, я думала, она скажет: “Нет”, я думала, она скажет: “Некогда!” Но мама у меня была не вполне мамистая. У многих моих одноклассников-однокурсников мамы ударились в мамизм и ни о чем, кроме стирки и обедов и не помышляли, а если и приходили им в голову мысли, так только всякие такие “не такие”. Я их не осуждаю, я бы на их месте просто сдохла от непосильной нагрузки. А моя мама, хотя вроде бы человек слабый, и психически, и физически, не полностью подверглась мамификации. За маской мамства в ней пряталось человеческое, и она была способна заниматься остроумной, изящной, никчемной, прекрасной ерундой. Мама сказала: “Давай!”, так что мы раскрыли книжку и занимались чешским. Долго занимались, часа два наверно. Европейцы 19 века считали, что русские особо способны к языкам. Но нам было трудно: мы просто кисли от смеха.

Чехи нарочно перелопачивают и корёжат знакомые нам слова. В кафе подаётся черствая кава и очерствлённые лахудки (часто эти определения справедливы, особенно в туристских районах). В киоске обещают дутники, дымки и табаки. В пивной предлагают нефильТРованный лежак. В магазинах висят объявления “Задарма” (вы поняли правильно) и “Слева” (распродажа). Но не спешите откликаться на призыв “Узенины” — вместо уценённых товаров там мясо, и недешёвое. С взрослых за вход берут больше, чем с детей, по паркам заказано ездить на колах. В подворотне над изображением распылителя написано: “Позор, дусик!” Священник у них князь (а князь наверно “священник”). Мыло они называют “мыдлом”, а небоскрёб у них “мракодрак”. А с писателями чешскому на-

роду не повезло — их просто нет, а есть списыватели. С Толстого наверно списыватели. И ещё есть какие-то мыслики. Разумеется, только дураки смеются над чужим языком, но я ведь и не говорю, что я умная.

У папы была языковая теория, от которой кривились знакомые лингвисты. Он считал, что знание одного языка мешает изучению другого. Ну и вот — изучению чешского сильно помешало знание русского. Что и аукнулось в ресторане. Что такое “Смажены куски?” Что такое “Роскошная бабушкина ляжка?” Ошибёшься — подорвёшься! Папа мой как-то выбрал таинственные “нудли с маком”. И подали естественно нудли с маком. Папа не обрадовался; нудли он не любил. Я всё-таки попробовала нудли, в честь папы, и зря. Чешские нудли уступают итальянским и находятся на уровне нудлей (нудель?), которые нам подавали с рыбой в университетской столовой. Если знать, что это такое, приготовить их — дело нехитрое. Сначала нужно сварить макароны, по вкусу, аль-денто, аль-каша, можно пустить на самотёк — что выйдет, то выйдет. Я их вылавливаю и пробую на зуб. Когда мне кажется, что макаронину можно разжевать, выливаю содержимое кастрюли в дуршлаг. После этого пожалуйста — превращайте в нудли, посыпав маком с сахаром, но ей-богу, их это не улучшит.

Папа — человек деликатный. Я прожила с ним пятьдесят лет, и сорок из них не знала, что он не любит нудли. Мне даже показалось, что он их любит, потому что, приехав погостить ко мне в Америку, он ел только нудли. Я удивлялась, но варила. А потом мы пошли в магазин, и папа спросил: “Неужели яйца такие дешёвые?” И всё разъяснилось.

Папа был не только деликатный, он был добрый и весёлый. Помните, Долли Облонская смешно рассказывала: “унаследовала от отца” — оправдывался Толстой. Мне тоже было что унаследовать. Папины рассказы всех смешили, особенно меня. Я всё время что-нибудь вспоминаю, хотя это уже засушенные цветы — их надо бы видеть на лугу. “Нет, Игорь, ты не трибун!”, — сказал папа брату, у которого каждое второе слово было “как говорится”. ... Дядя Игорь... он уже умер. Прекрасный был человек. И почему это все мои родственники были прекрасные люди?

Папа рассказывал ярко, но эффект создавался не словами — его лексикон был не особенно богат, — и не синтаксисом — фразы были короткие, — а подбором, монтировкой несопоставимых слов и парадоксальными идеями. Если искать аналогий, папа был не Набоков, а Хармс. Или Кандинский. Я видела рисунки Хармса: похоже на Кан-

динского. *Курица не птица, Чехословакия не заграница*, Хармс не писатель, Кандинский не художник: у них вместо образов конструкции на гайках. И папа тоже инженер во всём. И вечные присказки, обрывки стихов и песен и анекдотов, заблудившиеся цитаты, семейные словечки, — не глоссолалия, не живое проявление ущербности памяти — а сам собой слагавшийся фразеологический словарь.

И я унаследовала любовь к словесным редкостям, к сочетаниям праздным и праздничным, гладким и со складкой. К словам я отношусь пристрастно. С одними завожу тесную дружбу, а других чурюсь, и не потому что неприличные: не люблю “не кошерно” и “бардачок”, и всегда говорю “не комильфо” и “перчаточное отделение”, но привязалась, подишь ты, к “жопе” и “ёлы-палы!” и использую почти все, что к месту и работают на ситуацию. Мне удивляются: “Вы что, с мужиками на стройке работали?” Не работала, но прошла мимо. От меня пытаются отмежеваться: “Я не в таком обществе воспитывалась!” В таком, в таком. Мы все купались в реке русского языка — в трамвае, в поезде, в больнице. Но только ко мне прилипало.

Марина, моя сестра, объяснила, — и я ей верю, она получила специальное образование, — что в разговоре мы используем слов двести, и даже Пушкин, когда он беседует с Дантесом, немногим больше. Мы разливаем в фаянсовую посуду, а фарфоровая стоит на полочке в библиотеке. Огромный ворох слов существует только в книгах. К ним впридачу есть ещё слова, которые мы иногда слышим в разговоре, но сами никогда не употребляем. В быту слов нужно мало — блин, и все дела. И мама, и Марина, и мы с папой наверно были из тех, кто употребляет четыреста. Мы знали много слов. Мы любили и слово, и словцо, и печатное, и разговорное. Мы вслушивались в слова, прибирали их к рукам и копили. Некоторые уж такие привычные, что и не замечаешь, только жужжание, а иное как пролетит, как зыкнет! И люди, люди... как за ними не проследить? Люди по-разному со словами обращаются. У кого-то *каждое слово выбрасывается, как голая проститутка из окна горящего дома*, а у кого-то выступает вальжно, как благопристойная медсестра из палаты районной больницы.

Мы любили слова сжимать и растягивать, и преобразать их, и конструировать новые. Мы играли со словами и заплетали их в косички. Мы стремились разобрать язык на винтики и сложить по-другому. Мы любили вставлять иностранные словечки. Европейские языки сосуществовали с нами как игрушки и как орудия производства, как болонки и как ездовые собаки. Бабушка Екатери-

на Михайловна, мама и Марина преподавали иностранные языки, в соответствии с потребностями времён: бабушка — немецкий, мама — французский, Марина — английский, — но каждая знала все три. Папа был “полуглот”, он знал только немецкий, и в иностранном аэропорту при необходимости “брал языка” — немца со знанием английского.

Основа, на которой мы плели наши кружева, была архаичная. Попав в первый класс, я с изумлением услышала “учителя”; мы дома, в нашей бочажине, сохранившейся с начала 20 века, говорили “учители” (Марина Цветаева, ровесница бабы Кати, считала, что “звёзды” рифмуются с “гнёзды”). Мы говорили “гүся”, а не “гуся”, “аэропóрта”, а не “аэропортá”. Несмотря на все усилия учительницы за мной остались “булочная” и “коричневый”, но теперь я говорю, и глазом не моргнув: “учителя”, “профессора” и “што” (а папа *что-кал*). Я многое приняла, пускай не полюбив, но не всё. Учительница говорила: “Тубаретка”. Меня удивило, меня покривило. Мне хотелось, чтобы в языке были правила; хотелось стабильности и корбило от пастеризованного молока и полисада. Но поправлять не лезла, поправлять невежливо, и уж если кто считает, что шампунь женского рода — такова его планида, нести ему этот крест до самой смерти.

На моей памяти русский менялся многократно. Не правила — для смены этой инерционной махины моя жизнь слишком коротка, — но слова. Язык — река времён, уносящая в своём течении народы, царства и людей. Язык — палимпсест, по которому пишут и стирают, пишут и стирают, оставляя еле заметные вмятинки: “Сал, бен, рож”, “Дыр, бул, щир” ... Мелькают, осциллируют ударения. Звуки мутируют, и трудно с этим смириться — жёлчью и жжёной ёкнуло исчезновение “ё”. Слова меняют значение, как фокусник шляпу, кувыркаются, резвятся, хихикают, шуршат и шепчутся, сверчат и суетятся. Оп! И провалилось в трещину времени, и нету его. “Да, голос у меня сильный,” — говорила мне с гордостью преподавательница английского, — “В детстве ругали: “Труба иерихонская!” Кто сейчас скажет ребёнку “Труба иерихонская”? Кто скажет про любимую: “*Экое роскошное тело, хоть сейчас в анатомический театр*”?

Сочилось, сочилось, переходило из “творога” в “твóрог”, а сейчас просто хлынуло. Интересно, непонятно, двоемысленно. “Последний оплод” — животноводческий термин, или это про царизм? Увы, современные невежды не знают, что такое “вежды”; забытые вежды умерли, их уже даже и закопали в нечитанных классических книгах;

Пушкин за бортом, младое поколение уже половины слов у Пушкина не понимает. А если слова и воскресают, то с новым значением, в ином контексте. “Живьём” заменило “воочию” и утратило живодеёрский оттенок. Слово “воцерковлённый”, ранее — признак происхождения из малоуважаемого поповского сословия, теперь в умилении используют все подряд. С высоких слов спадают крахмальные машишки; матерные мнут шапки, перешёптываясь в прихожей, и их пропускают в гостиную по правительственным спискам.

Появились новые понятия, имён для которых раньше не было. Вакуум заполняют как ни попадя. В речь рванули варваризмы: соблазняет чужой язык — мешок с чужими сокровищами, которые можно спереть и приспособить; втоптывают в землю собственные слова, чтобы дотянуться до иностранных кожезаменителей. В разговорном лексиконе объявились “конфессия” и “толерантность”, поскольку вероисповедание и терпимость в советские времена отошли за неупотреблением. Прямо по радио, не стесняясь, говорят “шато”. Ну что же, шато меньше замка, но больше особняка; возможности новых русских растут, стоит пригласить “шато” в наш язык, напоить чаем, — водки пока не наливать, посмотреть, как оно себя поведёт.

Полно плевать, пуристы! Подивитесь сейсмической подвижке, которая приведёт к рождению нового континента. Пока побеждает, блин, корявая, вполне такая себе косноязычная речь. Неприятно всё время зацепляться за торчащие торцы и падать мордой на мостовую — без зубов останешься, — но в негладкой речи своя прелесть. Иногда хочется подпустить осла с когтями, на манер Третьяковского. Ужасно, если новый Монте-Кристо не может описать свою трудную, полную событий жизнь, запнувшись на “блине”, но противно и запутаться в гладеньких липучих штампах, как, поскользнувшись на *заре коммунизма*, прилипла к *трудовым свершениям* фронтовичка, воспоминания которой мы с мамой прочитали, перепечатавая их для заработка.

Как свободно льётся разговорный язык, в великом и могучем течении прихватывая с берегов и сор, и очистки, вбирая соль, и кислоту, и щёлочь, меняя русло, забывая за собой затоны и мелкие бочаги диалектов и наречий! “Река” — метафора красивая, но бесполезная, а лучше так: язык — коллаж, к которому приставляют кусочки все, кому не лень. А кому лень — те проверяют чужие поделки, пробуют на зуб, принимают или отбрасывают. С чего это взбесилась река языка, с чего с коллажа посыпалась труха? Сняты препоны: никто не читает литературного канона. В книге слова кристаллизуются и хранятся. Книга замедляет вечную изменчивость

народного языка.

Как замирает поток, как широко разливается, наткнувшись на плотину печатного слова! *“Пушкин... писатель”*, — с уважением говорил герой Зощенко. В наше поколение винтом ввернули Пушкина и Лермонтова, и Гоголя, и Толстого, и Некрасова, и Тургенева. Медальонами, вделанными в типовую стенку школы, их просветлённые профили начинали нам день: писатели (19 века) были наше всё. В одиннадцать лет я написала на доске “Тургенев”, и меня просмеяли за духовную незрелость: не только святое имя, — пора бы знать уж “Бежин луг” как свои пять пальцев. Тем не менее были (есть и будут) герои, которые не дочитали “Евгения Онегина”. “А-а, книга?” — говорят они радостно, и тут же с заднего крыльца на донского жеребца! Вот как это так, и отчего все увиливают от чтения при малейшей возможности? Откуда фиаско отлаженной системы? Есть гипотеза — книги нужны только 10 процентам общества. 10 процентов тут цифра условная, может быть и 5, и 1 — сколько там было жрецов в Древнем Египте на душу населения? Остальные были неграмотны, потому что грамота для их ремесла не требовалась. Теперь буквам учат всех для понимания инструкций к приборам, и обученный народ для забавы читает книжечки и книженции, отвергая те, где “много буков” и подтекста.

Граждане, послушайте меня! Все эксперименты уже были поставлены историей, и не верьте тем, что говорит, что исходы наших действий непредсказуемы. Эксперимент номер раз: что получится, если читает только 10 процентов населения? Будет прудик, будет отводок от реки, в котором уровень воды поддерживается искусственно. Свежайший пример — Греция. В ней до недавнего времени было два языка — Катавасия и Дермо-таки. Или как-то не так; возьмём справочник. Нет... Да! Вот. Правильно Катаревуса и Демотики. Кантаревусию долбили в школах, на ней писали книги и официальные документы. Выйдя из школы, нечитающее население переходило на демократические Демотики. И вот в 1977 году греки сдались, и официально перешли на Демотики, и Катаревуса сдохла после двух тысяч лет существования, и никто теперь уже не поймёт прекрасные песни Гомера. И у нас под окном разливался когда-то пруд: остатки речки Купчинки, — и 10 процентов купчинцев в нём купались летом, не боясь заразы. Но вот теперь эту бочажину иссушили — не без борьбы с силами природы, и построили высотный дом.

“Вежды”, “замок”, “особняк”, “усадебя” отсиживаются в книжках и может быть ещё пригодятся, и с них стряхнут нафталин.

А возъм-ка эти книжки, и со словами “Пушкин — козёл!” сожжём их. Сейчас 99 процентов не читает, а мы и оставшийся процент придавим — паразиты они и ничего не производят. Как говорила моей маме бабушка Александра Алексеевна (имя-то какое интеллигентное!): “Что ты уселась с книжкой, тебе делать нечего?” Нет, никто конечно этого сейчас не сделает. Пусть читатели живут и пасутся, если есть у них деньги и время на эту ерунду. А в Богемии сделали.

Эксперимент номер два, эдакие “451 по Фаренгейту”. После битвы у Белой Горы чешский был отменён. За распространение нелегальной литературы, за грамматику на чешском языке сажали. Чешский затаился в крестьянских избах и официально превратился в косноязычие тёмного крестьянина. Есть вещи настолько странные, что их не распознаешь, даже если ткнёшься носом. Я не поняла Музиля. Тонка “Тонка”, но неразрешимость её конфликта казалась мне искусственной, гофмановым гротеском; разность языков мужчины и женщины виделась аллегорией. До меня не доходило, что это быденная, бытовая ситуация. Народ и интеллигенция в Австрийской империи буквально не понимали друг друга. Об этом разве догадаешься, не зная истории?

Лет двести имущие и неимущие в Чехии принадлежали к разным расам и говорили на разном языке. У немцев были книжки. Чехи утратили доступ к книге. Чехи перестали читать, они разговаривали. Всё неупражняемое атрофируется. Когда я повредила связку в коленке, мышцы атрофировались за неделю. И слова атрофируются. Кроме того, в неактивном языке не нарастает нового. Пушкин намекнул, что литературный язык и разговорный — две большие разницы. Он это как-то не так сказал, своими словами, но суть та же. Четыреста базарных слов для книги — мало. В начале 19 века десять человек бросились затыкать дыры в чешском, и выстроили заново и литературный язык, и литературу. Это была сложная задача, пришлось многое изобрести, надёргать из других славянских языков, перекрасить, превратить “виллис” в “козлика”, ну, как это мы все умеем. Полюбуйтесь результатами удивительного эксперимента номер три: на огромном количестве заимствований вырос живой полноценный язык. Так в океан кидают старые шины, чтобы на них поселились кораллы.

Зачем возродили чешский, если был уже литературный язык — немецкий? За этим стояла Великая Национальная Идея (ВНИ). Среди китов и черепах, на которых покоится ВНИ, есть двое, относящихся к языку. Первый кит-черепаха: язык — ригельный ключ, от-

кывающий только свой замок (культуру определённого народа). И второй: человек может свободно выразить мысли только на одном-единственном, своём языке. Могут ли договориться немец и чешка? Для многих, как для героев “Тонки”, чужой язык — это фанера, под которую не спеть мелодию любви.

Где тут правда? Можно ли быть по-настоящему двуязычным? Кто его знает, пока к мозгам не подсоединят проводочки учёные и всё не выяснят. Пока же я ставлю эксперимент над собой. Возьмём словари, Ушакова и Мюллера, ровесники, чтобы не было временных лексических различий. Возьмём сто слов, скажем, на “Г” — русских и английских. Из ста слов в словаре Ушакова мне неизвестны десять; среди них “грызло”, “групетто”, “грюндер” и “грядиль”. Они вроде бы есть, и вроде бы нету. Никогда, никогда не встречала. Зайти бы в библиотеку с пультом дистанционного управления, нажать кнопку — где ты, Грызло? И из дальнего уголочка, из забытой книжечки: “Пи-и”...

Мюллер, — из ста слов знакомо только шестьдесят девять. Из оставшихся шесть в стиле “грызло”, но остальные надо бы знать. Перехожу в условия, приближенные к боевым — в американский словарь Вебстера. Тут хуже; знакомо только 50 слов. Но из 50 незнакомых тридцать — названия трав, зверей и деревьев, грядил, групетты... Русская языковая стихия в меня вливалась с детства, при ежедневном купании, а в английскую стихию я нырнула в 36 лет, и может быть поэтому английские “старший стеклодув”, “рыба, напоминающая треску”, и “движение за административную независимость от папы римского” во мне не запечатлелись. Знание второго языка во мне окорочено возрастом. Стоит спятить от старости, и шелуха английского слетит, обнажится материнская порода русского. И пойду я бушевать в приюте для престарелых от того, что меня никто не понимает.

Вместе с тем куча народу писала на неродном языке художественную литературу. Родным, первым, языком Пушкина был французский, а Монтеня — латынь. На латыни писали образованные люди всех стран Европы на протяжении столетий, пока с этим не покончили монтени, переключившиеся на местный диалект. Художественно писали на неродном английском русский Владимир Набоков, поляк Джозеф Конрад (немца для полноты анекдота приискать не удалось). В виду этих непреложных фактов рядом со ВНИ существует Идея Общемирового Языка, ИОЯ, “лингва франка”. Собственно, почему идея? Реальность, — для определённой группы населения: учёных и философов. Из всех тех, кто приехал в Аме-

рику из России в девяностых, на английском заговорили складно только научные работники, потому что они всю жизнь до этого на английском читали; муру, конечно, — про червей, про элементарные частицы, про поэтику Итса-Ейтса. Да, и чужой язык можно освоить и присвоить.

“Лингва франка” — реальность. Но, как у царя Соломона, *всё проходит и ничего не проходит...* Для писателя нет синонимов, языки не тождественны: и лица у них разные, и волосы, и руки, и мысли, и чувства. Поэтому в языке — душа народа. В связи с этим в воссоздании нации путём конструирования национального языка нечто, пожалуй, и есть. Если смотреть под этим углом на русский, его постперестроечная ломка соответствует развалу империи и национального самосознания.

Прага конца 19 века — Прага модерна и прекрасной чешской литературы. И малые, и великие чешские писатели обитали в Праге, питались ею и писали о Праге. То тут, то там — дом-музей, или просто мемориальная доска — жили, творили, служили в банке, пили кофе и водку, читали стихи в литературном салоне. На Пржихопе я видела мемориальную доску Бажены Немцовой — на стенке, между модным магазином и модным магазином. Бажена Немцова, автор “Бабушки”, считается матерью чешской литературы. В модные магазины она скорее всего не ходила, она здорово настрадалась и морально, и материально — отцы литературы так не страдают. Жизнь её была цветаевская; и денег не было, и быт заедал.

Доска памяти Яна Неруды висит на Нерудовой улице, — Яна Неруды, который прославился стихами и рассказами о малостранцах, а также Пабло Нерудой; последний взял себе псевдонимом фамилию первого. Тёзки улиц чаще всего не имеют к ним отношения — в каждом городе есть улица Ленина или Мартина Лютера Кинга. Во времена царя, которого до недавнего времени называли Николашкой, Малую Морскую зачем-то переименовали в улицу Гоголя; лучше бы тогда переименовать Невский; всё-таки Гоголь писал про этот проспект; наверно хотели почтить классика, но обойтись при этом *малой кровью на чужой территории*. Но тут сюрприз! Ян Неруда действительно жил на Нерудовой, в доме с двумя солнцами. Нерудова улица крута, уставлена барочными дворцами и скромными старинными домами с фасадами мягких тонов. В ней смешались столичный блеск и провинциальное добродушие. Кажется, что здесь по-прежнему живут смешные и милые герои рассказов Неруды. Но

на самом деле они здесь уже не живут, не то, чтобы перевелись, нет, но они, как и во всех городах мира, вытеснены в районы победнее, и чудачествуют в безликих хрущёвках.

Самым великим из великих чехов был Кафка. В Праге много есть мест, связанных с Кафкой, и есть музей Кафки в Малой Стране (там, где Кафка не жил). У музея фонтан: бронзовые, зелёные, голые, взрослые дядьки — не какой-то там писс-бубе, — мочатся в бассейн в форме родины (ЧССР). Фонтан подаёт калорийную пищу для размышлений — зачем? Почему? Буквальная интерпретация дискуссии Джойса и Кафки о том, как лучше написать? У пивбара уместны, как предупреждение: “не перебирайте пива!” — но здесь, у дома Кафки, в чём метафизический или хотя бы здравый смысл этих инсталляций? Писс-дядям не всегда удастся пофонтанировать, — их механизм тоньше и хрупче часов на ратуше (там скелет хоть и вращается, но зрителей не окропляет), — и моя приятельница застала этих ребят в состоянии паралича, среди разбросанных инструментов. Рядом сидел рабочий и пил кофе.

Великий чешский писатель Кафка... Стоп, ошибочка вышла... Прокол вышел — классик писал на немецком. Вернёмся к писателям на возрождённом чешском. Мы ведь их читали, нам ведь их переводили, и как же это я? Увлекалась другими писателями, Камю там, Вирджинией Вульф и Прустом, любила Достоевского, читала охотно Апулея, а Цицерона и других второразрядных мне было на фиг не нужно. Но это было давно, а теперь вот мне и Куприн кажется ничего; наверно я дожила до возраста, для которого он писал. Я знаю, что теперь мне полюбились бы повести Бажены Немцовой и рассказы Яна Неруды, но чешский я так и не выучила. Я не уверена, что переводы воздадут им должное. Писатели бывают разные: те, которые поддаются, и те, что не поддаются переводам. Достоевского перевести можно, и Толстого тоже, наверно потому, что они “Мыслики”. А вот как перевести “списывателя”, того, кто пользуется словами, а не только мыслями? Если писали на своём языке по-настоящему хорошо, перевести их толком нельзя. Нельзя перевести Пушкина — помните многократно обыгранный перевод с перевода на иностранный: *“Был Кочубей богат и горд, его поля обширны были, и очень много конских морд, мехов, сатина первый сорт его потребностям служили!”*?

Наш народ любит Лескова, но я не уверена, что он придётся по вкусу французу, или останется Лесковым в переводе, хотя “Тупейный художник” — вещь международно-жуткая. На рассказах Лескова наращено очень много контекста. Контекста сугубо сиюминут-

ного. Без контекста Лесков — нечитаемый писатель. Его книга, да и любая — слепок времени; даже не слепок, — фотография; достаём пожелтевшую, вспоминаем, — вот как звонили трамваи на поворотах, вот какие были бублики и чулки, как плакала мама о потерянном рубле, и как мы тогда любили друг друга... — роняем её на пол, умирая, а внуки, подобрав, видят не прошлое, а просто неизвестную старуху в шляпе. Книги пишут для современников. Книга в контексте — как рыба в воде, как огурец в рассоле. Соскрёбём литературный контекст (скрытые и раскрытые цитаты, прямые и не прямые заимствования, нарочитые пастиши и нечаянные плагиаты), увидим жизненный: позитив (манеры, ситуации, убеждения) и негатив (о чём умолчали — и так всё ясно). Наследникам только кажется, что ясно. С годами сиюминутное вымывается, Вечное выступает на поверхность. *Сноп, снап, снуре, снуре-базилюре. Позолота сотрётся, свиная кожа остаётся. Жалко непрочной позолоты. Яхонт сияет всегда. Янтарь портится и темнеет со временем. Но в пору зрелости, в силе своей — он прекрасен.*

Вернёмся в воображённую кондитерскую. Кофе в Праге не венский, ну и что? Что нам немцы, что их *великий и могучий*, — на нём о смысле узнаешь, только добравшись до конца фразы (немец всё знает наперёд) — язык. А мы — чехи, русские, — славяне, и языки наши нам пришлись впору. Я люблю русский, мягкий, гибкий, резиновый наш язык, на котором, *растекаясь мыслью по древу*, можно на ходу поменять планы, убеждения, помириться, рассориться и попутно, жонглируя падежами, приставками, суффиксами, составить новое словцо. Поднимем чашечки чёрствой кавы, *содвинем их разом*, выпьем за здоровье славянских языков и закусим лахудками!

Вверх по древу времени

По советским формулам свобода равняется колбасе, так же как коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Поэтому Высоцкого при виде заграничной колбасной затошнило, и он спрашивал: “Кто же выиграл войну?”, — а в начале девяностых студентке биофака стало плохо в немецком гастрономе, и она спрашивала: “Правда, что это всё муляжи?” Я была распространена в другую сторону, и меня бы затошнило, если бы за границей не оказалось сосисок. Но они в Чехии есть. На вертикальных лотках киосков Вацлавской площади масляно поблёскивают горячие бока сарделек. Подруга предупреждала — никогда

не ешь со стоек, и действительно колбаски подозрительные, очень уж блестят.

“Никогда этого не ешь”, — и я послушалась, хотя в детстве ела у метро мятые пирожки с мясом и беляши, которые тётка доставала бумажкой из тёплой тележки. Я изменила многим принципам своей молодости: осторожность, рождённая пониманием, что из девяти жизней уже прожито восемь. Но можно ли не попробовать чешских сосисок? И я смело веряю себя обычной столовой. Мысль о том, что в ней подают те же шпикачки, что и на площади, меня не посещает. Или, вернее, посещает, но я не реагирую на дверные звонки. Необходимо проверить, существует ли чешская специфика в сардельках, или чешская национальная кухня — это иллюзия для туристов. Вкусны ли чешские колбаски, лучше ли они немецких? Если медленно прожевать и впитать в себя их аромат, можно ли выделить в них специфически чешскую правду?

Рецепты подобны сказкам: говорят, что существует всего пять-шесть сюжетов, но на их основе нарасказано столько, что можно заполнить двадцать книжных полок. От мюнхенских сосисочек ждётся сказки о Репочёте, а от чешских — о хитрой куме-Лисе. Но как не жевану, всё получается “Три поросёнка”. Я ем сосиску, но она не имеет для меня особого вкуса. Да, они не русские, туалетную бумагу в них не добавляют, в них честно проступает мясной вкус, но я не ощущаю индивидуальности. Где чешское? В чём дело — в сосиске, во мне? Или... или... или... Три “или”.

Или номер раз: дело во мне. У меня нет слуха на сосиску, у меня притупились чувства. Например, обоняние. Трюизм, “*медицинский факт*”: не пахнет — не вкусно, насморк — конец всему. Или (недотрюизм) — попорчено зрение. В том, что котлета не должна напоминать кучу мусора, ещё нет открытия, но я пойду дальше, утверждая, что ингредиентом блюда всегда является кофе и даже конкретный кусок жизни. Кофе с рижским бальзамом сам по себе наверняка хорош, но вкуснее в Риге. Помню площадь, кофе, официантку, маленькие чашечки, горький привкус то ли бальзама, то ли западной жизни, кофе вкуса Риги, Ригу вкуса кофе. Вкус Вильнюса сплелся с правильно поджаренными антрекотами, которые мы пробовали с папой и неиспробованными “сливочными коровками”, которые достались всем, кроме меня, на вильнюсской конференции по мутагенезу.

Память основана на чувственных ощущениях. Однажды крошка Челлини увидал в огне очага саламандру. Саламандры (по крайней мере итальянские, шестнадцатого века) живут в огне, и увидеть

их удаётся немногим. Отец тут же дал Бенвенуто пощёчину и сказал: “Теперь ты никогда не забудешь это чудесное событие!” Если бы мне кто-нибудь съездил по морде на маршруте “Псков — Печоры”, эта экскурсия прошла бы для меня с большей пользой. И если бы вот тут, в кафе, официант дал мне в лицо (уступка читателям, которые возражают против вульгарного слова “морда”), я от удивления заглотила бы сразу всю сосиску и смогла бы в мельчайших деталях описать вам ресторанчик, пропитанный пивной пеной, пузатого полового в переднике, подгулявших чехов со вздёрнутыми швейковыми носами... Сами сосиски недостаточно ударяют в голову, и подробности позабыты: помнятся стены, стулья и столы, и за ними кто-то сидел, наверно, люди.. Но саламандра... Но был ли там очаг? Оставляю на полях пометку — сочинить что-нибудь жанровое: посетители подрались из-за горчицы, кавалер пролил даме на юбку кофе со сливками и долго, с жаром её вытирал. Люди людьми, но я здесь ради сосисок, и не следует отвлекаться от темы. В чём отличие шпикачек от сосисочки с Кауфингерштрассе? Я не понимаю разницы.

Второе “Или”: чешские колбаски лишены индивидуальности, потому что делаются на одном и том же мясокомбинате? Коммунизм враждебен индивидуальности колбасных изделий. Русская национальная кухня может быть и существовала в эпоху царизма, но теперь вывелась. В коммунистической России всё было превращено в “еду”, в крайнем случае в “сыр”, “мясо”, “колбасу”; никто не спрашивал, какого сорта. Когда всё это было, жили неплохо (помните анекдот: “Как у вас с мясом?” “С мясом у нас хорошо, вот без мяса плохо”), но кулинарных изысков не было. А то, что было, легко поддавалось вытеснению гамбургерами.

Хотя у “Того, Что Было” (еды детства) вкус бывал специфический. Приехав в Санкт-Петербург, я искала прошлые вкусы. Но не находила. И находила, если не искала. Если разобрать для примера ситуацию с пирожками... Ну, вам известны отличительные характеристики советского пирожка с мясом — мятый, слипшееся сырое тесто, начинка из молотых жил, капитально приправленных чесноком. Только пирожки из Метрополя обманывали ожидания покупателя; нигде больше таких не было: особое, хрустящее, нежирное слоёное тесто, начинка тоже лёгкая, воздушная, тающая, как суфле. Думаю, нежирны от того, что тесто было на самом злостном маргарине, а для сухости и лёгкости в начинку подмешивали курятины. Надкусив пирожок постперестроечного Метрополя, я обрадовалась — Метрополь вернулся к истокам, все на месте, и жилы, и слипшееся

тесто! Пирожки были мятые, как будто их ещё горячими навалили в бак и прихлопнули крышкой.

“Или” номер три... между немецкими и чешскими разница та же, что между сербским и хорватским, или московским и ленинградским (сводящаяся к “булке” и “поребрику”). Но я быстро привыкла и привязалась к чехам. Поэтому поверим, что Чехия изобрела свои рецепты, добавила к скучной немецкой колбасе *славянской совести старинной*. Меня так легко прикормить. Встанешь на чью-то точку зрения, и она тут же покажется правильной. Точка зрения — точка абсолютного отсчёта. Возьмите Хамберта Хамберта, — последний мерзавец, — но начни писать от его имени, и читатель лужей растечётся по полу от сочувствия и поверит, что Лолита — шлюха. Стоило мне перебраться в Прагу, и добрые немцы забыты, Мюнхен кажется зловещей тенью, брошенной на Чехию. От него все беды. Если на тарелке лежит шпикачка, а не братвурст, история Чехии может быть прочитана, как история угнетения славян немцами, Праги Мюнхеном. Или это история о том, как единожды проигравши, проигрываешь всегда.

После тридцатилетней войны в Чехии наступило засилье немцев. Ни Чехии, ни чехов как будто нет, и даже язык загнали в подполье. Что происходит с народом, лишённым интеллигенции (потеря языка и культуры), — мы видим на примере чехов, и наверно на нашем (простите за моё стремление расставлять точки над “и”, хотя давно уже исчезло из алфавита “и”, которому требуется точка). Что происходит с нашим народом в отсутствии интеллигенции? Ах, оставьте... Высьем за Великий Русский Народ! С этим народом можно делать всё, что угодно, он выживет, всё вынесет. Каким должен быть моральный облик человека, который всё вынесет?

Чехия растаяла, растворилась, её как бы и нету, но присутствует странная тень. Культуру-то можно загубить, но люди остаются, и униженный язык перемещается из книжек в коровники. Постепенно, тихо-тихо, почти незаметно, тень чешской культуры начала разрастаться, обрела плоть и кровь. Чешское возрождение начали немцы, которых интересовала не чешскость, а автономия страны в Австрийской империи. Национальный музей, в котором было собрано всё о Чехии — и история, и культура, и геология, — основали граф Штернберг, граф Клебельсберг и граф Коловрат. (С учётом сложностей истории чешского народонаселения подозреваю, что чистопородным немцем из них был только Коловрат). Немцы начали, но закончили чехи, или те, которым несмотря на немецкие корни (а

они были у всех) захотелось стать чехами. Тех же, которые желали остаться немцами, посчитали отрезанными ломтями, с их собственным отрезанным театром. После возрождения чешской культуры общество расслоилось. Я люблю смешать для салата оливковое масло с лимонным соком. Соус получается непрозрачный, потому что он состоит из крошечных пузырьков масла и сока, и мешать его нужно до последнего, а то расслоится. По настоящему их перемешать хоть убей не получается. Вот так же не смешивались в Праге немцы и чехи, сосуществуя бок о бок.

В пражском соусе кроме масла и лимонного сока, чехов и немцев, была ещё горчица — евреи. Гетто существовало давно, ещё во времена доброго краля Карола, походя подвергаясь погромам, описывать которые не хочется — слишком страшно. Бесмысленная жестокость погромов зашкаливает так, что перегорают все пробки сочувствия, немеют нервные окончания, и остаётся только удивление — почему взбесились звери этого зоопарка? Но к 19 веку погромы кончились, и гетто исчезло. Еврейский квартал был перестроен, и строго говоря жалеть нечего. Это было гнездилище отчаянной бедности и скученности, порождавшее болезни и проституцию. Остались обломки прежнего, но красивые обломки, в том числе синагога со странным названием “Старо-Новая”, в которой теперь проходят концерты. Состоятельные евреи, живущие в хороших условиях, всё же испытывали неясное, но вездесущее ощущение неуюта: в одном из писем Кафка утверждает, что, гуляя по улицам Праги, он купается в антисемитизме. С поправкой на тонкую писательскую кожу элемент правды в этом заключении всё же есть. Национализм странен — на его почве произрастает множество могучих всходов, но всходы эти отравляют почву для других растений.

Прямо в воде, на столбе у Пражского моста стоит рыцарь с золотым мечом и смотрит на Старо Место. Для русских он связан с Мариной Цветаевой. В Праге Марина Цветаева была счастлива, а Сергей Эфрон получил наконец маломальское образование; в России-то ему и школа далась с трудом. Со стихами Марины Цветаевой я познакомилась поздно, то есть уже в университете. В моей жизни было только три писателя, которые меня настолько заинтересовали, что я стала читать их биографии. Ничего хорошего чтение биографий не приносит. Из биографий в мою безграничную любовь к Марине заполз червь сомнения, мне не понравилось, как она обходилась с дочерьми. И смутило, что “Поэма Горы” посвящена ГПУшнику. Пышка у Мопассана, привлечённая

за сожительство с немцем, объясняла: он был голый! Можно списать на великолепное безразличие женщин к тому, чем занимается их избранник; пусть хоть детишек ест, главное, что не своих. Прав ли Толстой, когда писал о княжне Марье, что она поступала, как поступал бы её брат или отец, но самой ей было решительно всё равно? Не знаю, может быть и прав в 90 процентах случаев... А хорошо ли это? С другой стороны, у Светланы Сталиной была сотня любовников, включая Давида Самойлова, т. е. мужчины тоже не брезгливы.

Русские добавились к пражскому салату после революции. Масарик приютил русских беженцев в Праге, приютил по-доброму, щедро, позволил открыть русские университеты. Самым трогательным было создание архива русской прессы, самого полного в мире, при финансовой поддержке чехословацкого правительства. Это собрание впоследствии забрали себе эсэсэровцы. Я знаю, что такого слова нет, но пусть будет — сейчас ведь мы россияне, значит раньше были эсэсэровцы. И вели себя соответственно.

Я почитала о русской эмиграции в Праге, но не стоило. Можно рассказать о российской эмиграции в Америке и потом просто заменить даты и города. Наша профессиональная эмиграция девяностых не похожа на послевоенную, но похожа на послереволюционную, в основном по обилию иллюзий. И то, и другое — исход людей, уезжать особенно не хотевших. И те, и другие уезжали от разрухи и голода. Рядом с нами сосуществует огромная масса эмигрантов, уехавших ранее, с радостью, как беженцы. Они хлопали дверьми, а СССР смачно плевал им вслед, чтобы оправдать свою репутацию. Мы разные, и пересекаемся редко. Но мы все при этом сироты, и у всех так или иначе существуют странные иллюзии по поводу прошлого, настоящего и будущего.

Для беженцев характерно настроение “в России всё плохо, и будет только хуже”, раздражённое отношение к России и при этом мелкое мельтешение по поводу мельчайшего фактика “бывшей родины” — странный термин, от злости скомбинированный из несочетающихся слов. У приглашённых профессионалов, наоборот, есть чувство, что “в России всё прекрасно, и было прекрасно”. У обеих групп неприятие Америки, нежелание вникать в её дела, огульное отрицание её культуры (“в современной Америке нет хороших фильмов и книг”): типичное отношение эмигранта. Так поселившиеся в Праге испытывали ненависть к большевикам, которые их вытеснили из России, и высокомерие по отношению к местным жителям, особенно оттого, что искали их покровительства: всё, как в Амери-

ке. В подобных условиях люди ведут себя подобно. Несоответствие социальных уровней “там и тогда” и “здесь и сейчас”, и возникающее при этом чувство унижения, усугублённое плохим знанием языка, компенсируется презрением к “американцам” или к другим просто-душно приютившим чужакам.

Не стреляйте в пианиста... не казните гонца. Это не обобщение, но усреднение; в каждой группе есть и отклоняющиеся от среднего; чем дальше отклонение, тем реже оно встречается. В отношении к нашей эмиграции чувствую себя кое-чем в проруби. Я уехала не столько “за” (колбасой), сколько “от” (разочарования). Были конечно и другие моменты, завязавшиеся в узел, который можно было только разрубить, но из страны меня никто не гнал. Я не могу дудеть в дудку беженцев; мне несвойственны оголтелая ненависть и презрение к России. Но и оптимизма у меня нет. Россию любить сложно: всё время приходится за неё конфузиться — за её жестокое отношение к собственному народу, за имперские амбиции, за её готовность вынашивать и питать аморальные режимы, которые её же и продадут ни за понюшку табаку при первом случае.

Пражских русских предвоенные чехи приютили “в количестве” и дали им передышку, дали возможность ассимилироваться. И вот, так же, как и в Америке, кто-то ассимилировался, и по определению ассимиляции, от них не осталось следов. А кто-то остался инородным телом — случайно, или по убеждению, а больше всего от отчаянной невозможности вписаться. Тех русских в Праге больше нет. Нет и немцев. Нет и евреев. Евреи уничтожены немцами, немцы изгнаны чехами, русские арестованы гебешниками.

Обыкновенная история

Из-за боёв под Прагой мы празднуем победу 9 мая, в то время как весь мир — восьмого, когда немцы сдались в Берлине. В последний день войны Прага восстала. Русские ей не помогли, хотя стояли рядом, видимо по той же причине, что не помогли Варшаве (пусть все, кто способен восставать, уничтожат друг друга). Американцы ей не помогли, хотя стояли рядом, потому что у них было джентльменское соглашение со Сталиным в его зону не соваться. И для тех, и для других пражан как бы и не было, а были пешки в игре, деревянненькие, на велпоровой подложке.

На Староместской площади есть памятный знак в честь пражских повстанцев. Но нет на нём памятника власовцам, которые спасли Прагу в последний день войны, и даже Маделен Олбрайт, дочь

чешского дипломата Джозефа Корбела, в своей дотошной книге “Пражская зима” обходит этот факт молчанием. Это власовцы, а не американцы и русские, отбили её у немцев в последних боях, спасли, сделали так, что золотые блёстки с Праги не осыпались. А вот Прага их потом не защитила от советской армии. Может быть, так им и надо; власовцы — предатели родины. Почему у нашей родины вдруг оказалось столько предателей, это особая история. Её мне рассказывал папа. Папа во власовцы не пошёл, из-за глубокой своей честности, хотя он говорил, что наших военнопленных всё к этому толкало. Папа власовцев не осуждал — он ведь своими глазами видел и немецкий лагерь, и русскую ссылку, и не ждал ничего хорошего ни от Гитлера, ни от Сталина. Папа сказал, и я повторю:

“Власовское движение — это результат великой мудрости нашего вождя Сталина. Он очень много сделал для образования власовского движения.

Первый момент — перед войной была дикими репрессиями обезглавлена вся наша армия. Полками командовали майоры. Оставшихся в живых военных специалистов во время войны Сталин вынужден был вытаскивать из тюрем и отправлять на фронт. Поэтому наша армия в начале войны оказалась небоеспособной, и образовалась масса военнопленных. Военнопленных было огромное количество, ещё и потому, что мудрость Сталина допустила «внезапное» нападение Германии на нашу страну; в результате чего вся стянутая к западной границе Красная армия была молниеносно разбита и большей частью оказалась в плену. Так возникла потенциальная основа власовской армии.

Второй момент. Сталин отказался от своих военнопленных, считал их изменниками родины. Немцы были не подготовлены к содержанию такого огромного количества пленных, кормить их было нечем. Результаты налицо — с помощью вот таких мероприятий, которые осуществили Сталин и Гитлер — один отказался от военнопленных, а другой стал их морить, они пленных заставляли думать, что же им делать. В лагере близкая смерть. Что делать дальше? Побег? Шансов практически нет, немцы нет-нет да и приводят военнопленных, пытавшихся бежать, и их расстреливают. На этом фоне появляется генерал Власов. Идти к Власову? Форма русская, она напоминает нынешнюю российскую, та же эмблема — трёхцветный российский флаг, только внизу написано крупными буквами «РОА» — российская освободительная армия. Воевать против русских вряд ли пошлют, а если пошлют, можно будет перебежать к своим. Но зато есть шанс как-то выжить

и выйти из ужасного положения, в котором ты находишься.

В одном из лагерей мне тоже предложили вступить во владовскую армию, но я не согласился — воевать против своих в эту трудную минуту мне показалось подлостью. А перебежать — на родине сразу зададут вопрос: «С каким заданием ты сюда прибыл?» Принесёшь вред не только себе, но и родным. У Власова собственно была идея с помощью немцев свернуть шею нашему псевдокоммунистическому строю. Если бы это можно было осуществить без участия немцев, внутри страны, то я наверняка бы пошёл к нему, а с участием немцев, во время войны с ними — это мне казалось подло. Насчет выживания я положился на судьбу».

Ну вот. А у вас может быть другие выводы.

Чехия — это страна, которая была раздавлена дважды полностью и один раз наполовину; Фердинандом, Адольфом, нашими танками. Мне всё время жалко Чехию. Почему-то Францию и Англию не жалко, но было жалко Чехию короля Отакара, было жалко Чехию зимнего короля Фридриха, теперь мне жалко Чехии президента Масарика.

Карты у Масарика были плохие. Вы, безусловно, поняли, что я имею в виду географические. Чехословакия, кентавр навроде Речи Посполитой, была склёпана из чехов, австрийских немцев и словаков. По выражению моей учительницы истории “Так сложилось исторически”. В 19 веке в Австро-Венгрии, возникшей на месте Австрийской империи, Венгрии дали автономию, а Чехии не дали. Чехи обиделись и ждали случая, чтобы отделиться. Многие во время Первой мировой перебежали на сторону русских, но русские этим как-то не воспользовались, а Николай Александрович так даже и напугал чехов, когда со свойственным ему глубоким государственным умом предложил создать православную Чехию. Когда Австро-Венгрия лопнула, ценой невероятных дипломатических усилий чехам удалось добиться признания полной их независимости. При этом к Богемии приклеили Словакию, отклеив её от Венгрии, и Судеты, отклеив их от Австрии. Разумеется, все на всех были обижены. Чехи были обижены на австрийских немцев, немцам Судет было обидно, что их отрезали от Австрии, а словакам хотелось бы жить в отдельном государстве: словаки и чехи — как сербы и хорваты; язык похожий, но история разная.

Президент Чехословакии Томаш Масарик, всеми чехами чтимый, сгладил противоречия, как сумел. Его Чехия была благородной попыткой всех примирить — чехов, словаков, немцев, евреев,

бездомных русских. Официально были признаны три народности — немцы, евреи, чехи — каждый мог себя записать, кем хотел. Жить в Чехии стало интересно: будто кровь перелили, или пересадили семенники по методике профессора Преображенского. Произошло полное обновление организма и вырос хвост сюрреализма, не предусмотренный эволюцией. Одна из первых выставок сюрреалистов прошла в Праге в 1932 году, её участниками были Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Ив Танги, Альберто Джакометти и разные другие, фамилии которых я раньше не слышала. Для домашнего задания предлагаются вопросы: Почему авангард пришёл из славянских стран, России, Чехии — какие условия этому способствовали? В чём общий знаменатель Праги и Петербурга, может быть в возрождении национализма? Почему сейчас нет творческого взлёта ни в России, ни в Польше, ни в Чехии (а в Болгарии никогда и не было)? Или он есть, но мы, обломки старого мира, его не замечаем?

Пока сюрреалисты, реалисты и идеалисты пытались слепить слитную Чехию, тов. Гитлер строил Судетский трамплин для захвата Судет, а потом и всей Чехословакии, и в этом ему упорно помогали судетские фашисты, а прочее судетское население, вполне порядочное, молча одобряло неминуемую аннексию. Судеты — это Крым, это Косово... много лжи, провокаций, подтасовок и блекотания об исконных землях и защите прав местного населения. Вот предыстория этого вопроса... (тут в рукописи клякса и неразборчиво) и в результате (оторвано)... Джордж Кеннан, которому в те годы случилось быть послом в Праге, видел, как люди плакали на улицах после обнародования «Мюнхенского сговора».

Немцы ринулись на Чехию. Спасая жизни молодых чехов, Бенеш сдал Чехию без единого выстрела, уехал в Лондон и организовал там правительство в изгнании. Немцы оккупировали Прагу. Пражскую оккупацию нельзя конечно сравнить с оккупацией, например, Киева; всё было попроще и полегче, — хотя трагично, что в 20 веке на каждую гадость можно найти ещё худшую. Если не искать, так в Праге было мерзко, и ещё померзело, когда наместником в Праге назначили Гейдриха.

В Новом Месте можно увидеть православную церковь Кирилла и Мефодия, которая знаменита не Кириллом и не Мефодием, хотя это были вполне достойные люди, а тем, что в ней засели и отстреливались до последнего агенты чешского правительства в изгнании, убившие Гейдриха. Убивали неумело — у одного автомат заело, другой бомбу не добросил. В живот Гейдриху попали не пу-

ли, а ключья обшивки сидений, и умер он от заражения крови. Но на Гейдрихе немецкое ярмо не кончилось, а продолжилось; оккупанты решили проучить всех чехов. Было расстреляно множество заложников. Деревня Лидице была стёрта с лица земли — строения, то есть. А мужчин Лидице расстреляли. И если до этого чехи и немцы друг друга терпели, то после Лидице уже нет.

Когда немцы стали брать и расстреливать заложников, убийцы Гейдриха не сдались властям. Они прятались не из страха — они хотели выйти, но им запретили это делать пражские подпольщики. Может быть они были правы. Во-первых, человек всегда может проговориться под пытками, и тогда взяли бы очень много народа. Во-вторых, нет гарантии, что расстрелы бы прекратились. Вот пример — наш, домашний. В начале сороковых годов НКВД разыскивало Юрия Симонова, двоюродного брата моего отца. Он прятался на ленинградской квартире у своей тётки. Почти обошлось, но Юрий кашлянул в шкаф. Его обнаружили, он застрелил энкавэдэшника и убежал. А тётка его погибла в лагере. Но если бы Юрий вышел, сдался, тётку бы всё равно посадили. Что случилось с Юрием дальше, никто никогда не узнал. А засланцев из Лондона случайно выследили и всех застрелили во время перестрелки, думаю, к счастью для них.

Убийство Гейдриха — один из странных эпизодов, которыми пропитаны революционные движения — эпизодов, в которых совершается подвиг ради какой-нибудь неопытной цели. Сам Рейнхард Гейдрих, принадлежавший к плеяде весёлых гадёнышей, выкормленных Гиммлером, окончательный организатор “Окончательного решения” еврейского вопроса, вполне заслуживал казни. Гейдрих был абсолютная и полная мразь из тех, которые по-деловому проецируют душегубки на благо будущим поколениям; у нас таких было много. Но в данном случае целью была вовсе не казнь Гейдриха. Что думали люди, которые пошли на смерть, я не знаю, но их руководители надеялись убедить англичан и французов в том, что чехи действительно желают бороться с немцами. В извращённом мозгу союзников, сдавших Чехию Германии засело, что мол “она сама хотела, она сама нарывалась”, и они не спешили признать правительство Бенеша в Лондоне. Признание было куплено вот такой ценой.

И ещё... Бенешу очень хотелось, просто руки у него чесались, выселить немцев из Чехии, и безобразное поведение оккупантов было ему на руку. Чем безобразнее, тем надежнее эффект. Он рассчитывал, что за убийством Гейдриха последуют массовые репрессии,

которые поссорят чехов с немцами. Так оно и вышло. По окончании войны произошло крушение судетских немцев. Их жестоко убивали, их изгоняли из собственных домов. Им оставалось только бегство в Германию, где их никто не ждал. Всё было, как в кукольном спектакле. Всех как будто дергали за верёвочки, все сыграли заданную роль, не отступив от текста ни на шаг. Подпольщики убили Гейдриха, немцы отомстили, чехи возненавидели немцев. И теперь то, что чехи думают о правах судетских немцев, невозможно перевести самыми увесистыми аргументами. Все всегда за всё отвечают купно. Интересно сходство позиций политической мысли у наших и не наших, у Кибальчишей и Плохишей, их любовь к вранью и провокациям: Гитлер, Молотов, Бенеш, Кощей Бессменный, — они не переводятся.

Убийство Гейдриха, правдиво рассказанное — очень любопытная история. Правда всегда ставит наши патриотические представления с головы на ноги. Когда я услышала, что Зою Космодемьянскую выдали немцам свои же крестьяне, я решила — негодяи. А потом я ещё подумала и представила такую картину: на оккупированной территории, под немцами, зимой, появляется партизан из Москвы, где живут хорошо, — не совсем хорошо, но лучше, чем эта голодная деревня, — и сжигает дома, и людям зимой на морозе некуда деваться в результате такого патриотического акта. Возникает мысль — неужели эти пострадавшие люди ничего не стоят? *“Нестрашно под пулями мёртвому лечь, нестрашно остаться без крова”...* Это кому? Люмпену и бомжу? Даже за них не уверена. Врёте. И что такое Родина и Народ с большой, ради которых можно выгнать на мороз народ с маленькой буквы? Понятно, что дело не в Зое, а в тех, кто её послал. Расплачиваются не те, кто послал; да провалятся пославшие туда, куда им стоит провалиться. Хорошо бы им самим повалиться на снегу замёрзшим трупом с верёвкой на шее.

У любого вопроса всегда две стороны, и обе пострадавшие. Я осциллирую между боквурстами и шпикачками, Мюнхеном и Прагой. С одной стороны чехи, которые вынуждены жить с пятой колонной. А с другой стороны немцы Судет, которые живут много лет в Австрии, и вдруг их дарят Чехии, и они превращаются в нацменов на своей же земле. Человек родился и жил на немецкой территории, которая вдруг превратилась в другое государство, — психологически это непонятно. Образованный человек может себя утешать мыслью об исторической справедливости, мол, двести лет назад эти немцы были пришельцами, но справедливо и то, что после того, как

в колонии выросло несколько поколений креолов, им позволительно считать себя местными.

Немцы в Судетах — это русские в Крыму, или в Молдавии, или Литве. Русские только что были главными не по количеству, а исторически, как подданные государства, ими основанного, и вот, подавились собственной колонизационной политикой, но не все, а только те, кто оказался сброшенным с борта балластом. Литовцы, предков которых насильно присоединили к России и подселили им русских, и русские, уже родившиеся в Литве... Жители Крыма, как крепостные крестьяне, подаренные Украине... Что считать исторической справедливостью? Каковы критерии пришлости? Если это нежелание слиться с интересами всей страны, то судетские немцы как раз такие. Но все ли поголовно? Между сочувствием и сотрудничеством всё-таки есть разница.

Вопрос о том, что делать с теми, кто понаехал (два поколения назад), решается как правило наихудшим способом. Преобладают два пути — литовский (“ассимилируйтесь, суки, или вон отсюда”), или чешский (сразу “вон отсюда!”). Мне кажется, что единственный способ это третий: отпустить, как отпустила Чехия Словакию, как отпустила Россия Грузию и Армению (А вот Грузия не отпустила Осетию, цепляется изо всех сил за свои грузинские Судеты). Или отпустить, или будет погром и переселение — страшное, кровавое, губящее жизнь всего поколения. Я — за развал империй. Не стоит бороться за империю. Плавильные котлы империй клокочут и поют злую песню. В мононациональном государстве оказалось жить и безопаснее, и порядочнее. В меньшинстве существовать опасно, особенно в большом меньшинстве. Один арап Петра Великого вызывает уважение. А пятьсот арапов? А 10 процентов населения? Эти люди в ужасном положении. Этим людям так легко стать пятой колонной — их к этому подталкивает многое, многие.

Я просыпаюсь в холодном поту, от очевидной истины, которая настолько неочевидна, что приходит только во сне: это же всё равно! Это не важно, что литовцы прижимают русских, а англичане дают шотландцам свободу, не существенно, разрешают или запрещают второй язык. Сепаратистам повод не нужен. Сепаратисты будут всегда. Людей, как грудная жаба, душат идеалы, и, как рак, разъедают болезненные патриотические галлюцинации.

Если одолевает фантазия вернуть себе земли предков, надо рвать её с корнем — осуществление мечты принесёт неисчислимые беды. Не увлекайтесь, не слушайте возвышенный лисий тенор: “Мочи нет! Не могу молчать о том, как стонет судетско-крымский народ под

пятой захватчика”. Территории переходят из рук в руки, и невозможно говорить об исконно ***ских землях, хотя я понимаю, что всё тут наше. Лиса смотрит на кур, кудахтающих в курятнике, и облизывается: “Народ просит помощи, ну как не помочь?” А потом тот же народ становится разменной монетой политических амбиций. Сначала плохо будет тем, кто гонял кур у себя в курятнике, а потом и тем, кто помог лисе, думая, что помогает курам. В Судетах радовались: “свои пришли”, — а в Германии — воссоединению Великого Рейха, не догадываясь, какой костью в глотке Германии встанут Судеты, и как плохо будет самой кости. А мы теперь знаем. И с чего начинается, знаем, и чем кончается.

Теоретически возможно по-другому: *“Ребята, давайте жить дружно!”* Нет, Леопольд, не станем. Я знаю все правильные слова не хуже кота Леопольда, и я с ними согласна, в наклонении “хорошо бы”; когда-то под ними подписалась — до развала СССР, Югославии, до Нагорного Карабаха, Баку и Осетии. Самое удивительное открытие моей жизни — идеалы не работают. В частности дружба народов. Психологически каждый готов к уничтожению “другого”. НАТО попыталось сделать по справедливости. Они спасли албанцев, и поэтому из Косово бежали сербы. Люди все одинаковы, и вопрос только в том, кто *успеет раньше*. Когда-то Пржемысл Оттокар чуть не подмял под себя Германию и Австрию. Когда-то Польша чуть не присоединила к себе Россию. Когда-то баварцы угрожали Праге. Сейчас победившие с помощью Европы и Америки противники Каддафи безнаказанно уничтожают сторонников Каддафи. Опасно твердить, что все люди — братья, твердить: “Нет, всё должно быть хорошо; все должны жить дружно” — сколько при этом погибнет народу!

В воздухе витает множество правильных идей — хоть топор на них вешай. Например, папа Иоанн-Павел Сто Тринадцатый считает, что нельзя пользоваться противозачаточными средствами, а надо рожать, рожать и рожать, и обеспечить всем рождённым достойное существование. Рожать и обеспечивать. “Вот как должно быть!” — никогда не срабатывает. Когда я жила в России, я всегда вставала и уходила, если на скамейку рядом со мной садился пьяный. Моя подруга обладала острым чувством справедливости; “Нет”, — сказала она, — “Мы не уйдём, мы пришли первые!” Когда пьяного начало рвать, она согласилась уйти. Несправедливо, но это жизнь. Ты уходишь, если рядом садится пьяный или маньяк, иначе на тебя наблюдают, или изнасилуют. “Нет, а нужно, чтобы все любили друг друга”, — повторяет правильно воспитанный человек. В это время в Нигерии

семьи христиан перебираются на юг, семьи мусульман перебираются на север — на всякий случай.

Казалось раньше, что не меняюсь, но менялась. Росла, училась, узнавала про прошлое — интересное, не интересное, — не имеющее отношения ко мне, к моей уютной жизни. И на моих уже глазах что-то происходило и происходило, — кровавое, жестокое, непонятное, разрозненное. Я жила, осмысляя — что происходит, зачем, и как реагируют другие люди на все эти непредсказуемые случайности. Если жить долго, дольше, чем средний средневековый жилец, в бессмысленной каше проступит повторяемость. Я считала, что говорю об уникальном, о вывертах судьбы, но нет, я вдруг вижу повтор, повтор, повтор. Я думала, что я рассказываю забавные байки о прошлом, — вот как мы когда-то жили, — но оказывается мы всё так же и живём. В пестроте пятен проступает правильный узор. Вот казалось бы Судеты, странная аномалия, но нет, Судеты повторяются. С ужасом догадываюсь: в истории, как в физике, есть непреложные законы; одно цепляется за другое, за “А” неизменно следует “Б, В, Г” и никогда “Ю” или “К”. Можно многое предсказать и ничего — предотвратить. Законы ненарушимы, и даже если они известны, никакая Кассандра их не отменит; под действием силы тяжести шарик скатится по желобу на пол, даже если ему это отвратительно.

Осознанная необходимость

Надо сварить картошечки, поесть и дожидаться ночного автобуса. Подведём итоги: если ты соскучился по Петербургу, но боишься Путина — поезжай в Прагу. Но надолго, не на два дня. Два дня на Прагу смехотворно, бессмысленно мало. Но ведь и недели мало. Зачем я ездила в Крумлов, и в Кутну Гору, и в Карлштейн, хорошенько не распробовав Прагу? Вся эта суетня от отчаяния, от чувства, что как ни раскидывай и не перекраивай, времени ни на что не хватит. Дело не в том, чтобы всё осмотреть и ошмонать. Тут другое: хочется примерить чужую шкуру. Пожить, притвориться, что гражданствую и горожанствую. Поселиться в Чикаго, перебраться в Бостон, бросить Бостон ради Нью-Йорка, а Нью-Йорк ради Сан-Франциско, проводя везде подолгу... Я не люблю городов, которые я не обдумала. Я не хочу в хорошем ресторане по-быстрому давиться изысканной пищей. Так, непрожёванным комком, застрял у меня в глотке Рим. Так и Прага осталась на блюде пирожным, чуть тронутым ложечкой.

Я хочу идеального дня в Праге: в квартире, небольшой, но хороших пропорций, как квартира, где я выросла, где мне одной из всех было не тесно, проснуться, насытившись сном, и полежать с полчаса, думая о чём угодно. Встать, закутаться в фиолетовый фланелевый халат вроде мамино. Подойти к окну с широким подоконником. Увидеть внизу Вацлавскую площадь, мелкий дождь или позёмку; да, позёмку лучше всего. В кухонке со старинной радиоточкой сварить кофе в кофейнике с перколятором или разбавить кипятком вчерашнюю заварку в старинной чашке с потёртым рисунком. Чайной ложкой со странным запахом посеребрённой посуды разбить скорлупу на варёном яйце в лужёной подставке.

Спуститься вниз по вытоптаным ступеням, цементным с мраморной крошкой. Войти в оглушительный шум столичного города. Прищурившись, остановиться перед фасадом, вбирая в себя его модерн. Пройтись по Пржицкопу, побродить по старой Праге, выслушивая внутренний монолог, обращённый... нет, не всегда к себе, чаще — к избранным собеседникам. Выйти к реке. Постоять, созерцая воду, набережные, серые каменные статуи на мосту и розовых пластиковых пуделей у рыбного ресторана.

Зайти в Кубистическое кафе, выпить чашечку кофе, нарочито неспешно, разглядывая прохожих, воображая, что сейчас всё у всех хорошо. Зайти в старый монастырь Св. Агнешки, пройтись по коридорам, любуясь узором тёмных нервюр на выбеленных стенах, постоять у Крумловской мадонны 15 века, тщательно разглядеть алтарную панель 14 века. Прослушать концерт старинной музыки. Вернуться. Пообедать щами. Зажечь лампу у кресла. Раскрыть современный роман.

Так мы и жили. Прекрасной прозрачной патокой стекал досуг с ложечки времени. Меня согревает память юности, неспешной юности, праздных разговоров и дядиваниного: *“Видишь ли, ангел мой, дело-то вот в чём...”* И путешествие в Опочку, и пианино вечером... Мы ездили к дяде Ване и тёте Зое на их крошечную дачку в Роцино, и ловили там раков, и я по малости лет простодушно соглашалась с тем, что их варили живыми. Мы проводили по два летних месяца в Паланге, в Коктебеле, в Тракае. Мы сиживали на даче в Большеве, смотрели на заплёванные дождём стекла и рассуждали о разном. Раньше хватало на Толстого, а сейчас и на Чехова времени нету. Между тем миром и этим — пропасть. Тогда мы жили в абсурдном обществе, где царили несвобода и нищета, но в то же время свобода и богатство, ибо богатство — всё то, что давало душе свободу: книги, театр, dolce far niente. Вам кажется, будто я тос-

кую о проклятом социализме, но на самом деле это плач о досуге и двухмесячных отпусках. Мне досуг дал очень много. Я — продукт досуга. Я была бы другим человеком, если бы у меня не было в юности больших кусков досуга, которыми я распоряжалась по своему усмотрению.

Досуг уходил постепенно. Я и не замечала, как он таял, как съёживался шагреновой кожей желаний. Я помню, как отвратителен мне был мой первый школьный день, как я подсчитывала, сколько мне осталось несвободы до пятидесяти пяти. Школа растягивала на шесть часов то, что можно было выучить за три. Я выучивала гораздо больше и понимала глубже, если не ходила в школу. На досуге, на каникулах было время подумать, почитать, выучить то, что хотелось: французский и органическую химию. Мама понимала, как вредна мне школа, и неустанно писала объяснительные записки о прогулах, а в старших классах выбила мне дополнительный выходной, и я училась только пять, а не шесть дней в неделю. Школа воровала у меня драгоценное время, и в старших классах я стала воровать время у сна. Я вскакивала в три утра, чтобы сделать уроки, а вечером, после школы, читала то, что мне нужно.

Вступительные экзамены в университет загубили мне лето. От него осталась неделя, которую мы прожили с Мариной в Большеве, вдвоём, вернее, втроём, если присчитать к нам грача с перебитым крылом, который терпеливо и понимающе сносил процедуру перевязки. Грач жил в ящике комода и по утрам, не спросясь, выклёвывал кусочки колбасы со сковородки с яичницей, с керосинки, стоявшей на полу. Дом был сырой, топили и летом. Я чиркала спичкой за спичкой, они бесполезно гасли, Марина смотрела, а потом сказала: “Ты зажигаешь печку, как пьяный Андреич”.

При поступлении в школу прекрасное пятимесячное лето, с мая по сентябрь, сократилось до трёх. В университете прекрасное трёхмесячное лето сдутожилось, съёжилось до полутора месяцев. А потом, после университета, расслабона, как такового, не стало. Виновата не жизнь, а я: всё-то мне казалось, что я смогу чего-нибудь добиться, если поднапрягусь. Я сама тратила свой досуг не на досуг, не жалея, я думала, что впереди бесконечность. И я думала, что время длинных отпусков вечно, и я наверстаю. Я думала: встану в ряды доцентов и тоже буду ездить в Крым на майские праздники. Я думала: в пятьдесят пять — фюить! Ку-ку! С доцентской пенсией. Но не стоит брать взаймы у жизни, вернуть ничего не удастся.

Хорошо, когда общество разрешает нам жить неполезными интересами. Но это aberrация цивилизации, на пути её к гибели, и такие периоды в истории редки — ловите миг удачи! Какой-то деятель в горячечном бреде перестройки воскликнул: “Когда же исчезнут все эти посетители библиотек?” Ну вот, они исчезли. Исчезли быстро, ибо всеобщий досуг — аномалия; такая же, как всеобщее медицинское обслуживание. Мы были лентяи. Таков официальный приговор. Те, кто живёт не булкой единой, кто разводит канареек или рыбок, кто собирает марки, печатает любительские фотографии, ходит в библиотеки и читает “Физику для любознательных”, то есть козлы без молока... Отнять у них досуг!

Хотя, урезая досуг, можно погореть, отнять с убытком для пользы. *Свиньи думают головой, и им нужно молоко*, а интеллигенции нужен досуг. Тупое трудолюбие, жизнь по принципу: “Что думать, надо трясти!”, — в надежде, что с пальмы посыплются плоды просвещения, сводит на нет весь смысл европейского обучения. Для свежих идей нужен ленивый и свободный ум. Чуть-чуть досуга, и мне в голову воровато начинают сползаться абстрактные мысли. Досуг — отец любой идеи, в том числе и вредной идеи переустройства общества; видимо поэтому общий досуг теперь отняли у работников интеллектуального труда, оставив им только специфический, на чтение научной литературы. Общество, злобно поглядывая налитым кровью глазом, норовит оттяпать от даденного всё больше и больше. Интересно, сколько ещё можно отнять у интеллигента, прежде чем он перестанет быть таковым.

Но есть и другое применение досуга — психологическая разгрузка. Возможность заниматься действительно любимым делом на досуге, если жизнь заставила годами делать то, что не интересно. Нету лентяев; люди делятся не на трудяг и лентяев, а на тех, кто может, и кто не может заставить себя делать неинтересные вещи. Не всем интересна школьная наука, и в четырнадцатом веке они стали бы сапожниками, а сейчас никуда не берут без среднего образования. И вот человек высидивает часы в конторе без особой пользы для общества, а после преобразается — пироги, половики, намытые до блеска стёкла. “Лень” исчезает, когда приходит увлечение.

Досуг спасает меня и лечит, и дарит равновесие душе. Я из тех, кто может уйти из окружающей действительности, примириться с прохудившейся крышей, если можно не спешить, сделать выписку, подумать, прочитать следующий абзац. Во время вдумчивого чтения вокруг меня включается силовое поле защищённости. В мире

детства, когда было время на сложное чтение, в мозгу выработалась связка-рефлекс: неторопливое чтение — это безопасность и уют.

Досуги детства привили мне вкус к досужному, ненужному и непрофессиональному чтению. Книжные тени — мои друзья. Жалко человека, у которого нет друзей, только тени, да? Не знаю. Я не уверена, что людей стоит жалеть, по крайней мере до того, как выяснится, что они сами об этом думают. Читайте книги, и вы никогда не будете одиноки. Может быть я прочитала слишком много, и слишком много теней толпится в моей гостиной. Им не хватает моего внимания, и стоит мне сказать: “Принесите мне, пожалуйста...”, раздаётся с десяток: “Я, я!” Я помню, Лев Толстой говорил мне... и — о чудо! — никогда не откажется повторить.

Досуга мне не хватает, вот что! *Festina lente!* Выходные — дни полной свободы, делай, что хочю. Что же я-то делала, от чего осталось чувство блаженства и свободы? Да, вот что — я писала, по 8–10 часов в день. И у меня нет ощущения, что я вкалывала и мантулила; мне кажется — я резвилась и приятно проводила время. “Тяжёлая работа” и “любимая работа” — понятия несовместные. Чтение, размышление и писательство для меня не работа, и не отдых, а способ моего существования. Трудно оторваться от пьяного счастья творчества. Всё самое лучшее во мне расцветает, когда я пишу. Но я пишу всё реже; всё реже выстаиваю вторую, вечернюю смену. В последнее время я потеряла человеческий облик; моё “я”, самое важное, что было во мне, моя суть, моя индивидуальность стёрлась. Я — робот: я работаю, я не размышляю; я зарабатываю на пропитание и отопление, на книжки, которых не читаю, и звукозаписи, которых не слушаю. Я прихожу с работы, я сажусь, я замираю, в голове сор, а в теле усталость. На работе я трачу неизвестно на что восемь часов, которые могла бы провести в живом размышлении.

Но вот приходит отпуск, и как жадно, как опьянённо я начинаю читать и думать; огонь, тлевший в головёшке, ярко вспыхивает, когда её разбивают кочергой. Как я люблю каждый день, подаренный мне и только мне, день, которым ни с кем не нужно делиться! Пятьдесят две недели в году, и две из них мои. В отпуске я притворяюсь, что эти жалкие несколько дней свободы никогда не кончатся. О ужас, когда они кончатся: всё было неправдой, во спасение, но ложь, а на самом деле — раб.

Что мне мешает бросить работу? Художественная литература: новелла Соммерсета Моэма “Лотофаг”. Герой её бросил работу, думая — на двадцать лет хватит, но через двадцать лет не умер, и рай для него кончился. Впрочем, рай всегда ведь кончается. Про-

сто я не картёжница и боюсь шагнуть в пустоту. Ах, как бы хорошо не ходить сегодня на работу, и завтра не ходить. Но если не пойду, не хватит ни на путешествия, ни на чернила. Хорошо бы, чтобы деньги брались алхимически, из воздуха или ртути (лучше из воздуха, потому что ртуть ядовита). Как вы считаете, Рудольфу и Августу Саксонскому формула пермутации золота тоже была необходима ради покупки досуга? Какую жестокою завистью я испытываю к людям, которые тратят время зря, маются пустыми днями. Мне хочется робко предложить: “Если вам не надо, я доем”.

Я с детства знала одно — хочу остаться самой собой. Я хочу сохранить себя, не прогнуться под давлением извне. Желание законное, испулённое, обычное, приличное, о нём: “*No, Time, thou shalt not boast that I do change... This I do vow and this shall ever be; I will be true despite thy scythe and thee*” (шекспировский сонет 123). Ещё будучи малюткой, я поняла, что битва за себя будет жесточайшая, и что придётся взламывать асфальт и искривлённо прорастать сквозь камни. И на эту битву уйдут все жизненные соки. Я смирилась с тем, что жизнь моя будет состоять из двух частей, моей и ихней. Я согласна заплатить обществу часами своей жизни, но пусть оно мне чуть-чуть оставит. Не оставило. Этого “чуть-чуть” почти никто не получает. Любая свобода — за чужой счёт. За неё идёт жёсткая борьба, отымают у многих, передают немногим.

Это тут что? Это про что? Это мольба о том, чтобы другие люди мне позволили жить, как хочется, или это сага о шорах, надетых добровольно и, быть может, ненужно, о неверно понятых и растраченных возможностях? Меня приучили к тяжёлому труду. Мне только не объяснили, что я имею право выбрать труд по вкусу, и я выбрала не то, ради заработка. Словом, меня не миновала участь обычного человека. *Мне не выпало лишней удачи, Слава Богу, не выпало мне быть заслуженной или богаче всех соседей своих по стране.* А почему собственно и нет? У отца отняли почти всю свободу. Жизнь обваливалась на него пластами, не давая дышать. Плен и война — самое страшное, хуже ссылок в Оренбург и потом в Катайск. Но были и бессмысленные мытарства мирной жизни. Вы говорите: “Хорошим людям, в конце концов...” Ни-фи-га! Какую медную позеленелую монету выдала ему судьба в обмен на золото его души! И ещё были 92–96 год, семь лет... но об этом не могу... Свободы жить, как хочешь, воли у него не было. Ни *воли*, ни *покоя*. Счастье, хм... Не знаю. Но он столько раз мне говорил — “Я такой счастливый!” Он прав — он не погиб в лагерях, и его любили. Что в сравнении с этим досуг? Баловство.

Теперь меня томят неясные, тёмные желания — то ли роман написать, то ли немецкий выучить, то ли заняться изготовлением перwokлассного компоста. За этими горячечными потугами — вопрос: а где же свобода? А её не было и не будет. Мы заняты обеспечением друг друга мобильниками и видеками, и наша свобода — это *осознанная необходимость*. К чёрту! Я хочу настоящей свободы, свободы распоряжаться своей жизнью. Работа — рабство, а досуг — свобода, в том-то и штука. За ненавистью к досугу — ненависть к личной свободе. Есть понятия — “дарвинизм”, “досуг”, — которые ненавидят просто за то, что они существуют. Досуг бродячей собаки вызывает злобу у цепных. В его защиту можно пробормотать только бесполезный, жалкий аргумент: свобода состоит именно в том, чтобы каждый ею сам распорядился, может быть неумело.

Ноем, ноем, неумехи, о свободе, но право-то разве имеем? Я долго мучилась вопросом — зачем всемогущий Бог даёт людям свободную волю, которой они так часто злоупотребляют? В этом мне виделись злонамеренность и злорадное желание поиграть нами в куклы. И вот недавно, следя за солнечным зайчиком на потолке, я подумала — а что же я ценю в жизни больше всего, для чего всем пожертвую, что является самым драгоценным даром? Свобода выбора. И Бог вложил мне её в ладони.

III. БАВАРИЯ

Роскошь возвращения

И опять ночь, и опять безлюдная площадь, и опять тусклые фонари, но не страшно. В Мюнхене было страшно, а в Праге — нет, хотя шпаны должно быть не меньше. Страх — понятие субъективное. В незнакомом месте собака жмётся к ноге хозяина. В Чехии можно не жаться к ноге, Чехия своя, вся насквозь славянская.

Вот появляются двое и идут к моей скамейке. Но и они не такие, как в Мюнхене, они респектабельные — старушка с сыном, — орать по-турецки и драться не будут. Русские. Старушка не разделяет моей надежды на панславизм и опасливо вжимается в скамейку. Я не завожу разговора; для беседы незнакомых людей нужна скука или страх. Страх сейчас нет, любопытства пожалуй тоже. Они предсказуемы: сын, обременённый тем, что мама испугана и зависима; мама, приготовляющаяся перетерпеть неудобства не по возрасту и страх непривычного.

Я много встречала за границей русских мам, плавающих и путешествующих, чтобы повидать детей. Трясаясь от ужаса, как литься одинокой осины, мамы мужественно преодолевали препятствия непонятного языка и чуждых обычаев. Эти мамы многое в жизни пропустили, не по своей вине, и в них взосли и выросли восприимчивость к новому впечатлению, готовность попробовать самую невероятную пищу, если её едят их дети, героическое любопытство к любому пустяку. Я помню, как помогала одной Маме делать пересадку в Чикаго, и она вдруг сказала с детским восторгом: “Индеец!” И действительно в углу обнаружился некто в перьях — изображает индейца, выпрашивает на вампум; я-то уже давно перестала их замечать.

Двадцать лет назад пугливым мамам было лет по 50–55, а теперь пугливых пятидесятилетних уже не встретишь, — моё поколение, заступившее на вахту, выучилось ломаному английскому и не трусит за границей. Но задача у него осталась та же — увидеть своё дитя, убедиться, что ему хорошо, перестирать бельё и перемыть окна, каждую минуту мучительно проверяя — нужны они, или уже не нужны своим детям. У всех и всегда дети, по сути, эмигрировали — кто за границу, а кто в новую непонятную жизнь; жить с ними уже нельзя, и можно только навещать. Загодя розданные роли

трудно перераспределить. Дети эгоистичны и бесчувственны. Родители добры, привязчивы и робки. Больно видеть, как они стараются понравиться детям и ничем их не обременить. Страшен эмоциональный вакуум, в который они попали; как дорого они платят за крохи внимания. Может быть родителей утешит мысль о том, как горько потом сожалеют их дети о своей чёрствости, когда, состарившись, сами попадают в такую же ситуацию. А может быть не утешит.

Разумеется, автобус подошёл не туда, куда обещался. Мы сидели, где назначено, а остальные — где надо, и при посадке мама и я оказались позади небольшой толпы; но это несущественно, места нумерованные. В Мюнхен ехало больше, чем в Прагу, и в основном молодёжь. Я воспользовалась своей старостью, чтобы согнать какую-то девушку с моего законного места у окна.

Автобус тронулся. В этот раз он не вибрировал: рессоры у него не успели продать во вторчермет. Нам предложили кофе задаром и воду за деньги. Оскорблены чувство справедливости и кошелек; молча протягиваю назад бутылку. “Может быть всё-таки кофе?” — огорчённо говорит проводница. К свиньям собачьим (папа)... Дело не только в том, что меня иногда прихватывает потребность экономии. На эту фирму у меня зуб, потому что... ну ладно, объяснять сложно, но в итоге мне придётся заплатить за билет не семь евро, а девять, и настроение у меня поганое, бессильное раздражение бедняка, которого опять обдурили. Бедным людям всегда выпадает второй сорт, вонючие автобусы и текучие краны; им хамят, их обманывают, монтеры не приходят к ним вовремя, а врачи заставляют ждать в приёмной; им закатывают самое дешёвое и вредное обезболивающее, продают самую неорганическую пищу и писают у входной двери. Что касается меня, то я зависла в чистилище — и не бедная, и не богатая, на билет первого класса денег не хватит, но экономить на воде нет необходимости — это уж из мести.

Автобус молодёжный, и спать в нём никто не собирался: для того и кофе бесплатный, *чтобы карась не дремал*. После кофе нам запустили длинный-длинный чешский фильм с субтитрами. Фильм звучал, мелькал, мешал заснуть не хуже ломаных рессор. А когда заснула, включился второй весёлый будильник — пограничники. Обнаружилась некоторая асимметрия границы Чехии с Германией: в Германию пускают менее охотно, чёрт его знает, почему, — ведь барокко в Чехии ценнее. Пограничники отобрали все несиние паспорта и надолго исчезли. Мой драгоценный фиговый лист, синий американский паспорт, не тронули.

Есть счастье в возвращении: я уже не новичок на противном мюнхенском автовокзале, всё известно, и не осталось неопределённости. И страх куда-то делся. Я попыталась оставить чемодан в железном ящике для багажа, но он оказался не так прост, как с виду кажется. Ящик не запирался, хотя евро глотал охотно; он уже, небось, сколотил капитал и отмывает его в Швейцарии. Пришлось ехать с чемоданом прямо в гостиницу. В очередной раз судьба мне возблагодаряла: не придётся возвращаться за чемоданом.

Брезгливое ощущение, что я на годе, не отпускало меня, пока я не вошла в метро. А там, на пустом перроне, жизнь поменяла одежду на буржуазные и упорядоченные. Поезда уже ходили. Наверху была чёрная октябрьская ночь, но масса людей уже ехала в этот ранний час на работу. Никто из них не составил мне компанию, когда я вышла в центре города, на подземной станции. “Тук, тук, тук”, — храбро постукивал мой чемодан, пытаюсь меня ободрить. Он не верил, что я в хорошем настроении и ничего не боюсь.

Мне нужно было подняться с подземной Плац на Мариенплац. Эскалаторы не работали, сонное царство — *спит Гвадалахара, спит Эстремадура*, спят эскалаторы и храпят лифтеры... Насчёт лифта, впрочем, не знаю, — может быть он и просыпается, если нажать кнопку, но я не стала его разыскивать: может меня ждёт там какая-нибудь бука (напрасно дожидается). Я поползла вверх по лестнице, подымая чемодан со ступеньки на ступеньку, — бум-вжик! бум-вжик! — и тут меня настигло Большое Жизненное Разочарование: у меня трюкнуло под коленом. Серьёзно так трюкнуло. БЖР отличается от МЖР тем, что ты сразу понимаешь, что они — Б. Я замерла и уныло задумалась: это когда же это я успела истратить свои колёнки, и почему я этого вовремя не заметила? *Но что думать, надо* ползти. Каждым шагом доказывая, что я поступаю неправильно и заплачу за это дорого, я доковыляла наверх.

И там я оказалась, как у себя дома. Какое счастье, какая роскошь! Оказывается, нужно хотя бы денёк прожить, и город уже приручен навсегда. Мариенплац была пуста, только уборочные машины ездили по ней взад и вперёд, лихо, повизгивая на виражах, пользуясь тем, что нет прохожих: и мусорщикам хочется прокатиться с ветерком. Плохо пахло. Солнца ещё не было, и не было даже намёка на зарю. На Виктуалиенмаркет у тёмных прилавков разгружали товар и вполголоса переговаривались немногочисленные продавцы. С неба закапало, и я раскрыла зонтик.

Гостиница моя была на улочке прямо за Виктуалиенмаркет. Код, который мне сообщили по электронной почте, конечно не сработал.

Я в растерянности обошла вокруг квартальчика, скребя по мостовой колёсами чемодана. В гостинице загорелось окно, зазвенели чашки: накрывали к завтраку. Я постучала по стеклу, меня впустили и позволили оставить чемодан у кабинки дежурной. Больше мне ничего и не нужно.

Я вернулась на Виктуалиенмаркет поискать пищи. Распускаясь рассвет рождается как просто свет, недовольный, неопределённый, пасмурный: его ещё не окрасило солнце. Ранний рассвет вызывает у меня смешанное чувство — неуверенность в погоде и доброжелательности бытия, обиду на то, что пришлось рано пробудиться, радость, оттого что судьба мне дарит несколько дополнительных часов сознательной жизни, на которые никто другой, — ни люди, ни служба, — не позарится.

В полумраке полусвета над прилавками загоралось всё больше огоньков; продавцы раскладывали овощи и фрукты. Только у одного буфета горели окна. Я произвела в нём некоторый фурор, как в своё время тень отца Гамлета в Эльсиноре: в это время буфеты безраздельно принадлежат продавцам. “На вынос не наливаем!” — предупредила сердитая буфетчица. Я поклялась, что вовсе не хочу метаться с фарфоровой чашкой среди тёмных ларьков. Мне дали кофе с молоком, приличный, и сливовый пирог — прекрасный пирог, сливы сверху сплошняком.

Я отхлебнула и откусила. Буфетчица вышла из-за прилавка и поволокла какой-то транспарант. Трудная ситуация — не поможешь, будет стыдно. Поможешь — уважать не будут. Подумав, я пошла ей помогать. Она была приятно смущена. Вошедший немец сказал: “Морген”, — и никто не засмеялся: для них ведь немецкий родной. Приятно было на него смотреть: именно такой, каким мне хочется видеть немцев, солидный, крупный, добродушный. Лет сорока, его родители были детьми во время оккупации Германии.

Уже совсем рассвело. Дождь перестал. Но утренний час ещё в моей личной собственности. Я по-прежнему одна на улицах, и мне уютно. Манекены приветливо улыбаются, кивают и говорят — вот если ты похудеешь, то и у тебя будет такая же хорошая одежда, как у нас! “Нет-нет, не будет. Вы-то её меняете раз в сезон, а мне некогда заниматься этой ерундой”, — думаю я, но вслух не говорю, чтобы их не обидеть. Ох, один из них совершенно голый — как неприлично! Оказывается, его переодевает в чистое женщина, которую я тоже сначала приняла за куклу.

Выждав нужное время, в семь утра я вернулась в гостиницу. Ну, что вам рассказать про это вселение? *Парня радостно встрети-*

ла фронтовая семья; всюду были товарищи, всюду были друзья... Лестница на верхний этаж показалась трыкающей коленке непреодолимой, но тут же появилась, прямо скажем, невысокая, но крепенькая женщина, подняла мой тяжеленный чемодан (приклеенные человечки затрепетали), и внесла его наверх на вытянутых руках. Я зашла вслед за нею в номер. “А-ах!” — закричала моя носильщица: липучий человечек, расчувствовавшись, прыгнул ей на грудь.

Мой номер мне понравился. Большие окна распахнуты, воздух свежий. Комната узкая, вдоль стены одна за другой две кровати (двухместный номер), и на одной из них белья нет, поскольку я одна, и нечего на меня тратить лишний комплект. Ну, некоторых отсутствие простыней не отвратило бы от осквернения второй постели, но я из тех, кто любит спать на простынях, и лежать придётся только на одной кровати. Ванная такого же размера, как и комната, а иначе нельзя, стены-то капитальные, и чуланчиков не накроишь. Интересно, что здесь было раньше, как тут жили люди, всегда ли это была гостиница? На стене план на случай пожара, и я вижу, что раньше здесь должны были быть квартирки — уютные, но не шикарные, с небольшими комнатками, вроде как у нас в Петербурге на Лиговке, или на Красной улице. Хорошо здесь. Слегка портит впечатление только реле в коридоре, которое не спешит зажечь свет при появлении жильца.

Я вышла на улицу. Спать по-прежнему не хотелось. После бессонной ночи возникает особенная бодрость, ничем не оправданная. В голове то ли ясно, то ли пусто, и в ответ на блики солнца навязчиво крутится реклама моего средства времён моего детства: *Фенстер блици и зоннен глани*. Я ходила бесцельно, примечая мелкие мелочи, фотографируя машины, прохожих и уличные скульптурки. В просветах улиц мелькали старые знакомцы — Фрауенкирхе, Альте Петер... Я заметила, что мюнхенские зебры нетерпеливы и норовисты, — не только старушка, пионер и комсомолец не смогут пресечь их в срок, отведённый зелёным человечком, — и с удовольствием вспомнила удобные пражские переходы; там ещё даётся звуковой сигнал: стучит сердце, то мерно, спокойно, то вдруг быстро-быстро, как у бегуна.

Погода разогрелась и разогрела Мюнхен. Пить хотелось страшно. В ларьке на Виктуалиенмаркет я купила большую бутылку томатного сока. Высокая продавщица, любезно извинившись за свой великолепный английский (те немцы, которые знают английский, говорят очень хорошо), предупредила, что можно сдать бутылку.

Высадив в номере полтора литра сока, я потом конечно сдала её; не ради наживы, но ради охраны окружающей среды. Процедура прошла гладко. Продавщица, говоря по сотовому телефону, с поощрительной улыбкой вернула мне монету. Я вспомнила (ибо параллели с прошлым образуют в моём мозгу постоянную вольтову дугу), как в Зеленогорске мужики колотили в закрытые ставни ларька и уважительно кричали: “Доктор, прими посуду!” Да, вот так! Что бы вы мне не говорили, живёт-таки в нашем народе уважение к работникам интеллектуального труда, или хотя бы к их академическим званиям.

Присев на кушетку с бутылком томатного сока, я испытывала культурный шок — не от сока, но от Мюнхена, как будто я приехала в него прямо из села Растяпина (ныне Дзержинск Горьковской области). Я чувствовала, что выбралась из славянской неразберихи, что Мюнхен — шикарнее Праги: люди солиднее, жизнь удобнее, кофеен больше. Правда, Прага архитектурно богаче, в ней есть столичный размах. Прага обещает больше Мюнхена. Во многом это пустые обещания. За послевоенное время Прага сбросила с себя имперскую шкурку, эlegantный австро-венгерский космополитизм, опростилась; впрочем, и Россия тоже.

Прага меня разочаровала, обманула ожидания, разбуженные Цветаевой, книгами “Магическая Прага”, “Прага чёрная и золотая”. Есть несоответствие между тем, как выглядит Прага, и как ведут себя пражане. Город немецкий, манеры славянские. Чехи кажутся мне близкими, такими же несерьёзными, как я сама. Наверно это не совсем так, наверно чехи впитали чуток немецкого отношения к жизни, и им удивительны беззаботные вопли мигрантов из ларьков на смешанном русско-чешском, инстинктивное презрение русских туристов к чешским свычаям-обычаям и их обида на чехов за наши танки и ихнюю весну... Но хошь-ни-хошь, хоть и чураются они таких родственничков, мы родные: братья-славяне. Чехи те, кем были бы мы, если бы нас пригрели в Европе.

Завтрак туриста

Вы конечно захохотали, вспомнив закуску в жестяной банке, которую туристы ели и ели, так под водку. А может быть не вспомнили, и мне не удалось вас посмешить. Мелкие напоминалки. Кому-то вкус, кому-то запах, кому-то слово... Размоченный коржик пробудил Прусту прошлое. Запах жареного мяса напомнил папе взятие Лозовой. Я произношу “Бутерброд с сыром”, и из небытия выплывает

привокзальный буфет, тарелка, хлеб с загнутым стружкой немолдым жёлтым ломтиком; возвращается вкус солончатого плотного сыра, чёрствой булки, жидкого чая в гранёном стакане; набегают горькая, пряная волна молодости, и я тону и растворяюсь в тоске и радости, какой была для меня тогда жизнь. Кем я была тогда, я не есмь теперь, но и тогда, и сегодня, непрерывно меняясь, я всегда оставалась “я”, и чувство “я” — последнее, с чем расстаюсь в тисках Альцгеймера, лелея клочки сознания, как утопающий остатки воздуха.

“Завтрак туриста” куда-то исчез под шумок времени, как и многое другое; вот где сейчас конфеты “Старт”? *Где прошлогодние снега*, которыми интересовался Вийон? Замнём для ясности... Поговорим не о призраках прошлого, а о настоящем — о моём завтраке. Ведь я, когда захочется жить красиво, могу поесть гостиничного, включённого в стоимость номера. Мюнхен — город больших возможностей.

Столовая выходит окнами на улицу. Это небольшая комната, облицованная розовым псевдомрамором, в углу её сидит путя (ангелочек) из обветренного камня. В центре комнаты устроен полукольцом прилавок с балдахинном. На прилавке судорожно всхлипывает блестящий самовар; расставлены нержавеющие цилиндры с густым кефиром разных сортов и компотами из фруктов, блюда с отличными ветчинами, со вкусными, как всё в Германии, колбасами из докторских — на разный манер, разного цвета, разной консистенции. Есть ещё блюдо сыров, миски плавящихся сырков, россыпи корбочек с вареньем и мёдом, булки и круассаны, хлеб, который можно закинуть в тостер. Стеклянные широкогорлые кувшины заполнены хлопьями четырёх сортов. Стоит также блестящее пузатое существо непонятного назначения, из которого торчат стеклянные трубки.

Угощает нас каждый день новая хозяйка. Сегодня — милейшая женщина с Украины, учительница музыки. Она мне обрадовалась; так странно, что мне ещё кто-то радуется! С грустью признаётся: “Мне всё здесь не нравится”. Да кому собственно может понравиться в 35 лет начать всю жизнь сначала — поменять работу, дом, друзей, привычки, — даже мне в общем-то не понравилось. Тем более у неё-то сын остался на родине. Я чувствую некоторую злость: зачем же Украина прогнала на чужбину учительницу музыки?

Я признаюсь, что мне пора на пенсию. “Да что вы?” — искренне удивляется официантка. Она думала, что я на десять лет моложе. Я тоже в её возрасте не чувствовала разницы между сорокалетними и шестидесятилетними, все они были ужасно стары. Мне много лет,

а ей ещё мало. И я вдруг понимаю, какая между нами разница; я уже созерцатель, а она ещё участник жизни, и среди сюрпризов, которые её ждут, будут не только неприятные.

Да, кого только сейчас не встретишь в Мюнхене. Тут полно немцев, которые говорят на чисто русском языке и зовутся Саша, Игорь и Андрей. У них бритые головы, короткие толстые шеи, и ведут они себя, как застенчивые хозяева жизни. Везде буклеты на русском, надписи на русском. И конечно граффити, извините за выражение, — то есть не за “граффити”, а за то, что написано. Старушка на улице громко кричит по-русски в мобильный телефон: “Они уже кончились. А может быть их и не было!” Старушка наверно из беженцев, живущих за счёт Германии. Мы когда-то всерьёз обсуждали, можно ли ехать на иждивение Германии, с которой мы когда-то воевали, и хорошо ли поступили те, кто это сделал; мы, наше поколение, — я не уверена, что молодёжи эти темы кажутся достойными обсуждения. Беженцев много, они кажутся мне нашими, хотя сами себя таковыми наверно уже не считают, или по крайней мере вспоминают о России без удовольствия: русские евреи, русские немцы, которых немецкие немцы считают попросту русскими, потому что они натащили с собой привычки, которые немцам странны и неприятны. Обычного немца “русские”, кем бы они не были, пугают и раздражают.

Первая русская эмиграция не ехала в Мюнхен, а всё в Берлин мылилась. Застряли в Мюнхене кое-кто из прибалтийских немцев, и впоследствии зарекомендовали себя плохо; не только себя, остзейских баронов, зарекомендовали, а русских за компанию, потому что иностранцу всё равно, казах ты, грузин или немец, если ты оттуда, из России. И если по совести, то всяк, выехавший из России, наш человек, а не только тот, что нам нравится.

Первую русскую эмиграцию Россия выплюнула, а нашу — отпустила. Уезжали в девяностые, уезжают и сейчас. Я думаю, как и в Америке, в Германии много приехавших на заработки. Мы сейчас колонисты в иностранных странах. Они для нас всё ещё заграница, и мы говорим между собой по-русски, вплетая в наш жаргон иностранные слова, а тем временем в метрополии язык уходит всё дальше и дальше от привычной нам языковой нормы. Нам трудно приспособиться, потому что мы приехали за границу не меняться, а заработать. Люди, приехавшие на заработки, часто остаются по инерции. Но чтобы специально эмигрировать, с самого начала знать, что не вернёшься, надо сильно озлобиться. Массовый исход из страны — это дурной знак. Но впрочем, бегут не только

из России. Уезжают, если *прогнило что-то в датском королевстве*, а рядом — лучше и чище.

Когда-то немцы ехали в Россию на заработки, оставались и русели. Немцев было много, особенно на флоте. На Обуховском кладбище Жертв 9 января (а почему только 9-го?) видела торчащий на ничейной территории, безо всякой оградки, памятник розового гранита, годов 1860-х, на котором готическими буквами, но по-русски, выбито: “Колонист Лиговской колонии”. В России и родился, и умер, а всё равно колонист, а всё равно не может признать своим весь этот русский ералаш.

Русские любили немцев. Наверно это звучит так же смешно, как “русские любят евреев”, но и то, и другое — правда, хотя не всегда и не для всех. Народ, тот конечно никого не любит; народ именно в том смысле, советском, как антитеза интеллигенции. Но люди думающие и читающие, то есть знающие не только свои мысли, тянутся к интеллигентному уму. Такие русские любили и Шеллинга, и Шиллера, и Гёте, и Гейне, и Гофмана, и Гофманстала. Война была страшным ударом по германophilству многих, обидный разрыв между друзьями. Русский человек любит немецкое больше французского. Немец ему ближе и понятнее.

Впрочем, некоторое расхождение между немецкой культурой и её носителем всё же было, да и теперь присутствует в голове русака, особенно когда для него философия сводится к Марксу в школьном исполнении. Разумеется, взаимно. Врангель, (не Петруша-Чёрный Барон, а Николаша-искусствовед), писал, что приехав в Прибалтику, он был поражён тем, насколько прибалтийские немцы, его родственники, при преданности Российской империи психологически отделяли себя от русских — эмоциональной, не всегда добросовестной, не всегда хорошо помытой нации.

Несмотря на долгое сосуществование, инородцам в России не доверяли. После начала первой мировой в армии и на флоте началось позорное превентивное отторжение офицеров немецкого происхождения. Некоторые офицеры из немцев стрелялись, потому что народ (солдатня) выражал им недоверие. Стыдно, что гессен-дармштадскую Александру Фёдоровну, внучку королевы Виктории, императрицу огромной собственной империи, обвиняли в шпионстве в пользу Пруссии.

И после Первой мировой лучше не стало. Куда подевались люди с затейливыми фамилиями, которых раньше в России было так много: Беллинсгаузены, Буксгевдены, Глазенапы, Бутенопы, на худой конец Пистолькорсы? Растаявшие имена, растаявшие судьбы.

У отцовской семьи было много друзей и знакомых из российских немцев. Другом дедушки был капитан Эмме. Жена его, как рассказывал папа, была красивая женщина и по доброте душевной перекармливала кошек. Она бросилась в пролёт лестницы после допросов в ГПУ, а сам Эмме погиб в лагере, когда ему перебили руки и ноги. Папа дружил с Лёней Бутовым, отец которого был известным гидрогеологом. Мама Лёни Бутова была немка и называла мужа Паульхен. Тёща говорила только по-немецки. Сам Бутов был русак. Вся семья отсидела в лагере. Что случилось со старухой-немкой, не знаю. Мать выжила. Сын и муж погибли. Этих замучили не за то, что немцы, а за то, что из бывших. Охота на немцев как на немцев началась позже, после начала Отечественной войны. Тогда навели порядок, фрау Шульц, бонну моего отца, расстреляли. Ей было 62 года. Я называю этих людей в тщетной попытке продлить о них память.

Ну не всех же убили... Я пытаюсь вспомнить, знаю ли я сама кого-нибудь из российских немцев. Как-то даже сразу и не вспомнишь. Ну вот Алиса Фрейндлих... Собственно, её лично-то не знаю. ...Подруга Марины Ира Шмидт, из Казахстана, из ссыльных немцев — их ведь переселили с Волги в Казахстан, тех, кого не убили. Хорошая была женщина. Жаль, что её кто-то ударил по затылку в парадной, она от этого ослепла, а потом и умерла. ...Алиса Васильевна, пожилая, с прекрасными манерами, с тихим голосом, кутаясь в оренбургский платок, учила меня английскому. Мне было пять лет, я и русский-то не особенно знала, и когда Алиса Васильевна попросила напомнить, как зовут маму и бабушку, я отвечала: “Алексан Сеевна и Зоиль Санна”. Изумлённая Алиса Васильевна спросила маму: “Вы татары?” Алиса Васильевна уцелела несмотря на чистки века и провела остаток жизни в коммуналке, в хорошем сталинском доме. Алиса Васильевна, теперь-то я знаю, сколько вы натерпелись, но вы уже умерли, и я не могу Вам этого сказать. Я только могу воскресить на минуту Ваше имя для того, кто прочтёт этот параграф.

Немцы нас не уважают, так ведь и мы никого не уважаем, мы всех припечатываем словцом и анекдотом. Дранг Нах Остен и нам свойствен, иначе бы мы не полезли в Сибирь. У русского человека существуют твёрдые понятия о том, кто такие немцы: “Их бина дубина, полено, бревно; что немец скотина, мы знаем давно”. Простоваты: “немец-перец, колбаса, купил лошадь без хвоста”. Русские немцев не только любили, но и презирали — такая любовь самая

крепкая. За что мы их презирали? За всё то, за что русский человек презирает инородца. У немцев была репутация честности, серьёзности и аккуратности. Она собственно и сейчас висит у них на вороту. Русского человека тошнит от собранности и порядочности — чуть только проявится хоть намек на эти свойства у литературного героя, как его сразу припечатывают фамилией “Штольц” (а кто же он ещё после этого?). Русские классики живописуют эти качества самыми чёрными красками — вспомним, как убогий Гуго Пекторалис мозолил глаза людям широкой русской души, пока заслуженно не подавился блином!

Рассказ Лескова о том, что жизнь непредсказуема и жестока, и дурак тот, кто надеется из неё вылепить что-то упорядоченное. Мой отец мне твердил: “Никогда ничего не копи, трать сразу. Всё, что не потратила, отнимут”, — и он был прав. Папа был прав в России, как Гуго Пекторалис прав в Германии. Я помню рассказ одной литовки о своём отце, современном Гуго Пекторалисе. Он оказался в Сибири — не по своей воле. Его эвакуировали из родной Литвы коммунисты, свои и иностранные, после советской аннексии. Застряв в забытой парткомом деревне, где не было даже лампочки Ильича, Гуго проявил чудеса смекалки, соорудив небольшую электростанцию, и в избах загорелся свет. Гуго полюбили, блинами не обкармливали (может быть оттого, что всю муку забирали в город), и оплакали его возвращение на родину. Писали письма ему вслед. Написали, что после его отъезда “всё сгорело, опять сидим без света”. “Да”, — заметил флегматичный литовец, — “Я так и думал. Когда я сказал, что нужно чистить дымоходы, все засмеялись”.

Мы знаем (Гончаров нам объяснил), что нашему человеку от материального благополучия крышка: любимый герой советской интеллигенции Обломов, человек обеспеченный, проживает жизнь и состояние в клинической депрессии; даже на свидание его нужно гнать пинками (и то бесполезно). А вот *англичанин-мудрец* не расстраивается, если у него есть деньги, и *сплина аглицкого* у него не будет. В таком настрое мы видим мелочность и неспособность к страданию, и презираем англичанина, а заодно американца. И Штольца мы не уважаем. К Обломову мы со всей душой, а Штольца не любим; за что его любить? За то, что он не понял, как кругом всё плохо и беспросветно, и занялся чем-то полезным? Гуго Пекторалис нам тоже неприятен с его пошлой добросовестностью и мецанской мечтой о семейном счастье, и мы смеёмся, когда он давится нашими кондовыми отечественными блинами. Высечь дурака-поручика догадались только Шиллер и Гофман по мелкости своих представ-

лений о семейных ценностях. А мы — мы бессеребренники, мы поэтичны, вольны, мечтательны и немного неаккуратны. Пусть немец вылизывает квартиру и копит приданое для своей немочки, а мы не будем.

Если же не “мы”, а “я”, то я не могу избыть огромное впечатление, произведённое на меня общественным туалетом для туристов на полпути между Ленинградом и Новгородом; меня потрясли замороженные в лед Фонтанки ряды пивных бутылок, запомнился джентльмен на Невском (явно не Штольц, не Шиллер и не Гофман), который докурил на ходу папиросу, и его окурки, брошенный сильной и уверенной рукой, спикировал на другого пешехода. А помните мягкий ковёр из бычков на полотне вдоль вокзальных перронов? Мне Гуго Пекторалис кажется отличным человеком, который утонул в море подонков, как хозяйственный “кулак” в море люмпенов.

Но меня мучает сомнение — неужели действительно мы все — такие, а они — эдакие? Может всё дело (вся суть) в пропорции: так намешал — вышла немецкая сдобная булка, так намешал — русский серый хлеб. Были Обломовы, были Штольцы. В Раневской — очарование осенней хризантемы, она — неотъемлемая часть русского общества, в момент, когда растяпы теряли последние имения. Но не все были Раневские, и Столыпин считал дворянские гнезда средоточием русской культуры, выношенной, выстраданной и крепостничеством, и разорением. Действительно ли русский народ грязнее и ленивее немецкого (назовём вещи своими именами), или дело в упорном стремлении правителей превратить его в свинью, не знаю, но знаю, что и среди русских были Штольцы. Например, дядя Федя, брат моей бабушки.

Семья была из городских мещан, и учить детей денег не было. Дядю Федю отправили в семинарию. Церковные мракобесы, преподававшие в семинарии, сказали ему: “У тебя светлая голова, тебе незачем быть попом, наша духовная семинария даёт тебе стипендию для учёбы в сельскохозяйственной академии”. Дядя Федя окончил академию и стал агрономом, управляющим имением. Он хорошо заработал и купил собственное поместье, в котором всё поставил по последнему слову агрономической науки. Урожай у него были отличные (как напомнил Госдуме Столыпин, в России помещикам принадлежало 10 процентов земель, но эти земли давали 90 процентов сельскохозяйственной продукции). Дядя Федя купил дом из тридцати двух комнат и устроил самодеятельный театр, в котором играла местная интеллигенция. Дедушка мой, который организовал

оркестр народных инструментов, давал концерты в этом театре.

В отличие от Лопахина, который вырубил вишнёвый сад, дядя Федя посадил яблоневый с наливными яблочками: настоящий “Белый налив”, смотришь через яблоко на солнце и видишь косточки. Под яблонями было чисто выметено, посреди сада стоял стол, а за ним сидел сторож. Таким запомнила сад моя мать, которую привозили в гости к дяде Феде, в тот краткий период, когда дядя Федя был председателем колхоза, созданного из его имени.

Дядя Федя был Штольцем, пока советская власть не превратила его в Обломова. Во время революции дядя Федя попал в тюрьму. Сестра и жена с риском для жизни собрали у крестьян подписи на прошении, и дядю Федю отпустили (тогда ещё такие подписи на кого-то действовали). На память о тюрьме дядя Федя привёз жене бусы из жёваного хлеба. Выйдя из тюрьмы, дядя Федя стал перекасти-полем. Больше трёх лет он в одном месте не работал, иначе посадят. Он налаживал хозяйство и уезжал. Но постепенно не только крестьяне, но и служащие были превращены в крепостных. Дядя Федя оказался прикреплённым к какому-то производству. Умер он в тридцатые годы от чахотки, в одиночестве; приехать перед смертью к любимой сестре ему не разрешило начальство по дозволенному и узаконенному произволу. Сын его, Глеб, сгинул в лагере за анекдот. Так что у дяди Феде нету внуков.

Мы, русские, всегда рады себя чернить и объявлять лентяями. Мы не ценим в себе нашей изобретательности, ловкости, мужества, которое позволяет нам не теряться в самых трудных условиях, без языка устроиться в чужой стране и накормить семью. Неуважение к другой нации может быть обратной стороной неуважения к себе. Хватит рассматривать под лупой другие народности и расклеивать ярлыки. Если немец хочет, пусть он утром чертит ложкой по манной каше и думает: “Какие мы сволочи!” Я же, так и быть, имею право плохо думать о русских. Но не хочу: мы в России разные.

Баварский певчий дрозд

“Лишь едва забрезжил свет, Жан увидел крошку Кэт...” (папа). Наступил новый день. Рано. Сонные торговки. Разборка овощей. Помидорчиков не успеется. *“Оставь, Петька...”* — говорю я себе, — *“Не до грибов!”*. Я опять сыграла в русскую рулетку экскурсий. Воскресная улица пуста. С головой, хмельной от сужения сосудов, иду скорым шагом, подволакивая раненую ногу, — обычно я вальжана: “Рубль десять, рубль пять, рубль десять, рубль пять”,

— а сегодня: “рупь пять, рупь пять, рупь пять”... (папа...), прыг, прыг, прыг!

Мне снились тревожные сны — будто я в городе Привет покупаю билет до станции Спасибо. А вдруг автобус не придёт, или придёт, но не туда? Но он на месте, у вокзала, у экскурсионного лотка, двухэтажный, раскрыл для нас надкрылья. Выстояв небольшую очередь, я — шась наверх по крутой лесенке, — топ, топ, топ, — перехватывая перила, — цоп, цоп, цоп, — и к окну. Я теперь как Орёл Баварский, всем смотрю на макушки и наслаждаюсь новым ощущением. Как будто выросла до трёх метров. Когда-то я сказала сослуживице, что маленьким женщинам — всё лучше. А она мне ответила: “Маленький рост — это ужасно!” “Са депан (когда как)”, — по выражению дяди Вани.

Автобус заполняется, закрывает двери, отчаливает. Наш экскурсовод — молодой мальчик, впрочем, немолодой, слегка за тридцать (относительный мальчик), в чёрном — чёрные джинсы, чёрная футболка. Стильно. По-английски говорит связно, лучше меня. Почему он взялся за это дело, и чем собирается заниматься в дальнейшем, можно только гадать.

Что-то мне сейчас расскажут? Много или мало? И чего? Вот помню, в Чехии нас угощали универмагом и буртами свёклы. А по дороге в Новгород, Псков, Пушкинские Горы, Старую Ладугу — боями, нескончаемым кольцом воспоминаний о кольце блокады. Так хотелось отвлечься и узнать, — а кто тут жил до революции, и зачем, — но не тут-то было!

Раньше было одно, теперь другое. Теперь в Петродворец везёт штучка с перчиком, любит нас в целом и ненавидит по отдельности. Про прорыв блокады *ни слова, о друг мой, ни вздоха*. Война кончилась. А мюнхенский гид рекомендует местное лакомство. Как бы перевести... ну, скажем, нудли с маком. Нормально. Кому нужны настоящие лекции, не про макаронны? Разумеется, никому. Реальному человеку не интересно ни прошлое, ни будущее. Но я другая — я растянута вдоль шкалы времени, и потому мне кажется, что у окружающих не-интерес к прошлому зашкаливает.

А наш экскурсовод, покончив с едой, проводит опрос: *глядеть ли на замок, чи не?* Оказывается, в экскурсии по замкам Людвигам замки за отдельную плату. Услышав мой отказ, экскурсовод понимающе кивает, но ничего он не понял, дело не в экономии. От полноценной экскурсии впечатление чудовое — показывают много, но быстро и никчёмно, потому ли, что современному пловцу по интернету трудно сфокусировать внимание, или чтобы казалось, что

получен хороший возврат на трудовой рубль. Выдаивать ли корову досуха? Я решила не выдаивать. Я понимаю, что или парки, или дворцы — на всё времени не хватит. Я выбираю парки.

Подъезжая к замкам и глядя на природу в окно, моему взору представилась горная дорога. Великолечно лететь в горах на высоте двух метров! Вокруг пики, припорошенные снегом, укутанные лесом, с полосой тумана у подножия; прижавшаяся к ним равнина, по которой пролегает шоссе; деревни, деревеньки, деревянные сараи, церкви со шпицами. Церкви романского стиля, купола часто в виде луковок; дома из побелённых каменных блоков, с деревянной надстройкой, пронизанной заметными балками (“Фахверк”, — говорил папа) и непременно балкончиком чуть не под самой крышей. Коровёнки на лугу дрыхнут, развалясь. Сено упаковано в пластик. У немца при виде альпийского ландшафта должно сжиматься сердце от умиления, как у меня от убогого ольшаника, от равнины во все стороны, от нестеровского Сергия Радонежского, стоящего на раскисшей кочке среди чахлах прутиков. А я здесь только гость, не умиляюсь — испытываю удивление жителя долин перед миром, где небо — сбоку.

Мы приехали. Толпа бежит к Линдерхофу. Перед нами крошечный жёлтый особняк размером с павильон “Катальная горка” в Царском селе. Разве это замок? Где башни и рвы? Загородный дом — мелко. А дворец — слишком громко. Это шуточка. Даже не анекдот, а его соль, квинтэссенция Версаля в нескольких словах. Шуточка врезана в горный склон, нетронутый, поросший лесом. Шуточка тщеславна; ей на потеху в большой бассейн в извитой, как у зеркал барокко, раме, налита вода; и в ней на жёлтое дрожащее отражение дома наплывает многоцветье осеннего леса. Солнце уже залило замок, а зеркало ещё в тени.

Для Линдерхофа лучшее время — утро; утро жёлтого света и нежного коричневого полумрака, в котором даже золотая женщина бассейна кажется бархатной. Утро всегда обещает, хотя день не держит слова. Утреннее солнце, искоса, с густыми тенями, напоминает мне день отцовских похорон: тёплый, красивый, подарок северного августа, — и тупое изумление от того, что папа его не видит, он умер позавчера. Ну почему ему отказано в такой малости? Вечное “пуркуа?”, давно уже в отсутствии дяди Вани. Может быть и Линдерхоф удивляется, а где же Людвиг?

С боков у Линдерхофа разбиты коротенькие партерные садики, в них вазы и скульптурные группы на постаментах и неброские

нежные фонтанчики: золотая Молва, которая выдувает из трубы тонкую струйку, Купидон, у которого вода течёт из лука. Задумано барокко, но тайком приبلудившийся югендштилль проступает в манерности фонтанных дев с дельфинчиками в руках и ваз с золотыми бараньими головами.

Позади замка по склону сбегает каскад, обвисая водной занавесью на стене, притворившейся гротом. Перед нею в чаше — колесница Нептуна. Вдоль каскада выставлены амурсы и вазы из местного камня. Они мне милы напоминанием о гипсовых украшениях наших сталинских парков, трогательных, потемневших от пыли, богато украшенных, но не сразу поймёшь, чем.

Я поднимаюсь по дорожке вдоль каскада к зелёному Музыкальному павильону. Он состоит из тонких рёбер, как скелетик, который выколотили из сухого листа платяной щёткой. С его смотровой площадки виден противоположный склон узкой долины с парковыми террасами, который людское трудолюбие заботливо зашило в строительные леса, и видна королевская липа, в кроне которой обедывал Людвиг Второй Баварский, безобидный певчий дрозд, — сидел, покачиваясь на ветке, ягоды склёвывал. Матово поблёскивает женщина молчащего фонтана. И вдруг из его зева вырастает на глазах пенная струя. Водный столб подымается всё выше и выше, выше дворца, выше нашего Самсона, а потом съёживается и уползает назад.

На склонах, покрытых пёстрыми кудельками осени, разбросаны павильоны — два мавританских, купленных на всемирных выставках и хорошо отремонтированных с применением дорогостоящих материалов, — и грот со сталактитами и сталагмитами, с озерцом, на котором Людвиг катался в золочёной раковине, надев костюм лебедея. В этом он выгодно отличался от прозаического поручика Ржевского (Наташа Ростова: *“Поручик, вы хотели бы быть лебедем?”* Ржевский, с пронзительной интеллектуальной честностью: *“Ха, благодарю покорно, — голым задом в мокрую воду!”*).

Билетов и времени рассматривать павильоны у меня нету. Что внутри дворца, могу сказать только на основании буклета. Линдерхоф, снаружи поместительный, внутри представляет собой квартиру на одного, гостя уже в нём негде поселить, если не подходить к заселению по-советски. (Соседка, осмотревшись в нашей новой трёхкомнатной, 40 м *полезной* площади и ещё 20 бесполезной: “Да, здесь много можно поставить коек”). Даже и дневных гостей в него много не набьёшь, ибо самое большое в нём помещение — спальня. Линдерхофу, Липовому дворцу, русский оттенок слова “липо-

вый” может быть и к лицу — он ненастоящий, игра воображения, в его убранстве воплотились безудержные мечты о рококо. Везде изумительная лепка, искуснейшая резьба по дереву, зеркала, среди которых Людвиг ночи напролёт просиживал за книгами при свете сотен реальных и тысяч отражённых свеч. Его радовали, и нас теперь радуют китайские вазы, павлины, — не те условные, со слипшимися перьями, которые штампует опростившийся императорский ЛФЗ, нет, настоящий севрский фарфор 19 века, рельефный, хрупкий, лёгкий.

Смерть ничего не меняет, солнце всё так же движется справа налево. Засиял золотом жёлтый крап листьев. Золотая женщина жарится на солнце и жарит зрителей золотым жаром. Не золотая, — золочёная, покрытая тончайшими сусальными лепестками, теми, которые подхватывают пинцетом и разглаживают кисточкой.

Пролетел час, отпущенный на осмотр. Нас собрали в автобус, как цыплят под крылья взволнованной наседки, и мы уезжаем. Позади остался осенний парк, и вновь замолчавший фонтан. *На прощанье* ну хоть бы *шалль с каймою*... ибо это прощанье безвозвратно. Никогда больше я не увижу Линдерхоф, а если увижу — и я не та, и лес не тот, и день не тот.

Нас привезли в деревушку на берегу озера Альпзее (немецкая разумеется деревушка: с отелями и каменными домами). В отеле Мюллер нас ожидает закусон. Интересно, это в виду имеется нарицательный мюллер (мельник) или собственный Мюллер (стяжатель и капиталист)? Я решила забежать в ресторан первая, чтобы побыстрее поесть (хотя надо ли уточнять, что я собиралась делать в ресторане; ни для кого не секрет, что в ресторан ходят поесть, а не покататься на коньках). Меня встретили ласково, хотя и недолго, провели в большой зал, где были только я и круглые столы с настоящими скатертями. А потом за мной пришли и объяснили, что я сижу в неправильном зале. Я... нет, не я сама, залог тут страдательный, — меня опоздали! В правильном зале уже поднабралось народу.

За моим столиком я была первая. Ко мне подсел любознательный китаец, который, пока мы ждали пищу, удивлялся всему вокруг. Разве не удивительно, если люди ходят в пижамах, широкополых шляпах, под бамбуковыми зонтиками, и на улицах висят фонарики из бумаги, расписанные фазанами и камелиями? Представили? Тогда подставьте зеркало, и в его глубине увидите наш быт, зеркально удивляющий китайца.

Народ всё подваливал. Я быстро заказала тушёное мясо и, подавшись рекламе, нудли с маком. С моим заказом торопиться не стали. Сначала у всех долго-долго, растянуто, принимали заказы, а потом еду принесли тоже всем сразу, доннерветтер и ферфлюхт! Что касается мяса, так мне попадалась и более остроумная тушёнка. К мясу навалили разваренных нудель. Другая тарелка была до краёв полна разваренных нудель с маком. Получились нудли в квадрате. Ошибка... То, что накормили нас прескверно, не удивительно. Качество кормёжки зависит от степени родства и единения поваров и посетителей. Туристов кормят отвратительно. А когда в Архангельской области туристы попали в столовую для трактористов, я не поверила ни глазам своим, ни вкусовым сосочкам; в общепите таких вкусных щей не бывает. Всё понятно: если бы щи были плохи, механизаторы так бы навтыкали своим жёнам-поварихам!

Поскольку я жую и заглатываю быстро, и макарон я доедать не стала, я всё же освободилась раньше многих. Наверх, к замку можно подняться пешком, на коляске, но быстрее всего на автобусе. Я встала в длинную очередь, меж двух замков. Справа возвышается Хохеншвангау, а слева Нойшванштейн, или нет, слева Хохшванштейн, а справа Нойшвангау, или справа Хохнойштейн, а слева... Мне, как всегда, вспоминалось не то, что нужно. Я думала о том, как нелепо выглядит в русском городе улица Ной-Бранденбургская, как улицу Гашека переделывают в улицу Кашкина, а Загребскую в Загрёбскую. Стоять пришлось минут десять. Потом мы плотно загрузились в автобус, к чему я отнеслась спокойно. Мне не привыкать стоять лицом к лицу с братьями по разуму. Тем более, что в очереди было множество русских, тоже привычных к толкучке.

Что делать в такой ситуации? Признаваться или нет? Но в чём, собственно признаваться? Кому нужны эти признания, тем более в пять минут трясуемого подъёма? Вопрос “признаваться или нет?” зарождается в голове у человека, не уверенного в праве на границу, и боящегося, что его разоблачат и выпнут. Бегут ли французы обнимать друг друга за границей? Считать ли каждого соотечественника другом и братом? Сейчас не считаю. А когда-то давно, в 87 году, когда я путешествовала по Франции, мне было грустно, что русских вокруг нет. Мне было обидно, что другие не видят того, что вижу я. Всё меняется, и похоже дело не в качестве, а в количестве.

Автобус вознёс нас очень высоко, к самому Мариинскому мосту, который хоть и не на вершине горы, но существенно выше Нойшван-

штейна. Мы встали над пропастью, бездонной, хотя и неширокой. Внизу замок. За ним, ещё ниже, много ниже, виднеется долина с деревенькой. Хохеншвангау — жёлтый. Нойшванштейн — белый. Хохштейн у подножия высоченных гор, Ной-штейн — повыше. Третий замок, который Людвиг не успел построить, должен был быть ещё выше.

Нойшванштейн — замок худощавый, мужественный, с выпирающими кадыками башен, но слишком замковый по сравнению с Крумловым и Карлштейном. Нойшванштейн оказался затянут сеткой. (Мерзавцы-реставраторы, как они для нас стараются!) Сетки и леса на замке как раз с моей стороны, и это его ещё сильнее обигрушивает, как будто он прибыл в коробке и ещё не совсем распакован. Он если не из фильма о Золушке, то из фильма, который всё время крутился в голове у Людвиг. Это отредактированное прошлое.

А вот кстати (или некстати?) — человек стремится всё отредактировать: воссоздать античный храм из железобетона, создать из расхристанного языка элегантный эсперанто. Мечта каждой женщины — выйти замуж за человека, которым она восхищается, и переделать его по своему вкусу. Недавно замахнулись на живое существо, — махонькое, правда, — дрожжи, и хотят создать идеальный штамм, очистив его от ошибок эволюции. Доживём ли мы до того момента, когда появятся идеальные люди — порождение гуманной евгеники, — для которых не потребовалось никого стерилизовать? Их просто вырастили в идеальной синтетической утробе, и права гражданские у них есть. Они будут такие же, как мы с вами, только не будут болеть множественным склерозом и хореей Хантингтона. А может быть они будут не как мы с вами, а как Нойшванштейн, слишком правильные и гладкие.

По другую сторону моста вид на водопады реки Пёллат; водопад за водопадом, один над другим. Хорошо бы окунуться... Или хорошо бы спуститься к замку... или хорошо бы подойти к водопаду и окунуться... Хорошо бы каждую минуту менять мнение и выполнять каждый свой сиюминутный каприз, только не получится ли, что одной ногой в водопаде, а со второй так и не снята штанина?

В водопаде утонешь, и я пошла вниз, к Нойшванштейну. Потопталась на дворе. Там было сборище: сидели, стояли, переминались с ноги на ногу — как будто смерды ждут сюзерена. Это рабы регламента. Каждые 35 минут отсюда отправляется экскурсия. Смешно потратить только 35 минут на шестиэтажный замок, набитый великолепными предметами, наполненный прекрасными залами, покоем и галереями, каждый сантиметр которых проработан рукой

резчика или живописца. За эти 35 минут и по лестнице-то подняться трудно, что же там, в толпе, удастся увидеть?

Я предпочла фотографии буклета — необыкновенно яркие. Если их не подсластили нам на радость, тогда там так всё насыщено, что даже мне не захотелось бы переночевать в Нойшванштейне, хотя я готова пойти на концерт или на настоящую двухчасовую экскурсию с подробными объяснениями. Мне трудно судить, что тут воплощено: мечты Людвига об эпических временах, облечённые в техникolor, или как раз настоящая готика, как её раньше красили, от которой остались в подлинных замках только следы: выцветшие gobelены, полуосыпавшиеся фрески, тени позолоты?

В Нойшванштейне росписи навеяны патриотическим прошлым, в том числе и Нибелунгами. Виттельсбахи любили картины с Нибелунгами, как любят в хорошей семье картину, доставшуюся от дедушки. Без этой картины как-то и чай не пьётся. А мне увлечение эпическими героями непонятно. Я никогда не читала наши былины, то есть не читала для удовольствия. Кто читал былины — наш эпос? Единицы. Кто нынче смакует тексты времён Ивана Третьего? Исландские саги знают, а наши сказы — нет, и никого они не вдохновляют, тем более, что при погружении в глубь веков начинаются “такое” и “яко”. Это чтение не является частью нашей культуры. Вообще для нас наше собственное прошлое за семью замками. Нету у нас гордости за наших предков, той гордости, что была у Вагнера и Людвига.

Но ведь и у нас, — через полсотни лет после росписей Шнорр фон Карольсфельда, — появились “Три богатыря” и “Витязь на распутье”. Художники бросились на народную тему: Васнецов, Суриков, Верещагин. Появились иллюстрации к русским народным сказкам, выполненные в коричневых и тёмно-зелёных тонах, изысканных, благородных и страшных. А как страшны сами эти сказки — черепа на заборе с фосфорическими глазами, баба яга, накрывшаяся собственным ухом, как плащ-палаткой, десяток ножей, изранивших грудь Финиста Ясна Сокола, и чугунные ковриги, которые надлежит изгрызть его невесте, прежде чем она найдёт своего Финиста: эдакий утяжелённый Русью вариант Психеи. Русский орёл — Николай Второй, — тоже играл в эти бирюльки, устраивал русский бал, где все появились в народных костюмах, усыпанных драгоценными камнями. *Любовь к родному* Нибелунгу, *любовь к отеческим гробам* непременно проявляется в какой-то момент истории; в Баварии в тот момент, когда началась новая история Баварии (в смысле учебника “Новая история”), когда были перечёркнуты

католическая церковь, герцогство, и началось королевство. Может быть это создание национальной гордости из подручных средств, а может быть стремление углубиться в прошлое, чтобы отдалить противное будущее.

Мысленно побывав в замке, я пошла вниз. На спуске всё время продавали еду и питьё — видимо в замке так волнительно, что не обойтись без поллитра. Я выбрала палатку и подошла к витрине с образцами продукции. Я взяла бутылку яблочного сидра: я предпочла бы сок, но его не было. Продавщица ухватилась за мою бутылочку, потянула к себе. Я не отдала, потому что пить хотелось. Продавщица потянула сильнее, я упёрлась. Очередь залопотала по-немецки и стала помогать продавщице. Я поняла, что сейчас разыграется инсценировка картины Дмитрия Шагина “Митьки отнимают пистолет у Маяковского”, и сдалась. Продавщица протянула мне такую же бутылочку. Ну и зачем тогда было меня терроризировать? Видит — китаец, и всё равно пристаёт. Очевидно она пошла на принцип.

За палаткой были выставлены на продажу огромные плакаты — замок весной, замок зимой, замок осенью — без сетки и лесов. Я сфотографировала эти большие плакаты, из мести за то, что сам замок не сфотографировать. Потом я нашла повозку. Она была одна, и на переднем сидении, лицом к лошадиным крупам, уже сидели. Я села на заднее сиденье, лицом назад, заплатила, и тут же подкатила новая коляска. Жалко мне стало денег на новый билет, так я и спустилась к озеру задом-наперёд. Зря. Разница между ездой задом и передом наперёд всё равно, что разница между ожиданием и сожалением.

Вокруг Альпензее можно долго идти меж вязов и клёнов. На вязах листва пожухла, на клёнах листья уже облетели, но носики ещё висят. В озере можно купаться — пляж есть, только вот вода наверно холодная. Я нашла мысок, с которого можно и поглядеть, и сфотографировать Швангау. Избавленный от состязания с Шванштейном, он сразу налился красотой и оригинальностью. Лучше бы смотреть на него с лодки — лодки плавали по озеру, — или верхом. В Хохшвангау дожил последний король Баварии Рупрехт. Официально Виттельсбахи не подписывали бумаг об отречении и имели право считать себя королями. Рупрехт был очень популярен в народе, потому что он был Баварский, а не Прусский. Почему, например, грузины любят Дата Гутапхиа? Это же разбойник с неопрятной личной жизнью; да вишь ты, подишь ты — свой в доску.

Время вышло, и я повернула назад, чтобы не уехали без меня. Подойдя, я увидела, что ко мне бежит запыхавшийся автобус. Он тоже где-то шастал по своим делишкам. Мы оба успели тютелька в тютельку.

Только отъедешь от деревеньки — откроется чудное зрелище: вокруг равнина с лугами и коровами, а в конце её плоского простора вверх подымается стена горного леса, на которой горят две яркие точки — два замка: жёлтый Хохеншвангау, белый Нойшванштейн. Над горизонтом проступил розовый фриз. Свет угасал с каждой минутой.

Назад мы ехали галсами, потому что на прямой дороге была пробка. Гид не объяснял нам, мимо каких городков мы проезжаем. Не страшно. Если пересолить с познавательностью, путешествие превратится в утомительные уроки с гидом в руке — кто это сказал? А-а, Гончаров!

Я разложила на автобусном столике брошюры про замки и Людвига. Почитаем. В жизни Людвига не было Альцгеймера и артрита. В сорок лет он утонул в озере, после низложения и ареста. Что произошло, толком не ясно, тем более, что Виттельсбахи до сих пор не разрешают исследовать его останки. Сто лет прошло, а им всё ещё стыдно. Скорее всего король был убит. Официально Людвига низложили за то, что он был безумен. В историях королей, объявленных сумасшедшими, всегда есть нечто неправдоподобное. Сумасшедшими часто объявляли королей, которые не могли за себя постоять. Истинные сумасшедшие правили спокойно: про порфирию Георга Третьего рассказывают в курсе общей генетики на биофаке, Брежнев был наркоман, у Рейгана проявлялись признаки Альцгеймера, которые упорно считали чудачествами.

Людвига объявил помешанным доктор, который никогда его не осматривал, на основании показаний свидетелей с фантазией более буйной, чем у самого Людвига, о событиях, которые слуги Людвига, имевшие с ним дело каждодневно, отрицали. Внятные и логичные письменные предписания короля, представленные его секретарём, к рассмотрению не приняли. С одним аргументом совсем пролетели — вменяли ему то, что он финансировал летательные аппараты тяжелее воздуха, когда всем ясно, что летают только воздушные шары; вменяли за 10 лет до появления первых аэропланов.

Сам король оправдывался: “Я не сумасшедший, я чувствительный”. Он создал для себя мир, в котором кое-как мог существовать. В этом мире было много детского — обеды на дереве, марокканские

павильоны, катание по искусственному озеру в лодке-раковине, вера в старые сказки и легенды. Мечта о сказке появляется, когда кругом и ложь и обман, и где правда — неясно. Прячутся в сказку, в прошлое, — очищенное, переписанное, ни грязи, ни крови, ни вспоротых животов, ни выжигания язычников огнём и мечом, только романтика, рыцарство. С опозданием на три-четыре века, когда романы о короле Артуре уже непопулярны, и сэрсы со странными именами вроде Гавейна уже спародированы и осмеяны Сервантесом, нет-нет да и возродится Алонсо Кихано, и начнём мы над ним смеяться, когда он накроется медным тазом вместо шлема Момбринуса. И не перестанем, пока не произойдет совсем не смешное, пока новый Алонсо Кихано не утонет в озере.

Вкусы у Людвига от папы. Маленьким мальчиком Людвиг воспитывался в замке Хохшвангау. Замок этот, жёлтого цвета, с пушистым лебедем на крыше, был фантазией, выстроенной Максимилианом Вторым на месте развалин 12 века. Если не ездить с экскурсией, а добраться самостоятельно, не убоившись автобана, успеешь зайти в Швангау и увидишь, что там всё, как в Шванштейне, только меньше, ниже и беднее. В каждой комнате была нарисована какая-нибудь немецкая легенда, не вагнеровская, а настоящая, а кабинет мамы, Марии Вильгельмовны Гогенцоллерн, был мавританский, как павильоны, которые Людвиг прикупил к Линдерхофу. Максимилиана (Второго) так потрясли Нибелунги, написанные Шнорр фон Карольсфельдом в Резиденции для Людвига (Первого), что он попросил расписать ему Нибелунгами комнаты Швангау. Не удивительно, что Людвиг Второй, внук Людвига Первого, выросший среди фресок Хохшвангау, украсил Шванштейн новыми Нибелунгами с их старой историей.

Когда я была маленькая, я жила в комнате в 18 квадратных метров, с розовыми обоями, на которых были нарисованы крупные стилизованные цветы. Потолок комнаты был оторочен карнизом лепных листьев аканта, и я, лёжа на спине, представляла, что это моё домашнее Альпзее. Вместо фресок я любовалась открытками палехских иллюстраций Бажова. Несколько раз в году меня приводили в царские дворцы. Если бы у меня, как у Людвига, было достаточно средств, неужели бы я не построила себе Линдерхоф с обильной лепкой из серебряных роз и золотых фазанов? Конечно бы построила. Многие из нас строят себе спасительную раковину по мере средств, ничего не жалея, даже в ущерб будущему.

Бисмарк, обедая с Людвигом, заметил, что мысли его где-то бродят, или может быть отсиживаются под столом, играя в ножички.

Поскольку я никому не нужна, и сажать меня в психушку никому не выгодно, и даже накладно, я признаюсь, что и мои мысли, особенно на лекции или научном докладе, убегают очень далеко и принимаются строить барочные замки, или творить прекрасное прошлое, в котором я не сделала ошибок и никого не обидела. И я, как Людвиг, веду воображаемые разговоры, и я избегаю людей. И если бы я не была в детстве напугана, я вела бы себя точно так же, как Людвиг Баварский.

Меня-то напугал большой мир, в который я попала в семилетнем возрасте. Я поняла, что этот мир меня любить не будет, и пальцы в рот ему класть не нужно. В этом мире трудно человеку обидчивому, застенчивому, слабому. А Людвиг никто не научил: *скрывайся и таи все чувства и мечты свои*. К нему все подстраивались, притворялись и безбожно ввали. Смешно, глупо обманывали. Вот например такое: некто, назовем его Г, встречает Д. “Послушай, ты же в командировку послан в Неаполь, почему ты здесь?” “Да знаешь, не хочется мне в этот Неаполь, я лучше дома отсижусь, а потом скажу Людвигу, что съездил”. От папы я слышала о подобных штуках. Его сослуживец, поклонник Бахуса, командированный на запуск нефтеперерабатывающего завода, никуда не поехал, ударился в запой и звонил в отдел из уличного автомата, прикрыв трубку носовым платком, чтобы связь казалась междугородной, плохой: “Всё в порядке! Загружаем катализатор!” Но этого-то, в отличие от Г., разоблачили.

Самое плохое, что Людвиг никто не слушался в самых важных вопросах, вопросах войны и мира. И войны вести заставили, и к Пруссии присоединиться, и вышло потом скверно для Баварии, но министры не хотели в этом признаваться. И никогда ему не говорили правды о деньгах — сколько потрачено, сколько осталось. Кстати, о деньгах — Людвиг не тратил ни народных, ни государственных денег на строительство — забудьте эти байки развитого социализма! Людвиг тратил свою зарплату, немаленькую, но законную, определённую ему народным собранием, и семейные деньги. Потратил много, семья взбунтовалась. Виттельсбахи не хотели тратить капиталы на воздушные замки, украшенные лучшими мастерами прикладного искусства. За то его и убрали. Есть горькая ирония в том, что Бавария теперь столько зарабатывает на замках, которые послужили причиной гибели короля. Его замки — кормушка для бесчисленного числа людей, и за это спасибо певчому баварскому дрозду. Смотрю на его доброе, поэтическое лицо, и жалко его до бесконечности. Сначала обманывали,

вертели им как хотели, потом прогорели, и от него избавились.

Беззащитные мальчики, отданные на растерзание жизни. Я стала стара, я стала слезлива, я поняла ценность человеческой жизни. Теперь мне все кажутся мальчиками, всех мне хочется защитить: Людвиг Баварского, моего отца, его друга Лёню Бутова... И когда я читаю, как мой отец, двадцатипятилетний мальчик, ползает в грязи, отличая по проводам немецкие части от советских, я живу с ним в том же времени, я не знаю, чем кончится его история, мне за него страшно, он кажется мне моим сыном, которого нужно спасти.

Я думаю о детстве моего отца, детстве Гринёва. *Батюшка* — молчаливый, мрачноватый и очень дельный человек. Сына своего учил грамоте по книге об османах и бедуинах. Сколотил ему салазки, чтобы с горки кататься, и мальчик съезжал со вмёрзшего в лёд Невы полузатопленного корабля “Красногвардеец”. *Матушка* — женщина настоящего природного оптимизма — к таким люди тянутся. Радость, веселье, хороший вкус во всём; налаженная жизнь наперекор всему: “Нет, вы как хотите, а я только на скатерти!” Когда отец часами молча играл в карты с лучшим другом, капитаном Эмме, мать уходила в гости, смеясь: “Ну просто истуканы!” Отец и мать — два полюса магнита. Семья была островком в зыбком океане злобы и жестокости. Безжалостная вода всё прибывала, прибывала, но вначале было сносно, жили и пили чай из малиновых листьев, купленных в аптеке Пёлля. Мальчик собирал радиоприёмники, монтировал забавные моторчики и молился, чтобы их не тронули. А потом их выслали.

В Оренбурге вместе с Лёней Бутовым работали электромонтёрами. Они были очень юны. Мой отец о нём так славно рассказывал. В какой-то библиотеке, для скорости, свалили книги с полок в кучу, и потом был страшный скандал; книжки-то только что за большие деньги разобрали по алфавиту. Вернулись чудом: Карповы всей семьёй, потому что заступился Новиков-Прибой, а Лёня только с братом, по ослаблению *“сын за отца не отвечает”*. У наших квартира пропала, жить было негде, мои дед и отец поселились за городом, в Шувалово, бабушка у тётки на Марсовом поле. Лёня и брат его Павел устроились на Васильевском, у знакомых, в доме Дервиза (Дом этот до сих пор стоит, но уже никто не знает, что этот дом принадлежал когда-то Дервизу). Отец поступил на рабфак, а Лёня поступил в Политехнический институт. Отец мой написал, что хотя экзамены сдавал только Лёня, в институт ездили они вместе. *“Когда я волнуюсь, я есть не могу”*, — говорил мой отец, — *“А у*

него обратное явление — он непрерывно уминал французские булочки, одну за другой, — я просто удивлялся. При этом он совсем не был толстяком, он был худощавый”. Думая о Лёне Бутове, я тоже вспоминаю Петю Гринёва: “Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки”. Я испытываю глубокое умиление нежности к мальчикам, которые ещё не стали мужчинами, которых жизнь ещё не ободрала и не повесила на крюк копититься.

Да... Лёничка, восемнадцати лет. Мама его далеко — её из ссылки не вернули. Оттуда её отправят в лагерь, но Лёня об этом ещё не знает. Лёню в семье любили — и мама, и папа, и бабушка, и сестра. Были все весёлые. Профессор Бутов, в прошлом меньшевик, приговаривал: “Больше вики, меньше хлеба. Меньше вики — больше хлеба”. Мама ругала семнадцатилетнего сына за беспорядок: “Ты старый провонюченный холостяк!” Домашнее, частное счастье, которое объективные обстоятельства берут за шкирку и мозжат ему голову.

Недолго Лёня учился, с месяц. Ездил в гости к моему отцу в Шувалово, на велосипеде, прямо со Среднего проспекта Васильевского острова. Однажды приехал расстроенный — брата его вызвали на допрос в ГПУ. Приехал на следующий день, сказал — брата не выпустили. А на третий день не приехал. На Васильевском отцу сказали: Лёня ушёл и больше не вернулся. Он никогда больше не вернулся. Как мне хочется ухватиться за руль велосипеда и сказать Лёне: “Останься в Шувалово, никогда больше не возвращайся ни на Васильевский, ни в Политехнический институт!”

Отец спасся тем, что его не пустили в Политехнический институт. Лёня “засветился” тем, что поступил в Политехнический институт. Наши выжили потому, что были бездомны, снимали углы, и отловить их было сложно. Лёня погиб, потому что его заметили. На нём остановилось око дракона. Нельзя, нельзя быть заметным. Хочется, но не надо... Пушкин: “*Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить...*”; нельзя... Цветаева, в другом веке, в другом мире: “*А может, лучшая победа над временем и тяготеньем — пробраться, не оставив следа, прокрасться, не оставив тени?*”

Так прошло шесть лет, до войны... Я думаю, я последняя на этой земле, кто вспоминает Лёню — сестра его уже умерла. Есть вещи, которые не забываются и шоком проходят сквозь судьбу. Я не забыла фотографии мучеников медицины в немецких лагерях, единжды увидев. Я не могу забыть расстрела барачников в Бремерфорде — в одном из таких барачников каждую ночь ждал случайной смерти

мой отец. Зачем мне эти бараки Бремерфорде? Надо их выкинуть из головы, но я всё время мысленно к ним возвращаюсь. *Пепел Клааса стучит в моё сердце*, стучит неспросясь.

И я никогда не забуду Лёню Бутова, мальчика, которого я никогда не видела, мальчика, замученного энкаведешниками, — не знаю, как, где и когда. Я никогда не смогу простить непреложные законы людского людоедства: хорошее будет растоптано, а грязное выживет. Закон этот бывает отменён только лавой глады, мора, смерти и войны, когда популяция проходит через “горлышко бутылки”, когда гибнет огромная часть населения, когда топчут всех подряд.

Мы подъехали к вокзалу. Наш мальчик в чёрном тепло попрощался с каждым у выхода. Я заготовила ему трёшку. Он так обрадовался, — он думал, что я совершенно безнадежна в смысле чаевых. Я едва удержалась от того, чтобы не прибавить назидательно: “Молодой человек, не тратьте эти деньги на пустые развлечения”.

Посёлки и просёлки

Мне приснилось, что мы в саду, обыкновенном городском саду, и я срываю папе апельсины — крупные, длинные, со светлой шкуркой.

Первые воспоминания об отце — деревенские. Папа поймал огромную кобылку, посадил в карман рубашки, и она высунула голову в пуговичную петлю. И ещё — поля подсолнухов, и я над ними, на плечах отца. Мы идём в Орлино, купаться в озере. Сначала мы снимали избу в деревне Зайцево под Сиверской, а потом, много лет спустя, в Большево, под той же Сиверской.

Сиверская — дачное место с того времени, когда появилось понятие дачи. В самой Сиверской были и сохранились до сих пор барские летние дома с мезонинами и балконами. Для дачников попроще зажиточные крестьяне рубили избы на скорую руку, со щелями, без чёрного пола. И как же они потом ругались, когда революция их разорила и самих переселила в эти халтурные пристанища. Эти скороспелки простояли по сто лет, и я в них жила, но только обложенных кирпичом или обшитых тёсом, и поднятых на новые фундаменты. Сохранилась и дача в Рыбницах, которую до войны снимала бабушка Александра Алексеевна, — дом с претензией, с двумя круглыми верандами по углам. Мы с мамой как-то ходили его смотреть; он, может быть, жив до сих пор, а может рассыпался от постперестроечного небрежения.

В двадцатые-тридцатые годы в конце мая на дорогах появлялись гружёные скарбом подводы. На такой вывозила детей и бабушек на

дачу Александра Алексеевна, мамина мама. Ехали с Васильевского, с полдня наверно. Семья моего отца приезжала на поезде в Сиверскую и оттуда шла пешком в Батово или Даймище, — все, даже бабушка Екатерина Михайловна, а дед, Дмитрий Ростиславич, однажды припёр на себе бочку для засолки грибов.

Петербуржцы делились на тех, кто любит Карельский перешеек, и тех, кто любит Сиверскую. Любовь к Карельскому отзывается колокольцами в варяжском и угро-финском углу души; Сиверская звенит бубенцами в уголке посконно-русском. Карельский жёлтый песок, серые валуны, красные сосны, войлок, сбитый из длинной рыжей хвои, подбрасывают художнику эффектные контрасты. Сиверской свойственна неброская буро-зелёная гамма. Пойма Оредежа, добрые невысокие холмы, поросшие то травами, то рожью, сизые болота с рассыпанными рубинами клюквы, ельники с оторочкой берёз, листья, напросвет горящие солнцем, резкие чёрные тени на вечно раскисшей тропке ... Для того, кто любит русскую природу, берёзы, ели и сосновые боры, нет ничего красивее этих мест. Невероятно, но факт — весь Русский музей, картины, знакомые с детства — например, “Утро в сосновом лесу” — написаны с сиверских окрестностей. Крамской, и Шишкин, и Левитан, и даже тётя Зоя писали здесь маслом этюды на пленэре.

Под Петербургом были имения и именица многих людей, знакомых по учебникам литературы и истории. Все кажутся мне родными, и купец Елисеев, и Мина Моисеев, и Самсон Вырин, и безземельный генерал Витгенштейн, которому купечество за боевые заслуги подарило мызу под Сиверской. На этой мызе в моё время был сумасшедший дом в здании, казавшемся мне послевоенным, капитальные коровники с флюгером и заколоченный храм-усыпальница молодой жены Витгенштейна. Храм был круглый, что для России необычно, и, говорят, второй такой есть только под Москвой.

Рассказывали, что после революции Витгенштейны уехали в Германию, и впоследствии некто Витгенштейн командовал немецкой военной частью, оккупировавшей Сиверскую, и милостиво относился к русскому населению. Крестьянам разрешили взять землю в собственность, пахать и сеять на себя. Отец нашей дачной хозяйки был горький пьяница — до войны и после. Во время оккупации он не пил, а пахал, — завёл лошадь, работал, как проклятый, заполнил зерном сарай. Но потом немцев прогнали, лошадь отобрали, и мужик опять запил.

В Рождестве мы забредали в народный краеведческий музей, размещавшийся в старом деревянном дворце князя Юсупова. В кон-

це 19 века им уже владел купец Рукавишников, в нём прошло детство писателя Набокова, и в углу, в витринке можно было увидеть старинные фотоальбомы с невнятной этикеткой “Бывшие хозяева дома”. Этот музей был сделан колхозниками Рождествена с любовью, украшен занавесками, спшитыми местной учительницей. В нём не было картин, но были роскошные самовары местного Чикинско-го завода. Кроме набоковских альбомов самым ценным экспонатом являлась ложка декабриста Рылеева, плохонькое имение которого (“Рулёво”, как говорили местные) находилось неподалёку. Главным в музее были не вещи, но сведения об этой прекрасной местности и людях, которые когда-то тут жили, владели поместьями, снимали дачи, писали картины, и потом исчезли, и о них никогда не рассказывали на официальных экскурсиях. После перестройки дом, который пережил даже немецкую оккупацию, сгорел — возможно вместе с музеем и альбомами. Его восстановили, он сгорел опять. Наверно снова восстановят — на Набокове можно неплохо заработать.

Под Мюнхеном тоже были деревни, облюбованные художниками, например, Мурнау. В ней много лет подряд жила и писывали картины художники “Толубого всадника”. В начале 20 века модно было интересоваться фольклором и ездить в деревню на этюды. Впереди были войны, но в них не верилось, а верилось в чистое искусство. Кстати, в чём смысл этого штампованного выражения? Чистое потому что благородное, или чистое потому, что беспримесное, незамаранное прибыльью? В последнем случае малярные работы относятся к грязному искусству, потому что они приносят практическую пользу. А является ли чистым искусство, затраченное на вырезание деревянных фигур алтаря? Это ведь наглядное пособие для верующих, но неграмотных.

В ту пору Кандинский и Габриэла Мюнтер всё ещё балансировали на грани реализма, и мне так хочется остановить мгновение и помешать им свалиться за эту грань. Мне нравится эскизность, лёгкость и уверенность полотен того времени; их ярко-красные крыши, ярко-жёлтые стены, бело-синие снега; цвета насыщенности, видимой только молодому глазу. Мне нравится физическая радость бытия, проявленная плотными, густыми мазками, которые хочется потрогать пальцем. Они написаны под отражённым от снега солнцем, в чистейшем горном воздухе, тепло одетыми художниками, которые только что напились кофе с горячими булочками. Мне сейчас убежать на кухню за кофе с булочками мешает тревога — а как же краски? Они же наверно замерзали! Может быть их приходилось отогревать за пазухой, и гамма цветов ограничивалась чис-

лом тюбиков, которые можно насовать в лифчик, а может быть я преувеличиваю спонтанность этих картин, и на самом деле их писали в кислом воздухе мюнхенской квартиры по воспоминаниям о былом счастье? Нет, непохоже!

Собственно, дело не в Кандинском, мне нравится и “Мартовский день” его современника Юона, с русской телегой, хотя мои собственные впечатления от сельской жизни подобны пасмурному поленовскому “Первому снегу”, тусклость которого чуть-чуть подсвечена жухло-жёлтой травой и красноватой корой ивняка. Поленовские дни перевешивали, хотя юоновским был тот единственный март, когда в каникулы папа увёз меня в Репино кататься на лыжах. Тамошняя лыжня упиралась в Выборг, то есть математически максимально приближалась к бесконечности. И было солнце, и ломалась от легчайшего удара льдистая корочка сугробов сухого снега, и топилась печка в избушке, и чай был крепкий и сладкий.

Помнится, когда мы летом жили в деревне Большево... то и дело я с банкой для сметаны иду в магазин, за четыре километра — ближе нету. Помнятся походы в Сиверскую за сметаной, мимо старых дач с мезонинами и круглыми башенками; походы в Кежево за керосином, по дну оредержского оврага, вдоль откосов красного песчаника, мимо разрушенных плотин, мимо заводов с кувшинками... Соседка меня уважала за хозяйственность. Сама она то на кухне, то на огороде, то кролику пух вычёсывает, то мужа бранью осыпает, чтобы не разбаловался, а вот на походы в магазин сил уже нет, — хорошо, что я услужаю. Она не знала, что я просто люблю ходить. И всегда со мною банка, канистра, авоська в оправдание моему неженскому безделью: нет у взрослой женщины права шляться просто так.

Мне бы идти и идти весь день по дороге, мощёной красным кирпичом, в царское время построенной, в советское продавленной тяжёлым трактором, идти полями турнепса и картофеля, овсами, которые звенят особенным образом, недоступным ни ржи, ни ячменю, опушками, где висит белое кружево сныти и цикуты, лугами, полными скерды, купальниц, лютиков, васильков, короставника, кашки и ромашек. В канавах торчат среди крупных глянцевого листьев жёлтые головки калужниц. Воздух трещит и лопаётся от стрёкота огромных кузнечиков, зелёных и бурых. В кустах висит добротной паутине солидные крестовики. По дорожкам бегут разбитные жужелицы. Стрекозы — бабки и дедки, лютки и стрелки — занимаются любовью прямо в полёте, держа партнёра за шкирку. Над полными нектара полевыми цветами порхают капустницы и лимонницы; бражники бьют прозрачными крыльями, направля-

ясь с воздуха, как военный самолёт. Тяжёлые шмели и лёгкие пчёлы инспектируют каждый цветочек в соцветиях пижмы и тысячелистника. В траве прочёсывают охотничий участок божьи коровки — маленькие живые танки, машинки для убийства тлей, лучшие друзья огородника, ... такие глупые — всегда верит, если наврёшь: “Божья коровка, улети на небо — там твои детки кушают котлетки”.

Небо синее, бездонного оттенка, и в нём ходят волшебные перья цирусов. Или ветер нагнал кучевые облака, и посерело июльское лето, краски потускнели, насекомые примолкли, и жара утихла. Или набухла грозовая туча, вдали полыхают зарницы. Или мелко, косо колотит каплями по дождевику незлой летний дождь.

Я не любила собирать грибы, и, достигнув совершеннолетия, получила право этого не делать. Марина любила, и, напившись кофе, забрав кусок хлеба, уходила в лес на весь день. День её, впрочем, наперекор негласному кодексу собирателей грибов, начинался поздно, часов в двенадцать дня. Вечером, возвратившись, не заходя в дом, Марина перекликалась с соседом, Федей: “Пять!”. “Три”, — горестно откликался Федя. Считались белыми грибами.

Горькушки хороши для засолки, если их выварить. Сыроежки, молодые и нерасцветшие, как тургеневская девушка, можно есть и сырыми, жарить с картошкой или засаливать. Но лучше всего солить волнушки и рыжики. Долговязые подберёзовики и крепкие подосиновики надо поджарить. Лисички жарят или маринуют. Боровиками любуются и хвастаются. Попробуй похвастаться, что набрал сотню сыроег — засмеют. Скажи, что ты нашёл двадцать белых, предъяви их, чтобы не быть голословным, и этот поход ещё долго будут вспоминать и обговаривать, оплетая всё новыми обстоятельствами.

Федя был одержим благородным честолюбием грибника-спортсмена, выходил на бескровную охоту рано утром, как полагается, но никогда не мог собрать больше Марины. Особенно такое обидно, когда ты прочесал весь лес с утречка, ничего не нашёл, а потом вслед за тобой приходит лентяй и незаслуженно, не потрудившись, находит гриб за грибом, которые, будь на Земле справедливость, принадлежали бы тебе. Федя начинал всё раньше и раньше, искал грибы с фонарём в предрассветном полумраке петербургского августа, но это не помогло. Федя проиграл Марине все партии.

Иногда я ходила с Мариной по грибы. Я помню поляну с высокой и тонкой лесной травой. “Они здесь”, — говорит Марина и прикасается пальцами к куртинке, осторожно, как пианист, беру-

щий последний аккорд. Она отгибает травинку за травинкой, и пред нами предстаёт боровик. Так Микеланджело Буонаротти, отбросив лишнее в глыбе каррарского мрамора, нашёл в ней Давида.

Мы жили в Большеве всей семьёй, долго — много лет. Прошли годы, и наша спокойная, уютная жизнь, казавшаяся вечной, кончилась. Прошлое кончается, остаётся память: попытка связать оборванные нити, преодолеть разрыв непрерывности. Я помню, ты помнишь, мы помним — все, кто не умер, помнят и влетают свои былинки в травяную цыновку были. Я открываю Маринин рассказ “Дорога в лес” и читаю:

“Когда кончилась война, мой будущий отчим вернулся из немецкого плена домой. После освобождения лагеря военнопленных англичане переодели их во что-то своё. Там была верхняя одежда, нижнее тёплое бельё из хорошей шерсти и обувь. Отчим при росте в 172 см весил тогда всего 47 кг. Отчимом моим он стал лет через десять после того и уже, естественно, не влезал в английское обмундирование. Костюмчик и бельё перешли мне. Про судьбу ботинок ничего не знаю. Сносились, наверное. Костюмчик пришёлся мне впору. Он состоял из однобортной куртки и довольно узких брюк. Цвет хаки отлично подходил для походов в лес. Но главные его достоинства проявились в процессе пользования: его невозможно было порвать, и он не промокал, а только деревенел под дождём. Причём в обычном состоянии костюмчик был мягок и шелковист на ощупь: необыкновенно приятное ощущение, из-за которого мне всё время хотелось уйти в лес и использовать костюмчик в полную силу. А ещё отчим обучил меня обматывать ноги портянками: носки в резиновых сапогах сбивались в комок и натирали пальцы. Кроме этого у меня был складной нож на верёвочке, чтобы не потерялся, и туристический топорик, который я засовывала под ремень за спиной. Мне было тринадцать лет, и я была полностью экипирована для встречи с Лесом”.

Деревянные человечки

Стыдно признаться, но я не знаю, как давно поселились русские на пространстве между Петербургом и Лугой. Дома, да и церкви у русских были деревянные, и ничего по-настоящему древнего в моих любимых дачных местах не увидишь. А вот история Мурнау и Обераммергау тянется века с двенадцатого. Тридцатилетняя война поднесла деревеньке самый свой заветный подарок — чуму. Жители Обераммергау скумекали, что своими силами с инфекцией им

не справиться, и дали обет — по избавлении от мора исполнять мистерию Страстей Господних каждые 10 лет. И были избавлены, и держат слово, и разыграли мистерию сорок раз подряд. В мистерии участвовали все жители деревни. Если прикинуть, то каждый житель должен был в течение жизни сыграть её раза четыре, в ролях, соответствующих возрасту. Могу представить, как удивительно выглядели костюмы и мизансцены в эпоху, когда умели ставить живые картины, и сохранялась ещё традиция религиозных мистерий. Могу представить, как одухотворяло жизнь крестьян перевоплощение в героев Нового Завета.

Постепенно Обераммергау прославилось по всей Европе. О ней написал даже Джером К. Джером. Джером-Джером для нас автор бессмертной книги “Трое в лодке, не считая собаки”. Оказывается, Темзой не ограничилось: весёлая троица омочила вёсла в хрустальных струях Рейна, что описано в книге, название которой я переведу, как умею, потому что больше никто не взялся; — у меня получилось “Три мэна в буммеле”. О поездке в Обераммергау Джером-Джеромом написан “Дневник паломничества”, и тоже никем не переведён и нечитан; заслуженно — это занудство; ситуации, в которые попадают путешественники, безнадежно устарели и никому не смешны. Особенно меня обидело то, что о самой мистерии там почти что нету, хотя, если верить автору, она всё ещё выглядела свежо.

Рассматривая современные фотографии на интернете, я заметила, что ныне свежесть из неё ушла. В отличие от японцев, которые сохранили в неприкосновенности спектакли “но” и “кабуки”, европейцы не догадались для свежести мистерию законсервировать — оставить старые костюмы и приёмы игры. В последней постановке все артисты в синих плащах; думаю, режиссёр считает, что синий цвет полезен для глаз, и вспоминаю фотографию из “Сайентифик Американ” тридцатилетней давности: улица китайского города, все в синих ватниках. Из двух тысяч участников пьесы жителей деревни только половина, и наверно не на главных ролях. Мистерия теперь для крестьян не дело жизни, видимо рассчитывают на антибиотики. Ну что же, триста лет благодарности уже что-то.

Если две истории смешать в одну, эффект будет так же скверен, как смесь сиреневого с зелёным. Но именно это и сделали организаторы экскурсии по замкам Людвиг, завезя нас минут на сорок в Обераммергау: “Нате, пощупайте и отметьтесь. И не говорите потом, что мы не отработали ваши деньги”. Меж тем деревня и Людвиг —

две вещи несовместные. У Людвигу всё было сложно, вычурно, искусственно, он мечтал о придуманном прошлом, о сочинённых Нибелунгах, о поющих русалках из оперы Вагнера. При виде добротной немецкой деревни все эти мечты разлетаются в дым, и хочется попробовать свежего деревенского масла. Зря деревню и Людвигу совместили, как санузел.

Каждый добавляет своего подтекста к картине, и каждое слово включает в себя целый мир. Пушкин вспомнил о Горации, воскликнув *O, rus!* В слове “деревня” уместаются и деревня, где скучали Евгений с Горацием, и Большево, где мы снимали дачу лет десять подряд, и Мурнау с Обераммергау, где снимали и не скучали Кандинский, Явленский и Мюнтер. Но не всякая русская деревня сможет пройти отборочные соревнования для сравнения к немецкой. Я слышала о, но не видела разорённую русскую деревню с покосившимися избами, где все, начиная от поросёнка и кончая хозяйкой, жуют солому, запивая её самогоном. Я видела только благополучные деревни вокруг Ленинграда, Большево с коровниками, калужницей, дореволюционными сырыми дачами, рублеными наспех для горожан. Но даже Большево — не Обераммергау.

Тут следует вопрос заинтересованных читателей, буде таковые найдутся — да к чему нам опять про это Большево, в котором мы не были, потому что не хотели? Да, Большево сегодня не при чём. При чём соседнее Лампово — староверческий форпост. Лампово и Обераммергау сходны, но не тождественны. Лампово сильно редкими в нашей области резными наличниками и фризами, опоясывающими обычно только северные, поморские избы. Обераммергау козыряет настенными росписями. Вдоль Лампово идёт грунтовая дорога, и все пьют дома. В Обераммергау — мощёные улицы и пьют в пивной. Но дома в обоих сравнимого размера — колоссальные. Выглядят они, правда, по-разному.

В Лампово дома как в Архангельской области, непривычные для петербургских краёв, — разлапистые, с крошечными окошечками. В Обераммергау по-альпийски огромные крыши, на пару размеров больше, чем нужно дому, неперенные балконы, иногда под самой крышей, устроенные для красоты: вряд ли кому удастся вылезти на них сквозь балконное окошечко в двадцать сантиметров. У каждого окна ящик с шарами гераней — густо-красные цветы, тёмно-зелёные листья. Росписи расползаются по всей стене — старые и избыточные деталями. Самый известный в Обераммергау — дом Пилата, названный по сюжету фрески фасада. Дом этот является бутафорским подобием Линдерхофа — на нём нарисован дворец с вазонами,

колоннами, гирляндами и балюстрадой, через которую перекинул ногу рисованный стражник.

За сорок минут рассмотреть всё это невозможно, тем более выпить пива в славной пивной под затейливым знаком, подвешенным на торчащем из стены крючке. На что похож такой визит? Ну, скажем, завели нас в зал Кировско-Мариинского театра, сказали: “Вон там сейчас поют Вагнера”. Мы постояли в ложе у всех за спинами, рассмотрели краешек сцены с фигурой в латах и побежали в Русский музей.

По случаю выходного многие лавки были закрыты. Сквозь стекло на меня внимательно смотрели деревянные человечки. Одеты они были нарядно, даже можно сказать, пышно — Рыцарь, Кавалер, Шут, служанка, ночной сторож с большим фонарём и смелым лицом: борода расчёсана на две стороны, щегольской берет, сандалии с круглыми носами, — вооружён до зубов — и меч у него, и алебарда. Я помахала рукой, но никто не ожил.

Я прошла мимо вульгарных сувенирных магазинчиков и увидела ещё витрину с двухвершковыми человечками. В этой лавке размером с нашу ленинградскую квартиру (ничего особенного, ни хрущёвка, ни сталинский дом) комнаты уставлены стеллажами, так что трудно повернуться, и на них расставлены традиционные сцены рождества — участников много, но не бесконечное число. Наборы одни и те же, но отличаются размерами — можно выбрать по колено, можно с мизинец. Можно предпочесть раскрашенные по всем правилам, или некрашенные (“бельё”).

В углу поскрипывал резцом уютный бородатый гном, трудившийся над деревянным венком. Есть люди, которые даже в наше время посвящают жизнь вырезыванию деревянных фигур. Разумеется, все эти фигурки не на станке вытачивают, а режут вручную, но всегда одни и те же. Может быть это скучно, как вырезывание матрёшек. Это ремесло. Но ремесло приятное, протекающее среди пахучего дерева и тонкой стружки.

Я купила пастушка с дудочкой и служанку с кувшином. У ног её стоит любопытствующий гусь с мелкими пёрышками, платье её и шаль топорщатся пышными складками скульптур пятнадцатого века. А мальчик играет на такой тонкой дудочке, что одно лишнее движение резца, и пришлось бы всё начать сначала. Я выбрала некрашенные, чтоб видно, в чём дело, а то ведь в наш век, век пластика поди объясни, что это дерево, ручная работа. Дерево светлое, и чуть отливает розовым.

Выйдя, я залюбовалась соседним домом — уж очень он удачно был распisan. Гном вышел из убежища и я увидела, что он приближается ко мне с удрученным видом. “Ах”, — говорит мне гном (все немцы непременно говорят “Ах!”) — “Я перепутал и дал вам сдачи вдвое”! Я открываю кошелек, смотрю на купюру, которую он мне дал, и вижу, что она большая. Невозможно обидеть гнома — помните, как был наказан за это Нильс Хольгерсен? Ещё хуже обидеть мастера-резчика, который так потрудился, вырезывая крошечную дудочку и пуговицы на курточке, и я предлагаю гному вынуть из моего кошелька столько, сколько он захочет.

Меня легко обмануть со сдачей. Я не умею считать в уме, и это при том, что я училась в школе ещё по старой программе, с пятью годами арифметики, и нас натаскивали на устный счёт. Но даже на бумажке у меня сумма обязательно не сойдётся. Я слыхала, что грамотность штука врождённая — эта мысль подвергается осмеянию, но я готова в неё поверить — если по части арифметики у меня мозговой дефект, то почему бы не быть наследственным проблемам с грамматикой?

В отличие от падежей и суффиксов, для которых существуют мало-мальские правила, орфография — дело случая. Для того, чтобы правильно писать, нужно запомнить, как пишется слово. Хорошо, если это “Булочная-кондитерская” или “Почта”. А некоторые (“батрахомиомахия”) приходится запоминать “с первого предъявления” — мелькнули и исчезли, и больше их никогда не увидишь. Возьмём ценник нашей университетской столовой: “гутемброт с калб.” Оставив насмешки, подумаем серьёзно: а где им было научиться правому писанию этих слов? Сколько раз “бутерброд с колбасой” встречается в “Войне и мире”? Даже если Андрей Болконский ушёл от маленькой княгини из-за того, что наскучил ежедневный зудёж: “Ну не напарывайтесь Вы, Друг мой, этих бутербродов с любительской колбасой, подождите, сейчас жульен принесут”, — Лев Толстой об этом умолчал. В общем, *обмануть меня нетрудно* (но неужели “я сам обманываться рад”?).

Деревянные человечки — эхо прошлого. В 1400 годах на яблонях налились золотые яблоки, а в Баварии народились резчики по дереву. О южно-немецком “Цветистом стиле” рассказал Михаэль Баксандалл в книге “Резчики по липе в Германии эпохи Возрождения”: название не ахти, но содержание отличное. Распространение стиля между Бургундией и Чехией совпадало с ареалом липы: к северу резали фигуры из дуба, а к югу — из сосны.

Липовая скульптура отличается особой мягкостью и окатанностью силуэта и тонкой проработкой деталей, в то время как дубовая кажется высеченной из твёрдого камня. И всё из-за особенностей материала. Даже кусок мяса режется по-разному вдоль и поперёк волокна, а что уж говорить о мягкой липе и твёрдом дубе, когда их режут на скульптурные бутерброды. Дуб коробится, а липа лопается. Липа реагирует на колебания температуры и влажности, попеременно расширяясь и сжимаясь, и подвержена вертикальным трещинам. Ствол липы неоднороден по плотности, и потому из бревна при разделке вынимали мягкую сердцевину, и все статуи из липы были полые. В тех случаях, когда можно не показывать спину пророка, бревно разрезали вертикально пополам, и получался полуцилиндр, поверхность которого покрывали резьбой, стараясь сделать надрезы вдоль линий напряжения.

Липа требовала интуиции, понимания, какой именно Буратино скрывается в каждом чурбаке. Художник — раб материала, и ничего не попишешь. В каждом гении десять процентов вдохновения и девяносто — сопромата. Возьмите линогравюру и офорт — это же две большие, но равноценные разницы, из-за материала. Попытка превратить одну в другую, офорт выдать за линогравюру — это извращение, бессмысленное, вроде как запечь «фальшивого зайца» (любимое бабушкино блюдо, потому что дешёвое): какой же это заяц, это просто гигантская котлета. Художник может выбрать материал, но и в этом выборе он не совсем свободен. В 15 веке не было пластмассы и акриловых красок. Были дерево и камень.

Липы, священное дерево язычников, в христианскую эпоху пользовались уважением суеверных крестьян и ценились магистратом. Каждая липа была на учёте, первому встречному-поперечному их не выдавали. Сохранилась обширная переписка, в которой какой-нибудь Фейт Штосс просит бревно навывоз, и не получает.

Цветистый стиль расцвёл в дореформенной Германии, когда дошли до предела обожествление истуканов и вера в то, что Богу можно заплатить за хорошее отношение. Ради утоления жажды пожертвований ретабли разрослись и заполонились золочёными статуями. Что есть ретабль? Наверняка не то, что вы подумали. Как крыло пчелы и крыло птицы их ретабль и наш иконостас — вещи разные; сходство их поверхностное, конвергентное, они возникли из разных наследственных зачатков. Иконостас — это предалтарная перегородка, а ретабль — это заалтарная стенка, доска объявлений, к украшению, наизданию и напоминанию о том, какому святому посвящён алтарь или вся церковь. Поэтому в некоторых католических церк-

вах можно найти сразу и иконостас, и ретабль. На католическом иконостасе при этом может и не быть икон, — как в венецианской базилике Сан-Марко.

Пышно украшенные ретабли эпохи Контрреформации в каждой стране свои. В Испании я видела стенки до потолка — фигура над фигурой. А немецкий ретабль — это чудесная коробочка, состоящая из четырёх частей: Корпус, Венец, Крылья, Пределла. Корпус, главная часть ретабля, — это открытая коробка с круглыми (трёхмерными, отдельно стоящими) скульптурами. Задняя стенка корпуса расписана узорами или вызолочена и украшена тиснением, имитирующим бархат или кожу. В готических алтарях фигуры корпуса стоят под роскошными навесами искуснейшей деревянной резьбы, подобной каменному кружеву, которым когда-то камнерезы украшали шпиль, капители колонн, ковчеги храмов. В эпоху барокко корпуса алтарей превратились в многоэтажные триумфальные арки, сквозь которые проходит парадная процессия фигур.

Корпус увенчан Венцом, напоминающим фронтоном собора, готического или барочного, и на нём тоже устанавливали фигуры. По бокам от корпуса находятся Крылья — боковые створки, которые обычно бывали закрыты, и раскрывали их по большим праздникам. Створки эти с внешней и внутренней стороны либо расписаны, либо покрыты барельефами с неглубокой резьбой. Корпус с Крыльями и Венцом стоит на вытянутой, напоминающей саркофаг Пределле, украшенной, как правило, барельефом.

Поверхность деревянных фигур и резных рельефов могла быть полихромная, или монохромная, крытая тёмным лаком. Полихромную красили по левкасу — часто не сам резчик, но другой художник, нанося рельефные жилы, морщины на теле, узор на ткани; иногда наклеивали фольгу с рельефом и красили по ней для лучшего эффекта. Краска со временем слезала, но специалист может отличить полинявшие от тех, что изначально были монохромными. В монохромных впечатления достигали резцом, игрою светотени на поверхностях разной глубины. Монохромная появилась попозже полихромной. Тильман Рименшнайдер стал делать монохромные. Мне больше нравится монохромная резьба; в ней больше благородства; полихромная грешит избыточной реалистичностью, манекенностью.

Из-за того, что алтари были сложными конструкциями из палочек, фигур и фольги, их сооружали на троих резчик, столяр и художник. Совмещение этих профессий не приветствовалось гильдиями. Резчиков было мало, и они примыкали к какой-нибудь гильдии,

например, гильдии лавочников. У них был свой набор инструментов, отличавший их от столяров. Столяры ревниво следили за тем, кто и чем режет в артелях резчиков и пресекали поползновения к смешению жанров, отнимали у скульпторов рубанки, пытались запретить художникам нанимать себе в работники скульпторов, чтобы не получилось, что одна и та же мастерская делала алтарь полностью. Заказчики могли заказать резчику фигуры и передать их для раскраски художнику по своему вкусу. Вкусы разные; случалось, что монохромная раскраска казалась недостаточно яркой, и однажды Фейт Штосс по просьбе трудящихся раскрасил монохромный алтарь Тильмана Рименшайдера.

В каждом городе был свой резчик со своей мастерской, и места для других уже не находилось. Фейт Штосс, вернувшись в Нюрнберг из Кракова, пытался работать по камню, но место было занято Адамом Крафтом, и пришлось ему полностью перейти на деревянную скульптуру. Эразмус Грассер, приехавший в Мюнхен из Регенсбурга, соревнование с местными выдержал и был настолько успешен, что мюнхенские резчики пытались исключить его из гильдии. “Где шедевр-ры?!” — грассировали враги Грассера. Шедеврами в те времена называлось совсем не то, что ныне. “Шедёвр”, как выражаются французы, это дипломная работа на звание мастера. Шедевры требовались даже от красильщиков тканей.

Грассер не был дипломированным специалистом. Зато Грассер вырезал плясунов морриса, ставших символом Мюнхена. Танец моррис, или танец морисков танцевали на улицах многих европейских городов, включая Лондон. В Мюнхене его исполняли бочары во время празднеств избавления от чумы. Пойманные стоп-кадром, танцоры Грассера со страшными носатыми мордами полны извращённого шарма, поэтому их копии можно видеть почти во всех сувенирных магазинах. Были они и в лавке гнома-резчика, но я побоялась купить такую Квазимоду.

Цветистый стиль немецкого Возрождения расцвёл к 1470 году, а увял в 1524 году. Его подкосила Реформация, возненавидевшая деревянных истуканов. Сначала картины и скульптуры признавали библией для бедных, средством, которое сильнее поучений проникает в душу. Но заставь некоторых Богу молиться, и придётся бежать в аптеку. Изображения святых предназначались для почитания, но быстро превратились в объекты поклонения. Возникли новые Золотые тельцы, и в какой-то момент многим стало от этого не по себе и захотелось реформы.

Не в обиду будь сказано нашим ново-воцерковлённым православным прихожанам: Реформация не похвалила бы православные чудотворные иконы, считая веру в чудеса тёмным суеверием и идолопоклонством. Особо не понравились критикам великолепные одежды Царицы небесной и святых великомучениц. Люди были тогда простодушны, Богоматерь и святые в царственных одеждах вызывали вожделение у крестьян, пришедших помолиться. Во всяком случае так утверждает герой памфлета “Нео-Карстанс”: *“Ко мне часто приходили низкие мысли, когда я смотрел на изображения жемчужин на алтарях”*. Это высказывание напоминает анекдот: *“О чем ты думаешь, Гиви, когда глядишь на грудь кирпича?” “О бабах.” “Почему?” “А я всегда думаю о бабах.”* Впрочем, “Нео-Карстанс” такой же анекдот. Он возник в воспалённом мозгу правоучителя, стремившегося довести соответствующие идеи до любого жирафа.

Жертвой очередной борьбы с *идолопоклонством перед Западом* стало убранство многих церквей. Иконокласты-иконоблаготворители выскребали лица на картинах, разбивали головы статуям, и попутно колоутили священников и какали в священные сосуды. Церковные свечи уносили домой — не пропадать же добру! И как могла рука подняться на произведение искусства, над которым резчик работал годами? Но мы знаем по примеру русской революции, как она могла. Мастерам, оставшимся без заказов, стало нечего есть, потому что столяры их к себе в гильдию не пустили. Многие имена просто исчезли из всех реестров, и никто не знает, что случилось с этими резчиками. А некоторые стали подрабатывать вырезыванием сцен из мифологии и портретов для украшения частных домов.

Наследие цветистого стиля разгромлено, стorerело, разобрано за ветхостью. Остатки попали в музеи. В Баварии есть два самых крупных — Баварский в Мюнхене, и Германский в Нюрнберге, где можно увидеть то, что осталось от горстки великих мастеров Цветистого стиля, за пятьдесят лет, в которые втиснулась жизнь трёх поколений резчиков, не вся — от детской соски до старческой тюри, — но творческая. Из того, что уцелело, мало что осталось в первоначальном виде — растрескалось, закоптилось. То краски соскоблили, то наоборот покрасили, чтобы стало ещё красивее.

В ненастный день, — хотя может быть это слишком сильно сказано, просто дождь большой, а зонтик маленький, — я долго ходила среди деревянных лиц в Баварском музее. Некоторые производят страшненькое впечатление, а некоторые хороши без всяких скидок. Разве забудешь прекрасное лицо Св. Анны? Св. Анна — старая, с застывшим взглядом в никуда; женщина, которая состарилась пра-

вильно, не утратив благородства души. Это Рименшнайдер. Но есть и удивительные удачи, у авторов которых нет имён, или вернее имена странные — например, “мастер из Оттобёрена”. И как они знают, кто из Оттобёрена, а кто из Отто-не-бёрена? Ну, в этом случае и эксперта не нужно: пусть даже и сто восемнадцать мастеров из Оттобёрена укроется за этим псевдонимом, всё равно их всех, купно, узнаешь по стилизованной плиссировке одежд. И мне вдруг вспоминается сестра Марина, бегучие, экономные линии её деревянной резьбы, и в который раз больно — зачем был спрятан огонь её светильника? И ещё мелькнул вопрос — а были ли тогда женщины-резчицы? — тоже остался без ответа.

Дерево — редкий материал для современного скульптора, тем более в России, где нет традиции, где деревянную скульптуру из церкви убрали в шестнадцатом веке, и всё моё знакомство с деревянной резьбой ограничено Коненковым и Мариной, которая время от времени, бездумно, легко и быстро вырезала фигурку из подходящего сучка яблони. Наверно её фигурки сформировали мои вкусы — дерево должно быть некрашеное (раскрашивают куколок), контуры должны быть обобщены; хотя трудно избежать соблазна конкретности — дерево, в силу мягкости, податливости длинному движению резца, располагает к человекоподобию. Так что и в Баварском (Мюнхен) и в Германском (Нюрнберг) музеях многое — против моих эстетических стандартов, но я постепенно примиряюсь и с реальностью лиц, и с красками по левкасу. Просто надо привыкнуть, вжиться.

В отдельном флигеле находится коллекции доктора Боллерта. Самое ценное в ней — тонированные панели алтаря Рименшнайдера “Пир в доме Симеона”: Магдалина моет ноги Иисусу и обтирает их волосами. Ну о чём говорить? Ну это, естественно, шедевр. Особенно, когда переведёшь глаза и увидишь рядом раскрашенную кучу малу “Голгофы” мастера из Эрфурта: так при мне набивали корзинку курами на продажу. А у Рименшнайдера только то, что нужно, и так, как нужно.

Первую Мадонну Герхарду Боллерту подарила тётка в день его свадьбы. После этого доктор Боллерт уже не смог остановиться. И я, и мама тоже знали эту жажду к изящным предметам, хотя нам она была не по карману. Впрочем, может быть Боллерту его любовь была по средствам, если он попал вне моды. Послевоенная судьба коллекции сложилась нелегко и неопределённо из-за раздела Германии на Восточную и Западную. До войны Боллерт хранил её в нео-готических интерьерах своего особняка, где всё было про-

думано под коллекцию. Мне жаль, что теперь не та обстановка, но во-первых дом сгорел, а во-вторых многие считают, что стены должны быть белые и незаметные, чтобы не отвлекать от витрин. Может быть. Может быть мы должны сразу с порога понять, что мы не дома, что экспонаты — не в контексте, и нас просят воспринимать их безо всяких скидок на время, моду и предназначение, и даже не с того расстояния, для которого они задуманы.

Задуманы они были для ретаблей. Так что есть старинный ретабль? Магическое зеркало, в котором туманится сцена священной легенды, окно в исчезнувший мир, запечатлённая память о людях, которые когда-то были, а потом уже и не были, и даже имена утратили. Алтарные скульптуры — трёхмерная живопись, которая оживает при игре светотени. В день с переменной облачностью самое время идти и любоваться бегом теней по деревянным фигурам ретабля, любоваться долго, ибо при перемене освещения смещаются и смыслы. Фигуры эти незабываемы. Лица их прекрасны, жесты благородны, одежды безупречны.

Если многофигурные алтари — это трёхмерная живопись, выставить отдельную скульптуру всё равно, что выпилить для выставки понравившуюся фигуру из картины какого-нибудь передвижника, вырвать с мясом, или даже уже и без мяса: кому она показывает нос, и почему? — гадают посетители, — и зачем тут, в полуметре, пропорции, годные для свода храма? Одинокие, лишённые дома и семьи, с содранной краской, потерявшие нужную дистанцию от зрителя, что они для нас? Совсем не то. Чтобы воспринять их, нужно преодолеть колоссальный потенциальный барьер. Сложно воссоздать былое величие по остаткам. Поэтому мне лучше видеть ретабль в церкви.

Рименшнайдер — раз, Рименшнайдер — два

В доме, где хозяином был заказан у Стравинского квартет Дамбартон Оакс, много редкостей. Там я увидела деревянную мадонну, наступившую ногой на месяц, и, не зная, кто и что, подумала: “Это хорошо”. Оказалось — Рименшнайдер.

Новый день. В этой гостинице я собираюсь сразу, и спускаюсь вниз полностью готовая — я боюсь лестницы — мне трудно по ней подыматься лишний раз. Я уезжаю на несколько дней. За Рименшнайдером нужно ехать на север Баварии, в ту её часть, Франконию, которая отошла к ней после наполеоновских войн. Ротенбургобдertaубер — именно так, иначе не поймут, увезут к другой реке.

Пора освоить секреты баварского билета. Ему покорны все системы сообщения Баварии, но только на один день. Чуть пробьёт полночь, карета превращается в тыкву, из тыквы вылезает контролёр и замахивается большими щипцами-компостером.

Железнодорожных систем в Германии две: Убан и Сы-бан (Эс-бан?). Убан построили гномы, которые добывают горный хрусталь, гранаты и серебро. Осторожно вынося землю в кадушках, они выкопали много-много подземных зал, одна под другой, соединённые вертикальными шурфами, по которым гномики быстро бегали вверх и вниз, упираясь в стенки своими большими, не по росту, ступнями в шерстяных тапочках. Внизу под Мариенплац гномы выстроили вокзал с киосками, где всё и вся во всех направлениях. Толпы народа; люди, мешая друг другу, лазают по сотам ларьков. В этом пчельнике не по себе: ужалят? Оболюют пчелиным молочком и не ототрёшь от тренировочных... Вниз идут ещё какие-то эскалаторы — проверить? А там ещё одна площадь, и под ней платформы в несколько ярусов.

На остановках предупреждают: “Выход направо, выход налево”, и немцы послушно выходят направо или налево, хотя двери открываются с двух сторон. Если выходят налево, входят справа, и наоборот. Ни толкотни, ни драк, ни мата, ни взаимных оскорблений (“Не надо спать!” “Ты что, оборзел?” “А ну-ка выйдем и поговорим!”) Немцы, как мы знаем, склонны к повиновению, и эта их коровья тугопость заразительна: вместо того, чтобы пнуть кого-нибудь локтём в живот и выбежать из вагона, я терпеливо жду своей очереди.

Эсбан проложен на поверхности земли. Его поезда с обкатанным заострённым рыльцем, подобные булавам для галстука, быстро скользят по рельсам, издают тихие вздохи при отправке с перрона, истошно заливаются: “У-у-у”, — пролетая мимо полустанков. Они соблюдают расписание и приходят к объявленным платформам. У каждой платформы висит табло с правдивой информацией. На боку вагона крупно выведено — первый или второй класс, не ошибёшься. Места в немецких не нумерованные. Скамейки в них удобные, и есть столики.

Эсбанный Хауптбанхоф Мюнхена — это огромный дворец со множеством комнат, а в них есть магазинчики, забегаловки, и в укромном уголке — убежище туристов, где говорят по-английски и могут продать билет иностранцу. Хотя проблем-то с покупкой нет. Всегда можно купить в автомате; там всё ясно. А рядом с кассовым автоматом расписание. Главное подобрать поезд, на котором действителен баварский билет, и я глубоко погружаюсь в это за-

нятие, не замечая, что рядом пристроился детина с мутными глазами и выливает на меня душевную грязь больного подонка. От него трудно отвязаться. Неприятно и непонятно, зачем ему шестидесятилетняя женщина, — но я для него не человек, не женщина, а просто объект: немного подержанный, но сыр это сыр, даже если он заплесневел.

Я подхожу к перрону, сверяясь с огромным табло, выбираю вагон второго класса, сажусь. Без фанфар и трубных звуков, легко и мягко, трогается перрон за окном. Поезд набирает скорость, скользит в паутине привокзальных путей мимо сараев и бараков. Здания, подавшие знак старения и одиночества, закаканы граффити; я замечаю крупное, пульверизатором: “Денк, Бекки (Спасибо, Бекки)!” — выведенное благодарной мужской половиной человечества.

Скорый поезд похрапывает, как пожилой пассажир. В нём мягкие кресла и ковёр, и я снимаю ботинки. Путешествие на поезде для меня давно забытое старое, и потому новое. В Америке я достигла мечты, (одной из): выйти с работы и сразу оказаться дома. Машина — это прихожая с домашними тапочками и полезным барахлом. Машина даёт чувство защищённости (главный атрибут дома), потому что сама ведёшь и управляешь. В поезде везут. И оттого чувствуешь, что ты голенький, незащитный, как будто в бане полотенце свалилось.

Я sueчусь сначала, я не привыкла к тому, что интервалы между пересадками 4–5 минут, но этого достаточно для того, чтобы даже старичок с кривым коленом переполз на соседнюю платформу. Помогают умные транспортёры вдоль лестниц, которые как-то понимают, куда тащить чемодан — снизу поставишь, они его наверх, а если сверху, так вниз. Людям, которые не любят тратить время попусту, приятна разумная расчисленность. Я хотела бы всюду приходиться за пять минут, но такое возможно только в обществе, живущем без опозданий.

В пути было много пересадок, и наконец в Штайнахе я пересела на совсем уж местный, деревенский поезд — самый лучший — у таких огромные окна. Выйдя на площадь, я не сразу догадалась, где Альтштадт, но помогли указатели.

Жду у светофора. Напротив, на другой стороне сидит сильно волосатый молодой терьер. Зажигается зелёный. Терьер перебегает улицу. Он понял, как пользоваться светофором, в отличие от американских скунсов, опоссумов и Анны Ахматовой, которые этому так и не научились. Интересно, что пёс следует сигналам неукоснительно. В этом он отличается от моего папы, который считал, что

переходить можно только, когда машин нет. И был прав, особенно в 90-е годы. Я сама помню, как тогда в Петербурге ездили по тротуарам, и на большой скорости.

Мостовые Ротенбурга — ого-го, местами, если вымощены брусчаткой, с зазорами в полтора-два сантиметра, в которых, если приглядеться, найдёшь немало пуговиц и монет. “Чемодан, чемодан, чемоданище” — чемоданушко *жалобно поёт*. *Раз поёт, два поёт...* Больше не поёт. Разбили мне колёса камни Ротенбурга. Хотя кто и что мне разбил... так, как разбивают наши чемоданы авиакомпании, бросая их с транспортёров, никто больше не умеет.

Народу на улицах было много, хотя вроде и не сезон. Я заметила, что очень много китайцев, в то время, как двадцать лет назад были всё больше японцы. Я несколько раз сверялась с планом, который я откопировала из путеводителя Фроммера, и, переходя с тротуара на проезжую часть и обратно, в зависимости от того, где щелей между камнями поменьше, дошла до своей гостиницы, под вывеской с условной розой. Гостиница снаружи была маленькая, как и все остальные дома, но глубокая. Меня устроили на третьем этаже. Номер без затей, с узкой, но длинной ванной. Кровать мягкая, что доставило множество неприятностей позвоночнику. Из окна — пустой задний двор, с трогательными мазками жёлтых листьев. Ванная просторная, с сушилкой для полотенец, но без шампуня. Напомню, что гостиницы бывают шампунные и безшампунные. Безшампунные множатся, шампунные вымирают. Шампуни льнут к деньгам. В командировках я попадаю в отели с шампунями, а в отпуске — в безшампунные. Я остро переживаю социальную несправедливость и экспроприрую шампунные флакончики для передачи в безшампунные номера. Поэтому у меня с собой было.

Первым делом я зашла в кафе и заказала сливовый пирог. В Германии в кафе с официантами заказываешь кусок, получаешь талончик, садишься и ждёшь официанта. Дождалась я очень долго, потому что кофейня была забита народом. Потом ко мне подошла продавщица из-за прилавка (кафе было так же и булочной-кондитерской). И разыгрался у нас странный диалог в стиле Беккета и Ионеско. “Кофе с молоком”. “Чёрный?” “Кофе с молоком.” “Чёрный?” “Кофе всегда чёрный — зелёного не бывает” (это уже мысленно, в мечтах). Мне хотелось того, что итальянцы называют кофе-латте, но продавщица делала глухое ухо, может быть потому, что латте умеет делать только бармен. В результате мне принесли противную бурду, которую я не смогла допить. Пирог был отличный, именно такой, как и я бы испекла — на несладком дрожжевом

тесте. Второй кусок пирога со сливами заказать не удалось, потому, что его вдруг сняли с витрины и куда-то унесли. Кто это всегда отнимает наши пироги и ест их в чулане?

В Детванг шла верхней, короткой дорогой. Много зелени на откосе, и реку не видно. Подобрала позднее, незрелым упавшее яблоко. Пыталась засунуть в карман и поняла, что куртка на мне навыворот. На подходе Детванг виден между деревьями, сверху: церковь и сгрудившиеся домики — горстка. Город-крошка, с ладошку. Как будто игрушечка для нас построена. Как будто декорация к фильму, ровно столько, сколько поместится в видеоискатель. Я прошла почти пустыми улицами, на которых стояли гостиницы и может быть жилые дома, все старые, крупные, с фахверком.

Подошла к церкви Петра и Павла, романского стиля, бежево-го песчаника, с красной крышей. В церкви старуха приветствовала меня баварским “Трюсс Готт!”. Говорила только по-немецки. Церковь простая снаружи и простая внутри, с одним нефом, белёная. Проёмы окон покрыты цветочной росписью — белое, красное, зелёное — как моя одежда. По периметру нависает деревянная галерея, зелёная, с кирпично-красными, как Петропавловская крепость, медальонами. Стрельчатые арки перед алтарной частью выкрашены в кисло-кирпичный цвет. Обратила внимание на овальчики бронзовых досок на стене — чёрные-пречёрные, — на которых отлиты выпуклые вычурные буквы и наивные рисунки вроде широко шагающей птицы.

Главный ретабль работы Рименшнайдера небольшой, и в нём доминирует корпусная секция. В центральной её части скульптура: Иисус на кресте, а у основания креста горельефы. Слева святые жёны, и Св. Иоанн, который поддерживает Богородицу. Справа от распятия стоит группа каких-то паскудников — солдат, зевак, — и на первом плане — фарисей, очень живописный, в конической шапке и в платке, как у Ясира Арафата. Оказывается, фарисей списан с турка с рисунка Дюрера. Дюрер был там, а Рименшнайдер — тут, но до него дошла гравюра. Он не украл — сам Дюрер тоже у кого-то заимствовал позы; время было тогда такое, у художников переходили по наследству папки с наборами композиций.

На крыльях корпуса — барельефы; слева Гефсиманский сад, справа Воскресение. Кажется, что барельефы были откуда-то выломаны и перенесены в рамы, которые до этого содержали что-то другое и вообще не отсюда, слишком велики для створок к этому ретаблю. И действительно алтарь этот был вывезен из Ротенбурга,

и может быть раньше имел другие крылья, венец и более нарядную пределлу. Но потери и утраты не столь важны. Барельефы и горельефы Рименшнайдера великолепны и как отдельные картины. Но и общее впечатление сильное, даже при том, что тут явно проявили какую-то мудрость последующие поколения. В композиции чувствуется внутренний ритм и правильно расставлены акценты и цезуры. Рименшнайдера отличает особая бегучесть линий; контуры сделаны как будто одним движением резца.

Барочный амвон внизу украшен большой кистью винограда, или может быть фиников. Я присела у амвона и рассмотрела два боковых алтаря — небольшие триптихи крашенных фигур в красных рамах; работа конца пятнадцатого века, милая, наивная — особенно наивность проступает по сравнению с находящимся тут же ретаблем Рименшнайдера. У фигур хорошие лица, и особенно привлекает Святая Оттилия. (Знаете, скажешь себе иногда: “хорошее лицо” — реже, чем “красивое лицо”). Молодая, красивая, серьёзная, и глазные яблоки на книжке. Нет, нет, она не слепая, у неё карие глаза, а “запасные” яблоки великоваты, и в глазницы бы не влезли. Это для напоминания о том, что с ней сделали перед смертью. Кто-то же вот так увеселялся, вырывал глаза, отрезал груди. Мне трудно совместить некоторые вещи, я не могу привыкнуть к католическому упоению мучениями, и не могу испытывать радость и умиление при упоминании о пытках.

Пред алтарями колеблются огонёчки коротеньких толстых свеч. Я поставила свечи за маму, папу и умершего друга. Я раскрыла маленький церковный путеводитель и прочитала: *“Эти шедевры прежде всего являются свидетельством глубокой веры. Посетители смогут вернуться в повседневность духовно обогащёнными людьми, а не просто любящими искусство туристами, если они в какой-то мере ощутили высшую силу, выраженную этими произведениями искусства.”*

В церковь внезапно влилась большая группа женщин в походной одежде и с рюкзаками, а я вышла на двор, на ухоженный погост, где наведён был крестьянский крепкий порядок и высажен ванька мокрый. За каменной оградой возвышалась массивная мельница со слепенькими крошечными оконцами, где теперь живут и сдают “циммер”. Я вышла на улицу — повсюду были клумбы, бетонные корытца, корзинки цветов — красных и розовых гераней, мелких оранжевых астр; на клумбе — шиповник с крупными оранжевыми шиповинами. На подоконнике старой гостиницы пригрелась кошка.

Тихо. Думается — периоды покоя преходящи; зазвенит тоненько и лопнет. И зачем не приветили севшую на ладонь синицу, ища глазами журавля в небе? Казалось, что жизнь вот-вот начнётся, и вдруг, как-то сразу переменялось, и чувствуешь, что жизнь кончилась. А настоящего не было. Живём воспоминанием о том, как были счастливы когда-то, живём надеждой на то, *что будем счастливы когда-нибудь, Бог даст*. Думается — идея Бога в основе своей не только о заступнике, но и о благодарности за жизнь с садиками и поздними яблоками. Кошка на подоконнике размеренно жмурится от удовольствия. Кошка умеет жить. Кошка живёт с улыбкой благодарности. Я хочу научиться жить, как кошка.

Навернуть, даже с голодухи, целый котелок каши не так вкусно, как съесть первую ложку. Как хорошо, что я увидела немного, что я не получила ударную дозу впечатлений, как обычно происходит в большом соборе, где приходится выбираться из-под обломков увиденного, судорожно припоминая, а вот это-то я тут видела, или там, или вообще приснилось? Как хорошо, что за Рименштейндером в Детванг нужно идти и возвращаться по дороге, влажной от тумана, среди падающих яблок. Путешествие по идиллическим окрестностям Ротенбурга представляет собой прекрасную раму для впечатлений, и увертюру, и эпилог.

Я возвратилась в Ротенбург нижней дорогой по другому берегу Таубера. Таубер — ручеёк шириной в полканала Грибоедова, мелкий, очень чистый, с водопадами. Прямо перед мостом на отмели топталось стадо гусей, серых с белым. Увидев меня, они вдруг со страшным криком, стоном, воплем бросились ко мне — привыкли к подачкам. Прохожие посмотрели на них и обрадовались: “Вайнахт!” Я обиделась — ну почему, глядя на гусей — “Рождество”, а в кролика — камнем? Почему я сразу яблоко в карман, хотя и есть не собираюсь? Почему, как только вылупляются цикады, в печати сразу появляются кулинарные рецепты — как их жарить на постном масле, а ведь цикады ждали этого часа 16 лет, терпеливо питаюсь под землёй корешками, для них это конфирмация, бар-мицва, вручение первого паспорта, водительских прав, — ну что там ещё? Но мы уже стоим, поджидаем *с раскосыми и жадными очами* и сковородками.

Один берег Таубера пологий, а другой, на котором Ротенбург, — “над” (“об”) — крутой, почти вертикальный откос. На пологом берегу, вдоль тропинки, растут старые ивы, много раз стриженные. Иногда попадаются домики, и в огородах поднятые грядки, подёртые досками — брюссельская капуста, рядом георгины и анютины

глазки. Ротенбург снизу не виден, вот только один раз мелькнул. А потом крытый мостик и тропинка серпантином, серпантином, серпантином, и вдруг стена, и я в городе.

Ротенбургский собор Св. Якова — протестантский, но не изгнанный реформой. В соборе есть единственная экскурсия на английском, только по субботам и только в три часа. Я думала, меня затопчут “англоязычные” англичане. Но я их никак не могла отыскать. Мне на входе говорят: “Вон туда!” А там по-немецки. Я тогда: “Куда, блин?” Мне: “Туда, блин”. А там по-французски. Я: “Куда, блин?” Тут уж меня берут за руку и отводят к старушке, одиноко стоящей у алтаря Св. Людовика Тулузского (работы Рименшнайде-ра). И она проводит экскурсию только для меня.

Стёкла в соборе большей частью прозрачные, но в алтарной части есть три витража — волшебные города, калейдоскопы в золотых рамах. Центральное окно — самое старое из сохранившихся в Баварии. Стиль — нюрнбергский. Старые сочетания красок: я привыкла к красному с зелёным, и сама теперь такое ношу.

Главный алтарь — алтарь двенадцати апостолов, среди которых есть очкастые, — оплаченный бургомистром-миллионщиком Топплером, в 1466 году, считается одним из лучших в Германии. Это интересная штука — плотный, крепкий ящик, на котором скомбинированы живопись и скульптура. Кто был скульптором-резчиком, неизвестно, но прослеживают влияние великих мастеров цветущего стиля Николауса Герхарта ван Лейдена и Ганса Мюльтшера.

Центральная часть — скульптурная, со ступенчатым завершием. Посредине находится распятый Христос, на фоне синего неба, по которому летят золотые звёзды и мечутся, заламывая руки, золотые ангелы. Кровь стекает по кресту. У его подножия стоят Богородица и Св. Иоанн в золотых одеждах. По бокам ещё по двое святых, в золотых плащах, на золотых консолях под золотыми балдахинами. Св. Елизавета Тюрингская изображена с чайником супа, бедная мученица, княгиня, которая жила чёрт знает как и умерла очень рано, то ли от болезни, то ли от голода. (Она это для них или для себя? И что ею двигало: острая жалость, которую невозможно преодолеть, или слишком буквально усвоенное вероучение?) Поскольку витражи плохо помыты, а алтарь плохо освещён, даже в бинокль трудно разглядеть цветную тонкую роспись по золотому фону, позади фигур святых.

Крылья алтаря расписаны Фридрихом Херлином по золотому фону с обеих сторон. На одном из клейм изображён Ротенбург пят-

надцатого века. Мир золотого неба, красных крыш, белых мостовых, синих одежд. Хорошо выписанные фигуры с чёткими контурами, краски без полутонов, только с тенями, чтобы придать некоторую рельефность. Объёмности в картинах нет. Теперь никто так не рисует, современное сознание отравлено импрессионизмом. Импрессионизм может прикинуться фотографией, но средневековая живопись — никогда. Никогда не забыть, что это рисунок, дистилляция идеи, самая суть без излишних подробностей. В общем, не импрессионисты, скорее Ротко с Кандинским — по чёткости, упорядоченности, любви к геометрии.

В алтарной части вокруг хранилища причастия значительная часть боковой стены заполнена скульптурами, вырезанными из песчаника в 1389 году — нюрнбергская работа. Чувствуются романская архаичность и благородство. Песчаник тонированный — крылья у ангелов ярко-радужные, а у святых одежды расписаны узорами. Краски скорее всего поблекли, поярче были красочки-то раньше! Невозможно не подумать об этом, когда рядом праздничным петухом — алтарь Двенадцати апостолов. Всё, что раньше бесчинствовало карминным и лазоревым, теперь выцвело, облагородилось и больше не плюёт в глаза хорошему вкусу. Налицо некоторая недостача членов. Как тонируют песчаник, не знаю, а ещё не знаю, как у каменной плиты, вделанной в стену, отбивают руки-ноги; чем там ротенбургцы по ней колотили эти шестьсот лет?

Боковой алтарь Вознесения Богородицы приписывают школе Рименшайдера. Сцены уснения и вознесения сделаны в нём по рисункам Дюрера. Мне этот алтарь очень понравился. Меньше мне понравился боковой алтарь Людовика Тулузского, несмотря на то, что Людовик Тулузский (крашенный) вырезан самим Рименшайдерам. Оказалось, что это собственно не алтарь, а современная попытка воссоздания алтаря вокруг одной-единственной статуи Рименшайдера.

В соборе Св. Якуба находится самый знаменитый алтарь Рименшайдера, на втором этаже, в часовне, построенной над улицей. Во всех почти деревянных алтарях есть нечто архаичное и потому смешное, и к ним надо привыкать, как привыкаешь к опере барокко, и уговаривать себя, и переваривать, поливая густым соусом исторических подробностей. Надо себя подготавливать ко встрече со всеми резчиками, кроме Рименшайдера. К Рименшайдеру готовиться не нужно. Я, впрочем, была готова — я видела фотографии. Но какое же он мощное впечатление, — смесь неожиданности, изумления,

восторга, умиления, благоговения, и множества иных оттенков, — производит на неподготовленного? Тем более, что такого не ждёшь после алтарей внизу.

Обрамление для Тайной Вечери сделал талантливый столяр Эрхард Харшнер, по всем правилам готического искусства. И резчик, и столяр — замечательные мастера. Столяр смог понять замысел резчика и сделал минимальную раму для гениальной скульптуры Рименшнайдера, — такую, которая на себя не отвлекает. Венец и пределла сложены из жёрдочек, полупрозрачные, полуневидимые; плотная скульптурная группа корпуса парит в воздухе, в фокусе внимания.

Над фигурами корпуса и крыльев вырезаны своды из тонких стеблей и цветов. В деревянных кустарниках венца и пределлы запутались чаша с реликвией, какие-то фигуры, ангелы, распахнувшие крылья, как голуби на карнизе.

На боковых створках вырезаны барельефы — мастерская работа: законченность поз, глубина эмоций, точность линий, элегантно-искажение пропорций, создающее протяжённость пространства и времени. Одной такой панели было бы достаточно для украшения любого алтаря. Кажется, что большего сказать нельзя, но оказывается — можно, когда переводишь глаза на центральную группу.

Фигуры ретаблей обычно статичны: вот мы жили, вот мы умерли, вот мы обернулись статуями, которые благосклонно и спокойно смотрят на зрителя. Таковы привычные правила игры, но не у Рименшнайдера. Здесь не позируют — живут, здесь спорят Иисус и Иуда, и к разговору прислушиваются все апостолы. Кажется, что не миг пойман фотоаппаратом, а весь трагический ужин запечатлён видеокамерой. С ракурсами и перспективой Рименшнайдер обходится так же свободно, как Ван Гог. Он наклоняет всю сцену к зрителю, так, что можно разглядеть каждого апостола и блюдо на столе, а интерьер сжимает, не оставляя лишнего воздуха, сводя все незначительные подробности к нулю.

Ретабль стоит перед церковным окном, и свет из окна освещает апостолов через прорезанные в стенке ретабля оконца с прозрачными стёклами. Дополнительный свет падает справа и слева из боковых окон часовни. Игра света и тени придаёт скульптуре и рельефам дополнительную выпуклость и порождает ощущение движения и перемены действия.

Кроме нас в этой часовне была немецкая группа, которой рассказывали по-немецки, гораздо подробнее, чем мне. Моя спутница повела меня в самый конец, за скамьи, но и оттуда её английская

речь мешала аккуратным и хорошо одетым немецким старушкам, и они сделали нам замечание. Моя лекторша была несколько пикирована, и думаю, не за себя, а за то, что её соотечественницы не понимают важности просвещения американцев, и вывела меня на авансцену, где мы продолжали тихо переговариваться. Вернее, рассказывала она, потому что я онемела от чувства вины перед старушками: “За алтарь Святой крови ротенбургцы заплатили Рименшнайдеру 50 гульденов, цену дома. А сейчас?” И, не дождавись моего ответа: “Бесценный”. Я посмотрела на руки апостолов, с длинными пальцами, на их ступни, разбитые дорогой, прекрасные, перевела взгляд на руки старухи: карта пигментных пятен и набухших жил, знаки жизни, прожитой не зря, — и заплакала от умиления, как плачу только в русских церквях. Мастер получил не только уговорные пятьдесят гульденов, но и десять сверху — так уж умилились члены горсовета.

Спускаясь с хоров, я извинилась перед старушкой, почему-то по-английски. Она благосклонно простила меня по-немецки.

Потом я перешла во Францисканский собор, в приделе которого есть небольшой ретабль — ранняя работа Рименшайдера: “Св Франциск получает стигматы”. И тут я проявила себя не с лучшей стороны — я забраковала этот рельеф. Нет, пожалуй нет. Безусловно есть приметы руки мастера, но мне эта работа скучна. Может быть оттого, что пока ещё не всмотрелась — времени не хватило. Но орган во Францисканском соборе, — Моцарт, Джон Стенли, Йозеф Райнбергер, и совсем уж мне не известный Луис Джеймс Альфред Лефеври-Вели, — оказались достойным прощанием с днём Рименшайдера. Общее впечатление, “картинка с выставки” — слушаю органиста, а за бутылочными донцами окон облаками плывут фахверки.

Бывает, вдруг вспыхнет страстишка, сродни коллекционированию, азарт грибника. Жадность просыпается: взять — и всё посмотреть у Рименшайдера — в церквях, музеях; насобирать впечатлений, набить карманы, как яблоками. Я устроила небольшое паломничество. Я съездила в Вюрцбург, город Рименшайдера, где готика, барокко и рококо; где замок над городом, от которого к реке прочерчены вертикальные полосы виноградников, где барочная резиденция, расписанная Тьеполо. Ошеломляет обрывочность наследия Рименшайдера в том самом городе, где он прожил большую часть жизни, и где была его мастерская. Ни одного ретабля, только отдельные скульптуры. Благодаря войне, или вообще истории в

Вюрцбурге смотреть почти нечего, добрать разве что по крошечке в церквах и музейчиках.

Есть могильные плиты: мастерская Рименшнайдера выполнила множество заказов этого рода. Скорее всего мастера считали себя ремесленниками, но это было ремесло высшей марки. В наше время скульптор редко снисходит до надгробия, ну разве что какой-нибудь Неизвестный Эрнст сляпает Хрущёва, а то, что мы видим на кладбище, — копии фотографий мелкими точками по полированному граниту — принадлежит резцу и зубилу троечника Мухинского училища. Но раньше фигурные надгробия не всем были по карману, и если уж были деньги, так хватало на Рименшнайдера.

В большом полукупольном, полусовременном соборе Вюрцбурга я подошла к пилонам с двумя знаменитыми памятными досками Рименшнайдера. На первой — Лоренц фон Бибра, князь-епископ, — умер молодым или попросил срисовать на надгробие с фотки по-моложе. У ног его лев загрызает грифона. Посмотрите сами, пойдите в исторических книгах, и проверьте, правильно ли я читаю по лицу, что Лоренц фон Бибра был великолепным рыцарем и не особенно хорошим прелатом, любил модные причёски, рейтузы с прорезями, кафтаны рытого бархата, картины, гобелены, золотые перстни, брабантские кружева и аугсбургские кубки; вино он пил рейнское и мозельское, и плевал на всех с высокой горы вюрцбургского замка.

На второй — князь-епископ Рудольф фон Шеренберг, с мечом и епископским посохом. У ног фон Шеренберга разлеглись с серьёзной миной геральдические львы. Рудольф фон Шеренберг жил невероятно долго, так, что казалось, что уже и не умрёт, но на всякий случай всё-таки заказали ему плиту из царского розового мрамора. Физиономия у Рудольфа страшная, проступают все пороки духовного сословия, которое предпочитало *высокому* куртизанок, азартные игры, обувь с длинными носками, рейтузы с прорезями и модные причёски. Да, *разве мама любила такого?* Мамы-то любят всякого, но куда подевался невинный младенец, робкий юноша? Вот старая противная черепаха! Сволочь наверно надменная.

Ну как, я угадала? Нет? Нет ничего глупее воодушевлённого описания скульптур (“Смотрите! Смотрит! Как живой! У-у, глаза-то какие! Марсовское в них что-то! Сразу видно, что окончил Дзержинку в 63 году!” И т. п.). Вот например Рудольф фон Шеренберг, которого мы только что так славно разделили, был человеком редкого благородства, и если знать об этом, покажется, что Рименшнайдер изобразил красивую старость. При желании с классовых позиций

можно столько гадостей насочинить и про фон Бибру, и про фон Шеренберга, и таким социальным критиком подать художника. Но скатывались ли конкретные художники до карикатуры или до лести, мы не знаем — слишком эфемерны и субъективны впечатления от портретов. Про портреты испанской королевы Луизы, сделанные Гойей, писали, что на лице её проступили все свойственные ей пороки, но пороки ли это? Может быть просто уродливая маска, которую время навешивает на всех без разбору; на виноватых и не виноватых? Маска, сквозь которую проступают внимательные глаза умной, страдавшей женщины.

Мне нравится лицо королевы Луизы, мне нравится лицо Рудольфа фон Шеренберга, но есть и “но”: в их положении трудно не показаться жестокими и несправедливыми, трудно не иметь двух лиц. Поэтому поостережёмся с любовью; просто отметим, что плиты, сделанные Рименшнайдером, обращают на себя внимание, чего и добивались Лоренц фон Бибра и Рудольф фон Шеренберг. А прочим князь-епископам обратить внимание на свои дорогостоящие мемориалы, выполненные не Рименшнайдером, не удаётся.

В том же Вюрцбурге, в Мариинской капелле на могильной плите выбит из камня рыцарь Конрад фон Шаумберг. Лев, на котором он стоит, не испытывает никаких неудобств и благодушно жуёт гербовый щит. Фон Шаумберг, сверху донизу запаянный в латы, — это маленькая (ниже меня) машина для убийства других риттеров; хотя? Может быть, для защиты вдов и сирот. Вдовы и сироты вспоминаются из-за благородного и печального лица рыцаря и волос его, длинных, вьющихся, пышных — как у Св. Иоанна. В глазах его проглядывает прекрасная душа. Я вышла из церкви в коридор и увидела доску с фотографиями молодых мужчин с лицами риттера Шаумберга. Под фотографиями была подпись — “Братья нашего монастыря, пропавшие без вести во вторую мировую войну”.

Если не соглашаться на ошмётки, остатки, так небрежно сохранённые потомками, и искать цельного впечатления, можно поехать в Креглингген. Там, в Креглинггене есть ретабль, похожий на ротенбургский. Я там не была, сужу по фотографии. Там тоже высокая рама из фантастических ростков, и в её готических зарослях застрял триптих: распятие и створки с барельефами (Гефсиманский сад и Вознесение). Но нет, всё не так — и венец, и пределла тяжёлые, и рама триптиха тяжёлая. А Вознесение Богородицы статично. И два ряда барельефов — ну зачем там два ряда? Каждый прекрасен, но их много.

Ретабль Ротенбурга — уникальный. Он не превзойдён, и если разрешается посмотреть только что-то одно, так это должен быть ретабль Ротенбурга. А если всё смотреть, так ротенбургский ретабль последним, чтобы потом не огорчаться.

Всё, что я вижу в немецких церквях, мне интересно, всё привлекает моё внимание, но ощущение гармонии возникает только от Рименшнайдера. Рименшнайдер особый. Про всё посоветуешь: “пойдите, посмотрите, это любопытно”, а про Рименшнайдера скажешь иначе: “это красиво”. Работы Рименшнайдера каждому нужно увидеть, как эстампы Дюрера, как картины Рембрандта.

Чем для меня Рименшнайдер особенный, что я вижу в его скульптурах и барельефах за вычетом элегантности, художественной цельности, или благодаря ним? Что я ценю, что для меня самое важное, что останавливает мой внимание, что трогает? Человеческое достоинство. Да, пожалуй. И во многом другом то ли его нет, то ли я не вижу, не воспринимаю, потому что моя душа недостаточного чувствительна, но от фигур Рименшнайдера исходит такой мощный импульс, что даже мою грубую оболочку прошибает. Неужели были когда-то такие немки? Да и сам Рименшнайдер, то стражником, то врачом прикинувшись на барельефе, откуда такой уродился? Кого, кого из моих современников постричь, побрить, помыть, чтобы стал, как резчик из Вюрцбурга? Ну, может быть, немецкий тенор Йонас Кауфманн... Размылась, что ли, эта кровь? Или вовсе *не было этого?*

Рименшнайдеру вменяли в укор: шварк, шварк ножичком, и выходит округло, гладко, полные щёчки. А в жизни все худые, измождённые, носатые, скуластые. Ещё ругали за то, что лица похожи. Лица? Так ведь он и изображает одних и тех же лиц. Почему Ленин всегда лысый? Почему Карл Маркс всегда волосатый? Надо бы разнообразить, надо, чтобы *весь курчавый, без волос, как картошка длинный нос...* (папина присказка). Но раз уж Маркс всегда Маркс, то и Св. Иоанн всегда Св. Иоанн. И вид у него благообразный потому, что заботы не о том, чтобы дачу купить. Нет никаких сомнений в том, что Рименшнайдер, если и не любил, так ценил людей и видел в них всё лучшее. Морально убогих мерзавцев у него не найдёшь. Справедливости ради признаюсь также, что в процветающей мастерской их была там целая ватага, и поэтому некоторая унификация была необходима — чтобы школу Рименшнайдера отличили от школы Фейта Штосса.

Рименшнайдер был успешен — у него заказывала вся Франко-

ния. Биографию Рименшнайдера я приобрела по-немецки, чтобы подешевле, — на английском дороже. Эту книгу написал Лео Брюнс, а купила её в первый раз Кэтлин в Ротенбурге над Таубером в 1983 году (есть такие люди, которые непременно метят книжку). Через мои руки прошло много подержанных книг — в основном библиотечных, или одолженных у друзей. Поэтому я знаю, что книги связывают нас не только с автором, но и с множеством других людей — пометками на полях, износом от прикосновений. Природа книги двойственна. У неё есть идеи, у неё есть тело. Может быть у неё есть душа? От бывших владельцев, читателей, почитателей остаётся загадочный след — они были, но какие? Кэтлин было, ну, скажем, двадцать, и билет в Германию её купил папа, чтобы она усовершенствовалась в немецком. А сейчас Кэтлин 50, она забыла немецкий и продала книжку. Или ей тогда было пятьдесят, она выучилась немецкому в Институте Гёте после того, как младшенький уехал в колледж. Теперь Кэтлин восемьдесят, она переехала в дом престарелых, а книгу продали внуки (хоть шерсти клок?).

На обложке — автопортрет резчика на Богородичном алтаре в Креглингене, где скульптор придал участнику массовой портретное сходство с собой. Сквозь лак на фигуре проступают годичные кольца дерева. На лице и шее Рименшнайдера складки и морщины — годичные кольца человеческого тела. И лицо у него невесёлое. Не потому, что депрессия, не потому, что у него, как у многих гениев, МДП, а дела не веселили. Рименшнайдер — человек трагической судьбы, как впрочем и многие люди искусства — возьмите, например, Шостаковича. Шостаковича чуть не смолотили в Гулаге, когда он выдал свой никому в политбюро не понятный сумбур. Что касается Рименшнайдера, он пострадал не как резчик, а как бургомистр Вюрцбурга. Во время очередной разборки между рабочекрестьянскими реформаторами, князь-епископами и Католической лигой Городской совет Вюрцбурга принял сторону крестьян. Когда город был разгромлен, бургомистра и горсовет — в пыточную. Рименшнайдеру перебили руки, и больше заказов у него не было. Нет, не надо мне биографий; и раньше не надо было; сперва не хотела, чтобы душа гения обростала некрасивой плотью, но не это оказалось самое страшное, а страшно узнать, что хороших концов не бывает — Цветаева повесилась, Рименшнайдеру перебили руки.

“Прошли века” (вполне подходящее выражение, ибо Рименшнайдер жил в пятнадцатом, а мы в двадцать первом), — что стало со славой Рименшнайдера? Сначала любили, потом забыли. Почему, — удивляется книжечка, — Рименшнайдер, из немцев немец, квинтес-

сенция немецкой души, был неизвестен Гёте и его современникам, забыт на века, заслонён барокко после того, как над ним поглотились иконокласты? Почему переоткрыт он был только девятнадцатым веком? Мой ответ (не обязательно правильный) — потому что романтизму близка идеализация — воротились на круги своя. Тильман Рименшнайдер запечатлел идеальную немецкую красоту. Но тогда почему воскресший Рименшнайдер снова не умер вместе со всеми романтиками? Потому что Рименшнайдер не привязан к конкретному времени, потому что в нём есть и символизм, и модернизм, и постмодернизм, — Рименшнайдер всегда современен.

Тильман, Тиль Рименшнайдер — единственный немецкий резчик, который трогает современного человека. Неискупённый устремится гиперреальности раскрашенных фигур Фейта Штосса, но тёплое тёмное дерево Рименшнайдера не стремится обернуться плотью. Фигуры Рименшнайдера — между миром сим и тем.

Мейстергранк

В Ротенбурге есть два места, которые фотографируют очень часто. Первое — это V-образная развилка на пути к моей гостинице, где от улицы Шмидгассе ответвляется и уходит вниз Кобольцеллештайг. У этой развилки среди цветника и кустиков торчит каменная колонна с вазой, из которой вырастает каменный ананас, а может быть сосновая шишка — оба этих плода имели в средневековье символическое значение. Это фонтан. Так же, как и другие фонтаны города, он поставлен в каменный бассейн с высокими стенками. У средневековых фонтанов были выдвижные трубы. Такие фонтаны — цветные и с какой-нибудь фигурой наверху, можно видеть во многих городах Германии и Швейцарии. Чисто немецкая экзотика. Требуите фахверк и фонтанов со странными фигурами!

За фонтаном стоит островерхий дом кораллового цвета с прелестнейшим фахверком на фасаде. Я столько раз уже произносила “фахверк”, что все, кому это мало-мальски интересно, уже посмотрели на интернете, что это такое, но всё же напомним, что фахверк это деревянные балки, между которыми набивают кирпич с цементом, и эти балки, покрашенные в красно-коричневый цвет, образуют красивый упорядоченный узор на фоне светлой штукатурки.

Шмидгассе ныряет под арку башни Зибер, а Кобольцеллештайг — под арку башни Кобольцелл. Обе башни похожи — сложенные из крупных блоков, частично оштукатуренные, высокие, четырёхугольные, увенчанные четырёхскатной крышей из красной

черепицы. Разумеется, однойцевых близнецов средневековые масоны не плодили: приглядевшись, можно найти множество различий, и не только между разными башнями, но и между разными фасадами одной и той же башни. На башне Зибер установлены красивые часы с разноцветным циферблатом, и множественное число часам тут к месту, потому что циферблаты есть и с северного, и с южного фасада.

Пройдя по Шмидгассе, попадаешь на знаменитую площадь Ротенбурга, которую тоже часто фотографируют. Площадь эта сильно наклонена, и особенно это заметно по ступенькам, которых с одного конца ратушной аркады очень много, а с другого они сходят на нет. Эта аркада тянется вдоль всей западной стороны площади. Ратуша, сложенная из крупных блоков светло-коричневого песчаника (а может быть просто им облицованная) принадлежит стилю Возрождения, но раньше на её месте стояло готическое здание, ныне сгоревшее, — хорошенькое такое, беленькое, без оконных дырок в крыше, и с торговыми рядами вместо галереи. Увидеть, как тут всё было раньше, можно на одной из панелей главного ретабля собора Св. Якуба. На картине в ворота готической ратуши заезжает телега с мощами Св. Якова, очень по-простому, по-народному изображённая, как рисуют дети и старые бабушки. Рядом с фасадом ратуши нарисован ещё один готический фасад, увенчанный башней. Если перебежать от картины на площадь, увидишь тот же фасад номер два. Оказывается, ратуша и тогда, и теперь состояла из двух вытянутых зданий, стоящих параллельно, и второе здание не сгорело и осталось тем же, что и было.

Пройдя в ворота, оказываешься в пассаже между стенками двух зданий. Из пассажа вход в старую тюрьму, и пыточный музей, осматривать которые у меня охоты не было. В путеводителе есть фотографии экспонатов — инструментов, облегчающих работу палача. В музей затесались и простые обиходные предметы, которые в наше время уже не используют. Вот например... Какое грязное существование, — грязное в буквальном смысле, — влачили женщины в поясе целомудрия. Этот пояс — квинтэссенция тысячи лет самого утилитарного рабства и зависимости, бесстыдно прикрытого словоблудием о любви и священной роли женщины в семье...

Посредине к фасаду приставлена вертикально большая колбаса того же горчичного цвета: лестничная башня. У лестниц в зданиях роль непонятная, сиротская, места на них жалко, хотя они и необходимы. Сейчас их встраивают внутрь здания, даже если оно маленькое и узкое. В барочных зданиях лестницы были большие,

спиральные, в специальной башне, пристроенной к зданию.

Я попыталась прорваться в Ратушу, чтобы увидеть знаменитый Кайзерзал, но оказалось, что туда пускают только с экскурсиями, а как купить билет на такую экскурсию, мне в турбюро не объяснили, вероятно из-за языкового барьера. Самое знаменитое в этом зале, судя по картинкам, — нарядный деревянный потолок и каменный раскрашенный барельеф Страшного суда, на мой вкус страшный, как суд, но в своё время всех восхитивший.

С северной стороны площади стоит муниципальное здание Ратцхерри-ринк-штубе (удобнее всё-таки делить эти слова на осмысленные фрагменты). Здание это старинное, с треугольным фронтоном раннего барокко, на котором один под другим находятся три циферблата. Самые верхние часы 1768 года, с квадратным циферблатом, — солнечные. Под ними циферблат городских часов 1683 года, на котором только дни месяца. Под ним в 1919 году наконец соорудили нормальные часы, понятные большинству, или по крайней мере тем, которые умеют считать по-римски до двенадцати. И ещё там есть два окошка — обычных таких квадратных немецких окошка. Когда они зарыты, на них и смотреть не хочется. Смотришь вместо этого на часы или на каменный макет имперского орла. Но когда окошки распахиваются, в них показываются хорошо покрашенные фигуры бургомистра Нуша и маршала Йохана Тилли. Бургомистр подносит ко рту пивную кружку; не быстро, не так, чтобы смаху зубы себе выбить, нет, медленно, — так медленно, что не сразу заметишь. А Тилли крутит головой быстро и заметно: “Вот дает парень!” Эта мистерия разыгрывалась на моих глазах два раза и неизменно имела аншлаг и успех. Толпа реагировала горячо — хохотала, смеялась, аплодировала. Группа мотоциклистов, все в черном, салатовала отважному бургомистру канонадными выхлопами. Нуш выпивает по три литра, начиная в 11 утра, потом в полдень, в час, в два, в 3, в 8, в 9 и в 10. С трёх до восьми почему-то перерыв. (Вопрос с “камчатки”: “А почему пьют не каждый час, и круглые сутки? Или из них нужно выливать то, что они выпили?” Не тяни руку, Чугуненко, и не задавай глупых вопросов.)

Пьют они в честь красивой легенды. Дескать, во время Тридцатилетней войны Йохан Тилли, командир имперской армии, припёрся в протестантский Ротенбург. Тут ему вынесли Майстертранк — кружку с вином объёмом 3.25 литра, но не в качестве угощения: предложили выпить её на его глазах, залпом. Тилли мог бы выпить эту кружку сам, но вместо этого он целых десять минут наблюдал, как эту кружку высаживает бургомистр Георг Нуш. По каким-то

причинам, может быть не очень лестным для Тилли, этот подвиг вызвал у него огромное уважение, и он пообещал не разрушать замечательный город, в котором живут такие люди.

Каждый подвиг хочется примерить на себя. Я знаю, что я могу выпить сряду четыре литра, стакан за стаканом, но не залпом, а за полчаса, переводя дыхание. Знаю потому, что я всегда выпиваю галлон апельсинового сока, если простужена, и это мне здорово помогает. В следующий раз я попробую выпить сок залпом, прямо из пакета, не отнимая его ото рта, за десять минут. Если получится, я постараюсь оттренировать себя на девять минут, чтобы побить рекорд Нуша. Я считаю себя вправе заменить вино соком. Вино вначале — просто жидкость, пока оно не переварилось и не впиталось. Вспомним прекрасный совет художника Дмитрия Шагина о том, как проникать пьяным в гости, куда пьяных не пускают. Надо на лестнице опрокинуть в себя майстертранк красного и тут же позвонить в дверь. Хозяева открывают, видят, что ты трезвый, пропускают в прихожую, и тут ты на их глазах ни с того ни с сего начинаешь косеть...

Майстертранк, хранящийся в городском, Райхштадт-музее, оказался стеклянный. Правильно! В оловянном не видно, пьёшь ты, или прикидываешься. Отметила две интересные особенности. Первое — у майстертранка объём огромный, а ручки нету, так что уронить его ничего не стоит, тем более он стеклянный, скользкий. Второе — он некрасивый, много хуже тех, которые делали лет за сто до него в Тироле; те были с гравировкой и золотыми узорами, а на этом намалёваны, грубо, хотя и ярко, кайзер Матиас и его электоры. Мода на такие аляповатые кубки пришла в Германию из Венеции через Прагу.

Напротив ратуши, на восточной стороне площади стоят старинные дома с кондитерскими на первых этажах — так вряд несколько кондитерских. И в каждой продают толстые комки теста, облитого помадкой (“снежки”, шнееболхен, ротенбургские пончики), но я их даже не решилась попробовать. Они просто кричали всем своим видом: “Чересчур!”

С южной стороны находятся два знаменитых дома: дом патриция Ягстхаймера и мясной танцевальный павильон, у которого в средние века была двойная функция — в первом этаже разделявали мясные туши, а на втором танцевали. В этих домах по шесть этажей; нижний — каменный, а над ним фахверк, и последние три этажа забраны под крышу.

Перед танц-мясным зданием и домом Ягстхаймера стоит самый... сложный фонтан Ротенбурга. Я хотела сначала сказать “красивый”, но запнулась. Сейчас никто из нас не захотел бы установить такое у себя на даче. Это пёстро раскрашенная колонна с узорами, у подножия которой сидят какие-то каменные трудящиеся, а на капители конный Георгий Победоносец убивает дракона. Фонтан был одновременно пожарный водоём и рыбный судок — видимо, чистотой воды тогда себя не озадачивали. Пили в основном вино или пиво. Говорят, Микеланджело предупреждал: “Никогда не мойтесь, от воды все болезни”.

На выходе с площади, на Обершмидгассе, стоят два патрицианских дома, самый знаменитый из которых — Баумейстерхаус, Дом Баумейстера — главного архитектора или Мастер-Строителя, построенный тем же архитектором, что и Ратуша — Леонардом Вайдманом. Если его сосед Ягстхаймер выстроил дом средневековый, красивый, интересный для нас, большой, но с маленькими окнами и наверно внутри разделённый на небольшие комнаты, хотя их много, то Вайдман строил уже в стиле ренессанса, и денег наверно было у него побольше, поэтому фасад облицован камнем. Вдоль второго и третьего этажей стоят кариатиды — семь добродетелей, и семь смертных грехов. Два путеводителя, может быть сговариваясь, утверждают, что в одном ряду добродетели, в другом — грехи, но я тут же запуталась — вот например трудящийся держит двоих детей — это грешно или добродетельно? У меня создалось впечатление, что грехи от добродетелей ничем не отличаются. Вопросы атрибуции неожиданно прояснились в краеведческом Райхштадтмузее — не пренебрегайте! В этом дивном музее, который от Эрмитажа отличает только отсутствие картин, мебели и наборных паркетов, есть, например, самая старая в Германии кухня, очень неудобная, и серия картин из Францисканского собора: Ротенбургские страсти, написанные Мартинусом Шварцем с колоссальной средневековой экспрессией. Напоминают того знаменитого итальянца, как его? Карпаччо? Так вот, там же выставлены и подлинники с фасада Баумейстерхауса с подписями. Оказалось, что грехи и добродетели перемешаны, и всё дело в реквизите: одна змея — предательство, две — мудрость; ягнёнок — кротость, баран — прелюбодеяние, и т. п. Да, а двойня — это патриотично.

Я зашла в кафе Баумейстерхаус, опоясывающее внутренний крытый двор с деревянными галереями и росписями. Потолки, по крайней мере на первом этаже, высокие. Каков был интерьер раньше,

трудно судить. Сейчас потолок балочный, как в старину, расписной, а на стенах рога, набитые на деревяшку, и старинные портреты неизвестно кого, в мелкой сетке трещин. Стулья грубые, деревянные, но с мягким сидением. Скатерти псевдо-гобеленовые, розово-зелёные. В Баумейстерхаусе подают традиционную немецкую еду. Я заказала франконский картофельный суп, который оказался просто-напросто водянистым супом-пюре, и я его со скуки сильно наперчила, и жареные маульташен, то есть нарезанный на кусочки рулет: тесто вроде пельменного, и начинка из шпината.

Я знаю, что мне надо садиться спиной к зрителям, потому что друзья подсказали мне, что я противно жую, но как тогда разглядывать людей? Говорят, Ротенбург любят американцы — он плакатный, образцовый. Но и русские тоже любят. Это ведь русские за соседним столиком, такой беззастенчивой хной отливающие? И куда это они пошли с хохотом и гомоном? Ну конечно в туалет, за дверью матового стекла с кованой железной решёткой. Да, это наши дамы. Но большинство дам не наши — немки: полные, но что-то в них не нашенокое всё же. Прекрасно ухоженные старушки, подстриженные модным седым ёршиком — хочется погладить по голове. А наши, во времена моего детства, были страшные — седина с желтизной, закапанное платье, и в кафе не ходили.

Помню, когда меня приняли в пионеры, я решила помогать старушкам и высмотрела в гастрономе согбенную, с тяжёлой сумкой, в которой была бутылка бочкового кваса. Я предложила помочь. Она испугалась. Я этого не поняла. Мы потащили сумку вдвоём — старую облезлую сумку с тонкими ручками. По дороге старуха обронила несколько бессвязных намёков, из которых выходило, что она нечаянно написала в магазине и разбавила лужу квасом для маскировки. За светской беседой мы дошли до двери, старушка завладела второй ручкой и сказала: “Иди, девочка, у меня для тебя ничего нету”, — но мне понадобилось ещё тридцать пять лет, чтобы понять, что помогать нужно, только если попросят.

Не знаю, правда ли, но говорят, что в штате Ротенбурга до сих пор официально числится ночной дозорный. Но денег ему вероятно не платят, потому что он всё время напоминал о том, что в конце экскурсии он пойдёт с шапкой по кругу. Экскурсия дозорного началась вечером, после наступления темноты. У дозорного оказался длинный балахон, алебарда (секира) и фонарь. Дозорный сильно напомнил Хазанова времён кулинарного ПТУ, и реагировали на него, как на Хазанова — заунывный голос всегда вызывает смех.

Было прохладно, и я радовалась тому, что у меня очень толстая куртка. Нас было очень много, но дозорного всегда было слышно. Он рассказывал нам о средневековом городе, и для смеха говорил “мы”, а не “они”. Комический эффект этого “мы” связан с тем, что жители средневекового Ротенбурга просто обязаны уже быть далёкими, чужими и не имеющими к нам никакого отношения. И действительно не имеют, если мы не отсюда. Но вот многие патриции до сих пор живут в этих своих домах, и только дверные звонки отвинтили, чтобы не беспокоили попусту.

Я узнала подробности о Тилли и Нуше. Оказывается, Тилли запланировал кормить свои войска от щедрот Ротенбурга, что Ротенбургу не понравилось. Ротенбург понадеялся на свои стены. В Ротенбурге тогда жило 6 тысяч человек. Мне-то кажется, что даже если выставить на стены все шесть тысяч, включая младенцев, защитить такие протяжённые укрепления невозможно. Но тем не менее ротенбургцы много дней держали оборону против 30 тысяч солдат и даже убили из них 3 тысячи. Следовательно, я не понимаю искусства средневековой обороны. Кончилось всё, как часто кончается в России, а для немцев несколько неожиданно. Какой-то болван полез с факелом в пороховой погреб, который хранился в одной из башен, взорвал эту башню вместе с собой (то-то он был удивлён!) и таким образом проложил путь неприятелю. Дальше пили из мейстертранка, а может быть и нет, но естественно потом солдатня, всё объела, как саранча, и после этого Ротенбург утратил свое значение. (Я имею в виду банально-пошлое значение слова “значение” — экономическое.) До войны-то Ротенбург был значим, богат, потому что сидел прямо на торговом пути: то ли он учуял, прибежал и сел на этот торговый путь, то ли торговый путь его сам нашёл, потому что ведь где-то же надо устроиться на ночлег. Как бы то ни было... но после военных разорений заторговали уже в других местах.

Историю бомбёжки Ротенбурга в 1945 году дозорный приберёт на конец. История тёмная; история всегда тёмная. Что-то замечено в углы, или рассказано от балды... Вот она, как её рассказывает ротенбургский ночной дозорный. Ротенбург бомбили в туманный день, и многие бомбы попали мимо. Решено было его прикончить в солнечный день. Но нашёлся среди американских командиров человек, которому пришла в голову необычная мысль — предложить немцам сдаться. И те сдались. И второй бомбёжки не было. Зачем была первая бомбёжка, под самый конец войны, когда немцы повсюду уже сдавались, тоже неясно. Заботливый американец вырос

в доме, где был ландшафт Ротенбурга, написанный его матерью. Большинство американских командиров росло в доме без картин, и для них Ротенбург был скоплением старых сараев, на месте которых неплохо выстроить новенькое.

После экскурсии я вернулась домой и выпила горячего чаю. Зачем в номере чай? Да в общем как-то непривычны мы в кафе чаю просить. А привыкли путешествовать с кипятивником. Только у моего кипятивника вилка не та, и нужно пользоваться переходником, и не забывать его потом выдёргивать из штепселя, а то в следующей гостинице чаю уже не напьёшься. Для того, чтобы выжить в гостинице без ресторана, существует множество испытанных рецептов. Например “Разбухающая каша”. Берёте термос с широким горлом, насыпаете гречневой крупы, заливаете кипятком. К вечеру вместо воды с крупой — приемлемая и тёплая каша. Или “Цыплёнок утюга”. Готовится, как цыплёнок табака, но нужны два номера с утюгом, и тогда куриную грудь зажимают между двух горячих утюгов — и до готовности. И ещё сюжет, который я собираюсь продать Конан-Дойлю: “Ядовитая заварка”. Где-то, в каком-то японском отеле люди выпили чай и спустили заварку в унитаз. А потом советскому посольству прислали счёт. Оказывается, заварка убила полезных бактерий, которые занимались в этом отеле очисткой сточных вод.

Фахверк в тумане

Новый день... мне снилась коммуналка и ванна в кухне за занавеской. В ванне мылся японец и просил полить ему на голову из кружки.

В день отъезда я съела прощальный завтрак в отеле. У входа в залу, служащую столовой, меня встретила большая пушистая собака. Не было сомнения в искренности её интереса, и она неохотно со мной рассталась. Во всех нас, живых — собаках, кошках, людях, — есть глубина и способность к сопереживанию, которая заглушена в обыкновенном человеке эгоцентризмом, тревожностью, потребностью хапужничать, хитрить и выгадывать, добиваться удобного места под солнцем. Есть исключение. Мне встречались те, кого мы зовем “умственно-неполноценными”; у них была тёплая расположенность к людям, готовность потратить на них время, отсутствующая у “нормальных”. Я, нормальная, сосредоточилась на собственном пупе и много хорошего и важного не сказала родным и близким, хотя встречались каждый день.

Но надо сказать, что в философских ретроспективах при всём их благородстве есть существенный минус — они портят настроение и отвлекают от настоящего, а ведь именно настоящего-то у меня нехватка: прошлого пруд-пруди; будущее тоже наверно есть, по крайней мере в мечтах, но как бы вот сейчас порадоваться? Завтраку? В зале я была одна. Я пила и чай, и кофе. (И дома с утра так же: выпью чашку чаю, а потом вспомню, что нужно на работу, расстроюсь и завариваю кофе.) Завтрак был братом-близнецом вчерашнего. Наверно, если жить в гостинице месяц, надоест. Предлагали майонезный салат с крабами. Заинтересовалась. Взяла ещё ложку, распробовала. Нет, пожалуй колбаса, а не крабы. Понравилось яблочное варенье. Я взяла добавку и заметила, что на банке написано “киви с апельсинами”. Хм.

Встать рано, без принуждения, не на работу, выйти на туманную улицу — вот истинное блаженство. Холодные иголки тумана царапали горло, что меня обрадовало. Я люблю и сырость, и серенькое небо; они меня возвращают в детство, когда большой каменный город берёт меня в ладонях и осторожно дышал приморским туманом; я вспоминаю и белую пелену за окном, и марево над высыхающими лужами просёлочной дороги, и залив под толстым одеялом из мириада мелких капель.

Ротенбург был разбомблён, и серьёзно, судя по фотографиям, но всё восстановили, как было. Было и есть вот как. В общем впечатлении важную роль играет соотношение ширины улицы и высоты зданий. Не то, чтобы существует оптимум, золотое сечение, — нет. Соль в том, что разное соотношение рождает разное впечатление. Когда в Чикаго оказываешься (я люблю Чикаго), там здания выше ширины улицы раз в восемь, или больше, и кажется, будто ты в ущелье какого-нибудь Терека, из которого временно ушла вода. В Мадриде на главном бульваре чувствуешь себя, как в устье Невы, в самом широком его месте: тут можно завалить дома с обеих сторон на мостовую, и всё равно останется солидный промежуток. А в Ротенбурге ширина соответствует высоте здания без крыши. Плюс на каждом крыше высотой в один или два этажа. Канал Грибоедова? Коломна? Но из тумана встаёт не Петербург — даже моего воображения на такое не достанет. И с провинциальным городком вроде Петергофа параллели провести не удастся. Даже ровесники Ротенбурга — Господин Великий Новгород, Псков Великий, вольные, процветающие, ещё не растоптанные Иваном Грозным, и те выглядели по-другому — и дома, и башни другие.

Местами улицы перегорожены башнями с арками; это остатки внутренней крепостной стены, окружавшей когда-то старое ядро города. Дома в основном повернуты к улице треугольными фронтонами. Фасады у них белые, или охристые, или жёлтые, или коралловые, или бледно-зелёные, с оранжевыми спичками фахверка. Особенно приятны маленькие круглые эркеры угловых домов, со своими собственными коническими шапочками. На домах доски: “Здесь останавливался кайзер Карл и кайзер Максимилиан”.

Глаз останавливается на мелочах; они способны скрасить даже самое бедное жилище, а прятничный Ротенбург делают просто нарядным. Герани, красные, только однажды встретила белая пена. Плети дикой ползучей лозы, с листьями красными, как моя сумка, горящими среди поздней тёмной зелени. Вывески кованого железа: сложный, витиеватый кронштейн из тонких прутьев, листьев, волют, и на нём, тоже в какой-нибудь извитой тонкой раме, плотнёвская фигурка — роза, солнце, всадник, лебедь, олень. Некоторые беззастенчиво раскрашены, а большинство вызолочены. Они забавные, и восхищают безусловным мастерством — вот ведь что выковали тяжёлым молотом из твёрдой раскалённой поковки, — вспоминается рассказ русского писателя о человеке, который занимается кузнечеством, и его просят отковать шестигранную гайку. А он делает пятигранную, и подмастерье думает: “дурак не умеет считать”, а хозяин кузни, посмотрев на пятигранную гайку, говорит: “вот это всем мастерам мастер”. И ещё вздыхаю о петербургских балконных решётках — невоспетых шедеврах, которые при мне стремительно исчезали, потому что балконы из-под них выкрашивались.

Пастельные краски домов, вдвое приглушённые туманом, настроили на неторопливый лад. Народу было... да никого не было, только я и оранжевая машина, которая вывозит помой. От неё было не скрыться.

Я вышла за ворота Бургтор в городской сад-палисад Бурггартен. Я постояла у балюстрады на обрыве — не верится, что между двумя берегами может быть такая разница в высоте. Слева и справа от террасы — языки оврага, обстроенные стеной старого города, под которой высажены ровные рядки виноградных лоз. Внизу виден Таубер и за ним лесочки и хуторы, и мельница, и дачка Топплера, напоминающая упитанный скворечник или маслёнок. Топплер хотел иметь хороший метраж, но не платить за него налогов, а налоги взимались за ширину нижнего этажа. Вот он и нарастил на узкую ножку широкую шляпку. На гербе Топплера из шлема вылезают

руки с игральными костями, предсказывая, что в конце жизни Топплер заиграется. Таки да — Топплер неправильно расписал пулю в политической игре и погиб в темнице. Но ведь не он один, в темнице побывали многие; среди них — мэр Вашингтона Марион Берри, на которого многие чуть ли не молятся, хотя он таскался по проституткам и нюхал с ними кокаин. Очень трудно, будучи там, наверху, провести границу между “можно” и “нельзя”.

Удивительно, что в 1356 году здесь произошло землетрясение, которое разрушило находившийся на месте Бурггартена дворец Гогенштауфенов. Тоже мне, Анды. Откуда берутся такие вот землетрясения вдали от разломов земной коры? Здесь можно рассказать о единственном в моей жизни землетрясении: я решила, что сорвался ротор центрифуги, и побежала её выключать, а все японцы спокойно встали и покинули наше здание. Если бы у нас работали Гогенштауфены, они бы тоже наверно ушли.

Из развалин дворца собрана часовня Блазиуса, которая теперь стала мемориалом погибшим в первой и второй мировой войне. Внутри было высоко и пусто. Вверх уходила лестница к деревянной галерее. Над окном на верхотуре парил ангел с ни к чёрту не годными крыльями, — как у немецкого орла: чёрные, с редкими перьями. На стене — старые выцветшие росписи, списки погибших. Кому — немцам, или всем? Немцам. В немецком городе — позволительно. У нас делают русским солдатам. Подруга рассказывала — история из последних, самых новых... — про батюшку на окраине Петербурга, который предложил прихожанам на незастроенном ещё пустыре, где пролежала когда-то линия фронта, поставить памятник павшим, всем павшим, и немцам и русским — жертвам войны, жертвам правительств.

Снаружи часовни памятник евреям — жертвам погрома 1298 года; не последнего.

Я вернулась к городским воротам. Эти ворота очень бы подошли к мультфильму о Золушке или Белоснежке. Передо мной была большая арка, к которой были пристроены широкие и низенькие круглые башни с островерхими шляпками. За аркой виднелась другая, над которой построена была башенка с двумя турельками. А над всем этим торчала, как восклицательный знак, длинная и узкая надвратная башня крепостной стены. Такие же тройные ворота с двориками устроены ещё у пары башен. Их строители, разумеется, руководствовались не живописностью, а целесообразностью — как лучше всех перестрелять и обварить кипятком. Но польза и случай-

ность обернулись красотой. Да и вообще весь город — это красота пользы.

Ротенбург с трёх сторон был добросовестно прикрыт серьёзными стенами, а с четвёртой был обрыв и там стены невысокие, иногда в человеческий рост, поросшие тысячелистником, полевыми фиалками и ромашками. Вдоль тыльных толстых стен со множеством башен идёт деревянная галерея, с которой смотрят внутрь, на средневековые улицы. В стену на галерее вделаны плитки с именами людей, которые дали деньги на восстановление Ротенбурга — со всего мира, и из самого Ротенбурга тоже. То и дело видишь табличку “Отель такой-то, в двухстах метрах”. Галерея была “узкая в бёдрах”, и встречные мешали, разойтись с ними было трудно. У галереи была своя черепичная крыша, видная изнутри, и я открыла секрет кладки черепичин. У них есть выступ, которым их зацепляют за поперечные рейки, лежащие на стропилах.

Я заглядывала с высоты во дворики и садики. С деревьев осыпались груши и яблоки. Эта прогулка даже самому бестолковому объяснит, почему город зовется Ротенбургом: красные крыши, из которых торчат серыми папиросами трубы; крыши, крыши, крыши. Черепица бывает красно-бурая (старая), или гончарно-красная (новая), и некоторые крыши темны, а другие светлы, а третьи пестры, а четвертые совсем как морские свинки, с большими пятнами и вкраплением стеклянных черепичин. Окна крыш здесь по очертанию как глаза, живые глаза домов — веко приподнялось, блеснул зрачок стеклянного окошечка, а за ним на подоконнике лампа с красным абажуром.

Сойдя вниз, я зашла в случайно уцелевший в веках Дом ремесленника (хандверкера) — Альт-Ротенбургер Хандверкер-хаус. Это здание 1270 года, самое старое в Ротенбурге. Очереди в него не было. Я прошла мимо девчужки, стоявшей на улице, зашла в музей, заозиралась в поисках кассира. Оказалось что эта девчонка и есть кассир, просто ей неохота сидеть в полутьме. Плохо они жили в этом музее — теснота, крошечные комнатки, узенькие лестницы, низенькие потолочки. Весь день был занят борьбой за существование. Но об этом подробнее как-нибудь потом, а сейчас скажу только, что американцы видимо не поднимаются выше первого этажа, потому что только там подписи на английском, а дальше уже всё на немецком.

Конечно, я заглядывала и в сувенирные лавки, где продают изделия современных ремесленников. По-моему, из всех баварских городов, в которых я побывала, Ротенбург самый сувениристый. В

одном магазине продавали холодное оружие и у входа стояли латы. Перед витриной рукодельного магазина были выставлены мотки с шерстью. Казалось, что десяток ленивых кошек разнежился на лотке. Я с удовольствием сжала в горсти полюбившегося серенького котёнка и потащила его к кассе. Мотки были специально для вязки носков, и недорогие.

Много прекрасных кружев и вышивок. Почти удержалась, купила немного — ведь дарить некому. Умирают те, кому я могла бы подарить кружево, кому кружево интересно. Я зашла в магазин подержанных, но красивых фарфоровых товаров. Я подумала — лебеди есть, но воробей не помешает. Потом передумала и ухватила вазочку.

Зашла в магазин, где продавали всевозможные бутылочки, стаканчики и ликёры. Ликёры можно было пробовать. “Крепко”, — удивилась зашедшая в магазин дама. Она была американка и наверно привыкла к виски, а всё красненькое и зелёненькое причисляла к винам. Я залюбовалась стопочками, внутри которых были напаяны крошечные стеклянные фрукты, и длинными флакончиками, заплётёнными в разъёмную косицу; в них были ликёры разного цвета — оранжевый (абрикосовый), ярко-красный (смородина), гранатовый (ежевика), касторочно-коричневый (травяной настой), и другие цвета и породы. Это оказалось семейное предприятие: “Всё здесь мы делаем сами!” — сказала продавщица. Вероятно, папа выдувает стёкла, а мама гонит самогон.

Запаслась и колбасками на Обершмидгассе в магазине колбас ручной работы. Может быть это определение не вполне подходит, но как иначе назвать товар в лавке, где все колбаски, а их множество, имеют неповторимый вкус? Я пыталась его повторить, но нигде уже, и даже среди деликатесов столичного Даллмайера, таких колбасок не встретила. Колбаски были блондинки, шатенки и брюнетки, длинненькие, или толстенькие, кругленькие (кугель) и даже какая-то эдакая Берта. Самые вкусные оказались крошки — с мой мизинец, но потолще.

Я зашла и в магазин рождественских товаров Кёте Вольфарт. Он украшен большим Щелкунчиком, даже можно сказать Щелкунном. Зашла ненадолго и ничего там не купила. У Кёте Вольфарт мусор и на витрине, и в магазине — по моим конечно вкусам и представлениям. В Германии есть традиция устраивать дома маленькие сцены Рождества, для которых покупают домики, ясли, ослов и воллов, и гусей и уток, и служанок с кувшинами, и пастухов, и волхвов, и миниатюрные домики, и рождественские ёлки. Всё это для меня

слишком фольклорное — цветистое и примитивное.

При магазине есть музей Нового Года. В Германии празднуют не только Рождество, но и Новый год, и для этого продают дедов Морозов на санках, запряжённых оленями, и новогодние ёлки, оплётённые гирляндами и увешенные игрушками, горящие огоньками. Я вспоминаю обильные и нескончаемые развалы на Невской линии Гостиного двора, с лотками разнообразнейших стеклянных сокровищ, где мы с сестрой каждый год покупали что-нибудь новенькое, и те изысканные игрушки кажутся мне столичными штучками по сравнению с пёстрой провинциальной дребеденью Кёте Вольфферт. Хотя кто его знает, что тут противопоставилось и что сошлось — провинция и столица, прошлое и настоящее, Германия и Россия — такие близкие, и такие чужие.

Игрушки теперь модны странные — деревянные, или из соломки. На всё мода. В моём детстве модны были игрушки стеклянные — юлы, сосульки, шары с разноцветными рефлекторами, шишки, медведи, белки и совы, гномики, желуди, корзинки с грибами, ходики, апельсины, лимоны и огурцы. Как я люблю стеклянные огурцы! Сколько я их уже перебила, не удержав в любящих, но дрожащих руках! От детства сестры оставались ватные фигурки лыжников, осыпанные искристой алмазной пылью. А из воспоминаний отца на каждой ёлке висит невидимая прочим тень — любимый папин синий шар, который не разбился, когда детишки, разыгравшись, уронили ёлку.

Каждый помнит какую-нибудь ёлку, или две, или три. . . Не все, конечно. Я особенно помню одну, хотя у неё в новый год я не была. Мама тогда попала в больницу, и Новый год папа встречал с ней, а меня, чтобы я не скучала, отвёз к своей сестре. Но при всём тогдашнем горе и раздразе папа всё же достал и украсил ёлку, и я помню её, большую, до потолка, стоящую у буфета, с горящими свечками, зажжёнными на полчаса, перед отъездом. И потом, если отец бывал у меня под Новый год, я всегда устраивала ёлку — ему, как когда-то он устраивал мне.

Хотелось бы приехать в Ротенбург в праздник, увидеть танцы пастухов, сходить на пьесу мейстерзингера Ганса Закса (сейчас я упустила это представление, потому что о нём не знала). Так хочется прогуляться вокруг Ротенбурга, зайти в деревеньки с огородами, может быть съесть штрудель в маленьком кафе, помечтать там, что не один, а с любимыми, избранными людьми. Вообще в путешествиях действует правило $n + 1$: ко времени, отведенному на какой-нибудь город всегда нужно бы прибавить ещё один день. И

правило n — 1: всегда отводится на день меньше.

По возвращении, к моему изумлению поезд в Стейнахе не по-немецки опоздал, и я решила — прощай, пересадка! Но к моему изумлению, поезд в Нюрнберг тоже застрял, хотя и на другом пути. Стоило мне зайти в вагон, как поезд гукнул и тронулся с места. Гуманно! Я свалилась со стула в вагоне, но вообще-то я ещё ничего. Просто для справки — никто меня подымать не бросился. Посто-яла на четвереньках и влезла обратно, на откидное сиденье для велосипедистов. В вагоне было много народу; семьи с детьми. Мне, ветерану жизни, забавно смотреть на начинающих — “мама, ама...” Дети щебечут, как птички, смеются, смеются, а старички молчат, или, если говорят, то без смеха. Помню рассказ тётки Зои: молодые и беззаботные, в конце двадцатых, они ехали в электричке, и соседка сказала: “Что за глупый смех!” Тётя Зоя мне это рассказала через 60 лет после поездки. Я впервые вспомнила её историю в другой электричке, где сидели студенты, лет на семь меня младше, и пели: “Водосточная труба-а, по тебе бежит вода-а..” и потом вспоминала, и теперь, через тридцать лет вспоминаю. Помнятся пустяки.

Золотая булла

Возьми кого-нибудь за пуговицу, скажи “Нюрнберг”, — что он вспомнит? М-м... ну разве Нюрнбергский процесс, да и то о чём вы? Какой собственно процесс? Технологический? Физический опыт вроде Магдебургских полушарий? В вечном обновлении памяти есть своя прелесть, хотя и небольшая.

Про Нюрнберг и говорили, и говорят, что это самый немецкий город Германии. Насчёт самости я не судья, но Нюрнберг совершенно точно немец, не римлянин. А почему Нюрнберг не римский город? Трудящимся обидно! “А потому”, — отзывается Муза Истории, — “Что граница между Римской империей и Германией проходила по Рейну, а за Рейн римляне уже не совались”. Так что руки у них не дошли, или там ноги, до закладки Нюрнберга, и он организовался по местной инициативе, всего-то навсего в 1050 году — просто па-пан по сравнению с Августой Винделикорум. Место было хорошее, хлебное. Прибыли с серебряных рудников позволили Нюрнберу купить звание Имперского города, то есть свободного, подчинявшегося только императору. Жизнь в довоенном (до войны 1618–1648 года) Нюрнберге была весела и благоустроена.

Остановите мгновение, оно прекрасно — лучше, чем в пятнадцатом веке, не будет! Нюрнберг 1493 года на гравюре Микаэля Воль-

гемута из Schedelsche Weltchronik — город на холме, окружённый каменной стеной, а вокруг пустырь какой-то, и таким он мне теперь и представляется. Всё, что вокруг Нюрнберга — как стёртый резинкой карандаш — следы остались, но нечёткие. Там должен быть большой, растёкшийся блинным тестом по равнине город, составленный из бетонных коробок, но я его не помню. Мне мерещатся иные окрестности, с пергамента Эрхарда Этцлауба, — полукольцом плешь поймы Пегница, и клещи леса. Если этот рисунок правдив, два нюрнбергских леса, Св. Зибольда и Св. Лоренца, были ухожены, как борода щёголя, и поделены просеками на прямоугольники. Нюрнберг времён Дюрера до сих пор окружён крепостной стеной. В него можно нырнуть прямо с вокзала, ходить по нему и удивляться, где его подлинные жители, и откуда набралось столько путешественников по времени в дурацких современных одеждах. Старинные карты и планы оживают, наливаются правдой, — именно так-то всё и было, — города, стеснённые стенами, оштетиненные шпильями; мегаполисы с населением в сорок-шестьдесят тысяч; мелкие кляксы на пустынных просторах.

Вокзал в Нюрнберге основательный, с собственным Убаном, и Эсбаном, и подземным переходом. В переходе я увидела киоск с париками и замерла от восторга — там были на любой вкус, и один из них так бы меня украсил! Хороший парик не отличишь от собственных волос; то есть я не отличала, пока тётя Клава машинально не надвинула его себе на лоб, как кепку. Мне возмечталось: обрить поскорее голову, забыть про мои прямые, непослушные и пёстрые волосы, заменить их вот этим, безупречного цвета и покроя. Киоск закрыт. “Все эти волосы — настоящие”, подзадоривает бродяга, сидящий на ступеньках. Мой энтузиазм угасает. Почему-то я согласна носить шубу из кролика, но человеческими волосами брезгую.

Переход выводит к крепостной стене с воротами и башней. За воротами сделан “захаб” на немецкий манер, некое пространство, кошелёк, где на плешь захватчикам выливали когда-то средневековый напалм — кипящую смолу. В нём же была и таможенная станция, а сейчас построен бутафорский городок. Он именно таков, каким вы представляете себе немецкий городок по слащавым картинкам книжек магазина “Демократическая литература”, — лавчонки, пивчонки, сумочки-кошелёчки. В общем, вид приятный и греет душу.

Выйдя из сувенирного городка, я с дрожью разочарования увидела дома девятнадцатого века, но за ними пошли средневековые,

и среди них большой, шестиэтажный, и на крыше у него, как глазёнки из-под открытых век, окна в шесть рядов. Никогда их наверно не застилало стеклом, чтобы не мешать вентиляции; в этом Аргусе сушили зерно, и не внизу, а под крышей. А внизу что было раньше, не знаю — может быть жили Щелкунчики и боролись с мышами. Сейчас там пивбар “Барфюссерн” и магазин Фом Фасс, где тебе нальют что угодно во что угодно. В основном идёт розлив масла, вина, ликёров из бочек и стеклянных бутылей в маленькие пузырьки. Жителей великой страны, где спиваются даже евреи и магометане, прошу повременить с восторгами! Много на свете жидкостей, — вино, пиво, водка, коньяк, бренди, шампанское, одеколон, настойка боярышника, политура, высоланный конторский клей, — но не все они вкусные.

Альтштадт Нюрнберга можно не спеша пересечь минут за сорок. Нюрнберг — маленький город. Нюрнберг — огромный город — в удачные для него времена в Нюрнберге проживало 50 тысяч; наверно не все со всеми и знакомы были (сравните с шестью тысячами в Ротенбурге над Таубером). Я оставила чемоданы в гостинице и вышла на рыночную площадь. Дома вокруг были все сплошь старинные, или притворялись такими. Передо мною стоял хорошенький кирпичный ёжик — церковь с двускатной крышей, утыканная каменными иголочками. Это была Фрауенкирхе — маленькая, уютная, особенно по сравнению с огромными нюрнбергскими кирхами Св. Зибольда и Св. Лаврентия... совсем, представьте, как изба, небольшая избёнка кирпично-красного цвета — высотой от силы 20 метров. Вид у этого домика-пряника необыкновенно нарядно-немецкий. Стены укреплены контрфорсами. Сверху, над колючим треугольным фронтоном со множеством ниш торчит округлая башенка, почти прозрачная, с зелёным куполом, на коротенький шпиль которого насажены золотая бусина и золотой крест. Спереди двухэтажные сени с большущими окнами второго этажа и с балконом. По кромке их крыши ползут грифоны, а над ними на коленях молятся святые. Один из них так густо зарос шерстью, что я сразу признала в нём Иоанна Предтечу.

Архитектором Фрауенкирхе был Питер Парлер. Церковь была построена всего за шесть лет, быстрее, чем линия метро к вашингтонскому аэропорту. Понимаете, почему многие соборы и метро строились столетиями? Да денег не было! Была бы курочка, сготовит и дурочка! Деньги на Фрауенкирхе дал кайзер Карл Четвёртый — мы с ним раньше встречались в Чехии, под именем крала Карела, (приятная неожиданность — следы мила дружка в новом месте). Фрау-

енкирхе строилась, как хранилище регалий Священной Римской империи, которые предполагалось показывать народу с балкона сеней. Для регалий был изготовлен специальный ларец, который подвешивался к потолку. В состав регалий входили корона Св. Витольда, держава, скипетр, копьё, меч и плащ, а также священные реликвии, в том числе гвозди, которыми Сына Божия прибили к кресту. К регалиям примыкали и коронационные одежды императора, видимо безразмерные, потому что они годились на каждого.

При Карле Четвёртом регалии не попали во Фрауенкирхе, они оказались в Карлштейне. Впоследствии, во времена гуситских заварушек король Сигизмунд, поздний сын крала Карела и брат незадачливого, но долгоиграющего Вацлава, перевёл регалии в Нюрнберг, в имперский замок. Современного человека может удивить вся эта кутерьма с регалиями, их переезды с места на место, необходимость их показывать народу. В своё время их ценность измерялась совсем не количеством золота и сапфиров. Регалии узаконивали власть — без них была невозможна коронация нового императора. Поэтому с регалиями было связано немало волнующих событий. Расскажу вот что, — хотя и некстати, но потом ведь забуду! Дочь Сигизмунда и внучка Карла Елизавета вышла замуж за Альберта Габсбургского, и была беременна, когда он скончался. Сразу после похорон предприимчивая королева приехала в венгерскую крепость Плинтенбург, где в то время хранились регалии, заменила их на подделки, выкрала настоящие, и поэтому после рождения сына Ладислава смогла его короновать. Вся эта операция удалась благодаря помощи отважного хорватского д'Артаньяна и его подруги, фрейлины Хелены Коттаннерин, которая и описала всю эту «операцию БГ» в своих мемуарах.

Перед тем, как бежать в сени, нужно обратить внимание на часы, на голубом циферблате которых сияет солнце со множеством извитых лучей (вероятно намёк на волновую природу света). Под циферблатом в полдень перед очень большим и бородастым, как Черномор, кралом Карелом проходит процессия очень некрупных электоров (их ещё называют «мужички-с-ноготок, меннлайнлауфен»). Их неплохо приодели: кайзер в золотой мантии, а электоры в пурпурных. По бокам от прелестной сцены стоят трубачи — белый и арапистый, а наверху музыканты поменьше ростом, с колокольцами, дудкой и барабаном. Над часами вращается странный шар, одна половина которого чёрная, а другая — золотая.

Часы сделаны в честь обнародованной в Нюрнберге Золотой Буллы. Её автор, кайзер Карл IV, упорядочил все ритуалы — кто вы-

бирает императора Священной Римской империи, где коронуется, и зачем и как потом собираются советы империи. Роли были розданы всем крупным городам Германии: выбирали во Франкфурте, короновали в Аахене, и т. п. Свой первый совет новый император должен был проводить в Нюрнберге. Булочка приятной для Нюрнберга выпечки. Ну конечно такой булочке нужно поставить памятник — как напоминание о политическом весе города.

Внутри Фрауенкирхе так же уютна, как и снаружи. Сени украшены, как нигде: общий фон красный и зелёный, а поставленные в несколько рядов на всех арках и в тимпане фигуры вызолочены. Возникает ассоциация с русскими храмами времён Василия Блаженного; странная оттого, что скульптур-то у нас не было. Но стремление всё пёстро и ярко украсить было, поэтому возникает приятное чувство, что мы идём в ногу с Европой, а не то, чтобы сзади, поскальзываясь и заглядывая ей в глаза и с ненавистью, и с любовью.

В церкви три нефа, прекрасно освещённые огромными окнами, в которых частично витражи, частично — прозрачные стёкла. Церковь украшена в меру, — нет суеты и нагромождённости, скорее всего, чисто случайно, из-за того, что все нагромождения сгорели или попортились. Кое-где присутствуют остатки фресок, бледные и поцарапанные. Голые для нас красота, а для предков — нагота, которую подобает прикрыть гобеленами и расписать фресками. Получается, Фрауенкирхе всегда при выигрыше — и им была красива, и нам.

Ну что тут самое интересное, самое лучшее? Вниманию путешественника, зашедшего не помолиться, а поглазеть, можно предложить ряд диковин. Алтарь Тухера (Тухер — даритель) сделан в 15 веке. Его корпус вытянут в ширину, на нём три сцены под тремя субтильными резными балдахинами — Благовещение, Распятие, Вознесение. Фон вызолочен. В венце находится Богородица в ореоле солнечных лучей, наступившая на месяц. У месяца профиль, как у Данте. Удивили херувимы, держащие месяц или держащиеся за месяц — они в костюмчиках пажей (рукавчики с буфами).

Скульптуры на стенах под балдахинчиками, каменные, со следами краски, относятся ко временам Петера Парлера. Питер Парлер оставил после себя большую мастерскую парлерят, из которой произошёл “красивый” стиль скульптуры, брызги которого можно встретить во многих церквях Баварии и Богемии. Ещё во Фрауенкирхе есть некоторые скульптуры школы Фейта Штосса, в том числе пухлощёкий архангел Гавриил и ангелы с подсвечниками, милейшие и добрейшие (Горящие свечи — символ Иисуса Христа, Света

мира). Мне трудно сказать, я не искусствовед, но мне кажется, что не мастер ангелов резал — есть ощущение некой штамповки.

Замечательны памятные доски на пилонах. На одной Адам Крафт вырезал каменный барельеф — Милующую Богородицу, Матер Мизерикордиа, которая плащом своим прикрывает маленькие фигурки грешников. Другая — картина, которую написал Михаэль Вольгемут, учитель Дюрера. Нижняя часть её ужасная: лежит труп, а вокруг него змеи и лягушки. Над этой скверной сценой вьётся полоса с надписью на непонятном латинском языке — мол, все там будем. Верхняя часть её прекрасная: на золотом фоне изящно вписаны в полуовал сразу два архангела Михаила, один с крестом, другой с мечом и весами. Первый давит рукоятью креста какую-то гадину, которая явно этого заслуживает. Второй взвешивает душу бюрократа Михаэля Рафаэля. Сам усопший Михаэль Рафаэль стоит тут же на коленях, молитвенно сложив ладони. Два Михаила надёжнее, чем один, и хочется верить, что они спасут своего тёзку.

Побывать в этой церкви приятно. Во Фрауенкирхе постоянно звучит орган, звучит красиво, не режет уши и не бьёт по нервам. Если проанализировать мою многотрудную и богатую событиями жизнь, окажется, что периодически я проявляла любовь к органной музыке — в основном в записях, когда можно регулировать громкость, но иногда и к живой... Впервые орган я услышала в Вильнюсе; мне тогда было двенадцать. Мы с папой тогда жили вдвоём в Тракае. Мы ездили в Вильнюс, гуляли, вечером возвращались на поезд, проходили под аркой костёла, в которую была вделана икона Матер Мизерикордиа, заходили в сам костёл, набитый народом (шла служба). Костёл меня удивил, всё в нём было непривычно, — где у нас-то увидишь распятие, и я была знакома только с православным пением без аккомпанимента. Музыка нравилась, уходить не хотелось. Но дослушать не удавалось — месса была несогласована с железнодорожным расписанием поездов на Тракай.

Я пошла в Кайзербург, замок, вокруг которого и завязался Нюрнберг. Идти было недалеко, но круто, в гору. На пути мне встретились конюшни, ничего себе конюшни — дом с башней, огромный, под четырёхскатной многоэтажной крышей. Он похож на Маутхалле, где сейчас Фом Фасс, и построен тем же архитектором. Зачем лошадям семь этажей, неясно, это ведь не курицы? Наверно под крышей были квартиры ветеринаров. Вы мне не поверили, и правильно. Хочется рациональных объяснений, но не всегда в голову приходит верное. Впоследствии узналось, что не ветеринары

там жили, а мешки с зерном, и императору Карлу довелось откусывать хлебушка из пшеницы, пролежавшей сто восемьдесят лет. Сейчас в конюшне “хостел” — гостиница для тех, кто не возражает против ночёвки по дешёвке, на нарах; из всех окон вытарчивает молодость в грязных футболках, и парень съезжает по лестнице на велосипеде.

Я повернула на террасу у замка. Кайзерхоф — крупнейший замок Германии. Самый первый замок, построенный в одиннадцатом веке во времена императора Генриха Третьего, не сохранился, а то, что мы видим, в основном построено в тринадцатом веке, императорами династии Гогенштауфенов и в особенности Фридрихом Барбароссой. У замка не пофотографируешь: в кадре маячит то сортир, то вагончик строителей. Может быть так и надо — и всегда так было — писали, строили. В средние века рядом с каждым собором стояла масонская ложа (так официально назывался барак для строителей собора), а теперь вот вагончики.

На переднем дворе замка стоит дом, внутри которого скрыт глубокий колодец, Тифе Брюннен, глубиной в 50 метров. У входа в замок стоит смотровая башня Синвел (“Круглая”) — все остальные башни замка квадратные. В колодец я не заглянула, потому что не хотелось ждать полчаса — туда запускают только группы для каких-то представлений со свечами, которые наглядно демонстрируют, как глубок колодец. На башню я почти поднялась, но потом плюнула — тяжело мне по лестнице лезть. Раньше вход в башню был высоко над землёй, на втором этаже, потому что в ней предполагалось отсиживаться, если всё было потеряно, гори оно синим огнём.

Зашла во второй двор, в ожидании экскурсии села на ступеньку, съела последний помидор, из толстых. Залюбовалась ослепительно-жёлтым плющом на кирпичной стене и задумалась о том, что ещё в прошлом веке посреди двора стояла пятисотлетняя липа, под сенью которой когда-то вершил суд и слушал песни кайзер. А до этой липы была другая, посаженная святой Кунигундой. Во времена Дюрера патриций Пиркхаймер устроил свадьбу и пляски под Кунигундовой липой. Опасно соваться в чужие времена: не знаешь ведь, что удобно, что неудобно, что можно и чего нельзя, и так неловко за патриция. Нам это непривычно, непонятно — к нашему императору так запросто не припрёшься. А если припрёшься, он посохом вытянет или напоит до бесчувствия.

Во время экскурсии нам рассказали много интересного. Залы древнего замка были свидетелями важных исторических событий,

например, переговоров папы римского с Фридрихом Барбароссой. Они закончились ничем, потому что папа не утерпел: дёрнул Фридриха за барбароссу, думая, что она приклеена. Фридрих Барбаросса от неожиданности свалился со стула. Перепуганный папа, подхватив полы лапсердака, выбежал вон. Фридрих бросился за ним, догнал в портретной галерее и вытянул папу по спине верёвкой. Тут их обоих скрутили и загребли в милицию. Впрочем, за точность этих сведений я не ручаюсь, потому что экскурсии в замке идут на немецком, а я его плохо понимаю.

Собственно меня на экскурсию-то и не пустили. “Вам не доставит удовольствия экскурсия на немецком” — сурово сказал мне кассир. Кассиры часто продают мне билеты без радости, уверенные, что мне не доставит удовольствия их музей. В городском музее Мюнхена мне такого нарассказали, что я просто туда не пошла. И тут вот пошумела, пошумела, а потом сдалась и согласилась на английский путеводитель, на котором кассир наметил мне путь с немецким тщанием: долго выводил в каждой комнате петельки из розовых точек, — как следочки мышиных блужданий. У меня ещё с собой был “фюрер” доктора Мумменхоффа, “Ди бург цу Нюрнберг, для своих и иностранцев”, составленный в 1895 году, когда замок ещё не разбомбили, и все вещички в нём были целы. (Слово “Фюрер” — из той же серии лингвистических сюрпризов, что и “полицай”, нашитый на немецких полицейских).

Стоит ли заходить во всякий встречный замок, — вопрос спорный. Обычно внутри пусто, плесень и сырость. Смысл походу в Кайзербург придаёт только двухэтажная часовня. Верхняя её часть предназначалась для кайзера и соединялась с Кайзерзалом и покоями императора, а нижняя — для obsługi, и открывалась на двор замка. Часовни соединены самым необычным образом — дыркой в полу, в которую можно заглядывать. Зайти сейчас можно только в верхнюю. Она почти голая; только в алтарной апсиде распятие, вырезанное Фейтом Штоссом, и на стене остатки старого алтаря — фигуры Св. Елены, Св. Кунигунды и двух императоров — Карла Великого и Генриха Второго. Ну и ещё там какие-то обломочки.

Моя цель почти всегда — прочитать, узнать, запомнить. Но некоторые места сами оказываются целью, как вот эта часовня. Я провожу в ней слишком много времени. Ну это же глупость, ну я же не Аврора, чтобы застрять на вечной стоянке! Дело не в призраках прошлого, не они мешают мне уйти. Трудно объяснить, откуда берётся чувство удовольствия и покоя. Видимо дело в пропорциональном

архитектурном решении; пространство втягивает, попадает в ритм дыхания. Говорят, что строили часовню те же мастера, что и собор Св. Иакова, о котором вы можете почитать в главе “Крокодилы Регенсбурга”. Мысль о красе симметрии и единообразия не пришла им в голову. Строителям нужно было не одинаковое, а уместное. Время тогда было не квадратное, и часовня имеет форму ромба, но это незаметно — только если лазать по углам, заметишь, что одни тупые, а другие острые. Колонны здесь даже если братья, так не близнецы; там, где надо, под галереей, — крепкие боровики на толстой ножке; там, где надо, под шатровым сводом, — тонкие обабки. Я не привыкла к романскому стилю, и для меня здесь всё неожиданно. Мне не пришло бы в голову строить ромбы, и я не стала бы завязывать каменный узел на одной из колонн. Но при всём разнообразии, при том, что не найдёшь похожей капители, ничто в этой головоломке не кажется несуразным, всё оборачивается не пестротой, а элегантностью.

Над часовней была выстроена башня, которая называется теперь языческой, Хайдентурм; называется по глупости — от того, что в своё время она была украшена в романском стиле фантастическими фигурами. Пришла пора, когда их перестал понимать простой советский человек, и башню объявили языческой. А поскольку язычество вредно, залезли на башню и всё к чёртовой бабушке посбивали.

Неохота уходить, но может быть меня уже разыскивают. Может быть думают, что я провалилась в нижнюю часовню. Я поднялась на хоры и ещё постояла, посмотрела вниз, продлевая своё пребывание в часовне. На хорах для императора Карла Пятого была устроена крошечная, но зато хорошо отапливаемая молельня, в которой сохранились остатки росписей. В этой утеплённой норке, пригревшись, как хомяк в стеклянной банке, император мог подумать о высоком, или о маме, которую он объявил сумасшедшей и содержал в свинских условиях.

После часовни уже не так всё интересно. На втором этаже от императоров остались некоторые покои. Стены их обиты крашеным деревом, поверх которого набиты золочёные рейки, между которых виднеется полустёртый узор. Потолки в замке тоже деревянные, укреплённые балками, расписанные. В императорской опочивальне кайзер, просыпаясь, видел на потолке огромного геральдического орла. Эстетическая честность требует отметить, что немецкий орёл не очень красив — у него жидковаты перья на крыльях, — я предпочла бы плафон с Посейдоном.

Кровати в спальне нет, но была. Ёе описывает в своём путеводителе архив-директор Мумменхоф: соломенный тюфяк, две перины, валик и две подушки; простыни льняные, наволочки бумазейные — в голубую полоску. “Полосатый, как матрас”, говорили ещё во времена моего детства, и смутно припоминаю, что матрасы действительно были тогда полосатые — вот как долго сохраняются устоявшиеся атрибуты вещей.

Мебель в комнатах кайзера представлена небольшими квадратными столами, сильно резными стульями, сундуками и шкафами. Шкафы, сделанные в Нюрнберге, выглядят как небольшие здания эпохи Возрождения, с колоннами, портиками и арками. Мону-ментальные печи на ножках выложены изразцами нюрнбергского производства с портретами императоров и аллегорическими фигурами. Потолки в залах императора высокие, и печи поддерживали температуру не выше 16 градусов (кубатура!) — видимо, выручали соболя.

В огромном Кайзерзале выставлены плиты розового песчаника, с фриза на верхнем этаже богатого ульмского дома. Их предполагалось разглядывать издалека, поэтому барельефы электоров и Людвига Баварского на них по-современному лаконичны, без излишних деталей. Из спин электоров вырастают геральдические животные и шлемы с руками. Выставлен также добрый большеголовый дедушка, похожий на гнома в халате — это копия статуи Карла Четвёртого, с надвратной башни Карлова моста в Праге, сделанная Петером Парлером. Весь зал заставлен стендами, объясняющими роль императора в Священной Римской империи. Каждый император, как президент Соединенных Штатов, имел столько власти, сколько ему удавалось урвать. Конечно, всегда шли свары за влияние на императора. Противоядием ревности был церемониал. Согласно Золотой Булле императоры переезжали из города в город, из замка в замок. Города считались посещениями императоров. В Нюрнберг новый император приезжал сразу после избрания, и в благодарность за покровительство и внимание нюрнбергцы воздвигали ему роскошные триумфальные арки. Как ни странно, самая пышная арка была умозрительной, придумана Дюрером по заказу Максимилиана Первого, напечатана на бумаге и разослана в самые разные города для напоминания о священной власти императора.

Многие залы музея посвящены истории военного искусства: в них выставлены латы и всевозможное оружие, включая военные вилы. Я прошла эти залы очень быстро, и музей кончился. На выходе у меня отобрали, нет, не вилы — аудиогид.

Рядом с Кайзербургом стоял когда-то почти вплотную замок бурграфа, на месте которого теперь дырка. Между замками был небольшой зазор, который служил убежищем для тех, кого преследовал закон — теперь уж и таких щелей для нас не осталось. Бурграф был официальным заместителем кайзера в его отсутствие. Роль его при свободном имперском городе была какая-то неопределённая. Нюрнбергцы радовались кайзеру, но не радовались бурграфу. Кайзера любили за то, что он появлялся нечасто и привозил с собой много покупателей и потребителей местной продукции. Бурграф жил постоянно, имел владения поблизости и всегда тягался с городом за земли и влияние.

Кайзеры были Гогенштауфены, а бурграфы — Гогенцоллерны, поэтому кайзер не вступился за бурграфа, когда нюрнбергцы выжили того из замка. Выжили самым забавным образом — замуравив городской стеной. Последней каплей в чашу терпения бурграфу шлёпнулась выстроенная горожанами дозорная башня Лугинсланд, с которой шпионили за тем, что он делает на собственном дворе. Бурграф крепко выругался и съехал, хотя замок долго ещё числился за ним и был впоследствии разрушен Кристофом Лаймингером, кастеляном Виттельсбахов. С чего вдруг кастелян Виттельсбахов припёрся и поджёг замок Гогенцоллернов — непонятно. Видимо, времена были самые бандитские. Но не исключено, что я не доцениваю бандитизма современной ситуации.

С террасы перед замком виден весь Альтштадт, вернее, его крыши. По другую сторону, за крепостной стеной, на наружных бастионах разбиты цветники и высажены деревья. Сады террасами спускаются к уровню улицы. Они красивы, уютны, и народу в них немного. Видимо не всякий турист знает об их существовании или имеет время на такую прогулку. Были когда-то в замке и иные сады, висячие, которые устроил Фридрих Третий, живавший в замке подолгу. Государь был добр, собирал детишек, иногда до четырёх тысяч, и кормил их пряниками, как рассказывает английский путешественник, а немецкий честно добавляет, что детишки запивали пряники вином и пивом. Ну ясно, ну кому доставит удовольствие экскурсия на немецком!

Я вернулась в Альтштадт и прошла к старой ратуше, Альте Ратхаус. За ратушей я нашла сосисочную, кафе Кроль: наконец можно поесть! Я заказала Фрауенмаркт зуппе и нюрнбергские сосиски, Братвурст-Рослейн. Пришлось решить два проклятых вопроса — сколько нужно и сколько можно заказать сосисок. Заказала

шесть. Принесли мне молодое вино, лёгкое как газировка. Такого белого вина больше нигде нет, только в Нюрнберге. Это просто подарок судьбы. Как мой отец любил белое вино! Как он любил рестораны — но только в последние годы, во времена наших путешествий. А в России он рестораны не любил. “Папа, давай в ресторан! (На вокзале Детского села, Sic!)” “Танечка, дома вкуснее!”

Я доела сосиски, пожалела, что мало их было, похвалила себя за умеренность, расплатилась, подошла к стоящему рядом Ганцеманхен Брюннер. На высоком, но узком постаменте стоит Продавец фонтанов, махонький, как многие скульптурки непарадных немецких фонтанов. У него подмышкой гусь. Или два гуся? Или один... гусь? Фонтан белого вина... Какое крепкое вино! “Найн-найн, их тринк кайн вайн” — говорят порядочные девушки немецких опер, и не зря.

Следующий пункт моей культурной программы — Германский музей Нюрнберга, бывший монастырь, к которому приклеили лишнее из стекла и бетона. Музей оказался полузакрытый, т.е. он был открыт, но до закрытия осталось полчаса. Меня пустили, и я без присмотра бегала среди ценнейших деревянных скульптур: немцы доверяют людям больше итальянцев и французов; в немецких музеях за тобой не гонятся по пятам служители.

В музее было выставлено много чего. Забрела я и в зал, где выставлен свежечычищенный гобелен “Любовные утехи”. Это не те любовные утехи, которые нам показывают в кино, нет, такие утехи даже и не считались тогда утехами; это утехи-игры, такие, например — кавалер прячет голову у дамы между колен и старается угадать, кто его хлопнул по задку. Ну и тому подобное: музицирование, чтение стихов, — выткано много интересного; но не впрок — гобелены трудно рассматривать из-за привычки гобеленщиков задействовать каждую пядь (перенасыщенность фигурами, просто поезд метро какой-то), и из-за того, что музейщики их берегут, и зал освещён только двумя лампочками по сорок ватт.

Цвет любовных утех оказался рыжий. Мне неясно, зачем — оттого, что темень, или оттого, что они любили рыжий цвет? Или сначала цвет был не рыжий, но выцвел? Конечно выцвел, а то за что б любили их тогда, когда любили цвет в любых сочетаниях, лишь бы яркий, когда коня с голубым чепраком, со всадницей в фиолетовом, выгуливали под уздцы прислужники в красном и зелёном? Вот так вот, *“В невероятный чёрный день я буду сбит огромным ангелом, я пользну зелёным факелом и рухну в синюю сирень...”*

Карамзин, заставший гобелены ещё свеженькими, сообщал, что Франциск Первый заплатил фламандским мастерам сто тысяч та-

леров (сколько это — не знаю, но подозреваю, что очень много) за “шелковыя картинныя обои, ...на которых вытканы сражения сципионовы, деяния Апостольские и басни Психи, по рисунку Юлия Романа (Джулио Романо) и Рафаэля” и хвалил “произведения Гобелинской фабрики, заведённой в Париже Кольбертом: работа удивительная правильностью рисунка, блеском красок, нежными оттенками шелков, так, что тканьё не уступает в ней живописи”.

Дерзну сказать, что превосходили они живопись, хоть и предам при этом классовые интересы: я выросла в мире, где картины чли выше гобеленовых обоев, неприкладное уважали больше прикладного. Нет ли в этом правиле снобизма искусственных ограничений? Третьеводни, перемывая старую фаянсовую посуду, я испытала животное удовольствие, залюбовавшись простыми, двумерными, но яркими цветочными узорами, и поняла, почему любили гобелены, почему ценили их выше картин, почему платили за них щедро, обильно. Шторы должны быть вышиты лучшими шелками, а тарелки — с золотой каёмкой. Есть надо на скатерти, одеваться не только чисто, но и красиво, и носить бусы, кольца и серьги. Латы для турниров украсить чеканкой и по возможности заказать в Аугсбурге, а кубки купить пускай подержанные, да из Тироля. Гнать надо поганой метлой пустую и бесцветную жизнь.

Я раньше проходила мимо гобеленов. Я и сейчас прохожу мимо гобеленов, но раньше с отвращением, а теперь с сожалением. Не то беда, что выключили лампочку — беда в том, что погасли праздники, задуманные Юлием Романом, Рафаэлем, Гойей. Гобелены недолговечны, почти как шедевры кулинарного искусства. Гобелены потухли, и если кто их и любит такими, как сейчас, кайзер Максимилиан сочтёт его чудаком.

Имперскому городу — имперский музей, один из самых крупных в Баварии. Чреда деревянных скульптур в нём бесконечна. А не спрятаться ли в сортире, чтобы на свободе всё досмотреть, когда музей закроется? Нет, ни за что. Обманывать доверие подло. Ну, или скажем так — есть черта, у каждого своя, за которую преступить невозможно. Я например историю партии сдавала без шпаргалок, из-за того, что преподаватель был слепой. История партии вполне заслуживала любого жульства, так же, как и остальные члены заветной триады — истмат и диамат, но слепота — нет. Без этой муры диплом не получишь, и я рассказала всё так, как надо, как меня выучила учительница истории; много лет спустя я вычислила,

что она шпарила точно по Краткому курсу, хотя в семидесятых он был уже не моден: учительница была реликтом, драгоценным вымершим жуком в янтарной капле. Я лицемерила по поводу истории партии, но к преподавателю, как к человеку, я испытывала большое уважение за то, что фронтовик. Ему досталось гореть в танке, как моему отцу идти по трупам под немецким обстрелом. Два абсолютно несхожих человека приведены страданием к общему знаменателю. Война и голод не допускают роскоши различий. Уважать человека, презирая его убеждения... Странно, да? Привычный парадокс моей молодости. Если и вырос хороший росток на этой странной почве, так это — чувство родства всех и каждого перед горькой чашей жизни. Как бы то ни было, я честно ушла из закрывавшегося Германского музея.

Встречи с фонтанами

Новое утро, новый сон. Мне снилось, что путеводитель (фюрер) великой русской земли изображает санкюлота в любительском спектакле о Французской революции. Ну вот откуда?

Я просыпаюсь и вижу белый потолок — ни орлов, ни посеядонов. Комната чиста, как накрахмаленное бельё, и равномерно наполнена светом, отфильтрованным белым оконным тюлем. Красивая мебель, удобная кровать, есть диванчик и стол. Я отодвигаю деревянную дверцу в поисках стенового шкафа, и вижу окно в душевую кабинку. Если бы я путешествовала с подругой, я могла бы из спальни проверить, хорошо ли она намылилась. Приглядевшись к кафельной стенке ванной, глазам своим не верю — в пазу между плитками, по цементу, мелко-мелко: “Здесь была Таня”. Ах ты, с... И ведь никогда уж не отмоешь и не отмоешься — мол, не я это. Но правда — не я. В отличие от Коли и Тани я ни разу в жизни своего имени ни на парте, ни на скамейке, ни на стенке ни скрепкой не нацарапала, ни обслонённым химическим карандашом не намарала, ни ножичком не вырезала, что изобличает во мне человека сухого, лишённого зуда причастности и желания приписать себя к чудесам природы и архитектуры.

Мне выдан номер на последнем этаже здания, скорее всего послевоенного, но выстроенного под старину — крыша со скосом накрывает два этажа. И в ванной, и над кроватью у меня скошенная стенка, которая помогла мне узнать, что я часто подхожу к изголовью кровати и наклоняюсь. Зачем? Наверно знаю до того, как лоб расшибаю. Свет в номере по карточкам, то есть для того, чтобы он

зажётся, нужно вставить карточку в распределитель. Карточки я не люблю. Я предпочитаю нормальные ключи — они работают всегда. А карточки всегда не работают. Вот и здесь случилось: карточка не сработала, и, добравшись до пятого этажа, пришлось спуститься вниз; мне выдали другую. На следующий день я рылась в сумочке и вдруг вытащила две. Сначала мне показалось, что это очередное чудо из тех, которым можно дать только сверхъестественное объяснение, или никакого, но потом я поняла... Всё я поняла: и откуда у меня две карточки, и почему вчера карточка не сработала. Стыдно... стыдно! Вторую карточку я украла. Горничная, которая зашла прибраться, сунула карточку в паз, а я, естественно, посчитала её своей и забрала. Вот-то она побегала! Ну и я побегала, когда к моему возвращению украденную карточку аннулировали.

Из всех гостиниц, в которых я перебивала, эта самая уютная и дорогая. В ней всё и везде чисто и красиво. К номеру ведёт приятный коридор со скошенными окнами. Стены его расписаны крупными лицами с портретов Дюрера. Как хороша моя гостиница! Как хороша площадь Хауптмаркт перед гостиницей! На ней стоит Фрауенкирхе, утыканная каменными иголочками, и Красивый фонтан, Шёне Брюннер. Как Нюрнберг самый немецкий из городов, так Шёне Брюннер — самый немецкий из фонтанов. В фонтане этом есть некий намёк на древность Нюрнберга и попытка приписать ему римское (“Нерон-берг”), а может и библейское происхождение. Описать его трудно. Это вертоград многоцветный, торчащий из чаши с водой. В нём есть что-то и от ковчежной башенки Адама Крафта в соборе Св. Лаврентия, и от карусели. Высотой он девятнадцати метров, в основании метра четыре в поперечнике, сужается кверху тремя барабанами, увенчан шпилем. Каждый барабан башни пронизан стрельчатыми окнами с узорными кокошниками, пестрящими золотом, киноварью и ярь-медянкой; между окнами колонки, а у колонок стоят царь Давид, король Артур, кайзер Карл Великий, император Юлий Цезарь, семь курфюрстов, шесть пророков и двенадцать искусств. Все они за решёткой; за что их посадили, — неизвестно. Наверно за вандализм туристов. Приходится просовывать нос или объектив фотоаппарата через крупные ячейки металлической сетки. Жалковато... ведь при этом Искусства становятся чрезмерно близки, а каменная резьба бассейна почти не видна.

Фонтан сделан заново на месте старого, но без отсебятины. Таким он и был, когда его впервые соорудили в 17 веке: с одной сто-

роны — пропаганда на заказ, а с другой стороны — идеальная идея мира, где каждый на своём шестке, и пророки выше героев. Такие тогда были фантазии и запросы; людям нравились фигуры на фонтанах — и реальные, и придуманные. Раньше все фонтаны были реалистичны, хотя в них и попадалась иногда изломы воображения. Примеры? Поодаль от Св Лаврентия, в 1589 году, то есть не вчера, поставлен Тугенд Брюннер (фонтан Добродетелей); как все тогдашние с полезной целью водопроводства. Добродетели развлекают публику тем, что струи воды у них хлещут из добродетельных грудей. Круто, но до пражских Джойса с Кафкой далеко.

Больше таких фонтанов не ставят, а если ставят, то впечатление от них страшненькое, как от фонтана Дружбы народов на ВДНХ. Всё нужно делать вовремя. Но какое собственно сейчас-то время? Что произошло с изображениями людей — куда они исчезли? Почему повсеместно вода сейчас льётся из-под больших шаров? Радость и желание потрогать, которые вызывает Шёне Брюннер, свидетельствуют о том, что зрители получают от него эстетическое удовольствие и теперь, хотя символическая сторона этого мирового шатра то ли испарилась, то ли утекла вместе с водой 17 века. Шёне Брюннер нужно спасать от поклонников, а чугунные комки Генри Мура, напоминающие модель какой-нибудь рибосомы (большая и малая субъединицы) разве что от вандалов. Зачем нам “рибосома” Генри Мура? Не пугайтесь, меня интересуют не оргвыводы, а физиология — Шёне Брюннер раздражает центры удовольствия, а какие нейроны заискрятся электрическими разрядами при виде металлических окатышей?

На фоне абстрактных изысков можно только приветствовать современный нюрнбергский Марьяжный фонтан: скопище гротескных пар в перекорёженных позах, похожих на те, что так ловко, хотя и не нарочно, ловят фотолюбители; семейная жизнь — крупно, в полтора роста, и близко; можно дотронуться, можно к ним подсесть, что многие и делают, не боясь случайного плевок марьяжной фигуры; скульптор на это и надеялся: хотел, чтобы сели, огляделись и догадались, что это всё про них самих. Созерцая фонтан, затрудняешься выбрать, что в семейной жизни самое противное: или полное несходство во всём, включая размеры, или то, что дожили вместе до возраста, когда пенсии ещё нет, а рожи уже противные, или то, что из любимого льётся и течёт? Фонтан — современный отклик на старинный стих мейстерзингера Ганса Закса (1494–1576). На неподготовленных людей фонтан производит тягостное впечатление; на подготовленных — тоже. Но одному — на вершине фонтана, — удо-

вольствие: автор всегда радуется, если по его поэме сняли фильм или на худой конец сляпали фонтан.

Фонтанный Мастер Закс, который заливается хохотом при виде суровых страданий, несколько обижает — хотелось бы больше сочувствия к человечеству. Вот Мастер Закс из оперы “Нюрнбергские мастера пения” не таков; он намного благороднее самого Вагнера. Реальный Ганс Закс может и похож на мудрого и доброго мастера оперы, но с поправкой на время. Шагать в ногу со временем непросто; многие (мы про них учили) наступали *на горло собственной песне*. Мне нравится эта метафора: поэт бежит за юркой песней, она и туда, и сюда, и юлит и вьётся, и порскает в углы, а он не отстаёт, вытягивает её из-под кровати, давит горло сникерсом. Но не бойтесь, мастеру Заксу такая охота не понадобилась, его песня сама подпела общему хору. Нюрнбергский мейстерзингер добровольно и с интересом поучаствовал в религиозных разборках; он не просто пописывал стишки, но был ещё и “мысликом”, одним из лютеран-иконокластов.

На вопрос, какой уклон лучше — левый или правый, ответ, как известно, “оба хуже”, и я на жалую ни иконофилов, ни иконоклавов. Все они очень легко и просто бросали несогласных под копыта великих идей. В частности во времена Ганса Закса разыгралась одна из маленьких драм, коими изобилуют эпохи великих переломов, и в коих некоторые эскадроны находят столько свежести и веселья, но у остальных их *яблочки-песни* навязают *в зубы*. В Нюрнберге есть церковь Св. Клары, — пустая. Может там и раньше ничего не было — ведь ею владели Бедные Клары. В 1524 году, когда Нюрнберг перешёл в протестантство и поставил под сомнение концепцию монашества, жители Нюрнберга решили разобрать монахинь по домам и наладить им семейную жизнь, несмотря на негативное мнение Мастера Закса о браке. Но бедные Клары не поняли своего счастья, и каждую из них удалось выволочь из монастыря только четырьём мужчинам, за руки и за ноги.

В популярной мифологии монахиня — это дурочка, не вкушившая прелестей мирской жизни, ей только дай... ну, скажем, в глаз — обычно к этому сводятся попытки солдат развеселить одинокую женщину. Как объяснить, что бедных Клар не обрадовала перспектива замужества, ибо что может быть лучше замужества? Сходите посмотреть на марьяжный фонтан, но если вам некогда или мокро, слушайте сухие слова: семейный женский труд никем не ценится, так же, как вода и воздух, но труд монахинь — молитвы во спасение и уход за больными — был уважаем. Монастырь был единственным

местом, где женщина могла почувствовать себя человеком. Долго был, даже в середине двадцатого века... “Я стала монахиней”, — объяснила мне Хильда, — “потому что мне хотелось получить образование, а тратиться собирались только на моих братьев”. Марьяж — политически некорректная иллюстрация того, во что влип сам мастер Закс, и чего пытались избежать монахини, как Жихарка, растопыривая руки и ноги в дверных проёмах. Марьяж — мечта — мираж с шипением тает от прикосновения к суровому сплаву несовместимых характеров.

Я не хочу сказать, что мастер Закс был одним из тех, кто выволакивал монахинь из монастыря. Может быть он в это время путешествовал или ел пюре из груш. Я ничего не знаю про его роль в этой истории. *И мы его любим не за это* (простите за затасканную шутку), т.е. не за глубокий анализ религиозных ритуалов, а за то, что Ганс Закс был великим мейстерзингером. Я хочу внести ясность в вопрос, над которым билась в моём присутствии лучшие умы человечества: в чем разница между миннезингерами и мейстерзингерами? И те, и другие — барды, вроде Юрия Визбора. Сначала были миннезингеры, они сочиняли и пели при дворе, и среди них было много аристократов. В 16 веке городские жители тоже потянулись к культуре; красивая жизнь приводит к желанию жить красиво, и в немецких городах возникли гильдии мейстерзингеров. Мастера эти пением не зарабатывали, как и Юрий Визбор. Они, как Юрий Визбор, вертели вола в какой-нибудь конторе; например Ганс Закс был сапожником. И тем не менее в гильдии было всё серьёзно. Существовали правила в отношении тем, размеров и мелодий, и состязания, на которых пустивших петуха штрафовали. Трудно найти аналогии среди современных забав по степени серьёзности; в голову лезут только шахматы, хотя среди шахматистов сапожников не так уж много. В опере Вагнера речь идёт об этих правилах и о нарушении правил, дозволенном настоящему музыканту и поэту. Место действия оперы — церковь Святой Катарины, в которой действительно собирались когда-то мейстерзингеры. Теперь от неё остался только остов без крыши, на окраине Альтштадта, где современность домов почти не прикрыта и не замаскирована. Надеяться не на что. Кончились мейстерзингеры, их церковь и золотой век Нюрнберга: век, который привёл к свободомыслию, самоуважению, к реформе церкви и злобному уничтожению друг друга и материальных ценностей. На сём я считаю тему исчерпанной, и разбираться в разнице между трубадурами, труверами и менестрелями мне уже не хочется.

Два собора, два гвоздя

Нет, неточно: эти огромные кирхи, Св. Зибольда и Св. Лаврентия, не соборы, потому что Нюрнберг никогда не состоял под властью епископа. Построены они в честь заступников Нюрнберга. Первым покровителем города был Святой Зибольд, но потом его потеснил в сердцах народонаселения Святой Лаврентий.

Вокруг церкви Св. Лаврентия идёт стройка коммунизма. Экскаватор терпеливо перекладывает брусчатку из одной кучи в другую. Я усаживаюсь, и, скусывая помидорчики с кисточки, внимательно разглядываю фасад. Фасады старых церквей всегда пёстрые, не только от обилия статуй или пустых консолей, но и оттого, что каждый камень постарел и потемнел по-своему. Кирха Св. Лаврентия была выстроена во времена императора Карла IV; в манере его любимого архитектора Петера Парлера. В отличие от неоготических фантазий на французский манер, немецкая подлинная готика более плотная: из храмов не торчат селёдочные кости аркбутанов и контрфорсы не топорчатся, а прилегают к стенам гребнями. Башни Св. Лаврентия такие, какими бы они были по всей Германии, если бы их заканчивали не в 19, а в 15 веке: в три этажа, плотненькие, сплошные, без рёбер, без больших просветов. Над башнями сделаны восьмигранные надстройки с восьмигранными, быстро сходящими на конус шпильями из позеленевшей меди. Между башнями торчит готический фронтон, весь как кружево, практически прозрачный. Под фронтоном находится готическое окно-роза, под окном балюстрада — выходят ли на этот балкончик погулять служители церкви? Под балюстрадой готический портал, сложенный, как матрёшка, из клювовидных, углублённых в стену арок. В тимпане портала изображена жизнь Христова, а по бокам стоят Адам и Ева.

В церкви множество чудес, пришедших из разных времён. Несмотря на то, что церковь сгорела во время бомбёжки, всё в ней подлинное, потому что даже витражи удалось демонтировать и спрятать на время войны. Небесной улыбкой встречает нас каменная мадонна тринадцатого века, в массивной золотой короне, которая Царице небесной не тяжела, в синем плаще с золотой подкладкой, в забранном спереди переднике по скульптурной моде того времени. Левой рукой она поддерживает младенца, который смотрит на мать, а не на молящихся, а в правой сжимает яблоко, напоминающая прихожанам, что Мария искупила грех Евы. Статуя умиротворяет — кажется, что жизнь хороша и уютна. На ножке консоли

под статуей золотом выписана птица с распахнутыми крыльями, показавшаяся мне Фениксом.

Над главным алтарём находится распятие Фейта Штосса: голова, склонённая набок, руки со вздутыми жилами, сведённые пальцы, летящая, вьющаяся по ветру ткань; только она и живая, а Христос уже мёртвый. Велик Фейт Штосс, ох, велик: ему удалось не преступить за черту натурализма, не соскользнуть в анемическую абстракцию или неприятную карикатуру. За что я так не люблю распятия?

Главная божественная реликвия собора — мощи Св. Деокаруса (исповедника Карла Великого), которые были подарены Нюрнбергу императором Людвигом Баварским в 1316 году. Мощи хранились в изумительном серебряном поставце, который нюрнбергцы пропили в 19 веке. Алтарь, который был сделан над поставцом в середине 15 века, сохранился, потому что его не взяли в ломбард. Алтарь представляет собой шкафчик, на полках которого расставлены простодушные куколки в золочёных одеждах. На верхней полке в центре восседает Иисус с державой и скипетром, а на нижней Св. Деокарус в митре епископа. Они сидят на мягких толстых подушках — вероятно такие были дворцах 15 века, набитые, ну, скажем, конским волосом. Вокруг сидящих персон стоят двенадцать апостолов, по шесть на каждой полке. Внизу под алтарём в пределле, створки которой открыты, выставлена под углом доска с изображением усопшего епископа в красном плаще. Створки алтаря и створки пределлы расписаны по золотому фону фигурами в ярких одеждах: в алтаре евангельские сцены, а в пределле — житие Св. Деокаруса.

Главная художественная реликвия собора парит в воздухе посреди церкви, подвешенная на тросе. Ничего подобного я нигде пока не видела. Это овал из роз (парафраз слова “розари” — чётки, или веноч молитв), и в овале сцена Благовещения, вырезанная Фейтом Штоссом. Навеки застыло мгновение — слетает голубь, падает книга из разжатой руки. Можно зайти сзади и увидеть прекрасные рыжие волосы Богородицы, кольцами спадающие на золотой плащ. У Гавриила синие крылья с радужными павлиньими яблоками и пояс со щегольской красной кисточкой. Нехорошо показывать пальцем, но Гавриил показывает на небеса, на Саваофа, который парит над овалом в огромной золотой короне, держа державу и благословляя мир двуперстием. От Саваофа отходит множество золотых лучей, как нити, которыми великий кукловод правит миром, Гавриилом, Марией и ангелами. Ангелы с музыкальными инструментами парят над овалом и внутри него, держат на весу плащи Марии и Гаври-

ила, а один, самый восторженный, с бубенцами, подпирает облако под их ногами. Над овалом из роз и на нём находятся круглые медальоны со сценами Нового Завета. С овала свисают настоящие чётки, из крупных бусин, каждая с дыню. Да, и не забыть про грустного-грустного Чебурашку с большими ушами и длинным, завитым в три кренделя тельцем, прижавшегося щекой к Евиному яблоку — горюет, что не удались его козни.

Благовещение на воздушных тросах было заказано одним из Тухеров — нюрнбергских Морозовых, — и ключ к замку троса хранился в этой семье. К счастью в Нюрнберге, хотя все поголовно перешли в лютеранство, картин и статуй не уничтожали, и “Благовещение” Фейта Штосса не сожгли, а закрыли тряпкой. Разбили его позже, когда пытались переподвесить, и сейчас оно собрано из кусков.

Каменное чудо кирхи — это многометровый многоярусный резной ларец (ковчег) со шпилем, в котором хранили Святые дары. Это токката и fuga каменной резьбы, завершённая самой высокой и чистой нотой, это собор в соборе. Поддерживает его сам резчик, великий Адам Крафт. Он присел в неудобной позе, взвалив ковчег на спину. У Адама Крафта кудрявая борода, растущая из шеи, а вокруг рта гладко выбрито. Во время войны шедевр Адама Крафта окружили цементным футляром, и он не пострадал, когда вокруг от бомбёжки обрушились стены.

Если барочный собор — это кластер кристаллов, сверкающих каждой фасеткой, то готический собор — пещера с рядами сталактитов. Много в кирхе стало бы жемчужиной любой другой церкви, где нет скульптур Адама Крафта и Фейта Штосса, нет бронзового литья Питера Фишера. Вглядевшись в это огромное, очерченное колоннами и пилонами монотонно-серое пространство, можно увидеть полихромные статуи, стоящие на консолях пилонов, памятные плиты утончённого рисунка, золотую резьбу алтарей, многоцветье гербов, парящие над полом цветистые столбы витражей. Невысоко над нефом переброшена арка, из которой вырастает Древо жизни — это металлический крест, концы которого распустились кружевными листьями. И на деревянных поперечных балках, перекинутых от пилона к пилону, присели, как ласточки, маленькие ангелы со свечками. Мне кажется, что они поют.

Я записываю: “Немецкие церкви — всё, чего я ожидала, и больше”.

Ужасно, что я всё забуду. Снять всё это — *наша задача*, но не смею: я у входа видела перечёркнутую камеру, — чтобы японцам

вроде меня было понятно, что “фотографирен ферботен”. Не смею... не смею... Но вот рядом женщина нахально снимает всё, что ей понравилось. И я сделаю так же. По этому принципу действуют все люди: стоит только бросить один окурок мимо урны, и тут же вырастает приличная горка. Я снимаю всё, что я вижу. Но вот уже некто, невысокий и сердитый, быстро идёт и всем бросает: “Не снимать!” Я возвращаюсь к выходу и вижу экран, на котором безмолвно мерцает хроника военного времени, рушатся стены собора. Кто снимал? И как? Уж не американские ли это кадры? И некто пробегает мимо, уже совсем сердитый и совсем невысокий, и шипит, как яичница. В его гневе есть рациональное зерно. Уходя, я замечаю объявление: можно снимать, заплатив десять евро. Я бы заплатила, если бы знала. Неправильно говорят, что девушки не должны читать надписи на стенах.

На углу напротив Св. Лаврентия стоит высокий дом с круглыми башенками-турелями по углам четырёхскатной крыши. Это Нассауер-хаус, выстроенный в 14 веке. В нём находится кабачок Нассауер келлер. Хорошо бы мне было двадцать лет, и я была тонка, как спичка. Я бы тогда проводила всё время в пивных и сосисочных! Но жизнь не всегда такая, как хочется. Я вышла к реке Пегниц. Набережной у этой реки нет из средневековой экономики, дома подступают к самой воде, и любоваться их фасадами можно только с мостов, которых множество. Проходя по мосту, по правую руку я вижу флигель, стоящий одной ногой в воде над двумя арками, перекинутыми через Пегниц. Крыша его высока, со многими рядами окон. В его фасад воткнута изящная булавка эркера со шпилем. Это больница Святого Духа, выстроенная в конце 15 века. По каким-то причинам когда-то в ней хранились регалии Священной Римской империи — где только не побывали эти регалии! Теперь в бывшей больнице дом престарелых.

Я прошла в стоящую поблизости, на соседней площади, кирху Св. Зибольда. У Св. Зибольда много порталов (хорошо на случай пожаров): четыре с боков, и два на главном фасаде, слева и справа от выступающей вперёд трёхэтажной апсиды, внутри которой находится алтарь Св. Екатерины. Снаружи, перед высоким и узким окном апсиды установлено гигантское распятие. В тимпанах боковых порталов показаны Житие Богородицы, История разумных и неразумных дев, Три волхва и Страшный суд. Страшный суд — тема популярная и заезженная. Куда не сунешься, Страшный суд. Можно ездить из города в город и сравнивать Страшные суды —

какой страшнее. Но раньше никого не смущало, что их так много; у каждого горожанина была одна кирха, и один-единственный, лично для его прихода спроворенный суд.

Собор Св. Зибольда построен в 1230–1273, в романском стиле. Потом его достроили в 15 веке. Собор Св. Зибольда — старший брат собора Св. Лаврентия, которому Лаврентий пытался подражать. И снаружи они похожи, и внутри, хотя и не близнецы. Оба снаружи выглядят то ли как одногорбый верблюд, то ли как муравей с кулём — у обоих сильно приподнята алтарная часть.

Внутри и у Зибольда и у Лаврентия к пилонам на консолях приставлены множество статуй, вырезанных из камня, но у Зибольда они раскрашены, большей частью вызолочены. Вообще весь Зибольд более цветной и нарядный. Кто лучше, Зибольд или Лаврентий, трудно сказать, да и сами нюрнбергцы так до реформации об этом и не договорились.

Хочется долго и нудно перечислять все украшения собора, но читатель не заслужил этой муки, да и я сама не всё рассмотрела. Не нужно много — нам не на продажу. Назову три вещи — вот эту, эту и эту. Нет, вот ту и эту. Или эту и ту? Словом вот.

Пречистая дева во славе, — сияющие лучи за спиной, под ногами месяц, который держат ангелы, а над головой венец со звёздами на зубцах, который тоже держат ангелы. *“И явилось на небе великое знамение — жена облечённая в солнце, под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд”* (Откровение Св. Иоанна, 12-2). Исполнено в так называемом “Красивом стиле” Праги, в мастерской Парлеров, эпохи Карла Четвёртого и его сына Вацлава.

“Амбри”, 1380 года рождения (что бы это значило по-русски, на русско-католическом? Убежище? Хранилище?). Каково в точности предназначение этой ниши, я не поняла, но предполагаю, что в ней, так же, как в ковчеге кирхи Св. Лаврентия, хранились остатки частицы, Тела Господня. У ниши золочёная с выступающими золотыми жилами дверца, а вокруг неё сделан как будто маленький фасад собора с несколькими рядами колонн, между которыми вырезаны небольшие цветные фигурки.

Мощи Св. Зибольда находятся в деревянном ларце, обитом серебряными листами с чеканкой. Ларец заключён в замечательную серебряную клетку-сень, почерневшую от времени. Сень Св. Зибольда стоит на умненьких улитках, я им обрадовалась, как животным, но конечно это символы; ни много, ни мало — воскресения: как улитки вытягивают рожки, а потом вновь вылезают из раковины, так и господь наш, Иисус Христос... извините за аналогю. По очертаниям

сень напоминает готический храм, сверху которого стоят три маленькие модели собора. На искусно сделанных прутьях сени, как на пилонах стоят удлинённые фигуры, и среди них сам Питер Фишер Старший, отлитый Фишером Младшим: памятник на века, не себе, — отцу. В основном, мне кажется, дети уважают и любят своих отцов, а те любят своих детей — Фрейд был неправ.

Ну вот и всё, достаточно. Хотя ну как же, как же, позвольте уж на бис — и в этом соборе постарался Фейт Штосс, и здесь есть его распятие, на котором случайно встретились три фигуры — между ними двадцать лет разницы. Распятие было сделано Фейтом Штоссом в два приёма. По бокам стоят Богородица и Св. Иоанн, полихромные. Спаситель сделан позже, монохромный. Если не знать, что контраст между цветом и нецветом случаен, что фигуры вырезаны двумя разными резчиками (ибо за двадцать лет человек преобразуется), начинаешь придумывать, что это символ различия между мёртвым и живым. Во всём можно найти потайное значение.

Ох уж этот Фейт Штосс — нюрнбергский Караваджо, сумасшедший, злой, битый и клеймённый на обе щеки за плутовство. Начавши в Нюрнберге, Фейт Штосс уехал в Краков, где двадцать лет проработал над алтарём Краковского собора Св. Марии. Имя Фейта Штосса, которого в Польше называют Витом Ствошем, я узнала очень давно, из польского фильма “Золотая туфелька”. Сюжет его вот каков. За алтарем собора находят туфельку. Как она туда попала? Нас переносят в пятнадцатый век. Мастер режет алтарь для собора; у него есть мальчишка-подмастерье. Иногда в собор приходит полюбоваться неоконченной работой король Казимир. Довольный король раздает подарки и спрашивает у мальчика, чего бы ему хотелось? “Жёлтые туфли”. “Почему?” “Потому, что жёлтый — красивый цвет!” Настаёт день освящения алтаря, леса сняты, алтарь предстал во всей красе, но Мастер в ярости — в руках у него посох, — посох, который должен быть в руке деревянного пророка. Только мальчик может вскарабкаться наверх без лесов. Все смотрят, затаив дыхание, как он бесстрашно взбирается на головокруговерхнюю высоту. Посох водворён на место, но при спуске мальчик теряет жёлтую туфлю, королевский подарок. И её находят только 400 лет спустя, при ремонте алтаря. Я запоминаю добрые фильмы; это естественно ерунда, дурман для души, ну и что? Пусть это будет мой опий. Я не люблю так называемой правды жизни, утверждающей, что все мы умрём, перед этим друг друга облапошив. В “Золотой туфельке” нет жлобов, все взрослые хорошие. Король Казимир, мудрый, как Берендей, объясняет, почему он

заказал алтарь Великому Мастеру: “Если вспомнят Вита Ствоша, то вспомнят и короля Казимира”. Какое уважение я испытываю к королю-философу!

Как жаль, что всё это клюква и агитка. “Аллес шайзе, аллес пропаганда”, — сказал бы папа. В действительности было вот что. Немцы в Кракове были богаты, но ущемлены, как нацмены, и задумали они утереть нос полякам, так украсить свой собор, чтобы поляки посинели от зависти... Скинулись и вызвали лучшего немецкого резчика. Пока Вит Ствош работал, поляки (и наверно Берендей-Казимир) предрекали немцам провал. Но Вит Ствош не подкачал, алтарь получился мировой. И кто теперь им хвастается? Отнюдь не краковские немцы, след которых в истории простыл, а поляки! Но в 15 веке ничего не знают о будущем, поэтому немцы довольны, поляки грустят и собирают деньги на достойный ответ, а Вит Ствош возвращается в родной Нюрнберг, туда, где его называют так, как надо — Фейт Штосс, туда, где он вырежет новые шедевры.

Много, много накопилось этих шедевров, сначала на каждом углу (нюрнбергцы любят фигуры на углах зданий), а потом в каждом музее: Фейт Штосс, школа Штоса. Фейт Штосс и его ателье вырезывали всем и всё — и церковные алтари, и светские люстры. Такая плодовитость ещё удивительнее, когда узнаешь, что у Тильмана Рименшнайдера был целый цех резчиков, а Фейт Штосс работал с немногими помощниками.

Значит, там, на севере, во Франконии был Тильман Рименшнайдер, а здесь, в Нюрнберге, Фейт Штосс. В чём сходство и разница между Фейтом Штоссом и Тильманом Рименшнайдером? Как сравнить двух людей — внешность, возраст, судьба? Или спросить — а вы их отличите? Вы узнаете их в толпе?

В Бамбергском соборе я увидела каменное надгробие Св. кайзерины Кунигунды и Св. кайзера Генриха Второго. Наверху этого красивого и когда-то даже подкрашенного параллелограмма лежат мужчина и женщина в длинных одеждах. По бокам — барельефы: Святая Кунигунда расплачивается со строителями собора Св. Стефана, и несправедно добытая монета прожигает ладонь мошеннику; Кайзерина ходит босыми ногами по угольям: кайзеру важно знать, верна ли, и это единственный способ — *не остаётся следа рыбы в воде, птицы в небе и мужчины в женщине*; кайзер болеет, и вместо задремавшего лекаря с лицом Рименшнайдера его лечит Св. Бенедикт; кайзеру снится сон — душу его взвешивает на весах архангел Михаил, и чашу тянут вниз мелкие бесенята, и вверх — святой Лаврентий; кайзер умирает на руках у верной Кунигунды.

гунды, рядом со смертным одром свернулся горестным калачиком крошечный лев.

В этом же соборе есть последняя работа Фейта Штосса. Заказчик, сын резчика, Андреас Штосс, был каноником монастыря под Нюрнбергом. Работа осталась неоплаченной — наступила Реформация, и Андреаса Штосса прогнали, а алтарь в конце концов оказался в Бамбергском соборе. Изображена сцена Рождества — Богородица, младенец, ангелы с лютьями и вдали города, холмы, стада и собаки. Мастер не стал её красить, как он делал обычно, он вырезал этот алтарь один, для себя и сына: не то, что модно, а то, что хотелось. Во многих деревянных алтарях, — да зачем далеко ходить, возьмите другие алтари Бамбергского собора, — каждый квадратный дециметр заполнен какой-нибудь рожей, но на этой доске только то, что нужно. Впрочем, когда Фейт Штосс делал для народа, у него тоже всё перегружено. И даже на этом алтаре мне хочется чуть-чуть раздвинуть фигуры.

Можно вернуться к гробнице и взглядеться в благородное удлинённое лицо Св. Кунигунды. Можно опять пройти к алтарю Рождества и любоваться длинными распущенными волосами Богородицы. И нельзя перепутать Рименшнайдера с Фейтом Штоссом. В чём сходство и разница между Фейтом Штоссом и Тильманом Рименшнайдером? У первого крестьянство, у второго — интеллигенция. Первый крашенный, второй некрашенный. Один — наполовину в прошлом, другой — наполовину в будущем. Первый *для знатоков*, а второй *для любителей* (папа). При моём стремлении к идеализации и хорошим концам я предпочитаю Рименшнайдера. Но кто любит Матисса, не обязательно отвергает Сезанна.

Переходя от одного великолепия к другому, я вдруг вижу на пилоне кирхи Св. Зибольда гвозди, большие такие строительные гвозди, и подпись: “Гвозди Ковентри”. Кто сейчас помнит английский городок Ковентри? Я почему-то помню. Может быть эти гвозди из Ковентри действительно нужны, чтобы вколотить в немцев мысль о том, что нехорошо устраивать мировые войны? Может быть разрушение храмов — небольшая плата за предотвращение третьей мировой войны? Я представляю, как Победитель среди дымящихся развалин Св. Зибольда прибывает эти гвозди к единственному уцелевшему пилону: “Знай наших! Вот тебе за наше Ковентри!” — гвозди, плоскогубцами добытые из обгорелых балок собора в разрушенном немецкой блиц-бомбёжкой английском городе Ковентри. Я ошибаюсь. Гвозди Ковентри на самом деле прибиты к пилону

не в 1945 году, а в 1999, — приколотили по просьбе самих немцев. Официальная Германия многократно извинилась за бомбёжки Ковентри.

Кажется, что спустя десятилетия можно всё разложить по правильным полочкам. Но объективность субъективна, а субъективность является объективной правдой момента. Мне стыдно, что я жалею немцев за явившиеся мне сюрпризом разбомблённые города, за сокровища вековой культуры, погибшие для всех нас, за гибель их близких и любимых в ковровых бомбёжках, за скорченных пожаром младенцев, за обгорелые балки церквей. ... За зияющие дыры в прежнем великолепии, наскоро заделанные современным бетоном, за дыры памяти, заломбированные поспешными интерпретациями. Мне стыдно за жалость не по праву, жалость-прощение не своих страданий, жалость-предательство страданий отца, деда, матери, Марины, бабушки. Стыдно за то, что из глубин нутра вместе с произвольной ненавистью подымается “общечеловек” с тошнотной тоской и стыдом за всешнее прошлое.

Я побаиваюсь прощать тех, кто изнасиловал не меня. Кто кому должен прощать и кто имеет право прощать? Имеют ли право дети рабов предъявлять претензии детям рабовладельцев? Имеют ли на это право дети солдат второй мировой войны? Объективно судить могут только современники современников, только жертвы — палачей. Сын за отца не отвечает. Сытое небитое поколение никого осуждать не может.

Мой отец не испытывал ненависти к немцам. Он говорил мне: “Без немецких крестьян я бы не выжил”. Я знаю, что человек, который меня расстреляет, не обязательно немец. Но пролистывая путеводитель, я запинаясь на фотографии милой немецкой улицы; меня скручивает судорога. Откуда злоба на пряничные домики, и почему на эти, а не на те, что на предыдущей странице? “Бремерфорде”. Потянув за название, вытягиваю из памяти: “Грейфсвальд, Вольгаст, Штаргарт, Бремерфорде” — список лагерей, отцовский список, который я прикладывала к анкетам, как дочь военнопленного. Разумеется, я никогда не думаю о Вольгасте и не поминаю Бремерфорде, у меня есть более интересные занятия. Это подсознание, коленный рефлекс, и как всякий рефлекс, не всегда к чему. Я не имею права простить за отца. Я не прощаю, но кого? Кто изгадил и запятнал маленькие городки Вольгаст и Штаргарт, кто устроил концлагерь в Бремерфорде? Умерли, умерли, все умерли. Поезд ушёл, и наказывать некого, и нельзя бесконечно бить в колокол. Бессильное жжение в желудке, — некому отомстить.

Красное пиво

В гостинице завтрака нет; нужно искать его на стороне. Отсутствие завтрака меня не пугает. У меня есть колбаски из Ротенбурга. Приятно пахнет свёрток в рюкзаке — то-то переполошатся собачки-ищейки в аэропорту. Ну а что вы, собственно? Человек имеет право путешествовать с колбасой. Имеет ведь? Лучше подумаем, что съесть на завтрак — колбаски или пирожные? Нюрнберг силён по части сосисок и пряников, но слаб по части тортов и сливового пирога. Можно выпить пива.

Пить ли пиво с утра? У разных народов свои представления, когда и что пить. В Абхазии женщины с утра выпивают стопку чачи для тонуса. В Америке другие обычаи. Мы сдали на водительские права и были так рады, что пива принесли, прямо в лабораторию, а наши американские товарищи, специалисты по актиновому цитоскелету, не пьют. “Вы что?” — спросили мы. “Так ведь утро же”, — простодушно ответили американцы. Нам было очень смешно. А вам? И вот ещё — сцена в немецкой сосисочной в Сент Луисе. Сент Луис между прочим немецкий город, вокруг него полно виноградников, переселённых из Германии, и немецкие колонисты этим очень гордились, до второй мировой. А во вторую мировую они погрузнели, особенно те, кто плохо говорил по-английски. Тут уже можно кричать: “Вот видите, не одни мы такие!” Не совсем такие, как мы, никого не расстреливали; но соседи могли сделать жизнь этих людей очень противной, и чаще всего делали; так сказать “инициатива снизу”. Поэтому, руководствуясь принципом “сосед тоже бьёт жену”, перестанем себя корить за превентивные чистки обрусевших немцев во время Отечественной войны. Вернёмся к немецкой колбасной, одной на весь Сент Луис, семейной.

Мясник — толстый, потому что немцы вне Германии становятся не представительными, а просто толстыми, — предлагает всем, кто пожелает, банку пива. И никто не берёт — утро! Ну и кто после этого тут немец? Кто послушен даже в отсутствие милиционера? Американец, многоевропейского происхождения. Я не такая. Если я приду на завтрак и мне нальют пива, я его спокойно выпью. Я обычно пива с утра не пью, я даже его не очень и люблю, как вы знаете, но я выпью — у меня нет табу на алкоголь с утра. В каждой стране всё держится не на законах, а на внутреннем понимании справедливости, которая для всех времён и народов своя. “Пить ли с утра?” — безобидно. Вопросы расизма, прав женщин и всяческих меньшинств — обидно. А всеобщая нелюбовь и недоверие к учёным,

которые проявились в последние десятилетия, задевает и тревожит: видишь, что в нашем безопасном, богатом, культурном обществе идут сейсмические подвижки в вопросах *“что такое хорошо и что такое плохо”*.

Поэтому не с утра. Я подхожу к палаткам на базаре и покупаю себе загорелый рогалик и три куска разных сыров, с перцем и без перца. И помидорчики. “Тётя!” — зовет одна торговка другую. Замечательная тётя, всем бы такую тётю: с папироской, с лицом, овеянным ветрами лугов и полей... Тётя-труженица, которая знает, с какого конца подойти к корове. На нюрнбергском рынке есть труженики и “чеченцы”. Я подхожу к чеченцу: “В чём у вас разница между “хорошими сливами” и “очень хорошими сливами?”” “Хорошие сливы — хорошие... А очень хорошие...” Пауза. Чеченец подбирает английские слова: “...очень хорошие”. Очень хорошие, и даже не гнилые, но совершенно безвкусные — конец сезона. А где ренклоды? Я уже десять лет не могу купить себе ренклодов.

Если задуматься над тем, какую фотографию послать из Нюрнберга, всё окажется не просто. При всём обилии красных крыш трудно найти старый город; он ускользает, уползает и портит каждый ракурс современным домом. Во вторую мировую Нюрнберг был разутюжен ну разве чуть-чуть халтурнее Дрездена. Сказочный город исчез под американскими бомбами. Что осталось от средневекового Нюрнберга? Всё, или ничего. Домики снова собрали по кирпичику, но кирпичики-то наверно перемешались? Только улицы не переименованы, как и раньше, они названы именами ремесленных профессий: Вейсгербергштрассе и Обер-Шмидгассе — красильщики и кузнецы. “Вон туда и за угол”, — командует путеводитель. И там, за углом, только в одном месте, над быстрым и чистым Пегницем увидишь беспримесное прошлое: два моста — цепной, Кеттенштег, и крытый, Хенкерштег, — Вайнштадель — винный склад, шамое большое фахверкное здание Германии, Уншлитхаус, предназначенный для зерна, как и Маутхалле, башню Шлаертюрм, домик палача, презренного, подлого, полезного.

Но всё мне кажется, что я смотрю костюмированную драму, продюсер которой не потратился на консультанта, не досмотрел, и мы видим пломбы и электронные часы у героя в допотопном парике. Паранойя, ибо на немногих снимках в фюрере Мумменхоффа подлинные, ещё не разбомблённые дома похожи на вот эти нынешние; не так уж они и красивы, стены их просты и пусты до бедности. Никаких украшений, ни наличников, ни колонн, ни карнизов, гладко,

ровно, только сами ряды окон — как декоративные пояски. Теснота ведёт к геометричности. Всюду пригоршни кубов с трапециями и треугольниками наверху, сеткой фахверка на фасаде ... соты. Соты Нюрнберга строили не пчёлы, и не роботы, поэтому встречается множество мелких вариаций.

Хочется здесь пожить, и мысленно вселяешься на верхний этаж, потом, с поправкой на больные колени, на второй, как раз у кованой вывески над булочной, так, что можно будет её украдкой пощупать, высунувшись из окна. Главное, что нужно для себя решить — это цвет гераней, хотя почему-то они здесь всегда одного цвета — огненного. Модно в этом сезоне. Это какие-то особые герани, которые муфтой вываливаются из ящиков.

Так вот, пиво — запитать все эти дилеммы. Я решила зайти на Альтштадтхоф, где сварили белое и красное пиво. Предвкушаю: “Мне пожалуйста пива, красного, и семечек”. С семечками наверно перебор. Чем лучше всего закусывать красное пиво? Просто пиво закусывают какими-нибудь рыбками. Я помню, как я впервые попала в пивбар. Мне было года 24. Я не помню, пробовала я до этого пиво, или нет. Могла и нет. В наше время пиво считалось низменным продуктом, и когда я была маленькая, я пила только коньяк. А тут пошла вся лаборатория, мне налили, я отхлебнула и поняла, что мне не глотается. Я долго сидела с полным ртом, но потом всё-таки всосала в себя этот мыльный раствор и решила сосредоточиться на закуске. Это были крошечные рыбки, одновременно солёные и вяленые. Они были тоже мерзкие, но лучше пива, и я принялась их есть, чтобы не обижать окружающих. Окружающие, которые рыбок не съели, потому что считали, что рыбки ещё отвратительнее пива, стали ко мне придвигать свои тарелочки: им хотелось меня порадовать и избавиться от закуски.

На севере — винная Германия, а тут на юге пивная. Перед местным колоритом отступать нельзя. Эксперимент с красным пивом должен быть поставлен. “У вас закуска-то есть?” — спрашиваю я настороженно. Я не хочу валяться под столом после эксперимента. Договариваемся на пробной пивной кружке — красное пиво, цвета меди, с привкусом хмеля (цитирую меню). Закусывать буду двенадцатью нюрнбергскими сосисками и куском хлеба. От старого дома уцелел только двор — Альт-штадт-хоф. В длинной подворотне стоят столики; из посетителей только я, и пробирает холодок — а вдруг забыли и про меня, и про красное пиво? Но не забыли и принесли, и на пивной пробной кружке найдена разгадка нюрнбергского герба. Меня этот герб в замке привёл в недоумение: орёл с одним крылом,

эдакие полпорции цыплёнка табака. Оказалось, что у орла две ноги и две руки, как положено, но он полуприкрылся щитом.

Здесь пиво лучше, чем у Степана Разина. Гурман сказал своё слово. Теперь, поскольку после пробной кружки я ещё стою на ногах, принесите шнапса, переделанного из пива сорта “Май бок”. Май бок — “красное летнее пшеничное пиво с привкусом свежих яблок и груш, выдержанное 18 месяцев, золотая медаль 2008 года” (цитирую меню). Май бок конечно шибает спиртягой, но в первый момент в нём чувствуются яблоки. Или груши. Заедаю горячим апфельштруделем с ванильным соусом.

Под Альтштадтхофом и вообще под всем этим кварталом проходят цепочки подземелий, в четыре этажа, которые когда-то служили пивными погребами, потом бомбоубежищами. И сейчас это опять погреба, куда ходят на экскурсии с детишками, а потом дегустируют пиво. Самый известный пивной погреб на глубине в 24 метра называется Хисторише кунстбункер, или историческая кладовая предметов искусства. Здесь спрятали множество сокровищ и тем спасли их от бомбёжки.

Соборам Нюрнберга повезло, что город стоит на скале, что были выкопаны такие вот погреба, во времена, когда о бомбёжках ещё и не помышляли. Не везде были такие надёжные многоэтажные убежища. По всей Германии что-то спрятали, но не так надёжно. И не всё — слишком много было ценностей прошлого. Даже в Нюрнберге совсем не всё спрятали. В других местах фашисты, чтобы не *сеять панику*, вообще ничего не прятали, но всё тщательно фотографировали. Они хорошо понимали, какой разгром их ждёт. Началась эта фоторабота в 43 году, то есть можно точно датировать, когда начальство нацистской Германии поняло, что они проиграли. Потом реставрировали по фотографиям, чтобы было, как раньше.

А что кстати такое наши Петродворец, Екатерининский и Павловский дворцы, как не новоделы на месте сгоревшего? Когда немцы стремительно пошли к Петербургу, единственный дворец, который эвакуировал и спрятал почти всё, был Павловск, и если вы спросите “Почему?” — то я гордо отвечу: “Вот вам роль личности в истории, всё благодаря директрисе Павловского дворца”. Я подозреваю, что она рисковала жизнью, пряча картины и мраморные статуи — не из-за немцев, из-за наших, у которых на одном конце города входят немцы, а на другом гепеушники арестуют тех, кто сеет слухи о войне с Германией и предлагает эвакуироваться. Так что всё в Павловске осталось в целостности, и если потом мне прихо-

дилось видеть на выставках заграничных музейчиков картины из Павловска, так это были не немецкие трофеи; куплены они были в Павловске в 60-е годы. Кто в Ленинграде в 60-е годы посчитал их своими трофеями, не знаю, и наверно никогда не узнаю славных имён, нацарапанных на распоряжениях о продаже предметов искусства за границу.

Всё остальное, непавловское, было сожжено. Всё восстало из пепла. Целые комнаты восстанавливали по лоскутку обоев, по чёрно-белым довоенным фотографиям. Но таких систематических фотосъёмок, как в Германии, сделано не было. Хорошо бы немцы нам наше тоже пофотографировали, прежде чем сжечь его или ободрать со стен.

Каков был подготовленный немцам послевоенный фронт работ, можно судить по деревянным макетам, которые есть в краеведческом музее любого города. Я помню макеты в городском музее Франкфурта. Один из них скрупулёзно воспроизводит средневековый центр так, как он выглядел до второй мировой. Его сделали два человека, которые в тридцатые годы обошли и обмерили Альтштадт, и хочется сказать “обрисовали”, но это слово уже занято под другой смысл, и потому скажу “зарисовали”. Это макет города, в котором вырос Гёте, который облазил в нём каждый закоулок и с любовью описал его в автобиографии “Поэзия и правда”. А современный Фракфурт не есть город, в котором вырос Гёте, причины чего проступают на другом макете, наглядно воспроизводящем результаты бомбёжки. В Нюрнберге, в городском музее Фембохаус есть макеты Нюрнберга. Один, современный, большой, на самом верхнем этаже, это реконструкция средневекового, сделанная специально для иллюстрации фильма, который показывают в музее. А в комнатах нижнего этажа есть ещё несколько макетов постарше и поменьше. Один из них сделан анонимом в подарок городу в 1950 году. Он изображает разгромленный Нюрнберг. Нюрнберг был разрушен на 90 процентов. Но тише, тише, скажешь “Нюрнберг” и ответят “Смоленск”, коленным рефлексом послевоенного поколения.

В отличие от уплотнительной застройки пустырей, реставрация происходит только в обществе, которое считает прошлое иным, отличным от настоящего и достойным памяти. После второй мировой жители Ленинграда нашли восстановление возможным. Нюрнбергцы попытались восстановить разрушения, но большинство домов воссоздать оказалось невозможно. Можно было только вставить протезы, подороже — не железные, а фарфоровые, примерно

под цвет прежних зубов. Нюрнберг воплотил собой мечту каждого самостоятельного питерца — развалить и построить похожее. Ну, здесь хотя бы разбомбили. Но у нас тоже разбомбили, потом восстановили точно как было, а теперь вот это, восстановленное когда-то, крушат потихоньку, без нужды — там крошечку отщипнули, тут кусочек разрушили...

Можно ли любить город, если он уже не тот? Можно ли любить человека, который изменился? Его не узнать на старой фотографии; стоит ли высматривать то, что было в нём раньше? Стоит ли ждать той, прежней любви, или пора полюбить, что есть? Всё равно ведь через триста лет новоделы осыплются или станут историческими.

Лучшие дома Нюрнберга

В средневековый город бежали за свободой, но и там жизнь была по-своему регламентированная. Если приподнять крышку над прошлым, шокирует отсутствие личной свободы и кастовость. Понимаешь, что мы сейчас здорово распустились и привыкли к отсутствию обязательств перед обществом. Кастовость в нашем обществе есть, но её как бы и нету, потому что договорились, что её не должно быть; это конфузная ситуация, которую замели под половику. А в средневековом городе это правда жизни, и в Нюрнберге кастовый корсет был самый тугой. В то время как во многих других городах с гильдиями приходилось считаться, в Нюрнберге они были задавлены, и Ганс Закс мог сколько угодно стучать молотком по подошве и сочинять стишки, но никакого политического резонанса этим не производил. Во главе стояли патриции (банкиры и купцы). Патрициев императоры всячески поощряли — они понимали, что ничто так не способствует безнаказанной эксплуатации, как диспропорциональное распределение доходов. Патриции вершили политику. Под ними — “эрбар”, достопочтенные промышленники и мастера, к которым принадлежал и Дюрер. Они могли занимать важные посты, хотя ничего не решали. Третий сверху и снизу, как ни подсчитывай, слой — просто мастера с подмастерьями. Четвёртый — мастеровые и подёнщики. И пятый — нищие. Их кормят. 70 процентов этих нищих — женщины.

Чиновникам жилось хорошо, они зарабатывали по двести флоринов в год. В это же время капитал миллионщика Фуггера составлял двести сорок пять тысяч флоринов. Художнику (ремесленнику, стало быть) Дюреру заплатили за роспись алтаря 200 флоринов. За свой городской дом Дюрер заплатил в общей сложности 500 фло-

ринов. Не будем обольщаться, мы — не Дюреры. Честным трудом, например, высекая плиты из песчаника, Недюрер может заработать 15–40 флоринов в год или 18–36 пфеннигов в день и купить себе фунт хлеба за 1 пфенниг, и фунт мяса или дюжину яиц за 5 пфеннигов. Ну допустим, но что такое флорин? Сколько это в долларах, или евро, или рублях? Предположим, фунт мяса стоит 6 долларов. Тогда ежедневная зарплата, по максимуму, 42 доллара. Прожить можно. Кружка и ложка у тебя есть — достались от бабушки. Телевизор, если повезло, тоже достался. А не достался, “В мире животных” не посмотришь, не обессудь. По-моему надо молиться на общество, где доходы распределяются более честно.

Есть такие, которым хочется увидеть, как жили обыкновенные люди. Я этих любопытствующих приглашаю к себе, тем более, что квартиры рядовых трудящихся 15 века в Нюрнберге не сохранились. Пока вы с изумлением дивитесь моей мебели, купленной в комиссионке, и щербатым чашкам из Кей-Марта, я пойду рассматривать, как устроены лучшие дома Нюрнберга, например дом миллионщика Тухера.

В прихожей дома Тухера, естественно за столом, сидит смотритель и принимает плату. Я купила билет и сразу же вышла во внутренний двор, опоясанный на втором этаже красивой деревянной галереей. И тут я прочитала на сопроводительной бумажке, что мой билет — комбинированный. Но сам билет то ли затерялся, то ли мне его не дали. Я решила, что я не должна давать себя в обиду. Я вернулась и бесстрашно, прямо, не отводя глаз, сказала, что пусть я русская, пусть я женщина, но я не позволю себя унижать. Обалделый кассир оторвал мне новый билет. И я опять вышла во двор и теперь уже дочитала инструкцию до конца и обнаружила, что билет в квартиру Тухера скомбинирован с местами сборищ нацистов Нюрнберга. Вот за что я боролась и вот что я отстояла: поход по местам боевой славы фашистов. Экскурсия в Гори, на родину Героя, паломничество к месту экспроприации на Эриванской площади... Никакого желания ездить по ленинским местам нацизма у меня нет. За что же я кассира приложила? Сейчас он думает, что я жадная, а если вернуть ему билет, решит, что я психованная. Интересно, что меня часто обсчитывают, обманывают и унижают, но если я решаюсь за себя постоять, оказывается, что не вовремя.

Получив очередной жизненный урок, я полезла по лестнице на второй этаж, где собственно и начались жилые помещения — какие-

то ненужно обширные прихожие, напрасно проходные комнаты. Неудобность планировки кажущаяся — у нас иной образ жизни. Всё — вопрос привычек и ожиданий. Прошлая эпоха кажется неудобной потому, что мы отвыкли от дощатых сортиров. Но очко не обязательно неудобно. Тогда не было туалетной бумаги, но в уборных лежали стопочки мягких тряпочек. Жизнь, которая так далека от нашей, кажется дикой, страшной, но вот мягкие тряпочки в туалетах и мейстерзингеры... Мне приходилось пользоваться предметами прошлого — чугунным утюгом, рукомойником; я привыкала и не плакала. Я готовила на дровяной печи, и особых неудобств не испытывала. Я готовила и на керогазе, он мне очень нравился, и поездка в Кезево за керосином была удовольствием впридачу к пользе.

В коридорах особняка висели портреты *бывших хозяев дома*, (как было подписано под альбомами в доме Набокова в Рождестве). Там была парсуна Ганса Тухера работы Михаэля Вольгемута (учитель Дюрера). А Дюрером написан портрет Элсбет Тухер, который хранится в другом музее. Тухеры — Фуггеры Нюрнберга, меценаты и надёжные заказчики. Кстати, Дюрер написал и портрет Якоба Фуггера.

В садике при особняке Тухеров стоит невзрачный павильон, Хиршфогельзаал, вся сила которого в его интерьере. Павильон пролежал разобранный до 2000 года. Я пришла после 2000 года. Делайте, как я — всё вовремя. Впервые этот рококошный павильон был собран в 1530 году Питером Флётнером, и расписан учеником Дюрера Георгом Пенцзем. Нравится? В общем, так как-то. Я люблю обои, потому что в Петербурге в моё время они были приняты, и мы выискивали обои с хорошим рисунком, и я помню, что последняя оклейка нам очень удалась. Когда я съездила в город Дзержинск, бывшее Растяпино, оказалось, что там стены просто красят. По сравнению с голыми стенами обои куда наряднее. Соответственно мне нравятся стенки Хиршфогель зала, но не более, чем нравятся.

Я зашла в музей Фембохаус досмотреть, как жили патриции, посмотреть на расписанные потолки. (Надо постараться и не сделать опечатки в названии, потому что я мысленно всё время сбиваюсь на фемто-хаус, по привычке выражаться химически).

В Фембохаусе четыре этажа и внутренний двор с деревянными галереями. Часовым внизу — добрая полная немка. Смотрителей там нету, и ты ходишь сиротой, тем более, что путеводителей не дают, только аудиогид, а надписи на немецком. Начинают все с верхнего, четвёртого этажа, где показывают фильм и высвечивают

соответствующие куски Нюрнберга на деревянной модели. Я заскучала и спустилась на третий этаж. Там я увидела кухню 16 века. Неудобство таких кухон состоит в том, что воду таскали из колодца во дворе и наливали в бак с крантиком. Рядом с кухней большой танцзал. Потанцевал и котлету можешь съесть. Потолки зала разделены расписными балками на квадраты, и доски в квадратах расписаны аллегорическими сценами. Интересно, что в то время картины или статуи, тем более античные, были доступны очень немногим, но из города в город кочевали гравюры известных статуй и картин, и архитекторы черпали из них сюжеты, композиции и позы. Вот и здесь художник перерисовал гравюры масляными красками, а уж цвета подобрал по вкусу.

Эти покои были устроены, когда домом владела семья Бехайм. Впоследствии фемто-хаус был поделён между двумя владельцами, хотя трудно представить, как можно было двум семьям изолироваться друг от друга при такой планировке. Одна семья решила донести до нас интерьеры 17 века, а другая решила для нас оборудовать век восемнадцатый. В 18 веке образовался лестничный холл, он же танцевальный зал, к потолку которого приклеена круглая скульптура, обильно окружённая массивной лепкой. Потолок низкий, — не такой низкий, чтобы за ногу стягивать гипсовых купидонов, но достаточный для того, чтобы они находились в устрашающей близости. Доходам владельцев было доступно всё самое дорогое и модное: наверху современники 16 века восхищались потолочными яркими росписями аллегорических сцен, а внизу современники 18 века восторгались потолочными, большими такими, крупными... ну я даже не знаю, как их назвать, — и все вместе дивились достатку и говорили: “Заворовались!” Общее впечатление — сам дом обширный, много помещений, но все они относительно небольшие, размером в комнату в почтенном петербургском многоквартирном доме. Нувориши ещё не дозрели до огромных дворцовых залов, не дотумкали до превращения в князя.

Но вот скачок, и вот летит... Дом Пеллера — это уже не фемто- а нано-хаус; тут уже произошёл качественный скачок от дома боярина к дому князя. За него было уплачено тридцать шесть тысяч гульденов (не знаю, сколько это в пересчёте на флорины или рубли), в том числе за шикарную (я не побоюсь этого слова) каменную наружную лестницу, в которую можно засунуть точечную девятиэтажку, а если и не засунешь, так всё равно грандиозная. И залы у патриция классные, и потолки в них высокие, и не изразцовые печки местного производства, а камин в человеческий рост с аллегорическими

фигурами, и стены в них обстроены шкафами хорошего дерева, и у шкафов не просто створки, а произведения архитектурного искусства с колоннами и портиками и деревянной инкрустацией. В Нюрнберге было несколько таких дворцов, и посетить их было бы интересно и поучительно, но они сгорели, и поэтому рассмотреть можно только модель дома Пёллера и одну-единственную комнату, воссозданную в Фембохаусе.

Ну а как жил честный ремесленник вроде меня? В Ротенбурге я увидела узенький домик: метров пять в ширину, а может и четыре, но длинный, — такой, в общем, колбасой метров на десять. Он нарезан на комнатухи, некоторые вроде даже и без окон, буквально забитые мебелью, и не потому, что её много, а потому что в комнатёнку еле влезает короткая кровать (спали сидя), комод, сундук и стул. Внизу у входа кухня, она же и мастерская, где мать и дочери целый день варят, ткут и вяжут. Может быть и едят досыта от трудов своих. На втором этаже спальни, на третьем какая-то свалка из орудий производства, дерюги и верёвок, и спальня для работников. Лестницы из экономии места крутые, без площадок, без перил, и я по ним спустилась, потому что цеплялась за все выступы обеими лапами, но если бы мне пришлось ещё тащить глиняный горшок или младенца, долго бы мы с ним не прожили. Вот что можно нажать от трудов праведных.

Можно жить честнее, чем ротенбургский ремесленник, т. е. иметь дом ещё хуже? Можно. Я всегда хотела понять, какова планировка дома с фасадом в три метра шириной, и я это узнала, когда я посетила дом-музей Гофмана в Бамберге. При жизни не очень счастливый, но всеми сейчас любимый сказочник снимал — не знаю, что именно: весь дом, или комнату — в изогнутой сосиске в три метра шириной и метров 12 длиной. Соответственно две комнаты с торцов имели окна, а всё, что посередине — нет. Друг Гофмана и издатель в то же самое время жил в солидном доме почти петербургских размеров, с нормальными комнатами, нормальными потолками и нормальными окнами. Фамилии этого издателя я не помню, помню фамилию Гофмана, но Гофман жил в крысиной норе, а издатель в хорошей большой квартире. Несправедливо это всё, вот ей-Богу. Не надо так жить, и сейчас, когда живём по-другому, не надо изо всех сил поворачивать общественное дышло на прежнюю стезю.

Ниже патрициев, но выше ремесленников, как вы помните, были Дюреры. Дюрер не патриций, но богатый буржуа. Дом Дюрера, наполовину каменный, наполовину фахверк, за который он выложил

500 флоринов, почему-то сохранился, не сгорел во время бомбёжки, но сгорит конечно рано или поздно. Дом этот старше Дюрера, он был построен в 1420 году, и в нём тогда же была сделана домашняя обсерватория. Дюрер купил его в 1509 году, вместе с обсерваторией, в рассрочку.

Здесь, у дома Дюрера и ворот Гиргартнер, тоже можно сделать хорошую романтическую фотографию, потому что эта площадь, слегка наклонная, вся обставлена крупными крепкими домами из фахверка. Немного портит эту площадь бронзовый заяц, несколько нездоровый и с бельмом на глазу, который выпирает из ломаного ящика, как перезревшее тесто. По зайцу ползают зайчики, которые по размеру не тянут даже на его зайчат, а из-под брюха вытарчивает большая человеческая ступня. Скульптура эта — художественный парафраз дюрерова зайца, сделанный человеком, у которого Дюрер уже вот тут.

Билетёр в музее Дюрера был русский. И он мне тут же нарасказал, где какие скидки, и объяснил, что синенькую бумажечку, которую мне приложили к билету, можно показать в книжном магазине музея, и мне дадут бесплатно открытку. Русские — хорошие люди. Ведь он это делает от души, ему от меня ничего не нужно, он меня не знает, но ему хочется сделать что-то хорошее соотечественнику. И когда я вижу таких людей, я забываю, что мою подругу, когда она заболела альцгеймером, обсчитывала каждая русская продавщица, но помню её трёх подруг, которые, не жалея собственного времени и сил, таких необходимых для собственного выживания, держали её на плаву, водили к врачу, высиживали очереди за бесплатными лекарствами и выбивали ей матпомощь в собесе. Просто так.

Я слышала, что в доме сейчас живёт или по крайней мере появляется по субботам жена Дюрера Агнесса. Агнесса берёт умеренно, по 7.50 за экскурсию: где спал, что ел, из кого состояла средневековая семья, включавшая в домочадцы и подмастерьев, которых полагалось кормить и воспитывать. Но живая Агнесса говорит только на немецком. Я хотела взять аудиоэкскурсию на английском, я не хотела выслушивать очередного Либора Крейчиржика, но мой добрый гений посоветовал взять на русском. Оказалось, что русская Агнесса рассказывает приятным голосом и очень грамотно. Текст прекрасно переведён, читает настоящая актриса, ничего лучше придумать нельзя.

Этажей в этом доме шесть, и три из них под крышей. Если взять дом ремесленника в Ротенбурге, вставить в него соломинку и на-

дуть, получится дом Дюрера. Все комнаты приобретут хорошие размеры, но назначение в них будет всё то же. На первом этаже, где сейчас касса, было что-то вроде лавки с “оффисом” для Агнессы. Здесь встречались с клиентами и паковали гравюры в специальные водонепроницаемые бочки для транспортировки в другие города. Здесь же стоял печатный пресс и жили животные, которых рисовал Дюрер — ну, например, зайчик.

На втором этаже находятся четыре комнаты приличных размеров; в этих комнатах были спальня Дюреров, кухня, гостиная и столовая. Дюрер заразился малярией, когда он наблюдал за китами с болотистых берегов Зеландии; у него были припадки высокой температуры; от малярии он вроде и умер. Под конец, когда ему уже было совсем плохо, для него при кухне сделали сортир и за это платили штраф, потому что туалеты в доме не допускались городскими нормами.

В тогдашних кухнях строили мощнейший каменный прилавок, и огонь разводили на этом прилавке. За прилавком был каменный “брандмауэр”. Над прилавком висел котёл. Огонь раздували мехами. В обычные дни варили и ели суп или пюре: любили пюре из груш. Для гостей жарили жаворонков и подавали бланманже из рисовой муки, сахара, миндального молока, и (держитесь, дальше круче!) курятины и смальца.

В гостиной не вся мебель вполне соответствует эпохе; но висит копия люстры, эскиз которой Дюрер сделал для ратуши: деревянный дракон, из которого торчат настоящие рога. Оригинал, вырезанный Фейтом Штоссом по эскизу Дюрера, можно видеть в Баварском музее в Мюнхене. Как работали такие люстры, понять трудно, потому что свечей на них сейчас нет, но я прочитала, что свечи крепили на рога. Рога были модны, их привозили даже из Африки. Дюрер такие люстры коллекционировал. После смерти Дюрера Пиркхаймер, который тоже любил люстры, поссорился из-за этой коллекции со вдовой. Он-то и пустил слух, что Агнесса сварлива и жадна. А какая она была на самом деле — неизвестно. Никто и никогда её не обсуждал в письмах, ни Дюрер, ни его друзья, как будто её и не было. Но это никак её не характеризует — ни хорошо, ни плохо. И отсутствие детей тоже ничего и никого не характеризует. Почему у них не было детей — возможны варианты. Почему Дюрер уезжал так надолго и один? Возможны варианты. Мы можем их перебирать, сколько влезет — всё равно не найдём верного: мы не подготовлены к варианту средневековой семьи. Мы слишком полюбили слово “любовь” и забыли, что семья — экономическая ячейка

общества, и в ней главное — грушевое пюре. Брак месье Монтеня считался прекрасным. При этом Монтень проводил свои дни в прекрасной отростроенной башне с библиотекой или на капустных грядках и хорошо, если встречался днём с женой во время еды. Дети были. Монтень считался отличным любовником, но жену искусством любви не унижал, в силу всеобщего тогдашнего убеждения, что муж не должен развращать жену. У Дюрера в доме был порядок и бланманже. Агнесса могла и гравюры запаковать, и продать их на рынке в другом городе. Да, ну что о ней сказать? Есть трогательный рисунок Дюрера, подписанный — «моя Агнесса»...

На третьем, наиболее верхнем из этажей, доступных сейчас для обзора (на самую верхотуру не пускают), можно купить эстампы современных художников по мотивам Дюрера. Здесь была раньше мастерская Дюрера, а сейчас художница демонстрирует, как печатали эстампы, на примере известного портрета императора Максимилиана. О-о, какое запоминающееся благородное лицо! Если сравнить с печным кафелем, на котором тогда любили изображать императоров, покажется, что Дюрер польстил. Может быть в жизни Максимилиан и выглядел, как заяц с недокусом. Но этот блестящий, оригинальный человек в эпоху гениев был тоже своего рода гением: гением-покровителем — ведь на каждого гения-Матисса нужен гений-Шукин, а что получается, когда у гения нет гения, мы видим на примере Ван Гога. Не было бы заказов Максимилиана и не было бы школы нюрнбергских художников и витражистов. Посмотрел Максимилиан на Дюрера, и всё понял, и назначил ему ежегодную стипендию. Может быть Дюрер ему и польстил; а может быть привёл его лицо в соответствие с душой. Хотя это мне так кажется, а вот эрцгерцогине Маргарите Максимилиановне Австрийской портрет её отца не понравился.

Над нами, куда теперь нельзя, были комнаты матери Дюрера, подмастерьев, помещения для сушки дров (их вылёживали по два года перед растопкой), ну и обсерватория, куда раньше Дюрер водил гостей.

В зале на первом этаже выставлено множество картин Дюрера, но все они — копии, и были тому причины и предпосылки. Причина — выставка 1928 года, когда временно сошлось вместе множество картин Дюрера, и удобно было заказать их копии. Предпосылка — отсутствие в Нюрнберге подлинников. Сначала картины Дюрера оставлялись в Нюрнберге, но затем многое растащили императоры и курфюрсты. Самая странная история вышла с портретом Дюрера. Его отдали на реставрацию Вольфгангу Кюфнеру в 1798 году, и

поскольку времена были беспокойные, не сразу заметили, что он подменил подлинник, и продал его потом баварскому королю.

Подмену можно теперь видеть в выставочном зале, так же, как и официальную копию. Я перебегаю от одной к другой, прижмуривая глаза на переходе. Копия — хорошая. Подмена плохая — не видно седоватой щетины на подбородке. Но видимо задача Кюфнера была скопировать картину, потускневшую от старости. Под каждой копией — фамилия копировальщика и информация о нём и о самой картине. Информация полезная. Есть множество вещей, которые не обсуждают, и узнаёшь о них случайно. Мне было бы самой не догадаться, что Дюрер писал автопортреты не из нарциссизма, а как образцы товара.

У всякой нации есть собственные, особо дорогие художники. Немцы любят своего Альбрехта Дюрера, и своего Тильмана Рименшайндера. А мы... кого мы любим? Андрея Рублёва, а ещё кого? Ребята, великая нация, — ах?! У нас есть великие художники — Кандинский, Филонов, Малевич, но нельзя сказать, чтобы мы их любили — они появились слишком поздно, в том нашем возрасте, когда влюбиться трудновато. Дюрер писал картины и портреты, он писал и сцены из Библии, и парсуны богатых заказчиков, он писал и отца, и мать, и учителя своего Вольгемута, и себя — нарядно одетого и причёсанного, или голого, с тряпкой на голове. Сколько бы ни нарисовал Дюрер, всё равно мало; растащили по музеям и теперь просим ещё.

Заказчики Дюрера — Тухеры, Халлеры, Баумгартнеры. Его друг — патриций Виллибальд Пиркхаймер. Соседи Дюрера — печатник Антон Кобергер, который опубликовал “Хронику мира” в 1496 году, и поэт-лауреат Конрад Кельтис. Они все умерли и похоронены на местном кладбище. Чтобы на него попасть, нужно выйти из Альтштадта. По прямой недалеко, но я промахнула нужную улицу. Вышла к Пегницу. Спрашивала юношей с серебряным бубенцом на губе: “Где тут лежит Дюрер?” Не знают, и им стыдно — не перед Дюрером, но передо мной. Спрашивала старушку с дочкой и внучкой, такую чистенькую и аккуратную, подстриженную ёжиком — велела мне держать правее. Я держала и шла садом вдоль Пегница, пересекала улицу, поднималась по лестнице. Навстречу мне по лестнице спустилась женщина с коляской, и кстати перегородила мне дорогу — мне, оказывается, в другую сторону, мимо высокой стены барочных садов Гесперид. За современными домами и за немецкими бомжами обнаружилась стена кладбища.

Кладбище просматривается насквозь — деревьев нет, есть штамбовые розы и живые цветы, растущие в изумительных бронзовых чашах на гнутых тонких ножках. Всюду большие параллелепипеды серого погрызенного лишайниками песчаника — надгробия. Я знаю, кто здесь лежит, но не знаю — где, и мне не помогает ни схема у входа, ни даже стрелочки: “Бехайм, Пиркхаймер”. Я хожу вокруг этих стрелочек, но никого не нахожу: все надписи здесь хвостатым готическим шрифтом на бронзовой доске, чёрным по чёрному, и мне их никак не прочесть. И мне становится ясно — я далеко забрела, чтобы увидеть надгробия героев Немецкого Возрождения, но я их не найду. Со мной такое уже бывало на других кладбищах. Пришла, но как бы и не приходила.

Пожилая пара разговаривает по-немецки. Спрашивают меня о чём-то; из всего понимаю только “кого вы ищете?” “Дюрера”. “Так вот же он”. Пара стоит над его надгробием. Эпитафия Дюреру написана по-латыни, на языке тогдашнего образованного сословия, на котором писал и сам Дюрер, и я выбираю то, что могу из неё понять с моей латынью уровня учебника ботаники: *Albertus Durer, Artium Lumen, Sine Exemplo, Magnae Magnatum*. И рядом что-то готическим шрифтом.

Я отхожу в сторону и вдруг распознаю имя Ямнитцера, ювелира, несостоявшегося учителя Дюрера. Старательно, как умею, переписываю в блокнот написанное уже по-немецки, старой орфографией, с пропуском букв, которые не встраиваются в размер:

Hie ligt begraben unter dem stain
Wenzel Jamnitzer und auch sein
Hausfrau, sein Vater, Mutter und Kind
Die all in Gott verschieden sind...

Я знаю, что где-то там, впереди и левее находится могила Фейта Штосса, но не надеюсь её найти. Пожилая пара стоит уже над другим камнем: “А теперь вам кого?” “Фейта Штосса”. С нетерпеливым удивлением: “Так вот вам Фейт Штосс.” Хотела бы я знать, почему они ищут те же могилы, и о чём они говорят.

Многие испытывают к кладбищам неприязнь и страх, но я, наоборот, испытываю чувство умиротворения. Я не бунтую против смерти, и мне не стыдно перед мёртвыми за то, что я жива, потому что рано или поздно я к ним присоединюсь. Уйти с кладбища сложно, трудно перестать разглядывать бронзовые плиты на камнях — они привлекают меня узором, а прочесть не могу ничего, кроме “семья таких-то” — со странными, длинными старин-

ными фамилиями. И на очень многих и цветы, и свежие даты. На песчаной дорожке стоит велосипед с корзинкой, а неподалёку надевает резиновые перчатки мужчина у могилы, заваленной цветами. Свежие захоронения — подхоронения. Пиркхаймеров к Пиркхаймерам, Бехаймов к Бехаймам. Если бы я продолжала жить в Петербурге и у меня были бы дети, мы регулярно приходили бы на кладбище Александро-Невской Лавры и мыли большой крест чёрного гранита, стоящий там с 1912 года. Каждый хочет жить со своими и уйти к своим.

Я медлю, мне так хочется увидеть могилу друга Дюрера, Пиркхаймера. Почему-то уйти, не увидев могилы Пиркхаймера мне так же неприятно, как уехать из Петербурга, не повидавшись с престарелым родственником, или с другом, не самым близким, но дорогим. И я делаю последнюю попытку, и о чудо — нахожу. Глаз мой уже привык к лохматым буквам и научился их распознавать. Виллибальд Пиркхаймер, патриций и член императорского совета, получил всё тот же серый блок, не больше соседей, а семья Бехайм, вся эта большая семья владельцев Фембохауса лежит рядом под камнем толще, но не длиннее, остальных.

Странно видеть старые могилы. Они как-то дематериализованы. Вот тут, якобы, Фейт Штосс, а там — Венцель Ямнитцер, но что всё это значит и чем отличается от памятной доски в университете? Я понимаю, конечно, что их кости тут, — так же хорошо, как понимаю или не понимаю, что кости родителей — под большим крестом Никольского кладбища Александро-Невской Лавры, но сами-то они где?

Во времена Дюрера, на рубеже пятнадцатого-шестнадцатого веков, все сплошь были гении, а потом уже гениев не стало. Этот “рубеж” — время довольства и покоя, и лихорадочного изготовления шедевров; время, когда Ульрих фон Гунтен воскликнул: “Как радостно быть живым!” Всегда ли покой и экономическое процветание приводят к шедеврам, не знаю. У нас в России не всегда, но это как с дядей Ваней: “Груши! Я так люблю груши! Ел бы их и ел”. Я, дитя, полное интереса к жизни: “А сколько Вы можете съесть за один присест?” “Не знаю, мне больше полгруши никогда не доставалось”. России никогда не выпадало больше полгруши покоя.

А у Нюрнберга была целая груша, и всё на широкую ногу. У печатника Антона Кобергера, крестного Дюрера, было 24 печатных станка и сто рабочих, и филиалы печатен в Базеле, Кракове, Вене и Венеции, Лионе, Париже и Страсбурге. У художника Мика-

эля Вольгемута, учителя Дюрера, была огромная мастерская, где и картины писали, и брали заказы на витражи — всё, что хотите. В Нюрнберге пели мейстерзингеры и рисовали Дюреры. В Нюрнберге жили печатники и ювелиры, оружейники и часовщики. В Нюрнберге вышло первое издание “Обращения небесных сфер” Коперника и “Хроника мира” Хартмана Шеделя (*Schedelsche Weltchronik*). Здесь делали научные инструменты, состоящие из блестящих палочек и лент с насечками — те самые земные и небесные глобусы, буссоли и астролябии, которые так красиво поблёскивают в витринах современных Кунсткамер. В Дубровнике, в городском музее я заинтересовалась сейф-сундуками о двенадцати замках, типовой модели “Армада”, сделанными в Нюрнберге: к крышке с изнанки прикреплена сложная система сочленённых стержней и колёс, красивых, как наружная арматура центра Помпиду... нет, ещё красивее... Нюрнбергскую мебель, печки мы уже обсуждали и осматривали в Кайзербурге. Нюрнбергские витражи, задуманные Дюрером и его последователями, оплаченные Максимилианом Первым и его подражателями, украсили бы небеса, и на земле их удерживают только тяжёлые свинцовые переплётки.

Тогдашний Нюрнберг был культурным центром Южной Германии, куда стремились отовсюду. В то же время купеческие дома Нюрнберга отправляли наследников в Венецию, где те жили на немецком дворе, Фондако де Тедеско, расписанном Джорджоне и Тицианом, учились двойной бухгалтерии и арабской арифметике (весь крещёный немецкий мир всё ещё учитывал доходы римскими цифрами). Сам Дюрер ездил в Венецию, но не за двойной бухгалтерией — стажироваться в живописи, — и написал там “Праздник розовых гирлянд”, тот самый, который потом на руках перенесли через Альпы в Прагу, императору Рудольфу. И впоследствии Дюрер ездил, ездил, по Германии, Италии, Бельгии — и один, и с женой Агнессой, — возя за собой картины, гравюры, акварели и гуаши; продавая их, раздавая, получая в обмен сувениры — бочку сахара, индийские орехи, фаянс, зелёных попугаев.

Хорошее было время в 15 веке в Нюрнберге. *И кому это всё мешало?*

Я иду по вечернему Мюнхену. Приехала в сумерках, и сейчас уже совсем темно. Холодно, и наверно будет ещё холоднее, как обещает ореол луны. Я вижу на Мариенплац родные мексиканские лица, можно сказать домашние, потому что я так к ним привыкла в своём Вашингтоне. Это ВИА: не родительный падеж имени “Вий”, а официальное название времён моей молодости для ансам-

бля нетрадиционной музыкальной ориентации и неясных музыкальных наклонностей. Празднуют избавление от очередной чумы.

Крокодилы Регенсбурга

Снилось мне, что еду я на поезде через немецкий город Санкт-Петербург, где все говорят по-русски, и читают по-немецки. Проснувшись, я отправилась посмотреть картины быта Регенсбурга. Вышла попозже, потому что ехать недолго.

Я стучу по экрану умной билетной машины, и она ведёт меня, как витязя, от распутия к распутию, допытываясь, куда и когда. И я отвечаю: “Туда, один, скорый, сейчас”.

Хоть я и наелась колбасы в гостинице, со скуки решила ещё поесть. На Виктуаленмаркет я запаслась кистью кисленьких крошек-помидорчиков, сидящих рядком на длинной веточке, и парочкой крупных ребристых помидоров. Я вынула ребристый и загрузила. Такой помидор целиком в рот не помещается. Сейчас я откушу от помидора и изгажу себе одежду. Блузку можно замыть в туалете, но тогда придётся ходить с мокрым пятном. Если набрызгать помидорного сока на столик, протечёт на юбку, а если не на юбку, то в носки, и это тоже плохо, потому что есть такие прохожие, что смотрят не в глаза, а куда-то вниз. Была-не была, перегибаюсь пополам, откусываю взасос, но ничего по щекам не течёт. Оказывается, помидоры здесь не такие, как в Америке, в них мяса больше, чем сока. Оказывается, селекция помидоров пошла в разных направлениях — у немцев на мясистость, а у американцев — на молочность.

Кукуруза за окном высохла и пожелтела, а люцерна свеженькая, яркозелёная, с жёлтыми крошками соцветий. Поля почти все убраны, но иногда вдруг мелькнёт какой-нибудь некошенный клин — может, хозяин в запое? У нас в деревне Большево, помнится, даже коров иногда не доили, а некоторых доили по два раза подряд — соски как-то с похмелья двоились. Вальтрауд рассказывала, что здесь сажают сахарную свёклу, и осенью Регенсбург пропитан густым сладким духом сахароваренных заводов.

Немного об его истории. Регенсбург существовал ещё во времена подлинной Римской империи. Основатель неподлинной, но Священной Римской империи Карл Великий оказывал Регенсбургу особое покровительство. В тринадцатом веке Регенсбург добился у императора Фридриха II звания имперского города, выйдя из-под власти епископа, и до семнадцатого века страшно благоденствовал, но после семнадцатого, как мы знаем, всё пошло псу под хвост.

В Регенсбурге у вокзала встречается парк. Цвета в природе больше всего осенью, а не весной. Много жёлтых и оранжевых листьев; особенно нежными кажутся деревья, чьи листья ещё зелены, с легкой желтизной. Листья догорают медленно, доживая в лужах, на кровлях и клумбах, на асфальте и автобусах. Пройдя осенней аллеей, ожидаешь классических зданий с лепными картушами и портиками белых колонн, словом, ждёшь Царского села, но вместо этого начинается средневековый город. В нём узка даже самая широкая улица. Всё здесь старое и подлинное, сохранилось даже несколько башен, выстроенных богатыми бюргерами, и, как сообщает путеводитель, в них теперь квартиры.

Я вышла на площадь Альте Корнмаркт, на которой стоит Старая капелла (часовня), построенная в 875 году при Людвиге Германском, когда Регенсбург был его стольным городом, и с любовью украшенная в 18 веке Антоном Ландесом в стиле рококо. Войти в неё можно только во время богослужения, а так — смотри через стеклянную панель, и видишь, что белая, с золотой лепкой по стенам, с цветным плафоном и нарядным алтарём, который издали толком не разглядишь. Напротив неё на той же площади Альте Зерно-рынок стоит церковь Св. Иосифа, она же Кармелитенкирхе, с фасадом в стиле барокко. Внутри Кармелитенкирхе можно видеть алтарь: нарядный портик с витыми колоннами, увенчанный золотым венком с исходящими от него золотыми лучами. Венок сплетён не из цветов, а из херувимов, а внутри венка ангел, которого обнимает маленький мальчик. Я купила маленькую книжечку с описанием церкви, на немецком, чтобы разобраться потом (или никогда).

Неподалёку находится собор Св. Петра. Собор начали строить в 1250. Двести лет строительства прошли под наблюдением мастеров семьи Роритцер. В разгар Реформации последний Роритцер вмешался в политическую борьбу императора с городом; *его поймали, арестовали, велели паспорт показать*, ну и потом — обычный конец паспортных проверок: то ли повесили, то ли отрубили голову. Вот так, одним ударом обезглавили и мастера, и проект. Строительство остановилось и так и стояло до девятнадцатого века.

Перспективу на боковой фасад собора расчистили в девятнадцатом веке, разломав много старых домов, поэтому его сфотографировать можно, хотя и с трудом, а вот главный фасад нельзя, перед ним не хватает места. Но можно рассмотреть его постепенно, снизу доверху пройдясь по нему длинным кинематографическим кадром. В прошлом задирать шею было не так высоко: удивительные готические башни, высотой превосходящие сам собор, с полупрозрачны-

ми, сложенными из шишковатых рёбер шпильями, надстроили только в 19 веке. До этого собор шестьсот лет простоял с обрубками недостроенных башен. Гордиться надстройкой девятнадцатого века не стоит. В старину строили из известняка, а достройки сляпали из песчаника, и они уже требуют серьёзных реставраций. Через 600 лет от них опять останутся пеньки. Современному человеку свойствен гигантизм без оснований, исполинские дома из картона и палочек, стеклянные стены — быть может, у наших предков было больше уверенности в будущем.

Разглядывать фасады собора можно долго, на что собственно и рассчитывали строители. Главный портал смел необыкновенно, выступая из стены треугольником с опорой на пучок колонн. Над порталом ряды фигур и колоннад. На боковом фасаде прямоугольными пилонами выступают мощные контрфорсы, особенно красивые при взгляде под острым углом. Тут можно рассмотреть средневековые барельефы, в том числе печально известный, который якобы отражает отношение евреев к свиньям, а на самом деле регенсбургцев к евреям (в 16 веке евреи были изгнаны из Регенсбурга, а синагога разрушена).

Внутри собора — обман трудящихся: почти полная темнотища, которая скрадывает краски, крадёт резьбу и рельефы: высоко наверху, и на уровне глаз. Где-то там, надо мной, каменный Св. Мартин с остатками раскраски четырнадцатого века делится плащом со встречным-поперечным, а здесь, у дверей, охраняют от сглаза, или наводят порчу два маленьких и кривеньких, окрепённых чёртом и его бабушкой. Нахожу их случайно, и только потом, сверяя свою фотографию с книгой, понимаю, что они прославлены и приписаны к списку достопримечательностей.

Нас в соборе много. Мы перемещаемся в полутьме, тихо, как заговорщики. У алтаря собралась группа людей и гулко раздаётся пение, то затихая, то возгораясь. Если бы я пришла пораньше, к девяти часам, к службе, я услышала бы знаменитый хор мальчиков “Кафедральные воробушки”. Что было сейчас — не знаю, видимо репетиция, но уже не воробушков, а полновесных голубей.

Вокруг мерцание, вспышки колючих лучиков: серебряные и золочёные одежды, цветы и листья отбасывают свет под множеством углов. Может быть и здорово, что толком не рассмотришь. Лучше видеть кое-как, догадываться, верить в беспредельно драгоценное. Придёт Божий свет, ясный, равномерный, отнимет мечту, покажет правду: алюминиевый чайник, пивной стакан. В главной апсиде поблёскивает алтарь, к которому не подберёшься и без бинокля не

разглядишь. Алтарь был сделан златокузнецами Аугсбурга в 17 веке, и ещё в течение столетия его доделывали и додаривали к нему украшения. На его серебряном подножии — цветочные узоры и барельеф Иоанна Непомука; после низвержения Непомука регенсбургцы от барельефа не избавились, в отличие от большевиков, которые выдирали из энциклопедий страницы с порочащими партию портретами. На подножии установлен ковчег, увенчанный распятием, расставлены серебряные вазы с серебряными цветами и серебряные подсвечники, а за ними виднеется массивный постамент с бюстами Богородицы, Св. Иосифа, Св. Петра и Св. Павла.

Справа от серебряного алтаря в соседней апсиде находится ещё один алтарь с каменной сенью начала пятнадцатого века, которая выглядит, как крыша готического собора с тонкими прорезными шпилями. Таких алтарей в соборе сохранилось пять. Постепенно я привыкла к темноте и стала замечать больше. Странный маленький шатёр, увенчанный готической узорной шапкой, оказался навесом над глубоким, в 12 метров колодцем, а две небольшие фигуры на его пилоне, под элегантным резным навесиком, это Христос и самаритянка работы Вольфганга Роритцера, 15 века — его-то горожане и уколошили, положив конец строительству.

Интерьер собора был когда-то переведён в барочные, но потом снова заменён на готический. Вдоль стен идут одна за другой небольшие освещённые ниши часовен, где находятся полихромная скульптура и картины невысокого качества. Есть и шедевры, которые сразу заметишь: многоцветный Гавриил с неземной улыбкой, которую встретишь разве что у идиота или греческого куроса, и Мария на соседнем пилоне, с тринадцатого века выслушивающая приговор себе и ребёнку. Каменное бледно-коралловое платье Марии заткано золотыми розами. Архангел держит в руке золотой свиток с надписью “Аве Мария грация”. Мария и Гавриил были сделаны безмянным резчиком, которого для удобства искусствоведов называют Мастером церкви Св. Эрминольда.

У западного входа в храм высоко вздымается копия мюнхенского распятия Джамболоньи из церкви Св. Михаила. К его подножию розового мрамора склонился кардинал Филипп-Вильгельм, баварский герцог, исполненный мюнхенцем Гансом Крумпером в начале 17 века. Где-то в соборе есть ещё мой пражский знакомец Св. Вацлав, подаренный пражским епископом Збинко Берка, бывшим церковным администратором Регенсбурга. Вероятно Збинко был из тех, кто ворвался в Прагу с победоносной красной конницей баварского герцога Максимилиана после победы у Белой Горы.

Из собора через старинную “Ослиную башню” можно пройти в маленький музей при храме. Старая женщина, уютная, как бабушка-Германия, счастливая весёлой мудростью своего возраста, продаёт мне билет. Она говорит только по-немецки, и я знаками у неё выпрашиваю рельефную карту Регенсбурга. Наверху показывают ризы 18–19 века, покрытые толстым золотым шитьём. Раньше я считала, что только наши попы такие красивые. Вероятно лишь в стране, где церковь отделена от государства, у священников хватает ума наряжаться скромно. Главное в маленьком музее — каменный резной алтарь из Обермюнстера, по эскизам Альтдорфера: тот самый Альтдорфер из Старой Пинакотеки, с летающей гиляндой ангелочков (“Рождество Богородицы”). Алтарь уцелел чудом, когда погибла церковь, простоявшая со времен Каролингов — династии, основанной Карлом Великим. Что поделаешь, коллатеральные потери второй мировой!

Альтдорфер, уроженец Регенсбурга, в нём и скончался, прожив долгие средневековые 58 лет (1480–1538). Он был художником, и гравёром, и городским архитектором. Как Одиссей, *он странствовал много, ища на чужбине спасенья*, оставляя за собой религиозные картины и пейзажи. Он первый стал писать виды Дуная и дал начало светскому направлению живописи (“Дунайская школа”). Ему выпала грустная судьба, он видел, как клочущая лава реформации поглотила и пожгла всё, чему он верно служил — и живопись, и церковную скульптуру. Альтдорфер стал свидетелем переломной эпохи... Лучше не быть свидетелем — затаскают.

Ратуша Регенсбурга — самая старая готическая ратуша Баварии, с башней 1260 года, предсказуемых восьми этажей. В ратуше показывают императорскую залу и залы электоров-курфюрстов: в Регенсбурге часто собирался совет Священной Римской империи. Как залы выглядят, не расскажу, зайти в них не было возможности. Дорогу преграждала толпа с транспарантами: женились Надя и Михль. Михль был много старше Нади. У Нади в роскошном цветении её молодости (может быть второй) из свадебного платья вываливались пышные груди: для некоторых невест главное похвастаться платьем, а для других — себя в нём показать. Гости были одеты по-разному; одна была точь-в-точь мадам 19 века, или заматеревшая Соня Мармеладова. Ну и что? Всем было весело и все друг другу нравились. Что же я-то? Мне оставалось только стучать клюкой и кричать: *“Вот до чего молодость-то и красота доводят!”*

Неподалёку находится гостиница “Золотой крест” — лучшая гостиница и ресторан Регенсбурга времён имперских советов. На доме табличка в честь важного события — здесь состоялось историческое зачатие. Яйцеклетку предоставила какая-то местная девушка, а сперматозоидом пожертвовал император Священной Римской империи Карл, которому было скучно во время международного симпозиума. Писклявый младенец вырос в полководца Хуана Австрийского, будущего победителя битвы при Лепанто.

Регенсбург оставляет тёплое и милое впечатление, но чтобы хорошенько им пропитаться, чтобы надышаться прошлого, нужно много ходить, потому что атмосфера города проникает внутрь медленно, по капле. Главное при этом не замкнуться в себе, не только смотреть, но и видеть старонемецкие дома, обращённые к улице фасадами с высокими ступенчатыми фронтонами из нескольких этажей. Надо бы запомнить, надо бы вписать их силуэты в память тонким пером художника, но запоминаются мелочи и странности — собаки, манекены, выставка абстрактных картин Хелены де Бовуар, сестры Симоны, — вдруг, почему-то, зачем-то, на узкой улочке, где мало кто ходит.

Где-то тут, в старом городе стоит дом Кеплера. С Кеплером мы расстались, когда он составлял гороскопы для Валленштейна. Но Валленштейн был убит, и Кеплер оказался в Регенсбурге; может быть искал нового покровителя. Какая странная судьба у Кеплера, как его бросало из города в город, сплошное странствие! Но ведь и я, родившись в стабильном до окостенения обществе и потому ни о чём таком не помышляя, по сигналу судьбы внезапно взяла и расколола жизнь надвое — там Россия, тут Америка. Может быть суждено умереть в Регенсбурге, как Кеплеру. Сейчас в доме выставка рукописей Кеплера, современных ему астрономических инструментов, и, говорят, это превосходный пример интерьера семнадцатого века.

Подлинность. Сказочный Регенсбург неразрушенных домов, обросших плесенью истории, помнящих всех и вся, но об этом молчащих, с сундуками, полными неразобранных сокровищ! Через год после моего приезда, в 2009, в муниципальной библиотеке найдут давно забытый манускрипт — народные баварские сказки, пятьсот штук, собранные современником братьев Grimm Ксавером фон Шёнвертом. Там много про вшей и другого народного колорита. А сколько ещё сказок разбежалось по тёмным уголкам и опасно посеркивает глазками в ожидании подходящего архивариуса!

Регенсбург на глазах наливаются респектабельностью, когда узнаёшь, что он стоит не на речке Волковке, не на каком-то там Изаре, а на Дунае. Задумаешься: “В Румынию, что ли, эмигрировать на плоту?” К Дунаю ведёт, на ней полно голубей и пахнет супом. Широкий Дунай, и быстр, особенно под мостом, быки которого заняли две трети ложа реки, вынудив воду ускориться, подчиняясь закону Бернулли. У быков крутятся в лодке какие-то камикадзе. Мост временный, бетонный — на первый взгляд. На второй — сложен из камня в 1135–1146 году. Это первый каменный мост через Дунай. Мост, бывший тогда чудом, теперь выглядит банально — никаких украшений, никаких примет средневековья. Его не заставили статуями, как пражский Карлов мост, и не застроили магазинами, как флорентинский Понто Веккьо.

Всем на радость с тех времён сохранилась сторожевая башня моста, крашенная красным. Рядом с ней торчит дурында соляного склада высотой в восемь этажей. (Цифра “восемь” всё время маячит в описании Регенсбурга, знаменуя собой, как я думаю, предел строительных возможностей архитектуры, не знавшей железобетона).

С моста видна береговая линия, городской ландшафт Регенсбурга. Дома — серые или бледно-розовые, с массивными стенами и маленькими окнами, со вздёрнутыми двухскатными крышами серой черепицы, — стоят, как родственники на фотографии, честно построившиеся по росту (долговязый Толян выглядывает из-за малорослого дяди Вени), а уж дальше, из-за всех плеч торчат башни собора. Когда-то силуэт каждого города, — естественно, неповторимый, — был всем знаком по обильным иллюстрациям нюрнбергской “Хроники мира” Хартмана Шеделя или по пейзажам Альбрехта Дюрера, которые он сделал для своего друга Конрада Кельтиса, собиравшегося издать “Иллюстрированную Германию” в пику “Иллюстрированной Италии” Флавио Бьондо. Может быть и сейчас немец узнаёт силуэт Регенсбурга, как мы узнаём Петропавловскую крепость.

На набережной прямо у моста стоит невзрачный деревянный барак. Это историческая колбасная, Хисторише Вурсткюхе, которой владеет одна и та же семья на протяжении 500 лет, и крест этот наверно тяжёл, как и все династические обязательства: трудно убежать в пираты, будучи потомственным директором Эрмитажа — приходится соответствовать. В меню этой многовековой столовой только картофельный суп, пиво и колбасные изделия, так что высшего кулинарного образования не требуется, но нужно уметь счи-

тать сосиски. Внутри я не заходила, и зря — может быть там всё средневековое, — но я отличаюсь необыкновенной робостью в частных домах, ресторанах и гостиницах, всё мне кажется, что меня туда не приглашают. Перед сараюшкой стоят длинные столы со скамьями, на которые сажают в ряд, друг за другом, не церемонясь. Я села с краю за пустой стол, оставив побольше места для других, и правильно сделала. Подошла компания немок, средних лет, полных, с широкими лицами, весёлых, сели рядом. Сегодня воскресенье... (“мальчикам варенье, а девочкам шлепки!” — декламировал папа. “Нет”, — не соглашалась я, — “девочкам варенье”...) Воскресенье, вот они и пришли, матери и жёны, выпить пива и съесть сосисок. А я в отпуске, у меня ежедневное варенье.

С картофельным супом я оплошала, не попробовала, и теперь жалею: всё равно, как опоздать на первое отделение концерта. Посетители Вурсткюхе пьют пиво, едят крошечные регенсбургские сосисочки, и я с ними. С сосисками я общиталась. Сколько брать? Взяла шесть, как предлагал путеводитель, но оказалось мало — нужно бы дюжину. Тут бы проявить характер и заказать ещё шесть, немок хорошо разглядеть, послушать, о чём говорят, (было бы о чём отрапортовать читателям) но я опять ступевалась и стала второпях расплачиваться.

На плане города у меня отмечено несколько интересных церквей, и сейчас мы с вами в них зайдём. Ведь если вы всё это читаете, у нас сходные вкусы.

На Нойфарплац стоит Нойфаркирхе, прозванная по названию хранившейся там статуи Шоне Марии. К ней совершали паломничество голышом, чтобы показать себя Прекрасной Марии с самой выгодной стороны. Церковь оказалась зелёная, внутри неинтересная. У её подножия происходила большая ярмарка. Здесь устроили концертные подмости и продавали всякие вкусные вещи, может быть самодельные, — даже не продавали, а угощали, если пожертвуешь на бедных: “Дайте, сколько хотите”. Я дала пять евро и попросила ватрушку. Добрые и благородные женщины решили, что я их не поняла и стали уговаривать: “Зачем так много, дайте, сколько хотите”. Было трудно убедить их, что и хотелось дать пять. Ватрушка была с мандаринами, мне понравилось. На сцене плясали турчанки. Не понравилось. Восточная музыка вызывает у меня странные чувства. Но об этом я уже когда-то рассказывала.

Доминиканскую кирху Св. Блазиуса (готика 1230 года) осмотреть было приятно, тем более, что никого внутри не было, только в глубине бессмысленно маячил служка, пытаясь придумать,

вернее замаскировать своё занятие. Занятие у него было отбирать фотоаппараты. Но я не снимала. Я рассматривала вделанные в стену у входа изумительной тонкости памятные плиты. Я увидела Мадонну с розой, к которой тянется младенец; вокруг ангелы играют на лютнях и флейтах, внизу, скорчившись в тесной могиле, спит вечным сном рыцарь Лукас Лампрехт Хойзер, среди маленьких гербовых щитов — на одном белка, на другом три пары оленьих рогов и две шестилепестковых звезды. Плита выточена из розового камня. Рядом надгробие женщины в плаще, голова закутана шалью. Кто она? Не меньше графини — воплощённое достоинство.

Церковь эта связана с именем Альберта Великого, покровителя натурфилософов, а стало быть и моего, который два года (недолго, но всё-таки!) был епископом Регенсбурга. На месте его кабинета теперь находится часовня в стиле неоготики; часовню показывают только при организованном осмотре церкви, чтобы неоготику руками не захватили и не стащили чернильный прибор.

Рядом на маленькой площади Бисмарка торгуют овощами.

За овощами — чудо мирового разряда: церковь Святого Якуба (Св. Иакова), когда-то принадлежавшая шотландской общине, позже, после выселения из Регенсбурга переселившейся к озеру (Лох) Несс. Фасад церкви Св. Иакова относится к разряду загадок, забытых символов, как Стоунхендж, или таинственный критский диск с письменами неизвестного народа. Церковь выстроили ирландцы, в одиннадцатом веке, и её декор воплощает кельтскую премудрость. Он настолько странен, что трудно поверить в то, что это христианский храм. По стене ползут чудовища, среди которых затесался крокодил с солнцем в зубах, сирены, сцепленные хвостами, крылатый змей, стиснувший рака. Карниз поддерживают перекрученные фигуры не то мужчин, не то женщин. Колонны портала увиты стилизованными лианами и увенчаны зверьми семейства кошачьих, среди которых нет одинаковых, всех их объединяет только улыбка Чеширского кота.

Стиль церкви — романский. Романская архитектура — говорливое искусство, царившее в эпоху, когда мир был неподвластен человеку, когда леса были полны вековых деревьев, когда в Европе водились львы, а в дальних странах — единороги, грифоны и туземцы-скиаподы, прикрывающиеся от солнца, как зонтиком, огромной ногой. Всё тогда было страшно, и всё возможно. Если не приглядываться, романские соборы массивны, просты, строги, печальны, а если приглядишься, увидишь, что они трещат и лопаются от напо-

ра архаических фигур: дерущихся, кривляющихся, перекрученных людей, химер, кусающих за хвост себя и соседей; по их колоннам, тимпанам и стенам ползают *не мышонки, не лягушки*, как в готических храмах, *а неведомы зверюшки*. Необыкновенная фантазия. И никто не знает, что сие значит. Романско-кельтские химеры стали никому не понятны уже в 12 веке, и Бернард де Клерво горячо осуждал их, убеждая хотя бы расходов на такую мерзость постыдиться. В готический храм пробрались только самые маленькие, безвредные, реалистические, и попрятались в капители колонн или притворились водостоками.

Фантастическая резьба портала Св. Якуба, смысла которой мы никогда не узнаем, защищена огромным стеклянным футляром-вестибюлем. Внутри церкви тоже находятся кельтские чудеса. Прелестны небольшие колонны балюстрады, половину которых составляют капители, выкрашенные поочередно то в ярко-синий, то в карминный, оплетённые золотыми лентами и листьями. У колонн на консолях стоят искусно выточенные из камня и раскрашенные в благородные цвета фигуры Св. Иакова и Св. Христофора (14 века) и Царица небесная в ореоле золотых лучей на фоне синего овала, обрамлённого тончайшим золотым сплетением стеблей с бутонами.

Я пришла в кафе, перед которым на улице стояли два крошечных круглых столика. Никто не спешил меня обслужить, и я решила дело ускорить. Внутри оказалось изобилие тортов и пирожных, фруктовых ватрушек. Сама себе подаю, сама убираю, вилки на пол сыплются, немцы удивляются. Поела быстро, как голодное животное с пятачком, но всё равно не успела ни в ратушу, ни в музей Турн и Таксисов, они закрылись.

Сад у вокзала, про который вы, поди, уже забыли, принадлежит и прилежит ко дворцу Турн и Таксисов, перестроенному из опустевшего аббатства. Турн-и-Таксисы показывают туристам некоторые его залы. Впридачу можно осмотреть выставку бытовых предметов из хрусталя и серебра, усыпанного драгоценными камнями, и кареты, которые волнуют публику так же сильно, как роллс-ройсы и паровозы. Настоящим сокровищем Турн-и-Таксисов является нотная коллекция, в которой роются современные дирижёры в поисках недостающих кусков забытых опер. Турн-и-Таксисы (не путать с Максом и Морицем) в своё время придумали и организовали всеимперскую почту, и нажили большое богатство. Ну Турны! Ну Таксисы! Ну молодцы! Что современная цивилизация без почты? Что эпистолярный жанр без почты? — как только письма начали доходить до адресатов быстро и бесперебойно, все бросились писать, и у

некоторых получалось недурно: *Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места...* Ну и конечно... как там городничий? *“Нельзя ли для общей нашей пользы знаете эдак немножко распечатать и прочитывать?”* И не он один.

Пройдя через века, Турн-и-Таксисы остались всё такими же практичными. Например, они финансово подпитывают Регенсбургский университет, но зато, как рассказывала Вальтрауд, на студенческих вечеринках разрешается подавать только пиво, сваренное Турн-и-Таксисами, хотя мюнхенское лучше.

К моему приходу музей закрылся, но началась служба в церкви Св. Руперта, где я дала отдых усталым ногам. Служба была так себе, без хора. Рядом с церковью Св. Руперта находится гораздо более знаменитая церковь Св. Эммерама, украшенная братьями Ассам. Туда я тоже не попала — мимо меня прошли обе регенсбургские церкви рококо, то есть я хотела сказать, что я прошла мимо них, ну да ладно, не всё ли равно, кто куда прошёл. Чтобы увидеть всё, нужно заночевать в Регенсбурге, одного дня мало. Но всё-таки, по мнению врача и апологета карданного вала Джироламо Кардано, одного дня уже достаточно, чтобы узнать, чем дышат, и чем болеют жители города, в каком районе лучше селиться, а какие плохи из-за зимнего холода и хулиганства. Кроме того, как справедливо заметил Джироламо, путешественник приобретёт лучшее понимание истории.

Я вернулась уже в темноте. На вокзале меня поджидал уставленный яствами кадиллак. Чего я только в жизни не видала, даже фильм “Рогатый бастион” о вреде подсобного хозяйства, и меня трудно удивить. Но кадиллак с кормом — ЗРЕЛИЩЕ, особенно когда ты голоден. Из кадиллака сыплются бутерброды с красной рыбой и селедкой, из кадиллака бьют струи пива. Откуда пиво в кадиллаке? Наверно из бензобака. Мне пришлось подождать, потому что шофёры кадиллака строго соблюдают принцип долива после отстоя. Пиво отдают покупателю только когда спадёт пена. Не надо торопиться, не надо заглатывать, озираясь, — не отнимут.

Благослови Господь немецкую кулинарию и всех нас, неприученных к утончённой испано-итальянской кухне. Выпив пива и закусив красной рыбой на куске свежего белого хлеба с хрусткой коркой, я приношу в номер бутерброды с селедкой, чтобы попить с ними чаю. Репчатый лук, которым они переложены, я заворачиваю в бумажку и выкидываю в урну.

Аугуста Винделикорум

Новый день... В номере пахнет сырым луком от вчерашних бутербродов с сёледкой. На улице легкий дождик. На Виктуалиен-маркет башни скрыты туманом, и видны только лавки с овощами и фруктами. Сегодня я отправляюсь в Аугсбург. Внимание, начали! Мотор-р!

Я купила новый баварский билет и приехала на Убане к Эсбану. Поезд попался двухэтажный, я заняла место на втором этаже, у окна. Нам предложили кофе и бутерброды, — подзаправиться. Рядом со мной ехали три поколения полных немцев — жевали запасённое домашнее, ни в чём себе не отказывали. Мне нравятся полные люди, мне они кажутся добрыми и весёлыми (я говорю это шёпотом, потому что такой взгляд вразрез с требованиями общества и современной медицины). Сама я нервничаю из-за каждого проглоченного куска, но мне любо смотреть, как другие много и вкусно едят. Если много едят, значит еды много; худоба у меня подсознательно связана с голодом, блокадой.

Во времена моего детства царил неизжитой страх голода. От предстоящей голодухи пытались застраховаться: супы варили жирные, на мозговых костях, и в кашу клали много масла. Голод был неизбежен. От голода умер мой прадед в Петрограде в 18 году, а мой дед в Ленинграде в 42 году. Матери и бабушке нечего было есть в Уфе, в эвакуации. Отец при освобождении из немецкого лагеря весил 40 килограммов, и ждал, что лет через десять умрёт. Двести тысяч немцев умерли от голода в русском плену, и три миллиона русских в немецком. Очень близкого мне человека, мою подругу Инессу, и всё её поколение, выросшее в сороковые, непрерывно точило чувство голода. Во время войны их эвакуировали в Новосибирск, и вот там, когда мать попала в больницу, и тут же куда-то пропала вся их картошка, хранившаяся в подполе у соседки, девочка стала умирать с голоду по-настоящему. Подобных рассказов так же много, как рассказов о безмерной доброте русского сердца.

Инессу спас приезд отца на побывку. Наестся досыта им удалось только в оккупированной Германии, где мать от непривычной сытости расплнела. Организм её не верил советской власти и понимал, что надо запастись, пока есть чем. Так же думает и мой желудок. Даже после войны нас не всегда докармливали. У каждого была авоська и готовность нырнуть в любую случайно встреченную очередь за дефицитным продуктом. Как-то мы с мамой увиде-

ли скопление людей, выскочили из поезда на полустанке, и купили отличные копчёные рёбра, которые продавали с неизвестно откуда взявшегося фургона. До сих пор помню нашу радость. В начале девяностых я дожила до времени, когда мясо и рис выдавали по карточкам. Вот. И мне приятно смотреть, как немцы шуршат бутерброды, как кормят пухлых детей, как жуют сами, и острая жалость к людям щемит моё сердце: такие они маленькие, слабые, незащитные, — пусть хоть покушают вволю.

Полные немцы засобирались, и я — так они меня заворожили. Они встали, и я встала, они пошли, и я пошла и чуть не выскочила вслед за ними на несвоей станции. Пришлось досиживать до Аугсбурга на дне поезда на откидном стульчике. И с первого этажа я увидела мир по-другому; как будто лупу поднесла к лицу, и люцерна рядом, и пожухлая листва рядом, земля ближе — я было выросла, а теперь опять маленькая.

В Аугсбурге я оказалась рано, — не рассчитала время, думала ехать долго, а оказалось недолго. Готовился в Лугу ехать, а сошёл в Гатчине. Аугсбург совсем недалеко от Мюнхена. До него на лошади... но я, представьте, не знаю, за сколько до Аугсбурга докатит телега, или двуколка, или дрожки, или доскачет всадник в боевом облачении. Зависит от дороги, какая она? Смотря когда. Например хорошая, римская: Аугсбург основали какие-то пасынки какого-то Августа как Августу Винделикорум. Или гадкая, глинистая дорога очень средних веков. С 1276 года Аугсбург, подобно Регенсбургу и Нюрнбергу, стал свободным имперским городом. Его любил и провёл в нём немало счастливых дней император Максимилиан Первый. Дни эти были особенно счастливы оттого, что аугсбургские промышленники, которые разбогатели от монополии на серебряные рудники Швабских гор, снабжали Максимилиана деньгами.

То и дело слышишь, как какой-нибудь император или папа задолжал банкирам — и как только все эти торговые дома удержались на плаву, давая в долг без отдачи? Аугсбургский банкир Якоб Фуггер дал займы огромную сумму испанскому королю Карлу, внуку Максимилиана, чтобы тот пролез в императоры. Говорят, что каждый человек позволяет себе только то, что ему позволяют. Карлу аугсбургские *пенёны* разрешили отобрать трон у матери и вести перманентную войну. А вот если бы Фуггер не дал денег этому спесивому и агрессивному подростку, много бы чего не произошло. Не было бы кровавой войны с протестантами, не было Хуана Австрийского, и императору не довелось бы сказать, глядя на

то, как его солдаты штурмуют крепость: “Люди, которые согласны жить и умирать вот так по-свински, недостойны прибавки к зарплате!” Да, и мне часто говорили: “Если Вы согласны на... то Вы такая и есть”. Вероятно.

В имперских городах происходили имперские советы (рейхстаги) и были большим событием вроде сочинской олимпиады. Аугсбургцы дорожили этими олимпиадами; на них можно было отлично заработать. Знаете, как сейчас в Венеции — магистрат ругается, что десятипалубные корабли с туристами запрудили Большой канал, и волны от них разрушают фундаменты, а торговец бусами считает рублики (еврики? Уе, в общем).

Два аугсбургских рейхстага, 1530-го и 1555-го го...года, сыграли серьёзную роль в немецкой реформации. В 1530 году аугсбургский рейхстаг способствовал созданию Лютеранской Конфессии, документа, в котором сформулированы основы лютеранства. Император Карл Пятый прибыл на рейхстаг весной, в сопровождении курфюрстов, войск, поваров, проституток и двухсот имперских собак, а отбыл только осенью. Визитёры прекрасно провели время в турнирах, на балах и на обедах. Обедали на итальянский манер (два часа) и на немецкий (шесть часов). В это время эксперты прилежно разбирали предъявленные императору протестантские Конфессии — от Филиппа Меланхтона, сподвижника Лютера, от теологов Страсбурга и от сумасшедшего швейцарца Гульдриха Цвингли. Осенью рейхстаг признал все эти апрельские тезисы ошибочными и предложил протестантам перестать валять дурака.

Они и перестали. Вскоре была создана Шмалькальденская лига протестантских князей, неблагозвучное название которой происходит от городка Шмалькальден (ну и что? Неужели Августа Винделикорум лучше?). Карл долго воевал с этой лигой, заработал подагру, одержал победу, потом проиграл, и кончил тем, что перебросил мяч своему брату Фердинанду, а сам ушёл на пенсию. Карла интересовали только войны, но Фердинанд оказался умнее и в 1555 году на очередном аугсбургском рейхстаге заключил Религиозный мир, который провозглашал право каждого монарха выбирать между католицизмом и лютеранством, и принуждать подданных к соответствующей вере.

От вокзала к старому Аугсбургу подступаешь через корку послевоенных построек; а может быть они кажутся современными из-за безликости. Это универсальный архитектурный стиль “жилё”. Всё в осеннем тумане. С трудом видны строения. *“Ты встаё-ёшь, как из*

тума-ана... а тебе навстречу Анна белым лебедем плывёт...” — фальшиво запел в моей душе хранитель разрозненных звукозаписей. Тут из тумана, то есть неожиданно, вынырнул дом, раскрашенный, как индеец. Он был терракотового цвета и окольцован голубоватыми фризами, на которых были нарисованы потёртым цветом какие-то то ли рыцари, то ли работники прилавка. Вид у них был такой, будто их вчера нарисовали ученики художественного училища, а потом им велели всё смыть, и они сначала возили тряпками по стене, а потом, когда учитель ушёл, разбежались. (Впоследствии я выяснила, что это был “Вебер цюффт хаус”, дом гильдии ткачей, с росписями, восстановленными по задумке 14 века).

Стало ясно, что начался старый Аугсбург. Вскоре я попала на площадь перед ратушей. Ратуша, на фронтоне которой гордо распластался недокормленный двуглавый орёл, поражает размерами: от гражданского здания не ждёшь, что оно сравнится по высоте с соборами, что у него будут башни с куполами, как у храма. Но вот оно, построенное Элиасом Холлом, башенное и пронизанное множеством окон разных размеров, как кусок сыра дырками. Между первым и вторым этажами есть мезонин в итальянском смысле этого слова (помещение между этажами), над ним три этажа, и потом ещё двухэтажный мезонин в русском смысле, как надстройка, врезанная в крышу. На башнях (осьмерик на четверике) зелёные купола — немецкие луковицы.

Я знаю, что ратуша — гордость и Аугсбурга, и всей Германии, но всё же не могу проникнуться её очарованием. Я не люблю шестиэтажные дворцы, — парвеню какие-то. Это потому, что мой *всеобщий эквивалент*, мой золотой стандарт, Санкт-Петербург, состоит из двенадцатиэтажных народных коробок и импозантных, длинных, невысоких трёхэтажных дворцов. Во времена Элиаса Холла было наоборот. Дома горожан были низенькие, небольшие, системы “гаун-хоум”, и многоэтажная ратуша строилась в доказательство достатка.

Как бы ни относиться к аугсбургскому сыру с башнями, Элиас Холл считается самым знаменитым архитектором немецкого барокко. Элиас Холл (1573–1646) был когда-то главным архитектором, штадт-баумейстером Аугсбурга, но из-за неправильных религиозных взглядов его постигла судьба академика Сахарова. Почти. В общем, судьба диссидентов, но в первоначальном значении слова — религиозно разборчивых и несогласных. Сначала его понизили до штадт-геометра (землемера?) а потом и вообще вышибли со службы. После этого он прожил ещё пятнадцать лет. Хотелось бы ве-

рить, что он не пропал, что сдавал комнаты в своём доме, наладил продажу горячих обедов, или придумал что-нибудь ещё, чтобы не утонуть в море нищеты, но нет, не было горячих обедов. Элиас Холл провёл последние годы жизни в изгнании. До Вестфальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну, он не дожил. Бывают такие длинные периоды хаоса, что человеку их не пережить.

Площадь перед ратушей, тоже немаленькая, заставлена деревьями в горшках и столиками, из которых торчат сложенные зонты. Столы принадлежат двум палаткам ущербного и испитого облика. Площадь окружена средневеково-немецкими домами: внизу три этажа, а над ними, под двускатной крышей, упрятано ещё три, окна которых приподымают кровлю рядами застенчивых заусенцев. На улицах эти дома стоят торцами, тесно друг к другу, часто встык, прочерчивая небо зигзагом треугольных крыш. Среди них вклинились современные, но так удачно оформленные, что не сразу и распознаешь. Окна фасадов маленькие, квадратные, и вокруг них много каменного пространства, которое заштукатуривают и расписывают, а когда росписи осыплются, закрашивают приятным бледным цветом — жёлтым, бежевым, розовым, серым.

Рядом с ратушей находится церковь Св. Петера на Перлахе, с колокольной. Я пустилась в долгий путь вверх. Награда поднявшемуся — покупка билета. Всё честно: билеты только для тех, кто смог, не свернул на полпути, утрашённый сердцебиением и фотографиями военных разрушений Аугсбурга, которые встречают на каждой площадке, как скромное напоминание о том, что немцы тоже пострадали. Регенсбург остался целый, но Аугсбург, судя по фотографиям, просто разутюжили. И не только строения, наверное. Жил ведь в Аугсбурге кто-то и не успел наверно удрать, не предвидел погребения заживо.

Кассирша извиняется за то, что всё вокруг в тумане. Может я в Аугсбурге, а может на палубе корабля в Индийском океане. Вы наверно задумались над тем, какой у меня “Ай-Кью”, если я поёрлась на колокольню при тумане. IQ у меня в порядке, просто я соображаю плохо. Почитаем хотя бы, что написали мои предшественники: для замороженных писателей и поэтов отведена специальная доска и фломастеры. Удивительно, опять ни одного матерного слова. А что это такое у меня над головой? Господи боже мой, это ОНИ — колокола, но на сей раз ведут себя тихо.

Спустившись с башни, чувствуешь, будто взлетел и приземлился. И крылья ноют.

Захожу в самую церковь. В церкви Св. Петра на Перлахе главная достопримечательность — старинные фрески, но поди их найди на стене и поди догадайся, что эти полутёмные фигуры достойны внимания. Современники бы за такие фигуры дали мастеру по шее. По крайней мере спросили бы грозно — а куда ты сбыв краски, которые мы тебе выдали? В эти тусклые пятна к тому же ввинчена решётка. В немецких церквях сохранилась архаическая манера отделить пространство у входа от остальной части собора решёткой. Здесь должны были стоять ещё не крещёные неопиты. Как только кончается служба, решётки эти во многих церквях с удовольствием запирают, и турист вынужден смотреть на церковное убранство в щёлку. Сейчас решётка отперта, но я всё равно топчусь в этом предбаннике, потому что идёт служба, и стыдно мешать религиозным отправлениям. Из своего заднего ряда замечаю архаическую деревянную статую Мадонны на консоли на стене и резную деревянную фигуру, подпирающую небольшую кафедру: Петра наверно, потому что с волосами, а Павел лысый. Хочется применить свежеполученные знания: дуб или липа? Думаю, дуб: резкие, дубовые складки одежды, — но не поручусь.

Выхожу из церкви и иду в ратушу. Множество маршей лестниц ведёт в Золотой зал. Там у дверей сидит тетя за письменным столом. В Германии билетёрам полагается почёт и уважение в виде бессмысленно больших полированных столов. Дамы-смотрительницы всегда хорошо причёсаны, чтобы не стесняться своего отражения в столешнице. Золотой зал освещён окнами в три ряда и вымощен плитами мрамора красных, серых и розовых тонов, может быть искусственного. Двери (три пары) оформлены в виде классических портиков с фронтоном на колоннах, — из тёмного материала, то ли дерева, то ли мрамора, не упомяну. Капители и карниз фронтона вызолочены, сверху сидят золочёные фигуры, а между ними прикреплены высокая картина с классическим сюжетом. Стены зала до половины покрыты кремовой лепкой. Дальше, на уровне второго ряда окон, начинаются фрески-обманки с античными героями в фальшивых нишах. На уровне третьего ряда окон идёт широкий фриз с выпуклыми золочёными колонками и гербами. Но стены стенами, а главное — выпуклая крышка этого сундука. Ну, если не крышка сундука, так толстенная, широкая деревянная рама с золочёными выступами и накладными золотыми girляндами, в прорези которой вставлены плафонные картины: большой центральный овал, два круга по бокам, и восемь овалов поменьше; я уж и не говорю о мелких медальончиках и инкрустациях; всё приятных ярких

цветов. Дерево между золотыми накладками какое-то полосатенькое; в путеводителе сказано, что это крашеный кедр. Зал безусловно красив и может вызывать у бюргеров чувство гордости. Хорошо они тогда всё делали, добротнo. Тогда, или теперь? Зал сгорел во время войны. Он — новый.

Я собиралась охватить точки, отмеченные на страницах, вырванных из путеводителя. Для подстраховки я попыталась найти турбюро. Турбюро пропало. Его не было по указанному в путеводителе адресу, а значит пропали надежды на хорошую карту Аугсбурга и придётся идти наугад. Я посмотрела налево и пошла направо. Пришла к главному собору, собору Богородицы. В нём было пусто и светло. Погружаешься в ирреальность, когда собор весь тебе, из-за тумана, буднего дня, межсезонья — кто его знает, почему такой подарок? Кажется, что и в соборе под сводом туман — так высоко вверх, в такую темень уходят пилоны. Тусклый свет в соборе Св. Петра в Регенсбурге сделал всех братьями и заговорщиками. В Аугсбурге он отликает одиночеством и загадкой, необъяснённой мыслью и чувств его строителей. Думается, раньше в церквях не бывало и так много, и так мало людей, как теперь.

Главный ретабль увенчан готическими башнями, и в нишах башен, не в масштабе, слишком большие по сравнению с их квартиркой, занимают всё пространство резные статуи, выкрашенные в яркие цвета. В основании ретабля находятся картины, старинные, плоскостные, времён, когда писали по золотому фону. Я пошла вдоль боковых часовен с высокими ретаблями. Подойти к ним вплотную мешали тончайшие кованые и золочёные решётки. Фигуры ретаблей сделаны объёмно и жизненно, а божественный град только намечен золочёными рейками, и наверно развалится, если уронить его на пол.

В соборе есть восемь алтарей Ганса Гольбейна Старшего. Знаменит, то есть известен широким кругам, в этой аугсбургской семье его сын, Гольбейн Младший, писавший в Англии портреты Генриху Восьмому. Старший Гольбейн, отец и учитель Младшего, прожил жизнь нелёгкую, бедную и скитальческую, и умер в отдалённом монастыре, оставив сыну только кисти и краски. Алтари Старшего Гольбейна, в противовес его судьбе, богаты, спокойны и стабильны. Его святые величавы, как крестьяне, терпеливо позирующие фотографу. Они знают, что нужны прихожанам для успокоения, для приведения души в порядок. Любой, взглянув на них, остановится и залобуется не только простыми немецкими лицами, но

мельчайшей складочкой одежды, которую долго и тщательно шили из прекрасных материалов, так что не стыдно и наизнанку вывернуть, и поймёт, что перед ним не создатель банальных шедевров, а Мастер. Такому мастеру положен почёт и уважение, и хороший заработок, поэтому все неприятности Гольбейна Старшего хочется свалить на неуживчивый характер художника, может быть даже приписать ему маниакально-депрессивный психоз, ибо мысль о том, что судьба может быть несправедлива к совершенному человеку, неприятна. Самый корень этой мысли неприятен, поскольку из неё вытекает наша личная ответственность за судьбу ближнего, за поддержку таланта. А это ведь не так, и я не при чём, если кто-то где-то живёт плохо, правда?

В аугсбургском Богородичном соборе находятся самые старые витражи Германии, 12 века. Как стекло сохраняется в веках, в особенности после изобретения пороха, почему не сыплется ливнем разноцветных осколков на пол после каждого залпа и бомбового удара, я не знаю. В этих витражах, законченных в самом начале 12 века, почти отсутствует голубой цвет, потому что хорошее синее стекло для витражей научились делать позже.

В пол и стены переходов вмурованы мраморные надгробия, как всегда у немцев тонко выполненные. Лица на них кажутся портретами, хотя наверно это лица типовые, ширпотребные, соответствующие стандарту эпохи для рыцаря, монаха, епископа.

Неподалёку от собора находится епископальный музей, где среди множества интересных скульптур и других средневековых экспонатов стоят и бронзовые ворота, снятые с собора. Это не просто приставленная к стене металлическая дверь. Ворота выдрали из стены вместе с прекрасной каменной рамой. Кто и зачем это сделал, я не знаю, хотя по некоторым соображениям, которые наверно и у вас уже возникли, отношу это дело к послевоенному периоду.

Я вернулась на ратушную площадь и пошла в другую сторону, по Максимилианштрассе, широкому бульвару, проходящему через центр старого города. На Максимилианштрассе есть три очень крупных старинных фонтана прекрасного барочного литья: фонтан Геркулеса, фонтан Меркурия, сделанные Адрианом де Фризом (того же, что отлил статуи дворца Валленштейна), и фонтан Августа, отлитый в мастерской Губерта Герхарда в 1594 году. Первым я вижу фонтан Августа. Император в боевом облачении стоит на высоком постаменте и что-то говорит, простирая руку к зрителям. К постаменту внизу привалился Нептун или псевдо-Нептун (я знаю,

что на постаменте должны быть не нептуны, а аллегии немецких рек); Нептун сам ничего не выпускает — за него водомечут тонкими несолидными струйками мальчики на постаменте. Вокруг фонтана — затейливая решётка, скорее всего кованого железа, с искусными волютами и большими букетами завитых в стружку листьев и ромашек. Или это булавки, а не ромашки? Или не булавки, а тычинки, но ни в коем случае не пестики. Ну, если это всё-таки пестики, то стилизованные. Простите мою растерянную раздумчивость о ерунде; находишься, наломаешься и захочется повисеть на первом попавшемся заборе и тщательно его рассмотреть.

В конце бульвара виднеется боковой фасад базилики Св. Ульриха и Афры. По очертаниям — типичная немецкая готика — как будто увеличенный в размерах собор Св. Якуба в Крумлове, но вот колокольня его скорее ренессансная, напоминающая башенки аугсбургской ратуши. К католическим Ульриху и Афре притулился ещё один маленький Св. Ульрих — реформированный. Его жёлтый фасад торчит из бока большого собора, как будто сделанный из его ребра. Барочный фасад малого Ульриха, готический фронтон и ренессансная колокольня большого Ульриха образуют красивую архитектурную диагональ. Эта пестрота и архитектурное изобилие увеселяют.

В Аугсбурге мир между двумя ветвями христианства насаждали, ставя рядом католический и протестантский храм. Правда, как мне случилось прочитать, при прекрасных намерениях магистрата прихожане противоположной полярности исподтишка старались друг друга лягнуть. Поскольку праздники не совпадали, протестанты во время католического праздника Тела Христова устраивали генеральную уборку с шумным выколачиванием половиков и вывозом навоза на поля. Во время протестантской Страстной Пятницы был черёд католиков выбивать ковры и петь *“О Сан Луис, передовой колхоз; он рано вывез на поля навоз... Накося выкуси!”* Святая Троица снисходительно прощала глупышам их детсадовские выходки.

Я зашла в базилику, предвкушая встречу с прекрасным, предсказанную похвалой путеводителя. Я должна была там увидеть три огромных, под потолок, барочных алтаря-ретабли, созданные в 1604 году Гансом Деглером, Элиасом Грайтнером и Гансом Крумпером (В первый раз слышу эти фамилии). Ретабли в стиле раннего барокко кажутся беглому взгляду грудой сокровищ или буйной зарослью, усыпанной фантастическими цветами. На самом деле они имитируют вертоград многоцветный: над узким основанием-пределлой воз-

носятся три яруса желобчатых колонн и округлых фронтонов. Все архитектурные элементы (капители и основания колонн, арки и карнизы) покрыты выпуклыми вызолоченными узорами, пространства между которыми забелены потрескавшимся левкасом. В боковых арках и на постаментах крыш стоят святые, а повыше — ангелы, одежды которых вызолочены или выкрашены в царственно-синие и карминные цвета. В крупных нишах представлены целые сцены. В основании, как наименее важные — сцены из жизни Св. Афры или Св. Ульриха: Св. Ульрих умирает, окружённый ангелами, а Св. Афра горячо выступает против культа императора, в то время, как окружающие на коленях молят её завязать с диссидентством.

Выше Св. Ульриха и Афры на одном алтаре — Воскресение Христово. Все разного размера. Взлетающий в небо Христос самый крупный. Вокруг него небольшие ангелы играют на лютне и поемому на гитаре. Вдали — святые жёны. Стражник в военной кирасе спит на камне, подстелив под себя плащ. Второй стражник дремлет сидя. Ещё парочка стражников на переднем плане, стоя к нам спиной, дивится этой сцене. На другом алтаре — поклонение пастухов; новорожденный, которому я бы дала месяцев восемь, возлежит в колыбели в позе греческого философа. К нему тянут головы бык и осёл, без которых никогда не обходится. Вокруг собрались пастухи. Фигуры в позах провинциальных комиков, работающих на публику, напоминают о старых спектаклях или немых фильмах с их преувеличенными жестами и мимикой. Так оно и есть — это перенесённая на алтарь средневековая мистерия, вроде той, которую можно было бы посмотреть в Обераммергау, если бы её там не осовременили.

Всё — по фотографиям. Я не увидела этих ретаблей. Шла кипучая реставрация. Церковь была перегорожена. Алтарная часть оказалась за картонной стенкой. При разделе помещения нам отошла только деревянная Мадонна великого мастера Эрхарда, как раз у перегородки; Мадонна с распущенными волосами, с красивым немецким лицом, которое полнота щёк не портит, а облагораживает. Отклонившись назад, прислонившись к пилону, она держит ребёнка перед собой, бережно и надёжно, как держат очень маленьких, но уже научившихся держать головку детей. Мадонна окутана плащом цвета усталого золота, с синей подкладкой. Если чуть-чуть задержат взгляд на Мадонне Эрхарда, отведёшь его не сразу. Хочется смотреть и смотреть на эту статую, и она вызовет чувство покоя и утешения в скорбях наших даже у бедного Гиви.

Грегор Эрхард умер в Аугсбурге в 1540, но когда и где он родился, никто точно не знает — скорее всего в Ульме, примерно в 1470.

Он был самым знаменитым резчиком Аугсбурга, современником Ганса Гольбейна, и часто работал вместе с ним. Работ Эрхарда почти не сохранилось. Атрибуция Мадонны в базилике Св. Ульриха и Св. Афры спорная, но для меня нет сомнения, что резал её гений. Шедевры говорят сами за себя. Мастера отличишь сразу. Помню, как в полутёмном зале вашингтонского особняка Дамбартон Оакс я увидела слабо освещённую небольшую деревянную Мадонну, наступившую ногой на месяц, и меня к ней потянуло, мне захотелось её разглядеть. Нагнувшись к подписи, я прочитала: Тильман Рихтеншнайдер.

В пару к Мадонне Эрхарда на стене висел барельеф — не барельеф, скорее горельеф или даже круглая скульптура: добрая старуха с ребёнком на коленях, с которым играет стоящая рядом совсем молоденькая женщина. Должно быть это Св. Анна, Иисус, и Мария. Анна очень большая, а Иисус и Мария очень маленькие — так, с безыскусным простодушием прихожанам объяснили, кто кого старше.

В церкви есть несколько часовен, которые я тоже не увидела — часовню всех святых, (Аллерхайлигенкапелле), сделанную в стиле позднего барокко, перетекающего в рококо — белая лепка с вызолоченными арабесками на потолке и стенах; часовню с алтарём эпохи Возрождения работы Карло Паллаго, в котором в рамы простых классических форм вставлены белые барельефы с позолотой. Тот же скульптор сделал терракотовые скульптуры апостолов, которые установлены на мощной перегородке часовни епископа Симперта. (Исходно Карло Паллаго был приглашён из Флоренции банкиром Маркусом Фуггером для украшения часовни, предназначавшейся для упокоения того же Маркуса Фуггера). Я сфотографировала витражи Гольбейна, но потом оказалось — не Гольбейн, он тоже в Ульрихе за деревянной перегородкой.

Некоторых вещей не ждёшь, они являются сюрпризом, неприятным, — например битники в церкви. Под ногами в церкви Ульриха и Афры валялись кабели, того и гляди навернёшься. Раздавались раскаты современной музыки, несколько человек трудилось, регулируя динамики. Предстал рок-концерт.

В общем, всё удачно: *“два налима прошли мимо, поймал язя, которого есть нельзя...”* (из папиной коллекции афоризмов). Счастье с горем пополам продолжилось и далее. В собор Святого Креста, где находится “Вознесение Богородицы” Рубенса, я не попала — закрыто на обед. Попала в протестантскую часть, где служат заодно

и на церковнославянском, и увидела красивую решётку и необычный современный алтарь, навеянный то ли кубизмом Брака, то ли барокко Ганса Деглера (Помните анекдот про филармонию: *“Кто сказал мать вашу? Не вы? Значит, музыка навеяла!”*).

Удалось прорваться в готическую кирху Св. Анны. Конечно она вся в лесах. Стараются к моему приезду. Внутри она выглядит странно — широкая и с огромным балконом (хорами) в который вделаны трубы органа. Стены выбелены, и на них выделяются крупные гербы (такое средневековое “Здесь был Гётц фон Берлихинген” и т. п.). В каждой церкви нужно провести какое-то время и освоиться. Я, чтобы пережить первое разочарование, выскакиваю в противоположную дверь на дворик и прихожу в хорошее настроение, разглядывая могильные плиты, которые, как всегда, выполнены со вкусом и шиком. После этого возвращаюсь, и могу уже спокойно раздавать оценки всему и вся.

Главные достопримечательности Санта Анны — это её часовни. Одна из них — часовня ювелиров, посвящённая Св. Елене, матери императора Константина, часовня большая, с крупными окнами, в нишах которых и в простенках находятся замечательные росписи 14 века. Мне их удалось сфотографировать, и поэтому я могу правдиво описать, что там нарисовано. Там много чего нарисовано. Возьмём сцену в Гефсиманском саду: Иисуса целует предатель Иуда, Св. Пётр с удовлетворением вкладывает меч в ножны, а Иисус в это время прижимает ухо упавшему на колени стражнику, а ещё один стражник тянет Иисуса за руку, которой тот держит ухо. Вот такая вот динамика взаимоотношений; то ли поцелуй Иуды затянулся, то ли произошло наложение нескольких кадров. По стилю росписи напоминают фрески Джотто. Вокруг росписей сделана широкая кайма-бордюрчик, на ней цветочные узоры и дополнительные картинки — например две трогательные белые собачки, немножко напоминающие баскервильскую.

Ещё более известна часовня-усыпальница Фуггеров. В отличие от всех виденных мною когда-либо часовен эта вовсе не пристроена к центральному нефу, а является его частью — задней. Часовня, спланированная Альбрехтом Дюрером, построена в 1509–1512 годах Якобом Фуггером — тем, который оплатил Карлу Пятому его избрание германским императором. Посредине, на постаменте, который выглядит как римский саркофаг, украшенный барельефами, стоят мраморные Богородица, ангел и Св. Иоанн, и придерживают тело снятого с креста Иисуса. Скульптурная группа сделана непонятно кем, может быть даже учеником Пьетро Ломбардо, —

действительно она по чистоте работы напоминает надгробия знаменитого венецианца, — но обычно её приписывают Гансу Даухеру. Часовня отгорожена от церкви низкой балюстрадой белого мрамора с колоннами розового мрамора. На балюстраде сидят знаменитые херувимы Ганса Даухера. Это толстенные младенцы (идеал послевоенных полугодовалых лет), играющие с мраморными шарами. Крылышки у младенцев, как у страусов — редуцированные, и летать на них нельзя.

Смотрящие на часовню думают: «Вона как оно было в пашнадцатом-то веке!», — и ошибаются. В некотором смысле эта часовня является аллегорией истории, как науки, в которой всё основано на догадках и реконструкциях. Современники склонны относиться небрежно к будущим шедеврам. Не сохранилось никаких записей о строительстве часовни, да и сама часовня не сохранилась — с годами её разобрали по частям, алтарь-саркофаг разрушили, ангелочков разметало по разным местам, в том числе умело на виллу Фуггеров. Вся эта композиция была частично собрана, частично восстановлена только в 1948 году.

Кирха Св. Анны принадлежала когда-то монастырю кармелиток. Мартин Лютер нашёл в ней приют в 1518 году, приехав на встречу с папским легатом Томмазо Каэтано. Согласия достичь не удалось, и после этой замечательной встречи друзья тайком вывезли Лютера из города. Вскоре кирха совсем облютеранилась. На пилоне я случайно заметила свидетельство последующих лютеранских времён: мемориальную доску, написанную по-английски, но готическим шрифтом — прочитать можно, только если очень хочется. Читать не взялась, но заглянула в описание церкви и узнала интересную историю. В 1731 году зальцбургский епископ выслал из Зальцбурга всех протестантов — ему они не нравились. Куда было деваться бедолагам? Собрали они свои пожитки в бельевые корзины с надписью «Домашние вещи, бывшие в употреблении» (это я провожу параллели с изгнанием семьи моего деда из Петербурга в 35 году) и отправились туда, где им могли помочь — в Аугсбург. Паства Санта Анны их приютила, и благородный пастор Самуэль Урлшпергер организовал им переезд в Америку, в Джорджию. Беглецы не забыли прихожан и пастора Санта Анны, писали им письма, и совсем недавно, в 1988 году, они, а может их потомки, прислали в подарок эту доску.

Во дворец Фуггеров, построенный на Максимилианштрассе в 1512–1515 году, не пускают, но можно зайти в магазин на первом эта-

же Фуггер-хойзера, по-моему цветочный, но может быть и книжный — не помню, то ли я за горшок запнулась, то ли за книжную полку зацепилась при осмотре. Из магазина через застеклённую дверь виден Даменхоф, — внутренний дворик дворца, — который я сфотографировала сквозь стекло. Красивый дворик; за образец были взяты патио итальянских и вообще южных вилл и домов. Квадратный двор, вымощенный мелкими камушками, поставленными на ребро, окружён галереей с широкими округлыми арками на круглых колоннах. Арки расписаны цветами по синему фону, и над каждой сделана ниша, вокруг которой нарисовано кольцо со вписанными в него узорами из жёлтых стеблей и листьев. Посреди дворика сделаны бассейн и фонтан. Здесь произошла историческая встреча Мартина Лютера с кардиналом Томмазо Каэтаном, на которой Лютер отстаивал (безуспешно) свои 95 Апрельских тезисов. Почему на дворе, не знаю — наверно зрителей было много, в гостиную не влезли.

В Аугсбурге много приятной архитектурной мелочёвки. На улице Капуцинергассе я увидела дом с росписями, на сей раз хорошего качества. Я видела гордость аугсбургской мясной промышленности Штадт-Метц, мясной склад гильдии мясников, построенный Элиасом Холлом — чудо инженерного искусства, где подземные воды использовали для охлаждения мяса. Я видела монастырский комплекс Клостер Марии Штерн, построенный братом Элиаса Холла. Перед ним площадь, на которую смотрят два белых треугольных фронтона и башенка с зелёной луковкой; позади монастыря ров и живописная улочка с красным плещом — сейчас его сезон.

За две тысячи лет существования в Аугсбурге накопилось домов, связанных со всякими интересными историческими личностями. В некоторых устроены музеи или музей-квартиры — например в доме Бертольда Брехта, который родился в Аугсбурге и был крещён в лютеранской церкви Барфюссер в 1898 году; в доме, где родился композитор Леопольд Моцарт, отец Амадеуса. В доме Гольбейнов... Впрочем, дом Гольбейнов — новодел. Оригинал погиб при бомбёжке в 44 году. Я набрела на дом самого Элиаса Холла. Везде витают тени. Здесь жили и даже были — скульпторы, члены магистрата, поэты, мейстерзингеры, лавочники и члены политбюро, трилобиты, аммониты, стегозавры... Имена забываются быстро. Забываются подписи к портретам. А кто был вот этот? ...и, помните, в музее рассказывали... и дача, чья?

Жаль, что я не попала в Максимилиан-музеум, особняк 1546

года, в котором выставлены изделия аугсбургских ювелиров. В основном Аугсбург был известен оружием и латами. Аугсбургцы изготовляли великолепные предметы церковной утвари и даже целые алтари, например регенсбургский, по спецзаказу сделали погребальный шлем для императора Карла Пятого. Я видела на выставках и в разрозненных каталогах замечательные образцы их работы, например пивную кружку “Пьянство Силена”, от которой и я бы не отказалась — не пить, но прикоснуться, — медальоны резной слоновой кости оправлены в серебро с изящным цветным узором; всем весело, и даже львица жадно глотает виноград.

Аугсбург плохо подготовился к моему визиту — турбюро не найдешь, книжечки с описанием церкви тоже не везде положили, зашили досками великолепные алтари Св. Ульриха и Афры, заперлись изнутри в церкви Св. Креста... Ну ладно, то закрыто и это закрыто, но самое большое свинство поджидало во дворце Шёцлер. Оказалось закрыто главное — картинная галерея, в которой мне обещали Гольбейна и Дюрера. Галерея, принадлежащая музею Шёцлер, находится в бывшем доминиканском женском монастыре. В подворотне, ведущей к музейному входу и на двор монастыря была деревянная торцовая мостовая, но торцы при этом были зацементированы. Я прошла во дворик монастыря и осмотрела красивые плиты и надгробия.

Я мысленно обругала Дюрера и Гольбейна за то, что до их картин не добраться. Что было делать? Я зашла в сам дворец Шёцлер, построенный Либертом фон Либерхофеном в 1765–1770 году, в самый разгар рококо. На лестнице висели портреты последних владельцев и основателей музея: Барон унд Баронин (великодушное “унд”, которым мужчина подключает женщину к принятым им решениям). Внутри было скучно — маленький зальчик со старыми картинами, а потом неизвестно что. Меня решительно останавливает смотрительница. Ей кажется, что меня нужно взять под крыло. “Вы говорите по-немецки? А, вы понимаете по-немецки! Ну, пойдемте, вы же не видели главного!” Да, без неё я бы не нашла островок рококо в этом дворце — нарядную двусветную залу, где плафон во весь потолок, с розовыми облаками и бледно-голубым небом, где боги, богини, китайцы с зонтиками. Зеркала, панно с птицами. Посверкивают хрустальные сосульки на люстрах и шандалах. Сквозь настенные фестоны лепной ледяной листвы проступают лёгкие золочёные завитушки и гирлянды. Я в весеннем саду, подёрнутом последней изморозью.

Умбра, нихиль, прах и дым

В Аугсбург наезжали знаменитости, в том числе писатель Монтень и мисс Клара. Монтень составил путевые записки о Германии, а мисс Клара поразила всех кротостью нрава. Мисс Клара, носорог, известна гораздо меньше Монтеня — о её существовании я узнала случайно, увидав в Национальной галерее Вашингтона её портрет цветными мелками на синей бумаге, работы Иоганна Элиаса Ридингера. Мисс Кларе повезло с эпохой — в 16 веке она спокойно пересекла Европу; в наше время её освеживали бы китайцы, у которых не стоит, и они отрезают рога даже у музейных чучел.

Монтень, известный гораздо больше мисс Клары, провёл в Аугсбурге несколько приятных дней. Ужаста, которых ожидаешь от городов 16 века, преувеличены. В отношении мест, удалённых в пространстве и во времени, мы пленники мифов. Ничто так не отрезвляет, как воспоминания современников. В их описании повседневная жизнь любой эпохи совсем не кажется противной.

Каждому веку присущи мелкие радости. Ели, одевались и развлекались в Аугсбурге хорошо. Месьё де Монтень побывал на танцах, где все лихо отчебучивали вальс. Он видел гимнастический зал, где соревновались в стрельбе из лука и сражались на шпагах, двуручных мечах и ножах. (...Тут я неожиданно задремала над книжицей, и мне привиделось: военные сборы, президент СНГ решил поучаствовать в стрельбе из арбалета, и его случайно пристрелили... И что мне только не приснивалось!)

Каждому веку присущи мелкие нелепости. Осматривая Аугсбург, месьё де Монтень встретил двух страусов, которые пешком шли из Венеции в Саксонию. Страусы были озорные и прыткие, и поэтому вели их на шлейках. Приятно ходить хвостом за месьё де Монтенем. Он всё замечает, потому что умеет смотреть.

В 1580 году город был свеж и весел; многие здания, включая особняк Фуггеров, были построены недавно, а многого не было ещё в помине, как например фонтанов Максимилианштрассе. Во дворце Фуггеров залы были богаче некуда — по свидетельству Монтеня, а нас с вами туда не пустили.

Монтеню довелось осмотреть несколько домов, принадлежавших Фуггерам, где были водные шутихи. Он видел пруды с рыбами, окружённые трубками, из которых била вода под разными углами, то криво, то прямо. Между прудами был помост с замаскированными бронзовыми водомётами. Их можно было неожиданно включать и запускать воду под юбки дамам, которые пришли посмотреть на

рыбок. Был ещё и фонтан с надписью: “Искал пустых забав, вот и получай!”, — вокруг которого было скрыто множество труб, которыми можно неожиданно обрызгать зеваку. Воды в Аугсбурге было много. Насосы, подававшие воду в водонапорную башню, приводились в движение тоже водой, поступавшей по акведуку. Вода растекалась из водонапорной башни по многочисленным фонтанам и за дополнительную плату поступала в частные дома.

Горожане всячески облегчали себе быт техническими усовершенствованиями. В гостинице, где остановился Монтень, в колодце создавали давление двумя громадными поршнями и таким образом накачивали воду в краны, уж конечно вредные, свинцовые. У немцев даже были машины, которые автоматически вращали вертел — их заводили, как часы. Гордостью горожан были подъёмные ворота, чудо ньютоновой механики, секрета которых они не открыли даже английской королеве. Множество скрытых рычагов и зубчатых передач в их согласованном действии позволяли сонным стражникам ночью, не сходя с постели, взывать вознаграждение и впускать визитёров. Немецкую жизнь украшала и эргономика, наука о рациональных движениях, разумеется, в её практическом применении. Например, по описанию Монтеня, в Германии рубили капусту и свёклу для квашения сразу двумя сечками, и в правой, и в левой руке, — в больших, чанах, как у виноделов,

Немного о культуре быта (“*образ жизни — немецкий*”, — перефразируя рубрику советских газет). Монтеня поразили тряпичные половики (незнакомые французам) и настенные коврики, которые вешали у кроватей, чтобы плевики не загрязняли стены. Удивили его надушенные столовые и спальни. Вообще немцы оказались чистюлями, и штатный маляр в гостинице тут же забеливал все тёмные пятна на стене.

Ели в Германии вкусно, не хуже, чем во Франции, хотя Монтеню случилось попробовать немало необычно приготовленных блюд, и он жалел, что не взял с собой повара, который мог бы перенять местные рецепты. Подавали им множество супов, в том числе с айвой, или с дольками печёных яблок, всякую дичь и жаркое из белого зайца, а на третье сыр, груши и яблоки. Да, и плюс конфеты. Любая еда в Германии занимает не меньше трёх часов, и завершается питьём вина. И ни за что воды не принесут, и вино не разбавляют. Чтобы больше влилось, нарочно закусывают пищей, вызывающей жажду: Монтеню не раз случалось заедать белое вино круто посолённым хлебом. Немцы всё время пьяны (и до, и после обеда) и наливают друг другу, подзадоривая тостами, чтобы подпойть.

Некоторые вопросы после прочтения записок Монтеня остались для меня неясными: плачут ли пьяные немцы, требуя уважения, ставят ли бутылки под стол, учат ли пьяных иностранцев немецкому мату.

Месьё де Монтень везде старался жить по местным обычаям, чтобы получше понять местную жизнь, и в Германии соблюдал немецкие причуды; ходил в меховой шапке, спал по-немецки (без матраса), перестал утром согревать себе одежду на кухонной плите, вместо скатерти ел на салфетках и научился в конце обеда складывать грязные тарелки в большую корзину (по старшинству, начиная с самого уважаемого сотрапезника). Но примелькаться не удавалось, что-нибудь да выдаст. В Аугсбурге, проходя мимо собора, месьё де Монтеню случилось высморкаться в носовой платок. Событие это эхом разлетелось по городу, и многие аугсбургцы напомнили о нём Монтеню: “Вы сморкались! В платок — это так странно! Мы сбежались посмотреть! Мы поняли, что вы иностранец”.

Конечно, в каждом обществе свои правила, и всех не соблюдёшь. В Германии дамам посылают воздушный поцелуй при встрече, и разрешается шутливо срывать с них шляпы. К мужчине, чтобы выказать почтение, нужно подходить только слева, чтобы не было ненужной толкотни, если он захочет вытащить меч из ножен. Мечи носят все, и множество — бархатные береты, так что не понять, кто рыцарь, а кто нет.

Почитав Монтеня, я наконец поняла, почему и в Германии и в Чехии стены церквей и общественных зданий усижены гербами — это “Здесь был Вася” порядочного человека. Узнав о том, что немцы, выписываясь из номера, метят его гербом, Монтень оставил в аугсбургской гостинице свой, не пожалев двух крон художнику и двадцати су плотнику. К сожалению, я поздно узнала об этом обычае, а то бы я непременно что-нибудь нарисовала на стене если не второй, то хотя бы первой своей мюнхенской гостиницы. Не понравится — вызовут штатного маляра.

Монтень путешествовал по Германии после заключения Аугсбургского религиозного мира и радовался тому, как безопасны дороги (хоть с дочкой гуляй), и как дружелюбны люди; он заходил в лютеранские церкви, стоявшие бок-о-бок с католическими, дивился их обрядам; спокойно, за хорошим обедом обсуждал религиозные вопросы с лютеранскими священниками. Наверно он думал, но не решался записать: “А почему мы так не можем?” Вокруг него во Франции были варфоломеевские ночи.

Дети и внуки людей, лакодившихся жарким из белого зайца, танцевавших вальсы, изобретавших хитрые механизмы подъёма воды на большую высоту, добрых, честных и гостеприимных, попали под копыта Тридцатилетней войны. Сначала городу подрезали поджилки. Валленштейн показал Аугсбургу то ли железный кулак, то ли ежовые рукавицы, и горожане предали своё лютеранство и изгнали восемь тысяч несогласных. Что восемь тысяч аугсбургских лютеран по сравнению с сорока тысячами ленинградцев, высланных в 35 году, или сотней тысяч немцев, изгнанных из Кёнигсберга после второй мировой? Пожалуй, всё то же, если в процентном отношении.

Измученный войной, Аугсбург обрадовался приходу войск шведского короля и немного ожил, но в 1636 году город осадили имперские войска, и началась блокада. За шесть месяцев горожане съели собак, котов и крыс и перешли к козам и шкурам. Под конец уже ели трупы. Захватив Аугсбург, победители первым делом устроили банкет, и пировали до утра среди умирающих с голоду аугсбургцев. Те, кто выжил, стали другими.

Всё, что осталось от тогдашнего благополучия, это Фуггерай. Фуггеры кроме фонтанов-шутих сделали много хорошего и в том числе основали общину для нищих, Фуггерай, где благочестивые бедняки могли найти жильё. В конце 17 века здесь окончил свои дни нищий прадедушка Моцарта. Жившие в Аугсбурге Моцарты и Фуггеры связаны может быть не только жильём, вполне вероятно они были родственники. Да и мы может быть родичи Моцарта, но только об этом не знаем. Прежде всего потому что не хотим — нам и про собственного дедушку выслушать скучно. Есть компьютеры, которые для нас бы просчитали корни, анастомозы между семействами, но информация эта не востребована.

Фуггерай существует до сих пор, превратившись в приют для малоимущих престарелых. Плата — один евро в год и искренняя католическая вера. Поскольку приютов, основанных в это время, в 16 веке, то ли было мало, то ли мало сохранилось, Фуггерай считают достопримечательностью Аугсбурга, и его можно осмотреть за небольшую плату. Я прохожу сквозь арку, где касса, и растерянно оглядываюсь — где кассирша? Но она уже бежит ко мне, размахивая руками, чтобы я не пыталась пройти без билета. Я получаю билет и право побродить по этому посёлку престарелых, зайти в церковь, в музей и в кафе.

Фуггерай начинается церквушкой Маркусирхе. Над её порта-

лом помещён прекрасный бронзовый бюст Св. Марка с пером и книгой. Из-подмышки евангелиста выползает, на манер любимого кота, лев. Бюст отлит примерно в начале 17 века.

Улочка передо мной прелестна, маленькие дома до бровей заросли плющом и виноградом (с кистями); на жёлтых стенах перемежаются пятна медно-красных и зелёных листьев. Одинок бродит некто в костюме 16 века, наверно заблудился, шагнул в чужое время. Маленькие фонтанчики с маленькими скульптурками. Над дверьми крошечные ниши, в которых то ангел, то Мадонна. Дверные молотки все разные, чтобы можно было распознать свою дверь в темноте, когда ты пьяный или старый. Это существенно, всяко бывает. Однажды я заблудилась, хоть и трезвая, приехав на побывку из Америки. Мне смешно (потому что плакать не хочется) вспоминать, как я ломилась и царапалась в чужую квартиру, перепутав в петербургской темноте подъезды. За дверью слабый женский голос: “Кто это?” Я, с надеждой: “Это твоя дочь Таня”. “А у меня нет дочери Тани”. Горько, что мать отказалась, и непонятно, где я поужинаю.

Снаружи Фуггерай выглядит приятно. Изнутри всё на любителя. Можно осмотреть квартиру вроде той, в которой жил прадедушка Моцарта, а сейчас живут другие люди. Вход у неё отдельный, с улицы. Внизу кухня и гостиная, наверху спальня. Потолочки низенькие, комнатки маленькие, окошечки крошечные. В спальне кровать и комод. Как будто из однокомнатной квартиры сделали дворец, разделив её на приёмную, бальный зал, столовую, кабинет редкостей и привратническую. Это иллюзион для поднятия самооценки у нищих — всё, как настоящее, всё, как у людей, но маленькое. Оттого и домики с отдельными входиками, а не квартиры.

Любая улитка (*omne meae me kum porte*), найдя последний приют в Фуггераю, должна расстаться с баулами, портпледами и даже раковиной. Что выбросить, книги или вещи? Больно. Но мне бы хватило места. Раньше казалось, что книги нужнее, а теперь и вещи не нужны. Представляю себя в этом скворечнике: я безумно рада, что найдено убежище, где меня не тронет никакая инфляция; горы книг, писем и фотографий в ящиках вдоль стены имеют только символическое значение — нет ни сил, ни времени это всё разбирать.

Я видела когда-то женщину, которая жила без ничего. Я помню, как разыскала по объявлению машинистку в катакомбах необъятной коммуналки в “Вяземской лавре” у Сенного рынка, — квартиры из тех, где коридор загибается коленом, а потом поворачивает под кривым углом, и опять загибается, и ты уже не знаешь, где ты, — и

нашла её, старую, плохо одетую, в крошечной комнатке метров десяти, и в этой комнатёнке стояли кровать, платяной шкаф и стол с орудием её пропитания, и больше там не было ничего. Мне хотелось спросить хозяйку: “Где вы были в блокаду?” Мне хотелось спросить её: “А где же вы прячете память о прошлом?” Но я только договорилась о цене, отдала рукопись и ушла. Мы сами были всегда на волосок от того, чтобы не иметь ничего.

Фуггерай, — вспоминается папино “Швайнерай”, потому что в рифму. Многие считают, что заведения вроде Фуггерай грустны, и это так. Попадая в него, ты понимаешь, что ничего прекрасного и замечательного в твоей жизни больше не случится. Японцы признали национальным сокровищем фильм “Баллада о Нарайяме”. В крошечном селении на отрогах горы Нарайяма дети относят стариков на Нарайяму и оставляют. Старики слабеют и замерзают, вспоминая прошлое, подводя итоги земной юдоли. Большинство людей считает такое общество отвратительным и негуманным. Большинство тех же людей не в состоянии потратить свою жизнь на уход за немощным стариком.

И вот ты состарился и сидишь в своём гнезде, в единственном месте, где ты ещё чувствуешь себя в безопасности. И тут появляются люди (дети, родственники, работники собеса), вооружённые гуманизмом. Они считают, что ты уже не можешь быть один, и в чём-то они правы, потому что ты уже какаешь на пол, когда не доползти до уборной. Они не могут тебя пристрелить, потому что человеческая жизнь священна, и они ведут тебя в чужой дом с чужими людьми, которым нет до тебя дела, накачивают наркотиками, чтобы ты не рыпался, привязывают к стулу и подвязывают памперсы, чтобы моча не стекала со стула. На Нараяме ты умираешь в окружении гор и лесов, с достоинством, а здесь ты умираешь в унижении, ничего не различая помутнённым сознанием, понимая только, что тебе тоскливо, и все ждут твоей смерти.

В Фуггерай есть ресторан, где я решила пообедать. Пришли и сели за соседний столик весёлые пожилые люди, папа с мамой средних лет: самый лучший возраст для родителей, когда душа ещё не разрывается от жалости к ним. Обслуживает нас приятная пожилая официантка, по-домашнему, медленно — темп не для одинокого человека, которому не с кем беседовать за едой. Подслушать соседей нельзя, потому что местные жители говорят на немецком.

Наконец мне принесли Маултташензуппе. В прозрачном бульоне плавали рулетики из лапши с начинкой из мяса со шпинатом. За-

тем подали маленькую фарфоровую супницу с фигурной крышкой. Под крышкой в горячей воде плавали Вайс-вурст, благородные белые сардельки. Когда-то мы с мамой долго искали супницу в советских магазинах. Нам хотелось наливать гостям суп не на кухне из кастрюли, а прямо за праздничным столом из супницы. Нашли. Потом мама умерла, я не сохранила супницу.

К вайсвурстам мне в мисочке принесли добродушную немецкую горчицу. Я съела их со шкуркой. Настоящие мюнхенцы шкурку считают, но она так славно хрустит на зубах! Я не могу удержаться от того, чтобы не съесть всё, что положено на тарелку, или хотя бы не попытаться откусить. Останавливает только сопромат, твёрдость панциря или раковины, но недавно я всё-таки съела ноги у креветки в китайском ресторане — жеванула, и готово.

Пора возвращаться, но разгорелся аппетит при виде ещё одной церкви, кирхи “Цу ден Барфюссерн”, босоногих кармелиток — она вся из многовекового коричневого кирпича и должно быть очень старая. Но внутри она оказалась как новенькая, и орган новый — 1958 года — красные, зелёные трубы, торчащие в разные стороны, как макароны из стеклянной банки. Раньше, до войны, в кирхе был другой орган, на котором когда-то играл Моцарт. Кажется, Моцарт успел поиграть на всех органах Аугсбурга, прежде чем их разбомбили союзники (наши союзники).

Старые были только предалтарная перегородка золочёного серебра и Мальчик, Христос-младенец. Мальчик улыбался. Он улыбался и когда занялись жарким огнём деревянные алтари, потекли свинцовыми лужами трубы органа, помнившие Моцарта, и гордая церковь 14 века всхлипнула и осела вся разом. Мне кажется, что я много страдала в своей жизни, но на самом деле я нисколько не страдала — это Мальчик страдал. Это не меня, а Мальчика вытаскивали из-под груды камней. Не пришлось мне, как тётке Зое, стоять на Кирочной и видеть дождь из осколков, не пришлось, как тётке Жене и тётке Тале, выпрыгивать из окна, чтобы раз и навсегда прекратить голод и всю эту гадость, в которую постепенно превратилась жизнь, не пришлось, как дяде Ване, аккуратно укладывать трупы в траншеи, ряд за рядом. Я прожила лёгкую и счастливую жизнь, и не могу никого судить. Судить может только улыбающийся Мальчик. Церковь сгорела под бомбёжкой, а он, деревянный, спасся.

Мальчик улыбался, хорошей, доброй улыбкой человека, который всё понял и простил. И до моей души наконец дошли сгоревший Аугсбург, сгоревший Мюнхен, макеты разгромленного Нюрнберга.

Куда бы ты не пошёл, куда бы ты не поехал в Баварии, повсюду два лица, две стороны; под современным благополучием проступают шрамы былых страданий. Следы войны везде, в виде невосполнимых разрушений, хотя людские проплешины давно заросли и покрылись новой кожей.

Я поняла, что я в городе-призраке. Настоящий Аугсбург умер в 1944 году. Регенсбург — то, что было, но Аугсбург — воспоминание. Аугсбург соотносится с Регенсбургом как память с реальностью, память, полная пробелов, подредактированная желаниями, страхами, стыдом и гордостью. У воскресения есть границы. Германию заполнили города-муляжи, небрежные театральные декорации, ткнёшься носом в очаг и видишь, что тряпка. Всем нам, землянам, принадлежало. Все мы, земляне, истребили. Нам мало, что мы умираем от старости, от слабости... или не то, что мало, — не замечаем, не понимаем, не доходит, что смерть не надо приглашать — она придёт сама, и в Фуггерай и на Нараяму.

А всё же хорошо, что не мы бомбили, что при всех парашах, которые теперь заслуженно обрушивают на советские оккупационные войска, пытавшиеся возместить то, что возместить нельзя, отомстить не так, и не тем способом, и не тем людям, мы всё же не виновны в самых страшных разрушениях, которые постигли Германию. Хорошо, что никто не сможет сказать, что мы квиты, хорошо, что в игре “кто больше разрушит” русские немцам проиграли.

А ведь папа говорил мне об этих бомбёжках; я вспомнила, он говорил — как же я не поняла? Какой стенкой я отгородилась от сотни дрезденов, содомов и гоморр, от всех безоружных беспомощных людей, которых сжигали неизвестно зачем, вместе с Мадонной Во Славе и Смоленской Богородицей, и каменным собором, и деревянным храмом! Пока я не приехала в Германию, я не подозревала, что с ней сделали. Я не знала или не хотела узнать, что вся Германия уподобилась оккупированным территориям России, что с разрешения Потсдамской конференции десять миллионов немцев были изгнаны с территории Прибалтики, Венгрии, Чехословакии, Польши и Югославии. (Перемещённым лицам ещё повезло — на тех, кто не успел “переместиться”, вымещали за политику нацистской Германии). Чем больше узнаю, тем сильнее удивление: как можно требовать у Германии какой-то компенсации и даже признания вины? Отрубить человеку руки и ноги и сказать: “Извиняйся!” — людям старшего поколения это кажется нормально. Мне уже нет.

Я собираю историю, как ребёнок собирает мир — по частям; из увиденного. Многого предчувствую, многого не чувствую, знаю и не

знаю. Знала, что случается со всеми городами во время войны и осады, но, как многие русские, себя обманывала: “нет, нет, то, что происходило с нами, уникально”. Но возражают шеренги дат:

1536 г. — блокада Аугсбурга.

1941г. — блокада Ленинграда

1944 г. — бомбёжка Аугсбурга.

Ничего не меняется. Паровой двигатель — иллюзия прогресса.

В стену Барфюссерн вделано мраморное надгробие. Я подхожу и читаю:

Quid est homo? Terra, Cinis, Fiumus, Umbra, Nihil...

Anno 1762

IV. РАССУЖДЕНИЯ

Тема: Правильные люди

Последний день, последняя сосиска. И я захожу в номер, и собираю чемодан, и мальчик лет четырнадцати стаскивает его вниз. Я даю ему на чай. Он смотрит на монету с удивлением и отдаёт её сестре, гостиничной дежурной. Что подумал мальчик, чему удивился? Я не могу этого знать, я уже не помню себя ребёнком. Добрый пожилой немец, мой ровесник, везёт меня в аэропорт по мокрому-мокрому Мюнхену, зигзагами, словно старается дать мне с ним хорошо проститься.

Так откуда взялись мюнхенские мальчики на воротах Карлстор? Вот разгадка загадки. Я не собираюсь рассказывать о том, что фигуры эти сняли со старинного фонтана, нет, — я хочу процитировать Гёте (“Поэзия и правда моей жизни”) в переводе Н. А. Холодковского.

“...Своеобразное празднество, которое занимало публику при свете дня, представлял судный день дудошников. Эта церемония напоминала те давние времена, когда значительные торговые города старались если не освободиться от податей, то хотя бы, по крайней мере, добиться смягчения их. Император, нуждавшийся в этих податях, давал, насколько это от него зависело, эти льготы, но обыкновенно только на год, и их приходилось возобновлять ежегодно. Это происходило посредством символических даров, которые приносились перед наступлением Варфоломеевской ярмарки императорскому старосте, бывшему иногда в то же время верховным сборщиком податей, что происходило, для важности, когда он со старшинами заседал в суде. Когда впоследствии староста не назначался уже императором, а избирался самим городом, он всё-таки сохранил за собою эти преимущества... За день до рождения Богородицы объявлялся день публичного суда. В большой императорской зале, в огороженном пространстве, сидели старшины, а посредине, одною ступенью выше — староста... Вдруг странная музыка возвещала как бы возвращение былых веков. То были три дудошника: один из них играл на дудке, другой на фаготе, третий на поммере или гобое. На них были голубые, окаймлённые золотом плащи, на рукавах прикреплены были ноты, а головы их

были покрыты. Ровно в десять часов выходили они из своей гостиницы в сопровождении посланников и их свиты, составляя предмет удивления местных жителей и иностранцев, и вступали в залу. Судебное производство останавливалось; дудошники с сопровождавшими их чинами оставались перед загородкою, а посол входил в неё и останавливался перед старостою. Символические дары, которые точнейшим образом подносились по старинному обычаю, состояли обыкновенно из таких товаров, которыми главным образом торговал данный город. ...Здесь посол подносил красиво выточенный деревянный бокал, наполненный перцем. На нём лежала пара перчаток с причудливыми прорезами, с шелковыми каёмками и кистями, как знак дарованной и принятой льготы, которыми в некоторых случаях пользовался, вероятно, и сам император. Тут же была и белая палочка, которая прежде непременно должна была быть налицо при юридических и судебных актах.

...Нас, детей, этот праздник особенно интересовал, так как нам немало льстило видеть своего дедушку на столь почётном месте и так как мы обыкновенно в тот же день скромно посещали его; когда бабушка, бывало, высыплет перец в ящик для пряностей, мы получали бокал, палочку, перчатки или старинную монету.”

Кто был Гёте в самом деле, не знаю, но эти добрые простые слова напоминают мне об отце, и я вновь перечитываю рассказ о его детстве:

“...Пока мы жили в меблированных комнатах, отец всё старался получить собственную квартиру... Это было затаённое дело, и меня в это время пристроили жить к маминной подруге по Смольному институту. ...У Татьяны Михайловны была комната 50 кв. метров и комната 25 кв. метров. Мне там запомнилась ёлка. Запомнилась на всю жизнь, и с тех пор я люблю ёлки. Описать её размеры просто — она была до потолка, 4.5 м, с огромным толстым стволом. Ёлка стояла почти в середине комнаты, и чтобы она не упала, она была смонтирована на гигантском кресте. Украшали её без нас, пока мы спали. Она была увешана сверху донизу, чего там только не было — стеклянные шары, хлопушки, дождь, игрушки, штампованные из папье-маше. Самое интересное было то, что эта ёлка была вкусная. Она была увешана всевозможными сладостями — пряниками и конфетами. Рост у нас был не такой большой, чтобы всё достать, и кое-что, что повыше, нам доставали по нашей просьбе. Лампочек не было, но зажигались свечи. Мы смотрели, не отрывая глаз — счастливый был день. Несколько позже, когда в 24 году мы пе-

реехали на 12 линию, там тоже родители устроили нам ёлку. Из гостиной вытащили почти всю мебель, и посередине поставили ёлку на кресте... Не помню, были сладости, или нет, но она вся была в игрушках и дожде, свечи горели. Её украсили множественством шаров. Особенно мне нравился синий шар — крупный такой. Я его очень полюбил. Таких маленьких, как я, было трое. Остальные были постарше, в том числе и мой младший дядюшка Всеволод. Около ёлки был хоровод, и ёлку опрокинули со всеми игрушками и свечками, хотя свечки, по-моему, уже не горели. Елка упала, взрослые подскочили, елку быстро подняли, а я волновался о синем шаре. Игрушки из тонкого стекла были разбиты, на полу валялся стеклянный порошок, но так удачно все получилось, что синий шар выдержал удар. Веселье было отменное. Это была вторая запомнившаяся елка.

...Появилась у меня наконец первая игрушка — плюшевый медведь среднего размера, не очень большой. Он был красивого серого цвета с некоторым блеском. Ладони и пятки были состряпаны из материала телесного цвета. Вместо глаз устроены круглые пуговицы. Я с этим медведем не расставался лет наверное до 15 или 16, — так он мне нравился. Потом мне покупали другие забавные игрушки. В то время искусные игрушки делали китайцы. Китайцы деятельно помогали делать революцию, и в Петербурге этих революционеров было очень много. На Васильевском острове на рынке толкучке и прямо на улицах китайцы продавали самые разные игрушки. Как сейчас помню, идёшь, видишь забор, около забора стоит китаец, у него расставлены банки. В банке сделана основа из голой проволоки в виде человечка и какой-то раствор, из которого осаждаются на эту основу кристаллы. В другой банке показывают результат — там уже человечек. Этот процесс идёт довольно быстро. Выштампована из папье-маше красивая зелёная лягушка. У неё под брюшком сделана пружинка, которая утоплена в вар. Вар этот сдерживает силу пружины. Потом пружине это дело надоедает, она начинает из вара выползать, лягушка неожиданно прыгает и страшно всех пугает. Металлический лягушонок, и к нему внизу приделана плоская пружина, как часовая. И если сжимать эту пружину, то лягушонок издаёт страшные звуки, пугая родителей, и это очень интересно. Китайцы продавали змей, сочленённых из кусочков дерева. Когда возьмешь в руку эту змею, и она начнет извиваться по-настоящему, то тётка моя приходила в ужас, хоть это и игрушка. Ещё игрушка — палочка, к ней привязана коробочка с горошиной внутри, на конце палочки нит-

ка. Если крутить эту палку, получается дикий звук — для ребят интересно.

...все мы наконец съехали на новую квартиру. Только-только въехали — разразилось наводнение. Это случилось 23 сентября 1924 г. Мне уже тогда было без двух месяцев восемь, и я чувствовал себя очень самостоятельно. Был пасмурный день, я не помню, чтобы был сильный ветер. Где-то наверно сильный ветер был, и сильно гнало воду, но не у нас. Помню, что я выбежал вниз и вышел на свою 12-ю линию. Смотрю, посредине улицы течёт ручей, и такие, как я, бегают в нём по щиколотку. Он постепенно всё расширяется, расширяется, вода бежит, бежит, я стою любопытствующую, но уже подвигаюсь ближе к стене дома. Слышу крик: “Булочную затопило!” Булочная была в подвальном помещении на 13 линии — это противоположная сторона нашей улицы и более низкое место. Вода хлынула в булочную. Подступила к порогу нашего подъезда, и после этого я пошёл домой, поднялся на наш 5-й этаж и стал вести наблюдения из окна своей комнаты. Оно выходило на большие просторы. Смотрю, вода заливает все дворы, доступные моему обзору, и в том числе главный двор, выходящий на 12 линию, перед которым дома не было.

Я упорно смотрел. Наконец я увидел огромное количество дров. Весь Петербург в то время отапливался дровами, было дымно и даже бывали туманы из сажи. Были стишки: “И не раз, и не два, вспоминаю святые слова — дрова”. Все запасались дровами, чтобы тепло, предпочитали березовые. Отец бесконечно их колот. Множество дров плывёт, плывёт в этот двор, откуда — неизвестно. А ещё доски, всё, что деревянное, что способно плыть, всё врывается во двор и заполняет эту площадь. Я смотрел и думал — когда же вода дойдёт до 5 этажа? До 5 этажа вода не дошла. Через некоторое время вода остановилась, и интерес смотреть на эту историю у меня пропал — ну плавают кругом дрова, доски, и больше ничего не видно.

Все были дома, кроме отца. Отец в это время был на заводе, потому что вода в Гавани поднялась очень высоко, и помогал бороться со стихией, чтобы как-то спасти оборудование. Не думаю, что я плохо спал в эту ночь, и что наводнение меня испугало. Утром я отправился в самостоятельное путешествие. Спускаюсь вниз и хожу по всем местам, где мы когда-то гуляли с моей Лидией Васильевной, вплоть до Невы. На линиях валялись не только доски, но и лодки, вёсельные шлюпки, яхты, маленькие катера — всё, что сорвало ветром. Вода ушла, и они остались брошенными на

мостовой. Дальше я двинулся к Невскому проспекту через Николаевский мост. У Невы было ещё большее нагромождение всяких шлюпок и мелких судов.

На Невском была действительно потрясающая картина. В то время почти все улицы Петербурга были вымощены булыжником, причём булыжники эти были надёжно, крепко вделаны в землю. Если булыжникам вода никакого вреда не нанесла, камни не выворотила, ушла, и только шлюпки на камнях валяются, то на Невском была настоящая катастрофа. Невский, шикарная улица, по которой движение тогда было в основном на извозчиках, а также Садовая, Литейный и Владимирский, были вымощены деревянными торцами, чтобы подковы лошадей опирались о дерево, и цоканье получалось тихое и глухое. Торцы делали так: брали дерево, вместо круглого его делали шестигранным и нарезали на колобашки высотой 15–20 см (точно не скажу, тогда всё измерялось на вершки). Основание под торцы делали очень ровное. Когда хлынула вода, дерево моментально стало разбухать, вся мостовая вздыбилась, и шестигранные шашки образовали какие-то кучи. Когда шашки пристыковывали одну к другой, сбоку вбивали гвозди для прочности. Ну конечно, гвозди эти мостовую спасти не могли, и только не дали возможности разлететься по шашке, а просто вздыбливалась целая куча, оставляя плешины. Весь Невский был перекопан — ни проехать, ни пройти, за исключением тротуаров, которые в то время были в основном из известковых плит. На Невском я не видел никаких лодок. Витрины не были повреждены. Высота воды была метра полтора, витрины выше, и наверно поэтому разбитых стёкол я не видел. Насмотревшись всего этого, я вернулся домой.

Что касается отца, то он вернулся с завода на следующий день, очень поздно. Так как ему всё время приходилось пребывать в воде, он заболел, воспаления легких не было, но простуда была серьёзная.”

Дети замечают очень многое. Взрослым, не всем, дается дар осмысления.

С незапамятных времён человечество рвётся в небо и мечтает о крыльях. Природа этой жажды и её последствия прекрасно переданы песней Лёхи Андреева: *Самолёт, самолёт, на земле я идиот, заberi меня в полёт, пусть меня в полёте рвёт!* К счастью меня рвёт редко, а в полёте никогда, несмотря даже на самолётную еду. Один её запах чего стоит! Вот так же в Средние века, зимой,

мы пытались замаскировать вонь протухшей убоины чесноком и пряностями.

Я не люблю есть дрянь, потому что это неуважение к человеческой личности. Нам говорят: “И чего же вы хотите, когда надо накормить миллионы?” Вот именно, это проблема социальная: плохо кормят там, где ты человек несущественный, песчинка, винтик, где от тебя стараются поскорее избавиться: на, пожри и функционируй на пользу обществу. Все эти сэндвичи, где слиплись сыр и колбаса, эти пресные тако и бурриты, набитые мясной трухой и прокисшим квашеным перцем, эти котлеты “смерть немецким оккупантам”, — всё, называемое теперь “фаст фуд”, потому что и перевести на русский уже некогда, — оно зародилось там, где на нас наплевать. Когда-то нас любили; в самолёте был простор, благолепие, удобные кресла; добрые стюардессы раздавали мятные конфетки и приносили лимонад в стеклянных полусферах с эмблемой Аэрофлота.

Мы дешевле на глазах, раньше мы стоили лимонада, а теперь нет. Мы чересчур размножились, и природа занялась серьёзной работой по ограничению нашего поголовья. Самое страшное, что мы сейчас ничего не стоим друг для друга. Чего мы собственно стоим, если в знаменателе миллиарды? В объективном смысле я и есть ничтожество. Но у меня есть чувства, мысли, любовь и привязанности. Мелкая незначительность масс и глубокая ценность каждого человека столкнулись главным противоречием перенаселённой современности.

Через месяц после смерти отца, обливаясь слезами напряжения, я перепечатывала сделанные мною транскрипты его воспоминаний. Джироламо Кардано считал, что обстоятельства жизни сгущаются в облака, контуры которых можно разглядеть только издали. Он прав. Облака для меня сгустились. Из мелких, известных мне подробностей-капелек сложилась полная картина, встала предо мной, как в Эрмитаже, когда отступишь к стене и дашь себе время всмотреться в холст. Произошло обычное чудо — целое больше его частей, — и я читала отцовскую повесть как впервые, как будто не зная её конца. Мне было страшно, мне хотелось всё изменить, переписать, придумать новые счастливые развязки. Но было и другое, нежданное, призрачное — присутствие порядочного человека, его Души — вдруг, во всей целостности. Как воздух из окна в душную комнату, как стакан воды на подоконнике, — благородство, которое и тебя выпрямляет, правильное, человеческое, хорошее — не рассказом, но показом.

Любовь к людям — понятие затасканное, и может быть несуществующее. Тут не любовь, но большее. Отец, вот он что: он понимал, но не судил. И не то, чтобы всех прощал, — нет, он был в этом смысле человек гораздо более жёсткий, чем я, но он уважал в человеке человека. Помните, — та идея... уважение образа и подобия Божия; понятнее сказать не могу. Папа был правильный человек. Правильный человек живёт по правилам. А есть ли правила? Да. Они такие крупные, такие явные, что мы их в упор не видим, но они есть. Следовать им нельзя. Они прорастают изнутри. А может быть они и есть та Благодать, не каждому дарёная.

Глупо говорить об уроках жизни, — как будто кто-нибудь может хоть какие-то уроки воспринять? — но тут нашёлся, неброский. Повесть отца оживила умерших и каждый оказался единственный и неповторимый, кем-то любимый, кому-то необходимый. Я конечно и раньше это знала, но не понимала (многие ведь знают законы физики, но немногие их понимают), а тут прочувствовала, и ощутила всю красоту дара жизни, прорастающего тысячей побегов сквозь неизменную, самовоспроизводящуюся жестокость и грубость бытия.

Тема: Заложники обезьян

“Фрише люфт”, — говорил папа. Вот он откуда, фрише люфт: *“28 сентября 1942 года ... Нюрнберг. ...мне пришлось попасть в немецкие военные казармы. Я был поражён — октябрь-месяц, отвратительная погода с морозящим дождём, но немцы в этих казармах, несмотря на то, что погода такая мерзкая, держат открытые окна; нужен “фрише люфт”. Фрише люфт. Ещё читаю, у Фридриха Река (“Дневник отчаявшегося человека”): “Сентябрь 1941 г. Недавно на полустанке Гархинг в Верхней Баварии я видел первый эшелон русских военнопленных. Точнее, я их не видел, а обонял. Вереница товарных вагонов стояла на запасном пути, и весенний ветерок доносил вонь мочи и экскрементов. Когда я подошёл поближе, я увидел, как моча и экскременты сочатся на рельсы сквозь дощатый пол и щели вагонов”. Что происходило в следующем эшелоне, которым приехал мой отец, не знаю. Меня там не стояло, и мне даже не догадаться, что и как. Я только понимаю, что происшедшее несовместимо с человеческим достоинством. Выесть, выесть кому-нибудь горло за это.*

Были люди, которые не рассказывали. Были — которые не слушали. Были те, кто рассказывал, и те, кто слушал. Коридором блокадной Мечниковской больницы идёт дядя Ваня мимо комнаты че-

ловека, про которого знают, что тот ест трупы. Заглядывает, спрашивает: “Варишь?” “Варю”. Мне не этот человек противен, а те, кто его так опустил. Люди кончали с собой после блокады — отъевшись и вспомнив. Люди — заложники обезьян. Снова и снова, всегда и везде, обезьяны ломают людей, прямо или косо, принуждая палкой, унижая голодом, страхом, пыткой, унижая унижением.

Как кипит кипит? С чего это немцы озверели? С чего это мы озверели? Зачем ненасытность в поимке рабов, зачем эшелоны угнанных в Германию женщин и подростков? Зачем Колыме лагеря, набитые *врагами народа*? Зачем и откуда, пятна, что ли, на солнце? Не знаю, что и ответить — вопрос многосторонний, обоюдоострый, провоцирующий, напрашивающийся на несимметричный ответ.

В 1933 году на улицах Нюрнберга очутились великовозрастные дети американского посла Вильяма Додда. Город был полон радостного возбуждения. Дежурный в гостинице весело заверил: “Кое-кому будет урок!”. Не будем лакировать действительность, — лаки дороги, — и даже наждаком не пройдемся, скажем честно — в простакках, запрудивших улицы Нюрнберга, было много радости. Корни фашизма — народные. Миром правят карлики с твердой поступью, потому что народ выбрал, народ — за. Мне казалось (фантазия наиболее благороднейшая, из уважения к русскому народу), что в России в тридцатые годы все были подавлены и молчали из страха, но это мои родственники были подавлены, а остальные *пели и смеялись, как дети*, или как нюрнбергцы, перед которыми штурмовики проволочки женщину с мучнистым лицом, с табличкой на груди: “Я отдалась еврею”. Потрясает не то, что фашисты такое делали — у фашистской мерзости дна не было, — тошнит, но не удивляюсь. Передергивает от того, что народ не *безмолвствует*. Он ликует. Пушкин ошибся, лучше бы он посоветовался с Лермонтовым.

И хочется разобраться (вопросы пуганого поколения) — а почему, собственно, народ всегда поддержит? Предвоенные немцы кажутся масками, одинаковыми, кричащими: “Хайль Гитлер!” — но это ведь не так. Ведь природа человеческая не способствует унификации, ведь в общем лукошке собраны люди, которым ничего не понятно, и всё приятно; люди, которым всё понятно и противно; люди, которым ничего не понятно и ничего не противно... Не подсчитать, сколько цветов у радуги — один перетекает в другой. Поделит радугу волонтеристски на “каждый охотник желает знать, где сидит фазан”, — от “убеждённый коммунист-фашист”, через “Главное — уцелеть” до “Какие сволочи, какие обезьяны!” сквозь “Что-то в этом есть и зря не сажают”, мимо “Грабь награбленное”. И ещё

куда-нибудь всунем, мазнув подходящим цветом, тех, которым всё равно, которые набивают военнопленных или зеков, как скот, в товарные вагоны и вынуждают их мочиться на пол — безо всякой выгоды для себя.

Слева красные и оранжевые, безумцы и дураки, убеждённые, что нет другого выбора, что весь мир против нас, люди, мечтающие о вожде, который думает за нас, ночи не спит, пот и кровь проливая (наши, конечно). Вот мюнхенская жительница, которая в 1936 году от восторга проглотила гальку, на которую наступил обожаемый фюрер; вот полит-инструкторша, которая в 1945 перед поражением Германии утешала тех, кто хотел утешиться, обещанием припасённой фюрером для всех лёгкой смерти. Вот сотрудница Биологического института в Петергофе, которая в 1975 ворвалась в лабораторию с криком, что в парке ходит некто с фотоаппаратом, и надо аппарат у него отобрать, плёнку засветить и сообщить в компетентные органы; вот служащая, которая в 1920 выгоняет оголодавших детей — будущего актёра Лебедева и его маленькую сестру — из приёмной детдома со словами: “Подышайте с голоду, проклятые поповичи!” Я не застала настоящих революционных розанов, красных коммунистов-ленинцев, которым хоть трава не расти на наших могилах, но встречала множество верующих в то, что революция дала им всё, и ради этого можно примириться и с лёгкой, и с нелёгкой смертью “чуждых элементов”. В этих оранжевых апельсинчиках сочетаются сентиментальность к далёким (старуха, с которой судьба свела на пять минут в трамвае) и чёрствость к родным и друзьям. Из этой чёрствости рождается доверие к лозунгу “Цель оправдывает средства!” Когда рулевой обещает, что шоковую терапию переживут не все, он имеет в виду не своего отца, а моего. *Оранжевое небо, оранжевый верблюд...*

Справа синие и фиолетовые. Синие всё понимают, но надеются. “Нет”, — говорят они, — “Германия такая культурная страна! Настоящая Германия — страна законности! Настоящая Германия никогда не позволит нацистам уничтожить евреев”, и т.п. Фиолетовые всё понимают, но не надеются. Их рвёт в тёмном уголке. Ну конечно, конечно, спектр не кончается на видимой глазу зоне. Есть и ультрафиолетовые — те, кто молчать не может. Вспомним Гуса, вспомним Лютера. Люди костра не боялись. “*На том стою*”, — говорили люди, прибывая девяносто пять тезисов к церковной двери.

Посредине — зелёные, — те, кто просто хочет жить. Душа не хочет гадостей, тем более, что узнавши гадости, не планируется против них восставать. Гамлет, который поверил призраку, кончил

плохо. Я видала результаты этого великолепного психологического блока. “Где мотался двадцать лет герой пьесы “Пять вечеров”? “Да ведь он же был в лагере!” “В лагере? А что же это Володин прямо не сказал, что тот был в лагере?” “Да ведь нельзя было это сказать, пьесу бы не пропустили!” “Да что вы? Кто?” И я вижу, что мне не верят. Не верят люди, которые жили вместе со мной в той же стране. Люди агрессивно не хотят ни во что вдумываться. Давайте говорить о еде и природе.

Зелёные не были ни за, ни против. Зелёные не вышли на улицы Нюрнберга. Этим людям было плевать на Великую Немецкую Революцию. Они хотели просто жить, но им не давали. Им затягивали удавку, и вокруг витала неясная, вонючая угроза. Трагизм тривиализма: просто жить — не выйдет. Ну почему же, ну почему? Ну кому мы мешаем в своём уголочке? Почему нас тянут в сообщники? В книге Ребекки Уэст “Чёрный сокол”, есть глава про поезд с немецкими пассажирами. Немцы, напуганные нацизмом, едут отдохнуть от него в Югославию. Для каждого Ребеккой припасено насмешливое слово, но мне, — и частенько так, — не смешно, я вижу страдания невоинствующего человека. В маленькой замкнутой системе “муж-жена”, которую создают и прекрасно поддерживают многие наши знакомые, можно отсиживаться годами, но кто-нибудь непременно разворотит гнездо, и вот они — голенькие, замёрзшие, — с тоской прижимаются друг к другу, понимая, что это конец, и мне их жалко, как себя.

Почему от народа не дождёшься сопротивления, если он такой разный? Почему у всех векторов перевешивает одна составляющая, направленная в выгребную яму? Это что, количественный эффект? Возьмём счёты и подсчитаем, сколько каких: сколько красных, сколько синих, и как они соотносятся с зелёными? Сколько у нас тут обезьянок? Сколько их заложников? Но не считается, костяшки заедает. Не хватает информации. Я хотела бы знать, как мои соседи видели мир, что они думали о советской пропаганде, лгали ли, умалчивали, или следовали совету Козьмы Пруткова: *“Если на клетке со львом написано «тигр», — не верь глазам своим”*? Но как узнать? Кто скажет правду? Да никто, не дураки. А дураки такое скажут! У советского человека профили разнятся. Зайдёшь справа — милейший человек и надёжный друг. Зайдёшь слева, и неизвестно чем кончится. И не угадать, и не хочется угадывать — боишься умереть от огорчения.

Я знаю о Советской России и всё, и ничего, я, робкая лягушечка домашнего террариума, смотревшая на мир сквозь стенки тонкого

стекла, готовые лопнуть под напряжением неправды жизни. Мои впечатления о предвоенной Германии, кроме аналогий и ассоциаций с близким и родным пепелищем основаны на трёх книгах: “В зоопарке” — документальная повесть американца Эрика Ларсена про злключения американского посла Вильяма Додда в Берлине, в 1933–34 гг, “Дневник отчаявшегося человека”, который вёл немецкий писатель Фридрих Рек в тридцатые и сороковые, тайно, перепрятывая тетрадки в лесу, и мемуары историка Иоахима Феста “Не я” об отце, школьном учителе, которого в тридцать третьем вышибли с работы с запретом на профессию за то, что Иоганн Фест, любитель Гёте, Лессинга, Гейне и Теодора Фонтане, отказался вступить в НСДАП и не пустил своих детишек в национал-комсомол; такой вот Александр Матросов из анекдота — *сам не стреляет и другим не даёт*.

В этих книгах таятся сюрпризы. Например, в тридцать третьем году, когда “Выбирать было некого” (этот лозунг я слышу отовсюду в любой стране) можно было (сюрприз!) выбирать между фашистами, коммунистами, либералами, социал-демократами и христианским Центрумом. У Гитлера было меньше половины мест в рейхстаге, при том, что сволочь бежит голосовать охотнее порядочных людей. Ещё сурприз: в тридцать третьем году в Германии было много несогласных — до мордобития. Существовал Райхсбаннер — христианская народная милиция, и аналогичные организации фашистов и коммунистов. Эти группировки дрались в кровь. И католическая церковь, которую так теперь кроют за пособничество, была против, и по рукам ходили проповеди епископа Галена, выступавшего против убийства “неполноценных”. Бернхард Лихтенберг, настоятель собора Св. Ядвиги в Берлине, устраивал публичные моления за евреев, Руперт Майер, скрипач, иезуит, хромой священник, награждённый Железным крестом за храбрость в Первую мировую войну, напоминал с амвона, что Божьи заповеди важнее человеческих: идея абстрактная, но для “режимов” нет ничего опаснее абстрактных идей, нет ничего опаснее недвусмысленного света. Его предупредили. *“На том стою”*, — отвечал Руперт Майер. Его сажали в тюрьму. “Мне глотку не заткнут”, — говорил Руперт Майер, — *“А если заткнут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ...”*

Заткнули, заткнули. Отдельных смутьянов вылавливали и забивали до смерти, а многим перекрывали краны источников существования. Фридрих Рек в лагерь попал перед самым поражением Германии, и ему хватило трёх месяцев — живым он не вышел. Бер-

нхард Лихтенберг умер по дороге в Дахау “при невыясненных обстоятельствах” (“десять лет без права переписки” звучит милее). В тридцать седьмом году Руперта Майера забрали в Заксенхаузен; для тех, кто рождён после меня, уточняю — это лагерь уничтожения. И даже дядя Хильды, фермер... Незадолго до войны он зашёл в пивную — по-немецки “биргартен”. По радио назойливо вопил Гитлер. “Давайте выключим этого идиота и попьём пивка!” — предложил дядя. К нему сразу подошли, и больше его никто не видал, прямо как рассказавшего неудачный анекдот Глеба Чекмарёва, сына дяди Феди.

В своё время одна малообразованная дама заявила: “*Не заливать кровью разума!*” В общем, залить. Наглядный урок диктаторам, диссидентам, вообще всем, кто интересуется: надо скусывать бутончики, и тогда кустик не зацветёт. Надо выдёргивать поштучно — горлопанов, журналистов, — тех, кто понимает и пытается что-то сделать. *Есть человек — есть проблема; нет человека, нет проблемы.* Тем более, что народ не верит в направленную политику: “Всё — совпадение. Всё — инициатива на местах”. Народ не замечает, народ подтверждает, что *жить стало лучше, жить стало веселее.* (Вот сколько народил *отец родной* поговорок, подходящих ко всем временам, странам и народам!)

Уцелели штучно и случайно. Поскольку в немецком тридцать седьмом ещё было какое-то общественное мнение, Руперта Майера не добились в Заксенхаузене. Его просто связали по рукам и ногам, заклеили ему рот липкой лентой и перевели в аббатство Эттал, где он и просуществовал до сорок пятого года. В сорок пятом американцы вернули его в Мюнхен, где он скоропостижно умер. У Иоганна Феста оказался ангел-хранитель, который придушенным голосом предупреждал в телефонную трубку об обысках. После войны, когда чёрненькие стали беленькими, а беленькие чёрненькими, Фест встретил главного своего гонителя, квартального уполномоченного Фенглера, который не давал ему ни спуска, ни продыху, и даже лазал по кастрюлям с инспекцией, и без обиняков спросил: “Это вы меня спасали?” И тот начал крутить и выворачиваться, но потом всё-таки сознался, что да. “А почему вы не хотите признаваться, ведь это сейчас вам поможет?” “Мне стыдно, что я предавал моего фюрера!” “А зачем же тогда вы это делали?” “Не знаю, не знаю, как-то казалось, что иначе нельзя”. В России были, есть и будут люди, у которых при Сталине был порядок. Разница между порядком у Сталина и у Гитлера конечно есть. Разница в том, что Фесту при запрете на профессию оставляют мелкую пенсию. Разница в том, что

немецкий Любовь Яровой всё-таки тайно предупреждает об обыске.

Кто остался — спрятался. Замолкли и утонули во всеобщем энтузиазме. В спектре молчания тоже есть оттенки. Неприемлемо молчание по умолчанию. Но уважаю трусов — ведь нас рожали не для того, чтобы мы варили и ели трупы; не затем, чтобы мордовали и лепили из нас стукачей. Непросто лавировать среди ликующего народа, недремлющего ГБ. Гебешники — клопы земли Русской, крупные, размером с гиену, — уродуют психику людей, ставя их перед невозможным выбором. Люди рассказывали мне, как их пытались вербовать в стукачи, про тошнотное чувство, когда собеседник вдруг вытаскивает из-за пазухи удостоверение, и ясно, что это всерьёз. Многие соглашались, напуганные до полусмерти: родившиеся при советской власти сенсублизованы к давлению. Дед мой, изготовленный задолго до революции, и непуганый, обматерил энкаведешника, когда тот решил из него сделать осведомителя, и даром ему это не прошло.

Быть среди правых труднее не только потому, что выпальывают. Разобраться трудно. Перед носом машут идеалами, не давая их внимательно разглядеть. Всё обмочено патриотизмом, которому трудно противостоять: «Какой был рейх большой, пока не развалился! Пока американцы его не развалили! И не наложили кучу контрибуций». Некоторые идиотами от патриотизма становятся. А некоторые не становятся. Уже после перестройки некто приступил к отцу с вопросом: «А когда вы догадались, что всё — враньё?» «А зачем надо догадываться?» — удивился отец, — «И так ясно, что *«Аллес шайзе, аллес пропаганда»*...» Мудрость немецкого народа, устами отца. Интеллигенции стыдно не понимать, стыдно заглаживать этого червяка. Интеллигенции надо бы знать, что Идея Родины — скользкая лошадка, никак на ней не проедешь. Фридрих Рек не купился:

“20 марта 1938 года. И вот Австрия. Мы этого ждали неделями. Мы, естественно, понимали, что всё это значит, эти угрозы, эти инсценировки протестов, весь этот убогий балаган для того, чтобы оправдать интервенцию. И теперь танковые и артиллерийские колонны катят по каждой улице, и в моём городке, как будто это битва жизни со смертью, недомерки из Гитлерюгенда разыгрывают героев и записываются в армейские добровольцы, как будто враг — это великая европейская держава, а не крошечная нация в семь миллионов жителей... Пугающе, невероятно то, что прусские офицеры, отпрыски великих, славных семейств, не имеют понятия о том, какую унижительную роль их вынудили здесь сыграть. Это стирание чувства чести, эта ущербная этика, это

безбожное отрицание того, что между правдой и кривдой есть границы, заставляют меня поверить в окончательную и необратимую смерть немецкого духа.”

Ну, это пятая колонна! Конечно пятая колонна. Если бы пятая колонна сделала, как считает нужным, Германия бы не погибла. Но пятой колонне и не дали, и сама не взяла. Аншлюсс Австрии оставляет тяжёлое впечатление у патриота. Смешанное чувство: *твоя тёща в твоём автомобиле летит в пропасть*. Молчат не только из страха, но и из павловской сшибки. Получается — ты против победы и против стабильности страны. Получается — ты с теми, кто радуется версальскому договору и контрибуциям. А у кого нет сшибки — тот в ужасном положении. Бездействуя, ты соучастник, а действия приводят к краху не только уродливого строя, но и всей страны.

Если народ равнодушием, попустительством, одобрением позволил сорнякам укорениться, спасу не будет. Сломать такой режим изнутри нельзя. Нужно очищение огнём. Кассандры из пятой колонны безумно и безнадежно мечтают об интервенции. Собственно, о втором пришествии они мечтают, о неосуществимом идеале, о силе, которая восстановит справедливость. Иностранная оккупация никогда не работает; точнее она не работала в тех случаях, которые я знаю — Наполеон, Гитлер, оккупация Германии союзниками. В России, хотя это большой неприглядный секрет, многие ждали немцев, а получили что? Пятая колонна погибнет, как Кассандра при взятии Трои. Фридрих Рек и другие ненавидели нацизм, ждали освобождения. Но не ожидали, что можно наказать весь народ, и так наказать, что пропадает смысл наказания, и само чувство вины. Фридрих Рек считал, что победители не смогут сделать весь народ ответственным за режим, который они же сами когда-то и поддерживали: Англия и Франция, бездействием, Россия — активно. Но он ошибся. Смешали все краски в ведре, вылили на помойку, каблуком прихлопнули. Господь разгромил Содом и Гоморру, за то, что в них не нашлось пары-тройки праведников. Как подсчитать праведников? Где провести черту, отделяющую чистых от нечистых? Быть может, по этой мерке и блокада Ленинграда — Божье наказание за массовые репрессии и в восемнадцатом, и в тридцать пятом, и в тридцать седьмом?

Германию не спасли праведники — и Руперт Майер, и Бернхард Лихтенберг, и Белая Роза... Да, действительно, чуть не забыла о Белой Розе. В “Белую розу” входили студенты Мюнхенского университета. Главными её участниками были брат и сестра — Ганс

и Софи Шолл. Белая роза распространяла листовки, призывая к борьбе с Гитлером и его режимом, с июня 1942 года по февраль 1943 (мой отец к этому времени был уже в плену). Попались, потому что снососторожничали. Тем, кого поймали, устроили показательный суд. Большинство из них были верующие, и когда им отрубали головы, Кристоф Пробст сказал Шоллам: “Мы встретимся через несколько минут”. Может быть и встретились. Такая вот немецкая Молодая гвардия. Начинали они с членства в Гитлерюгенде и были увлечены идеей построения нового прекрасного общества. Молодёжь довольно часто ударяется в революцию, и их раздражают родители, которые отпускают шпильки против революционного режима, но потом, когда правда до детей доходит, они идут гораздо дальше отцов. Впрочем, какие дети? К моменту казни Гансу Шоллу было 24 года, Софии Шолл — 21 год, а Кристофу Пробсту 22 года. Не дети конечно, — взрослые. Это в наше время двадцать лет — безмятежное детство, и на дуэль вместо Онегина и Ленского явились бы их мамы.

В связи с Белой розой я вспомнила историю, которая произошла с моим отцом в Москве. Вернее, история произошла с одним из наших многочисленных родственников, а папа был её непрошеным свидетелем. Приехав в Москву, отец, как всегда, зашёл к троюродному брату и напоролся на гепеушную засаду. Арестовывали всех, кто приходил, и отвечали на телефонные звонки сладкими голосами: “А кто это звонит? А что вам нужно?” Папа по наитию избрал самую правильную тактику. Он заорал на гепеушников, и те поняли, что он им этим шумом испортит охоту, и очень грубо его выгнали. Это ещё одна история папиной жизни, от которой у меня колотится сердце. Брат папы, некто Шенк, а имени его я не помню, и уточнить негде, виновен был в том, что он организовал альтернативную комсомольскую ячейку.

И сейчас в моём повествовании произойдёт подходящий, к месту, плавный переход к смыслу русского протеста. Посмотрим налево — там Германия. Посмотрим направо — тут Россия. Там и тут — комариные укусы благородных комаров. Диссидентия — очистка собственной совести. Диссиденты ничего не поменяли — в 20 веке, потому что за ними никто не пошёл. Времена Гуса и Лютера миновали.

Я предполагаю, что в кружке, который организовал Шенк, была своя Софи Шолл. Там в память о Гансе и Софи Шолл названы площадь и фонтан, Софию Шолл считают героиней, пишут про неё оперы и снимают фильмы, а тут? Кто помнит Ларису Богораз? Опер про неё вроде нет. Фильм? Да, американский, документаль-

ный: “Русские бабушки”, и она там затесалась с трагическим рассказом о смерти Анатолия Марченко среди персонажей, продающих “хундер-мундер”.

У нас были студенты, которые распространяли листовки в институтах? Это я не утверждаю, это я спрашиваю, потому что не знаю. Может быть и не было, может быть так уж голову замурили. Режим, просуществовавший семьдесят лет, вылетел лучше, чем режим, просуществовавший только двенадцать. Но не верю. То, что молчал весь народ и диссидентов не было — странная гипотеза, и неправильная. Не молчали. Просто от них не осталось следа. Диссиденты — за пределом видимой части спектра. Ультрафиолет не видим глазу. Архивы закрыты. И наш народ, не прошедший денацификацию, не считает своих героев героями.

И всё-таки, как много было настоящих... “Точка, замерло”, — как говорил папа. Правят обезьяны, платят все: моя мать в эвакуации, с маленькой Мариной на руках, умирающей от истощения и туберкулёза; немка, которая не могла расстаться с обгорелым трупиком своего младенца и носила его в чемоданчике, — в конце войны, после ковровых бомбёжек Мюнхена и Гамбурга, и Аугсбурга, и Вюрцбурга, и прочих военных и невоенных объектов, когда по германским дорогам потекли потоки бездомных беженцев. Глазами Элины Быстрицкой, работавшей на санитарном поезде, вижу поле, и ветер несёт над ним, как снег, сотни солдатских треугольников, которых так ждут и никогда не дождутся. Но треугольника моего отца в этой вьюге не было. Отцу моему, попавшему в *пропавшие навек для Бога и людей*, отослать письмо матери было и невозможно, и опасно. Опасно для неё.

Я помню, как плакала, негромко, не навзрыд, — тихо и невольно, — над письмами немецких солдат, написанных в окружении под Сталинградом. Каждому из них сказали: “Это всё, что от вас останется — улетает последний самолёт на родину”. И каждое слово, продиктованное Смертью, зазвучало так, как будто его писал самый мудрый и благородный человек на Земле. Эти письма тоже не дошли до адресатов. Немецкие комиссары надеялись издать их для поднятия боевого духа, но не нашли в них призывов “За Родину, за Сталина!” и, как последние сволочи, забросили их в дальний угол архива немецкого ГПУ. Сорок лет спустя я читала эти письма вместо вдов, и я уважала этих людей, и плакала об их смерти, и меня душила ненависть к червям, развязавшим войну, червям, из-за которых *умирает чудо — человеческая душа*.

“Вы, там наверху! Я ненавижу вас во сне и наяву. Я прокляну вас в час моей смерти. Я прокляну вас из могилы, и ваши дети, и дети ваших детей понесут моё проклятие. Нет у меня другого оружия, кроме этого проклятия; я знаю, что оно иссушает сердце того, кто проклинает. Я не знаю, переживу ли я ваше падение. Но я знаю, что человек должен ненавидеть эту Германию всем сердцем, если он любит её. Я лучше десять раз умру, чем увижу вашу победу. . . . Я плачу — не от печали, а от ярости и стыда.”

Фридрих Рек.

Тема: “Не забудем!” Что мы помним?

“Не забудем!” — писали чехи мелом на асфальте в шестьдесят восьмом и позже — так рассказывал папа. Чёрствая кава здесь значит одно, а там — другое. Не забудем... Сколько длится память?

А какая память? Памяти разные, разных мастей. Память вины и память мести, память обиды, память понимания. Я хотела узнать, что помнят у них. Я хотела узнать, все ли мы обожжены. Я спрашивала ровесников. Нелегко, но можно: “Скажите, что вы помните? Скажите, что вы думали об абажурах и золотых коронках...” — и микрофон к лицу. И услышать разное. У каждого очевидца своё Ковентри, и он не видит чужого. Русский солдат — изверг и мучитель немецкого народа. Немцы не видели своими глазами, как их солдаты жгли живьём русских женщин в избах, как угоняли в рабство, как закидывали в полевые бордели, — они видели только то, что творилось у них под носом. Они не знали, что моя прабабушка, и сын её, и зять умерли от голода в осаждённом Ленинграде. Помнят, что сами видели.

Хорст: “Наше поколение к национальной идее и флагу относилось настороженно”. Эхо военного детства: отец-учитель, который так рано был призван на фронт и так поздно вернулся из французского плена, что уже и не помнился и по возвращении казался чужаком. И шестидесятые годы, когда немецкие студенты спросили родителей: “К чему всё это?”

Вальтрауд: “Мне рассказывали, но я не слушала. Я пацифистка, мне это всё противно. Этого больше не должно быть”. Эхо Судет: брошенный дом, где поселились незнакомые чехи, а перед этим несколько ночей, когда тайком перетаскивали кое-какие вещи на немецкую сторону, чтобы не быть совсем уж разутыми и раздетыми. И оскомина от наведённого чувства вины.

Хильда: “Титлер сделал много хорошего. Он вернул женщин в

семью и поднял рождаемость”. Эхо бегства из Пруссии, от Советской Армии, и мать, закрывавшая Хильде рукой глаза, когда они проезжали мимо деревьев с трупами немецких фермеров, повешенных польскими работниками. Хильда — отличный человек, её отец, прусский фермер, был отличный человек. Его сезонные рабочие-поляки попросились к нему насовсем после захвата Польши немцами, и они их принял, и кормил, и заботился о них всю войну. И они его не повесили.

Пускай в нашей грамматике нет категорий прошедшего времени, но в душе есть. Моё несовершенное, непрошедшее прошлое, — то, что было, как вчера, — университет, деревня Большево, приезд в Америку, наше с папой чаепитие в Аннаполисе... Совершенное, длящееся прошлое начинается задолго до моего рождения, в 1903 году (родились дядя Ваня и тётя Зоя), или в 1891 году (родилась бабушка). Дальше в глубь девятнадцатого века отодвинуто завершённое, совершённое прошлое, которое не чувствуешь кожей, к которому испытываешь только праздное или полезное любопытство. Поколение за поколением лущит луковицу столетий, избавляясь всё от новых чешуек прошедшего произошедшего прошлого.

Память современника, память сына и внука, память историка... память разная, как правда. Одна и та же точка отсчёта помнится по-разному отцами, детьми, внуками. Я и папа. Такой интересный фильм “Человек сбежал”, французский фильм о побеге из немецкой тюрьмы, и с хорошим концом (всех убили, а герой спасся) — как догадаться, что папа не захочет его досматривать? В его предплечье засел кусок шрапнели, а в душе — сгусток прошлых ужасов безграничной жестокости.

У первого поколения — ожог, рубец и след до самой смерти. У второго поколения сухотка спинного мозга за грехи отцов. Первое поколение помнит, с болью. Второе, не помня, понимает, и хочет, но не может забыть. Я прочитала современный рассказ об американских евреях, которые играют; не в “Эрудита”, а в другую игру. Перебирают знакомых — кто укроет, а кто выдаст, если снова начнут забирать. Я подумала: “в наше-то время”, — я подумала: “ушибленное сознание”... А потом вспомнила свои игры — детские; я больше в них не играю. Тогда, в семь лет, обдумывала: если маму, папу, Марину должны расстрелять, и спасти могу только одного, кого выбрать? Игра не о том, кого больше люблю, а о том, кто слабее, кому труднее всех принять смерть, кому сильнее всех мучиться, — того и спасать. И вторая игра, а может размышление: выживу ли

в лагере, хватит ли воли? Тогда казалось — да. А теперь уже не уверена. Это наши игры. Мы не видали, но понимаем, что с нами могут сделать. Мы — второе поколение. Мы последние, для кого та война — реальность.

Мы вместе с отцом посмотрели итальянский фильм о концлагерях “Жизнь прекрасна”, и я спросила: “Правда, клюква?” “Правда”. Объяснить, почему, и я, и отец можем только мычанием. Клюква, несмотря на честно показанные горы трупов. Клюква потому, что фильм ужас укротил и удобосварил, и после него можно спокойно поужинать, как после фильма о Чингисхане. Дело не в том, что фильм плохой. Фильм хороший. Но это оселок, на котором пытаются правду. Это водораздел — по одну сторону те, кто понимает его неадекватность, по другую — те, которые не понимают.

Война была такая страшная, что её хватило на два поколения, но на третье уже не хватило. Шок длился семьдесят лет, а теперь он кончился. Внуки ветеранов согласны на फिल्мецы о прошлом, но не согласны на реальную картину. Внуки разбомбленных и растоптанных великодушно говорят: “Армии делают ужасные вещи, а страдает гражданское население”. И ведь правда (правда удалённости места и времени): сначала те этих и эти тех, а теперь эти идут, этих бить. Здоровое чувство? Вероятно да. Раны нужно залечивать. Хорошо, что они залечены. Может быть чересчур хорошо. Для того, чтобы получилось то, что мы сейчас видим, потребовалось непуганое поколение, выросшее в сытости. “А что именно такое мы сейчас видим?” — удивляется читатель. Удивляется потому, что непуганый. И на место умершей памяти новая какая-то лезет.

Вторая мировая, а нам Великая Отечественная, нанесла психическую травму двум поколениям. Эта травма была залечена отрицанием плоти — вымиранием ветеранов и их детей. На могилах вырос *чертополох* мифологизации, *крапива* лжи, полная пиетета к прошлому, но прошлому небывшему, показуха Победы, стрижка купонов на чужих страданиях. Эмоции, оторванные от контекста, передаются из поколения в поколение, как переходящее красное знамя. Войну скармливают внукам для подпитки национализма. В 1933 году Германия поднялась с колен и гадала — кому бы морду набить. Сейчас Россия с колен подымается, в недовольстве жизнью и поисках козла, который такую жизнь устроил. Война превратилась в нечто самодостаточное и самовоспроизводящееся... Проходят роскошные парады, когда ветеранов почти не осталось. В отсутствие врага и в отсутствие победителей праздники устрашают интенсивностью; я — дочь фронтовика, и то меня мутит от рокота. Сни-

мают грандиозные киноэпопеи и камерные киноленты, по занимательности и философскому осмыслению не уступающие “Дневному” и “Ночному дозору”; это уже даже не развесистая, а размашистая клюква — горькая ягода, пока не побитая морозом реальности.

Существует ли реальная народная память о войне в России, я не знаю, слишком всё заслонено пропагандой, которую народу вкручивают в мозги, как шуруп. В этом году я получила письмо из Петербурга:

“На День Победы было назначено шествие Бессмертного полка. Приглашали людей с фотографиями родных, участвовавших в великой Отечественной. Было холодно, пасмурно. Раздумывала — идти ли, но потом поехала. Сбор был на Второй Советской. Когда я приехала на площадь Восстания, вся Лиговка была забита людьми. Пошёл дождь, и довольно сильный, и я подумала, что сейчас все разбегутся, но я ошиблась. Такого количества людей с портретами родных я ещё никогда не видела. Колонна получилась во всю ширину Невского проспекта. Во главе шли организованные участники от блокадников, узников фашистских лагерей, юнги, ветераны, а за ними все остальные, кто хотел: молодёжь, дети, пожилые — все возрасты, причём у каждого портрет. Прошли от Лиговки до Дворцовой площади. У Литейного пробилось солнце, а на Садовой оно уже сияло. Потрясающе было единение людей. По обе стороны Невского стояли люди и искренне всех приветствовали. В окна выставили фотографии, люди стояли на балконах. На углу Садовой и Невского артисты Кукольного театра высунулись из окон, и куклы махали нам руками...”

Господи, и я с ними, со всеми, за папу, за дядю Сашу, за дядю Ваню, за тётю Талю, тётю Женю, тётю Глашу, бабушку Екатерину Васильевну, за деда, за дядю Мишу... Пойти... Но как пойду? Ведь у меня столько погибших; ведь если нести портреты, я была бы, как ёлка.

НЕПОСТОЯНСТВО

Мне снилось — ищу отца. В квартире его нет. Нахожу на балконе, случайно. “Почему мы так редко видимся?” “Ну, ты же знаешь, я мёртвый. Нас редко отпускают.”

Время отнимает людей — сначала хорошенько разжужёт и обессилит, а потом и украдёт. Остаются пустоты — сначала маленькие, потому что уходят дальние, потом всё ближе, всё больше. Непостоянство бытия. Его текучесть, сыпучесть, горючесть. Его уход на наших глазах. Невозможность вернуться в прошлое даже за носовым платком. Невозможность с ним расстаться. Вечно меняющееся, ускользающее, непостоянное настоящее, обернувшееся прошлым, но не исчезающее, парящее призраком, видением. Почему я так цепляюсь за прошлое и не могу его отпустить? Есть ли это незащищённость человека, не привычного к отсутствию любви, или нечто большее, — ради них, не ради себя...? Верю, что последнее, но может быть самообольщаюсь.

Ощущение вины. Чувство обязательное и неизбежное, потому что виноват, невниманием молодости, невниманием, присущим ребёнку. Непрощение себя — ещё один повод поверить в Бога милосердного, имеющего власть отпущения грехов. Кто ещё простит-то? Себя изнутри простить трудно, труднее, чем другого. Труднее простить похожее. В молодости я прощала и жалела Мармеладова, а теперь, когда жизнь научила, что от меня до Мармеладова один только шаг, не прощаю и не жалею. Не прощаю не то, что пьёт, а то, что предаёт. Моя вина — не вытащила и не спасла, хотя теперь яснее ясного, что нужно было делать. Но тогда казалось непосильным. Хотя было посильно, — проба на подлинность. Я безусловно могла бы за него умереть. Но сразу, не по кускам. Последние годы я жила в страхе его смерти, с подспудным чувством — нельзя его любить. Вот я любила мать, и она умерла. Я буду его любить — он тут же умрёт.

Я помню, как приехала хоронить, как шла по улице и твердила: “Не бойся, не бойся, я тебя спасу. Верь в меня, я снова тебя вытащу. Я всё сделаю, как надо, я так всё хорошо устрою — ты будешь доволен!” И он был бы доволен прощанием. Или был? Был. Эта мощная уверенность, взятая из ниоткуда, окутывает меня тёплым одеялом, и я живу, а без неё меня бы не было. Быть может надежда на воскресение рождается из чувства вины. Ощущение, что мы

обязательно встретимся потом, поднимается изнутри, само собой, хотя понятно, что встреча там ничего не значит — телесная оболочка отброшена вместе с любовью и привязанностью, а значит все потеряны навсегда. Хотя — что знаем мы?

Есть тоска, есть ярость неприятия смерти, в которой притаился грех гордыни. Каждый человек — центр Вселенной; я властелин, из-за меня всё. Естественно чувство если не творца, но единственного зрителя, для которого всё и существует, задумано, поставлено, предъявлено для оценки. Естественно поверить в свою значимость, естественно горько жалеть, что эта стереоскопическая видеокамера, этот быстродействующий компьютер обречены отключиться, развалиться на детальки, слиться с космосом в общем хоре молекул. Естественно верить, что купность знаний и мнений, радости, страха, слёз и сомнений, — душа, — воспарит, переживёт, не усреднится, а сохранит свою отдельность. *“Так странно признать в конце жизни, что ты не составил исключения...”* — удивлялся Леопарди.

Отторжение смерти идёт рука об руку с отторжением старости, с неприятием, ужасом перед старостью любимых людей. Отец говорил: “Нельзя так убиваться из-за того, что люди стареют. Нам-то как жить, видя, что мы причиняем такое горе?” Ужасно для него оказаться живым тернием в венце. Ужасно для тебя проговориться о том, что в венце твоём этот терний. Я виновата. Но я успокоилась. Я прощаю старость, смерть и болезнь. Я поняла, что в избыточности горя есть призыв к прощению родных и близких за боль, причинённую их уходом; чёрная печаль отливает сатанинской гордостью самонадеянной веры в то, что мы могли бы, если бы пожелали, прожить жизнь за других людей и всё в этой их жизни изменить к лучшему. Пережить, принять, — значит поверить в то, что нельзя ничего исправить.

Есть самообольщение (“смерти нет”). И впрямь, что смерть, что отъезд — одно и то же. Что собственно есть смерть? Абсолютная мера смерти — Небытие, как кажется мне, или переход в новое качество, как кажется многим другим. А относительная — исчезновение с моего горизонта. Как неизбежна субъективность восприятия, так неизбежна субъективность ухода, расставания и смерти. В чём концептуальная разница между смертью и отъездом? Да ни в чём. Отъезд в субъективном пространстве оплакан, как смерть. Когда я уехала за океан, многие люди скрылись для меня за горизонтом. Они, слава Богу, живы, ходят по Петербургу, заботятся о детях и внуках, но я их больше не увижу. Я ушла, а мир остался. Отряд потерял только одного бойца — меня. Расставание — не со-

всем смерть, но близко. А мёртвые живы, пока мы их помним. И тени ведут со мной диалог голосами писем. Когда они написаны, когда отправлены, когда прочитаны? — не всё ли равно, ведь они неподвластны времени. Письма переживают людей, пухлые письма, которые узнаёшь по почерку на конверте, — насущная пища пропащего, и не поймёшь: они живые? Они мёртвые? Игра воображения, иллюзия, которую пьёшь, и никак не напиться.

Есть надежда, сумасшедшая надежда, питавшая поколения, надежда на то, что встретимся. При богатстве воображения тюрьма, сложенная из кирпичей “никогда”, отступает. Когда в Эммаусе Иисус встаёт из-за стола, это эпилог, точка, больше никто из апостолов его не увидит. Но вся их жизнь будет окрашена воспоминанием о встрече, сильным, накалённым, сравнимым с реальностью. Совсем недавно, проезжая по проспекту Славы в преображённом Купчине, я почувствовала, что там, чуть подальше, на улице Димитрова, всё ещё живы мои родители, и благоденствуют, но только мне сегодня к ним нельзя. Мой путь к ним ещё долгон.

Мы станем глиной, мы можем быть воссияем душой над мирозданием, и как бы не крутили, как бы не вертели, как бы не смеялись, как бы не отрицали — мы встретимся. Не хотите на небесах? Тогда на земле, когда мы уйдём в эту землю. На небе ли, на земле — как ни раскидывай, мы встретимся. Встретимся и будем прощены. Прощение, прощание в надежде на свидание. Притворство, игра воображения, сны наяву, самообольщение, надежда слабой плоти. Детская обида: зачем расставание? Мольба о рае, ибо не хочется отпускать. Невозможно отбросить прошлое. Прошлое воскресает, прошлое не отпускает. Все мы ранены прошлым; некоторые его кошмаром, но большинство — былым счастьем.

И утром в полусне гадаю — он умер? Он не умер? Почему мне кажется, что он умер?

МАРГИНАЛИИ

Дороги Европы ведут через Германию. По ней легко проскакать конницей, сжигая деревни, или прокатить на танках, давя гусеницами бурты свёклы, её города легко разутюжить ковровыми бомбёжками. Германия — страна, открытая ветрам. На немецкой почве время от времени расцветает прекрасный причудливый цветок: скульптура резного дерева, барокко, экспрессионизм, — но его тут же срезают или рвут прямо с корнем, снова и снова, и сами, и соседи.

ТК

Я — немец. Всей моей любовью я окружаю эту землю, где живу. Я знаю, что эта земля — живое, бьющееся сердце мира. И я не перестану верить в биение этого сердца, несмотря на коросту крови и грязи.

Фридрих Рек



Дорогой читатель, случилось ли вам, попав в Европу, увидеть нечто странное, замшелое, явно старое, и задуматься о том, зачем оно тут стоит, и кто его придумал, и кому это могло понравиться, и какова была жизнь человека с подобными вкусами? Это книга для тех, кому случилось. Мне хотелось бы, чтобы вы взяли эту книжку и поехали с ней по Южной Германии и Чехии. Я хотела бы, чтобы вас заворожила, как и меня, культура и история этих мест.

Я приложила все старания к тому, чтобы сведения в этой книге были правдивы, так что будьте уверены в датах и событиях. Всё остальное – мои оценки. Я – дочь фронтовика, узника немецких лагерей, и как вы понимаете, мне много лет. Я знакома и с советской, и с постсоветской Россией. Прожившие в двух мирах приобретают опыт, который больше суммы его частей; неожиданно познакомившись с заграницей и капитализмом, нам пришлось многое переосмыслить не только в своей судьбе, но и в судьбе родителей. Если вы вчитаетесь в эту книгу, вы узнаете, что я думаю о двадцатом веке и о семнадцатом, о Тридцатилетней войне и о Второй мировой, и может быть узнаете в авторе себя.

ISBN-978-0-9981894-6-8
New Heritage Publishers, 2021